В. Д. ЗЁРНОВ

ЗАПИСКИ РУССКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА











250-ЛЕТИЮ
МОСКОВСКОГО
И
100-ЛЕТИЮ
САРАТОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТОВ
ПОСВЯЩАЕТСЯ



Проф. Вл. Вернадский.

В. Д. ЗЁРНОВ

ЗАПИСКИ РУССКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА

Публикация, вступительная статья,
комментарии и указатель имён
В. А.Соломонова

Под общей редакцией
доктора исторических наук
А. Е. Иванова



«ИНДРИК»
Москва 2005

ББК 63.3(2)
УДК 94 (47)
З 58

**Рукопись подготовлена при поддержке
Института «Открытое общество». Фонд Сороса. Россия.**

Рецензенты:
доктор физико-математических наук, академик РАН В. Л. Гинзбург;
доктор филологических наук, профессор СГУ И. Н. Горелов;
кандидат исторических наук,
учёный секретарь СПб ИИ РАН Б. Б. Дубенцов

Зёрнов В. Д.
Записки русского интеллигента / Публ., вступ. статья, коммент. и указ. имён В. А. Соломонова; Под ред. А. Е. Иванова. М.: «Индрик», 2005. — 400 с., илл.

Владимир Дмитриевич Зёрнов (1878–1946), доктор физико-математических наук, один из семи первых профессоров-учредителей Саратовского университета, прожил яркую, интересную жизнь. Значимость его фигуры как физика и ученика П. Н. Лебедева, а также как педагога, несомненна. Но в ещё большей степени современному читателю будет интересно и поучительно узнать из воспоминаний учёного, как жил типичный представитель интеллигенции в России до и после 1917 года, насколько широк был круг интересов и знакомств человека науки, как формировалась его личность и протекала его деятельность.
Для широкого круга читателей, интересующихся историей российской интеллигенции, вопросами культурного, научного и общественного процессов конца XIX – начала XX вв. как внутри России, так и за её пределами.

ISBN 5-85759-319-0

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ (1904–1909)

ЧАСТЬ ПЯТАЯ (1909–1910)

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ (1910–1911)

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ (1911–1914)

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ (1914–1919)

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ (1919–1921)

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ (1921–1941)

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ЗЁРНОВ И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ

«Живо представляется его благородный облик как учёного, блестящего организатора — основоположника и руководителя кафедры, достойнейшего ректора Саратовского университета, прекрасного музыканта, редкого и примерного семьянина и чуткого, добрейшего человека»[1].

Эти строки из письма профессора Н. Е. Осокина, посланного им Е. В. Зёрновой сразу после известия о смерти её мужа и своего стародавнего товарища по службе в Саратовском университете. Справедливость такой оценки подтверждается и другими свидетельствами, сохранившимися в личном архиве В. Д. Зёрнова. Так, с одинаковым волнением читаются письма к учёному и его жене и от бывшего кучера Саратовского университета Петра Бирюкова, и от учёного-физика профессора Московского университета А. К. Тимирязева, и немногословные и бесхитростные студенческие записки с выражением признательности и благодарности лектору. Все эти высказывания роднит и объединяет, на мой взгляд, одна главная особенность В. Д. Зёрнова, образно отмеченная однажды его двоюродным братом, историком живописи, членом-корреспондентом Академии художеств Н. Е. Машковцевым. «Встреча с Вами,— писал он,— для меня всегда большой праздник. С детства делил я всех людей на светлых и тёмных, и Вы — один из самых светлых. И сквозь кольцо зла я прорываюсь к Вам, зная, что всегда встречу Вашу ласку и симпатию»[2].

Родился Владимир Дмитриевич Зёрнов 1 (13) мая 1878 года в Москве в профессорской семье, несколько поколений которой внесли существенный вклад в становление и развитие отечественного университетского образования.

Его отец, профессор анатомии и ректор (с 8 августа 1898 по 7 августа 1899 гг.) Московского университета Дмитрий Николаевич Зёрнов, благодаря многогранному таланту — учёного, педагога, общественного деятеля — и весьма прогрессивным для своего времени взглядам, пользовался большим авторитетом в среде московской научной интеллигенции. Отзываясь об учёном, И. Алексинский писал: «Представительный, несколько чопорный, всегда тщательно одетый профессор анатомии Д. Н. Зёрнов, за которым укрепилось среди его помощников и студентов название «генерал». Однако его «генеральство» не мешало ему быть солидным учёным и хорошим преподавателем. Он отличался большой требовательностью к своим подчинённым, был строгим экзаменатором, но в своём требовании дисциплинированной научной работы не делал исключения для себя. Обширное, хорошо поставленное руководство по анатомии и богатый музей остались памятниками его профессуры в Московском университете»[3]. Другой бывший студент Московского университета С. Абрамов, характеризуя общественно-политический облик Дмитрия Николаевича, вспоминал: «Зёрнов далеко не был либералом, но он был единственным за все девяностые годы ректором, который выступал на студенческих сходках, стараясь внести успокоение. Когда же состоялись первые высылки, он, недолго думая, надел звезду и поехал к [великому князю]

Сергею Александровичу (московскому генерал-губернатору) с протестом против действий полиции. [...] Вернувшись с приёма, Зёрнов подал в отставку»[4].

К популярным профессорам Московского университета принадлежал и дед Владимира Дмитриевича — Николай Ефимович Зёрнов, защитивший первую в России докторскую диссертацию по математике — «Рассуждения об интеграции уравнений с частными дифференциалами» (М., 1837). Его популярность, по свидетельству профессора Н. А. Любимова, проистекала не из того, что «...молодёжь видела в нём представителя новых идей, к которым она иной раз чувствует столь неразборчивую склонность, не потому, чтобы он считался блестящим импровизатором или модным преподавателем. Он пользовался менее эффектной и более патриархальной популярностью наставника, с увлечением преданного своему делу, чувствующего себя среди учеников вполне на своём месте; [...] кто желал не только прочесть лекцию, но и действительно научить. [...] Я не припомню, — отмечал далее Н. А. Любимов, — чтоб в продолжении моего университетского курса Николай Ефимович не был на лекции хотя [бы] один раз. [...] Когда, бывало, уже все профессора окончили свои лекции, Николай Ефимович ещё продолжал преподавание: читал до мая, читал в мае, читал накануне экзамена, читал после экзамена. И не было примера, чтоб студенты не пришли на эти лекции вне обычного времени. Николай Ефимович пользовался заслуженным уважением слушателей...»[5].

Поражало современников в личности Н. Е. Зёрнова и ещё одно весьма редкое для того времени качество: его способность, несмотря на врождённое чинопочитание, всегда и во всём сохранять чувство собственного достоинства. Констатируя сей факт, Н. А. Любимов восклицал: «...человек, в котором чинопочитание было одним из самых характеристических качеств, формализм которого в обращении доходил иногда до излишества, который чувствовал какой-то пиетет ко всему начальствующему, который в интимной переписке выражался о властях не иначе как в самых почтительных выражениях — этот человек вовсе не был искателен, никогда не был близок с начальствующими лицами, держал себя постоянно в стороне, и, может быть, потому, в продолжени своей долгой службы, никогда не пользовался каким-либо вниманием начальствующих лиц»[6].

Несмотря на разночинское происхождение Н. Е. Зёрнова (дед был священником в селе Зернилово Владимирской губернии, а отец, окончивший духовную семинарию и Московский университет, служил в иностранной коллегии Московского почтамта), его усердие и преданность делу российского просвещения были щедро вознаграждены — начиная с него самого все последующие представители рода Зёрновых вошли в разряд потомственных дворян.

С полным основанием можно было бы отнести к любому из членов большой династии Зёрновых слова Н. А. Любимова о Н. Е. Зёрнове: «Он любил университет, чтил его обычаи и [...] всегда готов был принять участие во всяком заявлении в честь дорогого учреждения. Он имел патриотизм старого русского человека, тот патриотизм, благодаря которому в двенадцатом году русский народ отстоял свою землю...»[7].

Заметный след в отечественной истории оставили представители рода Зёрновых и по линии матери Владимира Дмитриевича — Марии Егоровны,

урождённой Машковцевой, дочери потомственного почётного гражданина города Вятки и действительного студента Императорского Московского университета. В 1844 году её отец, отставной штабс-ротмистр Чугуевского уланского полка Егор Петрович Машковцев, «в воздаяние ревностных его [...] заслуг», как говорилось в специально выданной по этому случаю грамоте, был произведён по Высочайшему повелению «в вечные времена в честь и достоинство Нашей Империи, в Дворянство равнообретающемуся»[8], передаваемое по наследству. Имя Е. П. Машковцева хорошо известно историкам русского освободительного движения. Не принимая активного личного участия в нём, он тем не менее дружил с одним из лидеров этого движения — А. И. Герценом, нередко оказывая ему содействие, особенно в период его вятской ссылки[9].

В этой высоконравственной и культурной атмосфере рос и воспитывался В. Д. Зёрнов, из неё черпал он богатство души и радость дружеского общения. Судьба его распорядилась таким образом, что с раннего детства — сначала косвенно, присутствуя при разговорах старших, а позже, став студентом и преподавателем, вполне осознанно — он окунулся в самую гущу университетской жизни, что, безусловно, отразилось на всей его дальнейшей биографии: он навсегда избрал стезю учёного и педагога.

Окончив в 1897 году 5-ю московскую гимназию, Владимир Дмитриевич поступил на физико-математический факультет Московского университета, где и начал самостоятельные научные исследования. К этой поре относится возникновение крепкой дружбы студента Зёрнова и профессора физики П. Н. Лебедева. И хотя взаимоотношения между ними были далеко не безоблачными, Владимир Дмитриевич на всю жизнь сохранил самые тёплые чувства к своему первому наставнику и другу, а о своей работе в лаборатории Лебедева всегда говорил как о самых лучших годах в своей научно-творческой деятельности[10].

Не вдруг и не сразу овладел В. Д. Зёрнов умением и навыками физика-экспериментатора. Сначала были и неудачи, и разочарования, о чём свидетельствует письмо Н. П. Кастерина П. Н. Лебедеву от 22 ноября 1901 года: «Зёрнов больше щёлкает на своих счётах; он отставил камертон подальше, на окно, и получил смещение maximum'а резонансной кривой и значительное расширение в нижней её части (максим[альная] амплитуда упала при этом незначительно). Было у него крупное недоразумение с вычислением логарифм[ического] декремента, т. к. он считал наблюдаемые им отклонения пропорциональными амплитуде и в этом предположении нашёл декременты, близкие к лейберговским...»[11].

Нередко В. Д. Зёрнову, лично или через общих знакомых, приходилось выслушивать в свой адрес довольно нелицеприятные отзывы научного руководителя. Одно из таких откровений находим в письме П. Н. Лебедева Н. П. Кастерину от 14 января 1901 года. В нём, делясь своим первым впечатлением от работы начинающего исследователя, Пётр Николаевич писал: «С Зёрновым картина более грустная. Он интересуется процессом работы в лаборатории, но в какой лаборатории, над чем, для чего и как — об этом он не заботится: на то есть начальство! Цель работы он видит в том, чтобы поскорее устроить отсчёт, а потом множить и делить его по какой-нибудь данной формуле и получать цифру.

Что такая цифра обозначает — он этим вопросом не мучается, а верит, что это есть "результат". Я ему несколько раз зимой говорил, что диск Rayleigh'а связан с "квадратом"; он кивал мне в знак согласия, но у меня всё время оставалось сомнение, что мои слова до него не доходят»[12].

Подобные эпизоды, хотя и вызывали у В. Д. Зёрнова чувство некоторой обиды, позже расценивались им не иначе, как большая и серьёзная школа исследовательского мастерства. В одном из писем к своей будущей жене Е. В. Власовой, он признавался: «Мне самому приходилось при начале самостоятельной работы в лаборатории испытывать ощущение, что почва уходит из-под ног, а помощи от моего профессора не всегда можно было получить — он сам занят, да и находит, что такие моменты имеют хорошее воспитательное значение. Кажется, это верно. По крайней мере, когда сам выпутаешься из затруднения, чувствуешь большое нравственное удовлетворение»[13].

Под руководством П. Н. Лебедева Владимир Дмитриевич подготовил и в 1902 году представил в Государственную испытательную комиссию два научных сочинения: «Тепловая диссоциация» и «Определение декремента затухания акустических резонаторов». В том же году он окончил университет с дипломом первой степени и по рекомендации своего учителя был оставлен при кафедре физики Московского университета «для приготовления к профессорскому званию»[14].

Работая одновременно и в физической лаборатории университета, и преподавателем физики в частной женской гимназии Н. П. Щепотьевой, В. Д. Зёрнов в 1904 году добился первой крупной удачи в науке. Его работа «Сравнение методов измерения звуковых колебаний в резонаторе», представленная в Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, была высоко оценена и удостоена премии имени В. П. Мошнина. Как отмечалось в отзыве, к несомненным достоинствам работы «надо отнести не только предложенный им [В. Д. Зёрновым. — В. С.] остроумный и наглядный способ измерения воздушных колебаний, но и целый ряд сделанных им целесообразных изменений в конструкциях приборов...». Комиссия по присуждению премии единодушно заключила, что Зёрнов «обнаружил большие знания и остроумие и продвинул вперёд весьма важный вопрос...»[15].

Двумя годами позже выходит и первый печатный труд его на немецком языке: «Über absolute Messungen der Schallintensität» («Сравнение методов измерения абсолютной силы звука»), напечатанный в «Annalen der Physik» — немецком научном издании по физике. На одном из первых корректурных оттисков этой работы стоит сделанная рукой П. Н. Лебедева надпись-напутствие: «Поздравляю Вас с первым, самым важным шагом начинающего учёного. До сих пор Вы только брали — теперь сами даёте. Помните добрый совет: работайте много, сколько можете, но печатайте только тогда, когда вполне разобрались в вопросе, и излагайте только то, что важно узнать читателю-специалисту по данному вопросу. Чем короче и сжатее статья, тем больше читателей, тем больше проку»[16].

Несмотря на молодость, уже в начале своей научной карьеры Зёрнов сумел заявить о себе крупными и оригинальными исследованиями, сразу же обратив внимание ведущих учёных физиков как в России, так и за её пределами[17].

И когда в 1937 году решался вопрос о присвоении ему учёной степени доктора физико-математических наук без защиты диссертации, член-корреспондент АН СССР Н. Н. Андреев особенно выделял работы, выполненные Зёрновым именно в период с 1905 по 1909 годы. «Для правильной оценки этой группы работ В. Д. Зёрнова, — подчеркивалось в его отзыве, — следует иметь в виду, что до них сколько-нибудь надёжных способов измерения силы звука не существовало [...]. Эти работы В. Д. Зёрнова стали классическими. Нельзя себе представить курса акустики, в котором не упоминалось бы об этих работах»[18].

Стремление учёного как можно глубже и всестороннее разобраться в физике звука вызывалось двумя главными причинами: приверженностью науке и преклонением перед искусством: «Эта область, — вспоминал профессор А. К. Тимирязев, — была особенно ему по душе: она соединила в одно стройное целое его увлечение физикой с его стремлением к искусству — к музыке. Он был не только физиком, но и художником, большим знатоком музыки и прекрасным исполнителем»[19].

Наука и музыка — вот те два божества, на которых основывалось мировоззрение учёного, которые скрашивали его жизнь, помогая с честью выдержать любые испытания. Его мастерству игры на скрипке могли бы позавидовать многие профессиональные музыканты. И сам Владимир Дмитриевич, ученик таких прославленных музыкантов, как Карл Антонович Кламрот и Иван Войцехович Гржимали, мог бы стать профессиональным артистом. Судьба же распорядилась по-своему. Артистом он не стал, но, по его собственному признанию, «моя причастность к искусству играла во всю мою жизнь и сейчас играет большую роль»[20].

После защиты в 1909 году диссертации на тему «Абсолютное измерение силы звука» В. Д. Зёрнов был удостоен учёной степени магистра физики, после чего избран приват-доцентом физико-математического факультета Московского университета и командирован за границу с факультетской стипендией «для усовершенствования в науках». Владимир Дмитриевич работал в Гейдельберге, изучал постановку преподавания физики в высших учебных заведениях Германии и Англии. Ему посчастливилось присутствовать на лекциях В. Рентгена, познакомиться с новейшими физическими исследованиями в лабораториях Э. Резерфорда (Манчестер), Дж. Дж. Томсона (Кембридж) и К. Рикке (Гёттинген)[21].

Незадолго до защиты Зёрновым магистерской диссертации П. Н. Лебедев рекомендовал молодого учёного в качестве профессора на университетскую кафедру в Варшаву, направив 25 октября 1908 года на имя декана физико-математического факультета Варшавского университета П. И. Митрофанова личное ходатайство по этому поводу.

«Подходящим кандидатом на кафедру физики, за которого я могу взять на себя полную нравственную ответственность перед Вашим факультетом, — отмечалось в нём, — является мой ученик Владимир Дмитриевич Зёрнов, который ещё студентом и потом, окончив курс в нашем университете, около пяти лет работал очень старательно и успешно в моей лаборатории над „Абсолютными измерениями силы звука“, опубликовал две работы по этому вопросу [...], получил за свои экспериментальные исследования премию Мошнина и в настоящее время, окончив успешно магистерские экзамены, пишет магистерскую диссертацию, продолжая работать в лаборатории.

[...] В. Д. Зёрнов в течение нескольких лет был лаборантом при Физическом институте, вёл занятия со студентами в лаборатории проф[ессора] А. П. Соколова, а также состоял преподавателем физики и математики в средних учебных заведениях — педагогический навык и умение обращаться со студенческой массой у него есть. Как лектора мне приходилось его не раз слышать, [...] — лекторские данные у него хорошие: он умеет ясно, просто и интересно делать доклад. [...]

Вот моё мнение о В. Д. Зёрнове как о возможном кандидате, и я буду очень рад, если факультету угодно будет это мнение выслушать»[22].

Однако ввиду затянувшихся переговоров с Варшавой (главной трудностью которых стал, по-видимому, вопрос о правах и полномочиях будущего профессора, ибо, как справедливо считал П. Н. Лебедев, «только при абсолютно независимом пользовании помещением лаборатории, приборами и определённым бюджетом молодой учёный может спокойно и успешно продолжать свои научные работы»[23]), назначение это не состоялось. К тому же 10 июня 1909 года, после полувсковой многострадальной эпопеи всевозможных обращений и ходатайств в высшие правительственные инстанции, на императорской яхте «Штандарт» Николаем II был подписан закон «Об основании университета в г. Саратове и отпуске средств на этот предмет»[24]. В связи с этим В. Д. Зёрнов кардинальным образом меняет свои планы: отказавшись от туманной перспективы профессорской деятельности в Варшавском университете, он предлагает свою кандидатуру на замещение аналогичной кафедры в Саратове. Помимо родных и близких молодого учёного это его решение с пониманием и одобрением встретил также П. Н. Лебедев. Более того, в своём письменном обращении к старейшине русских физиков, члену совета министра народного просвещения Н. Н. Шиллеру, он лично поддержал это ходатайство.

«...Мой ученик магистр физики Владимир Дмитриевич Зёрнов, — писал по этому поводу Лебедев, — подал в Министерство прошение о зачислении его кандидатом по физике вновь учреждаемого Саратовского университета. Так как его прошение поступит, вероятно, на Ваше рассмотрение, то я позволил бы себе сказать несколько слов о Зёрнове как о физике: у меня он работал около пяти лет [неразб.] над своей задачей — всегда добросовестно и внимательно, а в случае возникающих сомнений как настоящий физик и притом физик ловкий, умеющий критически относиться к своей работе, не жалел рабочего времени; хотя работа и сделана в моей лаборатории, я всё-таки могу сказать, что сделана она хорошо. Зёрнов принимал деятельное участие в наших коллоквиях — лектор он хороший: говорит ясно, толково, спокойно и всегда только о том, что ему самому совершенно ясно. Добавлю ещё, что он лет пять был ассистентом у Соколова и имеет достаточный опыт в обхождении со студентами на практических работах. Со своей стороны я бы мог рекомендовать его со спокойной совестью, вполне уверенный, что он любит самоё дело, сможет толково его организовать и быть хорошим руководителем»[25].

Саратовский период жизни и деятельности В. Д. Зёрнова начался с 1 июля 1909 года, когда по высочайшему указу он был утверждён в качестве исполняющего должность экстраординарного профессора по кафедре физики Саратовского университета.

Среди первых семи профессоров только что открывшегося университета Владимир Дмитриевич оказался самым молодым — ему исполнился только 31 год, но это не помешало ему сразу же продемонстрировать свои недюжинные организаторские способности, умение убеждать в необходимости принятия того или иного важного решения. Его личная распорядительность и оперативность в доставке оборудования позволили в кратчайшие сроки, уже в конце сентября 1909 года, начать чтение курса физики не «мелового», как говорится, а экспериментального, с демонстрацией всех необходимых опытов.

В. Д. Зёрнов вошёл также в состав строительной комиссии по возведению собственных зданий университета, после чего главным делом его стала забота о Физическом институте, строительство которого началось 30 апреля 1911 года: «Сегодня, — извещал Владимир Дмитриевич жену, — начали земляные работы по институту. [...] Начали стройку с первой весенней грозой и дождём. Мюфке говорит — это хорошо: „Святой водой начало работ окроплено"»[26].

Строительство завершилось в конце 1913 года. В. Д. Зёрнов чувствовал себя самым счастливым человеком: «Институт готов. Вот всё, что мне надо. А институтом я очень доволен. Такой он симпатичный. Мне кажется, он симпатичнее всех зданий, или уж оттого, что мой»[27].

Здесь же, в Саратове, застали В. Д. Зёрнова и революционные события 1917 года. Он с огромным воодушевлением встретил Февральскую революцию и падение самодержавного строя, но довольно прохладно отнёсся к событиям Октября, не в силах, подобно многим другим представителям старой «буржуазной» интеллигенции, адекватно воспринять идею пролетарской диктатуры. Однако, несмотря ни на какие, даже самые невероятные, перипетии социально-экономической и политической жизни, он продолжал добросовестно исполнять свои обязанности. Возглавив с 5 сентября 1917 года открывшийся в Саратовском университете по решению Временного правительства физико-математический факультет, он старательно собирал для него научно-преподавательский состав: пригласил многих талантливых ученых — физиков и математиков, чьи имена впоследствии прославили отечественную науку: С. А. Богуславского, И. И. Привалова, В. В. Голубева и других.

28 сентября 1918 года В. Д. Зёрнов был избран ректором Саратовского университета. Его ректорство выпало на исключительно тяжёлые в организационном и хозяйственном отношениях годы, проходило в обстановке братоубийственной гражданской войны и полной дестабилизации социально-правовых механизмов, под постоянным нажимом местной администрации, слепо исполнявшей любые распоряжения и предписания новой власти. И только благодаря редкому умению искать и находить приемлемые для всех решения с ролью «первого революционного ректора», на долю которого выпала «ответственная и благодарная задача — преобразовать высшее учебное заведение с одним факультетом в полный университет», Владимир Дмитриевич, по признанию его сослуживцев, «справился с исключительным тактом и успехом, подобрав квалифицированный состав профессоров и преподавателей, наладив учебную и научную работу и организовав сложное хозяйство в тяжёлые годы послевоенной разрухи. Благодаря усилиям Владимира Дмитриевича новый Саратовский уни-

верситет быстро занял видное место среди высших учебных заведений молодой Советской Республики»[28].

Вот как вспоминал о том времени сам В. Д. Зёрнов: «Несмотря на очень большие хозяйственные затруднения и сложные взаимоотношения с администрацией, мне удалось без всяких компромиссов довольно благополучно вести университетский корабль, охраняя его независимость, с одной стороны, и не впадая в особые конфликты с общей администрацией, с другой.

[...] За 1919—1920 годы произошли большие изменения в жизни университета: в состав Правления и Совета вошли представители студенческих и городских организаций. Все это совершалось довольно болезненно, но мне удалось провести эти революционные новшества без скандалов и удерживать руководящую роль за основным Советом и Правлением, состоящим из профессоров.

С городскими и губернскими властями — горисполкомом, губисполкомом — отношения были корректные, как между союзными великими державами, а с губоно, пожалуй, даже дружественные...»[29].

Неожиданную черту в деятельности В. Д. Зёрнова на посту профессора и ректора Саратовского университета подвёл нелепый и трагический случай — арест учёного Саратовской губчека 9 марта 1921 года по подозрению «в контрреволюционной пропаганде». При обыске, проведённом в его квартире 8 марта, «каких-либо документов в качестве вещественных доказательств не изымалось»[30], тем не менее он был взят под стражу и отконвоирован в губернскую тюрьму № 3, где к тому времени находилось уже немало представителей саратовской интеллигенции. Скоро выяснилась и непосредственная причина ареста. Ею оказалась лекция на тему «Рассеяние энергии и разумное начало в мироздании», с которой «в период с декабря 1920 по март 1921 года Зёрнов В. Д. „по приглашению коллектива верующих кафедрального собора“ трижды выступал перед прихожанами...»[31].

Вспоминая об этих выступлениях и характеризуя содержание самих лекций, Владимир Дмитриевич писал: «Говорил я прежде всего о том, что наука и вера — две вещи совершенно различные и что естественно-историческая наука не занимается доказательствами бытия Божия, но и не отрицает разумного начала мира. Говорил также о том, что можно вечное бытие мира рассматривать как результат промысла Божия, что многие великие учёные естествоиспытатели были искренно верующими людьми. А закончил я такой мыслью: верующий имеет преимущество перед неверующим — ему легче жить, легче и умирать»[32]. Однако, как верно подметил работавший в те годы в Саратовском университете преподавателем английского языка А. В. Бабин, «это утверждение было опасно для Советской Республики, и лекторы были брошены в тюрьму»[33].

Важно заметить, что В. Д. Зёрнов никогда и ни при каких обстоятельствах не скрывал своего положительного отношения к вере и религии. Не отказался он от своих убеждений и после ареста. На допросе 31 марта 1921 года Владимир Дмитриевич открыто заявил следователю: «Религию препятствием к осуществлению коммунизма не считаю, в том лишь случае, если её понимать правильно, т. е. как усовершенствование личности. Религия связывает нравственность человека, а потому наука без религии будет однообразна и поведёт к падению

нравственного облика человечества. Утверждаю, что мои лекции контрреволюционного характера не имели»[34].

Неизвестно, чем закончилось бы для учёного и его товарищей по несчастью сидение в губернской тюрьме, если бы в Саратов для выяснения причин массовых арестов не прибыла из Москвы специальная комиссия во главе с П. Г. Смидовичем. Она, прежде всего, потребовала, чтобы местные органы либо предъявили арестованным конкретные обвинения, либо немедленно освободили их. Однако «саратовские власти, которые этот массовый арест осуществили», отреагировали на ультиматум весьма своеобразно. Без тени смущения они заявили, что «обвинений, достаточно обоснованных для возбуждения судебного дела, предъявить не могут, но и освобождать массу людей также не решаются, это-де произведёт „сенсацию“»[35]. Тогда председатель комиссии, властью данных ему полномочий, самолично распорядился часть узников освободить непосредственно в Саратове, других же, для определения их дальнейшей участи, препроводить в Москву в распоряжение ВЧК. В числе последних оказался и В. Д. Зёрнов.

В Бутырской тюрьме, куда доставили саратовских пленников, Владимир Дмитриевич сблизился и подружился со многими известными и прославленными в прошлом военачальниками и государственными деятелями. Судьба свела его с военным историком, генералом от инфантерии Андреем Медардовичем Зайончковским — «...любопытным осколком старого, навсегда ушедшего в вечность веков мира». По меткому определению С. Н. Чернова, это был «в меру умный и более чем умный, хитрый и лукавый человек, обезоруживавший светской готовностью врага, подчиняющий его себе своей любезностью царедворца, в которую очень тонко вплетались подкупающие нотки нарочитой грубости старого солдата — будто бы искренней и простой»[36].

В камере Бутырской тюрьмы также находились: бывший помощник начальника штаба верховного главнокомандующего царской и член Особого совещания при Главкоме Красной армии, генерал от инфантерии Владимир Наполеонович Клембовский; бывший московский генерал-губернатор, товарищ министра внутренних дел и шеф Отдельного корпуса жандармов, генерал-лейтенант Владимир Фёдорович Джунковский, которого вся тогдашняя тюремная «прислута [...] помнила ещё своим начальником»[37]; поэт, журналист и литературный критик, князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский и многие другие.

Соседствуя с этими неординарными личностями, получая от общения с ними, насколько это было возможно в неволе, духовное и нравственное наслаждение, а также участвуя в совместно устраиваемых мероприятиях, В. Д. Зёрнов по-прежнему с неуёмным беспокойством думал о своих близких — жене и малолетних детях. Но прошёл ещё один томительный месяц тюремного заточения, прежде чем стараниями саратовских коллег и представителей московской научной элиты Владимир Дмитриевич, наконец, оказался на свободе. Но вернуться в Саратов ему не разрешили. Причина такого решения до сих пор остаётся загадкой. Нет чёткого разъяснения тому и в выданной Управлением КГБ СССР по Саратовской области справке: «В соответствии с постановлением Президиума ВЧК от 11.05.21 г. Зёрнов В. Д. из-под ареста освобождён без

права проживания в Саратовской губернии и оставлением на жительство в г. Москве. Какие-либо обоснования данного постановления в материалах дела отсутствуют»[38].

Так начался второй период московской жизни и деятельности В. Д. Зёрнова. Как и раньше он отдавал всего себя любимому делу — преподаванию, стремясь поднять слушателей к вершинам научного познания, завораживая их своим интеллектом и обаянием. Один из его новых московских сослуживцев в сентябре 1936 года писал ему: «Под Вашим руководством каждый хотел быть лучше, чем он был в действительности. Хотелось работать, хотелось делать свою работу лучше, не считаясь с обстановкой; даже некоторые „хамствующие“ люди стремились скрыть своё „хамство“ — они хотя бы внешне вели себя культурно. Вы умели заставить людей стать выше своих личных интересов, себялюбия, оскорблённого самолюбия. Верьте, дорогой Владимир Дмитриевич, совместная работа с Вами останется навсегда в моей памяти, как лучшая полоса в моей жизни»[39].

С весеннего полугодия 1924 года В. Д. Зёрнов заведовал кафедрой физики в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ) и по совместительству был профессором Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана (МВТУ; ныне — Московский государственный технический университет). Но, несмотря на загруженность организационно-административной и педагогической работой, Владимиру Дмитриевичу, по его собственному признанию, «удавалось кое-что делать и по научной части»[40].

К приоритетным направлениям данного периода следует прежде всего отнести его экспериментальную работу по гармоническому анализу[41], заключавшуюся в разложении периодической функции в ряд Фурье и вычислении коэффициентов этого ряда «...при исследовании акустических кривых (фонограмм) человеческого голоса, снятых фотографически при помощи прибора Фрелига — Лебедева»[42]. Для решения поставленной задачи использовались два абсолютно разных метода разложения — табличный, впервые заявленный в 1890 году Германом и в несколько видоизмененном виде предложенный вторично инженером Ципперером, и механический гармонический анализатор, сконструированный доктором Мадером для «нахождения значений интегралов, выражающих коэффициенты A_n и B_n». В итоге автор с удовлетворением констатировал: «Так как кривые получились строго периодическими, то никакого сомнения в законности приложения гармонического анализа не возникает, операция разложения до крайности проста и при некотором навыке быстро дает хорошие результаты»[43].

Далее стоит упомянуть серию коллективных исследований по вопросам звуко- и теплопроводности строительных материалов[44], в разработке которых учёный принимал самое непосредственное участие. Кроме этого, В. Д. Зёрновым был написан выдержавший три издания (в 1925–1928, 1929 и 1931 годах) вузовский учебник по физике — «Конспект лекций по физике» (Ч. 1–3). В январе 1938 года планировалось четвертое его переиздание, явившееся, как ни странно, поводом, чтобы в разгар кампании по выявлению и разоблачению мнимых «врагов народа» обвинить автора учебного пособия в приверженности

идеалистическому мировоззрению и преклонении перед западно-буржуазным образом жизни.

«В отношении увязки фактического физического материала, даваемого в книге, с основными положениями диалектического материализма, — говорилось в одной из рецензий на учебник Зёрнова, — следует констатировать, что по существу такой связи совершенно нет. За исключением введения (3 страницы) в книге нигде более не встречается какого-либо методологического обобщения.

Введение же составлено, по-видимому, с целью декларирования материалистических взглядов автора». «На основании всего изложенного, — заключали рецензенты, — мы считаем, что представленная на отзыв *книга проф[ессора] Зёрнова абсолютно не годится в качестве учебника для каких бы то ни было школ. В ней полностью отсутствуют основные черты, которыми должен отличаться новый советский учебник: широкая постановка принципиальных вопросов с точки зрения диалектического материализма, высокий теоретический уровень и неразрывная связь с социалистической техникой [курсив мой. — В. С.]*»[45].

Следует отдать должное мужеству и стойкости учёного, который, решительно опровергнув нелепые обвинения в свой адрес, смело вступил в полемику с оппонентами. Реагируя на их жёсткие замечания по поводу своего учебника, В. Д. Зёрнов открыто заявлял: «Рецензенты делают заключение, что «на основании изложенного» рукопись учебника надо выбросить в мусорный ящик, а я думаю, что на основании изложенного можно сделать заключение о предвзятости мнения рецензентов и о[б] их полном незнании требований технической школы и учащихся в ней, которых они оставляют без всякого учебника. Мой многолетний опыт и опыт моих товарищей педагогов говорит, что студенту-первокурснику, кроме учебника курса, отдельные главы которого пишутся соответствующими специалистами (напр[имер], книга под редакцией Путилова), необходим учебник-конспект, каковым является написанный мной краткий учебник.

Огульное же опорочивание в течение многих уже лет оригинальных учебников физики и печатание только переводных — похоже на опасную болезнь „перестраховки“»[46].

Неминуемого в подобных случаях печального продолжения этот эпизод, к счастью, не имел. Всё обошлось без трагических эксцессов.

Нельзя не упомянуть в связи с этим и о другом аналогичном случае, также не вызвавшем за собой серьёзных последствий. Речь идёт о докладной записке члена ВКП(б) А. А. Максимова, озаглавленной «В ЦК ВКП(б) о политическом положении на физмате I МГУ» (октябрь 1929 года). В ней, помимо прочего, автор приводит список сотрудников Научно-исследовательского института физики (НИИФа) на 1929 год с предельно краткой формулировкой политической позиции каждого. Среди пятнадцати имён учёных-физиков Московского университета, попавших в поле зрения ретивого осведомителя, стояла и фамилия В. Д. Зёрнова с убийственной характеристикой: *«В научном отношении ничего собой не представляет. Антисоветски настроенный. Был удалён по политическим мотивам из Саратовского Ун[иверсите]та [курсив мой. — В. С.]»*[47].

Несмотря на разнообразные коллизии судьбы, Владимир Дмитриевич по-прежнему заведовал кафедрой в МИИТе и читал лекции в МВТУ. В годы Вели-

кой Отечественной войны вместе с другими сотрудниками МИИТа он был эвакуирован в Новосибирск и с ними же возвратился обратно в Москву. Однако возраст и выпавшие на долю учёного тяжёлые испытания давали о себе знать. 30 сентября 1946 года во время лекции в МВТУ ему стало плохо. И в тот же день, не приходя в сознание, В. Д. Зёрнов скончался. Причиной смерти явилось обширное кровоизлияние в мозг.

3 октября состоялись похороны Владимира Дмитриевича. Его прах покоится ныне на одном из красивейших и богатейших погостов Москвы — Немецком кладбище, что находится на Введенских горах.

***

После себя В. Д. Зёрнов оставил не только добрую и светлую память в сердцах знавших его людей, но и нечто более осязаемое — богатейший и удивительно разнообразный по своему содержанию личный архив. Долгие годы единственной хранительницей его была младшая дочь учёного Мария Владимировна Зёрнова (1911—1993). Незадолго до смерти она передала документальные семейные реликвии для их дальнейшего хранения и использования в научно-исследовательских целях автору настоящей публикации[48]. Содержащаяся в этом архиве информация открывает широкий простор для исследований каждому, кто интересуется историей российской интеллигенции, культурными, научными и общественными процессами, происходившими на рубеже двух столетий как в родном Отечестве, так и за его пределами.

При первом же знакомстве с семейным собранием архивных документов стало ясно, что в нём представлено множество важных и ценных свидетельств, с помощью которых можно реконструировать незначительные на первый взгляд исторические детали, штрихи повседневной жизни отдельного человека, а через них — и общества в целом. Особенно отчётливо это заметно при изучении рукописи последнего и, к сожалению, незавершённого труда Владимира Дмитриевича — его воспоминаний, а также любопытнейших по содержанию писем, составляющих эпистолярную коллекцию данного архива.

Оригинал рукописи воспоминаний — это 1602 страницы (без учёта разнообразных вставок, иногда весьма обширных, иконографических и документальных приложений) довольно легко читаемого рукописного текста, составляющего в совокупности десять пронумерованных автором общих тетрадей разного формата и объёма. Первая из них, имеющая самостоятельную нумерацию (156 страниц), особенно выделяется: кожаный переплёт, золотой обрез и датированная 1938 годом дарственная надпись на титульном листе, принадлежащая двоюродному брату Владимира Дмитриевича Н. Е. Машковцеву: «Дарю эту тетрадь моему дорогому брату Владимиру Дмитриевичу Зёрнову в уверенности, что он найдёт, чем заполнить её чистые страницы»[49].

Другой немаловажной археографической особенностью рукописи является её оформление. Для иллюстрации отдельных сюжетов мемуарист вносил в рукопись помимо собственноручных записей (пояснительных пометок, обширных вставок) ещё и дополнительный материал, как-то: фотографии, видовые открытки, подлинники

некоторых писем и телеграмм, вырезки из старых и новых газет. Всё это значительно обогатило рукопись публикуемых воспоминаний.

После расшифровки записей и подготовки рукописи к печати воспоминания, получившие название «Записки русского интеллигента», в сокращенном варианте были впервые опубликованы в саратовском журнале «Волга» за 1993 и 1994 годы[50].

Обращаясь к той или иной мемуарной литературе, задумываясь о её предназначении и ценности, первым делом на ум приходит мудрое изречение А. И. Герцена, высказанное им в предисловии к английскому изданию второй части «Былого и Дум». «Для того чтобы написать свои воспоминания, — замечал он, — вовсе не нужно быть великим человеком или видавшим виды авантюристом, прославленным художником или государственным деятелем. Вполне достаточно быть просто человеком, у которого есть что рассказать и который может и хочет это сделать.

Жизнь обыкновенного человека тоже может вызвать интерес, если и не по отношению к личности, то по отношению к стране и эпохе, в которую эта личность жила»[51].

Свои воспоминания В. Д. Зёрнов начал писать, не предназначая их изначально к публикации, в 1944 году — за два года до смерти. Создавались они с одной единственной целью: сохранить генеалогическую память, уберечь последующие поколения семьи Зёрновых от незнания собственной родословной. В своеобразном предисловии к мемуарам, обращённом к внуку Алексею Валерьяновичу Талиеву сам автор так характеризует мотивы, побудившие его взяться за перо: «Милый мой внучек Алёшенька! Тебе будет интересно, когда ты вырастешь большой, узнать, как жил твой дедушка, с которым ты провёл неразлучно первые годы своей жизни. Мне хочется, чтобы ты знал, кем были и твои прадедушка с прабабушкой, другие твои родственники. [...] Мне хочется рассказать тебе о том, как я провёл студенческие годы и начало самостоятельной жизни, как встретился с твоей бабушкой, как стал профессором Саратовского университета. Словом, мне хочется вспомнить всю свою жизнь. [...] Думаю, всё это тебе будет интересно»[52].

Публикуемые воспоминания отличает от подобного рода сочинений прежде всего то, что, написанные в форме небольших сюжетных, но психологически точных зарисовок, они почти лишены какой бы то ни было политизации и идеологизации. Важно и ценно, что автор не стремился ни к огульному охаиванию, ни к безудержному восхвалению действительности, не брался обличать или оправдывать пороки того или иного государственно-политического устройства. Он просто показывает жизнь такой, какой она представала перед его глазами, со всеми её плюсами и минусами.

Написанные хорошим литературным языком, воспоминания В. Д. Зёрнова ярко и лаконично живописуют атмосферу жизни российской (столичной и провинциальной), немецкой, швейцарской, французской, английской учёной среды. В них даются портреты выдающихся современников и знакомых В. Д. Зёрнову лично (достаточно назвать Пьера и Марию Кюри, В. Томсона, Э. Резерфорда, И. Мечникова, А. Иоффе, Ф. Шаляпина, композиторов

А. Аренского и С. Танеева; государственных деятелей — П. Столыпина, Н. Семашко, А. Луначарского и многих других). Автор не кичится знакомством с ними, не преувеличивает близости отношений к ним, но подмечает в них то, что не увидели другие. Любопытны эпизоды студенческой жизни тех лет, с характеристикой профессоров Московского университета (Н. В. Бугаева, В. Я. Цингера, Б. К. Млодзеевского, А. Н. Реформатского, Н. А. Умова, П. Н. Лебедева, князя С. Н. Трубецкого, протоиерея Н. А. Елеонского), распорядка учебных занятий, увлечений и культурного досуга учащейся молодёжи (участие в студенческом симфоническом оркестре и оркестре Общества любителей оркестровой, вокальной и камерной музыки, археологической экспедиции в составе студенческого историко-филологического общества под руководством князя С. Н. Трубецкого и т. п.).

Множество наблюдений за нравами и бытом современников складываются в яркую привлекательную картину, создающую впечатление духовно уравновешенного бытия близкой автору среды, где ценились ум, честность, талант, доброта. Читатель, заинтересованный этим во многом утраченным нами миром, получит редкую возможность довольно долго следить за развертыванием нетривиального рассказа о судьбе видного русского интеллигента.

Необходимо учитывать, однако, что воспоминания В. Д. Зёрнова создавались по прошествии значительного времени после описываемых событий. Не исключено, что при этом Владимир Дмитриевич пользовался не только тайниками своей памяти, но и разнообразными материалами семейного архива, в частности, сохранившейся за многие годы личной и деловой перепиской. Во всяком случае, готовя рукопись воспоминаний к публикации и сверяя содержащиеся в ней фактические данные с другими имеющимися доступными источниками, невольно ловишь себя на мысли, как точно и полно воспроизводит автор многочисленные имена, факты и события, причём многолетней давности. Но, справедливости ради, следует отметить, что отдельные неточности и огрехи (иногда весьма существенные), характерные для мемуарного жанра в целом, в публикуемых воспоминаниях всё же встречаются. Необходимые в таких случаях пояснения приводятся в специальном комментарии, помещённом в конце авторского повествования.

Рассматриваемый источник охватывает период с конца 70-х годов XIX века до начала Великой Отечественной войны включительно. Каждая из десяти частей (тетрадей) представленных воспоминаний имеет собственные, строго очерченные хронологические рамки. При этом важно знать, что датировка первых четырёх тетрадей (начиная со второй и заканчивая пятой) дана самим автором, а все последующие — публикатором. Как указывалось выше, смерть помешала В. Д. Зёрнову полностью завершить работу над воспоминаниями. Так, не отражённым в рукописи осталось множество проблем, связанных с трудностями и невзгодами военного лихолетья, фактической основой для чего вполне мог бы стать путевой журнал, который Владимир Дмитриевич вёл в период эвакуации в Новосибирск. Кроме этого, внезапная смерть не позволила мемуаристу полностью завершить и ряд необходимых в подобных случаях авторских операций: тщательно скомпоновать и отредактировать текст рукописи,

исключив из него многочисленные повторы фактического порядка, а главное — озаглавить его в целом. Настоящее название — «Записки русского интеллигента» — было предложено уже публикатором и возникло оно при первом же внимательном прочтении рукописи этих воспоминаний в процессе работы над их журнальной публикацией.

Не успел В. Д. Зёрнов осуществить и своё намерение разделить общий текст на отдельные главки с присвоением им самостоятельных названий. В авторском оригинале потенциальные главы, хотя и выделены своеобразным образом, в большинстве случаев так и остались безымянными. Лишь незначительная их часть (начиная с шестой тетради и далее до конца) были озаглавлены непосредственно самим автором. В настоящем издании авторские варианты названий глав выделены звёздочками, а те из них, что в силу разных причин подверглись редакторскому вмешательству, полностью даются только в соответствующих разделах комментариев.

При подготовке воспоминаний В. Д. Зёрнова к печати была проведена их тщательная дополнительная текстовая сверка с рукописным оригиналом, учтены и зафиксированы все встречающиеся в нём авторские ремарки, равно как и уточняющие замечания, сделанные рукой его жены Е. В. Зёрновой. Окончательный издательский текст содержит ряд исправлений в вопросах орфографии и пунктуации (в большинстве случаев они приведены к современным нормам). В отдельных случаях был изменён порядок глав и абзацев, поскольку мемуарист не всегда был последователен в своих записях.

В отличие от первой журнальной публикации, настоящее издание содержит разнообразный научно-справочный аппарат, состоящий из содержательно и информативно насыщенных комментариев.

Настоящее издание завершает аннотированный именной указатель, в котором даются сведения, отражающие связь упоминаемых лиц как непосредственно с жизнью и деятельностью мемуариста, так и с тем историческим временем и событиями, свидетелем или участником которых он являлся. Исключение составили лишь персоналии, указываемые в библиографических описаниях.

Приведённые в настоящем издании тексты воспоминаний, писем и других источников из личного архива учёного, печатаются по оригиналам, хранящимся в Коллекции документов по истории Саратовского университета В. А. Соломонова (Саратов). Встречающиеся сокращения раскрываются в квадратных скобках. Аналогичным образом отмечены и отдельные купюры, которые по воле М. В. Зёрновой не вошли в окончательно подготовленный для сдачи в издательство текст. В основном — это сведения личного характера, касающиеся исключительно членов семьи Зёрновых.

В заключение хочется воспользоваться случаем высказать пусть и запоздалую, но искреннюю благодарность дочери учёного Марии Владимировне Зёрновой, сохранившей уникальный семейный архив и его главную ценность — рукопись воспоминаний отца. Не могу не выразить признательность и всем тем, кто на протяжении более десяти лет принимал живое и действенное участие в подготовке и осуществлении настоящей публикации: лауреату Нобелевской премии

академику РАН В. Л. Гинзбургу, депутату Государственной Думы РФ, доктору политических наук А. Г. Черныпову, учёному секретарю Санкт-Петербургского института истории РАН, кандидату исторических наук Б. Б. Дубенцову, профессорам и доцентам Саратовского университета: доктору исторических наук И. В. Пороху, доктору филологичееких наук И. Н. Горелову, кандидату исторических наук В. Г. Миронову и доценту Е. К. Максимову, заведующей отделом редких книг и рукописей Зональной научной библиотеки им. В. А. Артисевич СГУ Н. А. Попковой, а также бывшим сотрудникам редакции литературно-художественного журнала «Волга» — С. Г. Боровикову и В. Н. Панову.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Письмо Н. Е. Осокина Е. В. Зёрновой от 16 октября 1946 г. // Личный архив В. Д. Зёрнова, входящий в состав Коллекции документов по истории Саратовского университета В. А. Соломонова (Саратов) (далее — Коллекция В. А. Соломонова).

2 Письмо Н. Е. Машковцева В. Д. Зёрнову от 19 августа 1946 г. // Коллекция В. А. Соломонова.

3 Цит. по: Ректоры Московского университета (Биографический словарь) / Сост. В. В. Ремарчук. — Справ.-информ. сер. «Московский университет на пороге третьего тысячелетия». М., 1996. Вып. 11. С. 117.

4 Цит. по: Ректоры Московского университета... С. 117.

5 Любимов Н. А. Речь на торжественном заседании Совета Императорского Московского университета, посвящённая памяти профессора Н. Е. Зёрнова. 12 января 1864 г. // Коллекция В. А. Соломонова.

6 Там же.

7 Там же.

8 Копия протокола заседания Московского Дворянского Депутатского Собрания, состоявшегося 13 июня 1852 г., о внесении Е. И. Машковцева с женою и детьми в Дворянскую родословную Книгу Московской губернии // Коллекция В. А. Соломонова.

9 См.: Летопись жизни и творчества А. И. Герцена. 1812—1850. М., 1974. С. 59, 64, 78.

10 См.: Зёрнов В. Д. Учитель и друг // Тр. ИИЕТ. Т. 28: Ист. физ.-матем. наук. М., 1959. С. 111.

11 Письмо Н. П. Кастерина П. Н. Лебедеву от 22 ноября 1901 г. // Научная переписка П. Н. Лебедева. (Научное наследство; Т. 15). М., 1990. С. 190.

12 Письмо П. Н. Лебедева Н. П. Кастерину от 14/2, XII [описка; надо — 14 января] 1901 г. // Там же. С. 193.

13 Письмо В. Д. Зёрнова Е. В. Власовой от 16 июня 1905 г. // Коллекция В. А. Соломонова.

14 Зёрнов В. Д. Записки русского интеллигента // Волга. 1993. № 8. С. 138—139.

15 Труды Общества любителей естествознания. Т. XII. Вып. II (Известия Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Т. CVII. Вып. II). М., 1904. С. 41, 42.

16 Коллекция В. А. Соломонова.

17 См.: Dvořák V. Bemerkung zu der Arbeit von W. Zernov: Über absolute Messungen der Schallinensität // Annalen der Physik. 1907. B. 22. P. 606—608.

18 Отзыв члена-корреспондента АН СССР Н. Н. Андреева о научных работах профессора В. Д. Зёрнова от 6 декабря 1937 г. // Коллекция В. А. Соломонова.
19 Письмо А. К. Тимирязева М. В. Зёрновой от 3 октября 1946 г. // Коллекция В. А. Соломонова.
20 Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1993. № 8. С. 127.
21 Подробнее см.: Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1993. № 10. С. 109–120.
22 Письмо П. Н. Лебедева П. И. Митрофанову от 25 октября 1908 г. // Научная переписка П. Н. Лебедева.... С. 286–287.
23 Там же. С. 287.
24 Подробнее см.: Соломонов В. А. Императорский Николаевский Саратовский Университет: История открытия и становления (1909–1917). Саратов, 1999. С. 21–42.
25 Письмо П. Н. Лебедева Н. Н. Шиллеру от ? мая 1909 г. // Научная переписка П. Н. Лебедева.... С. 292–293.
26 Письмо В. Д. Зёрнова Е. В. Зёрновой от 30 апреля 1911 г. // Коллекция В. А. Соломонова.
27 Письмо В. Д. Зёрнова Е. В. Зёрновой от 17 июня 1914 г. // Там же.
28 Речь не установленного лица на траурной панихиде по случаю смерти В. Д. Зёрнова. 3 октября 1946 г. // Там же.
29 Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1994. № 3–4. С. 125.
30 Справка Управления КГБ СССР по Саратовской области от 9 октября 1990 г. № 4 // Коллекция В. А. Соломонова.
31 Там же.
32 Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1994. № 5–6. С. 122.
33 A Russia Civil War Diary. Alexis Babine in Saratov. 1917–1922; Ed. by D. Raleigh. Duke University Press. Durham and London, 1988. P. 180.
34 Справка Управления КГБ СССР... от 9 октября 1990 г.
35 Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1994. № 5–6. С. 126–127.
36 Письмо С. Н. Чернова С. Ф. Платонову от 11 марта 1926 г. // Чернов С. Н. Павел Пестель: Избранные статьи по истории декабризма / Сост., вступ. статья и комментарии Т. В. Андреевой, В. С. Парсамова. Отв. ред. А. Н. Цамутали. СПб., 2004. С. 259.
37 Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1994. № 5–6. С. 130.
38 Коллекция В. А. Соломонова.
39 Письмо не установленного лица В. Д. Зёрнову от ? сентября 1936 г. // Коллекция В. А. Соломонова.
40 Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1994. № 7. С. 136.
41 См.: Зёрнов В. Д. Табличный и механический гармонический анализ (Таблицы Циппера и гармонический анализатор О. Мадера) // Труды МИИТ. 1926. № 2. С. 5–16.
42 Там же. С. 15–16.
43 Там же. С. 11, 16.
44 См.: Зёрнов В. Д., Брянцев П. А. К вопросу о звукопроводимости строительных материалов // Труды МИИТ. 1929. № 10. С. 265–272; Они же. Определение теплопроводности некоторых строительных материалов // Там же. С. 279–285.
45 Девильковский [М. А.], Рытов [С. М.]. Рецензия на учебник физики профессора В. Д. Зёрнова. Машинопись. Л. 1, 13 // Коллекция В. А. Соломонова.
46 Ответы тов. Зёрнова на замечания, данные в рецензии т. т. Девильковского и Рытова. Машинопись. Л. 13 // Там же.
47 Цит. по: Андреев А. В. Физики не шутят. Страницы социальной истории Научно-исследовательского института физики при МГУ (1922–1954). М., 2000. С. 36.

48 В настоящее время личный архив В. Д. Зёрнова входит в состав частной Коллекции документов по истории Саратовского университета В. А. Соломонова (Саратов), открытой и доступной для любого серьезного исследователя.

49 Зёрнов В. Д. Воспоминания. Рукопись. Тетрадь 1 // Коллекция В. А. Соломонова.

50 См.: Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1993. № 7–11; 1994. № 2–7.

51 Герцен А. И. Собр. соч. В 30-ти томах. М., 1956. Т. VIII. С. 405.

52 Зёрнов В. Д. Записки... // Волга. 1993. № 7. С. 119.

53 Герцен А. И. Собр. соч. М., 1956. Т. VIII. С. 290.

В. А. Соломонов

ЗАПИСКИ
РУССКОГО
ИНТЕЛЛИГЕНТА

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ[1]

Милый мой внучек Алёшенька! Тебе будет интересно, когда ты вырастешь большой, узнать, как рос и жил твой дедушка, с которым ты провёл неразлучно первые годы своей жизни. Мне хочется, чтобы ты знал, кем были и твои прадедушка с прабабушкой, другие твои родственники.

Когда я начал вспоминать своё детство и отрочество, то захотелось записать многие подробности, которые, может быть, и лишние и интересны только мне самому. Возможно, я и в самом деле написал много лишнего, но мне трудно было выбирать, что стоит писать, а что не стоит. В первой тетради я записал только свои детские и отроческие годы. В следующей — год за годом продолжил вспоминать свою юность. Мне хочется рассказать тебе о том, как я провёл студенческие годы и о начале самостоятельной жизни: как встретился с твоей бабушкой, как стал профессором Саратовского университета. Словом, мне хочется вспомнить всю свою жизнь. Я пережил тяжёлые годы войн и революций, встречал много интересных людей и у нас на родине, и за границей. Думаю, всё это тебе будет интересно. Ведь ты любишь своего дедушку.

Крепко тебя целую, твой дедушка

Вл. Зёрнов.

Москва
2 ноября 1944 года.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
(1878—1897)

Немного о семье

Родился я 1 мая (по старому стилю) 1878 года в Москве в семье потомственных дворян Зёрновых. Мой отец, Дмитрий Николаевич, сын профессора математики Московского университета, был также известным учёным[2]. Все врачи нашего времени считали его своим учителем. Они или непосредственно учились у него в Московском университете, где он, будучи профессором, с 1869 года до своей кончины в 1917-м читал лекции по анатомии, или занимались по его знаменитому руководству «Анатомия Зёрнова», выдержавшему немало переизданий[3].

Моя мама, Мария Егоровна, урождённая Машковцева, из города Вятки. Её знакомство с моим отцом произошло совершенно случайно. Проживая одно время в деревне Мазилово, она, купаясь в тамошнем пруду, стала тонуть. Её удалось быстро вытащить из воды и откачать, но после всего случившегося она сильно захворала. Врачей в Мазилове не нашлось, и к больной пригласили «молодого профессора», жившего на даче в соседней деревне. Им оказался Д. Н. Зёрнов. Памятуя «факультетское обещание», запрещавшее врачу отказывать во врачебной помощи, он стал лечить случайную пациентку, хотя практикой вообще не занимался[4]. Когда же больная поправилась, он сделал ей предложение выйти за него замуж. Они обвенчались 8 ноября 1870 года в Москве и прожили вместе более сорока лет.

У родителей было пятеро детей: дочь и четыре сына — Вячеслав, Дмитрий, я и младший Алексей. Старшей была дочь Наталья. Из детей в живых остались только я и Наташа. Слава умер до моего рождения в 1877 году от воспаления мозга, в 1886 году пяти лет от роду умер от скарлатины Алёша, а спустя три года в возрасте тринадцати лет, уже гимназистом, от воспаления мозга скончался Митя.

Отчётливо помню, как тяжело переживали родители смерть своих детей. Возможно, это общее горе ещё больше, чем радости, сближало их. Всё внимание и любовь они сосредоточили теперь на мне, единственном оставшемся сыне, что, конечно, отразилось и на моём характере, и на моём отношении к моей семье и к моему делу.

За несколько дней до моего рождения папа купил в Серпуховском уезде, в 10 верстах от станции Лопасня Курской железной дороги, усадьбу с красивым названием — Дубна. Дом был просторный, двухэтажный, но его сейчас же пришлось чинить, так как крыша была тесовая и в дождь текла, как решето. Дом отремонтировали и покрыли железом.

В Москве родители жили со своей свадьбы в казённой квартире на Никитской улице, в доме, на месте которого теперь помещается университетский зоологический музей[5]. В этой квартире, в которой мы прожили до 1898 года, я и родился. Крестили меня в Москве, но уже четырёх недель от роду перевезли в Дубну.

Это была дача, но довольно большая — 10 десятин. При доме имелся тенистый липовый парк, там росло несколько громадных старых елей, по-видимому, остатки более старого парка, посаженного в тридцатых годах XIX столетия. Наша соседка А. М. Шнейдер помнила его ещё совсем молодым, постриженным по тогдашней моде в сороковых годах. Рядом с домом находилось два пруда — один выше другого. Нижний был сравнительно большим и чистым — в нём мы всегда и купались. За ним тянулась аллея из больших ёлок, откуда открывался вид на дом и парк, — это место у нас называлось «point»[6]. За малым прудом стояли кое-какие хозяйственные постройки: скотная изба со скотным двором, конюшня, сарай. В огороде, вначале совершенно запущенном, росло несколько задичавших яблонь.

О том, как отмечались мои именины

По рассказам старших, в первое моё лето в Дубне дождей было много, в верхнем этаже бегали и подставляли вёдра и корыта — протекало во многих местах. Мама неожиданно для себя вспомнила, что 15 июля — день Святого Владимира, мои именины; она тут же велела сварить шоколад и предложила пить его на «point». Все удивились — что за фантазия? Но мама, смеясь, отвечала, что она таким образом желает отпраздновать день именин.

Впоследствии в этот день вдоль большой аллеи парка в 50 саженей длиной, которая шла прямо от дома, мы устраивали иллюминацию. По обе стороны аллеи развешивалось около сотни разноцветных бумажных фонариков, а посредине аллеи, на площадке, окружённой елями, папа устраивал люстру — на венке из дубовых веток закреплялись цилиндрические бумажные фонарики и большой китайский фонарь внутри самого венка. Это красочное сооружение на верёвке, перекинутой через еловые ветви, поднималось над площадкой. Мне до сих пор, хотя я видел роскошные иллюминации, например, при коронации в Москве[7] или на Всемирной выставке в Париже — Версале в 1900 году, наша иллюминация представляется самой красивой — два ряда пёстрых фонариков казались уходящим далеко-далеко освещённым коридором и над ним красивая люстра!

С вечера накануне уже начиналось приготовление. Перед вечером 14 июля надо было идти в церковь к «батюшке» — местному священнику — и заказывать обедню. Обряд этот являлся чистой формальностью. Батюшка и сам прекрасно знал, что в этот день непременно служится обедня.

Рано утром 15-го в доме пахло сдобным печеньем — мои именины всегда отмечались печением громадного сдобного кренделя. Пахло и дубовыми листьями — родители плели большой дубовый венок, который раскладывался на столе, покрытом белой скатертью; в середине венка красовался крендель и другие подарки. Характер подарков сообразно возрасту изменялся. Однажды около кренделя среди других подарков я нашёл настоящий отличный топор. Необычный подарок привёл меня в особенный восторг, и я непременно хотел разрубить им праздничный крендель. Но кто-то из старших сказал мне, что если так сделаю, то и топор, и крендель на меня будут в обиде: крендель за то, что его рубили топором, а топор — что им рубили крендель. Это шуточное замечание запомнилось мне на всю жизнь и, несомненно, имело какое-то

символическое значение. Средства всегда должны соответствовать действиям и ожидаемым результатам.

Кроме нашей семьи, прихожан в церкви в этот день не бывало, и это производило впечатление исключительности события. После обедни и молебна священник выносил крест, и мы к нему прикладывались. Тогда же родители приглашали батюшку и матушку «кушать чай». И вскоре после обедни, по-праздничному одетые, они приходили к нам. На столе кипел пузатый самовар, для батюшки, большого любителя выпить, стояли водка и закуска. Матушка тоже от рюмочки не отказывалась, что меня крайне удивляло. Ведь у нас и папа-то пил только лёгкое виноградное вино, а водку подавали лишь косцам после работы да гостям в обед. И «дамы» тогда водки не пили.

Днём мы снаряжали фонарики — для этого десятериковые свечи (10 штук за фунт) резали пополам, проверяли на липах гвоздики для фонариков, а папа из венка, лежавшего утром на именинном столе, сооружал люстру.

Позднее, когда я уже не был ребёнком, у нас установился обычай в день моих именин угощать деревенских детей. В Лопасне у Прокина закупались различные гостинцы — леденцы, орехи, пряники, баранки. Ребята же с утра маячили недалеко от дома. И когда выносился стол и на нём выгружались соблазнительные гостинцы, то около него сразу собиралась изрядная толпа ребятишек; подростки приносили на руках чуть ли не грудных детей, и все оделялись поровну. Распределяла гостинцы жившая у нас всю жизнь Настя или, как называли её мы, дети, «Кусенька»[8]. Конечно, присутствовали и мы с мамой.

Вечером на иллюминацию приходила молодёжь повзрослее и, прячась сначала в темноте парка, осмелев, собиралась под люстрой. Водили хоровод, танцевали «мятелицу» и пели величание.

Когда я был гимназистом и студентом, к 15 июля съезжались мои товарищи: Рахмановы, Померанцевы — и у нас было шумно и весело.

Наше дубненское хозяйство

Папа любил хозяйничать[9], и на нашем участке было организовано семипольное хозяйство на 3 $^1/_2$ десятинах, держали 5 коров, до 6 лошадей. Лошадей я помню особенно. Первым был куплен Рыжий — он считался Наташиным, она на нём ездила верхом, конечно, на дамском седле. Вторым был Кролик — на нём верхом ездил папа. Мы, мальчики, из-за малого возраста верхом ещё не ездили. Старшему брату Мите его крёстная Марья Карловна подарила осла, которого она купила в Зоологическом саду за 25 рублей, — на нём мы и катались верхом. Звали его Малышка — это был довольно большой и упрямый осёл.

Покупку третьей лошади — Атамана помню очень хорошо, так как на ярмарку в Серпухов папа взял Митю и меня. До Серпухова было 25 вёрст. Отправились мы накануне девятой пятницы (девятая пятница после Пасхи) и ночевали в гостинице, а рано утром пошли на ярмарку и подобрали подходящую по росту и масти лошадь.

Заплатили за неё, если не ошибаюсь, 70 рублей. Ярмарка была не очень богатая, но всё же характерная годовая ярмарка уездного города. Продавался скот, продавались колёса, телеги, был и ряд красных товаров, а также палатки с гос-

тинцами. Было много цыган с лошадьми, но мы их старались избегать, и лошадь купили у русского крестьянина.

Атаман стал общей моей с братом Митей лошадью. Ходил он и в пристяжке, но на тройке мы никогда не ездили. Почему-то папа не любил упряжку тройкой, так что мы всегда ездили на паре с пристяжкой (с отлётом), если закладывали тарантас, а если была лёгкая клетушка, то закладывали одну лошадь.

Когда мне исполнилось лет десять, мамин брат Егор Егорович прислал в Москву из Вятки тройку вяток. Я хворал воспалением лёгкого и не вставал с постели, но для такого случая меня на руках поднесли к окну, и на дворе я увидел тройку жёлтеньких лошадок с чёрными гривками и чёрными хвостами и такими же чёрными ремешками вдоль спины — это были коренник Кондуктор, левая пристяжная Керемет и правая пристяжка Красавчик. Лошадей привёл кучер дяди Егора — Василий, который всем нам очень понравился, и Кондуктор в честь него был переименован в Ваську.

Красавчика тут же в Москве продали за 100 рублей, так как опять папа не хотел ездить на тройке, а Васька с Кереметом некоторое время оставались в Москве. Купили шарабан и запрягали поодиночке молодых лошадок. Они были довольно бойкие и не очень послушные. Наш родственник Н. Н. Эсаулов, уверяя, что хорошо может ездить на любой лошади, решил как-то доказать нам своё умение: запряг Керемета, ходившего раньше только в пристяжке, и поехал. Но Керемет, видимо, испугавшись городского шума и грома колес по мостовой, подхватил по Газетному переулку и на Никитской въехал в булочную. Вскоре после этого происшествия пару вяток отправили в Дубну, и они служили там очень долго.

Потом появились другие — Гнедок, Бурчик... Про одну хочется рассказать особо. Я был уже гимназистом, должно быть, VII класса, когда папа купил мне верховую лошадь, принадлежавшую некогда офицеру Сумского полка. Это была очаровательная тёмно-коричневая лошадка. По аттестату её звали Конфетка, но маме это имя не нравилось, и она назвала её Диной. В Москве Дина стояла в манеже Лемана около Большой Бронной, и я ездил в манеже, где меня и Дину дрессировал старик берейтор[10], которому, напротив, не нравилось имя Дина, и он говорил: «Какая ж она Дыня? Настоящая Конфетка». На Дине я ездил и по улицам Москвы, иногда и за город. На улицах она нередко капризничала. Например, ни за что не хотела идти по асфальту, вероятно, принимая его за лёд и боясь поскользнуться. Как-то я всё-таки решил настоять на том, чтобы она пошла по асфальту, которым был покрыт Пречистенский бульвар. Я думал, она не заметит асфальта, если я поеду скоро; я поднял её в короткий галоп, но как только она доскакала до края асфальта, резко остановилась, а я вылетел из седла, но я был уже хорошо выдрессирован и встал прямо на ноги. Пришлось признать себя побеждённым и объехать асфальтированное место кругом переулками.

Лопасненский район славился белыми грибами, и, действительно, в парке нашем и в ближайших лесах грибов бывало много. Ходить по грибы для нас было любимым развлечением. Их мы всегда набирали множество, они постоянно появлялись за столом в самых разнообразных видах: их сушили, отваривали и

мариновали в запас на всю зиму. Настя (Кусенька) была большой мастерицей приготовлять маринованные грибы. Они у неё непременно выходили и очень вкусными, и красивыми. Устраивали мы и пикники. Закладывали линейку, забирали самовар и еду и отправлялись куда-нибудь в лес, где была вода; там ставили самовар и, расстеливши на земле скатерть, пили чай и закусывали. Излюбленным местом для таких пикников был Беляевский овраг — он и находился недалеко, и красотой отличался завидной. Один из пикников, кончившийся не совсем обычно, опишу подробнее.

Верстах в 6—7 от Дубны в сторону к Наре был дубовый лес — Фролова роща. Родители сговорились с ермоловскими помещиками Шнейдерами, семьёй профессора Шереметевского из Кулакова, Расцветовыми из Пешкова, кажется, были и Мантейфели из Вихрова, и все съехались к лесной сторожке во Фролову рощу. Место чудесное — столетние дубы, прекрасная ключевая вода. Я и сестра ехали верхом, остальные на линейке. Весело гуляли, пили чай и не заметили, как стало вечереть и надвинулась грозовая туча. Все заспешили засветло добраться домой. Пока мы закладывали и седлали лошадей, туча успела заволочить почти всё небо, а когда выехали из рощи, начался дождь, засверкала молния и загремел гром. Мама настояла заехать в ближайшую деревню и переждать. Так и сделали. Но время шло, а дождь не прекращался. Между тем совсем стемнело. Решили, несмотря на дождь (гроза уже прошла), всё же отправиться домой. Шагом по просёлочной дороге, под дождём, в полной темноте мы выбрались из деревни, и вскоре выяснилось, что потеряли дорогу. Наугад двигались дальше. Дождь окончательно промочил гимназическое пальто, которое было на мне, и вода струилась уже внутри по рукавам.

Мы отпустили поводья, предоставив лошадям идти по собственному усмотрению. Они шли, шли и, наконец, остановились. Оказалось — перед нами канава. Кучер слез, кое-как перетащил через канаву лошадей с линейкой, а все ехавшие перебрались пешком. Я тоже перевёл своего Керемета в поводу. Стали осматриваться и не так далеко заметили огонёк. Отправились на него и всё ещё под дождём добрались до небольшой усадьбы в Горелом Болоте — верстах в 3—4 от Дубны. Мы промокли до костей и решили постучаться в дом — попросить приюта. Нас встретили весьма радушно. Мы остановились в доме полицейского, семья которого совсем недавно купила здесь небольшое именьице, — может быть, поэтому мы их и не знали. Хотя было уже поздно, хозяева поставили самовар, дали нам кое-какое сухое платье, и мы просидели у них до поздней ночи. Наконец дождь перестал, тучи разорвались, взошла луна, и мы выехали и благополучно добрались под утро домой.

Ездили мы гулять и на мельницу «Бутырки» на Наре, и на Иванову Гору, и в Хлевино, где когда-то на берегу Лопасни возвышался большой дворец графов Головкиных[11] и имелась целая система каналов и прудов. Говорят, всё это было сделано владельцами для приёма Петра I. Но был ли там Пётр, неизвестно. Дворец впоследствии был разрушен, пруды спущены. Из камня, как рассказывают, были построены церкви в Хлевине и Дубне. При нас ещё выкапывали камень фундаментов, а некоторые украшения былого величия лежали у нас на усадьбе. До сих пор цела каменная львиная голова, которая лежала на крайней

дорожке в парке (по ней аллея называлась Львиной). Сохранились и следы хлевинских прудов и каналов, Курган, на котором мы и располагались с пикниками и с которого мы, дети, катались кубарем.

Лошадям и коровам на зиму сена с усадьбы не хватало и для покоса нанимали луг под Ауловом, километрах в двух от усадьбы, и десятины под Мокрым лесом — за нашим парком. Крестьяне охотно подённо убирали покос — для них это был заработок. Они очень любили брать вперёд под работу, так что недостатка в косцах или бабах, которые сушили и убирали готовое сено, никогда не было. Мы особенно любили забираться на сено в сарае, а когда его убирали, ездить на возах.

Косцы, возвращаясь с покоса перед полуднем и вечером, подходили к балкону, и мама или папа наливали им по стаканчику водки, а закусывали они густо посоленным чёрным хлебом. Непьющие получали на пятачок в полдня больше пьющих. Бабы и девушки, когда шли с покоса, орали песни, и им по вечерам устраивали чай с сахаром и хлебом. И хотя угощение было скромное, после жаркого дня все очень интересовались чаепитием на нашем дворе. Для этого случая около дома под липами стоял постоянный стол, за которым и наша, тогда многочисленная прислуга любила обедать и пить чай.

Хозяйство было, собственно, потешное, и, вероятно, если посчитать всё, что с него получалось, убыточное (то же самое дешевле было купить на рынке, на котором имелось всего много и всё было дёшево), но все интересовались и молоком от своих коров, и маслом, которого собиралось много — кладовая была полна горшками с чудесным топлёным маслом, и я, будто сейчас, помню, как приходила утром кухарка и железной ложкой выгребала из горшка масло в таком количестве, которое теперь показалось бы просто преступным.

Осенью привозили в Москву овощи на всю зиму и приводили дойную корову. Много заготовлялось варенья самых разных сортов. Несмотря на то, что никто себе ни в чём не отказывал и к чаю непременно подавалось два сорта варенья, не было года, чтобы до новых ягод все запасы были съедены. А какую телятину присылали из Дубны! Я потом такой во всю жизнь не едал и не видывал.

Каких-нибудь особых красот в Дубне не было, да и в нашей жизни ничего особенного не происходило, но летние месяцы, проведённые тогда в Дубне, теперь представляются мне «золотым детством».

Рождественские праздники и первые шаги в музыкальный мир

Из детских лет вспоминается мне также, как праздновалось у нас Рождество, или, как говорили мы, дети, ёлка.

До вечера сочельника[12] видеть ёлку нам не полагалось. Родители сами покупали большое дерево, устанавливали его посреди залы и сами же украшали, а нас в залу уже не допускали. Часов в восемь вечера в сочельник старшие приходили из церкви, мы же ожидали их в соседней с залой столовой, причём света в ней не зажигали. И когда приготовления заканчивались, двери из столовой в залу отворялись и перед нами представала вся в огнях красавица ёлка.

Главным её украшением служили множество белых восковых свечей и искрящийся в живом свете золотой дождь. На самой вершине красовалась традицион-

ная звезда. Остальное украшение составляли почти исключительно гостинцы: яблоки, мандарины, пряники, золочёные орехи, гирлянды из леденцов; под ёлкой непременно лежали подарки.

Никаких гостей в сочельник не было — это был семейный праздник. Позднее — на второй, на третий день — приглашались знакомые, в основном мои приятели, которые тоже получали гостинцы и разные рождественские подарки. Но мы, дети, ценили главным образом ёлку в сочельник; её появление после мрака тёмной столовой в полном наряде, запах свежего хвойного дерева, горящих восковых свечей — всё производило поистине волшебное впечатление.

Однажды, мне было лет 8–9, на Рождество, конечно, не в сочельник, мы с братом Митей и наши маленькие друзья исполняли под ёлкой знаменитую Kinder-Simfonie Гайдна, написанную им для детского исполнения. В состав нашего оркестра входили: фортепиано, две скрипки и игрушечные инструменты — кукушки, соловей, перепел, детская труба, маленький барабан и что-то ещё. Набор этих инструментов продавался у Циммермана[13]. Всё это предприятие затеял отец моих друзей Рахмановых[14], он и хлопотал по доставанию инструментов и организации концерта. По свидетельству старших, игра нам удалась. Я исполнял скрипичную партию.

Мне было 7 лет, когда мы с братом Митей начали брать уроки на скрипке. Ещё раньше мы оба брали уроки на фортепиано, и Митя уже играл довольно порядочно. Этому способствовало и то, что наша мама очень хорошо играла на рояле — она являлась ученицей Дюбюка, так что с раннего детства я слушал сонаты Бетховена. Мама любила играть вечером, а спать нас укладывала тётя Катерина Егоровна[15], и мы засыпали под звуки чудесной мелодии, доносившейся в детскую из зала, где стоял рояль Штюрцвале, доживший в Дубне до войны 1941 года и исковерканный ребятами во время нашей эвакуации в Новосибирск[16].

С осени 1885 года мы, дети, ходили к Рахмановым, жившим в одном с нами доме, когда у них играли квартет. В. А. Рахманов был неплохим виолончелистом. Нам очень нравилось слушать скрипку. Первую скрипку в квартете у Рахманова играл доктор Н. В. Даль, впоследствии известный московский гипнолог.

Мы попросили родителей, чтобы на ёлку нам подарили настоящую скрипку, и в сочельник действительно обнаружили под ёлкой желаемый подарок — скрипку со смычком. Это был инструмент в $^1/_4$ обычной величины.

Вскоре с мамой и В. А. Рахмановым мы отправились к К. А. Кламроту. Карл Антонович согласился обучать нас обоих, назначил уроки два раза в неделю и плату за двоих 20 рублей в месяц. И взглянув на меня напоследок, произнёс:

— Ach dieses ist zu Klein![17]

Ощупав затем мой большой крахмальный отложной воротник, надевавшийся лишь в торжественных случаях, добавил, что в таком воротнике играть на скрипке нельзя. С тех пор я расстался с моим торжественным облачением.

Уроки пошли удачно. С нами на урок ходила тётя Катерина Егоровна, она также следила за нашими занятиями дома. Начали мы заниматься по школе Берио и вскоре уже играли мелодии из этой школы. Для Мити у самого Кламрота купили скрипку немного побольше, чем у меня. Помнится, заплатили за неё 9 рублей.

Вторую мелодию Берио Карл Антонович велел мне выучить уже наизусть. На следующем уроке я принялся исполнять её без нот, но посредине забыл, остановился и пустился в рёв. Кламрот не рассердился, однако далее, до моих студенческих лет, не заставлял меня учить наизусть ни одно произведение. Эта поблажка привела к тому, что я так и не научился учить наизусть музыкальные произведения и впоследствии готовиться к публичному выступлению мне было весьма затруднительно. И чтобы быть вполне уверенным, я добивался полного автоматизма. Например, первую часть концерта Мендельсона для исполнения со студенческим оркестром я вызубрил так, что клал на пюпитр книгу, читал её, а сам автоматически играл концерт.

Смерть брата Алёши. Поездка в Крым

Захворала скарлатиной дочь няньки Елены — Маша, её отвезли в больницу, а платье из больницы Елена привезла обратно в нашу квартиру. Через несколько дней заболел мой младший брат Алёша. Меня с Митей отделили и поселили в другой квартире на том же университетском дворе. Каждый день к окну нашей комнаты подходил папа навестить нас и сообщить, что делается дома. И вот однажды утром он сказал, что Алёша умер. Я кинулся на пол и горько заплакал.

Мама сильно тосковала, и, чтобы хоть немного отвлечь её от грустных мыслей, папа решил всей семьёй поехать в Крым. Несмотря на то, что это было 58 лет назад, многие картины из этого моего первого большого путешествия стоят передо мной как живые.

Мы отправились следующим составом: папа, мама, тётя Катерина Егоровна, Наташа, Митя, я и подруга Наташи — Клавдия Сергеевна Сергеева, которая воспитывалась в нашей семье и из нашего дома потом вышла замуж. Садились мы в поезд со станции Лопасня. Папа заранее ездил в Москву, взял билеты и, хотя скорый поезд вообще на Лопасне не останавливался, по просьбе отца его остановили и мы забрались в вагон второго класса. Тогда прямых поездов от Москвы до Севастополя не было. До Курска дорога была казённая, по ней спальные вагоны не ходили, скамеечки в вагоне второго класса были мягкие, но короткие, как в дачном вагоне. Ночь мы провели в этом вагоне, а дальше шла дорога Курско-Харьковская, принадлежавшая частной компании, так что мы должны были пересаживаться. Тут я первый раз увидал вагоны с длинными спальными местами. Дальше — опять дорога, но только другого общества — Лозово-Севастопольская, однако вагона мы, кажется, уже не меняли.

Перед самым Севастополем поезд нырял в туннели — их там пять или семь, и, наконец, когда мы из полной темноты вынырнули на свет, перед глазами расстилалась синяя бухта и виднелись красавцы военные корабли: два броненосца, которые по фамилии инженера, их строившего, назывались «поповками»[18], крейсер «Память Меркурия» и только что спущенный на воду броненосец «Чесма», ещё не вполне законченный. Картина синей бухты с кораблями и сейчас стоит перед глазами. Подробности о военных кораблях мы узнали позднее.

В Севастополе тогда работал по постановке машин на новых броненосцах мамин двоюродный брат Вадим Павлович Аршаулов[19]. Он-то и возил нас на «Чес-

му», были мы и на постройке броненосца «Синоп», который стоял в лесах на берегу. Вадим Павлович выхлопотал для нас разрешение осмотреть крейсер «Память Меркурия». Мы на лодке подъехали к его трапу, и офицер показывал нам помещения и вооружение крейсера.

Остановились мы в гостинице Ветцеля. Из неё я особенно запомнил веранду, на которой мы обедали и по краю которой в кадках были расставлены большие цветущие розовые азалии. Приехали мы в Севастополь в конце старого августа. У папы были свежи воспоминания об обороне Севастополя 1855 года, и имена Нахимова, Корнилова и других героев нам были хорошо знакомы. Помню, какое почтение вызывал маленький белый Георгиевский крестик, вырезанный из кости черепа Нахимова, вынутой после ранения при операции, — крестик этот хранился в Морском музее. Не знаю, уцелела ли эта реликвия теперь, за войну 1941 года?[20]

Каждый день мы ездили на какие-нибудь места, связанные с обороной Севастополя. Были в Херсонесе, на Мамаевом кургане, на Братском кладбище, на Четвёртом бастионе на Инкерманских высотах. Так как эти места расположены на берегу моря и бухты, то мы каждый день ездили на лодке. Лодка называлась «Луч», а лодочника звали Николай. Лодочники стояли у Графской пристани, откуда мы и отплывали, или, как говорят моряки, отваливали. Лодка была довольно большая, и мы все семеро свободно в ней размещались. Если бил ветерок, ставили парус. И вот ехали мы как-то, кажется, в Херсонес, был порядочный ветер, и мы, дети, пристали к старшим с просьбой поставить парус. Конец паруса сидевший на руле папа обычно держал за верёвку в руке, отпуская его немного, когда ветер усиливался. А тут лодочник говорит: что вам беспокоиться, закрепите конец за борт лодки. Папа так и сделал. Вдруг налетел шквал, лодка сильно качнулась и даже зачерпнула бортом воду, но, по счастью, верёвка оказалась недостаточно прочной — она оборвалась, лодка встала, а парус заметался на ветру. Я взглянул на папу — он был бледный, как полотно. Всё произошло так быстро, что мы не сразу осознали, какой опасности подвергались. Убрав парус, мы продолжали путь на вёслах.

Всё, что мы видели в Севастополе, было так ново и необычно, что пребывание здесь запомнилось на всю жизнь.

Из Севастополя мы отправились в Ялту. Погода стояла чудесная, и родители решили ехать на пароходе. Пароход оказался старинным, с большими гребными колёсами. По-видимому, это был последний морской колёсный пароход, все другие были уже винтовыми. Назывался он «Адмирал Коцебу». Нам он казался весьма роскошным. Море было спокойное. Мы оставались на палубе и любовались берегами и морем. На палубе расставили столы, и все пассажиры обедали на воздухе. К вечеру мы подошли к Ялте. Было уже довольно темно, город — весь в огоньках. Мола в Ялте ещё не построили, и пароход бросил якорь на рейде, а пассажиры добирались до маленькой деревянной пристани на лодках.

Остановились мы в гостинице «Эдинбург» — в старом городе высоко над теперешним молом. Отсюда ездили в Гурзуф и Алупку — в плетёной коляске с большим зонтиком и задним местечком. Все семеро запросто помещались в коляске.

В Ялте мы оставались недолго. Пожить в тихом Судаке папе настойчиво рекомендовал его прозектор — крымчак Н. В. Алтухов. Там у его знакомых Полевых на самом берегу моря был дом, в котором они сдавали комнаты. Так как по берегу до Судака добираться было очень далеко, да и дорога была малопроезжая, то отправились опять морем. Пассажирские пароходы в Судак не заходили, и мы сели на товарно-пассажирский пароход «Трувор». Классных пассажиров на нём, кроме нашей семьи, не было. Только вышли из Ялты — началась качка. Мёртвая зыбь, в которую попал наш пароход, даёт неправильную качку. Судно то переваливается с боку на бок, то ныряет носом. Все, кроме папы и Мити, страдали от морской болезни. А когда мне делалось очень плохо и меня тошнило, помощник капитана, который безотлучно находился с нами, брал меня правой рукой под мышку, а левой за шиворот и выставлял меня наполовину за борт. Так мы и доехали до судаковской бухты. Было ещё светло, но небо покрылось тучами, море волновалось и дул порядочный ветер. Мы опять спустились в шлюпку и поплыли к берегу. Порыв ветра сорвал с папиной головы белую панаму. Один из матросов взял багор, остальные подгребли к шляпе, плававшей на волнах, и она была «спасена».

На берегу стоял довольно неприветливый одноэтажный дом — «гостиница» Полевых. Она вовсе не была похожа на гостиницу. Всё производило на первый взгляд плохое впечатление. Берег моря был безлюден. На другое утро море успокоилось, засияло солнце, и всё предстало в ином свете. Дом не выглядел уже таким мрачным — просто деревянный обычный дом со своими особенностями. Хозяева были приветливые, их сильные сыновья исполняли заодно обязанности прислуги. Старший из сыновей Полевых дружил с Наташей и Клавдией и по вечерам под гитару пел им довольно легкомысленные куплеты и трогательные романсы, а младший Миша, постарше нас, был с нами и посвящал нас во все приморские удовольствия. Мы купались по нескольку раз в день, гуляли по пляжу, ловили рыбу.

У Полевых в 2—3 верстах от берега было маленькое имеьице с запущенным виноградником — Очиклары. Всей компанией вместе с Полевыми мы туда и отправились, пили чай и ели мелкий, но очень сладкий, без косточек виноград. Позже я узнал его сорт — Коринка, который растёт около Коринфа в Греции, куда я попал в 1903 году[21].

Из Судака на лошадях мы ездили в Кизилташ. Это довольно далеко. В чудесной местности был маленький, кажется, уже тогда упразднённый монастырь. Жило там несколько старых монахов, у них можно было получить самовар, а провизию, конечно, мы захватили с собой.

Настала пора расставаться и с полюбившимся нам Судаком. Каким путём ехать? Морем — мама теперь не соглашалась: она особенно страдала от качки. Регулярного же сообщения до Алушты, откуда было налажено лошадное сообщение на Бахчисарай и Симферополь, не имелось. Папа отправился в немецкую колонию, где ему удалось нанять старинную коляску, лошадей да что-то вроде почтовой телеги старых времён и условиться, что нас без смены лошадей, но с ночёвкой доставят в Алушту. Дорога — 80 вёрст — шла в горах и к морю ни разу не выходила — это было сделано специально для безопасного перемещения войск, чтобы с моря, их нельзя было обстреливать. Запасли еды, нажарили ба-

ранины на два дня и не спеша отправились. Ехали шагом, так как дорога то круто поднималась в гору, то спускалась под гору и приходилось под колёса подкладывать тормоза — башмаки. Первый привал сделали у горного ручейка. Ели холодную баранину и пили воду с вином, поскольку вскипятить воду было не в чем. Когда лошади поотдохнули, двинулись дальше и ещё до захода солнца остановились на ночёвку в татарской деревне. У нашего возницы там был знакомый богатый татарин, в сакле которого мы и заночевали. Надо признать, крымские татары были весьма гостеприимным народом. Нам отвели «кунацкую» комнату, нарядно убранную чадрами, коврами и шитыми подушками. Сильно пахло айвой. Я отодвинул подушку и увидал, что они закрывали полки, на которых была разложена айва, а под полками на верёвочках, протянутых от стены к стене, висели виноградные кисти — они вялились, превращаясь в изюм.

Только рассвело, мы выехали и перед вечером добрались до Алушты. Из-за неприветливой погоды мы отсюда никуда особенно не ездили. На Бахчисарай отправились в ясную, но прохладную погоду. Сели в поезд и вернулись домой в самом конце сентября.

Гимназия. Болезнь и смерть брата Мити

Жизнь в Москве протекала ровно, без особых событий. Наташа и Клавдия ходили в гимназию Перепёлкиной на Кисловку, я и брат Митя учились дома. К нам приходил студент Николай Николаевич Миронов, семейный и очень бедный; после него в комнате оставался какой-то характерный запах сырости. Но человек он был, по-видимому, хороший и обучал нас старательно.

Весной 1888 года Митя выдержал экзамены в третий класс Московской классической третьей гимназии и с осени облачился в гимназическую форму. Тогда на занятия надевали серую курточку, а в праздничные и торжественные дни — синий мундирчик с девятью серебряными пуговицами и серебряным галуном на воротнике. Имелось и пальто с серебряными пуговицами и синими петлицами на воротнике. Мне форма очень нравилась, и я хотел, чтобы и меня отдали в гимназию. И вот с 1888 года меня стал готовить во второй класс гимназии у нас дома студент Сергей Антонович Макаров, за которого впоследствии вышла замуж моя сестра.

18 апреля 1889 года Митя вернулся из гимназии с очень высокой температурой, тяжело захворал и ровно через месяц, 18 мая, умер.

К больному ездили самые знаменитые врачи — до Захарьина включительно, но верного средства от болезни (менингита) никто тогда не знал. Захарьин сказал, что, конечно, брат может выздороветь, если этого Бог захочет. Плохое это было утешение для моих родителей.

Я знал, что Митя плох. И каждый раз, возвращаясь домой, прислушивался — рубят ли лёд в сенях, так как к голове Мити прикладывали пузырь со льдом. И вот 18 мая, возвратясь от моих тёток Веры Николаевны и Александры Николаевны[22] и прислушавшись по обыкновению, с тревогой заметил — лёд не рубят.

Домашние уроки прекратились, и, чтобы не рисковать, меня послали на экзамен, но не во второй класс, а в первый. Держал я экзамены в третьей гимназии, но после смерти Мити родители не хотели, чтобы я там учился. И я был принят на основании выдержанных экзаменов в пятую гимназию, где директором был

профессор греческого языка Московского университета А. Н. Шварц, будущий министр народного просвещения[23].

То, что я попал не во второй класс, а в первый, оказалось довольно удачным. Учиться мне было легко, и я с самого начала был на хорошем счету. И хотя впоследствии бывали неудачи и затруднения, «старые заслуги» мне всегда помогали.

Родители никогда на меня за отдельные срывы не сердились, прекрасно зная, что они не зависели от лености или небрежности. Зато успехам моим они искренно радовались.

Детский оркестр Эрарского

Когда я был в первом классе гимназии, я впервые играл квартет. К. А. Кламрот выбрал прелестный квартет Гайдна, и я выучил партию первой скрипки. У меня до сих пор сохранились ноты с отметками Карла Антоновича. По количеству отметок — штрихов пальцев и оттенков, показанных его рукой, можно судить, с какой тщательностью разучивал он со мной эту партию. Играли мы в нашей квартире. Партию второй скрипки исполнял сам Карл Антонович, виолончели — В. А. Рахманов, а вот кто играл партию альта — забыл.

Первый квартет стал для меня большим событием. И вообще, участие в квартете всю последующую жизнь являлось для меня лучшим удовольствием. Со средних классов гимназии я сделался постоянным участником квартета В. А. Рахманова, исполняя обычно вторую скрипку. Все партии, которые я прошёл с Карлом Антоновичем, до старости остались у меня в руках, и эти квартеты я играю с особенным наслаждением.

Сам Кламрот замечательно исполнял произведения классиков. Новой музыки он не любил. В большинстве случаев он исполнял классиков или, по крайней мере, романтиков — Шумана, Шуберта, Мендельсона.

С этого же года я начал играть в детском оркестре под управлением Анатолия Александровича Эрарского[24]. Это было очень милое предприятие. Струнные смычковые инструменты были настоящие. Играли ученики Синодального училища (мы и репетировали в его зале, находившемся около консерватории), а также посторонние дети — маленькие любители. А весь духовой состав оркестра был представлен клавишными инструментами, довольно хорошо имитировавшими тембр настоящих духовых инструментов[25]. Впрочем, была и просто медная детская труба. На ней играл гимназист постарше меня — Померанцев[26]. Арфу заменял обыкновенный рояль, а чтобы его звучание было больше похоже на оригинал, на струны рояля предварительно клали бумажную сурдину.

Многие из участников этого детского оркестра сделались впоследствии выдающимися музыкантами, назову лишь некоторых: Александр и Николай Метнеры, А. Ф. Гедике, Юрий Померанцев. Но знаменитыми они стали много лет спустя, а тогда Николай Метнер, например, изображал арфу, Гедике играл на каком-то духовом инструменте, я занимал место концертмейстера первых, а Александр Метнер — концертмейстера вторых скрипок.

Эрарский инструментировал для нас небольшие пьесы, а кое-что было написано и специально. С. И. Танеев для нашего оркестра сочинил маленькую симфонию. К сожалению, она, по-видимому, потеряна[27].

Раза два в зиму мы давали в том же Синодальном училище публичные концерты. В одном из них я впервые играл solo перед настоящей публикой. Исполнял я «Каватину» Раффа, а мой ближайший приятель Юрий Померанцев, учившийся тоже в пятой гимназии, но на класс старше меня, аккомпанировал мне на рояле.

Юрий окончил юридический факультет Московского университета и одновременно — консерваторию по классу фортепиано, по теории и композиции он был любимым учеником С. И. Танеева. Померанцев избрал музыкальную карьеру. Были у него и свои музыкальные сочинения. Его балет был поставлен на сцене Большого театра, когда Юрий ещё учился в университете. Было очень забавно видеть, как он выходил на вызовы «автора» на сцену в студенческом сюртуке за руку с танцовщицами. Позднее Юрий сам дирижировал в балете Большого театра. В войну 1914 года его призвали в армию, и он состоял при штабе одной из частей наших войск, расквартированных в Греции. Когда произошла революция, Юрий остался за границей, работал в Италии и Франции. Умер он в Париже, говорят, в театре за дирижёрским пультом[28].

Во время одной из репетиций послушать нашу игру пришёл сам Пётр Ильич Чайковский. Это был единственный случай, когда я видел великого композитора и, более того, играл при нём его произведение. А произошло это событие так. Мы исполняли юмореску Чайковского, инструментированную для нас Эрарским. Анатолий Александрович стоял лицом к нам и не заметил, как в зал вошёл Чайковский. Мы, конечно, узнали композитора (его портреты были хорошо известны) и тут же сообщили Эрарскому. Анатолий Александрович спустился с эстрады и поздоровался с композитором, нам тоже велел встать и поприветствовать Петра Ильича, после чего сказал:

— Ну, дети, теперь сыграем Петру Ильичу его юмореску наизусть! Закройте ноты.

У меня душа ушла в пятки. Я никогда раньше не пробовал исполнять скрипичную партию из этого сочинения по памяти.

Видя наше замешательство, Анатолий Александрович подошёл к дирижёрскому пульту и помог нам взять начало, затем снова спустился с эстрады и подсел к Чайковскому. Мы благополучно сыграли до конца пьесу — наизусть и без дирижёра, за что получили одобрение Петра Ильича.

Заболел Анатолий Александрович Эрарский, и оркестр, вернее директор Синодального училища Степан Фёдорович Смоленский[29], устроил платный концерт, сбор с которого был передан на лечение Анатолия Александровича. Не могу припомнить, кто дирижировал в этот раз — едва ли не сам С. И. Танеев[30].

Мы играли в детском оркестре года три. Когда А. А. Эрарский тяжело захворал (вскоре он умер[31]), оркестр распался.

Уроки немецкого и французского языков

По-немецки меня выучила говорить Мария Христиановна Сакерсдорф, или Марсяна. Она была бонной в семье Машковцевых, и её дочь Мария Карловна, ставшая потом крёстной матерью моего брата Мити, росла вместе с моей мамой, тогда совсем маленькой.

Летом Марсяна и Мария Карловна обычно жили у нас в Дубне. Марсяна брала меня после утреннего чая, и мы отправлялись за пруд, где стояла уютная ска-

меечка, — там и проходили наши уроки. Сначала я заучивал слова. Подбор слов был такой: огород и овощи, плодовый сад и фрукты, части человеческого тела и домашняя обстановка, и так далее; потом вместе с Марсяной я пел немецкие песенки, содержание которых иногда преподавало, так сказать, и житейскую мудрость. Это не было изобретением Марсяны — у неё имелся старинный учебник, откуда она и заимствовала всю систему.

Так я научился разговаривать по-немецки, тем более что позднее постоянно поддерживал разговорную практику с К. А. Кламротом, который, прожив в России больше пятидесяти лет, так и не научился говорить по-русски. Да и дома у нас было принято часто говорить по-немецки. Мама и тётя Катерина Егоровна владели им совершенно свободно.

Французскому разговорному языку обучал меня милейший француз Готье. Сначала к нам ходила какая-то француженка, о которой у меня остались смутные воспоминания. Помню только, что на её уроках было чрезвычайно скучно. Однако французскую речь я скоро стал немного понимать.

Методика обучения у Готье была просто поразительная: он приходил, садился посреди дивана, а я ложился с одной стороны и клал голову к нему на колени, с другой на диван забиралась собака Дружок, и месье Готье начинал рассказывать бесконечную сказку, в которой будто бы и он сам был действующим лицом: то мастером, то матросом, то танцовщиком в балете, то артистом цирка, то чуть ли не разбойником. Действие же происходило то в городах Европы, то в каких-то экзотических странах. Эти бесконечные истории казались мне страшно интересными, и я каждый раз с нетерпением дожидался прихода учителя.

Мама, которая слушала из соседней комнаты, как-то сказала мне:

— Я думаю, что никакого толку от этих сказок не будет. Говорит один Готье, а тебя совсем не слышно. Я думаю, что ты и не понимаешь, что говорит Готье, а уж сам говорить никогда не научишься.

Я обиделся и за Готье, и за себя и свободно хорошим французским языком стал пересказывать то, что в последний урок слышал от Готье.

Впоследствии практики французского разговора я имел мало и многое забыл, но, во всяком случае, и теперь достаточно хорошо понимаю французскую речь и читаю по-французски, а когда попадал во Францию, то быстро всё вспоминал и объяснялся вполне удовлетворительно.

Английскому языку я учился уже совсем взрослым человеком. Уроки брал в Гейдельберге в школе Бёрлица[32]. Довольно быстро овладел разговорной речью, так что мог в Англии более или менее порядочно разговаривать, но потом так же быстро, как научился, забыл английский — в памяти остались лишь отдельные слова.

Приобщение к церковным службам

В первый раз я говел и исповедовался восьми лет от роду на Страстной неделе[33]. На этой неделе говели буквально все, и дома темой разговоров были преимущественно церковные службы и предстоящие праздники. Все ходили в университетскую церковь[34] к обедне и всенощной и причащались в Великий Четверг. Настя (Кусенька) особенно покровительствовала исполнению мной поста. Когда я

подрос, ходил с Настей в храм Спасителя[35] в ночь с пятницы на субботу на службу Погребения, которая здесь совершалась с большой торжественностью, и хотя стоять всю ночь без сна было тяжело, необычайная торжественность службы и сама трудность стояния производили сильное впечатление.

Первым моим духовником был профессор богословия Московского университета Сергиевский. Этот строгий старик замечательно картинно служил и в Великий Четверг сам читал двенадцать Евангелий, слушать которые всегда собиралось множество народа — и университетских, и к университету не имеющих никакого отношения, так что большая церковь сплошь наполнялась московской интеллигенцией. По старинному обычаю женщины занимали в церкви левую половину, а мужчины — правую, куда становился и я, как только стал говеть и исповедоваться.

Перед первой исповедью я сильно волновался. Чтобы не забыть, что мне надо сказать духовнику, у меня была приготовлена записка, которую я крепко держал в руке. Но пользоваться запиской не пришлось. Когда я взошёл на правый клирос за ширму, где исповедовал Сергиевский, и положил земной поклон перед Крестом и Евангелием на аналое, я стал перед Сергиевским, сидевшим на стуле. Сергиевский подвинул меня близко к себе и начал наставлять, как я должен себя вести, как относиться к окружающим людям, особенно к родителям. Он говорил умно и убедительно, потом велел стать на колени, положил епитрахиль мне на голову и прочитал отпускную молитву. Этим моя первая исповедь и была закончена. Я почувствовал большое облегчение, и это поучение Сергиевского навсегда осталось хорошим воспоминанием из детских лет.

В четверг после обедни и причастия приходили домой, приносили в чистой салфетке порядочный узелок очень вкусных просфир[36], которые выдавались каждому из причастников. А дома уже были готовы постный пирог и чай с кагором.

Днём в четверг красили яйца, а Настя приготовляла «четверговую соль» — соль смешивалась с яйцом, завязывалась в узелок и всё это сжигалось в печке. Получался спёкшийся комок, который толкли в ступке — выходила серая соль со своеобразным запахом и вкусом. Ею и солили яйцо, когда после Светлой Заутрени[37] разговлялись.

Пасху и куличи начинали готовить в пятницу. Мы, дети, были очень заинтересованы этим приготовлением. Так соблазнительно пахло ванилью! Однако пробовать не полагалось. Куличи пекли в субботу утром, потом они тёплые лежали на боку на подушках у тёти и у мамы. Делалось это для того, чтобы сильно поднявшиеся горячие куличи не сели, остывая.

К Светлой Заутрене мы ходили в университетскую домовую церковь, она помещалась в новом здании университета на Никитской (улица Герцена), там, где теперь университетский клуб. Я очень любил эту церковную службу. В церковь отправлялись рано — часов в одиннадцать, чтобы успеть занять свои обычные места слева у амвона[38]. В церкви ещё полутемно, но народ уже есть. Мужчины — в мундирах и фраках, дамы — в нарядных светлых платьях. В алтаре открыто окно, чтобы был слышен первый удар колокола на Иване Великом[39], с которого по всей Москве начинался крестный ход.

Перед двенадцатью часами профессора в мундирах и орденах берут иконы и ждут, когда отворятся Царские Врата[40], и духовенство в светлых ризах, священ-

ник с крестом, украшенным букетом цветов, не выйдет из алтаря. Часть народа следует за крестным ходом, мне же нравилось остаться в полутёмной церкви. Большие входные двери затворялись, и наступала напряжённая тишина. Все оставшиеся прислушивались к тому, что делается за затворёнными дверями. Крестный ход, обойдя вестибюль, возвращался к дверям, и тогда нам слышалось заглушённое пасхальное пение. И вот открываются входные двери, врывается пение «Христос воскресе», поджигается зажигательный шнур и пламя обегает свечи паникадил. В церкви делается светло, и священник, идущий во главе возвращающегося хода, обращается направо и налево с радостным известием: «Христос воскрес», а все ему отвечают: «Воистину воскрес».

По возвращении домой разговлялись пасхой, куличом и яйцами. В учебных заведениях на Страстной неделе и всей Пасхальной неделе занятия отменялись.

Моё первое увлечение. Домашние спектакли

Однажды (я ещё не учился в гимназии) дома на Страстной неделе родители неожиданно заговорили об одной необыкновенно хорошенькой девочке. Она говела в университетской церкви и, стоя впереди у самого амвона, всегда очень усердно молилась. Обратил и я на эту девочку внимание и, несмотря на свой малый возраст, даже начал заглядываться на неё. Когда же я учился в первом классе и был, так сказать, уже «самостоятельным человеком», я вновь заметил её, выходящей из церкви, и на значительном расстоянии пошёл следом за нею.

Такое «ухаживание» повторялось несколько раз и, конечно, его заметил мой двоюродный брат Лёня Полов, учившийся в то время в Московской гимназии Креймана и проводивший у нас праздники.

Как-то Лёня рассердился на меня за что-то и заявил обиженно:

— Погоди! Я тёте расскажу про твои шашни, как ты за девчёнкой бегаешь.

Я — в отчаянии, так как был уверен, что Лёня обязательно исполнит своё обещание, доложив и то, чего на самом деле и не было. Поэтому я решительно отправился к тёте Екатерине Егоровне и поведал ей о своём раннем увлечении. Старшие посмеялись, но не осудили меня, так как девочка и в самом деле была исключительно хорошенькая.

Познакомился я с этой девушкой только тогда, когда студентом стал общаться со многими учениками и ученицами консерватории. Звали её Лёля Дементьева. Она тоже училась в консерватории и мечтала быть пианисткой. Тогда же выяснилось, что, когда я ходил её провожать, она замечала маленького поклонника, но ничего против такого «ухаживания» не имела. В компанию консерваторок, с которыми я и мои ближайшие друзья, Юра Померанцев и Миша Полозов, долгое время дружили и в молодости весело проводили время, входили: сёстры Прокопович — скрипачки, Леночка Щербина — впоследствии одна из самых известных пианисток, Лиза Фульда и некоторые другие. Принадлежала к этой компании и Лёля Дементьева.

Расскажу теперь, какие бывали у нас домашние спектакли.

Квартиры в те далёкие времена были большие, комнаты просторные, так что и в зале московской квартиры на Никитской устраивалась хорошая сцена — правда, без помоста, но с занавесом и кулисами. Сцена занимала половину зала, другая половина

заполнялась четырьмя рядами стульев — публики усаживалось человек пятьдесят. А в Дубне было ещё удобнее. Внизу для столовой были соединены две комнаты, вместо стены между ними были поставлены две колонки, на них и укреплялся занавес. Одна комната являлась сценой, другая — зрительным залом. Продолжением его служил балкон, где собирались непременные зрители из деревни.

В Дубне было поставлено два спектакля. В первом играли приспособленную к театру пушкинскую повесть «Барышня-крестьянка». Я в нём не участвовал. Заглавную роль исполняла Наташа, и, надо сказать, великолепно. Во втором спектакле — по пьесе Островского «Свои люди — сочтёмся» — я уже имел маленькую роль мальчика Тишки. Липочку играла Наташа, приказчика — С. А. Макаров. Спектакль очень удался. Публика — и в зале, и на балконе — была довольна и много аплодировала. Затем были танцы и ужин. Танцы играла В. А. Нащокина.

Однажды, когда я был ещё во втором классе, поставили мы два водевиля, в том числе некогда-то очень популярный — «Булочника немецкого». В нём была представлена история о том, как некий молодой человек ухаживает за дочкой немца-булочника, а тот не хочет пускать его в свой дом. Но поклонник оказался весьма находчивым: он заказал булочнику такой большой крендель, что он не пролезал через форточку. В итоге всё заканчивается тем, что булочник выдаёт свою дочь за молодого человека.

В этом водевиле я играл старика булочника. Исполнителями мужских ролей в обоих водевилях, кроме меня, были Лёня Полов и мой друг и одноклассник Саша Кезельман. Женская роль досталась дочке профессора Марковникова Наде, с которой мы очень дружили. Гримировал же нас настоящий театральный гримёр Чугунов, имевший рядом с университетом собственную парикмахерскую.

Наташина компания в Москве ставила «Замужнюю невесту» А. С. Грибоедова, а когда я учился в третьем классе, мы с моими гимназическими товарищами на рождественских каникулах сыграли «Ревизора». Подготовка к нему была уже делом довольно сложным. Требовалось много исполнителей, да и выучить пятиактную пьесу не легко. Всем предприятием руководила тётя Катерина Егоровна. Задолго стали разучивать роли и по воскресеньям делать читки и репетиции. Я играл Городничего. Костюм мне перешили из моего старого гимназического мундира. Между прочим, роль свою я запомнил так хорошо, что и сейчас, через 53 года, начало первого акта могу цитировать наизусть. Всей компанией мы ходили смотреть «Ревизора» в Малый театр и старались подражать его артистам.

Папа соорудил сцену — зал разделил пополам порталом из ситцевых красного цвета драпировок, светлым, полосатым и тоже из ситца был и занавес. На верху портала укрепил надпись: «Feci quod potui, faedant meliara potentes» («Я сделал, что мог — пусть сделают лучше те, кто может»).

Спектакль прошёл почти без запинки. Только в последнем акте «судья», гимназист Сахаров, забыл свою реплику, что вызвало некоторое замешательство, не повлиявшее, однако, на общее настроение и «шумный успех». После спектакля В. А. Рахманов снимал «немую сцену» и сцену Хлестакова с Марьей Антоновной и Анной Андреевной. К сожалению, фотографии эти, хранившиеся до 1941 года, погибли при разграблении дома в Дубне.

Это Рождество выдалось необычно весёлое. Кроме постановки «Ревизора», папа побаловал меня, вызвав из Дубны нашу пару вяток, купил городские трёхместные сани, и мы с родителями или с товарищами катались по Москве. Как раз в день спектакля поехали мы с товарищами в Петровский парк, и наш дубненский кучер, не очень привыкший к езде по Москве, вывалил всю компанию, человек пять, в сугроб, отчего стало ещё веселее.

Участвовал я ещё раз, уже студентом, в домашнем спектакле по пьесе «Первая муха» в доме профессора Алексеева. Его дочка Ануся увлечённо устраивала спектакли, да и сам Александр Семёнович Алексеев тоже очень любил эти молодёжные затеи и всячески поощрял и баловал нас. Миша Полозов, мой ближайший товарищ, и я изображали каких-то крупных чиновников. На генеральной репетиции на нас были настоящие мундирные фраки, заимствованные у моего отца и Александра Семёновича, и их же настоящие ордена. После репетиции весьма довольный Алексеев сказал:

— В награду за ваши старания прокачу-ка я вас на тройке, а заодно и ужином угощу!

У подъезда уже стояли три тройки, и мы, как были в костюмах и орденах, покатили в Петровский парк в ресторан «Стрельна»[41]. Там был замечательный зимний сад с большими растениями и великолепным бассейном. Служащие «Стрельны» встретили нас с большим почтением, полагая, что мы и вправду важные люди. Мы их заблуждения не рассеивали.

Был у Алексеевых и выездной спектакль. Всю нашу компанию пригласили на бал в очень богатый дом родственников Алексеевых — фабрикантов Прохоровых[42]. Для этого случая мы разучили маленькую пьесу, в которой какой-то средневековый рыцарь пел серенаду, а так как я обладал неплохим баритоном, то и получил эту роль. Мы приехали, переоделись в средневековые костюмы, и наш спектакль открыл бал. Спектакль длился не больше получаса. Затем мы переоделись в обычное платье, и бал продолжился своим чередом.

Первая охота. Смерть тёти Катерины Егоровны

Папа не был заядлым охотником, но ружья имел и иногда ходил на охоту с нашим соседом С. И. Шуманом, владельцем маленького имения в версте от нас при деревне Каргашино. Вот тот был настоящим охотником, держал множество собак. С ним-то и связаны мои первые охотничьи впечатления, хотя я, как и папа, никогда заядлым охотником себя не считал. Охота для меня была скорее забавой, чем страстью.

Когда мне исполнилось лет четырнадцать, папа взял меня на охоту с гончими. Я получил прехорошенькое одноствольное ружьё центрального боя, которое папа специально заказывал на Тульском оружейном заводе, — в продаже в те времена одноствольных центрального боя ружей не было. Преимущества его — необыкновенная лёгкость и очень недурной бой. Впоследствии я с ним всегда и ходил на охоту. Оно дожило до революции 1917 года и было украдено бывшим нашим кучером Чувиковым.

Пошли мы в лес за Жальским — верстах в 2—3 от Дубны. Вскоре гончие напали на след; тявкнула одна, за ней другая собака, а там и вся стая подняла лай, совершенно особенный, характерный именно для гона, — это совсем дру-

гая музыка, чем беспорядочное гавканье собак при приближении незнакомого человека.

Папа выбрал подходящую опушку поляны, поставил меня, а сам встал недалеко. Гон удалялся, я уже думал, что зверь уйдёт далеко, но опытные охотники знают, что заяц никогда вдаль не уходит, он кружит на одном месте, прячется в кустах, перебегает из перелеска в перелесок, а по поляне, если собаки совсем близко, несётся сломя голову, прячась затем снова в кустах. Но вот гон стал приближаться. Сердце у меня так и запрыгало. Я ждал, что из кустов выскочит заяц, но вдруг услышал выстрел и вслед за ним — звук охотничьего рога, которым Шуман сзывал собак. Это означало, что зайца убили.

Мы с отцом собрались было идти на звук рога, как неожиданно я увидал большого зайца: он не спеша выпрыгнул из кустов недалеко от меня и так же не спеша, прыжок за прыжком, пересекал поляну — это был «пуговой» заяц, его собаки не гнали, а он сам, заслышав шум гона, выстрел и звук трубы, с испуга удирал. Сердце у меня забилось сильнее, я приложился к ружью и, почти не целясь, выстрелил. Заяц перекувыркнулся, упал и задрыгал лапками.

Позже я завёл свою стаю, родоначальником её стал красивый костромской гончий пёс Шумила — чёрный с жёлтыми подпалинами, жёлтой мордой и белой грудкой, обладавший прекрасным голосом. Я купил его у охотника, жившего на Бутырской мельнице, всего за 10 рублей. Потом появились рыжая Змейка и их потомство, кажется, четыре пса.

Студентом я любил приехать в Дубну дня на два, погулять по осенним лесам и послушать музыку гона. Иногда удавалось добыть и зайца, тем более что я скоро научился выбегать навстречу гону, а бегал я очень хорошо.

Моя первая охота доставила мне и ещё один успех. В гимназии учитель русского языка В. А. Соколов, сам большой любитель поохотиться, после лета предложил нам написать сочинение, а тему выбрать любую, подсказав: «Можете описать какой-нибудь день каникул». Я описал мою первую охоту и получил за сочинение пятёрку, на которую Соколов не был щедр.

В том же году, осенью, 26 октября, в день папиных именин и рождения, умерла тётя Катерина Егоровна. В этот день всегда бывало много народа. Утром служащие Анатомического театра обычно приносили огромную просфиру, вынутую за обедней во здравие папы, а друзья и знакомые — торты. Дома пекли пироги и приготовляли всякое угощение. Днём одни поздравления сменялись другими. И тётя Катерина Егоровна хлопотала, как всегда, больше всех.

Наступил вечер. В доме оставались доктор Бунчак и А. Ф. Шнейдер. Я же пошёл к себе в комнату готовить уроки. Сел за стол, что-то начал читать, потом поднимаю голову и вижу — передо мной стоят три зажжённые свечи. Я поспешно загасил одну свечу и продолжал готовить уроки. Но после всего происшедшего у меня осталось очень неприятное ощущение, хотя я всегда старался не придавать особого значения приметам. Позже я заглянул в комнату тёти Катерины Егоровны и, увидав, что она плохо себя чувствует, побежал звать папу. Но, несмотря на все усилия и постоянно имевшиеся у папы под рукой медицинские средства (шприц и разные лекарства), помочь тёте не удалось, через полчаса она умерла.

Эта потеря для меня и всей нашей семьи оказалась весьма ощутимой. Сколько помнится, тётя Катерина Егоровна всегда жила в нашей семье и трудно даже

сказать, кто больше занимался с детьми — мама или тётя. Во всяком случае, она всю свою жизнь посвятила нам, детям. С тех самых пор, хотя, повторюсь, я не суеверен, три горящие свечи вызывают у меня тяжёлые ощущения.

Покупка скрипок

Четырнадцати лет я уже очень прилично играл на скрипке. Последние года два — на прекрасном инструменте, который мне предоставил сам Кламрот — это была трёхчетвертная скрипка, итальянская, работы Николая Амати. Позже Кламрот продал её отцу моего гимназического товарища и верного друга Доди Рывкинда. Мне пора было переходить на инструмент полного размера, и Кламрот дал мне свою скрипку, неплохую, но довольно обыкновенную. Папа хотел купить мне хороший итальянский инструмент. Я ещё играл в оркестре Эрарского и встречал там сыновей виолончелиста Альбрехта[43]; я рассказал им о желании папы, и они сказали, что у их отца есть инструмент работы Маджини, принадлежавший брату виолончелиста[44], а раньше — будто бы самому Вьётану. Альбрехт-отец как раз был назначен преподавателем Саратовского музыкального училища[45] и собирался продать скрипку — ему были нужны деньги на переезд в Саратов. И однажды рано утром совершенно неожиданно, запыхавшись, к нам домой пришёл Кламрот и сказал, что ему предлагают для меня очень хороший инструмент — надо сейчас же идти смотреть, иначе можно упустить. Я даже в гимназию не пошёл, и моя «Маджини» была куплена. Стоила она 1100 рублей, по тому времени — большая сумма. Однако скрипка того заслуживала — это был действительно прекрасный инструмент, на котором я играю и до сих пор. Может быть, моя любовь к игре на скрипке и то, что я до старости охотно занимаюсь ею и поддерживаю технику, отчасти объясняется и тем, что скрипка звучит неизменно прекрасно.

Купленную скрипку гардировал очень милый старинный московский скрипичный мастер И. С. Самарин. Он поставил новую шейку, старая была уже сильно истёрта, ведь возраст скрипки при покупке составлял около трёхсот лет, а теперь и все триста пятьдесят.

Много позже, когда я окончил университетский курс и получил премию имени Мошнина за работу по акустике (1904 год)[46], в награду за мой научный успех папа подарил мне ещё одну скрипку, купленную им у Шпидлена, по утверждению последнего — работы Штейнера, тоже очень известного мастера. Когда же в годы революции я вынужден был продавать вещи и собирался расстаться с этим инструментом, отыскался покупатель, дававший за него хорошую цену, но, в конце концов, я передумал продавать скрипку. Когда мы переехали обратно в Москву, я дал её Вове Власову, который её и погубил. По его словам, скрипку раздавил грузовик, под который он попал, но, может, её у него просто украли. Во всяком случае, щепок от неё я не видал.

Преподавать греческий язык в шестом классе вместо умершего В. Г. Аппельрота[47] у нас стал директор гимназии профессор А. Н. Шварц. Аппельрот не был, собственно, настоящим классиком. В Московском университете, где он состоял приват-доцентом, его главной специальностью было искусствоведение. Он и нас обучал больше истории греческой культуры, нежели переводам текстов с русского

на греческий язык. Было это, конечно, интересно, но совсем не тем, что требовалось по гимназической программе. Когда же Шварц появился в классе, то первое, что он сделал, задал extemparale — письменный перевод с русского на греческий. Тройку получил лишь Карандеев, который все восемь лет обучения в гимназии оставался среди нас первым учеником. Остальные довольствовались двойками и единицами. Мне же директор поставил нуль.

Другой моей отметкой по греческому языку в первой четверти стала единица, а следующей — двойка. Вероятно, Шварц видел, как я изо всех сил стараюсь улучшить свои успехи, и всё же вывел мне в четверти тройку. Тогда же директор гимназии порекомендовал папе пригласить для меня репетитора по греческому языку из преподавателей — П. И. Молчанова, который и приходил к нам раза три в неделю и часа по полтора занимался со мной. Занятия были трудны и утомительны, зато дела мои по греческому языку быстро наладились.

Кончина Александра III и торжества по случаю коронации Николая II

В октябре 1894 года от болезни почек в Крыму в Ливадии скончался император Александр III. Умер он утром[48], но в Москве до следующего дня об этом не сообщали.

К нам на квартиру в день кончины императора, часа в четыре, приехал дворцовый генерал и сообщил, что папа должен немедленно, с экстренным поездом выехать в Крым. О смерти царя он не сказал, но всё стало ясно. Папа был анатомом и крупным специалистом по бальзамированию, его и раньше вызывали по такому поводу. Из членов царской фамилии ему довелось бальзамировать Александру Георгиевну, жену великого князя Павла Александровича, умершую в Ильинском под Москвой, и московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Дворцовый генерал папу дома не застал — он читал лекцию в училище живописи и ваяния[49]. Я отправился за ним. И в тот же вечер папа, его прозектор Алтухов и старший служитель Иван Головлёв, захватив нужные материалы, уехали. По тем временам добирались они до места очень быстро — до Симферополя часов 30, а оттуда на лошадях через Алушту в Ялту.

Тело императора уже сильно раздуло, кожа потемнела. Отец со своими помощниками работал часов 18—20 и привёл всё в порядок. После он гордился этой работой, считая, что она ему очень удалась, несмотря на трудные условия — бальзамирование проводилось в страшную жару и более чем через двое суток после смерти[50].

На крейсере «Память Меркурия» тело покойного императора перевезли в Севастополь. Затем доставили в Москву, где оно было выставлено в соборе Кремля для поклонения. Потом его перевезли в Петербург и установили в Петропавловском соборе, куда публика допускалась в течение шести недель. Собор закрывался только на ночь, и то лишь на несколько часов. Всё это время папа следил за состоянием тела покойного и, чтобы потемневшая кожа не вызвала неприятного впечатления, постоянно подкрашивал лицо умершего государя[51].

После похорон царя папа вместе со служителем вернулись в Москву. Иван Головлёв среди университетских служителей сразу сделался знаменитостью. Поч-

ти каждый день его приглашали в гости, где он должен был рассказывать о своём участии в бальзамировании покойного императора. Его рассказы непременно сопровождались выпивкой и закуской. От такого времяпрепровождения Иван заболел и вскоре умер.

Кстати, о личности Александра III. Историк М. Н. Покровский теперь изображает его глупым человеком, трусом и запойным пьяницей. Вряд ли всё это верно. Александра III прекрасно понял Паоло Трубецкой, скульптор. Памятник императору работы Трубецкого стоял перед Московским вокзалом в Петербурге. Человек громадной силы сидит верхом на дикой лошади (дикая лошадь, очевидно, Россия) и без всякого напряжения сдерживает коня[52]. В царствование Александра III не было ни одной войны. Думаю, его сила воли и авторитет сыграли немаловажную роль в удержании европейского равновесия. Выпить же император, по-видимому, действительно любил.

Сколько я мог понимать и наблюдать Александра III, по крайней мере в Москве, он пользовался большой популярностью. Вся Москва бежала встречать царя, когда он бывал в ней проездом. Никто народ не гнал. И все стремились проститься с покойным императором, когда его тело было выставлено в Кремле. Николай II подобной популярностью в народе уже не пользовался.

Въезд его в Москву для коронации в мае 1896 года мы наблюдали с университетской трибуны, выстроенной недалеко от Тверской заставы. Блестящий кортеж двигался из Петровского дворца (ныне Военно-Воздушная академия) по теперешнему Ленинградскому шоссе, далее вдоль всей Тверской и через Спасские ворота в Кремль. На всём пути шпалерами стояли войска. В кортеже шли и ехали представители сословий, войск, учреждений, гости и представители держав западных и восточных, последние — в своих национальных роскошных костюмах.

Мать царя, его жена, члены царской фамилии — великие княгини и княжны находились в золочёных каретах, кругом стеклянных, заложенных шестёрками белых лошадей. Будущая царица раскланивалась направо и налево, лицо её было всё в красных пятнах — очевидно, она сильно волновалась. Сам царь ехал верхом на белой лошади в полковничьей форме, всё время держа руку у козырька фуражки. Его невзрачная фигура среди блеска кортежа производила какое-то жалкое впечатление. Говорили, что кое-где среди криков «ура», которыми войска ветречали царя, слышались и отдельные свисты. Вообще, настроение было уже не таким, какое бывало при обычной встрече Александра III.

Папа был представителем от университета и участвовал в шествии из дворца в Успенский собор, а мама и я смотрели на торжество с площадок колокольни Ивана Великого. После коронации царь и царица в бриллиантовых коронах вышли из собора. Царица, красивая женщина, в небольшой императорской короне, производила хорошее впечатление. И, напротив, громадная бриллиантовая корона царя, надвинутая глубоко на уши, и огромная золотая порфира, которую поддерживали высшие чины государства, как-то подавляли маленькую фигуру императора.

Торжества были испорчены окончательно несчастьем, происшедшим перед самым началом народного гуляния на Ходынском поле. А мнение о царе ещё более ухудшило его равнодушное отношение к этой народной трагедии. Все балы

и празднества несмотря ни на что продолжались. В день Ходынки во Французском посольстве состоялся бал, и царь присутствовал на нём, будто ничего не случилось, будто в этот день не погибло несколько тысяч людей, явившихся по приглашению царя на праздник[53].

Весь май, в связи с коронационными торжествами, гимназисты были свободны. Наша гимназическая компания увлекалась игрой в теннис, впервые появившейся в Москве. Площадка для него находилась в Зоологическом саду, и мы безраздельно ею пользовались. Ходили смотреть иллюминацию Москвы. Зрелище было потрясающим. По вечерам все амбразуры стен Кремля и все архитектурные линии его зданий и соборов были унизаны горящими электрическими лампочками. По улицам пылали «плошки». Делалось это так: на плошку клали фитиль и заливали его салом. Затем плошки расставляли на тумбы, которыми отгораживались тротуары, и зажигали фитиль. И хотя копоти было много, живое пламя плошек украшало улицы. Очень красиво была иллюминирована набережная против Кремля. Там были устроены светящиеся фонтаны — освещённые изнутри струи воды падали в реку и точно растворялись в ней.

Тайное замужество сестры Наташи

В конце сентября 1894 года сестра Наташа обвенчалась с С. А. Макаровым. Родители сильно противились этому замужеству, настаивали на том, чтобы Наташа отложила выход замуж, по крайней мере, до окончания Сергеем Антоновичем университетского курса. Где-то в глубине души родители также надеялись, что если дело затянется, то, может быть, оно и совсем не состоится. И чтобы отвлечь Наташины мысли от этой затеи, зимой предыдущего года папа отвёз её в город Слободской к сестре бабушки Александры Васильевны, которая была игуменьей монастыря.

Папа, мама и я в начале лета ездили по Волге, Каме и Вятке в город Вятку, а оттуда на лошадях в Слободской; погостили у маминых родственников и с Наташей вернулись тем же путём домой — железной дороги из Москвы на Вятку тогда не было. Зимой же папе с Наташей пришлось ехать от Нижнего Новгорода на лошадях 600 вёрст.

Как ни уговаривали Наташу отложить замужество, она от него не отказалась и потихоньку от родителей обвенчалась. В Дмитровском уезде жил священник, рискующий венчать «краденые свадьбы» — между родственниками или без разрешения родителей невесты. Делал он это, разумеется, за повышенное вознаграждение. Его-то услугами и воспользовались Наташа и С. А. Макаров. Адрес этого сельского священника указывали чиновники духовной Консистории. Очевидно, и они получали от этого некоторый доход.

Наташа продолжала жить с нами, и её замужество выяснилось в конце ноября или в декабре, когда папа вернулся из Петербурга после похорон Александра III.

Так как родители не собирались прощать Наташу, она стала жить в семье Сергея Антоновича. Дома от такого положения у всех было неприятное настроение. Выйти из него помогла Софья Петровна Рубцова, мамина приятельница, в её жизни произошло приблизительно то же самое, что и у Наташи. Перед Страстной неделей, когда папа собирался говеть, исповедоваться и причащать-

ся, Софья Петровна как бы случайно заметила, что он-де как искренний христианин не может причащаться до тех пор, пока не простит Наташу и не благословит молодых. Родителям и самим было тяжело сносить возникшее разногласие. Они поплакали и решили кончить всё по-хорошему; забыв про старые обиды и огорчения, по старинному обычаю — иконой и хлебом благословили молодых. Так был положен конец семейному раздору, длившемуся несколько лет. Наташа с Сергеем Антоновичем стали жить самостоятельной жизнью. Сергей Антонович вскоре начал работать помощником у очень крупного адвоката Дерюжинского, затем и сам сделался присяжным поверенным и вёл крупные гражданские дела, что давало ему хорошее обеспечение. В Дубне папа выстроил им отдельный дом.

На пороге студенческой жизни

В седьмом классе учиться стало гораздо легче: трудные для меня переводы с русского языка на латинский и греческий прекратились, остальные же предметы давались легко. Очень хорошими были математики гимназии. Особенно легко было заниматься у профессора Л. К. Лахтина, он объяснял математику так ясно, что учить дополнительно теорию дома почти не требовалось. Хорошо преподавал и профессор Д. Ф. Егоров, но его мы не любили: он был ещё молодым человеком и по молодости лет — строг и придирчив. Хорошие преподаватели были и по истории. Один из них — знаменитый профессор С. Г. Виноградов, однако мы его не совсем понимали — он не учитывал нашего возраста и брал слишком высокий и серьёзный тон. Гораздо лучше обучал нас также известный педагог — Н. В. Тарасов. Он с необыкновенной ясностью рисовал исторические картины, вполне доступные нашему детскому пониманию.

У нас оставалось времени и погулять, и повеселиться, и музыкой заняться. Семиклассником я уже достаточно хорошо играл концерт Мендельсона. К этому времени сложилась довольно большая и дружная компания, в кругу которой мы проводили практически все свои свободные дни. Мы встречались на катке — на Патриарших прудах, собирались на квартире у нашего товарища Лёни Прозорова. Играли в шарады и устраивали шумные танцевальные вечера. Сестры у Лёни учились в женских гимназиях, и их товарки были нашими постоянными дамами на танцевальных вечерах и в играх.

Излюбленной для всех нас и на катке, и в танцах была очень интересная барышня — М. А. Петунникова: она очень хорошо бегала на коньках и всегда охотно с нами танцевала. Была она старше нас, и нам, естественно, льстило то, что вот взрослая интересная девушка жалует нашу детскую компанию. Надо сказать, отношения среди нас были чисто товарищеские. Никаких романов не возникало, и только один из нас, Котляров, впоследствии женился на Мусе Миллер, также принадлежавшей к нашей компании.

Папе и маме было рекомендовано полечиться боржомскими водами, и в июне 1896 года мы втроём отправились на Кавказ. От этой первой моей поездки туда остались весьма скудные впечатления.

Наступил последний год учения в гимназии. Пора было задуматься, какую избрать специальность и на какой факультет поступать. То, что я непре-

менно должен идти в университет, никакого сомнения раньше как-то не вызывало. Этому имелись веские причины. Во-первых, все мои предки, с прадеда Ефима Петровича[54], были университантами. Папа и дедушка Николай Ефимович являлись к тому же профессорами Московского университета. Во-вторых, во все технические и специальные высшие учебные заведения был громадный конкурс и, чтобы рассчитывать на поступление, надо было всё лето упорно заниматься.

Я всегда довольно успешно учился по математике, и у нас в семье установилось мнение, что мне необходимо идти на математическое отделение физико-математического факультета. Специально физического факультета в те годы не было, а специализировались математики на старших курсах. Да и о физике, откровенно говоря, я тогда не думал. В гимназии она была поставлена плохо: мы проходили физику чисто «меловую», без единого опыта. Правда, в течение трех лет, пока она преподавалась в гимназии, мы все же один раз побывали в физическом кабинете, в котором большинство приборов было поломано. И наше филологическое начальство, по-видимому, не считало нужным приводить кабинет в порядок. Поэтому мы в нём больше шалили, чем занимались делом.

Экзамены зрелости завершились благополучно. После них все окончившие — нас было человек 25 — устроили поездку на берег Москвы-реки в Кунцево. Взяли с собой закуски и вина. Кончилось тем, что большинство с непривычки лежало в бесчувственном состоянии. Я был относительно в порядке и насилу уговорил и дотащил до дому своего товарища Недёшева. Родители были в Дубне. Я привёз Недёшева к себе и уложил его спать в папином кабинете. Ничего слишком неприятного, конечно, не случилось, и всё же наше празднование оставило в душе нехороший осадок, будто бы мы такой большой момент в жизни, как окончание гимназии, отпраздновали глупо.

К 15 июля надо было подавать прошение о приёме в университет. И тут у меня возникло сомнение — идти ли на математическое отделение? С детства меня окружали врачи — профессора медицинского факультета. Их преподавательская деятельность и лечебная работа казались мне ясными и привлекательными. Два моих ближайших товарища — Недёшев, сын университетского казначея, и Кезельман, сын секретаря Правления университета, уверенно подавали на медицинский факультет. Правда, и на математическое отделение из наших подало человек шесть, из них близкий мне — Полозов.

Что делать? Я спросил у папы, и он дал мне совет, за который я был ему благодарен всю жизнь. Он сказал мне, чтобы я занимался математикой. Совета отца я послушался, но о физике по-прежнему не думал.

Вскоре папа встретил бывшего профессора Московского университета знаменитого астронома Бредихина. Тот поинтересовался, на какой факультет я поступил. А узнав, что на физико-математический, заметил: «Посоветуйте сыну заниматься физикой. Физиков постоянно не хватает, и потом эта специальность всегда даст кусок хлеба». Возможно, на окончательный мой выбор повлияло и это мнение. Во всяком случае, с первого же курса я стал внимательно присматриваться к физике и уже на втором курсе постарался попасть в физическую лабораторию.

Тогда она была очень маленькой, и прохождение для всех студентов физического практикума не считалось обязательным. Так я стал заниматься и специализироваться по физике.

В практикуме я впервые встретил Петра Николаевича Лебедева. Я называю его своим незабываемым учителем. Таким этот замечательный человек, педагог и учёный остался на всю жизнь и для меня, и для других его учеников[55].

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
(1897—1900)

Студент Московского университета

Итак, с осени 1897 года я — студент Императорского Московского университета физико-математического факультета первого курса математического отделения.

В отличие от нынешних студентов у нас имелась форма. На занятия надевался двубортный сюртук тёмно-зелёного, почти чёрного сукна с сине-голубым воротником или серая рабочая тужурка с голубыми петлицами. В торжественные дни и для балов полагалась другая форма — однобортный мундир с шитым золотым воротником (этого одеяния у меня не было). Летом студенты носили белый двубортный китель. Его я купил себе, кажется, в день последнего экзамена зрелости. За обедом, который мама устраивала по случаю нашего окончания гимназии, и на котором присутствовали мои ближайшие товарищи, я сидел уже в новом студенческом кителе.

Верхнее студенческое платье состояло из летнего пальто такого же цвета, что и сюртук. Зимой — то же самое пальто, только с барашковым воротником. Полагалась и так называемая «николаевская шинель» — учреждение серого сукна, громоздкое, с большой пелериной, а зимой — с бобровым воротником. Надевалась она внакидку, как дамская ротонда, или на один рукав. Мама, любившая меня баловать и наряжать, потребовала, чтобы я сшил себе такую шинель, уверяя, что она необходима в холодное время. На самом же деле теплее, чем в обычном зимнем пальто, в ней не было, так как она торчала во все стороны и отовсюду поддувало. Надевать же её в оба рукава и подпоясываться за неимением застёжек не разрешалось. На всех без исключения студенческих одеждах сверкали золотые пуговицы с государственными гербами. А при сюртуке и мундире надевалась шпага. Такая форма была введена после принятия устава 1884 года. Ранее студенты единой формы не имели.

Вводя единую студенческую форму, министерство, по-видимому, полагало, что если студенты будут в неё одеты, то легче станет бороться со студенческими беспорядками, которые возникали по разным политическим и внутриуниверситетским поводам. Вряд ли эта мера оправдала себя. С раннего детства я был свидетелем многих студенческих беспорядков. Об одном хочется вспомнить особо.

Инцидент с инспектором Брызгаловым

Событие это произошло в начале 90-х годов[56], когда я был молоденьким гимназистом. Инспектором студентов в то время являлся Брызгалов. В отличие от многих своих коллег он был близок с тайной полицией. Его агенты, доносившие о всех разговорах и настроениях, имелись и в самой студенческой среде. Вероятно, к неугодным студентам Брызгалов применял и соответствующие меры воздействия. Во всяком случае его сыскная деятельность не была секретом ни для студентов, ни для преподавателей университета. Но наступил день, когда студенты решили выжить Брызгалова, дав ему публично пощёчину[57]. Исполнителя смелого замысла выбрал

жребий. А осуществить задуманное предполагалось на студенческом концерте в Колонном зале Благородного собрания (так назывался прежде Дом Союзов).

Мы сидели на хорах почти над эстрадой, и нам хорошо был виден первый ряд партера, где среди прочих гостей находился и попечитель учебного округа граф Капнист. И вдруг во время выступления мы слышим — точно кто ударил в ладоши. Брызгалов, прикрывши щёку рукой, тут же встал и быстрым шагом прошёл по среднему проходу партера, наклонился к Капнисту и что-то ему сказал. Они оба покинули зал.

Оказалось, что студент, которому выпал жребий, намазав предварительно руку сажей, так сильно ударил Брызгалова по щеке, что звук услышали во всём зале. На лице инспектора остался отчётливый сажевый отпечаток. Смельчака (к сожалению, забыл его фамилию[58]) здесь же арестовали агенты Брызгалова. Однако шума особенного тогда не произошло, и концерт закончился благополучно.

Наутро студенты собрались во дворе старого университета и в знак протеста против ареста товарища объявили забастовку. Ворота на Никитскую сейчас же заперли (мне они хорошо были видны из окна передней нашей квартиры) и никого на улицу не выпускали, а со стороны улицы стояли полиция и казаки. Около самих ворот находился маленький дом смотрителя университета*, и у его подъезда лежала поленница отличных дров. После неудачной попытки отворить ворота студенты поняли, что попали в ловушку, и в полицию и казаков полетели поленья. Ощутимого вреда они, конечно, никому не причинили, тем не менее, вся поленница была выброшена на улицу.

Студенческие беспорядки, однако, продолжались недолго. Среди забастовщиков начались аресты. А студента, который дал инспектору пощёчину, отдали в солдаты. И всё же цели своей студенты добились — Брызгалову пришлось выйти в отставку. Вероятно, он нашёл работу по тайной полиции или по другой подходящей для него должности.

Все эти события относятся к тем временам, когда студенческую жизнь я наблюдал из окна нашей квартире, а разговоры о ней слышал из бесед старших. Но и в мою студенческую пору беспорядки в среде учащейся молодёжи не затихали, приобретая иногда более резкие формы.

Должность инспектора студентов, несмотря на студенческие волнения, оставалась в штатном реестре университета. В 1897 году, когда я поступил в университет, инспектором был очень хороший человек — физик Давыдовский, позже профессор Высших женских курсов (затем II Государственного университета). Перед началом занятий все новые студенты должны были представляться инспектору. Самая процедура представления проходила весьма торжественно. Являться полагалось в форменном сюртуке и непременно при шпаге. Но так как далеко не все студенты имели собственную шпагу, то служитель, стоя у кабинета инспектора, предлагал её нуждающимся напрокат за 10 копеек.

Приведя себя в должный вид, студенты по одному заходили в кабинет, приближались к стоявшему возле письменного стола Давыдовскому и рекомендовались, называя фамилию и факультет. Инспектор брал со стола экземпляр

* В то время им был отставной, маленького чина офицер Дробылевский. — Прим. В. Д. Зёрнова.

«Правил для студентов» и, передавая его студенту, говорил: «Прошу прочесть и исполнять». Так, по крайней мере, происходило представление моё и моих ближайших товарищей.

Мои учителя и наставники — профессора Московского университета

Первыми моими профессорами были люди, разные по характеру, привычкам и наклонностям, но, безусловно, одарённые учёные, чьи научные труды были широко известны не только на родине, но и за границей. Отдельные эпизоды, касающиеся жизни и деятельности этих неординарных личностей, свежи в моей памяти до сих пор.

Деканом физико-математического факультета был Николай Васильевич Бугаев — ученик моего деда Николая Ефимовича. На первом курсе Николай Васильевич читал введение в анализ и начала дифференциального исчисления; первые три его лекции заключались лишь в том, что он по своей напечатанной брошюре читал нам вслух историческое введение. Это производило странное впечатление, тем более что он держал брошюру не на столе, а за его краем, словно бы хотел скрыть от слушателей, что он читает по печатному. И в дальнейшем его лекции проходили довольно своеобразно. Так, он всегда сидел на стуле и сам на доске ничего не писал — лишь диктовал, а один из студентов записывал сказанное на доске. Причём записывал всегда один и тот же студент, которому за это заранее был обеспечен зачёт. На нашем курсе эту обязанность выполнял наш гимназический товарищ Аркадий Иванович Беляев.

Бугаев в лекциях часто ссылался на своего учителя — Н. Е. Зёрнова[59], что мне, конечно, было приятно, и дифференциальное исчисление читал, весьма заметно приближаясь к тексту моего деда, изданному в 1842 году[60] (экземпляр этого курса у меня сохранился).

Умный и добрейший человек, крупный учёный, Бугаев обладал вместе с тем многими странностями как в поведении, так и в характере. Например, он постоянно красил свои волосы или, лучше сказать, остатки волос. В понедельник он приходил в университет всегда свежевыкрашенным, причём со следами краски на шее и на руках. К концу недели краска (по-видимому, плохая) выцветала и зеленела. И ему снова приходилось краситься.

Николай Васильевич был женат на очень красивой женщине[61], которой, как рассказывали, в молодости очень гордился, и часто спрашивал у своих знакомых: «Как вам понравилась моя жена?».

Сын его Андрей впоследствии сделался известным писателем. Его произведения выходили под псевдонимом Андрей Белый. В мою пору Андрей Бугаев[62] был студентом естественного отделения физико-математического факультета на один курс моложе меня. Я нередко встречал его в семье профессора Стороженко. Тогда он уже начинал писать в декадентском стиле и очень этим рисовался, особенно перед барышнями. Позже Андрей Белый описал свои студенческие годы, своих учителей и товарищей отца в книге «На рубеже столетий»[63]. Книга очень интересная, но написана не без пристрастия. Профессор Цераский, например, представлен там каким-то грубияном, а милейший, правда чудаковатый И. А. Каблуков — каким-то шутом. На Цераского А. Белый был в обиде за его отрицательное отношение к своим литературным выступлениям.

Однако, несмотря на некоторую чудаковатость Николая Васильевича, студенты относились к нему с большим уважением, ценя его и как крупного учёного, и как своего учителя, и как просто хорошего человека.

Зачёт по началам дифференциального исчисления был первым крупным испытанием, который я держал в университете в конце первого семестра. Необходимо было представить тетрадь с 50 решёнными задачами и ещё одну решить непосредственно на самом зачёте. Занимались мы вдвоём с Мишей Полозовым. Аккуратно перерешали все задачи и с некоторым волнением отправились на зачёт, который принимал сам Бугаев.

Благополучно сдав зачёт, я вышел из аудитории и чуть ли не столкнулся в дверях с каким-то лохматым студентом. Он тут же спросил меня: «Коллега! (так было принято обращаться в студенческой среде друг к другу.) Вы зачёт сдали?». Я с неподдельной гордостью ответил, что сдал. Лохматый студент без дальнейших разговоров и каких-либо объяснений вырвал у меня из рук тетрадь с решёнными задачами, оторвал обложку с моей фамилией и зашел в аудиторию, где принимались зачёты.

Умер Н. В. Бугаев скоропостижно весной 1903 года[64]. Накануне смерти он подписал как декан диплом своему сыну.

Другой математик, Василий Яковлевич Цингер, ученик профессора Брашмана и ровесник Бугаева, читал теорию детерминантов и аналитическую геометрию в пространстве. Это был старик очень высокого роста с большой седой бородой и лысиной до затылочного бугра. Когда он входил в аудиторию, то по ней сразу же распространялся сигарный дух. Вне аудитории он, кажется, не выпускал сигару изо рта.

Лекции Василий Яковлевич читал хорошо, но мало обращал внимания на аудиторию. Очевидно, элементарные курсы читать ему было совсем не интересно.

Один из его сыновей был профессором (кажется, ботаники) в Киевском университете[65], другой, которого я близко знал и очень любил, Александр Васильевич — физиком и достаточно известным педагогом[66]. Он преподавал в Коммерческом институте (теперь Плехановский институт), в строительстве которого принимал деятельное участие.

Василий Яковлевич являлся ещё и страстным любителем ботаники. Его книга «Флора средней России»[67] среди знатоков считалась классической.

Самым популярным профессором из преподававших на первом курсе был Болеслав Корнелиевич Млодзеевский — сын профессора-медика, терапевта, который также работал в Московском университете[68]. Он читал аналитическую геометрию на плоскости и высшую алгебру, и каждая его лекция заканчивалась под аплодисменты аудитории. Свои лекции Млодзеевский преподносил необыкновенно картинно и на профессорской кафедре держался как хороший актёр. Первокурсникам это нравилось. Когда он говорил, что точка удаляется при известных условиях в бесконечность, показывая при этом в левый угол аудитории, то и в самом деле казалось, что точка уносится куда-то и бесконечность становилась вполне реальной.

Большим успехом у студентов пользовался и Александр Николаевич Реформатский, тогда ещё приват-доцент кафедры химии. Он читал нам необязательный курс неорганической химии — «Периодическая система химических элементов». Александр Николаевич был действительно блестящим лектором, и его аудитория всегда наполнялась до отказа; закончив лекцию, он сходил с кафедры под наши бурные аплодисменты.

Много лет спустя, выступая в Доме учёных[69], Реформатский рассказывал, как он сам готовился к каждой новой лекции. Сначала, по его словам, он прочитывал текст лекции дома перед зеркалом, затем повторял то же самое, сажая перед собой свою прислугу. Думаю, что здесь Александр Николаевич немного прибавил, в особенности с прислугой. Но то, что он тщательно готовился к каждой лекции — и не только в смысле содержания, но и в способе произнесения, — это несомненно. Когда мне самому предстояло впервые выступать на уроке в гимназии Н. П. Щепотьевой в качестве преподавателя физики, я, не зная ещё, как Реформатский готовился к своим лекциям, проделал приблизительно то же самое. Выучив урок наизусть, я затем репетировал его в Дубне на балконе дома перед воображаемыми ученицами. Зато никто из них на уроке не мог заподозрить во мне начинающего преподавателя.

Историю математики нам читал приват-доцент Бобынин. Говорят, он был большим специалистом в своей области, тем не менее лекции его были скучны и посещались студентами мало[70].

Лекции по общему курсу физики мы слушали у Николая Алексеевича Умова. Его первая вступительная лекция произвела ошеломляющее впечатление. Курс читался всему факультету — одновременно математическому и естественному отделениям в большой физической аудитории. На первую лекцию собралось человек 700; математиков было 300 с лишним, остальные — естественники. Она была перегружена большим количеством самых сложных опытов, за которыми самое содержание нам показалось непонятным.

Николай Алексеевич, старик с большой седой кудрявой шевелюрой, говорил торжественно, несколько высокопарно, как того требовала высокая философия науки, но для нас, не привыкших к такой обстановке и не искушённых в философии, всё это было мало понятно. С вступительной лекции мы вышли с каким-то туманом в голове, не отдавая себе отчета, что к чему. И только спустя несколько лет, когда я сам уже стал преподавать, я задним числом осознал, что именно хотел рассказать нам Николай Алексеевич. Далее содержание лекций Умова нам было уже понятным. Иногда он рассказывал слишком подробно. Курс читался два года по 4 часа в неделю. Часто описывались старинные опыты и на экране демонстрировались приборы, при помощи которых в своё время были открыты те или иные законы. Во всяком случае, все лекции Н. А. Умова экспериментом были обставлены превосходно.

Лекционным ассистентом (по тогдашней номенклатуре — препаратором) был прекрасный экспериментатор-самоучка Иван Филиппович Усагин. Раньше он служил мальчиком в мучной лавке, любил читать. Однажды в качестве книги для чтения он взял учебник физики и страшно увлёкся им. Каким-то образом с мальчиком познакомился профессор Московского университета А. Г. Столетов и, заинтересовавшись им, стал руководить его занятиями, а потом взял его на кафедру учеником-лаборантом[71]. Из Ивана Филипповича со временем выработался превосходный экспериментатор — лекционный ассистент. Память о нём сохранилась у многих, слушавших курс физики. У него было много изобретений, касающихся эксперимента, но, как это часто случается с русскими изобретателями, они остались без дальнейшего движения. Мы с И. Ф. Усагиным ездили вместе на Всемирную выставку 1900 года в Париж и очень дружили.

На первом курсе полагалось слушать также богословие. Читал его профессор, протоиерей Николай Алексеевич Елеонский, он же являлся настоятелем университетской церкви. Человек он был хороший, но папа долгое время оставался на него в претензии за то, что тот выдал Наташе, когда она тайком от родителей собралась венчаться с С. А. Макаровым, метрическое свидетельство. Не знаю, имел ли Елеонский вообще право не выдать ей свидетельства, знал ли он, для какой надобности необходимо оно Наташе, но взаимоотношения папы с Елеонским так и остались напряжёнными. Должно быть, догадываясь о причине холодного к нему отношения Д. Н. Зёрнова, он много лет спустя, когда я собрался жениться и венчаться в университетской церкви, непременно потребовал письменного на то разрешения от отца моей невесты[72].

Елеонский был высокообразованным, умным человеком, и малопонятно, как он соглашался с тем, что, собственно, никто лекций его не посещал, а если кто и заходил, то вовсе не для того, чтобы слушать, а исключительно для занятий собственными делами. Николай Алексеевич читал по рукописи, держа её близко перед глазами, так как был сильно близорук, и совершенно не интересовался, слушает его кто-нибудь или нет. Младший служитель инспекции — «педель» должен был отмечать присутствующих на лекции, но относился к этому весьма своеобразно. Когда он долго не получал «на чай», то подходил ко мне и говорил: «Владимир Дмитриевич, я вас сегодня на лекции по богословию записал», — за что и получал двугривенный.

Первые экзамены

Занимались мы вдвоём с Полозовым. Учиться было легко. В осеннем семестре ничем, что имеет хоть какое-нибудь отношение к университетской учёбе, мы дома не занимались. Мы лишь ходили слушать лекции, по математике — записывали, хотя этого можно было и не делать, так как все курсы издавались компанией студентов литографским способом, а теория детерминантов — даже типографским. В таких условиях приготовиться к зачёту было не трудно. Мы начали усиленно заниматься только в весеннем полугодии, с приближением экзаменов.

Готовились мы к экзаменам в пустой квартире в Шереметевском переулке, куда наша семья окончательно переехала летом 1898 года и где прожила до лета 1907 года. Приготовились мы довольно прилично. Только на письменном экзамене по высшей алгебре у меня чуть было не получилась неприятность. Надо было составлять какие-то комбинации из коэффициентов в великом множестве. Но в частных случаях дело упрощается, и об этом можно догадаться, исследуя уравнение.

Млодзеевский, придя в аудиторию на экзамен, сделал вид, будто здесь, на месте, придумывает задачу. Взял кусок мела и, сказав: «Ну, хотя бы так», — написал на доске условие. Конечно, задача была придумана им заранее. Я сейчас же принялся составлять комбинации, исписал уже порядочно бумаги. И тут Рафаил Соловьёв, наш гимназический товарищ, сильный, способный математик, проходя мимо меня с законченной работой и заглянувши ко мне в тетрадь, посоветовал: «Ты так до завтра прорешаешь! Исследуй-ка уравнение — половина корней превращается в нули, а половина имеют одинаковые значения». Я спохватился и, посмотрев, действительно убедился, что вся моя работа сделана напрасно. Дальше я допустил глупость — пожалел свою работу и, отчеркнувши уже написанное, тут же приписал: «вследствие того, что урав-

нение имеет такие-то особенности, можно убедиться в том...» и так далее. Написал и всё подал Млодзеевскому.

На устном экзамене отвечал я прилично и на вопрос Млодзеевского, почему у меня такая письменная работа, объяснил, как было дело. Я никогда не любил выдумывать и всегда старался говорить именно то, что имело место в действительности. В результате за письменную работу, а заодно и за устный ответ, я получил «удовлетворительно». Остальные же отметки у меня были «весьма».

По физике меня экзаменовал П. В. Преображенский. Отвечал я на вопрос о колебании маятника. Химию я знал, собственно, плохо, но мне попался очень удачный билет — «бензольное кольцо», и я хорошо отвечал А. Н. Реформатскому.

Экзамен по богословию был совершенной проформой. Елеонский один экзаменовал всех студентов, переходивших на второй курс, а всего на четырех факультетах их было, наверное, не меньше двух тысяч. Экзаменующиеся стояли в очереди, как теперь за продуктами, и каждый прочитывал две-три странички из отпечатанного типографским способом курса. Вопросов Елеонский не задавал, а лишь спрашивал: «Что вы приготовили?». И студент отвечал именно то, что только что, перед тем как зайти в аудиторию на экзамен, прочитал в коридоре. Все без исключения получали «весьма удовлетворительно».

Студенческий оркестр

Я продолжал заниматься у К. А. Кламрота и играл большие и технически трудные вещи. Проходил с Карлом Антоновичем концерты Вьётана, первый второй и четвёртый концерт Бруха. Из пьес играл полонез Венявского, сонату Тартини, Fantaisie Caprice Вьётана и другие. Конечно, я освоил перечисленные произведения не за один 1898 год. Кламрот окончательно уехал из России только в 1900 году, и я до его отъезда брал у него уроки.

В этом 1897/98 году восстановился студенческий оркестр, дирижёром его пригласили А. А. Литвинова — он был скрипачом и играл в первых скрипках в оркестре Большого театра, но переходил на дирижёрскую работу и дирижировал оркестром Общества любителей оркестровой, вокальной и камерной музыки[73]. Я стал играть в обоих этих оркестрах.

В студенческом оркестре я был концертмейстером первых скрипок. Мы сразу начали готовить концертную программу: проходили первую симфонию Бетховена и марш Мендельсона. Мне предстояло играть solo. И впервые — в сопровождении оркестра. Карл Антонович очень интересовался моим выступлением. Он выбрал для этого «Fantaisie Caprice» Вьётана, сам достал партитуру и партии для оркестра. Вещь эта по технике виртуозная, но шла она у меня хорошо, и всё же я сильно волновался.

Концерт проходил в зале Охотничьего клуба — это был прекрасный зал в доме Шереметева на Воздвиженке, теперь там Кремлёвская больница[74], а прежде помещалась Московская городская дума. Сцена в зале была вполне оборудована — на ней Художественный театр ставил свои первые спектакли: «Потонувший колокол», «Уриэль Акоста», «Бесприданницу». В этом же году Художественный театр выступал в театре Эрмитаж в Каретном ряду[75]. Из первых его постановок я видел в Охотничьем клубе «Потонувший колокол» и «Бесприданницу». «Потонувший колокол» произвёл на меня особенно потрясающее впечатление.

Наш студенческий оркестр давал концерт 5 марта 1898 года. Зал был полон. Сначала шла симфония, затем моё выступление. Сосед по пульту, очень способный скрипач Гриша Гадлевский, видя моё волнение, посоветовал прибегнуть к средству, к которому сам был весьма привержен. Перед концертом он говорит: «Выпей рюмку коньяку, волнение как рукой снимет». Я знал, что после вина слабеют пальцы и рассеивается внимание. Но, по-видимому, всё зависит от количества. И я решился-таки на одну рюмку. Эффект получился замечательный — я совершенно перестал волноваться. Может, это было даже внушение, которое невольно сделал мне Гадлевский. Во всяком случае, когда я вышел и публика встретила меня аплодисментами, что в старые времена вовсе не всегда бывало, мне даже было немножко смешно видеть мою маму, сидевшую в первом ряду красную как маков цвет от волнения. Руки у меня были совершенно нормальны и сухи, и я без всякого волнения сыграл свой трудный номер. Публика мне долго аплодировала, и я исполнил ещё две вещи на bis. Концерт вообще прошёл весьма удачно.

После концерта оркестранты отправились ужинать в ресторан «Континенталь» (где теперь кинотеатр «Восток» — на углу Театральной площади и Охотного ряда), но я сначала отнёс домой свой инструмент. Мама тоже устроила угощение. На столе стояла корзина с роскошными цветами (они были посажены в землю и потом долго держались). Я спросил, кто принёс такие чудесные цветы. Но мама сказала, что принесший хочет, чтобы я сам догадался. Я принялся размышлять, мама мне уже подарила за выступление золотое кольцо с бриллиантом, значит, это была не она. По счастью, я догадался, что цветы, верно, купила Софья Петровна Рубцова, которая продолжала жить у нас и очень меня любила. Она осталась весьма довольной.

Дома я задержался, а когда уже поздно явился в «Континенталь», то в отдельном кабинете застал компанию моих товарищей по оркестру. Выпили за моё здоровье как солиста и концертмейстера, я посидел с ними немного и отправился домой, а они шумели до утра.

Гадлевский был из Бессарабии. Бессарабы жили в номерах Фальц-Фейна[76] — это была развесёлая компания. Кутили они обычно в ресторанчике «Лаворно» в Кузнецком переулке[77]. Однажды, выйдя из «Лаворно» уже ночью, они пошли гулять по Тверской и, остановившись около булочной Филиппова, начали что-то шуметь, в результате студент Арионеско разбил стеклянную вывеску между окнами магазина. Его забрали в участок, но когда Филиппов узнал, что разбивший вывеску является студентом, попросил полицию его отпустить. Так и сделали. Вообще, к студентам москвичи относились очень хорошо и многое им прощали.

Общество любителей оркестровой, вокальной и камерной музыки

Участие в Обществе любителей оркестровой, вокальной и камерной музыки было тоже интересно. Общество это было организовано семьёй Алексеевых (один из братьев, Константин Сергеевич Станиславский, стал основателем Художественного театра). Они же главным образом предоставляли и средства для содержания оркестра. Например, дирижёру оркестра Литвинову, не получавшему постоянного жалованья, на одном из концертов вручили ларец, наполненный золотыми монетами. Было в том ларце тысячи три. Конечно, подношение было сделано Алексеевыми.

На репетиции оркестр собирался раз в неделю, кажется, по средам, вечером в помещении третьей мужской гимназии на Большой Лубянке, где теперь выстроены дома НКВД.

Готовилось очень интересное выступление — оперные отрывки, причём вокальные партии исполнялись ученицами и учениками М. Н. Климентовой-Муромцевой, когда-то довольно известной певицы на сцене Большого театра. Её муж Сергей Андреевич Муромцев, впоследствии председатель первой Государственной Думы, крупный адвокат, профессор Московского университета, был братом Ольги Андреевны Рахмановой, матери моих друзей. Среди учеников Марии Николаевны Климентовой-Муромцевой были очень хорошие: Е. Н. Хренникова — лирическое сопрано (позже она была принята в Большой театр и имела успех, но на сцене оставалась не особенно долго), О. П. Мельгунова, обладавшая большим контральто; из более давних учеников — Н. С. Оленин, который также пел на московской сцене. Помню Колю Миронова, баритон, Наташу Арцыбашеву, О. Ф. Перлову, Ф. С. Канцель.

И вот М. Н. Климентова затеяла нечто вроде экзаменационного спектакля своих воспитанников, а для оркестровой партии пригласила наш оркестр. Были поставлены: маленькая двухактная опера Рейнеке «Губернатор и Тура», один акт из оперы Кюи «Вильям Ратклиф», в котором участвовали Хренникова и Оленин, и сцена у монастыря из «Жизни за царя» Глинки — партию Вани пела Мельгунова. Пела она очень хорошо, её мощный голос звучал как колокол, и в конце арии Вани, которую Мельгунова заканчивала, стоя на коленях, публика начала аплодировать. Мельгунова растерялась и, не вставая с колен, поклонилась в сторону публики. Её долго этим дразнили. Кажется, поклон по режиссёрской ремарке действительно полагался, но не в сторону публики.

Театр был полон зрителями. Конечно, большую роль в этом сыграла сама Мария Николаевна, имевшая большие знакомства, да и участники представления тоже привлекли своих знакомых, во всяком случае, такой спектакль в те времена в Москве был событием и многие им интересовались. А нам было весьма забавно проводить последние репетиции и самый спектакль в Большом театре, за пультами которого сидели настоящие артисты, чьи имена были широко известны музыкальной Москве.

Путешествие на Кавказ

После окончания гимназии я стал получать от папы ежемесячно на карманные расходы по 20 рублей. И вот с моими друзьями — Юрой Померанцевым, Колей Педёшевым и Лёней Прозоровым — мы затеяли скопить к лету 1898 года по 150 рублей на путешествие по Кавказу. Я каждый месяц откладывал по 15 рублей и к лету имел полные 150 целковых. Необходимые суммы скопили и мои друзья. Мы решили сделать такой круг: Москва, Нижний Новгород, далее по Волге до Астрахани, по Каспийскому морю до Порт-Петровска (ныне Махачкала), по железной дороге до Владикавказа, затем на лошадях по Военно-Грузинской дороге до Тифлиса, а оттуда по железной дороге в Боржом, Кутаис и Батум; от Батума по Чёрному морю до Ялты, потом до Севастополя на лошадях через Байдарские ворота и уже из Севастополя по железной дороге прямо в Москву.

Маршрут был предложен мной; я по нему уже ездил, за исключением части пути — от Самары на Астрахань и от Порт-Петровска до Владикавказа, и знал,

что путь этот исключительно привлекателен. По путеводителю я составил смету на все билеты, выделил некоторый запас на экскурсии; выяснилось, что путешествие надо проделать за месяц. Смета была так выполнена, что приехавшему с вокзала домой Прозорову не хватило денег даже заплатить извозчику.

Отправились в путешествие мы в начале августа, а до этого Недёшев большую часть лета провёл у нас в Дубне. Летом, и не один сезон, в Дубне жил также пианист Боркус, чтобы аккомпанировать мне на фортепиано, за что он получал некоторую плату. Гостили и мои родственницы Таня и Оля Эсауловы, приезжали Померанцев, Прозоров. Мы сделали неплохую площадку для тенниса и целыми днями поочерёдно в него играли.

С Боркусом мы исполняли сонаты Бетховена, Грига, и, что мне было особенно полезно, мы играли трио, правда, без виолончели. Таким образом, я прошёл скрипичные партии почти всех классических трио. Играли мы и Аренского, и Чайковского. Однажды играем мы трио Чайковского, заключение последней части представляет конец «Великого артиста» (произведение посвящалось памяти Н. Г. Рубинштейна). Когда мы кончили эту мрачную часть с похоронным звоном, я оглянулся и увидел: в дверях стоит столяр из Каргашина Федосей Сергеевич Троицкий и плачет, приговаривая: «Очень уж вы трогательно играете». Такая похвала нашему исполнению мне навсегда запомнилась как самая наивысшая. Федосей Сергеевич всё воспринимал, конечно, непосредственно, никаких воспоминаний, связанных с музыкой, у него не могло быть.

Большого пианиста из Боркуса не вышло. Он закончил консерваторию по педагогическому классу и оказался человеком недалёким, но играть с ним было очень приятно — он любил и понимал музыку. На прощание перед его отъездом из Дубны мы сыграли с ним подряд все десять сонат Бетховена. Кажется, только в перерыве пообедали.

Приходилось мне ещё и петь — было у меня что-то вроде баритона. С Боркусом мы пели преимущественно романсы Чайковского (у меня имелось их полное собрание), а с Юрой Померанцевым, у которого, правда, никакого голоса не было, мы пели целые оперы: «Онегина», «Пиковую даму», «Фауста», «Паяцев». Певал я и Руслана, и Фарлафа, и арии из «Игоря». Такое исполнение опер никому, кроме нас самих, удовольствия доставить, конечно, не могло, но зато мы таким образом выучивали оперы от доски до доски и слушали их затем в театре с особенным наслаждением.

С Недёшевым и Померанцевым в Ольгин день, 11 июля, мы ездили в Царицыно к Муромцевым — старшая дочь М. Н. Климентовой-Муромцевой Ольга была именинница, и по этому случаю на весь день приглашались гости — это называлось в старину folle journie. Народу собралось много, в основном — ученицы Марии Николаевны.

Днём мы гуляли по чудесному Царицынскому парку, потом обедали, а вечером, на большой веранде танцевали. Ночевали мы кое-как на царицынском вокзале и с утренним поездом вернулись в Дубну.

На этот раз я впервые надел только что сшитый очень хороший белый китель. Днём, когда мы гуляли, я шёл под руку (тогда так было принято) с Ф. С. Канцель, на которой было ярко-красное платье. И вот, когда мы вернулись в дом, оказалось,

что правый бок и рука у меня выпачканы чем-то красным, скорее всего — от полинявшего платья Ф. С. Канцель. Надо мной посмеялись. Китель же пришлось отдать в чистку — в красильню Цуккермана на Арбате[78], а в ней случился пожар, и мой нарядный китель сгорел. Его я надевал только раз и больше такого наряда себе не шил — обходился кителем, купленным мне к окончанию гимназии, да и его я носил довольно редко. Моим любимым летним платьем была чесучёвая русская рубашка.

После моих именин мы всей компанией — Померанцев, Недёшев, Прозоров и я — отправились в гости к Никитиным. Они жили около Щербинки в имении графа Шереметева Астафьево, в громадном доме самого графа. Никитины были очень богатые люди, имели дом в Ржевском переулке на Поварской, где мы часто бывали. Нашими приятельницами были старшие девочки Шура и Киса — двоюродные сестры нашего товарища Котлярова. У Никитиных нас встречали всегда очень радушно, и на этот раз девочки были весьма довольны тем, что к ним приехала целая компания молодых людей. Они весь день ни на минуту не оставляли нас одних.

Среди молодёжи в наше время было гораздо больше рыцарства, и распущенности, конечно, не позволяли. Девушки держали себя строго, а мы с уважением относились к их женскому достоинству.

Ну а теперь — про путешествие.

Как и в предыдущей поездке в Финляндию, руководство и расходование денег я взял на себя. Выехали мы в Нижний Новгород, помнится, 3 августа. Весь путь по железным дорогам я рассчитал по третьему классу, а на пароходах — по второму. Поезд в Нижний Новгород приходит рано утром, и тут же на железнодорожном вокзале мы купили билеты на пароход. Выбрали пароход «Цесаревич» общества «Кавказ и Меркурий»[79]. Оно имело пароходы и на Каспийском море, так что билеты брали прямо до Порт-Петровска.

Мы поместились в четырёхместной каюте. Пассажирам второго класса, однако, не возбранялось заходить и в рубку первого класса. Там стояло пианино, и мы сейчас же его использовали. Юра стал играть, а я с его аккомпанементом петь. Эта музыка привлекла внимание всех классных пассажиров и сделала нашу компанию популярной. Все пассажиры с нами перезнакомились и очень одобряли наше выступление. В первый же день к нам подошёл пожилой человек, который ехал с взрослым сыном и рекомендовался старым дерптским студентом, он просил принять его в нашу студенческую компанию. Им оказался присяжный поверенный из Курска Розен. Мы, конечно, охотно с ним познакомились. Вечером того же дня он угощал нас, приготовив по дерптскому рецепту грог — коньяк с горячей водой, сахаром и лимоном. Напиток оказался довольно вкусным и пьяным. Розен хорошо помнил студенческие песни. Пели «Gaudeamus»[80] и «Из страны, страны далёкой»[81]. Всю дорогу по Волге (Розен ехал до Самары) мы дружили с ним.

Стояла чудесная погода, и мы целые дни проводили на палубе. По вечерам мы давали импровизированные концерты и сидели с пассажирами первого класса на балконе и в рубке. Тут мы сдружились ещё с одним присяжным поверенным — Николаем Владимировичем Поляковым, а также со студентом-электриком. Так мы всеобщими баловнями доехали до Астрахани.

Там перебрались на небольшой пароход «Константин Кавос». Теснота была ужасная. Кроме классных пассажиров на него погрузилось много рабочих, ехав-

ших на заработки в Красноводск. Здесь же находился и груз. Среди рабочих имелось много подвыпивших. И вот, когда мы вышли в открытое море, один из них свалился в воду. Пароход тут же застопорил машину, продолжая всё же двигаться вперёд по инерции. Пока спускали шлюпку, пароход отошёл от места происшествия на такое расстояние, что среди волн я даже в бинокль не мог найти барахтающегося человека. Шлюпка с четырьмя гребцами и помощником капитана на руле быстро удалялась, все напряжённо следили за ней. И только когда она возвращалась, все облегчённо вздохнули, так как число людей на ней увеличилось на одного. Со спасённого пассажира от такой ванны хмель как рукой сняло. Но когда под общие приветствия он поднялся по трапу на палубу, то первое, что попросил, это стакан водки. Конечно, его желание сейчас же удовлетворили.

Перед вечером мы подошли к морскому пароходу и пересели на него. По сравнению с волжскими дворцами-пароходами он выглядел грязноватым, везде большая теснота, и особенного удовольствия этот переход, конечно, не доставил. Благо, что он был короткий. Рано утром мы пришли в Порт-Петровск и сейчас же взяли билеты на поезд до Владикавказа. В нём провели один день. Я нанял «коч-коляску», мы выехали часов в 12 дня и засветло доехали до Ларса. А оттуда рано утром отправились по Дарьяльскому ущелью[82]. Чтобы наилучшим образом запечатлеть его красоты, до станции Казбек большую часть пути шли пешком рядом с «коч-коляской».

Ночевали мы в той же единственной гостинице, что и в 1896 году. Наутро наметили отправиться на Девдоракский ледник[83]. А встали рано утром — всё небо покрыто низкими облаками. Мы засомневались, стоит ли совершать довольно сложную и дальнюю экскурсию. Ведь предстояло вёрст восемь ехать по шоссе обратно к Владикавказу, а потом по тропе подыматься ещё вёрст восемь. Однако было жалко расставаться с мыслью побывать на леднике.

На линейке доехали до сторожки в устье Девдоракского ущелья. Туман уже несколько приподнялся, и мы, взявши здесь в качестве проводников двух мальчиков, двинулись пешком по тропе к леднику. Вскоре мы попали в облако, и окружающие нас предметы выглядели неестественными. Вдруг на дороге мы заметили громадное животное: уж не верблюд ли? Но, подойдя вплотную, увидели — обыкновенная лошадь, к тому же совсем не крупная. Этот обман зрения я объясняю так: из-за тумана предметы, находящиеся близко от нас, мы относим на расстояние значительно большее, чем на самом деле, а угол зрения от воздушной перспективы не меняется. Таким образом, человека мы видим под большим углом зрения, но он, благодаря воздушной с туманом перспективе, кажется нам далеко отстоящим от нас. Сочетание большого угла зрения с кажущимся большим удалением предметов и создаёт впечатление сильно увеличенных размеров.

Но вот туман редеет. Над нашими головами показалось совершенно чистое голубое небо, а под нами — море облаков. По поверхности облаков медленно ползут волны и, наползая на берег ущелья, заливают его и вновь медленно отступают назад — будто очень замедленный прибой морских волн.

Отдохнув и закусив в сторожке, отправились дальше. Мы прошли по морене[84] до самого льда, но по нему идти было уже нельзя — стали попадаться большие трещины и без особых приспособлений хождение становилось небезопасным.

Сидя на краю морены, мы полюбовались на могучие льды и тем же путём возвратились к сторожке, где нас ожидала наша линейка.

Нам так понравилось это восхождение, что мы на следующий день отправились на другой ледник — Чхерский, путь к которому лежит прямо от станции Казбек мимо селения Герчеты и церкви Цминда Самеба[85]. Тропы туда вообще не было. За совершенно ничтожную плату нас взялся провести старик, местный житель. По собственной инициативе он нёс ящик с фотографическим аппаратом и две наши шинели. Шли мы чудесными альпийскими лугами. Подъём оказался нетрудным, и мы вскоре вышли к могучей ледяной реке. Вершина Казбека, которая как бы царит и венчает ледяное поле, из которого выплывает эта река, была окутана облаками.

Налюбовавшись, мы отправились назад. Облака начали спускаться, и пошёл мелкий дождь. Хорошо, что взяли шинели. Сделалось так скользко, что на некоторых склонах мы садились на низкую траву и съезжали вниз точно с ледяной горки. Благодаря такому способу передвижения мы быстро добрались до Цминды Самебы и здесь наблюдали явление, которое я никогда не забуду. В метеорологической оптике оно называется «явление Гало»: облако опускалось быстрее нас, и, когда мы съехали к церкви туман оказался над нами, а солнце освещало нас сверху и мы могли видеть свои, сильно увеличенные в размерах тени на облаке, причём, вследствие дифракции, тень окружал венец радуги точно громадный круг святости, изображаемый на иконах. И что особенно удивительно, тени каждого из нас видели все, а нимб каждый наблюдал только вокруг собственной тени. Это весьма редко наблюдаемое явление исключительно красиво, и я видел его единственный раз в жизни.

Пообедавши, мы развесили свои мокрые шинели на нашей «коч-коляске» и поехали к Коби и Крестовому перевалу.

В Тифлисе мы остановились в гостинице «Франция», построенной по старинному плану. Дом в два или три этажа имеет внутренний двор, окружённый балконами этажей. Все номера гостиницы выходят на эти этажи-балконы.

Здесь мы провели дня два. Ходили в ботанический сад. Конечно, посетили и восточные кварталы, и бани Орбельяни — испробовали восточный массаж.

Из Тифлиса дневным поездом по главной линии доехали до Михайловской, пересели в боржомский поезд и к вечеру прибыли в Боржом. Остановились мы в гостинице недалеко от железнодорожной станции. Утром мы отправились в парк Минеральных вод и увидели там моих знакомых, с которыми я встречался в 1896 году. Звали одну девушку Оля Грузенберг, это была очаровательная белокурая, с голубыми глазами евреечка. Своей внешностью и милым поведением она обращала на себя внимание буквально всех, мне она очень нравилась. Потом, к сожалению, я её никогда не встречал. Слышал от кого-то, что она, кончив гимназию, сделалась учительницей в еврейской школе. Недавно мне попалась книжечка с довольно интересными рисунками пером художника Грузенберга. Она была посвящена сестре художника — Ольге Николаевне Грузенберг. Должно быть, это и есть наша Оля, ведь у неё, помнится, был младший брат.

В парке Минеральных вод к нам обратился московский студент-медик:

— Мне кажется, вы московские студенты. Я вас видел в Москве.

Мы тут же познакомились, и он взял с нас обещание, что мы вечером обязательно явимся к его родителям ужинать.

Родители студента... по национальности армяне, жители Боржома, по-видимому, были состоятельными людьми. Узнав, что я сын ректора, из уважения к моему отцу посадили меня рядом со стариком-тамадой во главе стола. Еда была чисто национальная: жирный плов, много фруктов. Первым предложили тост за здоровье ректора Московского университета, потом последовательно за здоровье отцов других гостей, затем — за матерей и за самих гостей. Мы, в свою очередь, отвечали на тост тостом, пили за здоровье хозяев и их семейных. Так что выпито было порядочно, но вино было только лёгкое, а еды много, и все были в полном порядке. Лишь поздно ночью мы возвратились в гостиницу.

На другое утро поездом мы отправились в Кутаис. Приехали к вечеру. Остановившись в гостинице, мы на другой день пошли знакомиться с городом, однако ничего примечательного не обнаружили и в тот же день выехали в Батум.

Помню, подсел к нам в вагоне старый еврей с ящиком (витринкой), в котором были разложены разные предметы — карандаши, английские булавки, стоившие копейку-две, а то и полкопейки. Были, правда, в нём и хорошие дорогие вещи, как, например, кавказский серебряный пояс, стоивший не один десяток рублей. Объяснив, что это у него «беспроигрышная» лотерея, он предложил нам испытать своё счастье.

Игра заключалась в следующем: все вещи были аккуратно разложены на дне ящика и пронумерованы. Игрок бросал шесть костей с очками, сумма которых давала ему право на получение соответствующего этому числу выигрыша. Каждое бросание костей при этом стоило 20 копеек.

Мои друзья, конечно, заинтересовались игрой и я как заведовавший общей кассой выделил им по рублёвке на брата. Лёня едва ли не с первого раза выбросил удачное число очков и выиграл солонку из белого металла. Хозяин лотереи, заметив его разочарование, предложил Лёне продать солонку обратно ему за три рубля, на что тот охотно согласился. Но затем он проиграл и эти три рубля, и свою рублёвку. Мы также лишились своих рублёвок, получив взамен какие-то копеечные вещи.

Однажды, уже в Саратове, я устраивал вечер в пользу недостаточных студентов, и у нас были тоже разные лотереи. За право бросить кости мы брали пять копеек — этого вполне было достаточно, чтобы за вечер набралось рублей 25, не меньше. В качестве вывески один из студентов на большом картоне на фоне гор нарисовал восточного вида человека, приглашавшего публику принять участие в розыгрыше лотереи. Подпись на рисунке гласила: «Кыдай кость — пытачок цына!». Но из-за того, что и изображение кавказца, и надпись выглядели карикатурно, наши студенты-кавказцы запротестовали и вывеску пришлось снять, что, конечно, резко уменьшило доход с лотереи.

Пароход «Пушкин» отходил только в следующую ночь, и целый день мы гуляли по городу и по только что посаженному приморскому бульвару. Погода была тихая, и мы, взявши лодку, вышли в открытое море и там прямо с лодки купались. Плавали мы все очень хорошо, а в море и того лучше. Вечером сидели в ресторанчике с открытой сценой и оттуда отправились на пароход. Не дожидаясь его отхода, мы легли спать, а когда проснулись, «Пушкин» был уже далеко от Батума.

В Ялте остановились в паршивенькой гостинице в восточной части города за молом. С экскурсией Горного клуба мы побывали на Ай-Петри. Туда и обратно

ехали на лошадях, запряжённых в линейки. На самой вершине попали в туман, из которого сыпал дождь с крупой. Пережидали дождь в духане, ели там крымский мамлык, а знаменитого вида с Ай-Петри в этот раз так и не увидали. На обратном пути погода разгулялась, всё было мокрым от дождя, а сосновый лес, покрывающий горы, просто благоухал. Других экскурсий из Ялты мы не предпринимали. Деньги наши кончались. Программу путешествия, однако, мы выполняли в точности. Наняв коляску, мы отправились по Воронцовскому шоссе через Байдарские ворота в Севастополь. Оттуда, не задерживаясь, вечером же выехали в Москву. Случайно или нет, но только мы попали в вагон, наполненный московскими курсистками и студентами. Так что и этот последний этап нашего путешествия провели среди молодёжи, радушно принявшей нас в свою компанию.

Московские будни

Приехали в Москву мы к самому началу семестра. Коля Недёшев, как все медики второго курса, сидел главным образом в анатомическом театре и, так сказать, «интересничал» своим студенчеством: носил длинные волосы, шинель внакидку. Моему папе это не слишком нравилось, о чём он ему и сказал.

Юра Померанцев был уже на третьем курсе юридического факультета, но университет, как и большинство юристов, не посещал, а занимался в консерватории по фортепиано у Скрябина и по теории у Танеева. Жил он тогда у Толстых (С. И. Танеев был дружен с С. А. Толстой и устроил Юру в её семье[86]). Я бывал у него, и Софья Андреевна приветливо приглашала нас пить чай у неё в столовой. Льва Николаевича я ни разу не встречал: он постоянно жил в Ясной Поляне.

Кажется, именно этой зимой[87] ставили в Большом театре двухактный балет, написанный Юрой Померанцевым. Музыка была достаточно приятная, но либретто совершенно неудачное. Балет назывался «Зимние грёзы»[88]. Какие-то дети идут по лесу, засыпают, и им грезятся разные разности. Собственно, содержания никакого. Думаю, из-за этого балет не удержался на сцене и после трёх-четырёх представлений был снят[89].

Именно в этот год я стал заниматься в физической лаборатории и впервые встретил там Петра Николаевича Лебедева[90]. Общий курс физики — электричество и оптику — я продолжал слушать у Н. А. Умова, а интегральное исчисление читал нам Леонид Кузьмич Лахтин. Он преподавал у нас ещё в гимназии. Курс у него был выработан очень хорошо, его можно было дословно записывать, но слушать не записывая было всё же скучно, так как он чуть ли не диктовал.

Много пользы мне принесли занятия в лаборатории. Мы аккуратно работали два раза в неделю по 4 часа. Сколько задач переделали! Первой моей работой, выполненной здесь, было «Определение содержания кислорода в атмосферном воздухе» с использованием эвдиометра.

И жить, и учиться студентам было гораздо легче, чем теперь. В наши времена и разговора не могло быть об отсутствии учебников; если печатанного учебника не было, то студенты сами издавали литографированные, а то и типографски напечатанные, записки лекций. Не могло быть и темноты в жилом помещении студента или случая, чтобы помещение института зимой не отапливалось. Студенты, питавшиеся в студенческой столовой на Бронной, часто получали обед бесплатно,

в платной же столовой сытный обед из двух блюд стоил 15 копеек. Хлеба и квасу давали, сколько влезет. По воскресеньям обед состоял из трёх блюд.

Параллельно я продолжал заниматься и музыкой — брал уроки у К. А. Кламрота и играл в двух оркестрах. Студенческий оркестр опять готовил концертную программу: одну из симфоний Гайдна, а я — первую часть концерта Мендельсона с оркестром. Соло играл также Юра Померанцев и другой Померанцев, Иероним, виолончелист, тоже студент, хороший музыкант, из первых моих постоянных партнёров по квартету. Иероним исполнял с оркестром концерт Гальтермана. Помимо студентов, в концерте участвовали Е. Н. Хренникова и знаменитый баритон Павел Акинфиевич Хохлов. Концерт проходил в малом зале Благородного собрания (Дом Союзов) в феврале. Публика нас приняла хорошо. Я два раза играл на bis — арию Баха и один из танцев Брамса. На память об этом концерте мама подарила мне золотые запонки с моей монограммой*.

П. А. Хохлов покидал сцену Большого театра в 1900 году. Прощальный спектакль, конечно, «Евгений Онегин» — это была коронная роль Павла Акинфиевича — проходил в рождественские каникулы. Состоялось официальное чествование. При поднятом занавесе подносили подарки, венки, читали адреса. М. Н. Климентова-Муромцева сама поднесла лавровый венок с надписью на ленте «Первому Онегину от первой Татьяны» — они действительно первыми исполняли эти партии, когда «Онегин» впервые ставился в консерваторском экзаменационном спектакле[91]. Я присутствовал на этом чествовании, но частным образом. От студентов приветствия не было, а сделать это следовало: Хохлов бесчисленное количество раз участвовал в концертах, сбор с которых поступал в пользу недостаточных студентов.

И вот мы надумали исправить эту оплошность. Узнав, что во второй половине января артисты Императорских театров дают обед Павлу Акинфиевичу, мы решили явиться к концу обеда и прочесть адрес любимому артисту. Адрес с очень тёплыми словами написали на листе настоящего пергамента, купили аршин синего бархата и белую шёлковую подкладку, обшили этот плат золотым шнуром и прикололи адрес и несколько листов с подписями к плату университетским значком. Всё свертывалось в трубку и перевязывалось золотым шнуром с кистями.

Читать адрес поручили мне. Я, конечно, текст вызубрил наизусть. В назначенный день человек двенадцать студентов в сюртуках и при шпагах явились в Колонный зал «Эрмитажа», где проходил обед, вызвали распорядителя торжества и попросили разрешения войти в зал. Там — артисты во фраках, артистки в вечерних туалетах, во главе стола — Павел Акинфиевич с женой. Когда мы вошли, он поднялся и стоя выслушал наше приветствие. Я сильно волновался — это было моё первое «ораторское» выступление, да ещё перед такой артистической аудиторией, но я много раз перед этим репетировал и прочёл адрес хорошо. Хохлов, очень довольный, взял с адреса университетский значок и приколол его к лацкану своего фрака. Нас усади-

* Я носил их до 1921/22 года. Но уже в Москве пришлось их продать, так как профессор Епатьевский, приславший мне во время моего ректорства в Саратове воз сена, которое он заготавливал хозяйственным способом для университетских лошадей и рабочих волов, позже через своего сына неожиданно потребовал немедленно уплатить за него ему лично. Денег под руками не было. И вот, не желая задерживать уплату, я и продал запонки. — Прим. В. Д. Зёрнова.

ли за стол и угощали шампанским. Я сидел рядом с певицей Азёрской, которая уверяла, что студенты — самые любимые слушатели артистов. Да и правда, пятый ярус, сплошь заполнявшийся студентами, мог создать самый настоящий успех артисту.

П. А. Хохлов, оставив сцену, жил в своём имении в Тамбовской губернии, был предводителем дворянства, а позже — членом Государственной Думы (его биография имеется в музыкальном словаре Римана[92]). Мне рассказывали, что Павел Акинфиевич бережно сохранял наш адрес, любил его перечитывать и говорил, что это для него самое дорогое приветствие.

Время было не из лучших — начинались студенческие волнения. Необходимо было как-то проявить своё отношение к забастовке, проводимой студентами Московского университета. Не помню, в чём заключались их требования, хотя требования, собственно, не были причиной волнений и забастовок, они всегда были поводом, а причина лежала глубже, в общем недовольстве политической обстановкой[93].

Я попал в трудное положение: как студент я должен был поддерживать товарищей — не ходить на занятия, но посещать сходки, а как сын ректора[94] я обязан был выполнять предписания администрации — не поддерживать забастовки, посещать лекции. И то и другое для меня было одинаково неприятно. Я посоветовался с папой. Он предложил мне устраниться от того и другого до следующего семестра, как бы выйти из университета на полгода. Это означало бы потерю целого года и оставление на второй год на втором курсе, но я решился, тем более что время можно было провести с огромной пользой, занимаясь физикой. Когда я стал работать под руководством П. Н. Лебедева, он предложил мне экспериментальную тему: «Изменение диэлектрической постоянной при переходе из жидкой в кристаллическую фазу»[95]. И хотя положительных результатов получено не было, самая работа и даже неудачи оказались весьма полезны. На неудачах я учился самостоятельно экспериментировать. Диэлектрическая постоянная определялась прибором Кольрауша. Я в совершенстве овладел работой с этим прибором.

Однажды сижу в лаборатории, ко мне подходит химик, приват-доцент, и спрашивает, не соглашусь ли я помочь ему установить прибор для определения диэлектрической постоянной в лаборатории спиртового склада в Лефортове. Я согласился. И приехав на место, в несколько минут собрал прибор и показал химику, как проводить измерения. Мне было очень приятно, что я поддержал честь школы П. Н. Лебедева. Это, пожалуй, был первый мой успех как физика.

Столетний юбилей Пушкина

Оркестр Общества любителей готовил программу к торжествам столетнего юбилея Пушкина и уже весной участвовал в концертах в Колонном зале Благородного собрания. Сейчас я не помню, что именно мы исполняли.

Наш оркестр постоянно то аккомпанировал пению, то сам исполнял оркестровые номера, и было решено, что он всё время будет оставаться на эстраде. Среди номеров, которые шли без сопровождения оркестра, мне особенно запомнилось выступление А. И. Южина, одного из лучших артистов Малого театра. По-старинному вынесли на эстраду столик, поставили на него свечи, хотя в зале было электрическое освещение. Выходит немного грузноватый Южин, садится за стол и начинает: «Тиха украинская ночь! Прозрачно небо. Звёзды блещут...»[96]. Он так замечательно читал,

что мы, сидящие на эстраде, залитой электричеством, забыли, где находимся. Казалось, и вправду наступает тёплая украинская ночь и светит луна.

В старину, мне кажется, артисты читали лучше, чем теперь. Они читали проще, без выкриков и проникновеннее. Сейчас много «мастеров слова», но никто из них не производит такого впечатления, как А. И. Южин или М. Н. Ермолова.

С концертов Ермоловой я всегда уходил духовно обогащённым, с желанием что-то делать, лишь бы не сидеть сложа руки. Помню, как во время японской войны в 1904 году в помещении Исторического музея[97] проходило некрасовское утро. Аудитория была битком набита, главным образом учащейся молодёжью. Ермолова много и прекрасно читала: «Ключи», «Женскую долю» и другие некрасовские вещи. А публика всё требовала и требовала повторений. Ермолова долго отказывалась, но под напором восторженных слушателей всё же вышла ещё раз. Она появилась на эстраде с маленькой книжкой в темно-красном бархатном переплёте (читая перед публикой стихи, она обычно держала книжку в руках). Пройдя немного, остановилась и, словно устав от тяжкого, непосильного труда, оперлась на стену (тоже её характерная поза) и начала читать: «Внимая ужасам войны, при каждой новой жертве боя...»[98]. Перед моими глазами до сих пор с поразительной ясностью, точно происходило вчера, стоит гордая фигура М. Н. Ермоловой и слышится её проникновенный, полный тревоги и горечи голос. Даже сейчас, когда я читаю это стихотворение, мне трудно справиться с невольно охватывающим меня волнением, а тогда стихи просто потрясли меня. Впечатление усиливалось вдвойне ещё и потому, что шла война несчастная, непопулярная.

К пушкинскому юбилею состоялось и торжественное заседание Совета университета. Папа был в это время ректором. Заседание сделали открытым, с приглашением публики. Среди прочих пригласили генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича и его жену Елизавету Фёдоровну, сестру царицы. Затеял папа привести на заседание и Веру Александровну Нащокину — вдову Павла Воиновича Нащокина, приятеля Пушкина — как человека, который лично знал поэта. В письмах Пушкина к Нащокину имя Веры Александровны упоминается довольно часто.

Ей, по-видимому, было лет 85[99]. Она жила в семье своего сына в большой бедности. Оказалось, у неё нет даже приличного платья, чтобы присутствовать на заседании. Мама купила чёрной материи, шёлковую кружевную косынку и заказала старушечье платье. В день торжества Веру Александровну привезли к нам в квартиру, она оделась в новое платье, и мы все вместе отправились в Актовый зал университета. В молодости она была очень хорошенькой*, теперь же — маленькой, совершенно седой худенькой старушонкой.

Когда в зале появился великий князь, папа представил Веру Александровну ему и великой княгине как жену друга поэта, которая сама лично знала Пушкина. Великий князь, помнится, не среагировал особенно на это представление, но Елизавета Фёдоровна, достаточно культурная женщина, очень любезно поздоровалась с Верой Александровной и на несколько ломаном русском языке сказала:

— Я думаю, что сегодняшнее торжество вызовет у вас грустные воспоминания о вашем погибшем друге.

---

* Я знал её портрет, висевший в ермоловском доме и уничтоженный при его разграблении во время революции 1917 года. — Прим. В. Д. Зёрнова.

Вера Александровна на удивление всем сделала глубокий реверанс и ответила:

— Конечно, воспоминания очень грустные, но счастье быть представленной Вашему Императорскому Высочеству вполне их искупает.

Все были удивлены такой тирадой. Как прочно сохранились привычки, привитые в молодости! Ведь ответ не был приготовлен заранее.

Папа открыл заседание небольшой речью, затем говорил профессор Кирпичников — ему был поручен основной доклад. Говорил он учёно и долго. Вера Александровна, конечно, устала и довольно громко сказала маме, сидевшей с ней рядом в первом ряду:

— Какой неделикатный, разве можно так долго говорить?! Вот Дмитрий Николаевич как хорошо сказал!

Если окружающие и слышали эту реплику, то, конечно, простили её друга Пушкина. Вера Александровна всё же благополучно досидела до конца заседания. Это был последний раз, что я видел Нащокину, но наша дружба с ней началась намного раньше, ещё с дубненских встреч. Дело в том, что она, доводясь родственницей А. М. Шнейдер[100] — нашей соседке, летом обычно жила в Ермолове, в одной версте от Дубны.

Вера Александровна, по слухам, была побочной дочерью Нащокина[101], владельца чудесного имения на берегу Нары — Рая Семёновского, находившегося верстах в 10–12 от Дубны. В этом имении происходили действия, описанные впоследствии Маркевичем в романе «Четверть века назад»[102], в котором рассказывается о постановке в домашнем театре «Гамлета». Постановка эта действительно была и Вера Александровна хорошо её помнила. Помнила она и людей, ставших прототипами героев романа. Исправник Акулин (отец Ольги) — это отец А. М. Шнейдер по фамилии Акулов[103], но сама Александра Матвеевна прообразом Ольги не служила.

Вера Александровна вышла замуж за своего родственника Павла Воиновича Нащокина[104]. В своё время он был богатым, имел замечательно обставленный дом в Москве, модель которого (или, лучше сказать, остатки модели) была выставлена на пушкинской выставке[105]. Жил Павел Воинович очень широко; у него, как в старину выражались, был «открытый стол», другими словами, обедал у него кто угодно — знакомый и незнакомый — и все ели и пили, сколько влезет. В конце концов, ведя такой образ жизни, Павел Воинович промотал всё своё состояние, оставив собственную семью нищей[106].

Вера Александровна подарила мне автограф Вьётана, написанный им, по её словам, во время ужина, который Павел Воинович Нащокин давал Вьётану после одного из его концертов. В автографе приведено несколько строк из первого скрипичного концерта Вьётана, который он играл в тот вечер, и по-французски сделана надпись: «J'espire, que Madame Vera de Naschekina conserve un bon souvenir de H. Vieuxtemps»[107]. На первой странице автографа Вьётана Вера Александровна своей рукой написала: «Будущему знаменитому артисту, дорогому Володе Зёрнову, доставлявшему мне много удовольствия своей игрой, на память от душевно любящей его Веры Нащокиной. 10 апреля 1893 года». Я не оправдал пожелания Веры Александровны стать «знаменитым артистом», но моя причастность к искусству играла во всю мою жизнь, и сейчас играет, большую роль.

Всемирная выставка в Париже

Оставшись на втором курсе на второй год, я, главным образом, занимался в физической лаборатории работой, о которой я уже писал. Затем П. Н. Лебедев дал мне другую тему — по акустике: «Сравнение методов измерения силы звука в абсолютной мере». Эта тема в дальнейшем и послужила основой всех моих работ по акустике.

В 1902 году я подал в Государственную комиссию описание моих экспериментальных работ в качестве зачётного сочинения и параллельно — сочинение, тему которого дал мне А. П. Соколов — «Тепловая диссоциация». В отличие от Лебедева Соколов абсолютно не интересовался данной мне работой, и для меня совершенно было очевидно, что из довольно толстой тетради страниц в 150, которую я дал ему, он едва ли прочёл больше первой страницы. На полях первой страницы стояла какая-то непонятная галка и затем ни одной пометки во всём тексте. Когда же Соколов собирался поставить мне за сочинение удовлетворительную отметку, я настоял, чтобы он написал на тетради, что работа выполнена под его руководством, чего, конечно, вовсе не было. Пётр Николаевич Лебедев, напротив, моей работой интересовался, и если тексты обеих работ остались в архиве университета, то работа по акустике имела дальнейшее развитие: в 1904 году от Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии я получил за неё премию имени Мошнина, а в 1909 году был удостоен учёной степени магистра физики.

Весной 1900 года я благополучно выдержал полукурсовые экзамены и перешёл на третий курс. Этот же год стал последним в моих занятиях с К. А. Кламротом. Он стал плохо видеть и решил выйти в отставку и уехать в Лейпциг, где жили его дети — сын, большой художник, портретист, и дочь, органистка.

Летом 1900 года в Париже проходила Всемирная выставка, и папа дал мне 500 рублей на мою первую заграничную поездку. Ехал я не один. Со мной были лекционный ассистент кафедры физики И. Ф. Усагин, милейший А. В. Цингер, заведующий отделом фирмы Трындина[108] А. Н. Киров и работавший, впрочем, неудачно, у Петра Николаевича студент Иван Степанович Плотников (впоследствии он перешёл на физическую химию и стал профессором по фотохимии где-то за границей[109]). Такой компанией числа 10—12 июля мы и выехали из Москвы.

Я с каким-то волнением переезжал границу. Усагин и Киров никаких языков, кроме русского, не знали. Однако Кирова это обстоятельство не слишком затрудняло, он был человеком подвижным и общительным и только в крайнем случае прибегал к моей помощи. Зато Усагин, очень милый, но по характеру мрачный субъект, был совершенно беспомощен, и ему приходилось постоянно помогать. Когда мы попали в немецкий вагон и оказались среди немцев, я сейчас же, чтобы проверить свои возможности, начал заводить разговоры с соседями (эта привычка у меня сохранилась и до сих пор). Как выяснилось, мне легко объясниться. Но Усагин относился как-то подозрительно к иностранцам и часто говорил мне: «Охота вам, Владимир Дмитриевич, с ними разговаривать?».

В Берлине мы поместились в гостинице «Moskau-Hotel», которую содержал бывший служитель (кафе-шенк) русского императора. Немец, который нажил хорошие деньги на императорском кофе, хорошо говорил по-русски и внешностью своей подражал, по-видимому, русскому царю, — как и Александр III, носил большую окладистую бороду.

По молодости лет мне всё казалось чудесным: и гостиница, по существу, паршивая, и немецкие сигары по 10 пфеннигов штука, которые я пробовал курить, и сам Берлин с его лощёными улицами, и пиво, и сосиски. Здесь мы с Цингером купили себе цилиндры, стоили они по 7 марок, то есть по 3 рубля 50 копеек. И хотя цилиндры были неважные, службу свою они всё-таки сослужили. Много лет спустя мой цилиндр являлся непременным реквизитом в различных розыгрышах и шарадах. И только в 1910 году, будучи командированным на съезд физиков в Брюсселе[110], я ещё раз использовал его в качестве головного убора, необходимого при фраке.

Берлин мы посмотрели поверхностно, но зато побывали в Phusikalisch-Technisches Reichsanstalt'е у Кольрауша — это высшее государственное физико-техническое научное учреждение Германии. Кольрауш — директор, заменивший скончавшегося Гельмгольца, создателя этого учреждения — сам принимал нас. Усагин показывал ему свои цветные фотографии спектров. Потом, что было особенно интересным, мы осмотрели электромеханический завод, непривычно громадных размеров и весь сплошь электрифицированный. Нас поразили чистота и налаженность работы всего завода. Ровно в полдень прозвучала сирена, и весь завод мгновенно остановился. Рабочие отправились в обширные умывальные комнаты. Умывшись, они снимают с себя рабочие блузы и вешают их в свои отдельные шкафчики. Затем надевают пиджаки, котелки и отправляются с тросточками обедать по ближайшим ресторанчикам. Мы с нашим гидом, молодым инженером, также пошли в ресторан. Потом пробежали по какой-то художественной галерее, но никакого впечатления от неё не получили. Осмотрели только что открытый перед зданием университета памятник Гельмгольцу. Посетили большой парк в самом центре города.

В Париж мы выехали через Кёльн. По Германии мы ехали третьим классом, а по французским дорогам — вторым. Народу ехало в Париж пропасть, и поздно вечером, пересаживаясь в Кёльне, мы не могли найти свободного места в вагонах. Тут я применил универсальный метод: подошёл к старшему кондуктору и из руки в руку дал ему большую серебряную монету в 5 марок, и он посадил нас пятерых в купе первого класса. Так и доехали до Северного вокзала в Париже.

На вокзале все обязательно должны пройти городскую таможню, но осмотр вещей был очень беглым. Мы погрузили вещи на двухколёсную тележку и пешком отправились в пансион, который находился почти напротив Пастеровского института[111]. Содержала пансион француженка, бывшая преподавательница французского языка в Москве. Здесь проживала интернациональная компания большею частью молодых людей, приехавших работать в Институте Пастера. В столовой пансиона в качестве реликвии, напоминающей о работе хозяйки в России, стоял большой самовар. Комната у нас была большая, с огромным окном до самого пола, так что в комнату можно при желании попасть прямо с улицы. Я записал всех нас в книгу приезжающих. Конечно, никаких паспортов хозяйка не спрашивала, и я мог написать всё, что вздумается. Мы умылись у себя в комнате, и хозяйка позвала нас обедать за table d'hôte[112]. Обедали все живущие в пансионате вместе и довольно рано — так около часу. Перед каждым прибором стояла бутылка (или одна большая бутылка на двоих) лёгкого красного вина, без которого не обходится ни одна еда во Франции.

В первый же день мы отправились на выставку, но не доходя до входа на неё увидели Швейцарский отдел: между домами был сделан громадный макет швейца-

рской долины с горами, пастбищами, деревней, маленькими домиками. Только войдёшь через ворота в эту искусственную долину, тут же совершенно забываешь, что находишься в центре громадного города. Полное впечатление настоящей природы. Все швейцарские кустарные изделия были выставлены в домиках. Мы протолкались в этот день по искусственной Швейцарии и на выставку уже не попали.

Зато все последующие дни мы отдавали выставке. Было много интересного и по технической, и по научной, и по художественной части. По технике главным образом интересен был электротехнический отдел с гигантскими установками. Громадный художественный отдел представлял картины художников всех стран света. Представителем русского отдела был художник Козлов, который постоянно проживал под Парижем в местечке Со. Мы познакомились с ним и были у него в гостях.

Из научно-популярных аттракционов занятен был «Дворец оптики», который был устроен Фламмарионом. В нём было много демонстраций, причём в чисто французском, лёгком стиле. Например, явление фотолюминисценции (фосфоросценции) демонстрировалось следующим образом. Зрители входят в маленький зрительный зал, на сцену выскакивают три или четыре девушки в розовых трико и белых плащах*. Девушки начинали танцевать, их сильно освещали «Юпитерами». Все сначала недоумевали, какое отношение это имеет к оптике? Но вдруг свет гас и по сцене носились светящиеся плащи — они были пропитаны фосфоресцирующим веществом.

Выставка была окружена подвижным тротуаром, расположенным на довольно большой высоте. На него вели специальные эскалаторы, но не такие, как у нас в метро, а без ступенек. На самом тротуаре имелось три полотна: остававшееся неподвижным, двигавшееся относительно первого со скоростью быстро идущего человека и двигавшееся с такой же скоростью, но в обратном направлении. Этот тротуар весьма облегчал передвижение и служил бесконечным источником веселья.

Под землёй помещались театрики, к которым вели полированные спуски. Можно было сесть на собственное сиденье и по полированной наклонной плоскости, как по ледяной горке, скатиться вниз. Нам почему-то сильно нравился такой способ сообщения, и мы постоянно им пользовались.

На территории выставки находилась и знаменитая Эйфелева башня. На специальной подъёмной машине мы поднялись на самый верхний балкон, откуда весь Париж был виден как на ладони. Не менее чудесный вид открывался с холма, на котором помещается кладбище Pair-la-Chese[113] — были мы с Александром Васильевичем и там. На кладбище уже имелся крематорий, что было большой редкостью. Парижский крематорий — небольшое белое здание в виде часовни, внутри много света, имелось даже нечто вроде амвона, за который, как бы в алтарь, и убирался гроб. Французы и самой смерти стараются не сообщать мрачности. На самом кладбище масса цветов и самых разнообразных художественных памятников.

Побывали мы с А. В. Цингером и на воздухоплавательном празднике в Венсенском лесу. Аэропланов тогда ещё не было, и всё воздухоплавание ограничивалось свободными аэростатами. Мы попали на соревнование по высоте поднятия, дальности полёта и скорости. В воздух поднялись один за другим с полсотни небольших аэростатов, в их корзинах — по одному, по два человека. Там же был громад-

* В те времена даже в Париже голых на сцену не выпускали. Теперь, вероятно, девицы были бы без всякого трико. — Прим. В. Д. Зёрнова.

ный аэростат, на тросе поднимавшийся на 400 метров. В его корзине помещались 11 пассажиров и пилот. Удовольствие это стоило 2 франка с человека. Мы с Александром Васильевичем, конечно, не замедлили доставить себе это развлечение. Погода стояла тихая, и громадный шар поднялся в воздух, как свечка. Вид с высоты 400 метров был замечательный.

Как-то вечером на выставке была большая иллюминация. Мы, естественно, отправились смотреть. Собралось множество народа. Все выставочные здания были залиты электрическим светом, на Сене — множество лодок, украшенных разноцветными бумажными фонариками.

Но, пожалуй, самую грандиозную иллюминацию мы наблюдали в Версале — она была устроена по поводу приезда на выставку не то шаха персидского, не то султана турецкого. На осмотр иллюминации парка и самого города мы затратили целый день. На всех лужайках, компаниями или семьями, сидели парижские буржуа, выпивали и закусывали, оставляя после себя на подстриженной траве бумагу от завтраков, что портило праздничное впечатление. И уже нельзя было представить себе Версаль времён французских королей. Теперь был другой, вполне одемократизованный Версаль. Действовали все знаменитые версальские фонтаны, но они, пожалуй, несколько уступали петергофским. Стемнело, и на берегах прудов зажглись миллионы лампочек, вся декорация представляла какие-то портики, и на фоне этой неподвижной светящейся декорации завертелись огненные колёса, забили огненные фонтаны и римские свечи, и в воздух взлетело бесчисленное множество ракет с цветными гвоздиками, парашютами. Такую иллюминацию я наблюдал единственный раз в жизни. Это было какое-то огненное пиршество.

На праздник в Версаль, как сообщали на другой день газеты, из Парижа приехало около 200 тысяч человек, но замечательно, что ни во время иллюминации, когда вся эта масса народа собралась на берегах прудов, ни даже при возвращении в Париж на железной дороге не было давки. Поезда отходили если не каждую минуту, то, во всяком случае, каждые три минуты, вагоны все были двухэтажные. Мы совершенно спокойно забрались на второй этаж вагона и поздно ночью вернулись в пансион.

Из исторических реликвий Парижа наибольшее впечатление на меня произвела «Могила Наполеона»: здание построено в виде храма, посреди которого находится сама могила — круглое углубление, обнесённое каменной оградой, в центре этого углубления возвышается громадный каменный из красноватого гранита (или базальта) саркофаг*. Вокруг него галерея, потолок которой поддерживают белые мраморные кариатиды. У запертых дверей в саму могилу стоят два часовых, одетых в наполеоновскую форму с большими медвежьими шапками на головах и с оружием того же времени в руках. Через большое окно из золотисто-жёлтого стекла видна огромная зала с трофеями, взятыми Наполеоном в различных битвах, главным образом, знамёна. В помещение храма входят также арки из приделов, где погребены сподвижники Наполеона. Даже шумливые парижане, входя в этот храм, замолкают и с почтением останавливаются перед прахом великого человека.

Были мы с А. В. Цингером и в театре Сары Бернар, где ещё больше подогрели наши наполеоновские настроения. Сара Бернар каждый день играла «Орлён-

* Гранит (или базальт) для саркофага был прислан императором Николаем I. — Прим. В. Д. Зёрнова.

ка» Ростана. Играла она неподражаемо. Это был живой, неподдельный, несчастный, жалкий и вместе с тем привлекательный образ сына великого Наполеона — герцога Рейхштадтского. Невозможно было поверить, что эту роль играла пожилая женщина, а не юноша.

Зашли мы и в какой-то театр варьете, где, между прочим, выступал замечательный «трансформатор» — он в несколько секунд мог превращаться в самых разнообразных известных политических деятелей, причём сходство было безупречное. Наряду с другими политическими и государственными деятелями вдруг появился и русский царь Николай II, каким все знали его по портретам.

Как-то вечером мы вдвоём с Цингером зашли в кафе, где играл небольшой салонный оркестрик, сплошь из одних женщин. Мы сели около маленькой эстрады. В перерыве между музыкальными номерами я разговорился со скрипачкой, взял её скрипку и сыграл первую часть концерта Мендельсона. Да, в Париже, как нигде в другом месте, чувствуешь себя как-то особенно свободно.

Всемирный съезд физиков

Во время нашего пребывания в Париже там проходило несколько всемирных съездов. Цингер, Плотников и я записались членами съезда физиков. На него с докладом о давлении света на твёрдые тела прибыл и П. Н. Лебедев. На съезде были супруги Кюри, и их доклад об открытии ими радия, который они делали в громадной аудитории в Jardin des plantes, произвёл потрясающее впечатление. Казалось, что закон сохранения энергии потерпел крушение. Докладывал сам Пьер Кюри, а его жена Мария Кюри (урождённая Склодовская) показывала опыты: свечение экрана, ионизацию воздуха. К этому времени у них имелся уже довольно большой препарат радия. Кюри рассказывал, что коробочка, в которой находится их препарат, поглощая излучение радия, всё время имеет температуру на три градуса выше комнатной. Всё это тогда казалось совершенно непонятным. Теперь-то всё благополучно разъяснилось[114].

Был я и на общем собрании съезда, когда, кто-то из крупных физиков-французов делал обзорный доклад о работах в этой области. Был на заседании в Сорбонне, где Липпман рассказывал о своей цветной фотографии и показывал снимки необыкновенно яркие. Был на заседании, на котором В. Томсон выступал с докладом о строении атома. Слушали мы выступление и Петра Николаевича Лебедева.

Между прочим, с Лебедевым на съезде произошёл комичный случай. Он выступал на французском языке, но владел им не совсем свободно. Очень хорошо подготовив сам текст доклада, при изложении его он употребил вместо слова densite (плотность) слово grassle, что означает не плотность, а беременность. Слушатели немного посмеялись, но допущенная неточность, конечно, не испортила общего впечатления от доклада. Лебедев имел на съезде громадный успех. Его работа о световом давлении сделала его всемирно известным учёным. Благодаря ей он был избран почётным членом Лондонской Королевской Академии. Такой чести из русских учёных до него был удостоен только Д. И. Менделеев.

Президент Лубе устроил в саду дворца на Елисейских Полях приём членов всех проходивших в Париже съездов. Сам Лубе ходил по саду в окружении выдающихся учёных и инженеров.

Среди членов различных съездов были и члены международного студенческого съезда[115]: немцы в своих корпоративных венгерках и шапочках, особенно выделявшиеся испанские студенты в чёрных бархатных беретах и больших белых плащах. Однако ни одного студента в русской студенческой форме я не встретил[116]. Сам я о том, что проходил такой съезд, узнал только в конце на общем приёме. Да к тому же и студенческой формы с собой не брал.

Мы получили пригласительные билеты на приём к принцу Бонапарту (кажется, Луи). Он жил в собственном роскошном доме-дворце, где и состоялся приём. Принц слыл большим любителем науки и, говорят, мечтал сделаться академиком, хотя особых оснований к этому не имел — сколько я знаю, академиком он так и не стал.

Присутствовали здесь только члены съезда физиков. На роскошной лестнице, устланной коврами и уставленной живыми растениями, прибывающих встречал секретарь — спрашивал фамилию и откуда прибыл, затем провожал до верха, где стоял сам принц и приветствовал представляемых. В залах дворца демонстрировались самые разнообразные эксперименты. Между прочим, стояла машина Линде[117], и беспрерывно получался жидкий воздух, который был ещё в новинку. Тут было много смеха: экспериментаторы, не жалея жидкого воздуха, поливали им публику и показывали самые разнообразные и забавные опыты. Сидел в одном из залов какой-то католический монах с построенной им машиной для получения сложения колебаний, так сказать, графический интеграмер. По заданию публики он одним движением получал самые сложные кривые. Тут же были и супруги Кюри, но на этот раз радий они показывали только избранным. Помню, как они сопровождали патриарха физики Вильяма Томсона и отдельно для него в тёмной комнате показывали опыты с радием. Томсон был уже очень стар, так что всем приходилось за ним постоянно ухаживать.

Большинство мужчин на приёме были во фраках, но иностранцам разрешались визитки и смокинги. Моя визитка с белым жилетом и цилиндр в руках представляли довольно торжественное одеяние и, во всяком случае, никого не шокировали.

Закончился съезд. Выставка была достаточно изучена, общее впечатление от Парижа получено. Пора и возвращаться. Но папа, ещё в Москве, настоятельно мне рекомендовал совершить поездку в Гранвиль — городок на берегу Ла-Манша, и Mont St. Michel — скалу с небольшим поселением и замком на громадном пляже в Бретани. Цингер также заинтересовался поездкой, и мы, оставив наших спутников в пансионе, выехали утром по железной дороге и днём уже достигли берега Ла-Манш. Гранвиль — глубокая провинция. После Парижа было очень приятно видеть жителей в сабо — деревянных башмаках. Я не помню, чтобы на улицах, кроме пешеходов, что-нибудь двигалось. Об автомобилях тогда не велись даже разговоры, в Париже, например, все ездили в каретах и извозчичьих колясках, а в Гранвиле и извозчиков я что-то не заметил. Этот город известен как дешёвый курорт. Купаются здесь во время прилива, так как при отливе океан уходит от города километра на два. У меня с собой был хороший купальный костюм, без которого в Европе купаться нельзя, Цингер же взял себе костюм на прокат, и мы с увлечением купались.

Однажды, надев купальные башмаки и засучив штаны, я один отправился при очередном отливе к краю воды. Шёл я, шёл, вокруг стало совсем тихо, городок и пляж остались далеко позади — мне стало как-то не по себе. Когда же я

дошёл до воды и тут заметил, что океан уже наступает, меня просто охватил ужас. Я развернулся и почти бегом стал удирать от прилива. Опасности, правда, не было, ведь прилив продолжается почти 6 часов, а до берега — километра полтора-два. Но могут быть обстоятельства, которые кончаются весьма плачевно, если вода по низинам опередит пешехода.

С Цингером заглянули мы в казино на берегу пляжа. Там была рулетка — раскручивают семь маленьких игрушечных лошадок на рычажках с общей осью вращения. Публика ставит мелкие деньги на одну из лошадок, выигрывает тот, чья лошадка после остановки всех других оказывается впереди. За короткое время я проиграл 5 франков и остановился. Но Александр Васильевич увлёкся и проигрывал всё больше и больше. Служащий казино, заметив способность Цингера проигрывать, стал предлагать ему перейти в другое помещение, где играли на золото. Александр Васильевич уже готов был поискать там счастья, но я проявил твёрдость характера — не пустил его.

Из Гранвиля в омнибусе, запряжённом лошадьми, мы отправились в Mont St. Michel. Дорога шла по берегу моря. Вода здесь при отливе уходит очень далеко, говорят, километров на десять от берега, и скала с замком два раза в сутки делается островом.

Пески пляжа постоянно меняют свои очертания: река наносит гряды песка. Когда папа ездил на скалу, перед тележкой бежал человек с вилами и щупал ими, достаточно ли твёрд песок. При нашем посещении такого форейтора[118] не было. В тележке помещалось 6–8 человек — какая-то развесёлая компания французов и француженок.

На самом островке — небольшое поселение. Постоянно живёт там человек двести рыбаков, ловят они не рыбу, а главным образом омаров и крабов — их легко ловить во время отлива, когда скала стоит на сухом пляже, а вода остаётся только в отдельных углублениях. Я наблюдал, как местные жители с огромными корзинами на спине шлёпали по лужам и просто руками собирали омаров и крабов.

Поужинав в ресторанчике, мы взяли проводника и с той же компанией, с которой ехали в омнибусе, осмотрели старинный замок. Позже в нём размещались монастырь св. Михаила, государственная тюрьма, а теперь он превратился исключительно в объект туризма. На вершине скалы — храм, ниже — разные строения. Под землёй сделаны коридоры с камерами, в которых некогда содержали государственных преступников. Теперь же в них помещены куклы в человеческий рост, имитирующие заключённых.

На вершину к собору вели лестницы, вырубленные в скале. Мы начали по ним взбираться, как вдруг наш проводник остановился, пристально всматриваясь вдаль. «Ах, — произнёс он после некоторого молчания. — Вон там человек вышел с нашего острова, прилив уже начался! Он не успеет дойти до берега, вода его непременно обгонит». Надо сказать, что период прилива не совпадает с полусутками, и на островке вывешено расписание, когда безопасно выходить, чтобы не застигла приливная волна. Местные жители хорошо осведомлены об этой опасности, но сезонные рабочие, строившие тогда дамбу, соединяющую островок с берегом, не обращали внимания на расписание. В бинокль было хорошо видно, как человек спокойно шёл по песку. Но он находился так далеко, что кричать даже в рупор было

бы безнадёжным занятием. Нельзя было его и нагнать ни на лошади, ни в лодке: между ним и островом имелись уже низины, залитые водой, но оставались и гряды песка. Несчастный совершенно не подозревал, что вода его обгоняет, когда же заметил перед собой воду, кинулся искать сухого прохода, заметался по всё уменьшавшемуся островку песка. Мы с высоты видели, как вода покрыла весь островок, как человек ещё искал мелкого выхода, как он потом пытался плыть и, наконец, окончательно исчез под водой. Примечательно, что публика, волновавшаяся, пока видела утопающего, после его гибели сейчас же успокоилась и продолжила осматривать реликвии. Точно в театре опустился занавес после трагического окончания действия, и публика расходится, обсуждая свои житейские дела.

Вернувшись в Париж, мы с Цингером пошли на выставку и купили разные безделушки для подарков в Москве. Я купил брелок — маленького слоника, вырезанного из слоновой кости, весьма прехорошенького с зелёными серёжками в ушах. Потом мы наведались в павильон русской чайной фирмы Попова. В павильоне, выстроенном в китайском стиле, подавали прекрасный чай, и мы частенько заходили сюда выпить чаю и поболтать с тремя прехорошенькими девушками, подававшими этот чудесный напиток. Кстати, весь обслуживающий персонал выставки был подобран исключительно из миловидных девушек, все были прекрасно одеты, в хорошеньких чепчиках и кружевных фартучках.

Вечером мы были в опере и получили большое удовольствие от прекрасного исполнения «Пророка» Мейербера. Дирижировал Колонн. Внутренняя отделка театра замечательно красивая, но особенно красив мраморный вестибюль. Самая обстановка на сцене очень походила на московскую (эту же оперу раньше я видел в Москве с Преображенским в заглавной роли). Обычно в партере полагалось быть во фраках, но на выставке публика была интернациональная, и правило временно не было обязательным. Рассматривая публику партера, мы обратили внимание на замечательно красивую даму, брюнетку в красном шёлковом платье, она оживлённо болтала с соседями. Александр Васильевич сказал: «Это, наверное, испанка». Я предложил подойти поближе и послушать, на каком языке говорит «испанка». К нашему великому удивлению и радости, мы услышали чисто русскую речь.

На другой день я проводил Цингера, уезжавшего раньше, а через день и я с Усагиным и Плотниковым покинули Париж. Но мы поехали не прямо на Москву, а решили хоть немного посмотреть настоящую Швейцарию и побывать на леднике Монблана[119].

До Цюриха проехали без остановки. Оттуда мы с Усагиным отправились в Женеву (Плотников остался отдохнуть в Цюрихе). Там мы осмотрели очень интересную гидроэлектрическую станцию. Воды Роны, бурным потоком вытекающей из Женевского озера, вращают громадные турбины. Потом мы любовались голубыми водами самой Роны, в которую при выходе её из озера впадает ещё более бурный Арв, вытекающий из ледников Монблана. Выкупавшись в прозрачной воде Женевского озера, мы направились к подножию Монблана в местечко Шамони.

Теперь туда проложена электрическая железная дорога. А тогда по железной дороге проделывали только первую часть пути, а вторую — на лошадях в больших омнибусах. Места чудесные, и мы с Иваном Филипповичем выбрались из кареты и пошли пешком, обгоняя омнибус. На краю дороги увидели избушку, в которой что-то

очень сильно светилось и шипело, а по отвесной скале, спускавшейся к дороге, была вертикально помещена труба сантиметров 30 в диаметре. Мы постучались в дверь избушки, нас любезно встретили рабочие. Оказалось — это маленький кустарный алюминиевый завод. Всё его оборудование заключалось в гидротурбине, вращавшей динамо-машину, от которой получался постоянный ток, питавший громадную Вольтову дугу. Анодом дуги служил толстенный уголь, катодом — ящик (вероятно, из огнеупорной глины), набитый алюминиевой рудой. Жар Вольтовой дуги плавил руду, и алюминий выделялся на катоде, то есть на дне ящика. Через дырочки, время от времени открывавшиеся на уровне дна ящика, алюминий вытекал в бороздки, сделанные в земляном полу, и застывал там продолговатыми болванками.

К обеду мы добрались до Шамони. Остановились в гостинице, при которой имелся ресторанчик; за помещение и полный пансион в сутки брали по 5 франков (немного меньше 2 рублей). Шамони — совсем маленькое местечко. Из долины видны спускающиеся ледники. Любовались на Монблан с его тремя вершинами. Но он не производит такого впечатления, как Казбек. У Казбека одна вершина, которая царственно возвышается над всеми окружающими горами, а Монблан как-то входит в цепь гор, и приходится спрашивать, который же, собственно, Монблан.

На другой день мы отправились на ледник. Купили себе горные палки в человеческий рост и вязаные носки, которые надевались поверх башмаков при переходе через лёд, чтобы не скользить. Хотя тропа туда весьма благоустроена и на ней попадаются будочки, торгующие шоколадом и фотографиями, всё равно полагалось брать проводника — это уж обязательный расход или налог на туристов, на который жители Шамони и живут. Впрочем, у них есть и деревенское хозяйство. Вечером мы видели стадо прекрасных коров, возвращавшееся с пастбища. У каждой были подвешены колокольчики. Кстати, швейцарские колокольчики не литые, как у нас, а клёпаные из листового металла.

Проводник, как и договаривались, зашёл за нами рано, и мы по прекрасной дорожке без труда дошли до места, где начинается переход ледника. Тут оказались большая гостиница и ресторан. Мы отлично позавтракали и, надевши «носсетки», отправились к переходу. Из-за скалы вышел швейцарец и предложил нам выстрелить из маленькой пушки — эхо выстрела повторялось раз восемь. Удовольствие стоило один франк. И мы доставили его себе, подчиняясь обычаям страны. Начали подъём. На каждом подъёме или спуске вырублены во льду ступеньки. Когда мы достигли середины ледника, из-за льдины снова появился швейцарец и учтиво поинтересовался, не угодно ли нам сняться на леднике с горными палками? Дюжина фотографий стоит всего 12 франков, а высланы они будут в любое место Земного шара. Мы, конечно, снялись и, действительно, по возвращении в Москву по почте получили фотографии. Перешли ледник. Дальше — тропинка, вырубленная в отвесной скале. Участок довольно сложный, но на каждом сколько-нибудь опасном месте имелся железный поручень. Конечно, эти усовершенствования: и пушка, и ступеньки, и фотограф, и поручень — портят впечатление. Но они — для удобства туристов. Несмотря на излишнюю культуру, прогулка на Монблан была всё же очень интересна.

Утром мы были в Цюрихе и в тот же день выехали в Москву.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
(1900—1904)

Занятия у И. В. Гржимали. Лекции по гипнотизму. «Лебедевский подвал»

В 1900/01 учебном году я занимался главным образом работой в физической лаборатории. Слушал специальные курсы по физике, которые читал молодой приват-доцент Н. П. Кастерин. На последнюю лекцию перед рождественскими каникулами из всех слушателей явился только я один. Мне бы уйти, не дожидаясь Кастерина, но я не решился. Когда же он вошёл в аудиторию, то первое, что сделал, это спросил меня, буду ли я слушать лекцию. Я не сразу понял намёк и ответил, что если он будет читать, то я, конечно, буду слушать. Мне казалось, что Кастерин мог обидеться, если бы я ответил отказом. Таким образом, я заставил его читать лекцию, но картина была довольно глупая. Я не понимал тогда, что студенту позволительно не прийти на лекцию, а преподаватель сделать этого не может.

Я начал брать уроки на скрипке у профессора Московской консерватории Ивана Войцеховича Гржимали, так как К. А. Кламрот после прощального спектакля «Травиаты», в котором он играл знаменитое скрипичное solo, навсегда уехал в Лейпциг. Его очень сердечно провожала вся музыкальная публика Москвы, труппы и оркестр Императорских театров. Карл Антонович получил полную пенсию и орден Святого Станислава третьей степени[120].

Гржимали прежде всего спросил меня:

— Стоит ли вам брать у меня уроки? Вы настолько продвинуты, что мне придётся много с вас требовать. Сможете ли вы уделять достаточно времени занятиям скрипкой?

Я всё же попросил его уделять мне один час в неделю. Иван Войцехович согласился и назначил уроки с 8 часов вечера — весь остальной день он был занят в классах консерватории. Однако Гржимали занимался со мной каждый раз не менее двух часов. С ним я снова прошёл первый концерт Вьётана и большие этюды Донта. На первых порах я очень волновался и выходил от Ивана Войцеховича мокрым, но он, по-видимому, был доволен.

С Колей Недёшевым мы ходили на лекции по гипнотизму, которые читал один из первых московских гипнологов приват-доцент А. А. Токарский. Его весьма интересные лекции сопровождались большим количеством чисто лечебных демонстраций применения гипноза.

Наслушавшись разных удивительных историй о результатах гипноза, мы стали экспериментировать сами. Как-то мне предстояло отправляться на урок к Гржимали, и я попросил Колю освободить меня от волнения. Это был наш первый опыт. Мы всё проделали именно так, как учил Токарский. И я довольно быстро почувствовал полное спокойствие и какое-то безразличие. Наступил глубокий гипнотический сон, но он совсем не мешал всё прекрасно слышать и понимать. Коля приказал мне полное спокойствие на уроке и приступил к пробуждению. Но он или был сильно взволнован успехом усыпления и опасался, произойдёт ли нормальное пробуждение, или

слишком быстро без предварительных приказов будил, но только, когда я открыл глаза, меня так сильно начала трясти нервная дрожь, что я не мог взять в руки даже стакан с водой. Хорошо хоть, что Коля догадался снова уложить и усыпить меня, затем, сняв внушением охватившую меня нервную дрожь, опять, теперь уже по всем правилам, разбудил. На этот раз я проснулся совершенно спокойный и на уроке у Гржимали чувствовал себя отлично.

После такого успеха мы принялись гипнотизировать друг друга. Особенно внушаемым оказался младший брат Кезельмана Коля. Мы внушали ему разные глупости. Например, чтобы он после пробуждения говорил только по-французски, а французского языка он-то и не знал. Что же вышло? После пробуждения Коля не мог разговаривать вовсе, и продолжалось это до тех пор, пока опять посредством внушения мы не разрешили ему говорить по-русски. В другой раз, усыпивши его, мы дали ему рюмку с водой, внушив, что это водка и что он, выпив рюмку, будет совершенно пьян. Всё так и произошло. Коля проявлял все признаки сильного опьянения, до тошноты включительно. Нам стоило многих хлопот уговорить его опять лечь. И только после вторичного внушения — отмены первоначального приказа — он вернулся к вполне нормальному состоянию.

Папа, узнав о наших экспериментах, строго-настрого запретил нам баловаться с гипнозом.

Из-за болезни я в этом семестре в университете почти не занимался, но на третьем курсе у нас экзаменов не полагалось, и я автоматически был переведён на четвёртый курс.

Пользуясь свободным временем, я усиленно работал в лаборатории. В старой лаборатории было тесно, и свою установку я сооружал в преподавательской передней — проходной и холодной комнате. Потом П. Н. Лебедев отвоевал для меня и В. И. Романова хорошую комнату, а позднее мы перешли в новое здание — в знаменитый «лебедевский подвал»[121]. До этого я недолго работал и в незаконченном ещё институте в будущей лаборатории самого Петра Николаевича. В старой лаборатории в это время моё место занял В. Я. Альтберг со своим звуковым давлением[122], которым я также пользовался, но уже в «подвале».

Знакомство с Ф. И. Шаляпиным. Еникеева Поляна

Мы втроём — папа, мама и я — ездили в начале лета 1901 года в гости к маминой сестре тёте Анне[123], которая летом всегда жила в своём имении Кочетовке под Симбирском со своими детьми: Гугой, Ольгой, Кокой и совсем маленьким Мишей. Муж её, Алексей Никанорович, к этому времени уже умер. Выехали мы через Нижний Новгород. Ниже Казани, почти против устья Камы — «конторка» Богородск: здесь пассажиры, ехавшие с Камы, пересаживались на волжские пароходы, направлявшиеся вниз по Волге, так как камские пароходы шли в сторону Казани.

Утром, когда наш пароход отвалил от Богородска, мама заговорщицки прошептала мне на ухо: «Посмотри, кого я нашла в каюте первого класса!». Я пошёл глянуть — и увидел величественную фигуру Фёдора Ивановича Шаляпина. Он сидел в русской чесучёвой рубашке и серой поддёвке.

Раньше я знаком с ним не был, но в лицо его, разумеется, знал — он был уже большой знаменитостью. Вполне возможно, что и он меня знал в лицо, но не

по причине моей известности, а потому, что я часто бывал в симфонических концертах на хорах Колонного зала (это — постоянное место пребывания нашей музыкальной компании: сестёр Прокопович, Леночки Щербиной, Лёли Дементьевой, Юры Померанцева и других).

Мы как-то тут же быстро познакомились, и Фёдор Иванович, чтобы скоротать время, предложил сыграть в шахматы. И хотя я в шахматы играл неважно, от вызова не отказался. К тому же с самого начала партии стало ясно, что и Фёдор Иванович в шахматы играет по-любительски. Я напряг всё своё внимание, и мне удалось в первой партии победить, но во второй победу одержал Шаляпин. Затем мы целый день провели вместе.

Фёдор Иванович ехал от своего отца из Вятской губернии[124]. Я познакомил Шаляпина с моими родителями, после чего он пил с нами чай, и мама была им полностью очарована. Фёдор Иванович, уловивши, что находится в крепкой профессорской семье, стал рассказывать маме о своих детишках и жене — Иоле Игнатьевне Торнаги (она была танцовщица) как любящий муж и нежный отец. Я уверен, что он не кривил душой. Как исключительный актёр, он совершенно невольно и искренне перерождался и в зависимости от обстоятельств и окружения мог быть кем угодно: с купцами — кутил, со студентами — возмущался начальством и политическими порядками, среди учёных — интересовался наукой. В день, который он провёл с нашей семьёй, он был, прежде всего, хорошим семьянином.

Беседуя с мамой, он признался, что разговоры и пересуды, будто бы он не прочь покутить, зачастую ложные. Дело в том, что когда ему нездоровится и он принуждён отказываться от участия в спектакле, администрация сначала его уговаривает, ссылаясь на безвыходность положения, невозможность произвести замену или на то, что все билеты по завышенным ценам уже распроданы, но в конце концов находит «выход». Перед началом спектакля режиссёр (как Фёдор Иванович выражался — «человек в сером костюме») выходит перед занавес и говорит: «По причинам, не зависящим от дирекции, Фёдор Иванович Шаляпин в спектакле принимать участия не может». Тут, конечно, та публика, что попроще, делает вывод: «Ну, значит, запил». Вот так и рождаются самые невероятные легенды.

Вечером мы подошли к Симбирску. Нам предстояло сходить с парохода, а Фёдору Ивановичу — продолжать путь дальше. Было довольно холодно, а у меня не было даже пальто. Шаляпин предложил мне взять его крылатку, объяснив, что она-де ему вовсе не нужна, что ему вполне достаточно одной поддёвки. Я отказался, но после пожалел — было действительно холодно, да и забавно было бы щеголять в шаляпинской крылатке.

В Кочетовке мы прожили несколько дней. Она после нашей Дубны показалась мне довольно унылой. Ведь дубненский дом был только что отстроен заново. Много цветов. Парк сделался сказочным. Всю усадьбу огородили сплошным тесовым забором, только что посадили чудесный яблонный сад. В Кочетовке же дом хотя и был просторным, но какого-то обыкновенного дачного типа. Парка никакого. И вообще, место казалось необжитым и скучным.

Из Симбирска мы проехали в Пензенскую губернию, где у папы имелся хутор Еникеева Поляна. Это было имение — около 700 десятин земли, которое дедушка Николай Ефимович когда-то купил на имя бабушки Елизаветы Тимофеевны[125].

Первоначально никакой усадьбы там не было, а просто небольшая деревенька населённая малоземельными крестьянами. Еникеева Поляна находилась в Инсарском уезде, в 10 верстах от станции Казанской железной дороги[126].

Рассказывали, что в Пензенской губернии во времена освобождения крестьян по деревням ходил какой-то человек и убеждал крестьян не брать выкупных наделов, а только маленькие, что отдавались им бесплатно. Этот проповедник убеждал крестьян, что выкупные платежи их вновь закрепостят, а так они будут действительно свободными собственниками. Быть может, эта проповедь распространялась не без участия помещиков, в руках которых осталась большая часть земли. Крестьяне, как правило, брали у помещиков землю «исполу», и те из помещиков, кто вёл собственное хозяйство, легко находили себе рабочую силу. Именно так, «исполу», ходила вся земля и в Еникеевой Поляне.

По словесному завещанию бабушки Елизаветы Тимофеевны её дети должны были разделить имение поровну. Но так как формального (т. е. письменного) завещания не имелось, то старший папин брат, Сергей Николаевич, по закону получавший большую часть наследства, не соглашался исполнить словесное завещание. В результате он получил причитавшуюся ему часть, папа взял то, что должно было прийтись ему при дележе поровну, а остальные части он выкупил у сестёр[127], да ещё какую-то сумму положил на имя внуков старшей сестры Надежды Николаевны. По каким соображениям папа считал нужным это сделать, я не знаю, но думаю, чтобы исполнить словесное завещание своей матери. Таким образом, Еникеева Поляна принадлежала теперь двум братьям Зёрновым: Сергею Николаевичу (десятин 300) и Дмитрию Николаевичу (десятин 400).

С. Н. Зёрнов жил на своём участке в какой-то избе словно Робинзон. Никакого хозяйства у него не было, да и вообще он выглядел не вполне нормальным человеком. По специальности математик, он раньше работал педагогом и даже являлся директором гимназии, но, как я слыхал, пьянствовал. По этой причине службу в гимназии ему пришлось оставить. Так и жил он впоследствии, ничего не делая, на иждевении своих сестёр. Папа же, напротив, с увлечением начал устраивать хозяйство. Посредине участка он построил настоящий хутор: жилой флигель, рабочую избу, большую конюшню, скотный двор, огромный сарай для молотьбы, амбар, птичник и свинарник. Завёл лошадей, коров, свиней, всякую птицу; выписал цыгейских овец; посадил небольшой яблочный сад; закупил сельскохозяйственные машины. На участке, разделённом на четыре части, началось вестись четырёхпольное хозяйство.

Жить подолгу на хуторе у папы времени, конечно, не было, но он ездил туда по нескольку раз в год. Кроме того, на хуторе постоянно находился приказчик Трофим — очень умный и ловкий человек, но в первую очередь заинтересованный собственным благополучием. Тем не менее, хозяйство налаживал он хорошо, а ещё лучше составлял ежегодные отчёты, из которых явствовало, что никаких доходов папино хозяйство не приносило.

Конечно, хозяйствовать таким образом не стоило. На выкуп частей и устройство хуторского хозяйства затрачены были большие деньги, а всё что мы получали от него, сводилось к удовольствию побывать на собственном хуторе, да к Рождеству Трофим присылал в Москву несколько копчёных гусей и зайцев, правда, очень жирных и вкусных.

Этот наш приезд на хутор оказался последний. Помнится, в следующую зиму папа продал его кампании мужиков, вернув себе только то, что было потрачено на хозяйственное благоустройство хутора. Земля же пошла в придачу. После продажи хутора всё своё внимание папа перенёс на Дубну, которую все мы очень любили.

Оперная антреприза Бородая

Этим летом в Москве проходила оперная антреприза Бородая[128] в помещении театра «Эрмитаж». В труппе Бородая пела наша большая приятельница Алла Михайловна Томская (Рылова), и я довольно часто бывал в театре, перезнакомился почти со всеми певицами труппы, а во время спектаклей нередко находился за кулисами. Алла Михайловна обладала исключительной красоты меццо-сопрано и была особенно хороша в русских операх — Любаша в «Царской невесте», Любовь в «Мазепе», Рогнеда в одноимённой опере, Ваня в «Жизни за царя» («Иван Сусанин»).

В этой антрепризе в качестве гастролёра участвовал и Ф. И. Шаляпин. Как-то шла «Рогнеда», и Фёдор Иванович пел «старца». Я, находясь за кулисами, заглянул к нему в театральную уборную. Он сидел перед тройным зеркалом и сам гримировался перед выходом на сцену. Это была настоящая художественная работа.

У Бородая, также в качестве гастролёра, пел и другой замечательный артист — баритон Девойод, француз по национальности. Хотя ему было уже под шестьдесят лет, он сохранил удивительный по колоритности голос. Последнее время Девойод постоянно жил в Москве. Говорят, это было связано с договором между ним и Коршем, которому принадлежал театр в Петровском переулке[129]. Ходили слухи, будто артист проиграл когда-то в карты очень крупную сумму (называли 20 тысяч рублей) и не мог расплатиться. Корш заплатил за него долг с условием, что он останется в Москве и будет петь здесь, пока не отдаст долг Коршу. Публика его очень любила. Однако сумму в 20 тысяч рублей сколотить было не просто, к тому же в Москве Девойоду жилось совсем неплохо. Он давал уроки и часто выступал в концертах.

Давали оперу «Риголетто», и утром, как обычно, проходила репетиция. Девойод что-то был недоволен оркестром, грубиянил и заметно волновался. По-видимому, обругал оркестрантов, и те встали и покинули зал репетиций, доканчивать пришлось уже под рояль. Девойод от всего этого ещё более разволновался.

Вечером начался спектакль. Артист пел исключительно хорошо, но во время сцены с Джильдой ему сделалось дурно и он упал. Я сам на спектакле не был, о случившемся мне позже рассказывала Боброва-Пфейфер (кстати, превосходная певица и замечательной красоты женщина), которая пела Джильду. С её слов мне известно, что когда начался их совместный дуэт, Девойод положил руку ей на плечо, чего раньше не делал, очевидно, ему уже трудно было стоять, но он продолжал петь. Вдруг Боброва чувствует — рука сделалась тяжёлой, точно вылитой из свинца, и вслед за этим Девойод упал[130].

Артиста на кладбище Введенские Горы[131] провожала вся труппа. Мессу в католической церкви пели хор и солисты театра.

Встречи с А. С. Аренским и Е. И. Збруевой

Из моих знакомств, относящихся к тем временам, расскажу, как я встретился с Антоном Степановичем Аренским и артисткой Большого театра замеча-

тельной контральто Евгенией Ивановной Збруевой. Не могу сказать точно, в котором году это произошло. Я был ещё студентом. Мы с папой и мамой находились в Ялте. В городском саду играл хороший симфонический оркестр гвардейского полка — исполнял вещи Аренского. Исполнялась и скрипичная «серенада». Публика очень горячо принимала автора.

Сейчас не помню, при каких обстоятельствах я познакомился с Антоном Степановичем, который, как и я, был большим поклонником Збруевой, но мы часто встречались в городском саду на концертах и с Антоном Степановичем, и с Евгенией Ивановной. Аренский был исключительно милым, каким-то нежным человеком. Как-то однажды Евгения Ивановна затеяла дать Lieber-Abend[132] из произведений Аренского в собственном исполнении. Концерт проходил в здании гимназии. Композитор сам аккомпанировал артистке и был так растроган её пением и радушным приёмом публики, что из глаз его текли слезы. Мне до сих пор вспоминается приятный бархатный голос Збруевой. Я и в Москве часто слушал её в Большом театре. Никто так не пел арию «Она мне жизнь» из «Руслана», как она, — сильно и вместе с тем трогательно и нежно.

На прощание мы условились втроём поехать верхом в Эриклик — высокогорное царское именьице, где доживала в своё время последние дни больная жена Александра II Мария Александровна. Антон Степанович на поверку оказался плохим наездником и верхом на лошади выглядел довольно смешно. Евгения Ивановна, напротив, очень хорошо держалась в седле. Она своим чудным контральто изображала виолончельную партию 1-го трио Аренского, а я пел за скрипку.

Аренского в Москве я не встречал, да он вскоре и умер[133], а Евгению Ивановну позже я довольно часто видал в концертах. Последний раз я встретил её уже после своего возвращения в Москву из Саратова (после 1921 года), когда она окончательно бросила сцену и перешла на педагогическую работу. У меня невольно вырвался вопрос:

— Неужели я теперь не услышу вашего бархатного голоса со сцены?

— Нет, — отвечала она, — я больше не пою. Не хочу, чтобы обо мне говорили так, как говорят о Собинове.

Л. В. Собинова в последние годы действительно было тяжело слушать. У него и в молодости, несмотря на всё его обаяние, была дурная привычка брать дыхание с каким-то затруднением, а к концу жизни этот недостаток ещё больше увеличился и артист потерял лёгкость звука, которым всегда очаровывал своих поклонников.

Поездка в Вятку

Расскажу ещё об одной поездке, на этот раз в Вятку (в каком году — не вспомню, но после студенческих весенних экзаменов). В Вятке родилась моя мама, Мария Егоровна. Здесь и в имении своего отца[134] — Талице[135], мама провела детство. Талица — прямо против Вятки, на луговой стороне реки. Когда-то в этом имении находился пивоваренный завод, но к моему приезду оно было давно продано[136], а от завода осталась только дымовая труба, которую хорошо было видно из городского сада, расположенного на высоком берегу реки Вятки.

Отправились мы втроём — папа, мама и я — через Нижний Новгород. В Казани пересели на маленький пароход «Вятка», который курсировал между Казанью и Вяткой. Мы были почти единственными пассажирами первого класса. Поездка

по реке Вятке очень приятна. Берега расположены близко, пахнет то цветущим шиповником, то свежескошенным сеном. Пароход не спешит. Всё это производило впечатление покоя и какой-то интимности.

В Вятке в это время жила вдова маминого брата Егора Егоровича — Серафима Михайловна с сыном Колей, с ними же — мамина кузина Елизавета Константиновна Приезжих, очень милая старуха. Обитали они на тихой не мощёной улице во втором этаже деревянного домика, угловой балкон которого выходил на улицу. На нём сидела Елизавета Константиновна, поджидая московских гостей. Когда на улице появился извозчик, доставлявший нас с пристани, она в волнении заметалась по балкону и вместо приветствий закричала: «Самовар-ат, самовар-ат, пирожки-те, пирожки-те». «Ат» и «те» — это исчезнувшие теперь из московской речи члены, но в вятском говорке они ещё очень часто употребляются.

Не успели мы напиться чаю и поесть пирожков, испечённых к нашему приезду, как на улице появилась старушка — Татьяна Ивановна Рязанцева (она была женой дяди бабушки Александры Васильевны — Ильи Михайловича), идёт с палочкой. Говорит, что по Вятке стало известно — кто-то приехал с пароходом. Настолько Вятка была провинциальна, что приезд незнакомых людей тут же делался предметом обсуждения в городе.

— Вот пришла посмотреть, кто такое приехал, — произнесла старушка.

Мы побывали на могиле деда Егора Петровича в мужском монастыре. Плита на могиле деда была ещё цела[137], так что разыскать могилу особого труда не представляло. Побывали у родственников, ездили в имение Герасимовых, находившееся недалеко от города. Там Е. А. Герасимова, весьма мужественная девица, с матерью которой и братом — пианистом Костенькой, который учился в Московской консерватории, мы часто встречались в Москве, завела хорошее хозяйство. Между прочим, у неё мы видели оригинальную вещь: индюшка вывела штук десять индюшат и околела, в это же время окотилась кошка, но котят в доме не оставили, так кошка приняла семейство индюшат, и я сам видел, как она пасла их и индюшки держались около своей воспитательницы.

Из Вятки всей компанией вместе с родственниками — Серафимой Михайловной, Колей и дочерью маминого брата, Николая Егоровича, Машей Красновой, имевшей в это время (а может быть, несколько позже) модную мастерскую, которую она купила у своей хозяйки Огородниковой, — ездили за реку в Талицу. Дом, в котором росла мама, был цел. Новые владельцы сдавали его как дачу, но когда мы приехали, в нём никто не жил, так что мы смогли обойти все комнаты. Маме, конечно, было одновременно и приятно и грустно побывать в доме, где прошло её детство. Затем ходили гулять в еловый лес, принадлежавший дедушке, за которым был большой, в версту длиной, мельничный пруд.

Обратно до Казани мы ехали на пароходе «Гражданин». По реке Вятке ходили пароходы, принадлежавшие Булычёву — брату Елизаветы Филипповны Герасимовой, о дочери которой я только что упомянул. Пароходы его кампании назывались: «Потомственный», «Почётный», «Гражданин», «Филипп Булычёв», «Отец», «Сын», «Вятка», «Иловатка»*[138]. Было, правда, ещё одно маленькое пароходство Тырышкиных, но оно не могло серьёзно конкурировать с Булычёвым.

* Иловатка — приток реки Вятки, в устье которой и зимовала флотилия. — Прим. В. Д. Зёрнова.

Не доезжая версты две до Орлова, пароход сел на мель. Вода начала быстро спадать. Снять пароход с мели не могли целый день. Пробовали завозить якорь (его завозят на лодке вперёд и тянут затем штурвалом якорный канат). Потом употребляли свайки (по бортам парохода ставят на дно столбики и канатами приподнимают пароход, после чего валят свайки по направлению движения). Пароход шаг за шагом подвигался вперёд. Чтобы облегчить его и уменьшить осадку, капитан приказал всем палубным пассажирам высадиться и вброд перейти на берег. Почти все палубные пассажиры перешли, по пояс в воде, на берег, а команда продолжала работать со свайками. Только поздно вечером удалось сняться с мели.

Другой раз, тоже после экзаменов, ездили мы просто прокатиться по Волге и Каме до Соликамска (или до Усолья?), вёрст на триста выше Перми. В Перми были мы на пушечном заводе, видели, как из печи вынимают особым механизмом раскалённое жерло пушки, как делают снаряды. Весна стояла поздняя, и выше Перми в начале июня в долинках лежал снег. Река в эту пору мощная, леса дремучие, дикие, поселения редкие — вся обстановка производила какое-то сказочное впечатление.

Государственные экзамены и начало самостоятельной жизни

В мае 1902 года предстояло держать Государственные экзамены и начинать ответственную жизнь. Примерно с рождественских каникул я начал вплотную готовиться к ним. Материала было очень много. Мы сдавали всю математику — за весь университетский курс: письменный и устный экзамены. Ещё стояло два экзамена по механике, два — по физике, экзамен по астрономии и экзамен по метеорологии. Это для всех кончающих университетский курс. Кроме этого, сдавали два конспекта по избранной специальности. У меня были курсы по теоретической физике, которые я слушал у Н. П. Кастерина: теория электрического поля и теория тепла. Полагалось представить и сочинение. У меня, как я уже писал, были две работы: «Тепловая диссоциация» — компилятивная и «Затухание акустических резонаторов»[139] — оригинальная экспериментальная, сделанная под руководством П. Н. Лебедева. Заниматься приходилось очень усидчиво. Я каждый день сидел до поздней ночи. Заканчивал, когда начинало светать. Весь материал у меня был распределён по плану. План свой я довольно благополучно выполнял. И тем не менее это было тяжёлое время. Все экзамены были сосредоточены на май.

В общем, я их выдержал неплохо. По устной физике, однако, Соколов поставил мне «удовлетворительно» — и всего лишь за то, что я не смог показать, как подводится в динамо-машине ток с якоря к коллектору. Это вопрос скорее из электротехники, которая у нас, кстати, и не проходилась. По-видимому, Соколов к ученикам Лебедева относился с некоторой предвзятостью.

Окончил я физико-математический факультет Московского университета с дипломом первой степени. Вероятно, в нём за физику стояла отличная оценка: окончательный результат выводился за всю дисциплину — сочинение, письменный и устный экзамены. Диплома своего я никогда не видел. Он остался в архиве университета.

Сколько я помню, чтобы быть оставленным при университете, надо было иметь по специальности только отличную отметку. Я не был уверен, что официально буду оставлен при университете, как тогда называлось, «для приготовления

к профессорскому званию», и поэтому просил П. Н. Лебедева, чтобы он разрешил мне продолжать работать у него в лаборатории. Он не отказывал.

Уже летом мы как-то были у Алексеевых (они жили в 6 верстах от Дубны в имении сестры А. С. Алексеева — Шарапово) и Александр Семёнович сообщил мне, что я оставлен при кафедре физики (без стипендии). Другим оставленным при кафедре был В. И. Романов[140]. У меня особой близости с ним не было, хотя в старой лаборатории мы работали в одной комнате. Темы наших исследований были очень далеки друг от друга: Романов изучал поглощение электромагнитных волн в жидкостях, а я работал по вопросам акустики. Но, может быть, причина заключалась и в другом — темпераменты у нас тогда были очень разные. Близки мы стали много позже, когда я в 1921 году вернулся из Саратова в Москву.

Нас, кончивших физико-математический факультет, было всего человек 25, а поступало — более трехсот. Остальные либо вообще не завершили обучение, либо перешли в специальные технические учебные заведения.

В день последнего университетского экзамена папа подарил мне университетский знак, золотой университетский жетон и чудесные золотые часы «Bodale» с золотой цепочкой. К сожалению, ничего из этого у меня не сохранилось.

Первым пропал нагрудный университетский знак*. Случилось это в Саратове, когда открывали памятник Александру II[141] и представители от университета возлагали к его подножию серебряный венок. Решено было прикрепить к нему университетский знак. Ни в одном магазине Саратова, однако, найти такой знак не удалось. Спасая положение, я согласился на время церемонии предоставить свой, но чтобы тотчас же после торжества мне его вернули обратно: я дорожил им как папиным подарком. Когда официальная церемония возложения венков закончилась, в создавшейся сутолоке я забыл снять знак, а вспомнив позже, уже не нашёл его.

Часы и цепочку пришлось продать, когда Митюня хворал в начале революции и очень были нужны деньги. А жетон дожил до войны 1941 года и был продан в «золотой» магазин в Новосибирске, где на золото можно было покупать мыло и сахар, в чём мы сильно нуждались.

Так как я был оставлен при университетской кафедре без стипендии, то мне пришлось подыскивать себе хотя бы небольшой заработок. Сестра Лёни Прозорова Нина, которая только что кончила гимназию Н. П. Щепотьевой, сказала, что там имеется свободное место преподавателя физики. Я подал заявление и был зачислен штатным преподавателем[142].

Заработок был пустяшный, но всё же это был мой первый самостоятельный заработок. Когда я впервые получил жалованье в гимназии, то первым делом купил папе нож из слоновой кости с серебряной ручкой для разрезания бумаги.

Оставление при университете и работа в гимназии определили направление моей будущей деятельности — научно-педагогической на всю жизнь. Скрипки, разумеется, я не бросал и, хотя уроков уже не брал, но продолжал играть в оркестре московского кружка (дирижёры Н. Р. Кочетов и Е. И. Букке); летом у меня в Дубне жил А. Ф. Боркус, о котором я уже рассказывал, а зимой я постоянно играл квартет: вторая скрипка — Н. А. Жувена, альт — скрипичный мастер Болих, который

* Его носили все окончившие университет: он представлял собою белый эмалевый ромб, на котором помещался синий мальтийский крест, увенчанный сверху государственным гербом. — Прим. В. Д. Зёрнова.

работал у Циммермана, виолончель — Иероним Померанцев, после него — Сигизмунд Аполлинарович Конский, профессионал, он в это время дирижировал оркестром Лицея[143], позднее — тоже профессионал В. В. Толоконников.

Летом я тщательно готовился к первым урокам и даже репетировал их в пустой комнате. Такая подготовка в начале педагогической деятельности чрезвычайно полезна. Только при большом опыте можно позволить себе не готовиться. Да и для всякого выступления нужно иметь точный план и знать точно начало вступления и его заключение.

Благодаря тщательной подготовке и моему солидному виду (я со студенческих времён носил бороду) никто из моих учениц не заподозрил во мне начинающего педагога. Это было засвидетельствовано моей лучшей ученицей, моей ненаглядной Катёнушкой[144], которая в то время была ученицей шестого класса.

Катю Власову нельзя было не заметить сразу как из-за её милого вида, скромного поведения, так и из-за совершенно исключительных по культурности ответов. Она была общей любимицей преподавателей.

Одновременно со мной начал преподавать в гимназии мой товарищ Рафаил Михайлович Соловьёв. Он тоже очень хорошо относился к своим ученицам, и особенно — к Кате Власовой. Осенью 1903 года мы несколько дней провели с ним в Дубне, ходили на охоту, а вечерами долго разговаривали о своих делах и ученицах. Кажется, именно тогда я пришёл к твёрдому убеждению, что лучшей спутницы жизни, чем Катя Власова, мне уже не найти. Но с Катей, пока она была ученицей, я держал себя строго, и никто не догадывался о моих мыслях и намерениях. Скорее окружающим казалось, что я ухаживаю то за одной, то за другой интересной девицей. Да я и не отказывался от общества других девушек и охотно веселился, танцевал и пел, бывал с компанией в театре, что до сих пор не ставлю себе в упрёк. Я никому из учениц не давал повода думать, что я рассматриваю их как девушек, с которыми я могу соединить свою судьбу. И если они так думали, то это их дело.

Осенью же 1902 года я был выбран физико-математическим факультетом лаборантом (по современному ассистентом) кафедры физики. Профессору Соколову требовались преподаватели для руководства лабораторными работами студентов. Таким образом, сохраняя своё звание «оставленного при университете для приготовления к профессорскому званию», я сделался преподавателем университета. В этом году или позже я начал читать маленький курс физики в первой зубоврачебной школе Изачика[145].

Эти педагогические занятия отнимали у меня порядочно времени, но всё же я продолжал усердно работать у П. Н. Лебедева. Теперь даже не верится, как на всё хватало времени?! Ведь у меня, кроме всего прочего, имелся абонемент на симфонические концерты (12 за сезон) и абонемент в Большом театре (кажется, 20 спектаклей). Бывал я и в гостях. Как раз этой зимой мы с Алексеевыми устраивали «выездной» спектакль у Прохоровых, о котором я рассказывал в первой тетради. Бывали у Никитиных, у Муромцевых. Был у меня и постоянный квартет.

Молодых преподавателей очень привлекала гимназия Н. П. Щепотьевой[146]. Сама Надежда Петровна была немного чопорной, но к нам она очень хорошо относилась, хотя мы её иногда и шокировали своим демократизмом и шумным поведением. На наши «субботы» приглашались и старшие (конечно, избранные) ученицы

гимназии. Иногда устраивались маленькие концерты самодеятельности. Я приходил со скрипкой, играл и пел. Исполнительницами выступали на этих «субботах» и наши ученицы. И Катя Власова читала. Читала она «Констанцкий собор»[147] исключительно искренне и просто, чем покоряла всех слушателей. Я и сейчас с огромным наслаждением слушаю, когда она читает сказки Алёшеньке.

На «субботы» я приводил и своих ближайших друзей — А. М. и С. М. Кезельманов. И так как Н. П. Щепотьева и «субботы» очень уж часто служили темой наших разговоров, то папа даже заинтересовался, какого возраста эта Щепотьева. Он с ней знаком ещё не был.

Папа был вызван в министерскую комиссию по пересмотру университетского устава[148] и уже месяца полтора вместе с мамой находился в Петербурге, и я в начале зимы ездил навестить их на несколько дней. Всё было просто: захотел ехать — пошёл, взял билет и поехал. Останавливался я у моих друзей Рахмановых, отец которых в это время был директором департамента Министерства народного просвещения.

В Петербурге ходил по театрам. Был в Мариинском на «Пиковой даме», видел постановку «Фёдора Иоанновича», но после Художественного театра она мне не понравилась. Был на «Нероне» в зале консерватории, там в этом сезоне пела наша приятельница А. М. Томская.

Археологическая экскурсия в Грецию

Я записался членом философского студенческого общества[149], в котором была секция философии естественных наук. Обществом руководил профессор философии князь Сергей Николаевич Трубецкой. Он затеял весьма интересную археологическую экскурсию общества в Грецию. Я и записался-то в общество из-за этой экскурсии. Надо было внести авансом что-то рублей 50 — для поездки в Грецию это гроши. Всего записалось человек 150[150] — преимущественно студенты, а отчасти и такие, как я, окончившие университет. Записался и Коля Недёшев — мы с ним тогда были очень дружны.

Для всех участников у фирмы Мандль в Вене заказали по два лёгких костюма «тропики» — куртки и брюки из бумажной плотной материи цвета хаки. Цена каждого костюма — 3 рубля[151]. Рекомендовали нам купить шёлковые нательные сетки, чтобы надевать куртку без рубашки прямо на сетку. Экскурсия была назначена на август, когда в Греции очень жарко. Шляпы у экскурсантов были самые разнообразные. У меня была очень хорошенькая «здравствуйте-прощайте», этакий котелок с козырьком спереди и сзади, очень лёгкий, из соломки, сверху обтянутый кашемиром. Такие котелки носят англичане в своих тропических колониях. Ботинки были тоже белого цвета. Словом, я был похож на настоящего путешественника в тропиках.

Из старших, кроме С. Н. Трубецкого, с нами отправились профессор И. Ф. Огнев (гистолог), профессор В. К. Мальмберг (искусствовед, специалист по Древней Греции), профессор Л. М. Лопатин (философ), профессор А. В. Никитский (эллинолог) и приват-доцент и председатель Московского окружного суда Н. В. Давыдов. В Константинополе к экскурсии присоединился секретарь русского археологического константинопольского института Леппер — я попал в группу, которой он руководил. Другими двумя группами руководили Мальмберг и Никитский. Ехал с нами ещё до-

цент истории церкви и преподаватель богословия Московского инженерного училища священник Попов.

В конце июля мы выехали из Москвы. Нам выделили четыре вагона третьего класса — для молодёжи и вагон второго класса — для старших, но и этот мягкий вагон был в полном распоряжении экскурсии. У каждого имелось своё спальное место.

Разбились на группы человек по 6–8 во главе со старостой[152], обязанным следить за порядком и сообщать всем распоряжения по экскурсии. В нашей группе были: я, Недёшев, Поляков, вольный слушатель университета, уже не студенческого возраста*, официально состоявший при экскурсии доктор Балицкий и его брат Вася, студент-филолог. Его-то мы и нагрузили обязанностями старосты и как младшего среди нас гоняли по всем делам.

При экскурсии был служащий — педель Сарычев[153], который в дороге непрерывно ставил громадные самовары, специально купленные. Обеды заказывали телеграммой на больших станциях[154]. Первый раз вся компания высыпала обедать в Курске.

Ехали мы весело. Пели хором студенческие песни, вспоминали, что знали из нашего классического образования о Греции, изучали путеводители (у меня был путеводитель Мейера по средиземноморским странам). Завели нечто вроде стенной газеты, в которой писали сведения и распоряжения, исходившие от наших руководителей, и просто разные глупости.

В Одессе выяснилось, что нам придётся задержаться дня на три-четыре: возникли какие-то неприятности с Турцией, и наш Черноморский флот «демонстрировал» перед Босфором свою мощь. Мы всей толпой отправились в интернат мужской гимназии, помещение которого нам предоставили бесплатно. И по железной дороге мы ехали по «детским билетам» — это обошлось что-то в 2 или 3 рубля с человека.

Провели время в Одессе мы весьма приятно. Одесситы и особенно одесситки были с нами очень приветливы, а отличить нас от местных жителей было достаточно легко по нашим костюмам. Всей компанией на пароходе ездили на «Большой фонтан». Ездили в «Аркадию», на Хаджибейский лиман, где в честь московских гостей был устроен вечер с танцами. Но самой приятной оказалась прогулка в открытое море на парусной двухмачтовой яхте «Нелли». Это какой-то купец, грек по национальности, предложил нам прокатиться на его яхте. «Нелли» была такого размера, что человек 60 размещались совершенно свободно, а отделана она была как игрушка. Хотя ветер дул слабый и никакого волнения на море не замечалось, «Нелли», распустив громадные паруса, неслась как птица. Один из студентов, красивый, восточного типа молодой человек, забрался на сетку под бушпритом и лежал прямо над водой (как выяснилось потом, он не умел плавать). Более благоразумные рекомендовали ему не делать глупостей, но он отвечал, что ничего не случится. Вдруг я вижу — у него из брючного кармана выскальзывает кошелёк и падает в воду. Таким образом он был наказан за свою рисовку.

С. Н. Трубецкой, чтобы выяснить возможность нашего выезда, решил провести нечто вроде разведки — один на пароходе отправился в Константинополь, чтобы оттуда нам телеграфировать. Мы же продолжали проводить время в

* Он имел текстильную фабрику недалеко от Москвы, впоследствии мы были там к него в гостях, конечно, он угощал гостей по-московски. — Прим. В. Д. Зёрнова.

собственное удовольствие. Здесь я своеобразно познакомился и, пожалуй, подружился с физиком А. И. Бачинским. Он сказал какому-то студенту что-то неподходящее — не то дерзость, не то резкость, а я, хотя не был знаком ни с тем, ни с другим, оборвав Бачинского, отчитал его, заявив, что в наших условиях товарищества его поведение непозволительно, в особенности потому, что Бачинский старший товарищ (он был старше меня года на три[155]). Бачинский как-то оторопел, затем подошёл ко мне, протянул руку и сказал, что любит откровенных людей и поэтому желает быть со мной знакомым. С этих пор он и его приятель Габричевский, тоже физик, составляли с нашей группой одну компанию и оказались весьма приятными спутниками.

Наконец была получена телеграмма от С. Н. Трубецкого: все недоразумения улажены и мы можем грузиться на пароход «Николай Второй». Весь третий класс его был отдан в распоряжение экскурсии. Громадное помещение было чисто вымыто и продезинфицировано.

Это был огромный пароход Александрийской линии. Обычно третий класс заполнялся паломниками, ехавшими в Иерусалим, но на этот раз никого кроме нас в третий класс не взяли. В первом и втором классах пассажиры были, но — немного, так что некоторые каюты оказались свободны и мы вчетвером — Балицкий, Поляков, Недёшев и я — уже после отхода парохода доплатили рублей по 18 каждый и получили отдельную четырёхместную каюту второго класса до Пирея и обратно. В третьем классе все помещались на общих нарах. Вообще, переход по морю стоил исключительно дёшево: ехали по «паломническим» билетам.

«Николай Второй» отходил утром, но, несмотря на ранний час, на пристани собралось довольно много наших новых одесских знакомых. Обедали мы на верхней палубе. Обед был сытный, но по содержанию, так сказать, паломнический (впрочем, такой обед сейчас, в 1945 году, показался бы роскошным).

У кого-то нашлись скрипка и ноты, и я в кают-компании первого класса играл и пел. Был ещё один певец (тенор) — студент Еше (он впоследствии погиб в Северном море во время биологической экспедиции), и у нас появился «коронный» номер — дуэт Глинки «Не искушай».

На верхней палубе к вечеру мы с Еше и с кем-то третьим, кто хорошо знал оперы, изобразили оперу «Фауст». Мне пришлось исполнять Маргариту. Н. В. Давыдов по возвращении в Москву описывал нашу поездку в «Русских ведомостях», между прочим и наше исполнение «Фауста». Он писал, пародируя музыкальных репортёров: «Хорошо звучал мощный баритон исполнителя Маргариты...»[156].

На другое утро на пароходе возникли «студенческие волнения». Причина их своеобразная. Группа студентов, по-видимому, склонная к устройству различных «заварушек», каким-то образом дозналась, что один из экскурсантов не состоит членом Историко-философского студенческого общества. Этот юноша только ещё подал заявление в университет о принятии его в число студентов. Казначей университета (отец Коли Недёшева) знал этого мальчика и, так как фактически была полная возможность присоединиться к экскурсии, не нарушая чьих-либо интересов, то казначей, собиравший предварительные взносы, принял деньги и от него, выдав соответствующую квитанцию и вписав его имя в список экскурсантов.

Мальчик был скромный, он благополучно получил свой «тропикаль», и всё шло гладко. Его «преступление» было обнаружено лишь в открытом море на борту «Николая Второго». Кампания, открывшая это «преступление», шумела, кричала, что это недопустимо, что это нарушает все принципы и требовала товарищеского суда над «преступником». Малый совсем пал духом.

Зная исключительно хорошее отношение к молодежи председателя Московского окружного суда Николая Васильевича Давыдова, учитывая его большой жизненный опыт, более спокойная часть экскурсантов настояла, чтобы «дело» было передано нашим руководителям, в частности, Н. В. Давыдову. Николай Васильевич взялся разобрать это «дело» и организовать «суд». Чувствовалось, что он сразу даёт делу одновременно серьёзную форму и шуточное содержание. Давыдов заявил, что будет сам председательствовать на «суде» и что «суд» должен происходить в присутствии всех экскурсантов. Николай Васильевич потребовал также, чтобы был секретарь, который должен изложить всё дело, прокурор и защитник.

«Суд» собрался на средней палубе — совершенно пустом помещении. Посреди было оставлено место для председателя, обвиняемого и других действующих лиц.

Когда все собрались, послали в первый класс за Н. В. Давыдовым. Прийдя на место, он прежде всего заявил, что председатель должен сидеть, а сидеть не на чем, на пол он сесть не может — ноги уже не гнутся. Устроители притащили стул. Николай Васильевич потребовал ещё и «председательский звонок», но звонка нигде не оказалось. Тогда Давыдов сказал, что когда ему по ходу дела нужно будет позвонить — он будет снимать шляпу. Все эти приготовления у собравшихся вызвали веселость. Да, Николай Васильевич хорошо знал все свойства молодежи.

Дальше «суд» происходил по всей форме: доложил секретарь, выступил прокурор (но они говорили уже без всякого энтузиазм) и далее защитник. Н. В. Давыдов тем временем следил, чтобы всё шло, как в настоящем суде. После защитника слово было предоставлено обвиняемому. Он подтвердил, что всё происходило именно так, как было изложено секретарём, но он никак не думал, что совершает «преступление».

В заключение Николай Васильевич заявил, что теперь следует «резюме председателя». «Обвинение доказано, — начал свою речь председательствующий, — сам обвиняемый не отрицает совершённого им «преступления», но какую меру наказания в этом случае применить, я затрудняюсь сказать, так как ни в одном судебном уложении таких преступлений не предусмотрено, а так как мы находимся в открытом море, то единственно, что можно сделать — это выбросить обвиняемого за борт».

Комедия завершилась под общий хохот публики при некотором смущении инициаторов «волнений». Юноша благополучно продолжил путешествие, и никто больше подобных «принципиальных» вопросов не поднимал[157].

Профессор Мальмберг на другой день читал, тоже на верхней палубе, лекцию о греческих трагедиях. А вскоре показался Босфор.

Нашего «Николая» встретил паровой катер, с него к нам на борт поднялись таможенные чиновники и ряд наших соотечественников. Приехали С. Н. Трубецкой, его брат Григорий[158], секретарь русского посольства при турецком дворе (я знал его — он учился в той же гимназии, что и я, но был значительно старше меня), Леппер, который должен был присоединиться к экскурсии и взять на себя часть руководства, а также врач русского посольства в Константинополе, папин

товарищ по университету Каркановский (папа писал ему, что я еду с экскурсией, и он пожелал со мной познакомиться).

За разговорами мы совсем не заметили, как подошли к Константинополю. Солнце стояло ещё довольно высоко. В Константинополе существовало такое правило: если судно приходило после захода солнца — высадка не разрешалась и следовало дожидаться утра. Мы сейчас же высадились и всей ватагой отправились в старый город, в первую очередь осмотреть знаменитый храм Святой Софии[159], святыню и чудо архитектурного искусства. Из чрезвычайно грязной и оживлённой части города, расположенной на самом берегу Босфора, по мосту через Золотой Рог мы перешли в старый город, к храму Святой Софии.

Внутренний вид его произвёл на нас неизгладимое впечатление. Лучи заходящего солнца через верхние окна пронизывали весь громадный свод, и белые голуби, которые постоянно жили в храме, носились в этих лучах. Стенные мозаики, изображающие христианские сюжеты, конечно, были замазаны, но даже сквозь краску можно различить очертания фигур. Мы взошли по наклонным плоским входам, устроенным вместо лестниц, на галереи второго этажа и оттуда любовались всем ансамблем. Внизу на полу, на циновках, сложивши ноги калачом, сидели ученики магометанской семинарии — будущие муллы и, раскачиваясь, зубрили текст Корана. Наши руководители вступили в свои обязанности и, разделив нас на три группы, водили по храму, рассказывали его историю, обращали внимание на особенности постройки. Между прочим, мраморная отделка стен особенно красива потому, что рядом с одной мраморной плитой имеется другая, на которой рисунок мрамора повторяется в зеркальном изображении. Достигалось это тем, что каждая плита расщиплялась на две более тонкие, и эти половинки размещались как открытая книга. В итоге получается точно какая-то живопись с непонятными и всё новыми симметрическими орнаментами.

Из храма мы прошли мимо Стадиона. С тех пор, когда здесь проходили состязания, минуло много веков, и старинный Стадион оказался под насыпной почвой на глубине двух метров. Откопаны только две колонны на концах ристалища, вокруг которых на колесницах неслись, обгоняя друг друга, греки времён Римской империи. Обе колонны стоят в глубоких ямах, окружённых железной оградой.

Было уже темно, когда мы, возбуждённые всем виденным и слышанным, направились к Афонским подворьям, хозяева которых, монахи, были предупреждены, что к ним придут русские гости ночевать. Монахи приготовили нам сытный ужин, на столах в графинах было даже лёгкое сладкое красное вино, обычный напиток южан. Любезные и приветливые хозяева угощали нас. Ночевали мы неплохо, только жёстко. Это соответствовало обычаям паломников, для которых, собственно, и содержатся подворья.

Рано утром все отправились с руководителями продолжить осмотр достопримечательностей. Наша же компания отделилась: мы взяли проводника и наметили самостоятельный маршрут. «Палаты» — весьма грязная часть города, но интересна своеобразием. На улице слышна речь самых разных народов. Масса лавчонок, торгующих всем, чем угодно. Тут же увеселительные заведения со своей матросской клиентурой. На каждом шагу — кофейни, где кофе варят в кастрюлечках в форме усечённого конуса самых разнообразных размеров, для каж-

дого покупателя особо. Кофе очень крепкий и сладкий. На улицах часто попадались «константинопольские собаки», исполнявшие обязанности санитаров. Мусор выбрасывается прямо на улицу, и стая бездомных, но добродушных собак сейчас же несётся исследовать, нельзя ли чем поживиться. Эти собаки — характерная черта старого Константинополя. Они находились под покровительством пророка, жили, множились и околевали на улицах города. Никто не имел права их обижать, но никто не мог их и кормить. Я слышал, что однажды городское управление всё же решило уничтожить этих собак. В ответ правоверные снарядили посольство к султану. Тот отменил постановление городских властей. Теперь, говорят, собак больше нет на улицах. Городские власти будто бы вышли из положения следующим образом. В устье Босфора есть знаменитые Принцевы острова[160]. Собрали всех собак и с почётом перевезли на острова, назначили им государственное питание, но самцов поместили на один остров, а самок на другой. Собаки мало-помалу и вымерли.

Мы купили себе фески и щеголяли в Константинополе в красных шапочках с чёрной кисточкой. Наш проводник уверял, что турки лучше относятся к иностранцу, если он носит их национальный головной убор. Деньги здесь ходят всех стран. В особенности — золотые. Продавец бросает монету на весы и по весу определяет её стоимость.

Как-то мы снова пошли в старый город — специально на старый базар, который размещается в бесконечных полутёмных переходах. Там увидели массу самых соблазнительных товаров, однако покупать ничего не стали, отложив на обратный путь из Греции. Потом вышли к старинной городской стене, окаймлявшей с юга старый город, взяли верховых лошадей и объехали это сооружение. Тут же помещается очень интересная мечеть «Кахрис-Джами», тоже в прошлом христианский храм. Были и в музее янычар[161], но там, кроме старинного оружия и платья, особенно интересного ничего не обнаружили. Показывали нам глубочайший сухой колодезь, в который янычары бросали государственных преступников.

Каждую пятницу султан с блестящей свитой, окружённый своим двором и гвардией, отправляется молиться в какую-то мечеть. Войска стоят шпалерами вдоль улиц. На отдельном балконе присутствуют все послы с своими посольствами. Массы народа наполняют улицы, влезают на всё, на что можно влезть. Султан едет в открытой коляске, запряжённой шестёркой лошадей, их ведут под уздцы. Мы наняли извозчичью коляску и, стоя на ней, через головы толпы видели всё торжество.

Около полудня 5 августа наш пароход, который все эти дни грузился углём, вышел в Мраморное море. 5 августа — канун большого двунадесятого праздника Преображения Господня*[162]. Священник Попов предложил нам вечером отслужить всенощную на верхней палубе. Студенты охотно ухватились за это предложение. Нашлось несколько человек, которые порядочно знали службу, они сейчас же организовали спевку. И когда солнце стало склоняться к западу, под открытым вечерним небом отец Николай (Попов) служил всенощную, которая, я уверен, у всех участников экскурсии осталась в памяти одним из ярких событий. Певцы не всегда стройно пели, но некоторый недостаток гармонии вполне искупался общей обстановкой.

* В просторечии — Второй Спас, или яблочный; после обедни 6 августа обычно освящают яблоки и только что собранный хлеб. — Прим. В. Д. Зёрнова.

Совсем смеркалось, когда отец Николай прочёл «отпуск». На меня и в церкви всегда производили какое-то умиротворяющее впечатление эти последние минуты всенощной. Большая часть паникадил уже погашена, священник, сняв ризу[163], в одной епитрахили[164] выходит из северных врат и, остановившись против Царских врат, сначала молится, а потом опять каким-то голосом, показывающим, что богослужение окончено, отпускает молящихся на сон грядущий. На этот раз впечатление такого глубокого умиротворения получилось не только у меня. Все как-то притихли. Не подымали принципиальных споров, не пели светских песен. Скоро разобрались и улеглись спать.

Рано утром «Николай Второй» подходил к Смирне[165]. Здесь мы высадились и, пройдя через восточную часть города, кто пешком, а кто верхом на ослах, отправились к Акрополю, остатки которого раскапывали на горе. Восточная часть Смирны исключительно характерна: узкие улочки, лавчонки, жизнь которых вся идёт на улице. Разноязычная толпа — тут и турки, и греки, и евреи, и европейцы. Среди шумной толпы важно шествуют «корабли пустыни» — верблюды, на шее которых можно увидеть колокольчики и различные украшения в виде бисерных ожерелий с кистями. Я, кстати, купил точно такое же ожерелье — его вполне можно надевать как женское украшение. Отсюда в Москву я также привёз четверть чудного сладкого (изюменного) вина и громадную коробку сушёных винных ягод — самого любимого лакомства восточных жителей.

Перед вечером «Николай Второй» вышел в Архипелаг. Все мы были «заряжены» Грецией и потому на следующий день с раннего утра всматривались в западный горизонт, на котором начали появляться неясные очертания греческих берегов.

«Николай Второй» бросил якорь в Пирее — порту, находящемся в 8 километрах от Афин, и мы сейчас же, забрав вещи, на лодках начали высадку. На берегу собралась небольшая толпа, встречавшая нас вовсе не дружелюбно. Дело в том, что греки во время греко-турецкой войны претендовали на помощь России, но русское правительство не вмешалось в чужие дела[166]. Надо сказать, греческая публика приняла нас за русских солдат, которых будто бы тайно переправляют на восток. Там было уже известно, что у России с Японией назревает конфликт. Правительство Греции, наоборот, было к нам очень внимательно. Греческой королевой тогда была русская великая княгиня Ольга Константиновна[167], которая, как говорили, и приказала всячески нам помогать.

Ещё засветло по подземной железной дороге мы приехали в Афины и разместились в гостинице в самом центре города. А с утра начался осмотр Акрополя. Я, как уже отмечал, находился в группе Леппера. Это был не просто осмотр — это был целый курс по древнегреческой культуре, архитектуре и археологии.

По ступеням Пропилеи[168] невольно идёшь торжественным шагом — ступени очень высокие. В небольшом музее на самом Акрополе выставлена модель реконструированного Парфенона[169], но полуразрушенный настоящий Парфенон, дополненный нашей фантазией, нам был всё же милее подчищенной, примазанной реконструкции. Из архитектурных особенностей меня более всего поразило то, что архитрав[170], лежащий на колоннах, имел форму строго цепной линии, что придавало ему, несмотря на громадные размеры, необычайную лёгкость. Совершенно непонятно, как строители и художники могли дойти до такой тонкости. Очевид-

но, это просто художественная интуиция: уравнения цепной линии во времена постройки Парфенона геометры и архитекторы не знали.

Каждый день с утра мы изучали классические древности и раскопки непосредственно около Афин, а вечером отправлялись на Всемирную выставку, проходившую в Афинах. Выставка выглядела довольно жалко, но нас больше привлекали открытый ресторан и хороший неаполитанский хор и оркестр, который играл на площадке ресторана. Один раз мы были вечером в городском театре на лекции Дерпфельда, ученика и сотрудника Шлимана, который раскопал Трою. Дерпфельд как раз и рассказывал о раскопках Трои, рассказывал очень интересно.

В Афинах в эти дни проходили выборы городского головы. Каждый из двух кандидатов агитировал за себя тем, что выкатывал бочки с вином, после чего вечером толпы подвыпивших избирателей ходили по улицам, горланили, стреляли из ружей (вероятно, холостыми зарядами), пускали ракеты. Однажды эта весёлая публика начала собираться около нашей гостиницы. Опять слышались недоброжелательные выкрики. Хозяин гостиницы запер двери и по телефону вызвал полицию. Мы собирались уже забаррикадировать двери изнутри, но как только явился наряд полиции, демонстранты потеряли к нам всяческий интерес.

В Новых Афинах, пожалуй, только и есть два здания, выделяющихся своей архитектурой, — это Академия наук и университет. Королевский дворец довольно большой, но без всякой архитектуры. Посетили мы, конечно, и Национальный музей, в котором собрано много древних скульптур и других реликвий.

По окончании осмотра афинских раскопок и реликвий мы совершили однодневную экскурсию в Элевсин, километрах в двадцати от Афин. Там когда-то происходили элевсинские мистерии[171] — окружённые таинственностью богослужения, в которых участвовали только жрецы и весталки. Культ держался в великой тайне, и так и осталось неизвестным, чем всё-таки занимались во время мистерий его служители. Теперь на месте древних святилищ пустынное место и ничего не напоминает о древних мистериях. Но археологи уже порядочно раскопали, и на ступенях «больших пропилей» Мальмберг читал нам лекцию о древнем Элевсине. После осмотра раскопок мы купались в совершенно прозрачных водах Элевсинского залива.

Королева приказала отвести в наше распоряжение небольшой военный транспорт «Канарис», который оставался в Пирее в резерве (весь остальной греческий военный флот находился в море на манёврах). Это была большая любезность греческого правительства: на «Канарисе» мы могли проехать в Коринфский залив и побывать в исторических местах Пелопоннеса и в Дельфах[172] у подножия Олимпа.

Перед вечером мы перебрались на борт «Канариса». В закрытых помещениях стояла ужасная духота, и мы устроились ночевать на верхней палубе под открытым небом. Ночью «Канарис» вышел в море и ночью же должен был пройти Коринфский канал. Этот очень узкий канал, пробитый в сплошной скале, прорезает Коринфский перешеек. Но когда я проснулся до восхода солнца, то увидел — «Канарис» стоит на якоре перед входом в канал: оказалось, что накануне в канале затонуло небольшое судно, пропоровшее себе дно, и ночью пройти было нельзя. И только когда совсем рассвело, «Канарис» вошёл в канал и стал медленно продвигаться вперёд. Мы осторожно, прижавшись к краю канала, обошли затонувшее судёнышко и вскоре оказались в Коринфском заливе.

Дул довольно сильный встречный ветер. Волна была короткая, и нас покачивало, но может именно потому, что качало с малым периодом и качка была чисто килевая, я никаких ощущений морской болезни не чувствовал, стоял на носу и любовался фонтанами брызг, когда «Канарис» врезался в набегавшую волну.

Часа через три, приблизительно в восемь утра, мы подошли к местечку Итэа на северном берегу Коринфского залива, от которого километрах в двенадцати находятся Дельфы. На берегу нас ожидало целое стадо ослов, мулов, стояли и две коляски — из соседних селений собрали всё, что можно. У каждого осла находился его хозяин или хозяйка. Вся наша компания разместилась верхом, а в колясках ехали наши старики. Я сел на осла, которого всю дорогу погоняла палкой бежавшая вприпрыжку его хозяйка — молоденькая гречанка. Дорога всё время шла по гористой местности. Наконец показалось довольно широкое ущелье, над которым высится голая вершина Олимпа, — это Дельфы.

Сейчас никакого поселения там нет. Живут только рабочие и руководители раскопок. Раскопки очень большие. Остались одни основания храмов и домов, но мы уже привыкли дополнять всё своей фантазией. Опять с вполне исследовательской серьёзностью мы знакомились с древними храмами. Видели место, где «пророчествовал» дельфийский оракул. Осмотрели небольшой музей открытых в Дельфах скульптур и других реликвий, найденных при раскопках. Потом нам приготовили обед. Тут же на открытом воздухе на вертелах над кострами жарили целые тушки баранов. Сало стекало в железные противни с заранее отваренным рисом. В итоге получился вкусный плов, но посуды никакой не было, и как мы этот рис ели, сейчас не соображу.

Пообедав и напившись чаю из наших самоваров, которыми неизменно заведовал Сарычев, мы разбрелись по ущелью. Нагулявшись, наша компания долго сидела на развалинах Дельфийского театра или стадиона. Как сейчас вижу этот золотой вечер, слышу горьковатый запах увядающих трав и безмолвные мрачные скалы вокруг. Всё в прошлом.

Взошла полная луна, и при её каком-то зеленоватом свете, казалось, можно было читать. Наша кавалькада тем же порядком возвращалась в Итэа. «Канарис» ожидал нас. Офицеры приготовили ужин для наших руководителей. Хорошо сервированный стол с фруктами и вином стоял посреди верхней палубы. Рядовым экскурсантам раздали опять по доброму куску жареной баранины. Наши демократические чувства были задеты такой разницей, и мы, демонстративно сидя на полу и держа в руках кусок баранины, грызли его как первобытные люди. Впрочем, когда досыта наелись и опять попили чаю (пить после жары и плова хотелось страшно), настроение наше заметно улучшилось. Теперь думаешь, какие же мы были ещё дураки! И какие исключительные переживания нам были дарованы!

Далее наш путь лежал в Олимпию — место знаменитых Олимпийских игр, расположенное в десятке километров от берега, у устья Коринфского залива. Ночью «Канарис» прошёл до места, откуда по железной дороге надо было ехать, собственно, в Олимп. До отхода поезда оставалось порядочно времени, и мы затеяли купаться прямо с борта! «Канарис» бросил якорь далеко от берега. С нами на «Канарисе» были две дамы — старухи графини Капнист, которые постоянно жили в Афинах, увлекаясь археологией, но они пока не встали и находились у себя в каюте. Поэтому мы скинули наши «тропикали» и прямо с трапа стали купаться.

В Олимпии нас встретили члены Греческого археологического общества, пригласили завтракать, но сначала мы отправились на раскопки. После осмотра их наша группа побежала купаться на реку Алфей. Это небольшая, но страшно быстрая речка, берега которой были покрыты цветущими розовыми азалиями. Вода тёплая-тёплая, а течение такое быстрое, что сядешь на дно, покрытое галькой, и чувствуешь, как едешь вместе с галькой. Выкупавшись и наломав большие букеты азалий, мы бегом вернулись к гостинице, где проходил «званый» завтрак. Все уже сидели за столами. Мы поставили на стол букеты и принялись «догонять» наших товарищей.

Представители Греческого археологического общества приветствовали нас на французском языке, наши руководители отвечали им на древнегреческом, а от студентов по-новогречески говорил наш товарищ новогрек. Все тосты заливались вином, впрочем, во вполне допустимом для такого случая количестве. Студенты всей громадой пели «Из страны, страны далёкой» и «Gaudeamus» с прибавлением куплета: «Vivat clara Grecia, populus — que eins! Vivat clara Grecia, semper sit in flore»[173].

Потом отправились в музей. Объяснения давал профессор Мальмберг. Подогретый завтраком, Владимир Константинович с увлечением и с исключительной выразительностью рассказывал нам о прелести классических скульптур. В особенности помню, как он перед фронтоном храма Зевса, на котором изображено «Похищение сабинянок», с необыкновенной экспрессией показывал, как сладострастные кентавры хватают свои жертвы. У «Гермеса» работы Праксителя — действительно исключительного произведения из чуть-чуть прозрачного мрамора — Владимир Константинович прямо-таки пришёл в умиление и, обратившись к нам, произнёс: «Вы смотрите, ведь он совсем живой!». Из всех экспонатов самое сильное впечатление, действительно, производит этот «Гермес» и ещё летящая «Афина» — её фигура вся в воздухе, на постамент она опирается только концом плаща.

К вечеру мы опять были на палубе «Канариса», а рано утром он бросил якорь на рейде Коринфа. Море здесь очень мелкое, так что суда останавливаются на большом расстоянии от берега. От Коринфа идёт железная дорога — узкоколейка на юг Пелопоннеса мимо Микен. Мы отправились по ней в Микены. Там проведены большие раскопки, но все найденные реликвии перевезены в Афинский и другие музеи. На месте остались только знаменитые львиные ворота, фундаменты зданий. Всё это весьма древнего времени.

Далее мы по той же узкоколейке проехали в прибрежный городок Навплию, купались в прозрачной, как стекло, воде Средиземного моря. Благодаря прозрачности воды и эффекту преломления света, глубина у самого берега казалась нам не больше 40—50 сантиметров, но когда, раздевшись, мы полезли в воду, то выяснилось, что тут, как говорят, с ручками. В Навплии мы только пообедали — здесь никаких древностей нет. Видели случайно греческую тюрьму: на дне громадной четырёхугольной ямы, огороженной высокой железной решёткой, помещались несколько десятков заключённых.

После обеда отправились опять по железной дороге на раскопки Тиринфа, потом прошли пешком на раскопки Аргоса, где археологи открывали самый большой греческий театр — на несколько тысяч зрителей. Если бы мы смотрели раскопки без руководителей, то впечатления бы не получили — фундаменты и есть фундаменты. Однако все осмотры сопровождались исключительно содержательными лекциями по

древнегреческой культуре. К тому же все наши руководители обладали способностью рассказывать увлекательно, и мы перед собой видели как бы ожившую жизнь людей, которых отделяли от нас несколько тысячелетий.

По дороге к Аргосу мы проходили какое-то селение, в котором происходило самое радостное в году действие — из собранного винограда выжимали вино. Я первый и единственный раз в жизни видел классический и, вместе с тем, архаический способ выжимки виноградного сока: на столбиках высотой метра полтора помещается большой (4 квадратных метра) ящик с щелястым полом, а к нижней части ящика прилажена деревянная воронка, под которой стоит бочка. Виноградные грозди загружают в ящик, и три-четыре грека с засученными выше колен штанами с ожесточением топчут сочный виноград — мутный сок стекает через воронку в бочку. Виноград был и белый, и красный — штаны с рубахами у рабочих были забрызганы точно кровью. Милейший Александр Иванович Анисимов, впоследствии крупнейший специалист по церковной живописи, который шёл рядом со мной, демонстративно упал ко мне на грудь и с пафосом воскликнул: «Володя, зачем я пил вино!». Надо сказать, некоторые любители выпить уверяют, что особенно тонкие по вкусу вина так именно и должны приготавливаться: при этом способе выжимания не раздавливается ни одна виноградная косточка.

Ночевали мы опять на палубе «Канариса». На следующее утро было назначено посещение раскопок в старом Коринфе. Наша группа заленилась, и мы провели день на берегу залива. У меня и до сих пор есть некоторые угрызения совести, что я не выполнил всю программу. Мы бездельничали весь день. Купались в тёплых водах Коринфского залива. У берега очень мелко — можно по песчаному дну по пояс в воде идти десятки саженей. Накупавшись, мы зашли на изюмный завод, где нас угощали сушившейся коринкой и дали с собой этого угощения. Было жарко и совершенно тихо. Пообедали мы в каком-то кабачке.

Наши вернулись из экскурсии. Руководители угощали ужином офицеров «Канариса» в ресторане на берегу залива. К вечеру поднялся сильнейший ветер. Часть команды, доставившая офицеров на берег с вёсельным катером, находилась тут же, но перевозить нас они не соглашались — не получали такого распоряжения от своих командиров. А те в это время угощались и о нас как будто забыли. Молодёжь начала волноваться — вот-де нас бросили, а сами пируют! Тогда я с кем-то из нашей группы пошли искать наших стариков и офицеров «Канариса». Найти их было не трудно: новый Коринф — не больше нашей Лопасни. Всё утряслось. Команде было сейчас же приказано перевозить нас на «Канарис». Правда, лодки подбрасывало, как мячики, — волна короткая, а команда малоопытная. Наконец перебрались на борт. На верхней палубе спать было невозможно — ветер буквально рвал постели и одеяло (вернее — простыни, так как было очень тепло). Кое-как примостились: кто спустился на нижнюю палубу, а кто подыскал местечко, где не так рвало ветром, на верхней. Я сначала спустился на нижнюю палубу, но спать там было невозможно из-за духоты, и ночью я опять поднялся наверх. Ветер вскоре унялся. Луна заливала светом залив. Старики и офицеры вернулись с берега. Я так крепко уснул, что не слыхал, как подняли якорь, как прошли канал, проснувшись лишь тогда, когда «Канарис» подходил к Пирею.

С. Н. Трубецкой сказал, что представители молодёжи сами должны принести королеве благодарность за заботу и предоставление «Канариса». Я попал в число представителей. Нас было человека три. К королеве нас, конечно, не пустили, мы должны были отправиться к министру и просить передать королеве нашу благодарность. Я с грехом пополам составил маленькую речь на французском языке и благополучно произнёс её перед министром[174].

Мы дожидались возвращения нашего «Николая Второго», который на обратном пути из Александрии тем же порядком и на тех же условиях должен был доставить нас обратно в Одессу. В Афинах нас ожидали два приглашения. Старухи Капнист давали нам обед в прекрасном ресторане на берегу бухты километрах в десяти от Афин. И другое приглашение русской Средиземноморской эскадры — на целый день*.

Обед, которым нас угощали старухи Капнист, был обставлен красиво и торжественно. В громадном зале ресторана стоял нарядно сервированный стол, на котором были разбросаны розы; опять речи, опять «Vivat clara Grecia». Чем нас кормили — уж и не вспомню, но кормили хорошо и поили в меру.

Особенно интересно и памятно было посещение русской эскадры. С утра поездом приехали в Фалерон. Эскадру, построенную в кильватерную колонну к выходу в море, возглавлял броненосец. У пристани нас ожидали баркасы на буксире моторных лодок. Баркасы с нашей экскурсией шли один за другим по линии колонны русских боевых кораблей, команды которых, выстроенные на верхних палубах, встречали своих земляков русским «ура», мы всеми стапятьюдесятью глотками отвечали им тем же. На «Св. Николае» был спущен парадный трап, устланный красными коврами, сам адмирал стоял наверху и приветствовал гостей. Первым поднялся С. Н. Трубецкой, за ним профессора, а потом и мы, молодёжь. Офицеры стали показывать нам вооружение и механизмы броненосца. Весь корабль блистал чистотой. Металлические части его были отчищены до зеркального блеска. Вся команда (кроме вахтенных) в наш приезд была освобождена от работ. Для всех был праздник.

Непосвящённому вооружение броненосца казалось могущественным. Но сами офицеры говорили, что для Афин — это сила, но для океанского плавания «Св. Николай» — старая галоша. Впоследствии эти слова вполне оправдались: «Св. Николай» участвовал в Цусимском сражении и лежит сейчас на дне Японского моря.

На броненосце была церковь — небольшой алтарь на одной из палуб. На верхней палубе был устроен буфет с бутербродами, фруктами, но обедом нас не кормили. Здесь же присутствовали дамы — жёны офицеров, жившие на дачах в Фалероне. Играл духовой оркестр, и дамы танцевали с нами.

На броненосце я познакомился с военно-морским врачом — Константином Адамовичем Заржецким. Узнав мою фамилию, он непременно пожелал, чтобы я у него побывал на даче, где жила с сынишкой его жена Вера Ивановна, с которой он меня познакомил. Вера Ивановна оказалась очень интересной молоденькой дамой. Они

* Русское правительство держало в Средиземном море особую эскадру, состоявшую из флагманского броненосца «Св. Николай» и нескольких более мелких военных кораблей; она в это время стояла в бухте Фалерон. — Прим. В. Д. Зёрнова.

пригласили к себе на дачу также моих приятелей по группе и моего партнёра по пению Еше. Встретиться у них мы условились на другой день вечером. Это был наш последний день пребывания в Афинах, и на этот вечер было назначено посещение Парфенона «при лунном свете». Но приглашение очаровательной Веры Ивановны взяло верх над Парфеноном при лунном свете. Опять я испытывал некоторые угрызения совести в связи с неисполнением официальной программы.

К. А. Заржецкий оказался очень приятным собеседником и большим поклонником моего отца, хотя непосредственно у него не учился. Константин Адамович окончил Военно-медицинскую академию и во флоте отбывал свой стаж за студенческую стипендию. Он давно отслужил положенные три года, о не мог, но его словам, выйти в отставку: каждый раз полученного жалованья хватало только на то, чтобы расплатиться с долгами, а следующий месяц он жил опять в кредит. Он же рассказывал, что финансы Греции так слабы, что когда русские офицеры эскадры получали золотом своё жалованье и меняли его на драхмы, то курс греческой драхмы испытывал большое колебание. Даже небольшой приток русского золота вызывал потрясение в финансах Греции.

Мы провели чудесный вечер. Маленькая белая дачка, вся в зелени, на берегу чудного моря и милые ласковые хозяева — всё производило приятное впечатление. Никогда больше ни Константина Адамовича, ни Веру Ивановну я не встречал. Но историю Константина Адамовича во время Японской войны я слышал от его брата, с которым виделся в Москве значительно позже. История совершенно исключительная.

Когда начались военные действия с Японией, Средиземноморская эскадра присоединилась к той части флота, которая шла на Дальний Восток через Красное море под командованием адмирала Небогатова. У Мадагаскара встретились с эскадрой адмирала Рожественского и далее направились вместе к своей гибели. Всё это превосходно описано у Новикова-Прибоя в его «Цусиме»[175].

Заржецкий попал на один из кораблей Небогатова. Вера Ивановна с сынишкой переехала к родным в Москву. Там и узнала о гибели русской эскадры в сражении 1–2 мая 1905 года. Корабль, на котором находился Заржецкий, также, пошёл ко дну, считали погибшей и всю его команду. Семейство Заржецких надело траур и 21 мая в день св. Константина и Елены отправилось в церковь — служили после обедни панихиду по убиенном рабе Божии Константине. А вернулись домой — им подали телеграмму из Японии: сообщалось, что Константин Адамович спасён и выезжает кружным путём в Россию. Оказывается, он после крушения корабля несколько часов плавал на каком-то обломке и японцы его выловили, как и многих других, и, взяв с него слово, что по возвращении на родину не будет воевать против Японии, отпустили через нейтральные страны домой. Может, такое рыцарское отношение к нему было проявлено лишь потому, что он врач? Хотя — кто знает. В последующих войнах ничего подобного не бывало. По возвращении в Россию Заржецкий работал в Петербурге.

Распростившись с нашими новыми друзьями и с прекрасной Грецией, мы опять погрузились на «Николая Второго» и в том же порядке отправились к родным берегам. Переполненные впечатлениями от Греции, обратный путь мы воспринимали уже плохо. Ненадолго высаживались в Смирне. Пароход долго стоял перед входом в Дарданеллы. Ночь была тихая, небо — усыпано яркими звёздами.

Такого неба мы в северных широтах не знаем. Стояли у острова Лесбос — родины Сапфо[176]. Ночью прошли Дарданеллы. В Константинополе опять ночевали в Афонских подворьях: оставаться на судне при погрузке угля неприятно. Наша группа по уже знакомому мосту отправилась на старый рынок и накупила разных безделушек на память. Я купил две шитые серебром шапочки, шитую серебром белую сумочку и большой, лёгкий, изготовленный из шёлка-сырца шарф — концы его с длинной розовой бахромой были расписаны розовым шёлком какими-то мусульманскими изречениями. Я привёз его маме, та потом подарила его Катёиушке. Катёнушка долго его носила, и, когда мы после свадьбы ездили по Волге, в Казани татары всё приставали, чтобы мы им продали этот шарф.

Когда мы с покупками возвратились в подворье, то оказалось, что все товарищи отправились на пароход. Мы подхватили вещи и бегом побежали к пристани. «Николай Второй», стоявший посреди пролива, дал уже последний гудок и готов был к отплытию. Мы на лодке подошли к нему, нас заметили, спустили трап, и мы взошли на пароход, который начал к тому времени двигаться.

В Одессе нас построили в ряд с вещами, и таможенные чиновники производили досмотр вещей, но, конечно, это была пустая формальность. В Киеве мы задержались на несколько часов. Я зашёл к Алле Михайловне Томской, которая этот сезон пела у Бородая в Киеве. К этому времени она вышла замуж за певца Дмитриевского и привезла из Италии своего Лёньку, сына довольно известного актёра Сабурова, с которым Алла Михайловна встретилась во время своего сезона в Перми. Сабуров держал обычно труппу «фарса» и этим был известен. Итогом их встречи стал Лёнька, родившийся в Италии, где и рос до пяти лет.

Экскурсанты так были довольны поездкой, что сейчас же стали проектировать такую же экскурсию в Италию. Но тут началась Японская война. Умер С. Н. Трубецкой. Потом революция 1905 года. Так наша греческая поездка и осталась единственной[177].

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
(1904—1909)

Начало русско-японской войны

О русско-японской войне создано немало талантливых произведений. Но одно из самых ярких описаний её начала — нападение Японии на Порт-Артур, представлено, пожалуй, в повести «Порт-Артур» (не помню автора[178]). Она написана правдиво и беспристрастно.

Из моих ближайших товарищей почти с самого начала русско-японской войны попал в армию как прапорщик запаса (артиллерии) Сергей Кезельман. Впрочем, до фронта он так и не доехал. Его держали где-то около Томска. В Томск к Сергею приехала, сбежавши от родителей, О. Д. Иловайская, за которой он ухаживал, — там они и повенчались. Она была дочерью известного весьма черносотенного составителя учебников по истории Дмитрия Ивановича Иловайского. Родителям её фамилия «Кезельман», конечно, претила, и они были страшно против этого романа.

Когда мы, друзья Сергея, узнали, что Ольга Дмитриевна обвенчалась с ним, то радовались счастью влюблённых. Мать же Сергея Екатерина Александровна которую мы стали поздравлять, сказала, что поздравлять рано: «Вот проживут пять лет, тогда меня и поздравляйте». Пять лет молодые супруги не прожили. Ольга Дмитриевна сбежала от Сергея с его двоюродным братом.

Пётр Николаевич Лебедев, которому по какому-то поводу мы сообщили о побеге Ольги Дмитриевны от родителей и женитьбе Сергея, проявил исключительную житейскую мудрость. «Толку из этого не будет! — совершенно категорически заявил он. — Если у неё в пятках такая чесотка — так и будет бегать».

Так оно и случилось. Надо сказать, что Пётр Николаевич сам как раз переживал результат такой «чесотки». Я эту историю по некоторым его намёкам знал и тогда, а потом, через много лет, я часто встречался с его сестрой Александрой Николаевной, которая и рассказывала мне подробности. Пётр Николаевич увлекался певицей из Большого театра (она была и пианисткой — окончила консерваторию) Макариной, и эта красавица, как уверяла Александра Николаевна, попросту обирала его. Когда же обирать стало нечего, она нашла себе другого покровителя (Мазурина), который даже выстроил для неё чудесный особняк, но прожила она в нём недолго. Мазурин, говорят, застал её с каким-то молодым человеком, и Макариной пришлось переменить квартиру. Кстати, Мазурин субсидировал «Московский музыкальный кружок», концертмейстером оркестра которого я являлся.

С войной был связан другой наш товарищ. У Н. П. Щепотьевой в гимназии преподавал русскую литературу бывший кадровый офицер, впоследствии окончивший филологический факультет, Константин Станиславович Кузьминский. Его, как бывшего военного, конечно, могли призвать в действующую армию, хотя преподаватели от призыва освобождались. И, чтобы не находиться постоянно под «дамокловым мечом призыва», он поступил на работу в «Красный

Крест». Это ограждало от призыва в действующую армию, но было связано с поездкой на фронт. И хотя, конечно, ничего дурного в том, что он активным действиям против японцев предпочитал помощь раненым, не было, над ним всё же немного подшучивали, называя «героем».

Война чувствовалась и в Москве, но ничего подобного тому, что мы переживаем сейчас (1944—1945 год), не было. Никаких затруднений в снабжении мы не испытывали. Правда, зато фронт испытывал нехватки, которые, возможно, и привели к печальному концу войны.

Помню, как московское дворянство провожало на фронт А. Н. Куропаткина, назначенного главнокомандующим. Я был на этом торжестве в Колонном зале Дворянского собрания. Дворянство вручило Куропаткину белое знамя, расшитое серебром и золотом. Куропаткин отвечал на приветствия уверенной речью, утверждая, что мир будет заключён в Токио. Он на словах умел вселить надежду на благополучное окончание войны. Но одно дело уверенная речь и бравый вид и совсем другое — действительное дирижёрство таким концертом («концерт» в переводе означает состязание), каким является война. Вскоре выяснилось, что дела на фронте продолжали оставаться в прежнем положении. И причина тут была не только в личных качествах Алексея Николаевича.

В гимназиях по субботам девицы и преподавательницы шили бельё для госпиталей. Вспоминали, как в старину, в турецкую кампанию[179], «дёргали корпию», то есть старое льняное бельё разбирали на отдельные нитки — «корпию», она употреблялась в госпиталях, когда не было ещё гигроскопической ваты. Но все эти занятия носили какой-то любительский характер. Война, во всяком случае, не была «народной».

Я лично от призыва был освобождён и продолжал неплохо заниматься своей акустикой. Очень интересен был способ определения амплитуды колебания частиц воздуха в звуковой волне: струйка паров эфира протекала в области пучности стоячей волны и принимала участие в колебаниях воздуха, можно было получить шлир (тень) этой струйки и рассматривать колебания шлира в стробоскоп или фотографировать это колебание.

Большой точности метод не давал, но он имел преимущество чрезвычайной наглядности. Кроме того был обнаружен ряд весьма интересных явлений, которые требовали самостоятельного исследования, а так как другие методы давали более точные результаты измерения силы звука, что являлось моей основной темой, то эти обнаруженные мной явления были демонстрированы на коллоквиуме и затем описаны в докладах Обществу любителей естествознания, но дальнейшего исследования сделано не было, о чём я очень жалею.

Петру Николаевичу мои эксперименты, по-видимому, нравились. Он велел мне описать их и очень жёстко критиковал описания, так что приходилось переделывать тексты несколько раз. По этому поводу я бывал у Петра Николаевича на квартире, когда он жил ещё в своём доме на Маросейке. И затем он представил мои работы по акустике Обществу любителей естествознания, антропологии и этнографии на премию имени Мошнина (премия в размере 300 рублей присуждалась ежегодно — один раз химикам, другой — физикам).

Осенью 1904 года я делал доклад в заседании Общества в Политехническом музее. Присутствовал, так сказать, весь цвет физико-математического факультета; был и папа, которому и моё выступление, и получение затем премии доставило большую радость.

Зимой 1904—1905 годов все с нетерпением ожидали, что вот-вот изменится положение на фронте, каждый день внимательно просматривали списки убитых и раненых офицеров, публиковавшиеся на страницах газет. По счастью, из членов нашей семьи никого в действующей армии не было.

В гимназии Н. П. Щепотьевой

За эти два учебных года — 1902/03 и 1903/04 — я особенно сошёлся с Рафаилом Михайловичем Соловьёвым. Он был талантливым математиком. После окончания университета был оставлен при кафедре геометрии и одновременно, как и я, преподавал в гимназии Н. П. Щепотьевой.

И вот совершенно неожиданно Рафаил Михайлович умер[180]. У него подряд сделалось несколько припадков эпилепсии, всё произошло в такой короткий срок, что я даже не знал, что он заболел. Однажды он не явился в гимназию, я пошёл его проведать и увидел лежащим на столе. Смерть его страшно всех поразила — так она была неожиданна. Товарищи и ученицы — все, кто знал и любил Рафаила Михайловича, а не любить его было просто нельзя, провожали его на Ваганьковское кладбище[181].

Кроме меня, из наших товарищей физико-математиков в гимназии преподавал ещё В. И. Романов. На место же покойного Рафаила Михайловича мы рекомендовали работавшего у П. Н. Лебедева В. И. Эсмарха.

Весной 1904 года класс, в котором училась Катя Власова, держал выпускные экзамены. Катя Власова экзаменовалась, разумеется, лучше всех и получила золотую медаль[182].

После семи основных классов, которыми заканчивалось, собственно, среднее образование в женских гимназиях, для получения звания «домашней наставницы» надо было пройти ещё и восьмой «педагогический» класс. Катя конечно осталась для прохождения этого дополнительного класса. А летом 1904 года у неё умерла мать, которую я так и не видел. И умерла она не в Москве.

С осени 1904 года Кати Власовой уже не было среди моих слушательниц: физика в восьмом классе не преподавалась. Но мы встречались в гимназии на «субботах», и я всё больше убеждался, что она — именно тот человек, с кем я свяжу свою жизнь. Но, конечно, никто в эти мысли посвящён не был.

Весной Н. П. Щепотьева с окончившими дополнительный класс и с нами, преподавателями, устроила прогулку в Петровское-Разумовское[183] и в Новый Иерусалим[184]. Особенно памятна была последняя поездка. Стояла замечательная погода! Чудесное место! В монастырской гостинице мы пили чай, а за самоваром сидела и разливала чай Катя Власова. Я так и видел её хозяйкой моего дома. По обычаю, установившемуся в гимназии Н. П. Щепотьевой (а может, и в других гимназиях), преподаватели дарили выпускникам свои фотографии, а от них получали их снимки. Карточка Катёнушки и сейчас стоит передо мной, а моя — на её столе.

Я попробовал показать Катёнушкину карточку родителям. Не помню, как отнеслась к этому мама. А к отцу я пришёл попрощаться перед сном, мы, как обычно, перекрестили друг друга, и тут я показал ему карточки и сказал:

— Вот наша самая лучшая ученица!

Папа, сидевший за письменным столом, оглянулся на карточку, но к «лучшей ученице» не проявил никакого интереса. Папа меня очень любил и всячески баловал, однако в житейских делах был как-то недогадлив. Ему, очевидно, и в голову не могло прийти, что речь идёт вовсе не о «лучшей ученице», а о чём-то большем и важном в моей жизни. Папа вообще вполне доверял мне, совершенно не вмешивался в мои знакомства и вопрос о «возрасте Н. П. Щепотьевой» был едва ли не единственным «вмешательством».

Моё первое знакомство с семьёй Власовых

До поступления в ефремовскую гимназию[185] Катёнушка росла в деревне. Родилась она в доме своего деда по материнской линии — Никиты Ивановича Скромного, у которого были земля и дом в Тульской губернии. Его владения назывались Ляпуновкой. В этом-то владении и жили родители Катёнушки — Василий Борисович и Евдокия Никитична Власовы. Потом Василий Борисович арендовал у какого-то помещика именьице в Ефремовском уезде — Вытемка. Туда и переехала семья Власовых.

У Василия Борисовича и Евдокии Никитичны была громадная семья. После смерти Евдокии Никитичны в 1904 году осталось двенадцать детей, частию совсем малых. Старший Александр был врачом и заведовал дворянским приютом для престарелых дворян, построенном на Шаболовке Нечаевым-Мальцевым[186]. В семье старшего брата и жила Катёнушка, когда переехала учиться в Москву.

Других братьев Катёнушки звали: Вася (служил на железной дороге около Сызрани), Ваня, Коля и Лёня, ещё ребята. Впоследствии Ваню убили на войне 1914 года, Коля поступил на службу в Москве и очень рано умер, а Лёня работал машинистом на Рязано-Уральской железной дороге и совсем взрослым человеком затеял кончать экономический факультет МИИТа[187]. И учиться, и семью содержать ему было, конечно, очень тяжело. Институт он всё же окончил, но вместе со званием инженера получил крайнее переутомление и туберкулёз и вскоре умер. Александр, уже во время революции, явился к больному, взял в руки стетоскоп, да так с трубкой в руках и умер в комнате больного.

Сёстры Катёнушки: Маша, Нина, Анюта, Вера — старшие, Лёля и Надя — младшие. Младшие впоследствии много лет жили у нас.

Катёнушка (разумеется, я называл её тогда по имени и отчеству), несмотря на то, что она кончила гимназию блестяще, не собиралась учиться в высшем учебном заведении, хотя все преподаватели пророчили ей учёную карьеру и профессорскую кафедру, а стала искать себе педагогическую работу. Выяснилось, что работу можно получить в гимназии у Н. П. Щепотьевой.

В мои планы входило познакомиться с Александром Васильевичем и его женой Софьей Александровной. И сделать это мне помог Евгений Иванович Вишняков, преподававший историю в гимназии Н. П. Щепотьевой. Он встречался с ними

обоими у Трубецких, где Александр Васильевич являлся репетитором, а Софья Александровна давала уроки музыки — она кончила консерваторию и была хорошей пианисткой. И вот когда по поводу окончания Катёнушкой гимназии он собирался побывать у старых знакомых, я напросился в гости к нашей «лучшей ученице». Катёнушка была действительно самой способной из всех своих товарок. Но, несмотря на это, учиться в высшем учебном заведении не собиралась, хотя её преподаватели — в частности, В. И. Эсмарх — пророчили ей учёную карьеру и профессорскую кафедру[188]. Но она, тотчас после окончания гимназии, стала искать себе педагогическую работу.

У А. В. Власова была прекрасная квартира в здании самой дворянской богадельни. Самого Александра Васильевича дома мы не застали, и я использовал мои музыкальные способности и сведения и большую часть времени проговорил с Софьей Александровной. У нас, конечно, оказалось множество общих знакомых. Она являлась ученицей Пабста, и вся моя консерваторская компания были и её товарищами. Дети её — трехлетний Вовка, Лена пяти лет и семилетняя Наташа — вертелись тут же.

Софья Александровна, вообще человек очень строгий и внешне даже суховатый, на этот раз была весьма приветливой, и мы сговорились, что будем и дальше продолжать наше знакомство и играть вместе. Софья Александровна, несколько поотставшая от музыки, впоследствии говорила, что это я заставил её вернуться опять к своему искусству.

С нами у Власовых был и В. И. Эсмарх, а у Катёнушки — её товарки Вера Потапенко и Наташа Маркова. Эсмарх и Вишняков провели время в компании с выпускницами, а я — с Софьей Александровной, и выглядело это совершенно естественно.

Когда Катёнушка уехала навестить отца, я написал ей письмо, конечно самое обыкновенное, так сказать, повествовательное (писать интересных писем я никогда не умел). Катёнушка также ответила письмом и тоже бесхитростным. Я долго хранил его, но теперь, не знаю, цело ли оно?*[189]

Летом на мои именины в Дубну вместе с другими товарищами приехал и Вишняков, который и сообщил, что Катёнушка вернулась от отца и находится с семьёй брата на даче, снятой им около Щербинки по Курской железной дороге. Мы уговорились с Евгением Ивановичем, что по пути в Москву заглянем к Власовым в Щербинку. Так и сделали. Целый день провели мы у Софьи Александровны, вместе с Катёнушкой и ребятами ходили в лес за грибами. Я всегда плохо находил грибы, а тут и вовсе ими мало интересовался.

Власовы сравнительно рано вернулись в Москву, и я, теперь уже без помощи друзей, которые, впрочем, совершенно не были осведомлены о моих стратегических планах, в конце лета бы на Шаболовке.

С осени Катёнушка стала преподавать в младшем классе гимназии, а я регулярно наведывался со скрипкой на Шаболовку. Конечно, дома это было замечено, и мама настороженно стала относиться к моим музыкальным экскурсиям.

* У меня целая связка писем, которыми мы обменивались впоследствии с родителями и с Катёнушкой, когда случалось, что я один оставался в Саратове. Но те первые письма у меня лежали отдельно, хотя содержание их было самое обыкновенное. Не знаю, где эти письма? — Прим. В. Д. Зёрнова.

Кончина и похороны ректора Московского университета С. Н. Трубецкого

Осень 1905 года была исключительно тяжёлая. Первым крупным событием стали выборы в университете первого «выборного» ректора. Папа в 1898—1899 годах был назначенным ректором, его сменил препротивный Александр Андреевич Тихомиров. И хотя нового устава, который так долго вырабатывался и обсуждался, университеты так и не получили, всё же летом 1905 года особым приказом была введена выборность ректора и деканов[190].

Среди кандидатов на пост ректора называлось и папино имя, но он сам отвёл свою кандидатуру: во-первых, он уже однажды занимал этот пост, во-вторых, ректорская деятельность была не для него. К тому же весной 1899 года папа сильно захворал, взял отпуск, а потом — подал в отставку. Впрочем, в 1907 году его выбрали деканом медицинского факультета, в связи с чем мы и переехали из Шереметевского переулка на Девичье Поле в деканский домик.

Ректором был избран наш организатор поездки в Грецию князь С. Н. Трубецкой. Сергей Николаевич и среди прогрессивной профессуры пользовался большой популярностью. Он, между прочим, находился среди делегатов известной депутации, обращавшейся к царю с указанием на необходимость различного рода реформ, на что царь ответил, что все эти указания являются «бессмысленными мечтаниями». Такой ответ обидел всё прогрессивное общество, во всяком случае, не способствовал укреплению царской власти. Кое-кто рассказывал, будто бы на дне фуражки, которую царь постоянно держал в руках, лежала записка с текстом заранее подготовленного ответа и будто бы вместо слова «бессмысленные» в ней стояло более мягкое — «беспочвенные», но царь, видимо, не разглядел. А может быть, в этом заключалось и собственное мнение царя[191].

Сергея Николаевича Трубецкого избрали ректором в августе[192], а в конце сентября его вызвали в Министерство народного просвещения на какое-то совещание. На заседании в министерстве ему вдруг сделалось дурно, и через несколько минут он умер[193].

Тело его привезли в Москву. Встретить траурный груз на Николаевский вокзал отправился и я. С вокзала гроб перенесли в университетскую церковь, куда попасть мне уже не удалось — все проходы были забиты народом. Зашёл в аудиторию № 1 — это самая большая аудитория — и стал свидетелем проходившего там студенческого митинга. Сначала речи были посвящены памяти С. Н. Трубецкого, но затем они приняли политическую окраску. В этот момент в аудиторию вошёл профессор А. А. Мануйлов (помощник ректора и в связи со смертью Сергея Николаевича — исполняющий его обязанности) и резко остановил оратора. Александр Аполлонович производил, я бы сказал, величественное впечатление: большого роста, с полуседой шапкой волос и не терпящим возражений видом. Студентам он заявил:

— Господа! Прошу прекратить сходку. Не время митингам. В доме покойник.

Тысячная толпа студентов, уже было возбуждённая революционными выступлениями, молча стала расходиться. Но когда гроб несли из университета в Донской монастырь[194], похоронная процессия всё же обратилась в политическую демонстрацию. Молодёжь пела революционные песни, что для семьи С. Н. Трубецкого было очень тяжело. Княгиня[195] несколько раз про-

сила студентов прекратить демонстрацию, но это был 1905 год, и никакие уговоры не действовали[196].

Когда толпа студентов поздно вечером возвращалась с кладбища, около университета послышались выстрелы. Кто и в кого стрелял, осталось невыясненным. Это были первые выстрелы революции 1905 года, которую теперь называют «репетицией Великой революции 1917 года». Но, возможно, я и ошибаюсь. Может, первые выстрелы прозвучали на похоронах Баумана?! События тут следовали одно за другим. Приблизительно в это же время был убит и Бауман[197], похороны его описаны во всех учебниках истории революции. Я видел демонстрацию, когда она проходила мимо университета. Картина была уже зловещая. Реяли траурные знамёна. Слышались революционные песни.

Студенческие баррикады

Более подробно остановлюсь на одном событии, относящемся к первым дням революции 1905 года. Его описание я не встречал ни в одном официальном отчёте о революции[198].

Случилось это осенью до объявления «Манифеста 17 октября». Среди студентов разнёсся слух, что черносотенцы с Охотного ряда вооружаются и собираются напасть на студентов. По-видимому, ничего подобного на самом деле не было — слух носил провокационный характер. Возможно, был расчёт на то, что студенты сами ринутся в контратаку на Охотный ряд и тут можно будет поживиться и темным людям, и полиции. Но события обернулись иначе. Студенты в контратаку не пошли, а собрались во дворе старого университета и в здании Физического института. Одна за другой начали расти баррикады, закрывшие все входы в университетский двор.

Для устройства баррикад студенты разломали загородки садика, притащили скамейки, столы и всё что можно было сдвинуть с места, выдернули даже молодые деревца. На баррикадах были расставлены патрули. Штаб «оборонявшихся» разместился в Физическом институте. Там же были организованы перевязочный пункт и пункт питания, — кто-то озаботился прислать хлеб и другие, гораздо более вкусные предметы питания.

Лидия Фёдоровна Муромцева, восторгаясь своей дочерью Верочкой[199], всё время восклицала:

— Верочка стояла на баррикаде совершенно, как Шарлотта Корде.

Не помню, Верочка или другая девушка из наших знакомых после дежурства на баррикаде отправилась на пункт питания за пайком, но увидела — буханки хлеба свалены на полу в курилке недалеко от уборной. Взять свой паёк девушка не решилась, но так как она всё же устала и проголодалась, то прошла чёрным ходом в квартиру Кезельманов. Там её накормили, она выспалась и другим ходом, не забаррикадированным, ушла из «осаждённого» университета, благо осаждавших не было.

Обороной распоряжался Алексинский (впоследствии член второй Государственной Думы). Мы жили в Шереметевском переулке, а прачечная, при которой жила наша прачка Матрёна Петровна, находилась в старом здании под анатомическим театром. Обедать ей надо было ходить к нам в Шереметевский пе-

реулок. Для свободного перемещения она от «коменданта» Алексинского получила специальный пропуск (я видел этот пропуск за подписью Алексинского). Были у меня и фотографии баррикад. Их снимал живший в старом здании университета профессор Карузин.

Положение осложнялось. «Осаждаемые» двое суток ожидали приступа, а осаждающие всё не появлялись. Не было видно и полиции в сколь-нибудь заметном количестве. Уверен, что где-нибудь, может, в Манеже или в соседних дворах, были, конечно, припасены наряды полиции или даже войск. Попробуй только студенты выйти демонстрацией на улицу — тут же произошло бы столкновение, но студенты смирно сидели.

Собравшийся вскоре Совет профессоров принял решение о ликвидации этого бессмысленного «сидения». Делегация от Совета, в состав которой входил и папа, отправилась к генерал-губернатору и договорилась о следующем: в течение ночи университетская администрация выпускает студентов небольшими группами, они направляются к Никитским воротам и, не доходя их, рассеиваются по переулкам. Специальная комиссия Правления университета всю ночь занималась осуществлением этого плана, а утром, обойдя баррикады, составила опись разрушениям, которых оказалось порядочно. У меня была стереоскопическая фотография, запечатлевшая осмотр комиссией во главе с профессорами Любавским и Мензбиром студенческой баррикады.

Весьма вероятно, что история с распространением слухов о якобы готовящемся нападении со стороны черносотенцев была спровоцирована самой же полицией, которой выгодно было сначала вызвать активные действия студентов, чтобы затем начать открытое наступление на их демократические завоевания. Что касается «коменданта» Алексинского, то помещённая в Большой Советской Энциклопедии небольшая его биография[200] наводит на кое-какие размышления: начал он с большевизма, а закончил белой гвардией...

Манифест 17 октября 1905 года

Японская война закончилась, но последствия неудачи русской армии резко активизировали революционную деятельность различных политических сил внутри самой страны. Возвращающаяся после поражения армия переходила на их сторону, и события которые мы переживали в Москве в сентябре и начале октября, были первыми волнами революции; позже они охватили практически всю страну. 18 октября рано утром меня разбудил папа:

— Вставай, Володенька (папа всегда звал меня так), — конституция!

И действительно, ночью в Москве было получено известие — 17 октября царь подписал «Манифест»[201]. Но ни подписание послевоенного мира, ни «Манифест» не могли уже удержать надвигающихся событий. Подписанный царём документ теперь мало кого удовлетворял. Издай Николай его в то время, когда к нему обращались общественные представители, в их числе С. Н. Трубецкой, — эффект был бы чрезвычайный, а теперь параллельно с «Манифестом» одна за другой посыпались карательные экспедиции.

Я отправился на Моховую к зданию нового университета. В его дворе толклись толпы народа, а внутри в аудиториях проходили митинги. На трибуне появлялись

не только студенты, но и люди, к университету не имеющие никакого отношения. Речи у всех были возбуждённые, словосочетание «Николай кровавый» фигурировало чуть ли не в каждом выступлении. Общий смысл речей сводился к следующему: «Манифест 17 октября» никого не удовлетворяет, это не что иное, как подачка, вырванная революционным народом, необходимо подыматься на восстание и брать власть в свои руки, в первую очередь надо отправляться к тюрьмам и освобождать политических заключённых.

И вот вся масса народа двинулась от университета по Моховой и Тверской. В общем скоплении народа я встретил Евгения Ивановича Вишнякова. И мы, захваченные толпой, пошли вместе с ней, конечно — простыми зрителями. Но события были так необычайны, что просто уйти домой и выжидать было невозможно.

С раннего утра по случаю объявления царём «Манифеста» дворники успели вывесить на зданиях трёхцветные национальные флаги. По дороге молодые люди забирались к флагам и отдирали белые и синие полотнища, оставляя одну красную полосу. Когда мы подошли к дому генерал-губернатора (ныне здание Моссовета)[202], вся площадь перед ним была залита народом, который требовал, чтобы генерал-губернатор распорядился освободить политических заключённых. Мы тоже остановились. На балкон вышел генерал-губернатор (кажется, Дурново) и, когда шум немного поулёгся, обратился к «гражданам Москвы» со словами поздравления по случаю объявленного «Манифеста 17 октября». После таких слов, конечно, опять поднялся шум: дескать, поздравлять не с чем, а вот «граждане Москвы» требуют освобождения политических заключённых. Губернатор, опять переждав шум, заявил, что уже дал соответствующее распоряжение, и покинул балкон.

Толпа двинулась дальше. Во главе её с красным бантом на груди шёл молодой приват-доцент кафедры зоологии Московского университета Николай Константинович Кольцов. Он всегда был очень революционно настроенным человеком и возглавлял соответствующие круги преподавательской университетской молодёжи[203].

Когда мы подходили к Гнездниковскому переулку, произошло какое-то замешательство, из переулка послышались выстрелы. Пули шлёпались об вывески магазинов на Тверской. Мы в хвосте толпы не могли видеть, что случилось. Но, чтобы зря не рисковать, зашли в какой-то магазин, который сейчас же наполнился народом, и там переждали заварушку. А когда вышли — на улице было уже спокойно и сами демонстранты находились далеко. Мы с Евгением Ивановичем решили дальше не ходить и вернулись домой.

Рассказывали о заварушке следующее. В Гнездниковском переулке находилось сыскное отделение, и навстречу демонстрации попалась закрытая карета, в которой обычно перевозили арестованных. Был ли кто внутри неё — неизвестно. Как только карета завернула с Тверской в переулок, часть толпы кинулась вслед за ней — освобождать арестованных. Отряд полиции, дежуривший у сыскного отделения, открыл стрельбу, но будто выстрелы были сделаны в воздух. Толпа шарахнулась обратно и, присоединившись к демонстрации, двигавшейся по Тверской, направилась к Бутырской тюрьме. Возможно, наша демонстрация затем двинулась к Таганской тюрьме. Не исключено и такое: к той и другой тюрьме независимо направлялись две демонстрации.

Занятия в университете шли через пень в колоду. Я при всякой возможности отправлялся на Шаболовку. С Катёнушкой говорил и по телефону. Наконец, общее осложнение, царившее в городе, привело к началу «декабрьского вооружённого восстания» и к общей забастовке.

Ходить по городу стало нельзя, и мы жили в университетских домах, как осаждённые — выходили только на университетский двор. В садике образовался своего рода клуб: днём все живущие в университете собирались здесь и делились свежими новостями и всевозможными слухами. Время от времени слышались выстрелы. На улицах — не только на исторической Пресне, но и по всему городу — происходили столкновения рабочих и вообще революционеров с полицией, а отчасти и войсками.

Мой приятель Миша Полозов с матерью жили у Никитских ворот в верхнем этаже дома Романова на углу Тверского бульвара и Малой Бронной[204]. В этом доме кем-то был организован приёмный покой для оказания помощи раненым. Карательной части было приказано расстрелять из пушек этот приёмный покой.

Миша стоял у окна своей квартиры и смотрел, что делается на Тверском бульваре. Вдруг он заметил, что группа военных возится на противоположной стороне бульвара с установкой пушки. Он не мог даже предположить, что из пушки будут стрелять именно по его дому, и с нескрываемым интересом наблюдал за установкой орудия. Но вот он замечает, что пушку начинают наводить на его дом, да ещё почему-то как раз на верхний этаж. Он, не долго думая, схватил свою мать в охапку и выскочил с ней на лестницу, помещавшуюся внутри дома. И тут грянул выстрел. Стену, около которой только что стоял Миша, пробил снаряд, он пролетел через комнату и, по счастию, завяз в следующей стене, за которой находилась лестничная клетка. Миша так напугался, что несколько дней не мог толково рассказать о происшествии.

Конечно, при таких условиях отправляться со скрипкой на Шаболовку было невозможно. Чтобы узнать, что делается там, я отправился в Анатомический театр и позвонил Власовым по телефону. Говорить из дома по телефону мне не хотелось — из-за мамы, которая относилась к моим визитам в Шаболовку «настороженно». Я вызвал к телефону Катёнушку. Когда же мы начали разговаривать, нас почему-то разъединили. Позже прояснилась и причина: около дома на Шаболовке рабочие строили баррикаду и как раз в момент нашего разговора срубили столб с телефонными проводами. Тогда-то я себе и уяснил, что раз такие случайные обстоятельства мешают возможности даже разговаривать по телефону, то надо всегда быть вместе. И я решил: при первом же свидании скажу об этом Катёнушке.

Канун нашей свадьбы

К Рождеству уличные бои были ликвидированы и стало опять возможным свободно перемещаться по городу. В первый день Рождества я отправился на Шаболовку. Застал только Катёнушку и ребят. Она собиралась на Новинский бульвар к отцу Софьи Александровны — А. И. Иванову, жившему там вместе с её старшей сестрой Надеждой и младшей Марусей. Пока Катёнушка собира-

лась, я сидел с ребятами, которые за эту осень ко мне очень привыкли. Старшая Наташа «занимала меня разговором» и, между прочим, без всякой связи с предыдущим спросила: «Ты жених?!». Вероятно, Наташа повторяла разговоры няньки. Софья Александровна, по свойству своего характера, если даже и подозревала о моих намерениях, никогда бы не сказала об этом. Да, сколько я знаю, она неправильно объяснила и моё увлечение музыкой. Как бы то ни было, я был приятно взволнован таким заявлением Наташи.

Мы пошли с Катёнушкой пешком. Говорили ли о чём — не помню. Подходя к Крымскому мосту, я спросил её:

— Вы моя ведь?

— Да, конечно! — ответила Катёнушка.

Я взял её под руку — и с тех пор мы связаны всю жизнь. Может, мне теперь уж так кажется, но был чудный вечер и золотое солнце светило нам навстречу, когда мы под руку переходили Крымский мост. На Крымской площади я кликнул извозчика:

— На Новинский бульвар!

— Пожалуйста — двадцать копеек, — привычно отозвался тот. Катёнушка уверяет, что я, ничего не соображая, ответил ему:

— Сорок!

Я проводил Катёнушку до Новинского бульвара. Я, конечно, был в блаженном настроении, но никому о своём счастье не сказал. На другой день Катёнушка должна была поехать к своему отцу — Василию Борисовичу. Я пришёл на Шаболовку и объявил, что сам провожу её на вокзал. Проводивши Катёну до купе вагона, я перекрестил её и в первый раз поцеловал.

Теперь предстояло сообщить о случившемся родителям. Я предвидел, что мама будет ревновать меня. Я ведь был её единственным сыном, и вот появляется у меня человек, который мне ближе отца и матери. Материнская ревность при таких обстоятельствах понятна и простительна.

На третий или четвёртый день Рождества я с мамой поехал в Дубну (папа оставался в Москве), там я и сказал ей о своём решении. Мы оба были очень взволнованы этим объяснением. И хотя мама, вероятно, ни одну девушку на свете не считала «достойной» своего единственного сына, разговор был более трогательным, нежели тяжёлым. В общем, у меня сохранилось хорошее воспоминание об этом дубненском объяснении. Правда, впоследствии она капризничала и доставляла нам с Катёной беспокойные минуты. Я убеждал её: она не должна думать, что Катёна встанет между мной и ею. Любовь к матери не конкурирует с любовью к жене. В конце концов жизнь убедила её в этом.

Когда мы возвратились в Москву, я и папе сказал о своём решении. Не знаю, говорила ли что-нибудь ему об этом мама, но он отнёсся к сообщению сдержанно. Да ведь он совершенно не знал Катёнушки. Папа сказал, что такой вопрос каждый должен решать самостоятельно, как я это и сделал.

После этих довольно трудных для меня разговоров предстояло ещё более волнующее, по крайней мере для Катёнушки, дело — надо было приехать к родителям вместе с Катёнушкой. Ведь Катёна с моими родителями не была знакома. Мама как-то видела её мельком на улице, а папа даже фотографическую карточку не рассмотрел.

Я отправился за Катёнушкой на Шаболовку. Кажется, тут же нужно было «объясниться» и её брату с Софьей Александровной.

Мама, ожидая нас, сильно волновалась. С ней находилась Мария Карловна, которая и рассказывала мне потом, что маме пришлось давать валерьяновые капли. Когда мы приехали, мама сидела у себя в комнате, мы оба подошли к ней и стали на колени. Мама сейчас же начала говорить Катёнушке «ты» и называть её Катей — так она звала её и все последующие годы. Потом пришёл папа. Он вообще был с Катёной ласков, но ни за что не хотел называть её Катей и говорить ей «ты». До самой нашей свадьбы папа держался такого несколько официального тона. Хотя с первого же свидания он был с Катёной ласковее, чем мама.

После Александр Васильевич и Софья Александровна также приехали к нам, а мои родители отдали им визит.

Кто сразу и безапелляционно одобрял мой выбор и радовался моему счастью — это Н. П. Щепотьева. Она хорошо знала и меня, и Катёну и понимала, что лучшего выбора я сделать не мог.

Мы проектировали венчаться в самом конце апреля, кажется, 30-го числа, но не позже: была такая примета, если венчаться в мае, то всю жизнь придётся маяться.

К свадьбе в те времена надо было приготовиться, тем более что мама непременно хотела, чтобы всё торжество было обставлено по-старинному. Я, собственно, был склонен просто поехать в Дубну и там обвенчаться без всякой помпы, но тут спорить не стал: с помпой так с помпой.

Мясоед и пост прошли незаметно. Зимой я ездил в Дубну, там уже было известно о моей предстоящей женитьбе. Кучер Андрей Чувиков, который впоследствии, уже после революции, доставил мне много неприятностей, встретив меня на вокзале в Лопасне, поздравлял с тем, что я, по его словам, собрался «обабиться».

Этой весной впервые должна была собраться первая Государственная Дума, её открытие было назначено на 25 марта[205]. Впервые проходили выборы. Все записывались в политические партии, но мне всегда было неприятно брать на себя партийные обязательства, и хотя я ходил на предвыборные собрания и заранее определил для себя, за кого буду голосовать, но так и не вступил ни в одну партию. Мне казалось, что, вступая в члены партии, теряешь свою самостоятельность, теряешь своё лицо[206].

Была чудесная тёплая весна. Мы, как обычно, говели на Страстной неделе, и Катёнушка в Великий Четверг приезжала поздравить моих родителей с причастием. К Пасхе она в подарок маме вышила бисером розовый абажур на гостиную лампу.

Я никогда не видал торжества светлой заутрени в Кремле и отправился к его соборам, куда всегда собиралось в эту ночь множество народа. Картина, действительно, была величественная. Громадные толпы народа стояли на площадях Кремля, однако никакой давки, никакого хулиганства и шума не было. О том, чтобы попасть внутрь собора, и думать было нельзя.

Тёплая тихая ночь. Все напряжённо ожидают первого удара большого колокола Ивана Великого. Вдруг взвилась с соборной площади ракета, и вслед за ней раздался могучий удар колокола, а в ответ ему одна за другой затрезвонили все московские церкви; с высоты Кремлёвского холма видно, как из церквей За-

москворечья вытекают крестные ходы — ведь выходят с зажжёнными свечами. Как только в крестных ходах послышалось пение «Христос воскрес», стоявшие на площади начинали христосоваться, целуясь «в три щеки». В церквах христосование происходило между заутреней и обедней. И всю последующую неделю на улицах люди, встречаясь, приветствовали друг друга словами «Христос воскрес» и целовались три раза.

Как ни старается современность развенчать старые обычаи и показать их «нерациональность», но все, кто хотя бы в детстве эти обычаи соблюдал, вспоминают ощущения, которые при этом переживались, — светлые, весенние.

На второй или третий день Пасхи мы отправились в Дубну в следующем составе: папа, мама, Катёнушка, я и ещё мой милый друг Саша Кезельман. Катёнушка ехала туда впервые. Стояла ранняя весна. Снега уже нигде не было, ямки и канавы заполнились водой, и лягушки вылезли из зимних нор — слабые и голубого цвета. Пробивалась трава, а почки на кустарниках набухли и готовы были превратиться в нежную молодую листву. Парк был ещё совсем прозрачный, но было так тепло, что мы сидели на солнышке и утром пили кофе на балконе в одних платьях. Всё начинало жить. Птицы хлопотали над устройством своих гнёзд. И мы с Катёной готовились к новой жизни. Правда, мы вселялись в старое гнездо, но я не жалею, что первые наши супружеские годы мы провели вместе со стариками и только позже, переехав в Саратов, свили себе собственное гнездо. Были, конечно, первоначально и некоторые трудности в этом совместном жительстве с родителями, но зато, свободные от меркантильных забот, мы могли целиком посвящать себя друг другу.

Венчание и первые годы супружеской жизни

Приближался день, назначенный для нашей свадьбы. Венчаться мы собирались в университетской церкви, где прошло много важных для меня событий. Там я первый раз говел и исповедовался и с искренним волнением подходил к причастию. Там много раз я встречал Светлый праздник. Там я провожал и близких моих — брата Митю и тётю Катерину Егоровну. Там я впоследствии провожал и папу. И вот в этой же церкви был освящён и мой счастливый союз с моей любимой Катёной, которую я выбирал и умом, и сердцем.

Катёна что-то прихворнула, и свадьбу пришлось перенести с 30 апреля на 7 мая. И вот — неверно, что тот, кто венчается в мае, в жизни мается. Теперь, что бы впереди нас ни ждало, тридцать девять лет мы прожили, и я могу пожелать моим детям и внукам, чтобы и они свои супружеские жизни прожили так же.

Свадьбу справляли не пышную, но всё было по старинным обычаям. У Катёны шаферами были В. И. Эсмарх, Юра Померанцев и знакомый Власовых С. Н. Дрилевич, а у меня — Миша Полозов, К. С. Кузьминский и Саша Кезельман. Накануне венчания к невесте являлся диакон «с обыском»: записывал в церковную книгу имя невесты и какие там полагаются сведения об её происхождении и «общественном положении».

Венчание было назначено в час дня — с тем, чтобы мы могли в этот же день выехать из Москвы, что также входило в старые обычаи, — после венчания отправляться в свадебную поездку. Обычай неплохой: молодым очень дорого в первые дни остаться наедине.

С приглашениями на венчание у нас вышла какая-то путаница. Собственно, по обычаю, приглашать должны родители, но мама официальных приглашений не послала, папа же вообще не любил таких официальностей. И так получилось — кому сказали, кому не сказали.

На торжество я надел фрак и взял свой цилиндр, который был куплен ещё в Берлине в 1900 году. У Насти (Кусеньки) на окне цвёл комнатный жасмин — он чудесно пахнет. Она принесла мне цветочек и просила, чтобы я приколол его в петлицу фрака. Настя меня очень любила. Ведь она поступила на службу к моим родителям за полгода до моего рождения, она помнила всё моё детство.

И вот два моих шафера, Миша и Кузьминский, отправились за невестой. Они ехали в коляске, а за невестой посылалась карета, на «московских» свадьбах особенная — кругом в стёклах и внутри вся обитая белым шёлком. Мне не хотелось так напоказ выставлять мою невесту, и я велел послать обыкновенную четырёхместную карету. Катёну в подвенечном наряде в карете сопровождала Софья Александровна, её посажённая мать, две подружки и мальчик с образом, который полагалось держать перед невестой на пути к венцу. С образом ехал Андрюша — сын сестры моей Натальи.

Я, конечно, пришёл в церковь значительно раньше приезда Катёны. Хор певчих по старинному обычаю встретил меня исполнением какого-то «концерта». Я встал, как полагалось, на правую сторону. В церкви собирались наши знакомые. Наконец, хору дали знак, и он начал концерт «Гряде голубице!», который всегда поют при появлении в церкви невесты. В дверях появилась Катёна, её вёл под руку брат Александр Васильевич, а за ними — и все приехавшие с ними и их встречавшие в вестибюле. Невеста со спутниками прошла на женскую, левую сторону, и когда певчие закончили петь, из алтаря вышли священник с диаконом в полном облачении*.

Священник взял меня за руку, положивши на мою руку епитрахиль, провёл меня на левую сторону к невесте, соединил наши правые руки, также положивши на них епитрахиль, и провёл нас на середину церкви. Налой[207], перед которым происходило венчание, стоял в передней части храма. Обряд начался с обручения. Сначала кольцо невесты священник даёт жениху и кольцо жениха — невесте. Потом мы три раза обмениваемся кольцами. Я всегда любил церковные обряды. В молитвах, которые поют и читают, много трогательной заботы о будущей жизни. Когда окончился обряд обручения, священник опять взял нас за соединённые правые руки и подвёл к налою. Мы встали на разостланный кусок розового атласа**. Тогда очень интересовались, кто — жених или невеста — вступит первым на подножку, тот и будет «главой» семейства. Не знаю, кто из нас ступил первым, и за тридцать девять лет нашей совместной жизни так и не уразумел, кто же из нас «глава». Во всяком случае, ни я, ни Катёнушка на эту роль никогда не претендовали.

* Венчал нас профессор богословия Н. А. Елеонский — я уже упоминал об этом. — Прим. В. Д. Зёрнова.

** Этот кусок материи назывался «подножкой» и после венчания шёл в доход духовенства. — Прим. В. Д. Зёрнова.

Священник спрашивает жениха и невесту, не обещали ли пойти под венец с кем-нибудь другим и по своему ли желанию вступают в брак. В наших ответах мы могли быть совершенно искренни. В обряде венчания есть три момента особенно символически замечательные — возложение на «главы» вступающих в брак венцов, совместное троекратное шествие вокруг налоя и казавшееся мне особо значительным тоже троекратное «причащение» из одного ковша «теплотой». Церковный служитель подавал священнику в небольшом серебряном ковше вино, смешанное с тёплой водой, после чего священник даёт попеременно пить эту «теплоту» жениху и невесте. Затем венчающиеся троекратно целуются. Священник поздравляет молодых и говорит им свои пожелания. Н. А. Елеонский сказал нам очень простую хорошую речь. Молодые подходят к амвону и слушают молебен о «здравии и благоденствии» вступающих в брак.

После поздравлений мы с Катёнушкой сели в карету и проехали круг по Никитской и Воздвиженке, чтобы дать время родителям и всем другим возвратиться домой: родители должны с хлебом и образом встречать молодых.

Когда мы входили в квартиру, Юра Померанцев играл свадебный марш Вагнера. Родители и брат Катёны стояли в дверях гостиной с благословенными образами и хлебом с солью. Мы стали перед ними на колени, они нас благословили, мы приложились к иконам — и тем завершилось выполнение религиозных и семейных обрядов.

Подали шампанское, опять нас все поздравляли. Было и угощение — холодный завтрак, фрукты, пирожное, мороженое, конфеты. Вообще, всё было по порядку и нарядно.

Так как мы с Катёной в этот же день уезжали на Волгу в Нижний Новгород с поездом, который отходил часов в шесть, то мы переоделись в дорожное платье, поели в родительской спальне и отправились на вокзал. Все близкие поехали нас провожать. Заранее Миша Полозов, как железнодорожник, обеспечил нам купе первого класса. И вот мы уже вдвоём странствуем по белому свету.

Поезд в Нижний Новгород приходит рано утром. На вокзале мы встретили знакомого, который тоже собирался ехать на пароходе и непременно на том же, что и мы, но это вовсе не входило в наши планы, и я, выждав, пока он возьмёт билет (билеты продавали на железнодорожном вокзале), купил билеты на пароход другого общества — «Самолёт»[208].

Занятия со студентами в физической лаборатории ещё не закончились, я освободился только на неделю, и нашу поездку пришлось ограничить путешествием от Нижнего Новгорода до Сызрани и обратно. Возвращались на пароходе общества «По Волге»[209]. Погода стояла точно по заказу: тёплые солнечные дни, чудные вечера и тёплые, влажные, туманные ночи. Помню, уже на обратном пути, пароход ночью из-за сильного тумана бросил якорь посредине реки у острова, покрытого лесом. Выйдя на палубу, я долго слушал соловьёв, которые буквально хором пели, свистали и трещали. На волжских островах вообще масса соловьёв. В Саратове они залетают даже в город с Зелёного острова[210], и у нас, когда мы жили на Константиновской улице[211], в садике весной пел соловей. Мы целые дни сидели на палубе и наслаждались своим одиночеством и близостью. В дорогу я захватил томик Лескова с его лучшим произведением — «Соборяне»[212]. Я читал Катёнушке вслух эту замечательную повесть.

В ней так трогательно описаны отношения протопопа Туберозова и его маленькой протопопицы!

Вернулись мы в Москву 13 мая утром и узнали, что на неделе над Дубной прошёл смерч. Он наломал много деревьев на нашей усадьбе. Говорят, поднял столбом воду из малого верхнего пруда и перекинул её в большой нижний пруд. Встретив препятствие — большие ивы на плотинах, смерч рассыпался. На усадьбе было поломано восемьдесят деревьев. У одной большой ёлки была «откручена» верхняя половина и отброшена на значительное расстояние. Папа просил меня съездить в Дубну и распорядиться уборкой бурелома. По счастью, дом совершенно не пострадал. Он был надёжно защищён парком. Мы на другой же день с Катёной поехали в Дубну и провели там два чудесных дня. Цветущие черёмухи стояли, точно невесты, в белых нарядах. А ночь была лунная, и соловей пел в кустах перед домом.

К нашему приезду в Москве родители приготовили нам комнату, которая была раньше маленькой маминой гостиной — рядом с большой гостиной. Моя комната, в которой я жил один, осталась моим кабинетом. Если сравнивать наши прежние квартиры с теперешним помещением — какие же палаты мы имели! Квартира в Шереметевском переулке, в которой мы провели первый год нашей супружеской жизни, состояла из шести просторных комнат — столовая, гостиная, две спальни и два кабинета, имелась также отдельная комната для прислуги и большая кухня. Конечно, ещё ванная комната и прочее.

Папа купил для нас две прекрасные кровати, на которых мы и до сих пор спим, комод и для Катёнушки прехорошенький письменный туалетный столик с зеркалом.

В следующее воскресение, в Троицын день, утром мы были у обедни в университетской церкви. Катёнушка — в чудесном платье, которое ей к свадьбе подарила Н. П. Щепотьева: на кремовом шёлковом чехле лёгкое полупрозрачное платье с напечатанными неяркими букетиками роз. Утомлённая всеми переживаниями, Катёна не достояла обедни — ей сделалось дурно. Ведь служба в Троицын день длительная и утомительная. Мы в тот же день вместе с родителями переехали в Дубну. Как всё было просто и налажено!

Теперь (пишу 27 апреля 1945 года) мы мучаемся над вопросом, как поехать на дачу, а надо во что бы то ни стало. Хочется поехать в Дубну, хотя и разорённую, но прежде надо решить множество вопросов: как добраться? Как устроить ночёвку в Дубне? Как приобрести хотя бы самое необходимое питание? Правда, сейчас война. Но и независимо от войны — насколько для нас стала трудна жизнь! Конечно, надо утешать себя тем, что мы переживаем все эти лишения и трудности, чтобы всему человечеству впоследствии жилось хорошо. Но я не доживу до этих лучших времён. Будем, однако, верить, что они, эти лучшие времена, когда-нибудь всё-таки придут и хотя бы наши дети увидят их...

Дача, которую папа строил в Дубне для сестры Наташи, ещё не была готова, и на лето Наташа сняла флигель в Пешкове, по той же дороге в Дубну, но на четыре версты ближе к Лопасне. Макаровы часто бывали в Дубне, и мы ходили к ним в Пешково.

Из Дубны мне приходилось ездить в Москву: занятия в университете не закончились, ведь в зиму 1905/06 годов много было пропущено из-за революции. Как сейчас помню, как я в первый раз оставил Катёнушку и как скучал без неё и какую испытал радость, когда, возвращаясь поздно вечером в Дубну, увидел вышедших меня встречать на тёмный балкон из освещённой столовой маму и папу, а за ними, в дверях, мою Катёнушку. Даже помню, в какой она была кофточке — голубой с воротником в виде пелеринки.

С. А. Макаров тогда работал юрисконсультом по постройке Киевской железной дороги, и он устроил мне два бесплатных билета от Москвы до Севастополя и обратно. И в августе, перед началом занятий, мы с Катёной съездили на неделю в Ялту. Катёна первый раз видела море. Из Севастополя ехать дальше решили пароходом. И вот мы предвкушаем спокойное морское путешествие. Но не успел пароход выйти из бухты и завернуть за Херсонесский маяк, как попал в «мёртвую зыбь» — это волнение, которое является результатом где-то далеко прошедшей бури. Ветра не было, но наш пароход то переваливался с боку на бок, то подымался на волну и тяжко опускался. Катёна сразу скисла и, спустившись в каюту, лежала всё время. Я же крепился, очень уж досадно было не использовать два обеда, за которые было уплачено при покупке билетов, да и обеды на пароходах всегда были очень вкусные. Я дождался звонка к обеду, спустился в столовую первого класса. Народу явилось очень мало. Однако обедать мне не пришлось. Я почувствовал, что если останусь в закрытом помещении, то произойдёт скандал. Я пулей выскочил на верхнюю палубу и, так как все лавочки были заняты, лёг на пол посреди палубы: там всего меньше чувствуется качка. Так я и пролежал до тех пор, пока пароход ни пришвартовался к ялтинскому молу.

Остановились мы в гостинице около городского сада, в которой жили с родителями, когда я водил знакомство со Збруевой и Аренским. Я каждое утро ходил за Ливадийский мост купаться (Катёна не купалась — смолоду боялась погружаться в воду), а потом ездили на лошадях в плетёной коляске куда-нибудь в окрестности Ялты. Были в Гурзуфе, в Лесничестве, на Учан-Су.

Обратно мы уже не решились ехать морем и отправились на лошадях по Воронцовскому шоссе через Байдарские ворота с ночёвкой у них. У самых ворот со стороны Южного берега над обрывом стояла паршивенькая гостиница — домишко в три-четыре комнаты, которые и сдавались проезжающим. Недостатки помещения с лихвой искупались изумительным видом на Форос и бесконечное море. Наутро, довольно рано, мы выехали в Севастополь, но тут попали в отвратительную погоду: холодно, ветер, и шёл не то снег, не то крупа. Мы укутались как только могли, подняли верх у коляски, но всё-таки прозябли и Катёна немного простудилась. В Севастополе переночевали только одну ночь и отправились домой.

По возвращении в Москву я начал свои обычные занятия в лаборатории П. Н. Лебедева, в соколовской лаборатории со студентами в практикуме и в гимназии, а Катёна от работы в гимназии отказалась — к марту ожидался наш первенец. Мама была заинтересована не меньше нас предстоящим событием. Вся зима прошла, так сказать, под знаком ожидания первого ребёнка. Это одно из крупнейших событий в жизни молодых супругов. Это радость ощущения бес-

смертия. Ведь в детях продолжается наша жизнь. Какое удовольствие я испытывал от того, что мог нарядить мою Катёнушку! Мы вместе с ней ходили покупать материал на нарядное платье, купили синий вельвет, и Катёне сшили очень красивое платье с треном и высокой талией, как того требовало ожидавшееся событие. Сшила себе Катёна ротонду, их тогда вообще носили, а для Катёны она была в её положении и весьма удобна. Ротонда была на белом меху молодого барашка, с воротником из белой козы. Это, конечно, не чернобурая лисица, но ротонда удовлетворяла требованиям и нам очень нравилась.

Харитоненки и Хлудовы

В начале этой зимы я получил очень хороший урок. Мой товарищ по гимназии Ходанович-Труханович служил юрисконсультом у сахарных заводчиков Харитоненок, в одной из самых крупных сахарных фирм России[213]. Завод Харитоненок находился в Сумах, и одна крыша его занимала десять десятин. Наследник Харитоненок Ванька, мальчик лет двенадцати, проходил гимназический курс дома, а по вёснам его возили экзаменоваться в сумскую гимназию, почётным попечителем которой являлся отец Ваньки Павел Иванович, женатый на дочери Харьковского предводителя дворянства. Их две дочери были уже замужем, и обе за титулованными, но прожившимися аристократами[214]. Сам Павел Иванович от важности говорил в нос, но, мне кажется, был довольно глупым человеком[215] да и плохим коммерсантом. Его громадное дело, которое оценивалось чуть ли не до ста миллионов рублей, взяло на учёт правительство, так как сам Харитоненко не мог вовремя уплачивать кредиторам. Лично Харитоненки располагали всё же громадными средствами и тратили их не считая[216].

Ходанович посоветовал Вере Андреевне Харитоненко пригласить меня в качестве преподавателя математики: Зёрнов-де из хорошей семьи, работает в университете — это импонировало Харитоненко гораздо больше опытности какого-нибудь учителя среднего учебного заведения. А меня Ходанович предупредил, чтобы я запрашивал за уроки побольше, сказавши, что 10—12 рублей за час не будет много, и чем больше я запрошу, тем ко мне будет больше уважения. Однако при переговорах я как-то постеснялся такой суммы и назначил по 7 рублей 50 копеек за час — тоже хорошая цена. Я в месяц получал, таким образом, рублей полтораста, по тем временам — немало*.

С Ванькой я занимался две зимы и потом уговорил В. А. Харитоненко отдать его в гимназию Поливанова[217]. Ванька был неплохим мальчиком, но обучение дома и чрезмерное богатство портили его. Его тютар (воспитатель) англичанин Бенсон часто разговаривал со мной и жаловался на «систем-синч», или, лучше сказать, полное отсутствие системы в воспитании Ваньки — он делает, что хочет: хочет — учит уроки, хочет — не учит. И никакого ограничения в трате денег. Ванька являлся в магазин и выбирал, что ему нравилось, магазин всё присылал на дом, а счёт направлялся в контору, которая и оплачивала его.

---

* Впоследствии я узнал, сколько царь платил преподавателям за уроки. В Саратове был профессор Бируков, который обучал раньше дочерей царя, получая за это по 5 рублей в час. Я сам, когда брал уроки скрипки у профессора Ивана Войцеховича Гржимали, платил ему тоже по 5 рублей, да ещё он за эту пятерку занимался со мной не меньше двух часов. — Прим. В. Д. Зёрнова.

Вероятно, в такого рода операциях, которые производил не один Ванька, заинтересована была и контора.

Харитоненки имели чудесный дом на Софийской набережной, против Большого Кремлёвского дворца. Теперь этот дом принадлежит Наркоминделу и, говорят, служит для помещения высоких представителей иностранных держав, посещающих Москву[218].

Ванька обучался игре на скрипке у И. В. Гржимали (не знаю уж, сколько тот за это брал — верно уж не по 7 рублей 50 копеек), уроки проходили ежедневно, но Ваньку возили на дом к Гржимали. Каждый день после моего урока подавался экипаж и наследник миллионов ехал к Гржимали.

У Ваньки была отдельная довольно большая классная комната. Как-то я прихожу и застаю такую картину: Ванька из духового ружья расстрелял превосходно сделанную игрушку — большую корову из папье-маше, обклеенную замшей. Мне просто жалко стало такой великолепной игрушки. Мы хотя и жили в достатке, но достаток нам давался не даром. Я старался, помимо правил и теорем алгебры и геометрии, внушать Ваньке и демократические принципы. Не мастер я был читать такие поучения, но всё же убеждал мальчишку, что если он сам уже не играет такой игрушкой, то чем коверкать её, лучше отдать другим детям, у которых таких игрушек нет. Я часто, если Ванька не приготовил урока, читал наставления, что всякий человек должен работать, что Ванька не должен рассчитывать на беспечную жизнь благодаря богатству родителей — мало ли что может случиться и ему придётся вести трудовую жизнь. И вот однажды (старики Харитоненки находились за границей, и Иван особенно заленился) прихожу и вижу — у Ивана глаза как фонари нарёваны. Оказалось — получена телеграмма из Сум, что весь громадный завод сгорел. Ванька решил, что мои предсказания сбылись и он теперь нищий и должен тяжёлым трудом добывать себе кусок хлеба. Я его не разуверял, и уроки некоторое время готовились более аккуратно. Фирма же от пожара не пострадала: завод был застрахован в русских и заграничных страховых обществах. Злые языки даже говорили, что оборудование завода устарело и пожар был весьма кстати. Не знаю, вспомнил ли меня Ванька после революций 1917 года; не знаю даже, что сталось со всей семьёй[219].

Я бывал здесь не только на уроке. Как-то на семейном вечере Ванька играл перед небольшой публикой в квартете: И. В. Гржимали, так сказать, демонстрировал успехи своего ученика. Недаром же он занимался с ним каждый день. Ванька участвовал в каком-то маленьком квартете Гайдна, а потом я заменил его. Первую скрипку, разумеется, играл Иван Войцехович, а я вторую. Мне было очень приятно поиграть вместе с таким мастером. Потом я два раза слушал у Харитоненок французский квинтет на старинных инструментах. Один раз французы играли перед маленькой компанией семейных Харитоненок и близких знакомых, к числу которых был причислен и я, другой раз было много приглашённых из именитого купечества и аристократии. Каждое собрание у Харито-

ненок сопровождалось хорошим угощением. На большом вечере шампанское лилось рекой — весь вечер до ужина действовал буфет с чудным крюшоном (шампанское с ананасами). Затем — шикарный ужин[220]. Стояла зима, но в громадных вазах были живые цветы; мужчины во фраках, дамы в вечерних туалетах, красавица графиня Клейнмихель*. За ужином я сидел рядом с одним из исполнителей, кажется, с Казодезюсом, и, сколько мог, разговаривал с ним по-французски. П. И. Харитоненко был очень доволен и сообщил гостям, что французы согласились играть только в двух частных домах — у царя и у него. Когда же речь заходила о его дочерях, то Павел Иванович непременно говорил: «Моя дочь княгиня такая-то...» — перечисляя все её титулы.

В жизни Харитоненок было много всего. Ходанович рассказывал: приехал в Москву знаменитый скрипач Изаи. Ванька как скрипач непременно должен был его послушать, но по молодости лет на вечерние концерты его ещё не брали. Так Изаи пригласили на дом. Не знаю, был ли устроен большой вечер или Изаи играл в семейной обстановке, но контора уплатила ему за этот визит 3000 рублей — сумму неслыханную**.

Мне ещё раньше приходилось бывать и в другом богатом купеческом доме — у Василия Алексеевича Хлудова. В молодости он был знаком с маминой семьёй и, возможно, ухаживал за тётей Анной, имевшей много поклонников. Один из его сыновей, мой ровесник Флоря, студент Технического училища, был тоже скрипач.

Знакомство между мамой и Василием Алексеевичем давно прервалось, но когда я был студентом, он приехал к нам в Шереметевский переулок и просил, чтобы хотя бы я продолжил бывшее знакомство. Я изредка бывал в чудесном особняке Василия Алексеевича в Хлудовском переулке. Самым интересным был сам Василий Алексеевич — он интересовался самыми разнообразными вещами. У него бывали любопытнейшие спиритические сеансы; в зале стоял настоящий орган, на котором играл сам хозяин; у него я встретил скрипичного мастера Лемана, инструменты которого высоко ценились и до сих пор ценятся.

Я пригласил Лемана к нам на квартет, в котором участвовал К. А. Кламрот. Леман явился во фраке. Он принёс скрипку своей работы, ещё не лакированную. На ней я и играл квартет. Леман был большой знаток инструментов, но казался либо жуликоватым, либо не совсем нормальным. Он, например, уверял, что великие мастера, как Страдивари и Амати, являются ему во сне и учат его, как делать скрипки. Он даже написал об этом маленькую книжку[221].

Был у Василия Алексеевича на большом вечере, который он устроил по поводу женитьбы своего племянника Арсения Морозова. Меня больше всего поразило количество бриллиантов, которыми была украшена молодая. На груди у неё был целый иконостас из бриллиантов.

Хлудов, между прочим, первый стал разводить виноград в Сочи, где он взял большой участок и завёл виноделие на каких-то новейших началах. Вина были превосходные.

---

* Мы постоянно любовались ею в университетской церкви, где она бывала на больших службах; во время войны 1914 года Клейнмихель, говорят, оказалась шпионкой и чуть не была расстреляна. — Прим. В. Д. Зёрнова.

** Сейчас, говорят, Вертинскому за выступление платят десятки тысяч, но теперешние десятки тысяч не стоят и десятков рублей того времени. — Прим. В. Д. Зёрнова.

Рождение нашего первенца

Вот я и подошёл к самому большому событию этого года, и не только этого, событию, исключительно важному для молодых супругов — рождению первого ребёнка. Недели за две была нанята «няня». Мой кабинет превратился в будущую детскую. Там было собрано всё имущество ещё не появившегося на свет ребёнка: колясочка, бельё. Няня занялась шитьём.

Шестого марта перед вечером Катёна почувствовала приближение великого события. Сейчас же вызвали акушерку, с которой заранее договорились. Это была необыкновенная повитуха Анна Михайловна Оленина которая занялась акушерством, так сказать, по убеждению. Она была состоятельной женщиной, помещицей и видела в деревне, как низко стоит дело помощи вообще медицинской, и в частности акушерской. Выучилась акушерству и сначала работала в деревне просто как добровольная помощница страдающих женщин. А потом — и как профессионалка. Она принимала детей тёти Сони. Оленина была очень интересный человек, в это время уже старуха. Сын её, П. С. Оленин, был певцом, пел он и в Большом театре, но главным образом в частной опере.

Анна Михайловна к страданиям Катёнушки относилась совершенно спокойно: всё шло более или менее нормально. Но я страшно волновался и всю ночь ходил из угла в угол в соседней комнате. Мама тоже очень волновалась. Прошла ночь, проходило уже утру, а Катёна всё страдала. Чтобы облегчить её страдания и ускорить роды, папа вызвал профессора акушерства Николая Ивановича Побединского, и вскоре появился на свет наш Митюша[222].

Я впервые присутствовал при появлении на свет человека. Моя любимая Катёнушка страдала просто нечеловечески, видеть это было невыносимо. И тем более удивительно то спокойствие и удовлетворённость, которые наступают тотчас, как только ребёнок появился на свет. В Евангелии по этому поводу сказано, что при рождении ребёнка мать мучается, так как «пришёл час её», но после она радуется, так как «новый человек пришёл в мир».

Малыш поместился в своей комнате и сделался центром внимания всей семьи. «Священнодействие» купания совершала мама, считая, что без неё это действие обойтись не может. Оно так и было. Сначала Катёна лежала после родов, потом надолго захворала.

Предстояло малыша крестить. Мы с Катёной ещё раньше, в предположении, что будет мальчик, решили назвать его в честь дедушки Дмитрием. Крёстной матерью я просил быть маму. Крёстным отцом мы просили быть брата Катёны, Александра Васильевича. Мы старались, чтобы в нашей радости приняли равномерное участие наиболее близкие нам люди.

Крестили Митюшу дома в гостиной. Катёна получила много цветов, так что когда принесли из университетской церкви купель, я устроил вокруг неё целый цветник. После крестин ужинали и, поднимая бокалы с шампанским, поздравляли Катёнушку с новорождённым и новокрещённым.

Всё шло как будто хорошо, Катёна начала понемногу вставать. Но тут у неё заболело горло. Её смотрели врачи — и профессор Н. С. Кишкин, и детский Митюшин врач, и мой друг А. М. Кезельман — и все сказали, что беспокоиться нет оснований — простая ангина. Дня через два горло у Катёны совершенно очисти-

лось и температура упала, она встала с постели. И вдруг узнаю от Кезельмана: «посев» дал дифтеритные палочки. Меня как кипятком обварило. Мы достали сыворотку, сделали прививку.

Ночью после прививки у Катёны сделался тяжёлый сердечный припадок — страшно замедленный пульс и удушье или «недодых». Состояние было настолько тяжёлым, что не только я, но и папа испугался и ночью вызвал Кишкина. Катёна надолго была опять прикована к постели*. В Великую Субботу я, выйдя что-то купить, зашёл в церковь и долго усердно молился перед плащаницей. С тех пор мне всегда хочется в Великую Субботу постоять перед плащаницей.

Сердечные припадки случались преимущественно ночью, и мы каждый раз, отходя ко сну, думали: как-то пройдёт эта ночь. Отчего возникли эти припадки, так и осталось невыясненным. Во всяком случае, была поражена иннервация сердца, и следы этого остались у Катёнушки на всю жизнь.

В начале мая Катёна всё же начала вставать, а в конце мая мы переехали в Дубну. Приехавши туда, мы пили чай в нижней столовой, а Митюня лежал на диване в папином кабинете и — славно так! — «агукал», это свидетельствовало о хорошем настроении духа.

Магистерские экзамены

К лету 1906 года относится моя переписка с П. Н. Лебедевым, описанная в моих воспоминаниях «Учитель и друг»[223]. Сначала письмо Петра Николаевича меня очень разволновало, но тут уж помогли выдержка Катёнушки и её всегдашний такт. Мы ходили по парку и обсуждали, как отнестись к его резкому письму[224]. Это она помогла мне тогда «выкипеть» и написать Петру Николаевичу «любезное», в прямом смысле, письмо[225]. Дело разрешилось, и мне кажется, что этот инцидент послужил к укреплению тех хороших отношений, которые существовали до конца между мной и Петром Николаевичем.

Митюня к концу лета окреп и стал опираться на ножки. Нянька Елена тутушкала его и приговаривала: «Тебя в солдаты не возьмут, ты один у мамы и папы», — а Митюня притоптывал ножками и хохотал, не предчувствуя, что слова Елены, по счастью, являлись пророческими.

Этим же летом мы с родителями переехали из Шереметевского переулка на Девичье Поле, в деканскую квартиру, а прежнюю квартиру папа передал своему заместителю профессору П. И. Карузину. Ведь по Уставу 1884 года профессор, прослуживший 30 лет, обязательно уходил за штат, не теряя связи с университетом, продолжая, если он хочет, читать курс или часть курса, пользуясь правом быть деканом и ректором университета[226]. Материальное положение сверхштатного профессора было вполне обеспечено. Одна пенсия равнялась содержанию ординарного профессора — 3000 рублей в год**.

---

* Митюня родился в среду на первой неделе поста. Прививка была сделана, вероятно, в начале третьей недели. Но и на Страстной неделе — Пасха в 1907 году была 22 апреля (ст. ст.) — Катёна ещё лежала. — Прим. В. Д. Зёрнова.

** Это гораздо больше, чем теперь 2300 рублей в месяц, зарплата, которую получает профессор, доктор, заведующий кафедрой, и уж не в пример больше пенсии, которую мы теперь получаем, — 3600 рублей в год. — Прим. В. Д. Зёрнова.

Деканский дом на Девичьем Поле — деревянный флигель, очень просторный (он цел и сейчас), стоял на большом участке, заросшем теперь большими деревьями, а тогда на нём был покос; дом окружал палисадник с кустами сирени. Дом был довольно холодный, но так как дров мы могли жечь сколько угодно, то от холода не страдали. Комнаты и их расположение были чудесные: из передней — настоящей светлой просторной передней — входили в гостиную (примерно 40 квадратных метров), из гостиной две двери — в папин и мой кабинеты (по 30 метров каждый) и дверь в коридор, из которого, повернув направо, попадали в столовую (30 метров), далее — спальня родителей (30 метров), уборная, комната Насти и выход на террасу, в конце коридора — ванная комната; налево из коридора находилась наша спальня (тоже 30 квадратных метров), Митюнина детская (метров 20) и выход в кухню, перед которой — ещё комнатка для кухарки, а за кухней — прачечная. Конечно, при доме имелись и погреб, и сарай. Вообще, это была не квартира, а хороший помещичий дом. Перед нашим переездом квартира внутри была заново отремонтирована.

В 1906/07 и 1907/08 годах в лаборатории П. Н. Лебедева я занимался работой по определению силы звука в абсолютной мере при помощи «диска Рэлея». Это лучшая моя работа, которая вошла, как и первая, в мою магистерскую диссертацию. Работа эта сделалась классической, и «диск Рэлея» является основным прибором в каждой акустической лаборатории. Замечательно, что в физическом словаре в статье «Рэлея диск» её автор, Мясников, не нашёл нужным даже упомянуть моё имя[227]. Впрочем, это весьма характерно для нравов русских учёных. Эта работа была напечатана в «Annalen der Physik» и в журнале «Русского Физико-Химического Общества»[228].

Зимой 1907/08 годов я начал держать магистерские экзамены. Закончил я их уже в осеннем семестре 1908 года. Пётр Николаевич был противником экзаменов. Он считал, что молодой учёный прежде всего должен сделать самостоятельную научную работу. Пётр Николаевич сам в России экзаменов не держал, но в Страсбурге он держал докторские экзамены и защищал докторскую диссертацию на степень «доктора философии»[229]. Эта степень в России не давала никаких прав. Для получения кафедры в русском университете надо было защищать диссертацию в русском университете. Пётр Николаевич и защищал в Москве одну из своих превосходных работ — о взаимодействии резонаторов[230].

Как бы то ни было, но я засел готовиться. По числу экзаменов было немного, но материала, который необходимо знать, оказалось порядочно. Экзамены такие: математика, механика, метеорология и два по физике — экспериментальной и теоретической. По математике и механике программы были стандартные — расширенный общий курс, который читался на физико-математическом факультете. Новых математических дисциплин не вводилось. Вот по механике в университетском курсе мы почему-то не сдавали гидродинамику, а на магистерском экзамене требовался довольно большой курс по этой части механики.

Катёнушка каждый раз волновалась, когда я шёл на экзамен. Она говорила, что так как она сама ничего не знает из того, что надо сдавать, то, верно, и я ничего не

знаю и непременно провалюсь. Я, может, и не ахти сколько знал, но все пять экзаменов сдал, и ни одного повторять не пришлось, что случалось довольно редко.

Говорили, что Соколов, главный экзаменатор по физике, особенно любил вопросы по поляризации электродов — теме его докторской диссертации[231]. Я, разумеется, прочёл его диссертацию, просмотрел большой курс Хвольсона[232], хотя вообще был довольно хорошо осведомлён по части опытной физики, так как до этого много лет участвовал в коллоквиумах лебедевской школы, на которых преимущественно рассматривались вопросы именно экспериментальной физики.

Магистерский экзамен всегда происходил в заседании факультета. Во время заседания из числа членов факультета выделялись экзаменатор и ассистент, которые в том же зале, где велось заседание, или в соседней комнате принимали экзамен, а остальные члены тем временем продолжали заниматься вопросами факультета: затем экзаменаторы докладывали о результате испытания, который и записывался в протокол заседания. О своём желании сдавать экзамен следовало заявить секретарю заранее, чтобы внести в повестку заседания.

Когда я явился на экзамен по экспериментальной физике, П. Н. Лебедева на заседании не оказалось. Соколов капризничал и не хотел экзаменовать без него. Я побежал к Петру Николаевичу на квартиру. Он был дома, но сказал, что у него болит живот, и попросил экзамен принять без него. Соколов, наконец, согласился и предложил мне обдумать два вопроса: 1 — электростатическое поле и 2 — поляризация. Я был очень доволен предложенными вопросами — я знал их хорошо. Но уточнил:

— Поляризация электродов?

По моему весёлому виду Соколов понял, что я знаю его вкусы, и ответил:

— Нет, поляризация света.

Экзамен проходил в самом зале заседания факультета, в сторонке, за отдельным столом, ассистентом был Б. К. Млодзеевский. Я начал говорить о вихревой теории, но Соколов «заскрипел»* и вдруг говорит:

— Нет, нет! Ну, какие там вихри! Я вовсе не о том вас спрашиваю.

Я замолчал и задумался — что же ему нужно, не рассказывать же мне элементы, как это я делаю в седьмом классе гимназии Щепотьевой?! Млодзеевский пожимал плечами, качал головой, показывал своё удивление тому, что-де магистрант не отвечает на такие вопросы. Я вижу, что надо на что-нибудь решаться, и начинаю рассказывать так, как обучал своих учениц. Соколов оживился:

— Ну вот, вот — я это и спрашиваю!

Затем я перешёл к поляризации света. И тут, к моему удовольствию, мне удалось поймать Соколова на незнании одной подробности, о которой я вычитал у Хвольсона. Заинтересовавшись ею, я сам наблюдал так называемое явление Хайдингера. Соколов спросил меня, можно ли без инструмента отличить поляризованный свет от естественного (неполяризованного)? Я уверенно ответил, что можно.

* У него был довольно скрипучий голос и часто вместо буквы «с» он произносил «ш»: вместо «сила» — «шила», вместо «синус» — «шинус». — Прим. В. Д. Зёрнова.

Соколов, по-видимому, не зная о явлении Хайдингера, сказал, что это неверно. Но тут я уж со вкусом описал эффект Хайдингера*. На этом экзамен и закончился.

По теоретической физике Соколов дал мне два отдела: «теорию тепла» и теоретическую оптику по Друде. На этот раз экзамен проходил в соседней с залом заседания комнате. Спрашивал меня Соколов, а Лебедев демонстративно, не слушая моего ответа, расхаживал по комнате и не то что-то мурлыкал про себя, не то насвистывал. Тут никаких пререканий не было.

Экзамены по математике и механике прошли гладко. Математику принимали профессор Лахтин и Егоров, оба были моими преподавателями ещё в гимназии. Механику я отвечал Н. Е. Жуковскому и Чаплыгину. Метеорологию я сдавал Э. Е. Лейсту, секретарю факультета. Отвечал я по земному магнетизму — о вариациях земного магнетизма и что-то по метеорологической оптике.

А в институте я занимался различными акустическими измерениями при помощи моего портативного фонометра[233]. Результаты вошли позже в мою диссертацию. Когда мне нужно было наблюдать два фонометра одновременно, то вторыми наблюдателями были моя Катёнушка и Коля Машковцев. Надо сказать, что исследование звукового поля в литературе до моей диссертации никогда не описывалось. Измерения проводились в громадном зале Физического института (наверху) — «семинарие» (теперь этого зала нет: помещение перегорожено).

Я немного забежал вперёд, а надо вернуться к лету 1908 года. Лето мы, конечно, проводили в Дубне. Митюня начал ходить. В конце июня мы с Катёной отправились в гости к Василию Борисовичу, её отцу. Он служил управляющим мельницей в имении Нечаева-Мальцева в Данковском уезде на реке Донец. Место это называлось Дубки. Василий Борисович был человеком простым, но аккуратным хозяином. Своё хозяйство он уже бросил. В Дубках с ним жили его дочери Анюта и Надя и сыновья Ваня, Коля и меньшой Лёня. Тут же на лето приехала катёнушкина сестра Вера. Так что я почти со всей семьёй познакомился.

В день возвращения в Москву Пётр Николаевич позвонил мне вечером по телефону и без всякого вступления сказал:

— Владимир Дмитриевич, хотите быть профессором? Я чуть не сел на пол.

— Пётр Николаевич, конечно, хочу. Вы ведь знаете, что я всё делаю для того, чтобы стать профессором.

— Ну, так отлично. Я рекомендовал вас на кафедру в Варшавский университет. Заходите завтра ко мне, потолкуем.

У меня точно крылья выросли. Правда, диссертация ещё не защищена, но готова. Для получения профессуры в Варшавском университете не требовалось степени доктора, как это необходимо в Московском университете, и степень магистра давала уже полное право получить кафедру. На другой день я отправился к моему учителю. Оказалось, что у Петра Николаевича был декан физико-математического факультета Варшавского университета и просил его рекомендовать на кафедру одного из своих учеников[234]. Какова же была моя гордость, что Пётр Николаевич рекомендовал именно меня! Мне было всего 30 лет! Получить кафедру в таком возрасте?! Вот когда исполнялось предсказание Бредихина, который рекомендовал мне заняться физикой.

---

* При действии на глаз белого поляризованного света, в поле его зрения видны два рыжеватых клина, обращённые вершинами к центру поля зрения, так что можно даже непосредственно определить направление плоскости поляризации. Объясняется это тем, что прозрачные средины глаза обладают слабой способностью двояко преломлять световой луч. — Прим. В. Д. Зёрнова.

Из разговора с Лебедевым я также узнал, что у варшавцев есть кандидат на кафедру экспериментальной физики — человек значительно старше меня, профессор Сельскохозяйственного института в Новой Александрии (тоже Польша) — фамилия его Мышкин, а мне предлагалась вторая кафедра, связанная с метеорологией. Однако Пётр Николаевич выступил против кандидатуры Мышкина, считая его никуда негодным физиком[235]. Мышкин на основании каких-то недостоверных наблюдений утверждал, например, что космическое пространство обладает дисперсией. Пётр Николаевич приходил в ярость от такого утверждения и называл Мышкина либо невеждой, либо недобросовестным человеком[236]. Он сказал декану (кажется, его фамилия была Белянкин[237]), что его ученик должен или занимать основную кафедру, или, во всяком случае, иметь свою лабораторию и ни в коей мере не быть связанным с Мышкиным. Пётр Николаевич «предписал» и мне вести переписку с деканом в том же смысле. Конечно, мой пыл этим обстоятельством был несколько ослаблен, но всё же я начал переписку с деканом. Мы с папой, однако, решили, что особенно торопиться не стоит — прежде всего надо защитить диссертацию.

В те времена диссертацию полагалось отпечатать типографским способом, и даже оттиски выставить на витринах книжных магазинов. Декан из Варшавы, в сущности, не требовал даже защищённой диссертации и соглашался на условия особой лаборатории, да, по-видимому, и кандидатура Мышкина не была особенно сильна. Он в Варшаву так и не попал[238]. Может, мнение Петра Николаевича сыграло свою роль.

Первый Менделеевский съезд. Защита диссертации

Разрешение печатать диссертацию давал факультет. Такое разрешение (собственно, не разрешение, а постановление о напечатании) под влиянием рекомендации П. Н. Лебедева получить было легко. Папа познакомил меня с хозяином типографии Лисснера и Собко[239], где он всегда печатал своё знаменитое руководство по анатомии. Помню, как выбирал я шрифт. Фотография «Ренар»[240] делала фотокопию с фотографии, изображавшей мой портативный фонометр. Там же делали цинковые клише чертежей. Печатали тогда быстро.

Но прежде расскажу о первом Менделеевском съезде[241], на который Пётр Николаевич посылал с докладами трёх своих учеников: П. Н. Лазарева, Т. П. Кравца и меня. Сам Пётр Николаевич на съезд не поехал, но к нашим выступлениям относился очень внимательно. Свои доклады мы репетировали перед Лебедевым. Он следил по часам, сколько длится каждый доклад. Репетиций было две. Эксперименты и демонстрации проделывались в точности так, как мы должны были делать на съезде. Лебедев требовал все приспособления взять с собой, чтобы ни в чём не нуждаться и ничего не спрашивать у хозяев.

Для школы Лебедева отвели особое заседание съезда. Большая физическая аудитория была заполнена до отказа. В нашем лице аудитория приветствовала всю школу Лебедева и его самого. Когда я, рассказавши всё по порядку, в заключение демонстрировал в действии свой фонометр и, вставши на расстоянии метра от него, громким голосом пропел гласную «а», зайчик по шкале отклонился апериодично и держался, пока я пел, в отклонённом положении, измеряя таким образом силу зву-

ка моего голоса. Аудитория, без преувеличения, покрыла моё своеобразное певческое выступление бурными аплодисментами.

На съезде я был недолго. Слушал доклад Сванте Аррениуса и патриарха русской химии Н. Н. Бекетова, который делал доклад по вопросам использования законов мировой энергии. Я спешил домой, так как Катёна себя плохо чувствовала.

С осени 1908 года я уже не занимался со студентами в практикуме, в гимназии уроки физики тоже передал — ученику Лебедева Лисицыну, оставив себе только преподавание космографии, да ездил на уроки к Харитоненкам.

В начале 1909 года Митюня захворал воспалением лёгких. Лечил его профессор Филиппов, очень хороший врач, но вид у него был чрезвычайно мрачный. Его посещения как-то не вселяли надежды на благополучный исход болезни, и я так боялся за Митюшу, что иногда готов был плакать. Но, слава Богу, Митюня начал понемногу поправляться.

Для такого торжественного случая, как защита диссертации, я сшил себе новый фрак. Старый фрак, который был сшит после окончания университета и в котором я венчался, был ещё хорош, но мне он стал узок. Новый фрак шил мне «университетский» портной Иван Михайлович Михайлов: он обшивал очень многих университетских профессоров*.

Диссертация была написана в стиле, какой требовал Лебедев: ничего лишнего, изложение по возможности краткое, только то, что важно специалисту[242]. Поэтому число страниц получилось небольшое. Но и тогда, как в особенности теперь, некоторые оппоненты требовали, чтобы диссертация имела много страниц, чтобы были описаны все эксперименты, чтобы была подробно изложена история вопроса и так далее. К таким оппонентам относился и профессор А. П. Соколов. Отзыв официальных оппонентов в моё время не был известен диссертанту до защиты, и следовало быть готовым к любым возражениям и умело их парировать. Официальными оппонентами у меня были профессора Н. А. Умов и А. П. Соколов.

Накануне защиты звонит мне Лебедев:

— Имейте в виду, что на защите Соколов будет возражать против краткости изложения, поэтому в речи расскажите, как шла работа, какие встречались затруднения и прочее.

Наконец — защита. Это было 11 или 12 марта. Я облёкся в новый фрак и заблаговременно отправился в Физический институт. Папа, мама и Катёнушка подъехали позже, к самой защите, назначенной на час дня. Мы с товарищами по лаборатории заварили чай. Я немного волновался. Верно, с усов я капнул капельку чая на лацкан фрака. Тут вошёл Пётр Николаевич и, увидавши эту капельку, говорит:

— Что это вы заранее слезы проливаете?

* Фрак дожил до войны 1941 года, хотя я уже давно не носил его. Брюки я продал ещё раньше за сто с лишним рублей. За фрак тогда давали всего тридцать рублей и я, по связанным с ним воспоминаниям, жалел продать его за такую бросовую цену. Но потом, когда деньги ещё более обесценились, я всё же продал его также за сто рублей. — Прим. В. Д. Зёрнова.

Мне почему-то было неприятно, что он так пошутил, хотя, конечно, шутка была совершенно невинная. Но бывает, что ничего не значащая фраза запоминается на всю жизнь, оставляя приятный или неприятный след.

Когда я вышел в большую физическую аудиторию, все члены факультета сидели в ряд на стульях, поставленных перед рядами скамей аудитории. В те времена профессора на лекциях и на заседаниях были одеты в форменные фраки (вицмундиры). Аудитория была полна народа. Пришло много студентов, все ученики Лебедева, увидал я и моих домашних.

Я уже много раз докладывал свои работы, вошедшие в диссертацию, и говорить мне было легко. Речь свою я произносил без записки[243]. Начались выступления официальных оппонентов. Н. А. Умов говорил довольно расплывчато, но работу похвалил, и мне нечего было ему отвечать. Очень придирчиво говорил Соколов, но его главное возражение было уже отведено моим предшествующим выступлением и замечанием Петра Николаевича, которое он сделал после выступления Соколова. Из возражений Соколова одно было правильное, но незначительное. С ним я, конечно, согласился и признал, что здесь имеет место недосмотр. Во всяком случае, все три профессора: Умов, Соколов и Лебедев — признавали меня «достойным искомой степени».

Декан предложил и другим высказаться или сделать замечания. Из членов факультета никто слова не взял. Только работавший в лаборатории Лебедева Е. А. Гопиус сделал уточняющее замечание, на которое я дал возражение. Этим защита была закончена. После описанных разговоров декан факультета обошёл всех членов факультета, и каждый должен был открыто сказать, считает ли он диссертанта достойным искомой степени или нет. Все ответили положительно.

Аудитория долго аплодировала, а я стоял у двери, через которую выходили члены факультета, и каждый поздравлял меня и целовался со мной — таков был старинный обычай: члены факультета, доктора как бы принимали в свою среду нового члена, молодого учёного. Мама и Катёнушка были красны от волнения. Мама подошла к П. Н. Лебедеву и благодарила его, а он говорил, что сам должен благодарить её за то, что она воспитала такого сына.

Родители и Катёна отправились домой, а я пригласил своих друзей и товарищей по лаборатории в ресторан «Прагу» обедать — это тоже старинный обычай, и «Прага» на Арбатской площади являлся, так сказать, академическим рестораном.

В старые времена, если факультет допускал к защите, то случаев провала почти не бывало. Не то что теперь: допустят к защите, официальные оппоненты дадут положительную оценку, а Совет при тайной подаче голосов возьмёт да и провалит диссертанта. Прежде защита диссертации была большим торжеством, а теперь, по-видимому, иногда сводят друг с другом какие-то счёты. Да и самих «защит» сейчас развелось гораздо больше. В моё время защита на степень магистра или доктора проходила непременно в университетах, а сегодня все высшие технические школы имеют право давать степень.

В «Прагу» собралось человек сорок. Обед был хороший. Подали вино и, конечно, русское шампанское «Абрау». Всё удовольствие вместе с чаевыми стоило 110 рублей.

На защите, а затем и в «Праге» не было моего милого друга Александра Васильевича Цингера, но в ресторане мне подали телеграмму от него: он поздравлял меня с успешной защитой. По ошибке телеграфистки вместо слова «магистр» стояло «министр», и текст телеграммы выглядел довольно забавно: «Поздравляю нового министра». Естественно, слово «магистр» телеграфистке было непонятно, и она его «исправила».

Когда я в седьмом часу вернулся домой на Девичье Поле, я застал моих близких и домашних за обеденным столом. Тут были и мои друзья — партнёры по квартету: Павел Андреевич Жувена, Василий Васильевич Толоконников и Болих. После обеда мы играли квартет. Ради торжественности я не снимал фрака*.

На другой день после защиты в «Московсковских Ведомостях» было напечатано сообщение о моей диссертации[244].

Вместе с Катёной я зашёл в канцелярию университета, и один из швейцаров меня поздравил. Катёнушка, ожидавшая меня в прихожей, стала свидетелем такой сцены: к швейцару, который поздравил меня, подошёл другой и спросил, с чем это он меня поздравлял.

А как же, — искренне удивился тот, — разве не знаешь, Владимира Дмитриевича причислили. — Такое восклицание в устах швейцара было характерно: служитель понимал, что произошло важное событие.

Ходатайство о предоставлении кафедры в Саратовском университете

За неделю до моей защиты диссертацию на степень магистра химии защищал Владимир Васильевич Челинцев. Он также был рекомендован на кафедру в Варшавский университет. Встретив Владимира Васильевича, я спросил, как его дела с Варшавой. Он ответил, что решил отказаться от неё и подаст докладную записку с просьбой о назначении его на кафедру в открываемый Саратовский университет. Правда, закон об открытии Саратовского университета царём пока не подписан, но это дело решённое — с осени университет в Саратове будет открыт[245]. Челинцев был уроженцем города Вольска Саратовской губернии, и ему хотелось быть поближе к своей родине. Владимир Васильевич уговаривал и меня последовать его примеру.

Однако меня смущало одно обстоятельство: магистры в Варшавский, Томский и Юрьевский университеты назначались министром безоговорочно, согласно уставу, а для получения кафедры в университетах Европейской России по уставу требовалась степень доктора. Тем не менее «по Высочайшему повелению» магистры назначались и в эти университеты, но с маленькой поправкой — в качестве исполняющих должность профессора. Это «и. д.» никакого значения практически не имело: права и преимущества были точно такими же, что и у профессоров без такой приставки.

Я вкратце передал папе наш разговор с Челинцевым. И папа склонялся к мысли променять Варшаву на Саратов. Намерение это крепло, несмотря на то, что в Саратове кафедра физики была одна, её заведующий являлся единственным профес-

---

* Я очень любил этот довольно странный костюм — «хвост сзади, спереди какой-то чудный выем», — как говорил Чацкий у Грибоедова: надевши фрак, я чувствовал себя в праздничном настроении. — Прим. В. Д. Зёрнова.

сором по физике во всём университете[246], и ему предстояло всё начинать сначала. Это-то как раз и было особенно интересно. К тому же работа в Варшаве затруднялась бы довольно обострёнными отношениями между русскими и поляками, а Саратов — вполне русский город.

Я сейчас же написал докладную записку на имя министра народного просвещения и в тот же вечер выехал в Петербург. Министром был Александр Николаевич Шварц, бывший директор пятой гимназии, в которой я учился.

В Петербурге я остановился в «Северной» гостинице и сейчас же отправился к моим друзьям Рахмановым, отец которых был уже директором департамента Министерства народного просвещения (или членом Совета министерства)[247].

У Шварца была старшая дочь Настасья Александровна, очень милая девушка, которая и состояла его личным секретарём. Я знал её по Москве, поэтому и решил сначала позвонить ей домой по телефону от Рахмановых — спросить, когда может принять меня Александр Николаевич. Она жила вместе с отцом. Я рассчитывал, что к телефону подойдёт она, но услышал голос самого министра. Я всё же поинтересовался, не может ли подойти к телефону Настасья Александровна.

— Её нет дома, — отозвалось в трубке. — А кто говорит?

Вижу — податься мне некуда: пришлось вести разговор с самим министром.

— Извините, Александр Николаевич, с вами говорит ваш бывший ученик Зёрнов. Я только хотел спросить у Настасьи Александровны, когда вы могли бы меня принять?

— По какому делу?

— Я хотел поговорить с вами о Саратовском университете.

Чувствуя, что я недоговариваю, он принялся меня расспрашивать подробнейшим образом.

— Разве вы не желаете взять кафедру в Варшаве? Ведь вы рекомендованы на кафедру Варшавского университета.

— Я предпочёл бы кафедру в Саратове.

— Почему же вы не хотите ехать в Варшаву?

— Я доложу об этом, если вы разрешите, при личном свидании.

— Ну что же, вот завтра... Правда, приёма у меня в министерстве завтра нет, но вас я приму. Приходите в министерство часов этак к двенадцати.

На другой день, надев фрак, я отправился к министру. Действительно, приёма в этот день не было, о чём было легко догадаться по тишине, которая стояла в здании министерства. Перед конференц-залой, из которой вели двери в кабинет министра, сидел дежурный чиновник Дорожкин*. Я рекомендовался ему. В ответ услышал:

— Что вам угодно?

— Мне надо видеть министра.

— Министр сегодня не принимает, — с безучастным видом ответил секретарь.

— Господин министр назначил мне по телефону приём на двенадцать.

Сказав это, я прошёл в конференц-зал и сел так, чтобы хорошо было видно Дорожкина. Он, в свою очередь, не обращая на меня сначала никакого внимания, взял какую-то книгу и принялся её листать. Затем встал и куда-то ушёл, но через несколько минут вернулся и вновь спросил меня:

* Раньше он был массажистом министра Ванновского, теперь — важный секретарь с Владимиром в петлице. — Прим. В. Д. Зёрнова.

— Вы по поводу командировки?

— Нет, — не желая раскрывать причину своего визита, ответил я. Но дотошный чиновник не унимался:

— А по какому делу?

— По личному.

Убедившись в безрезультатности своих попыток что-либо узнать от меня, Дорожкин важно сел на прежнее место и перестал мною интересоваться. Так прошло довольно много времени. Петербургские сановники не любили рано начинать рабочий день. Но вот через зал быстро прошёл старый служитель с тремя медалями на шее и с озабоченным лицом застыл у дверей кабинета. В дверях показался А. Н. Шварц. Не задерживаясь, он прошёл в кабинет, не заметив меня, так как я сидел в стороне. Дорожкин, подхватив свой портфель, нырнул в дверь, за которой только что скрылась фигура министра. Очевидно, он доложил Шварцу, что в конференц-зале его дожидается какой-то «подозрительный» человек «по какому-то личному делу». Когда секретарь через некоторое время вышел, Александр Николаевич сам широким жестом открыл дверь и с очень приветливым лицом воскликнул:

— Владимир Дмитриевич! Прошу вас!

Это произвело на Дорожкина потрясающее впечатление. Во всяком случае, когда я вышел из кабинета министра, он встал со своего места и со сладчайшей улыбкой осведомился:

— Повидались?

— Повидался, — удовлетворил я его назойливое любопытство.

С А. Н. Шварцем я говорил довольно долго, рассказал ему о сомнениях, которые вызывались будущей работой в Варшаве. Он очень внимательно и благодушно отнёсся к моему заявлению. И, поинтересовавшись напоследок, защитил ли я уже диссертацию, сказал:

— Ну что же, если вы уж так хотите, оставьте вашу докладную записку. Я с своей стороны против вашего назначения на кафедру в Саратовский университет абсолютно ничего не имею, но вы, должно быть, знаете, что закон об открытии университета в Саратове царём не подписан. Отправляйтесь-ка пока за границу в командировку, а если закон об открытии Саратовского университета будет утверждён, то я представлю вашу кандидатуру на «благовоззрение Его Величества».

Шварц любезно со мной распрощался, и я в самом лучшем настроении покинул министерство.

«Вдовий дом» при Смольном монастыре

После свидания с А. Н. Шварцем, как был во всём параде, я отправился навестить милую старушку Софью Петровну Рубцову. Это она помогла сестре Наташе, обвенчавшейся потихоньку, помириться с родителями. Софья Петровна была принята на постоянное проживание в превосходный вдовий дом в Смольном монастыре, в котором жили исключительно бывшие институтки Смольного и Патриотического институтов. В этих сугубо дворянских учреждениях воспитывались девушки из аристократических семей.

«Вдовий дом» при Смольном являлся превосходно организованным учреждением. Каждая «призреваемая» имела свою большую, если не сказать громадную, комнату. Тут же находилась домовая церковь. Рядом с церковью — обширная зала, где старухи прогуливались, так как многим из них трудно было выходить в сад, особенно в плохую погоду. А в торжественные дни к церковной службе в этой зале собиралось аристократическое общество.

Во «Вдовий дом» кандидатки записывались чуть ли не смолоду, и я помню, как Софья Петровна всегда интересовалась, которая она по порядку. Порядковый номер мало-помалу уменьшался за смертью живших во «Вдовьем доме» старух. Многие, конечно, так и не дожидались своей очереди. Софья Петровна дождалась.

Конечно, она была мне очень рада — давно меня не видала. Она интересовалась и Катёной, и Митюней, и я должен был ей всё подробно рассказывать. Это был последний раз, что я её видел. А Катёна так с ней и не познакомилась. Ведь Катёнушка никогда — ни раньше, ни позже — не бывала в Петербурге.

В тот же вечер я выехал в Москву. Надо было собираться за границу.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
(1909—1910)

Заграничная командировка

Дело с Саратовом ещё не совсем определилось, и в заграничную поездку мы собирались надолго, но поскольку ожидался положительный результат, было решено, что на первое время экспериментальных работ я нигде брать не стану, а, живя в Гейдельберге, буду заниматься в библиотеке, знакомясь с современной литературой, побываю в разных городах и институтах, послушаю лекции разных профессоров.

Пётр Николаевич Лебедев очень любил Гейдельберг и рекомендовал обосноваться именно в нём, но жить посоветовал не в самом городе, а в большой гостинице на горе Königsstuhl над Гейдельбергом. Называлась гостиница «Kohlhof». Он дал мне несколько рекомендательных писем к своим знакомым немецким профессорам. Пётр Николаевич указал мне, какие институты полезно посетить, лекции каких профессоров послушать, и непременно рекомендовал побывать в Англии — в Лондоне, Кембридже и Манчестере. Я высказал некоторые свои сомнения по поводу поездки в Англию:

— Пётр Николаевич, мне очень трудно будет с английским языком! Я хотя и брал по нему уроки, но говорить совсем не могу.

— Вот пустяки, приедете в Гейдельберг, на Hauptstrasse есть школа Бёрлица, возьмёте там индивидуальный курс и научитесь говорить, — попробовал успокоить меня Лебедев. Индивидуальный курс — значит, заниматься предстоит с преподавателем не в общей группе, а в одиночку.

Собирались мы по-российски — вещей набрали много. Казалось: и это надо, и другое. Мама хотела, чтобы мы взяли даже детскую кроватку, и искренне удивлялась нашим протестам: «Ну как же, на чём Митюня будет спать?»

Мой заграничный командировочный паспорт, в который вписали и Катёну, и Митюшу, был готов — он выдавался в канцелярии генерал-губернатора, а заграничный паспорт для няни следовало получить в полицейском участке. Я как-то заблаговременно не позаботился об этом и пошёл в участок в один из последних дней. Вижу: сидит прямо гоголевский письмоводитель — очки на конце красного носа, на меня не смотрит. Я подаю ему заявление и говорю, что мне надо поскорее получить паспорт.

— Через недельку зайдите, — по-прежнему не подымая головы, откликнулся чиновник.

Понятно, я не с того начал. Говорю ему:

— Я через два дня должен выезжать, — и кладу на стол 3 рубля. Письмоводитель прикрыл трёшницу листом бумаги, тут только оглянулся на меня и с любезной улыбкой произнёс:

— Вечерком зайдите.

К вечеру того же дня паспорт для няни Катерины был у меня в кармане.

11 апреля мы выехали из Москвы. Погода была прескверная — дождь со снегом. На Белорусский вокзал провожали нас папа и мама. С билетами никаких за-

труднений не было. Мы взяли 3 билета и 4 плацкарта в международном вагоне и занимали отдельное четырёхместное купе.

В Бресте поезд стоял довольно долго. Над станцией плавал привязанный аэростат в виде сигары, вероятно, военный наблюдатель, ведь Брест являлся большой крепостью. Я вынес Митюню погулять.

Поздно вечером мы прибыли в Варшаву, где требовалось перебраться на другой вокзал. Переезжали мы не через город, а по соединительной ветке. Опять в спальном вагоне, но теперь заграничного типа, мы поместились в двух смежных двухместных купе. Всё уже было нерусским — и вагон, и толстый кондуктор-немец с красной сумкой. Рано утром мы пересекли границу. Пейзаж резко изменился — дороги как скатерть, домики, крытые черепицей, окружённые зеленью и цветами. Катёна что-то загрустила. Я говорю:

— Что это ты закисла? Смотри, как хорошо!

— Вот то-то и досадно, что у них так всё хорошо, — тяжело вздохнула она.

Часам к двенадцати мы приехали в Берлин и отправились в ту самую гостиницу, где я останавливался в 1900 году с А. В. Цингером. На этот раз она мне вовсе не понравилась. Какие-то подозрительные стёганые одеяла на больших деревянных кроватях, испорченная уборная. Спросил я самовар (объявлялось, что подают русские самовары), но не то самоваров не имелось, не то стоило это 2 марки — цена неслыханная, но нам его не принесли. Я достал сухой спирт, вскипятил на нём чайник, напоил Митюню и сам напился чаю. Хозяин, узнав, что мы в номере вскипятили воду, устроил мне настоящий скандал, что-де в номере нельзя зажигать спиртовку. Я с ним разругался, позвал носильщика с тележкой и, заплатив противному «кафе-шенку» за одни сутки, отправился с семьёй в отличную гостиницу «Russischer Hof» около Fridrich-Strasse-Bahnhof — там, кажется, чуть ли не пять гостиниц на одной площади. Всё в этой гостинице было хорошо. Дали даже маленькую детскую кроватку.

Вечером мы с Катёной ужинали в ресторане, а для няни Катерины распорядились подать ужин в номер — нам сказали, что для прислуги у них есть особый стол. Когда же мы вернулись, то первое, что бросилось в глаза, — надутый вид нашей няни: ей на ужин дали кружку пива и несколько кусочков холодной колбасы. Это ей показалось в высшей степени оскорбительным.

В Берлине мы провели только один следующий день. Чтобы немного посмотреть город, мы взяли извозчика — автомобилей было ещё мало — и вчетвером (коляски с приспособлением «такси» были очень большие) катались по улицам. Митюне такое путешествие вскоре наскучило, и он стал ныть и повторять: «Домой, домой...». Это было у него новое слово. Вообще, он ещё очень мало говорил и преимущественно называл всё своими словами: например, дедушку — «А-и», «натирать полы» (что он очень любил делать, и бабушка здесь подарила ему маленькую щётку) — «фи-фу». Вечером я писал маме и извещал, что у Митюни появилось новое слово.

На следующее утро часов в восемь мы скорым поездом выехали в Гейдельберг. Во Франкфурте-на-Майне пересели в местный пассажирский поезд, благополучно в нём устроились: народу — немного, никаких молочниц или мешочников, как в саратовском поезде, не было.

Прибыли до захода солнца. Гейдельберг — чудесный небольшой город на берегу реки Неккара, недалеко от её впадения в Рейн. Старая часть города с одним

из самых старинных университетов расположена на левом берегу Неккара у подножия довольно высокой группы гор Königsstuhl, покрытых прекрасным буковым лесом, а новая — ниже по течению Неккара в более просторной долине. По краю старого города — бульвар из больших каштановых деревьев. В гостинице на этом бульваре мы и остановились, чтобы переночевать. Было тепло, я приоткрыл окно. Проснулся на заре от многоголосого пения чёрных дроздов, которые расхаживали по саду и свистели, точно соловьи.

Утром мы отправились на Königsstuhl в гостиницу «Kohlhof». Туда можно подыматься на специальной передвижной подъёмной дороге, но от верхней станции до гостиницы довольно длинный путь через лес, что неудобно с вещами. Я нанял четырёхместное ландо — раскидную карету, — и мы погрузили наши многочисленные вещи. Подъём довольно длинный, лошади шли шагом, а я — рядом с экипажем пешком.

Гостиница — довольно-таки большое здание на противоположном от Гейдельберга склоне горы — была почти пустая, так как стояла ранняя весна. Кроме нас, проживала только одна семья — слепой старик с женой и дочерью. Хозяин гостиницы, типичный толстый немец, кормил нас на убой. Место располагалось высоко, да к тому же резко испортилась погода, и в комнатах сделалось до того холодно, что по утрам не хотелось вылезать из постели; но затапливали маленькую кафельную печку — и быстро становилось тепло.

Я каждый день отправлялся в город — заниматься в прекрасном читальном зале университетской библиотеки и в школе Берлица английским языком. Катёнушке же было одиноко и скучно. Только одна туча пройдёт, как наплывает из-за горы другая, сыплет не то дождь, не то снег, а внизу гораздо теплее и уютнее. И мы решили перебраться отсюда. Я присмотрел небольшую гостиницу с пансионом на полугоре над Гейдельбергом, над знаменитым замком. Гостиница эта называлась Schloss-Park-Hotel. Она стояла на шоссе недалеко от станции фуникулёра[248]. Столовая выходила в цветущий сад и помещалась на большой застеклённой веранде.

Катёнушке очень понравилось здесь, и мы сразу почувствовали большое облегчение. Мне стало гораздо ближе ездить в город — всего один перегон по фуникулёру. Компания, которая жила в пансионе, встретила нас достаточно приветливо. Хозяева гостиницы, Schwarz, также оказались очень приветливыми людьми. Конечно, они с нас получали неплохие деньги. Мы занимали две комнаты: в маленькой помещался Митюня с няней, а в другой, очень хорошей, с балконом, с которого открывался великолепный вид на город, Неккар и на далёкую долину Рейна, мы с Катёной.

В первый день нашего пребывания, очевидно, в честь нас, в обеденном меню на сладкое значилось «Russische Scharlotte». Я ожидал шарлотки, которые готовили, бывало, у нас — пудинг из хлеба с яблоками, но подали сливочный пломбир с разными цукатами, очень вкусное кушанье, но к шарлотке никакого отношения не имеющее.

Через несколько времени в пансионе появилось семейство профессора Вильсона из Америки, и в день их приезда в меню значилось «Amerikanische Scharlotte», а подали такой же пломбир. Мы посмеялись, но оценили внимание Herr Schwarz'а, которое ему не стоило лишних расходов. У Вильсонов была девочка лет пяти-семи, с которой Митюня играл в саду под наблюдением нашей няни. Митю-

ня не понимал, что говорит девочка, да и по-русски-то плохо разговаривал, но, подражая английскому языку, начал болтать без всякого смысла — окружающие думали, что он по-русски так бойко болтает.

За нашим столом обедал молодой юрист д-р Майер, как выяснилось — очень порядочный пианист. Я достал в нотной библиотеке сонаты Бетховена, и мы с ним играли. Особенно он любил 10-ю сонату. Да я с собой захватил разные небольшие сольные вещи. Немкам-соседкам особенно нравился романс Свендсена.

Обедала за нашим столом и славная старуха фрау Файц. Как-то, пользуясь правом своего возраста, она рассказала анекдот, который мне очень запомнился:

«В каком-то пансиончике, подобно нашему, было получено письмо от англичанина, который собирался посетить этот пансион во время своего отдыха, но предварительно запрашивал в письме о разных подробностях. И, между прочим, просил сообщить: «Wie steht es mit lem W. C.?»[249].

Хозяин долго недоумевал, что означают эти две буквы «W. C.»? Пошёл к учителю, но и тот не смог расшифровать этот иероглиф. Пошёл к пастору, тот думал, думал и высказал следующее предположение: «Ja, das ist die Wald-Capelle»[250].

Хозяин пансиона в ответном письме англичанину написал, что «W. C.» находится всего в полукилометре от пансиона, в нём 30 сидячих мест и столько же могут стоять, и что по воскресениям там играет орган. Англичанин, конечно, не приехал».

Кормили нас превосходно. Утром подавали кофе со сливками, свежими булочками, сливочным маслом и мёдом. Обедали часа в два. Я к этому времени возвращался из города, так как отправлялся туда рано — часов в восемь. После обеда занимался дома — готовил урок по английскому языку. Часов в 7—8 — ужин. Когда пансионеры, кончивши обед, расходились из столовой, хозяин стоял у дверей и каждому желал хорошего сна. И хотя я спать после обеда не ложился, но такое внимание хозяина было всегда приятно.

Весь пансион обслуживали (конечно, не считая кухарки, садовника и мальчика для посылок) три девушки. Все три были очень приветливые, а одна к тому же и прехорошенькая. Работали они с утра до вечера. Утром убирали комнаты, перетрясали постели, натирали полы. Днём служили за столом, мыли посуду и чистили ножи, вилки и ложки. И я никогда не видел у них надутого лица, что так часто бывает у наших «домработниц». А когда они отправлялись гулять со своими поклонниками, надевали шляпку и праздничное платье, то никто не отличил бы их от девушек из общества. Наша няня очень дружила с ними.

Так как все обитатели пансиона так или иначе были связаны с наукой, то называли друг друга «Herr Doctor», что немало удивляло нашу няню, которая думала, что они все врачи.

Английским я занимался с преподавательницей ежедневно по два часа подряд. Метод Бёрлица состоял в том, что с учеником говорят исключительно на языке, который он изучает, хотя бы он и ничего не понимал. Метод предметный: показывают вещи и называют их по-английски. Сначала предметы, потом действия. Смысл — в том, что операция перевода с родного языка полностью исключается, предмет и действие прямо ассоциируются со словом языка, который изучается. Сначала я просто обалдевал и после двух часов подобной гимнастики забывал и

русские слова, но вскоре стал делать успехи и худо-бедно, но начал разговаривать со своей англичанкой. Дома я ещё заучивал слова, делал переводы и даже писал письма. Всего я взял курс в 60 часов, после чего мог говорить так, что англичане меня вполне понимали. Произношение, которое многих затрудняет, давалось мне легко. Я вообще легко усваивал фонетику языков. В Германии, когда я разговаривал по-немецки, меня часто не принимали за иностранца.

Утром в библиотеку я всегда ходил мимо церкви Петра и Павла. Стены её сплошь заросли зелёным плющом, а из открытых окон доносились звуки органа. Я шёл по каштановой аллее, мимо деревьев, покрытых цветами, как белыми свечами. На аллее стояла маленькая будочка с барографом и синоптической картой, и ни один прохожий не проходил мимо, не остановившись и не посмотрев на ход барографа и карту. Мне это очень нравилось. В этом проявлялась большая культура людей. Впоследствии, когда я в Саратове получил для физического кабинета барограф, то хотел установить такую же будочку на улице, но мне не посоветовали. «Что вы, у вас не то что барограф — всю будку-то унесут!» — отговаривали меня. Так я и не решился прививать высококультурные навыки нашим согражданам.

Как-то хозяин ездил на выборы нового проповедника — он являлся членом церковного совета Geist-Kirche, самой большой церкви в Гейдельберге, и пригласил меня послушать нового пастора. Я был в этой церкви, но особого впечатления от неё не получил. Население города частию лютеране и частию старокатолики. Церкви поделены между этими толками, Geist-Kirche же разделили каменной стеной пополам: в одной половине служба идёт лютеранская, в другой — католическая.

Накануне Троицына дня буквально весь Гейдельберг двинулся в леса на горы — всю ночь мимо нашего пансиона шли компании людей. Ночь была тёплая, цвела белая акация, и воздух был насыщен запахом, который в большом количестве создаёт ощущение даже духоты.

Почти все гейдельбергские студенты делились на корпорации — землячества. Каждая корпорация имела свой клуб, где проходили «мензуры» — состязания на рапирах и эспадронах. Проводились мензуры и по питью пива: кто больше и скорее его выпьет. Говорят, некоторые выучивались прямо вливать пиво в желудок через пищевод без глотания. У многих студентов вся голова была в рубцах от ударов рапир или в пластырях от недавних ранений: лицо при состязании закрывалось сетчатой маской, а лоб и голова оставались открыты. Большое число ран считалось почётным.

Каждая корпорация имела своё знамя, студенты носили корпоративные шапочки и ленты корпоративных цветов через плечо под пиджаком. Были и так называемые дикие студенты, но корпоранты составляли большинство. Однажды я видел массу корпорантов в парадных венгерках, ботфортах, с палашами или эспадронами — словом, во всём корпоративном параде.

Раз вижу на улице — движется процессия: впереди на одной лошади закрытый гроб, весь в цветах, оказывается, умер старичок профессор-филолог, а за гробом в колясках студенты. На козлах рядом с кучером — «Diener»[251] с громадным знаменем корпорации в руках. За этой коляской — ещё несколько экипажей с корпорантами, и так корпорация за корпорацией — целый поезд.

Постановка физической науки и образования в заграничных университетах

В Гейдельберге я зашёл в Физический институт, где профессором был известный тогда по работам с катодными лучами Ленард. Посетил его лекции, посмотрел, как работают студенты в практикуме, но ничего особенно замечательного ни в лекции, ни в лаборатории не обнаружил. Надо сказать, наш московский практикум был устроен по типу немецких и, пожалуй, был богаче гейдельбергского.

Из Гейдельберга я ездил в ряд городов: во Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Страсбург, Вюрцбург, Лейпциг и Гёттинген, да ещё в Иену. Везде я прежде всего посещал Физический институт и, если удавалось, слушал лекции. Только в Иене, хотя и там есть университет, я его не посетил, подробно осматривал лишь знаменитый оптический завод Цейса[252].

По приезде я первым делом покупал план города, чтобы легче было ориентироваться. Не думаю, чтобы я для немцев представлял какой-нибудь интерес, но везде ко мне проявляли исключительно внимательное отношение и большую любезность. Вот в Иене отправился я на завод Цейса — и пустили меня туда без всякого «пропуска». Сейчас же прикомандировали ко мне молодого инженера, который и показывал мне решительно всё производство: и оптические прицельные приспособления для пушек, и массовую шлифовку очковых стёкол, и автоматическую шлифовку вогнутого громадного, метр в диаметре, астрономического зеркала для гигантского рефлектора. Последнее весьма интересно: сделать очень большой объектив так, чтобы стекло было вполне однородно, практически невозможно, тогда как для зеркала такой однородности тела не требуется.

Посетил я в Гейдельберге и астрономическую обсерваторию знаменитого астрофизика Вольфа. В ней тоже имеется двойной рефлектор: одна труба — для визуального наблюдения, другая, связанная с первой, — для фотографирования. Инструмент не очень велик — всего 35 сантиметров в диаметре, но замечательного качества. Мне показывали фотографии небесных туманностей. Трудно поверить, что можно получить такие подробности на фотографии. Первоначальный снимок — всего примерно 4 на 4 сантиметра, потом он многократно увеличивается, достигая размеров 50 на 50 сантиметров, и с каждым увеличением проявляются всё большие и большие подробности.

Так вот, громадное зеркало шлифуется автоматически в помещении, находящемся глубоко под землёй, где годичная температура остаётся почти постоянной. Огромный блок стекла медленно покачивается; а по его поверхности ползает, тоже очень медленно, шлифующая лапа. После подробно проверяют каждый квадратный сантиметр уже визуально в длинном коридоре с искусственной «звездой». Затем вогнутую поверхность серебрят. В обсерватории Вольфа имелось две пары зеркал: одна пара в работе, а другая в это время серебрится на заводе Цейса; серебрить приходилось довольно часто из-за окисления поверхности.

В Гёттингене я посетил Физический институт и лаборатории Рикке и В. Фогта, а также очаровательный маленький Электротехнический институт Сименса. Оба института — прекрасно оборудованы, оба — совсем новые, всё сделано обдуманно и рационально. Ещё в одном институте — экспериментальном гидродинамическом — сам заведующий институтом демонстрировал мне в действии приборы, при помощи которых он исследует истечение жидкости.

У профессора Винера в Лейпцигском университете я был приятно удивлён. Когда я пришёл в лабораторию и рекомендовался какому-то ассистенту, назвав свою фамилию, тот очень мной заинтересовался и сказал, что покажет мне что-то интересное: в одной из комнат я увидел установку, в точности повторявшую мою, описанную мной в «Annalen der Physik». Они исследовали звукопроводность каких-то ограждений и применяли мой способ получения звука и его регистрации. Конечно, мне это было очень приятно.

Поезд в Страсбург шёл через Карлсруэ. Когда я вошёл в купе, там сидела какая-то дама, и мне сразу кинулся в глаза беспорядок, в каком были разбросаны её вещи. По культурному немецкому обычаю, я поприветствовал даму:

— Guten Tag![253] — и сел в сторонке с книжкой в руках. Через какой-нибудь час поезд стал замедлять ход перед Карлсруэ. Пассажирка обратилась ко мне с вопросом:

— Was für Station ist das?[254]

— Карлсруэ, — ответил я.

— Ах ты, батюшки, я не успею выйти, вещи не собраны, — позабыв про немецкую речь, на чистом русском языке запричитала моя соседка.

Тогда и я открыл своё русское происхождение и принялся помогать землячке. Как бы между прочим я заметил, что сразу догадался, что она русская.

— А почему?

— Да очень просто — по беспорядку!

Поезд в Карлсруэ стоял мало, и землячка выскочила из вагона без вещей, а я подал их ей через окно.

В Страсбургском Физическом институте, которым заведовал Браун, все ещё помнили и любили моего учителя. Старый служитель, который одновременно являлся и швейцаром, и в студенческом практикуме присматривал за порядком, узнав, что я ученик Лебедева, просил зайти к нему в комнатушку. Он долго расспрашивал меня про Петра Николаевича, показывал мне кресло, которое ему подарили сотрудники института в день его шестидесятилетия, и просил, чтобы я непременно напомнил о нём Петру Николаевичу, заявив, что в Страсбурге все помнят и любят милого Herr Lebedev. Сам Браун, к которому у меня имелось рекомендательное письмо от Лебедева, также встретил меня приветливо. Он поручил ассистенту показать мне весь институт. Между прочим, одним из ассистентов Брауна был совсем молодой Л. И. Мандельштам, впоследствии академик (он умер в 1944 году)[255]. Уже у него на квартире — он позвал меня к себе завтракать — Леонид Исаакович жаловался, что вот он как еврей уехал из России, так как там не давали хода евреям, но и в Германии он встретил не меньший антисемитизм.

Побывал я и в знаменитом Страсбургском соборе. На самую верхушку его башни подымался по каменной узенькой лестнице, которая шла то внутри, то выходила совсем наружу, что было не очень приятно. Когда я добрался до самого верха, налетела вдруг туча и припустил короткий ливень с громом и молнией. Но я спрятался от дождя под верхней беседкой. Однако было довольно оригинальное, если не сказать жутковатое, ощущение: я на большой высоте, совершенно один, кругом льёт дождь и гремит гром. Правда, гроза была очень короткой, говорят, такие грозы весьма характерны для Страсбурга.

За недолгое моё пребывание в Мюнхене мне удалось послушать Рентгена. Он читал о распространении тепла. Читал исключительно элементарно. Аудитория была смешанная. Присутствовали и математики, и физики, и медики, и фармацевты: всем вместе читались часовые лекции четыре раза в неделю (математикам и физикам — ещё по два часа в неделю). Демонстрации были также простенькие, но одну я всегда впоследствии повторял на своих лекциях: стык железного и медного стержней, на которых на равных друг от друга расстояниях парафином прилеплены маленькие шарики или винтики. При нагревании стыка во время плавления парафина шарики отваливаются, и по числу отвалившихся шариков можно определить относительную теплопроводность этих металлов.

Аудитория, где читалась лекция, была полна. Я наверху отыскал местечко, но только уселся, как появился студент и показал мне, что к месту приколота его визитная карточка. Пришлось уступить ему его место. Вообще, студенты, несмотря на полную свободу посещения лекций, посещали их весьма аккуратно. Они заплатили свои деньги и не хотели, чтобы деньги пропадали даром.

Я познакомился с ассистентом Поолем, он продемонстрировал мне построенный им самим прибор, над которым мы с Петром Николаевичем долго бились, но — безуспешно (определение числа колебаний электромагнитного камертона по числу перерывов тока). Впоследствии в своей мастерской в Саратове я осуществил это фоническое колесо, и оно прекрасно работало.

Студенческие работы в лаборатории организованы великолепно, студенты здесь всё время учатся экспериментировать. На оформление работ они времени не тратят и в готовые бланки вписывают только результаты своих измерений. Но этот метод у нас неприменим. Студенты наши в большинстве случаев сами измерений делать не будут, а станут вписывать чужие цифры. Я своих учеников очень люблю, но сравнить их активность с активностью немецких студентов совершенно невозможно.

Интересный завод электротехнических измерительных приборов «Гартман и Браун» осмотрел я во Франкфурте-на-Майне. Приборы этой фирмы были сильно распространены в России. Даже русские фирмы торговали ими, ставя на приборы свой фирменный знак. Сопровождавший меня по заводу инженер относительно подобных действий заявил, что фирма не протестует и даже сама ставит марку русских фирм-заказчиков. Он показал мне в подтверждение пластинки с названиями русских фирм и, между прочим, «Бр. Трындиных», но под русской маркой они помещали свою, так что, снявши русскую марку, можно было всегда убедиться в том, что прибор сделан в Германии.

Был я в Берлинском университете и на заводе оптических инструментов фирмы «Шмидт и Генш». С этого завода я впоследствии выписал для Саратовского университета целый ряд прекрасных оптических инструментов. В частности — превосходный спектрофотометр, к которому мы в нашей мастерской построили отлично действовавший «вращающийся сектор», и я с этим прибором делал много измерений. Между прочим, определял линии поглощения хлорофилла, полученного из травы, найденной в желудке допотопного мамонта, труп которого извлекли из вечной мерзлоты вполне сохранившимся. Эти измерения я делал для П. П. Подъяпольского, который интересовался стойкостью хлорофилла.

В гостях у К. А. Кламрота

Из Гейдельберга я писал К. А. Кламроту, что, может быть, мне удастся его навестить. И получил письмо: Карл Антонович сообщал, что они с женой Марией Ивановной летом будут жить в Госларе, крохотном городишке, бывшей столице Гарца, и будут «sichriesig freuen»[256], если я к ним приеду.

Кстати, Мария Ивановна родилась в России, где-то около Лопасни. Её отец, настоящий немец, служил на мельнице около Лопасни, едва ли не в Солнушкове. Но Мария Ивановна была «печатанная» немка, хотя хорошо говорила и по-русски. Сам Карл Антонович, напомню, почти всю жизнь прожил в России, но по-русски говорил очень плохо, так что я всегда разговаривал с ним по-немецки.

В Гослар я приехал довольно поздно вечером. Адреса Кламротов, собственно, я не знал, но надеялся на месте разыскать милых стариков. Старинный городишко производил какое-то театральное впечатление: небольшие дома с крутыми черепичными крышами — точно из первого действия оперы «Фауст». Я остановился в единственной здесь гостинице и тут же получил все нужные сведения. Я спросил, не знают ли, где мне искать двух стариков, которые приехали из Лейпцига отдыхать в Гослар, и служитель сейчас же ответил:

— Да, да, они останавливались в гостинице, но теперь переехали в пансион на горе над Госларом.

Переночевав в просторном номере с прекрасной, идеально чистой постелью, я рано утром пешком отправился по указанному мне адресу. Подъём не очень трудный, хотя довольно длинный. Гослар весь окружён горами, и самая высокая из них — знаменитый «Броккен» — гора, на которой, по преданиям, собирались ведьмы*[257].

Добравшись до плато, где располагался пансион, я вошёл в громадную столовую, устроенную на застеклённой веранде, и увидал на противоположном её конце обоих стариков — они пили утренний кофе. Карл Антонович, заметив меня, встал, по-стариковски приложил руку козырьком ко лбу и, когда убедился, что это действительно я, обрадовался, расцеловал, всплакнул и усадил рядом с собой пить кофе.

Целый день я провёл с любимым учителем. Он очень интересовался всем, что делалось в Москве, я должен был рассказать ему и о всех моих делах, и о Катёне, и о Митюне. Карл Антонович признался, что он теперь совсем не может играть на скрипке — нервная система не выдерживает музыки, и он хочет отдать мне на память один из своих смычков — знаменитого мастера Турта. Но любимым был другой, менее знаменитого мастера Хаммига смычок, которым Кламрот всегда и играл. Конечно, мне было приятнее иметь любимый смычок учителя. Об этом я и сказал ему. Но чтобы получить этот смычок, я должен был в Лейпциге зайти на квартиру Кламрота. Там осталась прислуга — Мария, которой будет написано соответствующее распоряжение.

К обеду специально для меня был заказан голубой карп. После обеда Карл Антонович устал и сам сказал мне, что ему надо отдохнуть, а мне пора идти, а то-де я опоздаю на поезд.

Будучи позднее в Лейпциге, я зашёл на квартиру К. А. Кламрота. Меня встретила Мария. На рояле стояла наша фотография — я, Катёнушка и Митюня. Мария объяснила, что она получила письмо от Карла Антоновича, который велел передать мне смычок и к моему приходу поставить нашу фотографию на видное

* Ещё в «Мефистофеле» Бойто есть сцена на Броккене: Мефистофель появляется между чертями и ведьмами в громадной мантии-рубашке, скидывает мантию и остаётся почти голый, в одних чёрных трусах, на которых нанесена золотая молния, так, по крайней мере, делал Шаляпин, и в руке у него большой шар, изображающий Землю, — он что-то презрительно поёт о Земном шаре, бросает его, и тот разбивается вдребезги. — Прим. В. Д. Зёрнова.

место. Это очень характерно для немцев: такое внимание очень трогательно и вместе с тем никого не затрудняет. Опять — признак высокой европейской культуры немцев. Я уверен, что то одичание, которое привил немцам Гитлер, должно пройти. Невозможно, чтобы культурные преимущества, приобретённые в результате нормального исторического развития народа, давшего миру крупных философов, учёных, музыкантов, исчезли за какие-нибудь пятнадцать лет. Я уверен, что немцы вернутся к своим высоким идеалам.

Смычок, который я получил, замечательного качества, я с тех пор постоянно им играю, и каждый раз, когда беру его в руки, вспоминаю моего милого учителя. Смычок был в хорошем палисандровом футляре. К сожалению, и смычок и футляр остались в Саратове у В. В. Зайца. Ведь из Саратова я «выехал» довольно неожиданно и Заяц, по-видимому, решил, что я их ему подарил на память. Бог с ним, если он с хорошим чувством вспоминает, видя этот футляр, наши дружеские отношения и квартеты в Саратове. У меня остался ещё один подарок К. А. Кламрота — футляр, правда, простенький, он как-то привёз мне его из-за границы; он каждый год привозил мне какой-нибудь пустячок — тоже внимание, навсегда оставляющее хорошее воспоминание о человеке.

Поездка в Англию

В Англию я поехал через Кале и Дувр. По совету моей гейдельбергской учительницы английского языка, в Лондоне с «Виктория-Стешен» я отправился в соседнюю с вокзалом гостиницу. Но оказалось — она фешенебельная, и в ней ни одного свободного номера. Время наступило уже обеденное, в холле, рядом с вестибюлем, собралось довольно много мужчин во фраках и дам в вечерних туалетах, а я — в дорожной одежде, да к тому же в белой панаме, которых здесь никто не носит, — все ходят либо в котелках, либо в кепках, а при фраке, конечно, в цилиндрах. Несмотря на мой невзрачный вид, старший портье, фигура достаточно внушительная, обошёлся со мной весьма любезно, дал мне «боя», который и проводил меня в другую гостиницу, около самого дворца. Она хотя и выглядела скромнее первой, но в удобствах ей ничуть не уступала.

Управляющий этой гостиницы, как позднее выяснилось, был грек из Тифлиса и свободно говорил по-русски, но сначала мы объяснялись с ним только по-английски, он, по здешнему обычаю, совершенно не интересовался, кто я такой и как моя фамилия. Поместил меня в номер, рассчитанный на двух жильцов, но взял только за одно место — 7 шиллингов в сутки, предупредив, что если возникнет надобность, он поселит в мой номер второго жильца. Я согласился, так как платить по 14 шиллингов мне не хотелось.

Вечер был очень светлый, стояли «белые ночи». Я умылся и, выйдя на улицу, решил пройтись по «Виктории-стрит». Из путеводителя Бедекера[258] я запомнил совет: быть очень осторожным в Лондоне с людьми, которые, встретив на улице иностранца, начинают осаждать его разными самыми соблазнительными предложениями. Соблазнённого они затем обирают как липку. Бедекер рекомендовал ни в какие разговоры с такими людьми не вступать и в случае необходимости обращаться к полицейскому «Бобби». Не успел я выйти на «Викторию-стрит», как за мной увязался именно такой субъект. Он узнал во мне иностранца, по-видимому, главным образом

по белой панаме. Сначала он соблазнял меня на французском языке. Я — никакого внимания. Субъект перешёл на польский язык, потом на русский. Я, по совету Бедекера, не отвечал. И, увидав на перекрёстке полицейского, решительно двинулся к нему — субъект моментально исчез.

На другой день я отправился в «Дэви-Фарадей» — лабораторию, которой заведовал Дьюар — изобретатель «дьюаровских сосудов»[259]. Лаборатория занималась главным образом низкими температурами и жидкими газами.

Проходя мимо дворца, я увидел во дворе его конных шотландцев в их характерных костюмах: ожидался «выход» короля Эдуарда, и должны были приехать английские власти и дипломатический корпус. И вот в первой коляске я заметил военного, как две капли воды похожего на Николая II. Оказалось, это наследный принц Георг, по матери двоюродный брат Николая II. Они были изумительно похожи друг на друга.

Познакомившись с лондонским метро, я был совершенно очарован этим средством сообщения. В Лондоне две сети метро: одна — старая, заложенная очень мелко. Её строили, когда не существовало ещё электрической тяги, только паровая[260]. Дым от паровозов вытягивали мощные вентиляторы. Гораздо глубже заложена сеть «тюбов»[261]. Она по устройству очень схожа с нашей нынешней московской, только вместо эскалаторов — громадные подъёмные машины. На такую машину становилось сразу человек сорок. Конечно, эскалаторы гораздо удобнее. Станции в лондонском метро — гораздо проще наших, без всякой роскоши, и служат местом рекламы: все стены испещряли всевозможные объявления и плакаты. Благодаря метро размеров громадного города совершенно не чувствуешь.

В «Деви-Фарадей» лаборатории меня встретил сам Дьюар, старичок чисто английского типа с пробором до самой шеи. Я ещё не очень осмелел и стеснялся своего английского языка. Познакомившись с Дьюаром и передав ему мою работу, я спросил, не проще ли нам говорить по-немецки? Но он ответил, что я достаточно хорошо говорю по-английски и ему приятнее беседовать на родном языке. Насколько мы охотно говорим с иностранцами на их языке, настолько же англичане во что бы то ни стало с иностранцем говорят на своём.

Дьюар сам показывал мне лабораторию и с особой гордостью демонстрировал замечательную аудиторию: места в ней расположены по выгнутой поверхности параболоида, а лектор стоит в фокусе этого параболоида. Благодаря такому расположению акустические свойства аудитории совершенно изумительные. Лектор может говорить буквально вполголоса — и со всех мест его хорошо слышно. Дьюар в доказательство встал на лекторское место, а мне велел ходить по аудитории, и мы продолжали разговаривать вполголоса. Здесь висела картина с изображением этой самой аудитории, лектором показан Дьюар, а слушателями — учёные всего мира. По-видимому, Дьюар очень гордился картиной, хотя вряд ли в действительности такое собрание когда-нибудь было.

Из лондонских лабораторий я посетил ещё «Юниверсит Колледж» — маленький старинный колледж. Учебного оборудования там почти нет. Ведётся несколько научных исследований сотрудниками кафедры физики. Всё это произвело на меня какое-то тусклое впечатление.

Потом я ознакомился с «Рояль Академи Колледж» — учреждением, содержащимся на государственные средства. Здесь имелись учебные лаборатории с множе-

ством установок. Кафедру занимал Каллендар, но его я не видел. Показывали мне большой величины спектрограф с огромной призмой, его строил Каллендар для каких-то специальных целей, но что, собственно, он собирался делать, осталось неясным, как и то, зачем нужны такие громадные размеры.

Обежал я Лондонский национальный музей[262], видел много вещей, так сказать, награбленных по всем странам: там были и египетские мумии, и всякое оборудование египетских погребений, и греческие скульптуры, и чучела ассирийских львов. Именно обежал музей: всё осмотреть потребовалось бы много дней.

Был на знаменитом Старом мосту через Темзу; залезал на какую-то башню, но из-за тумана общего вида на город не было; подходил к Вестминстерскому аббатству[263].

Чтобы не таскать при себе не разрешённые в Англии немецкие деньги, я попросил заведующего гостиницей временно их спрятать. Тут только заведующий, увидав мою визитную карточку, на чистом русском языке произнёс:

— Да вы русский! Зачем же мы с вами говорим по-английски?

Рано утром по железной дороге я отправился в Кембридж. Когда приехал, то оказалось — от станции к университету предстояло ещё добираться в кэбе или пешком километра полтора. Я, конечно, выбрал последнее. Пока я шёл, меня то и дело обгоняли кэбы, в которых сидели люди в мантиях и шапочках. Я недоумевал, в чём дело — не надевают же английские учёные мантии с утра?

Здание Физического института — относительно новое. Большинство же университетских зданий и общежитий — старинные, выстроенные в готическом или староанглийском стиле. В институте никого не застал. Служитель пояснил мне, что все отправились в зал заседания Совета университета, где проходит торжественное заседание по поводу столетия со дня рождения Дарвина, который студентом жил и учился в Кембридже. Я тоже отправился туда.

На улице стояла небольшая толпа. Я разговорился с какой-то старушкой. Она, узнав, что я русский и случайно попал сегодня в Кембридж, достала книжку и говорит:

— Смотрите, тут есть и ваши земляки — Тимирязев и Заленский. Вам надо пробраться на заседание.

— Да как же это сделать, ведь у меня нет приглашения.

— Ну да попросите «Бобби», он вас пропустит.

Я подошёл к полицейскому, сунул ему в руку шиллинг и говорю, что мне хотелось бы посмотреть торжество. «Бобби» взял под козырёк и нырнул в боковую дверь. Через минуту он вернулся с молодым человеком в маленькой мантии-накидке, это был студент-распорядитель. Я повторил свою просьбу, на что молодой человек ответил, что охотно меня проведёт, но не может предоставить места — все кресла заняты. Я и не претендовал на сидячее место. Пристроился в конце зала, мне всё было хорошо видно и слышно.

Старинный зал, отделанный тёмным дубом, был наполнен учёными в мантиях — они-то и обгоняли меня по дороге с вокзала. Среди них я увидел только одного в русском профессорском мундире со Станиславской лентой через плечо — русского академика зоолога Заленского. Климент Аркадьевич Тимирязев был то-

же в учёной мантии: он являлся доктором Глазговского университета. А во время этих торжеств он получил и степень доктора Кембриджского университета.

На невысокой эстраде, как на амвоне, сидели профессора Кембриджского университета — члены его Совета. А посредине эстрады на высоком троне восседал попечитель Кембриджского университета физик лорд Рэлей — лорд ченсейлор (носитель цепи). Рэлей сидел как статуя, не шелохнулся. На нём были громадная чёрная расшитая золотом мантия и такая же шапочка.

Речи произносили только трое: представители Германии, Соединённых Штатов Америки и Франции. Остальных представителей вызывал главный секретарь, облачённый, конечно, тоже в мантию, к эстраде. Те подходили к «амвону» и подносили папку или свиток с адресом. Другой секретарь, стоявший у трона, принимал адреса, а Рэлей делал лишь маленький поклон.

Вышел представитель Франции в красной мантии доктора философии Кембриджского университета, лицо его мне было что-то очень знакомо. Когда он заговорил на прекрасном французском языке, но с русским акцентом, я догадался, что это Илья Ильич Мечников, который давно уже работал в Париже в Пастеровском институте. Мечников произнёс блестящую, страстную речь.

Кончились речи и приём адресов. Рэлей встал, встали и все в зале. Громадную мантию лорда ченсейлора сзади поддерживали два студента-распорядителя. Рэлей прошествовал торжественно, ни с кем не разговаривая, к выходу. Сам он был небольшого роста седой старик с маленькими бачками. Я в это время стоял у выходных дверей с Климентом Аркадьевичем и Аркадием Климентьевичем Тимирязевыми. Климент Аркадьевич язвительно заметил:

— Попробовали бы заставить русского студента нести фалды фрака Мануйлова!

Климент Аркадьевич вообще был язвительный, с чрезвычайным самомнением человек. Конечно, к этому имелись основания, но стиль был неприятный.

Всё это происходило в первой половине дня. Я позавтракал в каком-то ресторанчике, погулял в чудесном университетском парке, завернул в помещение, которое когда-то занимал Дарвин, и в музей, где хранятся приборы Ньютона, и опять наведался в Физический институт.

На этот раз застал Дж. Дж. Томсона в лаборатории. Я просил разрешения осмотреть лабораторию. Томсон вышел из своей совершенно тёмной комнаты, я передал ему оттиск своей работы («Диск Рэлея»)[264] и привет от П. Н. Лебедева. Взглянув на заглавие работы, он сказал:

— Ах, это насчёт... — и, не найдя дальнейших слов, показал рукой, как вращается диск под действием звуковых волн. Было очевидно, что он мою работу знает.

Томсон сказал, что сам он, к сожалению, занят, и поручил меня молодому человеку, который мне и показывал институт. Между прочим, учебное оборудование и здесь, как и в «Юниверсити Колледж», довольно бедное, всё внимание обращено на научное оборудование. В практикуме столы все пустые, приборы после окончания занятий убираются. Такой же порядок до известной степени я впоследствии ввёл в МИИТе.

Я спросил у моего провожатого, что делает Томсон у себя в лаборатории. Провожатый ответил, что Томсон «качает на маятнике радий», желая установить какую-то связь между силой тяготения и радиоактивным излучением. Сколько я

знаю, из этого ничего не получилось. Тот же молодой человек рассказывал мне, как работает Томсон. Он большею частию сидит дома, читает книги, размышляет и по телефону заказывает обстановку предполагаемого эксперимента. Потом он приходит, ни с кем не разговаривает и, углубившись в работу, смотрит, что даёт опыт. И часто, ничего не объясняя, велит всё разобрать до следующего заказа.

Кембридж — аристократическое учебное заведение. Обучение там стоит дорого, и большинство студентов — весьма состоятельные люди. Я видел в парке на речке молодого человека, он сидел в лодке и, по-видимому, «кайфовал», а служитель, стоя на носу лодки с веслом в руках, катал своего барина. В парке же я видел множество площадок для тенниса. Площадки не песчаные, а с газонами, которые всё время подстригают особой машиной на конной тяге, причём на копыта лошади надевают большие кожаные галоши, чтобы не портить площадки.

Поздно вечером я вернулся в Лондон.

Потом я ездил в Манчестер с единственной целью — побывать в лаборатории Резерфорда[265]. Приехал я туда перед вечером, в туман и дождь. Переночевал в гостинице и с утра отправился в Физический институт. Я сразу попал к самому Резерфорду, который оказался исключительно любезным и подвижным человеком. Резерфорд, собственно, не природный англичанин. Он родился в Новой Зеландии. Отец его был там обыкновенным пастором.

Резерфорд уже тогда являлся большой знаменитостью. Несмотря на это, он сам провёл меня по всему институту, показал студенческий практикум, в котором как раз студенты изучали явление радиоактивности, — они наблюдали рассеивание электрического заряда под действием различных радиоактивных веществ, все смотрели в трубочки, следя за поведением листочков электроскопа.

Среди студентов — почти мальчиков — я увидел толстого лысого человека, который, как и все, внимательно смотрел в трубу, и сразу узнал в нём знаменитого норвежского физика Сванте Аррениуса, доклад которого я слушал в Петербурге на Менделеевском съезде, да и по портретам хорошо знал его. Я спросил Резерфорда, что делает здесь этот знаменитый физик, лауреат Нобелевской премии? Оказалось, Аррениус приехал к Резерфорду специально для того, чтобы пройти студенческий радиоактивный практикум. Вот как настоящие учёные относятся к новым научным открытиям!

В заключение осмотра Резерфорд сказал:

— А теперь я покажу вам свою личную лабораторию. — И ввёл меня в совершенно тёмную комнату.

Резерфорд рассчитывал на эффект. Он, как только мы вошли, быстро закрыл дверь, чтобы ни один луч дневного света не попадал в таинственную комнату. Я был поражён прекрасным зрелищем. Посреди комнаты как бы висела колба, сиявшая таинственным зеленоватым светом флуоресценции. Резерфорд объяснил, что в колбе налит раствор самого сильного радиоактивного препарата, какой тогда имелся. Сам препарат, как выразился Резерфорд, принадлежал австрийской короне и был дан ему для научных исследований с условием использовать только продукты распада и излучение и отнюдь не касаться самого препарата.

Как известно, Резерфорд получил исключительной важности результаты в этой работе. Он установил природу α-излучения, показал, что α-лучи представляют собой

поток положительно заряженных частиц гелия. Дискретность этого потока была ещё раньше установлена при помощи спинтарископа Крукса[266], в котором можно видеть отдельные величины (сцинтилляции) флуоресцирующего экрана, вызванные ударами отдельных α-частиц, выброшенных при взрыве атома радиоактивного элемента.

Очевидно, перед Резерфордом стоял вопрос — нельзя ли ускорить процесс радиоактивного распада, а вместе с тем получить и большую мощность излучаемой энергии, чтобы использовать её для практических целей. Но никакими ни химическими, ни физическими агентами скорость радиоактивного распада радия увеличить не удавалось. В таком случае — нельзя ли вызвать искусственную радиоактивность нерадиоактивных элементов и использовать выделяющуюся внутриатомную энергию? Другими словами, не удастся ли вызвать расщепление ядер нерадиоактивных элементов внешними агентами? Эту задачу принципиально и решил сам Резерфорд.

Мы находились ещё в комнате Резерфорда, когда по институту раздался звон колокола. Резерфорд сказал, что это всех работников института приглашают к ленчу, предложил и мне присоединиться к общей компании, которая собиралась в маленьком клубе при институте. Он познакомил меня со всеми своими помощниками, сам сел во главе стола, а рядом со мной посадил молодого ассистента, который угощал меня и занимал разговором, интересуясь главным образом революцией 1905 года. Завтрак был очень простой — какие-то овощи, фрукты; на столе лежал громадный кусок сыра, и от него не отрезали, как у нас, тонкие кусочки, а отковыривали специальным ножом «колобочки». Тут я только и понял настоящее применение этого инструмента, хотя и прежде видел такой нож в нашей хозяйственной аппаратуре, но всегда недоумевал, как можно таким ножом отрезать тонкие кусочки.

После завтрака все перешли в «смокингрум» — комнату для курения. В ней пылал камин. Отчасти для того, чтобы дым от полутора десятков трубок не повисал пеленой, как это у нас бывает в «курилке». Да и день был подлинно английский — прохладный и пасмурный. Все расселись полукругом против камина, и Резерфорд, не выпуская изо рта трубки, стал рассказывать о своём посещении Дарвиновского торжества в Кембридже. Однако я мало что понял: разговаривая с иностранцем, англичане очень старательно и чётко произносят слова, а этот рассказ на иностранца рассчитан не был. По тому, как реагировали на рассказ слушатели, в нём было что-то интересное и в некоторых местах даже смешное. Выкурив свои трубки, все разошлись по институту изучать радиоактивные явления. Это была общая тема, которой занимался персонал. Я же распростился с любезным хозяином и вечером возвратился в Лондон.

Поезд шёл без остановок. Это очень характерная особенность железнодорожного транспорта в Англии, паровозы даже воду набирают не останавливаясь — забрасывают шланг в канаву с водой, которая помещается не то между рельсами, не то рядом с ними. Начался контроль билетов, а я никак не мог найти своего обратного билета. Но контролёр не выражал подозрения, как это обычно происходит у нас, а, видя моё замешательство, махнул рукой и двинулся дальше. Вскоре в одном из моих «одиннадцати» карманов я обнаружил билет, но контролёр был уже далеко и назад не возвращался.

Пора было покидать Англию. В гостинице я предупредил с вечера, что рано утром уезжаю, просил пораньше подать мне мой «брекфест» — ранний завтрак и при-

готовить счёт. Рано утром в столовой на столе лежал счёт, и я, позавтракав и расплатившись, на такси отправился на вокзал. Там я опять встретил Тимирязевых, с Климентом Аркадьевичем была ещё жена[267], и супругов Заленских. Они также направлялись в Дувр, чтобы оттуда переехать в Кале. Было очень приятно после напряжённого выслушивания английской речи поболтать с земляками по-русски.

До Дувра поезд шёл, как обычно, без остановок. Мы сидели все вместе в купе и весело делились впечатлениями от пребывания в Англии. И тут я вспомнил, что все свои немецкие деньги, которые я передал на хранение в контору гостиницы, получить обратно забыл. Что же мне делать? Придётся возвращаться в Лондон! И я сразу закис. M—me Заленская, заметив это, спросила:

— Что это вы вдруг так завяли?

— Да, знаете, завянешь! Мне придётся возвращаться в Лондон. Я оставил в конторе гостиницы все свои деньги.

Климент Аркадьевич опять как-то язвительно заметил:

— Да что вы! Разве вы в Москве?! Приедете в Дувр, позвоните по телефону в гостиницу, и вам сейчас же переведут деньги через банк.

По приезде в Дувр я так и поступил: зашел в ближайшую гостиницу и совершенно легко соединился с Лондоном и со своей гостиницей, вызвал директора. Он стал извиняться, сто тоже забыть об этих деньгах и не приложил их к счету, но через банк перевести ихв этот суботний день невозможно: все английские данки по субботам закрываются с 12 часов дня до понедельника. Ждать до понедельника мне не хотелось, и директор гостиницы предложил прислать деньги с «боем». Хотя такой способ пересылки стоил значительно больше, но я рассчитывал, что лишний день в Дувре обойдется дороже, и просил прислать деньги с мальчиком, а сам отправился гулять. Ходил в порт, где множество судов разгружалось и нагружалось хлебом и другими товарами, ходил к старинной крепости. Меня застал небольшой дождь, и я спрятался от него на крытом балконе, но хозяин дома вышел и сказал, что это частный дом и что здесь сидеть нельзя.

А вернулся в гостиницу — выяснилось, что «бой» уже приезжал и привёз деньги. Гостиница оплатила его счёт: мальчишка показал билет первого класса туда и обратно и плотно пообедал в Дувре. Конечно, я без возражений принял все расходы. Но последний пароход в Кале уже ушёл, и мне пришлось заночевать в гостинице в Дувре.

На следующее утро первым же пароходом я переправился в Кале и на железнодорожной станции снова встретил Тимирязевых. И опять вместе мы ехали до Кёльна, где мне предстояло пересесть на поезд, направлявшийся в сторону Карлсбада, а Тимирязевы поехали прямо в Россию.

По пути от Кале до Кёльна Климент Аркадьевич все время ублажал свою капризную жену и никак не мог угодить ей. Приносил то еды, то питья, но каждый раз оказывалось, что делал не то, что ей хотелось бы. Мне даже жалко стало старика. Поздно вечером мы расстались.

В Кёльне дожидался утра на вокзале. Сначала я сел в подземном помещении, вполне благоустроенном. Хотелось спать. Но засыпать я не решался — боялся, что, проснувшись, не найду своих вещей. Тут же, в подземном помещении, находилась какая-то компания девиц не то эстрадного театра, не то другого «учреждения» во гла-

ве с препротивным антрепренёром. И я взял свой чемоданчик и отправился гулять по Кёльну. Была тёплая туманная ночь. Чудесный кёльнский собор стоял как какой-то великан, и его остроконечные башни уходили в бесконечность.

Не успело окончательно рассвести, как я выехал из Кёльна и, по-видимому, крепко уснул сидя, так как совсем не помню Рейнскую долину, по которой шёл поезд.

В Россию из Карлсбада мы возвращались врозь с родителями, которые в начале лета, когда мы жили ещё в Гейдельберге, приехали туда лечиться «на воды». Папа и мама затеяли после курса водяного лечения проехаться по Швейцарии. Мы выехали раньше.

Приезд в Саратов

По дороге в Россию из газет мы узнали, что закон об открытии Саратовского университета утверждён и назначены первые его профессора. В числе первых семи профессоров был и я[268].

Папа вернулся в Москву в самом прекрасном настроении. Ему было приятно и самое возвращение в нашу милую Дубну, и он был очень доволен моим назначением. Ну как же — его сын продолжает традицию семьи Зёрновых и тоже профессор. И это его удовлетворение вполне покрывало предстоящую разлуку после нашего переезда в Саратов. Мне казалось, настроение папы передавалось и маме.

В конце июля 1909 года я приехал один в Саратов[269], чтобы познакомиться с новыми товарищами-профессорами, и прежде всего с первым ректором Саратовского университета Василием Ивановичем Разумовским. Министерство народного просвещения поручило ему организовать новый «светоч знаний»[270]. Хотелось узнать подробности организации, да и пора было уже озаботиться организацией кафедры, кабинета и лаборатории, а также подыскать квартиру.

Я остановился у моего гимназического приятеля Михаила Полозова. Он, тогда начальник движения Рязано-Уральской железной дороги, жил с женой в Саратове. У них на Театральной площади имелась хорошая квартира с чудесной обстановкой — её приобретала его жена Клавдия Ивановна, происходившая из богатой купеческой семьи.

Тотчас же по приезде пошёл представляться ректору. Застал его в квартире Н. Е. Осокина, ассистента при кафедре физиологии, который тоже, как и Василий Иванович, приехал из Казани, но успел обзавестись собственной квартирой.

Василий Иванович Разумовский сразу и навсегда произвёл на меня глубокое и самое хорошее впечатление. Он так ласково меня принял! Так много и хорошо говорил об особенностях работы профессора в провинции, где профессор, как он выразился, стоит на «горке», у всех на виду. Конечно, этому приёму я был обязан и авторитету моего отца, и рекомендации моего учителя.

В первый же вечер мы с М. А. Полозовым отправились на маленьком пароходе прокатиться до Увека[271], где теперь железнодорожный мост через Волгу[272], и обратно. На пароходе двое мужчин своим видом выделялись среди остальной публики. Один — довольно большого роста и профессорского вида. Другой — небольшой, в какой-то легкомысленной накидке, красном галстуке, увивался около видной, эффектной дамы. Полозов сказал мне, что это два новых профессора. Я тут же с ними познакомился: первый оказался профессором анатомии Николаем

Григорьевичем Стадницким, второй — профессором физиологии Иваном Афанасьевичем Чуевским. Мои симпатии в тот вечер были на стороне профессора анатомии, но, кажется, только на этот вечер.

Стадницкий оказался чрезвычайно элементарным, я бы сказал, малоприятным и тупым человеком, а Иван Афанасьевич, несмотря на свою фривольную внешность и легкомысленное поведение, — очень милым и умным. Недаром В. И. Разумовский пригласил его занять должность декана медицинского факультета[273]. Мы дружили с ним до самой его смерти[274], хотя я часто и подшучивал над его слабостями.

Чуть ли не в первый же день моего пребывания в Саратове, во всяком случае — при первом же посещении канцелярии университета, которая помещалась в маленьком домике у Царских ворот, я получил моё первое профессорское жалованье за июль — 144 рубля, но настоящими золотыми монетами.

Для размещения лабораторий университета предназначалось здание, в котором ранее находилась Саратовская фельдшерская школа[275]. Этот весьма большой двухэтажный особняк стоял напротив Царских ворот.

Царские ворота — кирпичная и уже довольно облезлая арка, построенная для встречи императора, не знаю — которого[276]. Она высилась у Волги в конце Никольской улицы. Фельдшерская школа выходила фасадом на Сергиевскую улицу[277], шедшую по краю спуска к Волге, так что из окон открывался широкий вид на Увек и Заволжье. Здесь были отведены помещения под общую аудиторию, физическую, химическую, ботаническую и зоологическую лаборатории и кабинеты. Между ними — актовый зал. Все помещения уже ремонтировались и приспособлялись к новому назначению. И мне сразу пришлось включиться в эту спешную и интересную работу — занятия предполагалось начать уже с сентября.

Из профессоров я застал в этот приезд ещё Андрея Яковлевича Гордягина, ботаника. Он недолго проработал в Саратовском университете и против его воли при министре Кассо был возвращён в Казань[278]. Но об Андрее Яковлевиче я и до сих пор вспоминаю как об одном из самых симпатичных товарищей. Большая умница, широкообразованный, настоящий большой естествоиспытатель и превосходный лектор.

Двух других профессоров — зоолога Бирукова и В. В. Вормса, который в первый год читал курс общей химии и был проректором, — в Саратове пока не было. Назначение В. В. Челинцева, который и натолкнул меня на мысль о Саратовском университете, задержалось именно из-за того, что Василию Ивановичу Разумовскому хотелось с самого начала иметь проректора, а кафедры для Вормса не было. Впоследствии он занимал кафедру физической химии.

Кажется, через год нормальное распределение кафедр было достигнуто, и Челинцев появился среди саратовских профессоров[279].

Борис Ионович Бируков

Так как по Уставу 1884 года в «центральных» университетах для занятия профессорской кафедры требовалась степень «доктора», а у меня и Бирукова была лишь степень «магистра», то мы были назначены по «Высочайшему повелению», но к нашему званию «профессор» прибавлялись две буквы — «и. д.». Однако, как я уже отмечал, никакого ограничения в правах и положении эти буквы не вносили. Я тоже мог быть и ординарным, и имел право на чины и награждения. Таких

«и. д.» в провинциальных университетах было множество. Были они и в столичных университетах.

И вот с Бируковым произошла забавная история. Напомню, что он обучал естествознанию дочерей царя. Когда открылась кафедра зоологии в Варшаве, Бируков подал министру докладную записку с просьбой о назначении его на эту кафедру. Для Варшавы, сколько я помню, даже не требовалось «Высочайшего повеления». Получив устное согласие министра, он уехал на лето за границу. Но когда вернулся, то узнал, что в Варшаву назначен другой кандидат. Бируков разобиделся и не стал даже справляться, почему министр (Шварц) не исполнил своего обещания.

Через год открылся Саратовский университет, и Бируков опять подал докладную записку министру, теперь — о назначении его в Саратов. Министр вызвал его и сказал: «Я опять ничего не имею против вашего назначения в Саратов, но прежде вы сами получите согласие царицы, а то в прошлом году я докладывал царю о вашей кандидатуре, а он сказал: «Ну, об этом надо спросить царицу. Бируков обучает дочерей, и, кажется, царица очень довольна его занятиями»». Царица тогда, действительно, подтвердила своё удовлетворение уроками Бориса Ионовича, в результате чего он остался преподавателем царских детей и кафедры не получил. На этот же раз, в 1909 году, подобных препятствий не встретилось, и по «Высочайшему повелению» Бируков получил кафедру в Саратовском университете.

В Саратов Борис Ионович приехал с женой и двумя мальчиками. Женат он был на дочери московского парфюмерного фабриканта Остроумова — Инне Александровне; она была очень приветливая, хорошенькая, но простоватенькая, гостеприимная хозяйка, любившая хорошо угощать. Мы с самого начала и до революции водили с ними знакомство и довольно часто бывали друг у друга в гостях. На вечерах Инна Александровна блистала своими «приданными» бриллиантами.

Позднее семейство это распалось. Инна Александровна — то ли во время войны 1914-го года, то ли в начале революции — уехала к родителям и больше к мужу не возвращалась, а Борис Ионович сбежал за границу[280]. Уже в Москве я как-то встретил Инну Александровну, и она рассказала мне перипетии своей семейной жизни. В заключение посетовала на супруга: «Мой-то, дурак, все мои бриллианты увёз».

Перед отъездом за границу Борис Ионович также занял у профессора Юдина порядочную сумму денег, а в обеспечение оставил доверенность на получение жалованья. Но так как к началу занятия он не вернулся и никаких известий об нём не было, то выписку жалованья Бирукову прекратили, и Юдин так и не получил своих денег обратно. Впрочем, последнее художество Бориса Ионовича, возможно, было сделано без злого умысла. Я думаю, что он искреннее собирался вернуться в Саратов. Однако судьба распорядилась иначе.

Борис Ионович вообще был человек с большими странностями. Он, например, панически боялся всякой заразы. Когда прислуга возвращалась с рынка, он первым делом обрызгивал её из пульверизатора какой-то дезинфицирующей жидкостью; служителю не позволял входить в свой кабинет. Однажды переходил служитель Иван Кочетков с кафедры зоологии на мою кафедру и зашёл проститься с бывшим своим начальником, так Борис Ионович остановил его: «Нет, нет! Вы в комнату не входите! А вот вам на чай!». — И покатил по полу целковый. Этот случай мне позже описывал сам Кочетков.

Папина крестница. Первые заботы и хлопоты

Я снял квартиру на Крапивной улице[281] в только что выстроенном каменном двухэтажном доме Катковых. Квартира — пятикомнатная, в первом этаже. Одна из комнат — большая, остальные поменьше, но всё расположение и сами комнаты были очень хорошие: гостиная, столовая, кабинет, спальня и детская — это нас вполне удовлетворяло. Просторная кухня. Единственный недостаток — ванная и уборная оказались совмещёнными. Отделка дома ещё только заканчивалась.

Подготовив таким образом наш переезд в Саратов, я возвратился в Москву и стал хлопотать об оборудовании физического кабинета, лаборатории и собственного жилья. В оборудовании жилья родители полностью взяли на себя все расходы: у меня никаких запасов не имелось, а купить требовалось довольно много мебели. План был такой: Катёнушка с Митюней пока остаются в Москве у родителей, тем более что в октябре Катёна ожидала появления нового члена нашей семьи. Я же в сентябре отправляюсь в Саратов, устраиваю квартиру, начинаю читать лекции, а в октябре приезжаю в Москву, чтобы встретить новую дочку или сына.

Прочитав несколько лекций (я читал 4 часа в неделю), числа 9 октября я приехал в Москву. 12-го вечером к нам пришла опять Анна Михайловна Оленина — принимать роды, а рано утром появилась на свет наша Танечка. Папа уже вызвал профессора Н. И. Побединского, но на этот раз его помощи не потребовалось. Крохотная девчурка ещё лежала на кровати у Катёнушки, когда Побединский спросил:

— Ну что же, довольно? Больше не хотите родить ребят?

— Нет, я хочу иметь шестерых! — ответила Катёна, хотя только что перенесла тяжёлые муки.

Крёстным отцом мы просили быть папу, крёстной матерью — Надежду Петровну Щепотьеву. Крестили Танечку у нас на квартире на Девичьем Поле, в гостиной. Крестил настоятель клинической церкви отец Пётр Николаевич Померанцев, который раньше служил диаконом в университетской церкви, и все мы его любили и за торжественную службу, и за чудесный тенор.

13 октября, в день рождения Танечки, первый раз выпал снег, и папа, очень довольный внучкой и крестницей, говорил:

— Это у нас Снегурочка родилась.

Снегурочка выросла, и теперь у неё уже шестилетний сын, мой милый внучек Алёшенька, который наполняет нашу жизнь приятными и радостными хлопотами.

В Москве я в первую очередь отправился к Петру Николаевичу Лебедеву — посоветоваться относительно оборудования кабинета, лаборатории и проектирования предстоящей постройки Физического института. Пётр Николаевич тоже был очень доволен моим назначением. Я стал первым из его учеников, получивших профессорскую кафедру. Мы много говорили с ним о нарождавшемся новом институте. Пётр Николаевич помог мне сделать первые заказы у заграничных фирм. Всё это описано в моей статье, посвящённой памяти Петра Николаевича, — «Учитель и друг».

Для записи заказов, необходимых физической лаборатории Саратовского университета, Пётр Николаевич подарил мне толстую тетрадь — она и сейчас хранится у меня[282]. На её первой странице рукой Петра Николаевича сделана такая запись: «Профессору В. Д. Зёрнову для умеренности и аккуратности от друга

П. Лебедева. Москва, 19. VIII. 09». Я был в восторге от такого определения наших отношений с учителем.

Почти всё оборудование для будущего института я получал из-за границы, в основном через фирму Трындиных. И произошло это следующим образом. Когда я зашёл в магазин Трындиных к моему приятелю Алексею Наркизовичу Кирову, с которым мы в 1900 году ездили за границу и который заведовал физическим отделом фирмы, и рассказал ему о моих делах, он говорит:

— Вы уж не обходите нашу фирму.

— Да ведь, дорогой Алексей Наркизович, мне надо преимущественно заграничное оборудование!

— Ну да, конечно! Вы будете получать заграничное оборудование в заграничной упаковке прямо в Саратов и на 15 процентов дешевле заграничных каталогов.

Я, конечно, удивился такому фокусу, но Киров сейчас же открыл мне его секрет.

— Фирма Трындиных получает у заграничных фирм уступку в 30 процентов с цен каталогов. 15 процентов будут отдаваться в пользу фирмы Трындиных, а для Саратовского университета приборы будут обходиться на 15 процентов дешевле, и вам не будет никаких хлопот.

Разумеется, я использовал это предложение и в большинстве случаев прибегал к посредничеству фирмы Трындиных. Я приходил в магазин Трындиных, и Алексей Наркизович требовал непременно исполнения подробности чисто московской. Первой фразой его было: «Вы ведь саратовец, так прежде всего пойдёмте позавтракаем в трактир „Саратов“[283] (он размещался у Сретенских ворот, недалеко от магазина), а потом будем говорить о делах». За прекрасный завтрак он ни в коем случае не разрешал мне платить: на такого рода действия фирма отпускала особый кредит (да в те времена всё это стоило гроши). Затем мы возвращались в магазин, просматривали каталоги заграничных фирм, и я делал пометки. Сам Алексей Наркизович был большой знаток физической аппаратуры, и его советы мне тоже пригодились. Потом всё мной отмеченное в короткий срок в чудесной заграничной упаковке появлялось прямо из-за границы в Саратове. Киров присылал позже счёт с 15-процентной скидкой в заграничной валюте, и бухгалтерия переводила Трындиным русскими деньгами по курсу дня.

П. Н. Лебедев рекомендовал мне в первую очередь оборудовать небольшую, но очень хорошую мастерскую и найти хорошего механика, помог составить заказ на станок и принадлежности к нему. Заказ я направил лучшей немецкой фирме «Лорх и Шмидт».

Когда я сказал об этом В. И. Разумовскому, то он удивился, зачем кафедре физики механическая мастерская, но авторитет Петра Николаевича его «победил». Когда мастерская начала работать, Василий Иванович часто вспоминал, как он был не прав, сомневаясь в её необходимости. Много раз позже мне приходилось отстаивать мастерские при физических лабораториях перед администрацией — и не всегда так успешно, как в самом начале моей профессорской деятельности.

Механиком я пригласил молодого человека, только что женившегося на дочери нашего кучера Чувикова — Матрёше. Это был сын столяра — крестьянина из соседней с Дубной деревни Каргашино Фёдор Федосеевич Троицкий. Он и тогда слыл хо-

рошим механиком, а впоследствии так усовершенствовал своё искусство, что стал известен, по крайней мере, всему университету. После революции он прошёл курс практического института и не получил звания инженера только потому, что не мог бросить свою работу и пройти обязательную двухлетнюю практику. Фёдор Федосеевич и до сих пор работает в Саратове, специализируясь на изготовлении самых тонких медицинских инструментов — цистоскопов[284].

Троицкий сначала не решался бросить Москву и ехать в далёкий Саратов и, как он сам рассказывал, когда шёл из Каргашина в Дубну для окончательного разговора со мной, сел по дороге в лесочке подумать. Сидел-сидел да и уснул. Не знаю, во сне ему что привиделось или ещё как, но проснувшись, он решил ехать, хотя материальное положение в перспективе было не особенно завидным. Собственно, штатного места механика у меня не имелось, и Троицкий получал жалованье по штату служителя — 20 рублей в месяц, да я по счёту приплачивал ему из средств лаборатории по 5 рублей в месяц[285].

Первое время у Троицкого никакого приработка не было. Когда он с семьёй переехал в Саратов, то сначала они жили у меня в квартире на Крапивной, но позже нашли себе маленькую квартирку и стали жить самостоятельно. Сейчас трудно поверить, что можно жить самостоятельно на 25 рублей в месяц. Но в 1909 году в Саратове это было вполне возможно.

Прислуги я пока не имел, и Матрёша помогала в квартире и готовила еду. Каждый вечер я писал письма в Москву и отдавал их Матрёше — опустить в почтовый ящик. Она родилась и жила в деревне, и, не зная городских порядков, без всякого злого умысла опускала мои письма в ящик «для писем и газет» в соседнем доме. Я не мог об этом даже догадаться, так как любезный сосед, находя в своём ящике мои письма, опускал их в почтовый ящик. Но однажды он зашёл ко мне и рассказал об этом, не отказываясь и впредь отправлять мои письма дальше. Пришлось инструктировать Матрёшу.

Начало профессорской деятельности

В начале сентября уже много и вещей для нашего жилья, и оборудование для кабинета и лаборатории было отправлено в Саратов, и я окончательно переехал к новому месту службы. Сначала я остановился опять у Полозовых, но вскоре устроил жильё на Крапивной и перебрался на свою квартиру.

Оборудование помещения университета шло полным ходом, и в конце сентября 1909 года начались лекции[286]. Первый приём был рассчитан на сто человек, приняли же с небольшим сто[287]. Состав необычный. Дело в том, что приём в другие университеты уже закончился и в Саратовский университет поступали лица, которые почему-либо не попали в другие университеты[288]. Казалось бы, это обстоятельство даст плохой набор. Однако, как выяснилось, новые студенты проявили исключительные качества и из них впоследствии получился ряд профессоров. Они очень интересовались и своей специальностью, и своей новой «alma mater» — Саратовским университетом. Мы всех их знали, многих звали даже по имени и отчеству, а некоторых — по прозвищу. Например, был студент, бывший капитан волжского парохода Топорков (впоследствии профессор Астраханского медицинского института). Его никто иначе не звал, как просто «Капитан»[289] .

Если мне не изменяет память, я читал первую лекцию 27 сентября. На лекции присутствовали все студенты во главе с деканом И. А. Чуевским. Говорил я о значении для врача естественно-исторического образования и о вреде фельдшеризма. Тема эта была мне хорошо знакома из разговоров с папой — он, сторонник широкого образования, считал его для врача особенно необходимым. Говорил я и о задачах и методах исследования в физике.

И с первых же лекций я мог показывать нужные опыты. Очерёдность поступления оборудования была рассчитана так, чтобы курс читать не только с куском мела в руке, но и с опытами и демонстрациями.

В качестве лекционного ассистента, или, по тогдашней номенклатуре, препаратора, я привёз из Москвы Ивана Максимовича Серебрякова. Он был механиком в Физическом институте при лаборатории профессора Соколова. Я знал его со своей студенческой скамьи. Он учил меня практическому мастерству, которое в школе П. Н. Лебедева считалось обязательным. Относились мы друг к другу с взаимной симпатией. Иван Максимович был хорошим механиком, но совершенно неопытным в лекционном эксперименте. Я выбрал его просто как хорошего человека, да и он охотно согласился перейти ко мне, так как Соколов был малоприятным начальником. Лебедев весьма одобрил мой выбор. И хотя Иван Максимович по малому своему образованию не мог проявить большой инициативы в лекционном эксперименте, зато, что было ему показано и им усвоено, он исполнял исключительно старательно и чётко.

Для меня было в высшей степени полезно, что лекционные эксперименты приходилось приготовлять самому и учить экспериментированию моего помощника. Очень многие современные лекторы экспериментировать не умеют и находятся в руках своего лекционного помощника. В громадном большинстве случаев на лекции я экспериментирую сам — это производит на слушателей гораздо большее впечатление. Особенно тяжёлое зрелище бывает, когда какой-нибудь эксперимент у помощника не ладится, а лектор не в силах ему чем-либо помочь. У меня, ученика Лебедева, такого не бывает.

Через два-три года Серебряков сделался отличным лекционным ассистентом. Его высоко ценили не только на кафедре физики, но и соседи по лабораториям. Гордягин, Вормс, да и сам В. И. Разумовский завидовали мне, что у меня такой хороший помощник. К сожалению, Иван Максимович очень рано умер. Летом 1918 года в Саратове произошла вспышка холеры. Утром он захворал, а к вечеру его уже не стало.

Накануне торжественных событий

Началась деятельная подготовка к торжеству открытия университета, который уже функционировал. Самое торжество назначили на 6 декабря — Николин день: как стало известно, в день торжественного открытия университет получит наименование «Императорского Николаевского». Императорским, впрочем, назывались все университеты, но Саратовский, помимо этого, получал ещё и имя царя.

Шла уже нормальная жизнь, правда, пока маленького, но всё-таки университета. Все лекции, кроме анатомии, читались в аудиториях бывшей Фельдшерской школы на Сергиевской. В главной аудитории на эстраде был сделан лекционный стол, большая доска с подвижным полотном. Установили проекционный при-

бор — чудесный эпидиаскоп Лейтца, для вольтовой дуги которого тут же поставили вращающийся понижающий трансформатор. Аудитория имела специальное затемнение, так что пользоваться проекцией я мог в любое время дня.

Для лаборатории физики отводились две комнаты. Одна довольно большая — здесь размещалась лекционная коллекция и студенческая лаборатория; здесь же я ставил свои работы. Другая — поменьше: в ней я расположил мастерскую и выгородил фотографическую комнату. Лабораторные занятия для студентов-медиков не являлись обязательными, но небольшая их группа всё же охотно занималась в лаборатории. Я заказал две витрины, шкафы и лабораторные столы с расчётом впоследствии перенести их в Физический институт, когда тот будет построен.

В этом первом помещении я провел четыре с половиной года. Здесь я сделал работы «Фонограммы человеческой речи», «Радиоактивные свойства Елтонской грязи»[290] и ещё одну, в которой я определял показатель преломления воды для герцевских десятисантиметровых волн. Длины волн в воде и в воздухе я измерял весьма оригинальным способом, но наступало время, когда делать это надо было незатухающими колебаниями, однако технику получения коротких незатухающих волн ещё не разработали. И хотя, на мой взгляд, я начал получать довольно хорошие результаты, П. Н. Лебедев отнёсся к этой работе как-то прохладно, и, как следствие, я потерял к ней всяческий интерес, а потом началась война. Так работа и осталась незаконченной. Впоследствии какой-то немец методом, похожим на мой, выполнил такую же работу, и я пожалел, что не проявил настойчивости продолжить эту тему.

Узнав, что я получил кафедру в открываемом Саратовском университете, профессор Соколов всячески надо мной издевался и говорил, что мне придётся читать лекции, как некогда читал курс физики один профессор, — никаких лекционных экспериментов и никакого лекционного оборудования у него не было: в одной руке он держал табакерку, в другой — носовой платок и все объясняемые явления иллюстрировал при помощи этих двух предметов. Однако Соколов был мной посрамлён: я с самого начала показывал множество опытов.

Мои слушатели хорошо относились и к моим лекциям, и ко мне лично, тем более что по возрасту у нас не было большого расхождения[291]. Мне исполнился тогда 31 год, и многие слушатели были моими ровесниками. Они, как и я, интересовались своим университетом, принимали самое активное участие в хлопотах по организации торжества открытия.

Рассылали приглашения. Город подготавливали к иллюминации. Шили множество трёхцветных флагов. Для украшения здания университета я велел сшить два громадных флага длиной в два этажа. Они очень украсили здание, свешиваясь на флагштоках с его крыши. Мне предстояло в Москве подыскать, люстры и бра для освещения актового зала и аудитории к торжествам. Я выбрал красивую бронзовую арматуру, хотя и не совсем подходившую по стилю к строгим университетским требованиям, но лучше не нашёл.

В депутацию на торжества открытия Саратовского университета от его старшего собрата Московского университета выбрали ректора Мануйлова и папу.

Я уехал в Саратов тотчас после 24-го, а папа должен был приехать на торжества числа 5-го декабря[292]. Погода стояла холодная и сырая, и я был поражён, вернувшись в свою квартиру на Крапивной, тем, что в комнатах от сырости прямо стоял туман. Как же я перевезу Катёнушку и малышей в такую сырую квартиру? Поэтому я заявил управляющему, что намерен искать другую квартиру. Ему очень не хотелось, чтобы я выезжал — это дискредитировало бы квартиру, да и лестно ему было, что у него в доме живут профессора. В то время звание «профессор» очень импонировало саратовцам. Но я всё же снял другую квартиру в 6 комнат на втором этаже, также в совершенно новом доме Подклетнова, на углу Московской и Ильинской улиц[293].

Дом был двухэтажный, смешанной постройки, то есть деревянный, но снаружи обложен в один слой кирпичом. В Саратове много таких. И даже в новом таком доме сырости быть не может.

Как всё изменилось! Когда я начинал свою профессорскую деятельность, нельзя было и предположить, чтобы в квартире профессора не было отдельного кабинета, общей комнаты — гостиной, под которую всегда отводилась самая большая комната квартиры, отдельной столовой и, в зависимости от числа детей, одной или двух детских, ну и, конечно, отдельной спальни. Одну комнату я специально отвёл для приезда родителей.

При кухне имелась комната для прислуги. Ванна и прочие «удобства» — всё было исключительно хорошо оборудовано. Подклетнов, хозяин, главный приказчик большого магазина, в котором продавались хозяйственные вещи и всякого рода предметы оборудования, конечно же, для своего дома выбирал лучшее из лучшего.

У меня уже имелась прислуга Дуняша — очень хорошая кухарка (впоследствии пришлось с ней расстаться — оказалась не совсем чистой на руку). Папе в Саратове всё очень понравилось — и город, и мои товарищи, и моё жильё. Дуняша готовила превкусные обеды и старалась всячески угодить «старому барину».

Торжественное открытие Саратовского университета

Программа самих торжеств выглядела так: накануне Николина дня — торжественная всенощная*. Утром 6 декабря — литургия в соборе, выстроенном в совершенно необычном классическом (дорическом) стиле, вокруг него был разбит городской сад «Липки» (теперь собор разрушен)[294]. После обедни — крестный ход: всё духовенство и все приглашённые направлялись по Московской улице для освящения места, выбранного под постройку университетских зданий, — на Московскую площадь. Планы строительства были уже составлены, и сооружение двух зданий экспериментальной медицины намечалось начать с весны 1910 года, а Физического института и Анатомического театра — с весны 1911 года. После крестного хода все должны были собраться в городском театре, где предстояло заседать Совету в день Акта торжественного открытия Саратовского университета[295]. Вечером 6 и 7 декабря — иллюминация города. На другой день — обед, который давало городское самоуправление в здании городской Думы[296], и в заключение — концерт и бал в залах Коммерческого собрания[297].

* Саратовским архиереем был известный своими черносотенными взглядами и выступлениями преосвященный Гермоген. — Прим. В. Д. Зёрнова.

Приехало множество гостей: от всех русских университетов, от всевозможных учёных обществ, от городов, земств, даже из-за границы — от славянских университетов. Для того времени открытие нового университета в России являлось событием исключительной важности. В России их насчитывалось всего девять: Московский, Петербургский, Киевский, Харьковский, Казанский, Томский, Одесский, Варшавский и Дерптский (Юрьевский).

К богослужению и крестному ходу собралось множество народа, и не только жителей Саратова, но также из Покровска[298], с противоположной стороны Волги. Сам крестный ход получился чрезвычайно внушительным[299]. Впереди шествовали представители духовенства. В воздухе реяли хоругви. И кругом — море народа. Я почему-то отстал от головы шествия и в конце концов пробраться к месту, где проходил молебен и ритуал освящения[300], так и не сумел.

Хотя до заседания оставалось ещё много времени, театр был уже почти полон. На сцене, украшенной живыми растениями, цветами, стоял стол, покрытый красным сукном, и на нём «зерцало» — необходимая принадлежность всякого официального заседания Совета*. Стол на сцене предназначался для почётных гостей, а для произнесения речей и приветствий в левой от публики стороне сцены возвышалась кафедра.

Наконец стали подходить и гости с молебствия. Все были нарядные — в мундирах и фраках[301]. Для зачтения Закона об открытии университета ожидали приезда по крайней мере министра народного просвещения Шварца, если уж не самого Столыпина — председателя Совета министров и бывшего саратовского губернатора, он, собственно, и настоял на том, чтобы новый университет был открыт именно в Саратове[302], ведь на эту честь претендовало чуть ли не одиннадцать городов[303]. Однако на торжества приехал только попечитель Казанского учебного округа Деревицкий. Он и открыл заседание Совета.

По старинному обычаю Акт начался с двух речей, посвящённых истории возникновения Саратовского университета. С ними выступили ректор В. И. Разумовский и декан И. А. Чуевский. Не помню в точности заглавия этих речей, но Разумовский говорил на более общую тему — чуть ли не о русских университетах вообще, а Чуевский — более частно о Саратовском университете (обе речи напечатаны в первом выпуске «Известий» Саратовского университета)[304]. Затем попечитель зачитал текст Закона об открытии «Императорского Николаевского Университета» в Саратове. Закон, конечно, все выслушали стоя и долго потом кричали «ура».

Члены Совета, вместе с попечителем и секретарём, всего девять человек, сидели на сцене за столом. Я находился с левого от публики конца стола. После прочтения Закона оркестр должен был исполнять гимн. Но из-за тесноты его поместили за сценой. Вдруг я слышу какие-то жалкие звуки, едва слышные за общим шумом в театре. Не долго думая, я стал во весь голос не то чтобы петь, а буквально орать слова гимна: «Боже, царя храни». Публика на сцене и в театре подхватила — и все полторы тысячи человек исполняли гимн, звучавший в честь молодого университета. В саратовских либеральных газетах с нескрываемым издевательством было описано это происшествие, и мой либерализм был ими взят под подозрение**.

---

* «Зерцало» — это, так сказать, символический «глаз царя»: трёхгранная призма высотой сантиметров 40–50, по граням которой в золотых рамках помещались Петровские законы, а наверху — скульптурное изображение государственного герба — двуглавого орла.— Прим. В. Д. Зёрнова.

** Впоследствии я не раз убеждался в том, что ни «Саратовский листок», ни «Саратовский вестник» диалектическим методом не владели.— Прим. В. Д. Зёрнова.

Начались приветствия и чтение бесчисленных адресов[305]. Следом за правительственными приветствиями с прекрасно оформленным как внутренне, так и внешне адресом выступила делегация от Московского университета[306]. Зачитывал адрес с кафедры Мануйлов как ректор, а папа в мундире со Станиславской лентой через плечо стоял рядом. Один юноша, Миша Масленников, который присутствовал на открытии, позже говорил мне: «Самым счастливым человеком в день открытия Саратовского университета был Дмитрий Николаевич!». И я как сейчас вижу папу — нарядного, красивого и довольного. Ну да как же — он лучшей участи для меня не желал. Ведь его сын сидел за столом в качестве члена Совета открываемого университета.

Среди коренных саратовских семейств семья Масленниковых являлась, пожалуй, одной из самых интеллигентных. Отец Миши Александр Михайлович был крупным адвокатом и членом Государственной Думы от Саратова, а мать Людмила Львовна ещё не старая, очень бойкая дама, принимала большое участие в организации наших торжеств, концерта и бала и вообще очень интересовалась жизнью университета. Я часто бывал у них дома. Однако Людмила Львовна скоро отошла от университетских дел, вероятно, потому, что в «Общество вспомоществования недостаточным студентам», которое по примеру московского вскоре возникло и в Саратове, председательницей выбрали Татьяну Яковлевну Соловьёву — человека совершенно исключительных достоинств. Нашу дружбу с ней, решаюсь именно так квалифицировать наши отношения, мы сохранили до самой её смерти.

На торжестве открытия присутствовали представители от самых разнообразных слоев общества и учреждений; присутствовал и мулла как представитель магометан, и еврейский раввин, и лютеранский пастор, и настоятель католической церкви. Отсутствовало лишь православное духовенство. Гермоген считал, что театр столь греховное действо, что даже на открытии учреждённого царём университета быть в его здании православному духовенству не пристало[307]. Да и к самому университету Гермоген вряд ли относился сочувственно. Ведь университеты всегда были проводниками либеральных идей, а Гермоген по убеждению принадлежал скорее к лагерю махровых черносотенцев[308].

Заседание в театре затянулось. Стало очевидным, что прочесть все приветствия и адреса нет никакой возможности, и далее депутации одна за другой просто подходили к столу, за которым сидели члены Совета, и клали свои папки и свитки. В итоге на столе накопилась целая гора всевозможных подношений.

На следующий день в актовом зале университета были расставлены столы во всю длину зала и все поднесённые накануне адреса разложены для осмотра гостями, которых с утра 7-го числа специально пригласили в университет ознакомиться с нашими лабораториями и вчерашними подарками. Во главе праздничных подношений красовался адрес от Московского университета. Надеюсь, все они или, по крайней мере, наиболее ценные хранятся сейчас в библиотеке Саратовского университета[309]. Вечером у себя дома я нашёл поздравительную телеграмму от П. Н. Лебедева[310].

Теперь трудно поверить, что в столь короткий срок удалось так много сделать. И здание приспособить, и отремонтировать, и обстановку для лабораторий получить, и всё пустить в ход. Ведь мы показывали гостям не проекты, а готовые, действующие лаборатории, в которых уже занимались студенты и ставились науч-

ные опыты. Даже заграничное оборудование по телеграфному заказу приходило иногда через неделю после дня отправки заказа.

Итак, 7 декабря гости осматривали саратовские достопримечательности, главным из которых, конечно, являлся университет. А к часам пяти стали собираться на обед в здание городской думы. Обед был прекрасный[311]. Его меню сохранилось у меня до сих пор, и теперь (1945 год) просто чудно смотреть на то обилие и разнообразие блюд, которыми город угощал своих гостей. Вино, конечно, лилось рекой, и каждый тост за новорождённый университет покрывался возгласами: «Vivat! Grescat! Floraat!» — «Да здравствует! Да растёт! Да процветает!».

К концу обеда некоторые из гостей, и наш секретарь Совета[312], от избытка тостов так ослабли, что отправиться на концерт уже не могли. А делегат из Петербурга минералог профессор Иностранцев, правда, возвернувшись уже из Коммерческого собрания после «бала», обнаружил, что на нём одна галоша. На другой день он уверял, что никак не может понять, когда он умудрился потерять правую галошу.

Собственно «бал», то есть танцы, которые предполагались, пришлось отменить, ограничившись концертом и «раутом». Дело в том, что в день открытия университета было получено известие о смерти старейшего члена императорской фамилии — Михаила Николаевича. Чтобы не сорвать торжества открытия, губернатор граф Татищев разрешил задержать объявление через газеты о кончине великого князя до 8 декабря, но танцы всё же отменили.

Концерт устраивался силами Саратовского музыкального училища. Его основатель и директор Экснер дирижировал оркестром и хором — исполнялась написанная им же на открытие университета торжественная «Кантата»[313]. Впоследствии обнаружилось, что музыку «Кантаты» Экснер сочинил ещё при открытии Саратовского музыкального училища, новыми были только слова для хора, написанные преподавателем виолончели этого же музыкального училища Горделем. Впрочем, торжественность «Кантаты» от этого не пострадала.

Накануне и непосредственно в дни торжества в городе невозможно было достать цветов — цветочные магазины опустели. И цветы для подношений специально выписали из Ниццы. Большая часть букетов состояла из полевых чайных роз, а один роскошный букет из красных роз студенты должны были поднести главной распорядительнице всего вечера Людмиле Львовне Масленниковой. И только в конце вечера, когда уже начали расходиться, букет обнаружили где-то под сценой. Так он по назначению и не попал. Пришлось мне извиняться перед Людмилой Львовной.

Целый день по различным делам дёргали и меня. И в конце концов я потерял способность ориентироваться, что нужно делать, а что нет. Помню, подбегает ко мне студент-распорядитель: «Аккомпаниатор требует, чтобы на рояле стояло два подсвечника со свечами. Где взять подсвечники?». Я накинул шубу и привёз из дома два подсвечника со свечами. И только сидя на извозчике с двумя подсвечниками в руках, сообразил: «Да зачем же я всё это делаю!? Во-первых, на сцене электрическое освещение, во-вторых, если обойтись без этого никак нельзя, то зачем же я сам еду за какими-то там подсвечниками!». И тем не менее обстановка вокруг была радостной, печалило лишь — не было ещё со мной моей Катёнушки.

Начало семейной жизни в Саратове

Я уже заканчивал читать лекции, длившиеся числа до 15 — 18 декабря, и собирался в Москву, чтобы после каникул привезти в Саратов свою многочисленную семью.

В Москве я застал всё в порядке: Танечка кормилась нормально, грудью, Митюня был уже большим — ему исполнилось тогда 2 года и 9 месяцев. Затруднения встретились с нянькой. Наша няня Катерина не решалась ехать в Саратов; взяли другую — она, кажется, в первый же день, отправляясь за своими вещами, вернулась выпимши; пробовали нанять хотя бы на время из акушерской клиники, но, как сказал Н. И. Побединский, в начале января идут «пасхальные» дети и все клинические няньки заняты. Решили ехать с нашей Настей и уже в Саратове взять няню. Посмотреть на наше новое гнездо с нами собралась ехать мама. Эту зиму, после лечения в Карлсбаде, она чувствовала себя прилично. У неё ведь была сахарная болезнь. Однако карлсбадская вода, хотя и на время, но всё же очень помогла ей, так что в конце лечения в её организме почти не наблюдалось выделения сахара.

Рождественские каникулы за всеми хлопотами по переезду прошли незаметно. Для перевозки Танечки купили большую в мелкую сетку бельевую корзину, и она лежала в ней, как в гнёздышке.

И вот около 10 января в купе международного вагона мы все вместе отправились в Саратов, чтобы провести в нём, как я люблю всегда говорить, вершину нашей семейной жизни.

Чтобы перевезти детей с вокзала на нашу новую квартиру, хотя расстояние было пустяшное, я просил заранее Ф. Ф. Троицкого нанять закрытую карету. Но это оказалось не так просто, как я думал. В Саратове имелась лишь одна единственная наёмная карета, отпускавшаяся «под невесту» на купеческих и мещанских свадьбах. Внутри она была обита белым шёлком, правда, не первой свежести. Ну да, во всяком случае, было даже хорошо, что карета оказалась свадебной ней, по крайней мере, не перевозили больных.

В первый же приезд с нами в саратовской квартире в доме Подклетнова на углу Московской и Ильинской улиц жила девушка-горничная, которую Митюня почему-то называл «прошлогодняя Анюта». Вскоре нам удалось взять и няню. Раньше она жила в самых лучших саратовских купеческих домах — у мукомолов Шмидт. И как няня, и как человек она оказалась очень хорошей, но пробыла у нас недолго, так как весной не решилась ехать в Москву. Под Саратовом у неё, в то время и самой уже достаточно пожилой, жили старые родители, которых она не решалась оставить.

Наше первое самостоятельное хозяйство выглядело так: квартира в шесть комнат и три прислуги (кухарка Дуняша, горничная Анюта и няня — не помню, как её звали). Это было интереснейшее время — всё вначале. Я заранее рисовал планы будущего Физического института, советовался с П. Н. Лебедевым при наших свиданиях. Катёнушка занималась ребятами и своим молодым хозяйством, вела точный учёт расходам, книга записей расходов у нас сохранилась, и, думается, представляет некоторый интерес для истории экономики как своеобразное свидетельство эпохи[314].

Самым дорогим в наших ежемесячных расходах была, естественно, квартира — 66 рублей в месяц, да дрова обходились рублей в 20 за месяц, разумеется, в ото-

пительный сезон. Питание же было столь дёшево, что теперь даже и не верится. Я всегда вспоминаю: за воз арбузов для солки мы заплатили всего-навсего 1 рубль 50 копеек. И всё остальное — в таком же духе. Тем не менее моего заработка в 144 рубля, даже при таких ценах, было всё же недостаточно, и папа присылал мне 50 рублей в месяц. Конечно, он помогал мне всячески и в экстренных случаях, но на эти постоянные 50 рублей, считал он, я имею право из процентов с капитала, которым он владел.

Мы знакомились с саратовцами и обменивались визитами. Крупный адвокат (прежде он был не то прокурором, не то членом судейской палаты) Борис Александрович Арапов, побывав у нас с визитом, заинтересовался материальным положением профессуры. Задавал массу всевозможных вопросов, среди них — и такой: сколько получает экстраординарный профессор? Он был сильно удивлён моим ответом: саратовцы думали, что профессор получает куда больше 144 рублей. В столичных университетах, например, были большие гонорары, да и разные, как теперь называют, совместительства были возможны. Профессорский гонорар начислялся из взносов студентов за обучение в университете. В полугодие они вносили 25 рублей в пользу казны, затем — по одному рублю (медики — по 75 копеек) за каждый недельный час лекций. В Саратовском университете в первый год училось только 100 медиков, притом добрая половина их полностью освобождалась от платы, и гонорар саратовской профессуры выглядел действительно ничтожным[315] .

— Как же вы, любезный Владимир Дмитриевич, — продолжает расспрашивать Арапов, — обходитесь с таким жалованьем?

— Да так уж, — смеюсь я в ответ — 66 рублей — квартира, 20 рублей — отопление, рублей 30 — жалованье прислуге.

Наш гость с ужасом в голосе восклицает:

— Да на что же вы обедаете?

— А мы вообще не обедаем, только завтракаем, — опять с улыбкой поясняю я, хотя вопрос этот был для нас и в самом деле больным.

Профессора медики — не теоретики — всегда имели практику, соответственно и большие доходы. Но все мои первые товарищи по Саратовскому университету являлись как раз теоретиками. Кроме меня и Бирукова, остальные, правда, были ординарными профессорами, и их месячное содержание составляло 250 рублей. Тем не менее все стремились к профессуре и в общем жили неплохо. Сейчас в провинцию на кафедру никто не интересуется идти, потому-то и вынуждены там обходиться местными силами, сплошь и рядом кафедрами заведуют люди без всяких степеней.

Большинство преподавателей эту первую зиму жили без семей. Семьи В. И. Разумовского и В. В. Вормса оставались в Казани. А. Я. Гордягин был вообще одинокий. Семья И. А. Чуевского находилась в Харькове, и Иван Афанасьевич временно поселился у пианистки М. И. Овсяницкой, которая, по-видимому, рассчитывала на прочную семейную жизнь с ним. Но вскоре в Саратове появилась жена Чуевского Елизавета Аристарховна, и счастье Овсяницкой было разрушено. Мы часто с ней играли, она стала моим первым музыкальным партнёром в Саратове.

С семьёй Стадницкого мы, как говорится, не водились, а с Бируковыми дружили, да они и жили в одном доме с нами.

Весной 1910 года умерла папина сестра тётя Вера[316]. Её муж Иван Степанович Краснопевцев был моим крёстным отцом. У тёти Веры имелся крохотный капиталец, который после её смерти был разделён между всеми её племянниками (своих детей у тёти Веры не имелось). На мою долю досталось 1700 рублей. Мне очень хотелось летом снова съездить за границу. Тем более что появилась возможность в августе побывать на Радиологическом съезде в Брюсселе[317], получив от университета командировку, хотя бы без всякой оплаты. Катёна же ехать не решалась: Танюша — совсем маленькая.

У нашей прекрасной квартиры всё же имелось два существенных недостатка: во-первых, дом стоял на углу двух шумных улиц, по которым проходили трамваи, к тому же один из них с Московской улицы заворачивал на Ильинскую, и когда открывали окна, в квартире стоял неимоверный шум. Во-вторых, двор был маленький и без единого кустика, так что детям некуда было выйти погулять.

Родители приехали к нам в гости в начале Страстной недели. Окна на улицу были уже открыты, отчего квартира наполнялась шумом. Папа и мама настаивали, чтобы мы переменили квартиру — нашли более спокойное место и с садом.

Мы сразу начали искать и присмотрели совершенно замечательную, вполне удовлетворяющую нас квартиру. Это был особнячок на Константиновской улице, принадлежавший Новикову. Всего в нём было 7 комнат, просторная кухня с небольшой комнаткой для кухарки и нишей за печкой для горничной, и, самое главное, при доме имелся очаровательный маленький садик. Сад как раз был весь в цвету.

Лето 1910 года мы, естественно, проводили с родителями в Дубне. Чтобы помочь Катёнушке, я «выписал» к нам её сестру — тётю Лёлю. Её присутствие позволило мне позже осуществить поездку за границу.

В конце июля я отправился с Настей в Саратов, чтобы переехать на новую квартиру. Никаких затруднений и хлопот я не испытал. В квартире я временно поселил Троицких. Сам же, взяв в университете командировку на съезд в Брюссель и получив заграничный паспорт для себя и Катёны, проездом через Москву зашёл на городскую станцию — она помещалась там же, где и теперь, в здании «Метрополя». Выписал там два круговых билета: Москва — Граница — Вена — Цюрих — Люцерн — Интерлаккен — Женева — Париж — Брюссель — Кёльн — Лейпциг — Берлин — Александрово — Варшава — Москва — и вечером заявился в Дубну:

— Ну, Катёнушка, собирайся, билеты взяты.

Подсчитав предстоящие дорожные и прочие расходы, я решил: из моего «наследства», полученного от тёти Веры, 1000 рублей кладу про запас (позже я купил на них процентные бумаги), а 700 рублей тратим на заграничную поездку. Родители же обещали телеграфировать во все города нашего маршрута о здоровье детей.

Радиологический съезд в Брюсселе

Первая наша остановка на пути в Брюссель — Вена. Но Вены мы почти не видели. Погода стояла отвратительная — дождь. И мы, лишь купив себе кое-что — мне пальто и ботинки, Катёне какие-то пустяки, помню только хороший зонтик, — поехали дальше. Погода не исправлялась. Река Инн «вздулась», и наш поезд долго и осторожно шёл по берегу этой бурной горной реки. Чтобы ехать по

Швейцарии днём и любоваться прекрасным ландшафтом гор и озёр, мы остановились на ночлег в Инсбруке, а рано утром продолжили путь.

Наконец-то погода разгулялась, и мы благополучно добрались до Цюриха. Здесь сделали нашу вторую остановку — специально для того, чтобы посетить Рейнский водопад. Целый день мы посвятили осмотру этого уникального сооружения природы.

Вернувшись с Рейнского водопада, перед вечером мы переехали в Люцерн на Фирвальдштедтское озеро. Там ходили в парк, к высеченному в скале умирающему льву, памятнику верности и храбрости гельветов — наёмных швейцарских войск, которые защищали последнего французского короля во время революции и были все перебиты восставшим народом. Поднимались на гору над Люцерном, откуда рекомендуют любоваться окрестностями. Почему-то перед отъездом С. А. Макаров советовал нам подняться по пешеходной тропе и, полюбовавшись видами, спуститься трамваем, а не наоборот. Мы послушались его и так намучились, что, когда добрались до вершины, нам было уже не до созерцания красот природы. Мы сели в трамвай и через четверть часа были у себя в гостинице. Зато на другой день мы чудесно прокатились на пароходе по Фирвальдштедскому озеру. Берега-скалы смотрятся в его зеленоватые воды, леса по горам. Мы остановили пароход у часовни Вильгельма Телля и километра четыре шли пешком по прекрасной дороге вдоль берега озера до Флюэнего, где стоит памятник Вильгельму Теллю. Обратно для разнообразия, чтобы видеть другие места, вернулись поездом. Здесь любопытен ещё ледниковый парк с так называемыми ледниковыми мельницами: в углублении на скале потоком воды вращается каменный шар. Оказывается, такие «мельницы» есть и у нас на Урале, в геологическом заповеднике. Эти странные образования объясняются деятельностью льдов, покрывавших когда-то всю Европу. Рядом с ледниковым парком находился довольно глупый, но забавный аттракцион. Мы вошли в маленькую трёхгранную комнату, стены которой сделаны из зеркал. Нам показалось, что мы попали в громадную толпу людей, но, всмотревшись, увидели — это всё наши же изображения.

Рано утром мы выехали из Люцерна к Интерлаккену. Горная железная дорога то подымается на большую высоту, то спускается в чудную долину с озёрами и горными речками. Между обычными рельсами положен третий, за него паровоз цепляется зубчатым колесом. Мы, не отрываясь, смотрели в окно на прелестные долины. Так и хотелось выйти из вагона и пожить на берегу маленького голубого озерка. В Бриенце, пересев на пароход, мы проплыли вдоль всего Бриенцского озера. Тут погода снова испортилась, и хотя нам удалось погулять по окрестностям Интерлаккена, но красавица гора Юнгфрау была закутана облаками.

Дальше поездом через Симменталь, где находится центр симментальского животноводства, мы перевалили через горный хребет и спустились к Женевскому озеру.

Спустились мы к Монтрё, отсюда — пароходом по Женевскому озеру до Женевы. Опять чудесная прогулка по озеру, воды которого славятся необычайно голубым цветом — это зависит от взвешенных в воде ультрамикроскопических частиц, которые, деформируя свет, не делают, однако, воду мутной она прозрачна, как кристалл.

Мы чуть было не опоздали на пароход. Катёна осталась на пристани с вещами, а я пошёл купить швейцарского шоколада в павильончик. Он находился не-

далеко от пристани, но и не рядом. Стою я, выбираю из множества сортов (были там и молочный, и чёрный горьковатый) и вдруг оборачиваюсь и вижу — вся публика с пристани переходит на неслышно подошедший пароход. Я сломя голову побежал, и в последний момент по сходням мы поднялись на палубу. Шоколад я всё-таки успел купить.

К вечеру приехали в Женеву, устроились в гостинице. Я сходил на телеграф и получил телеграмму из Дубны — там всё обстояло благополучно. Утром погуляли по городу, по набережной озера, взяли автомобиль и проехали к Шильонскому замку.

А вечером мы сели в поезд и рано утром прибыли в Париж. Ехать ночью не хотелось, но тут выбора не было, да мы к тому же и торопились к сроку в Брюссель. В Париже мы остановились в гостинице, которую нам рекомендовал папа: весьма второстепенная, скорее — меблированные комнаты, излюбленное место русских профессоров. Хозяйка знала многих русских профессоров и даже гордилась, что учёные предпочитают её меблированные комнаты. Объяснялось это очень просто: не только недорогими комнатами, но и тем, что сам дом помещался в университетском Латинском квартале, против театра «Одеон». Дом выстроен в чисто старопарижском стиле, какие можно увидеть в фильме «Под крышами Парижа»[318]. И внутри всё старенькое. В комнатах не имелось даже электрического освещения. В верхние этажи вела винтовая деревянная скрипучая лестница. Посреди комнаты, занимая большую её часть, возвышалась громадная двуспальная кровать. Пахло керосиновыми лампами. Катёнушке, конечно, это помещение не особенно пришлось по вкусу. Но зато вся обстановка переносила в старые времена. А сам Париж опять произвёл на меня чарующее впечатление.

Площадь перед театром «Одеон» очень шумная. Всю ночь едут какие-то телеги. По-видимому, грузовой транспорт приурочен, главным образом, к ночному времени. Катёна от этого шума просыпалась, ей снилось, что какие-то телеги наехали прямо на дом.

Чтобы Катёнушка получила общее впечатление о размерах и внешности Парижа, мы наняли фаэтон и просто ездили по улицам и бульварам. Погода стояла чудесная. Побывали мы на могиле Наполеона. Прошлись по большим магазинам. Катёна купила себе готовый костюм, который очень долго ей служил. Детям — замечательных мишек: Митюне — очень большого, а Танюше — поменьше. Побывали и в Лувре[319] , там нас привлекали больше всего картины Леонардо да Винчи, особенно «Мона Лиза» («Джоконда»), так как мы в ту пору увлекались трилогией Мережковского[320].

Попали мы и в Grande Opera, но сидели довольно высоко, хотя видно и слышно всё было очень хорошо. Шла двухактная опера Р. Штрауса «Саломея», обставленная превосходно: чудный оркестр, прекрасные голоса. Контрастом ей выступал очень бедно поставленный на этой же сцене балет «Фея кукол»[321]. Русский балет в этом отношении намного выигрывал.

Обедали мы в характерных для Парижа домовых ресторанчиках Дивиля.

В год нашего приезда в Париже открылась первая линия метрополитена, но или он вообще был плохо сделан, или не вполне закончено оборудование, но только в тоннелях было как-то душно и сыро. Ездили мы с Катёной и на Paire la Chese, знаменитое парижское кладбище, где погребены расстрелянные коммунары.

Радиологический съезд был приурочен к Всемирной выставке, проходившей в Брюсселе. На съезд, тоже всемирный, съехались учёные физики со всего света и самых разнообразных специальностей. Ведь все явления, какие ни взять, связаны с излучением: и генератор переменного тока излучает, и трансформатор Тесла излучает, и вибратор Герца излучает. Излучает всякое нагретое тело, какой бы температурой оно ни обладало. Только разные лучи нагретого тела по-разному действуют на человека. Далее идут всякие люминесценции до рентгеновых лучей включительно. Наконец, излучает электромагнитные волны и выбрасывает, то есть излучает, β и χ лучи радий. В соответствии с этим образовалось множество секций. Но стояла на съезде и общая для всех задача, заранее доведённая до сведения всех делегатов: необходимо было международным соглашением установить единицу измерения радиоактивного излучения.

Остановились мы в старом городе в гостинице «Miroire». Здесь же остановилась и madam Kurie — мы нередко видели её в гостиничном ресторане. Её мужа, Пьера Кюри, уже не было в живых. Его задавили на улице в Париже: он был глуховат и, переходя улицу, не услышал сигналов автомобиля, который сшиб его[322]. Мария Кюри, уже большая знаменитость, доктор и профессор Сорбонны, внешне выглядела довольно-таки неожиданно: истощённая, какая-то вся выцветшая, неряшливо одетая, в измятой шляпе. Она очень напоминала русскую курсистку старого времени, когда заботиться о внешности для курсистки считалось неприличным. Но, как знаменитость, madam Kurie всегда была окружена молодёжью.

Мы появились в Брюсселе как раз вовремя. В день приезда я отправился на «встречу» — она проходила вечером в городской ратуше: все члены съезда собрались здесь, чтобы познакомиться друг с другом. Все — во фраках. Я тоже взял с собой этот парадный костюм и надевал его в парижскую оперу, на эту встречу в ратуше и ещё в театр в Брюсселе на спектакль, который специально устраивали для членов съезда. На встрече в городской ратуше я видел и кое-кого из русских представителей — двух профессоров из Казани: Гольдгаммера-старшего, сделавшего доклад в одной из секций на какую-то сугубо теоретическую тему, и Ульянина, занимавшего в Казани кафедру теоретической физики. Говорят, Ульянин претендовал на кафедру в Саратовском университете, но как будто бы из-за его «приверженности к рюмочке» организаторы нового университета кандидатуру его отвели. По отзывам же П. Н. Лебедева, который знал Ульянина ещё по Страсбургу, тот был весьма способным человеком[323]. Встретил я и ряд учёных, с которыми познакомился летом 1909 года: Рикке из Гёттингена, В. Вина, которого я слушал в Вюрцбурге, Резерфорда.

Ходил я на секционные заседания, но особенно интересных докладов не слышал: все — довольно мелкие и какого-то сугубо секционного характера. Но я не являлся специалистом в какой-либо узкой области излучения, все мои интересы находились в акустике, а она-то и не была представлена на съезде.

Более интересными для меня оказались доклады на общих собраниях. Слушал я большой доклад Риги, подводившего итоги учению об электромагнитных волнах. Как всегда, интересный и содержательный доклад сделал Резерфорд.

На первом же общем собрании выбрали комиссию для установления единицы измерения радиоактивности. Комиссия, разумеется, состояла сплошь из одних знаменитостей: Кюри, Резерфорд и другие известные имена. На следующем общем собрании съезда комиссия доложила результаты своей работы. За единицу измерения радиоактивности было взято количество энергии, излучаемой граммом чистого радия в одну секунду. Эту единицу измерения назвали в память Пьера Кюри его именем: кюри.

Мария Кюри на этом же заседании докладывала, что ей удалось получить металлический радий, по виду похожий на металлический натрий. Металлический радий так быстро окислялся, что в виде металла мог сохраняться только в абсолютном вакууме. Как известно, количество излучаемой энергии не зависит от того, в каком соединении или в каком состоянии находится радий, если, конечно, вести расчёт на чистый металлический радий. Мария Кюри докладывала и об установленной единице, благодарила съезд за то, что эту единицу в память Пьера Кюри назвали его именем.

На спектакль в городском театре члены съезда получали билеты в бюро съезда. Катёна же была записана «гостем», и, таким образом, мы оба имели по билету в партер. Давалась в прекрасном исполнении «Манон». Около нас, или чуть впереди, сидел Сванте Аррениус. Я поклонился ему и напомнил, что мы уже встречались. Ведь я видел и слушал его на первом Менделеевском съезде, затем — в лаборатории Резерфорда. И эта встреча была уже третья. Аррениус был очень приветлив, и мы долго разговаривали по-немецки. Это было ещё до того, как Аррениус звал П. Н. Лебедева в Норвежскую академию и писал ему, что в ней он получит положение, «соответствующее его научному рангу»[324]. Вообще, «звание» ученика Лебедева открывало доступ во все физические лаборатории и делало их хозяев весьма любезными.

Сам Брюссель производил тогда неприятное впечатление. Улицы плохо убраны. В старом Брюсселе они так узки, что трамвай едва проходит между тротуарами и надо остерегаться того, чтобы он тебя случайно не задел.

Посетили мы и выставку, но она выглядела довольно бедно. Кстати, после нашего отъезда выставочные здания сгорели. Рассказывали, что компания-устроитель Всемирной выставки потерпела большие убытки: выставка не была популярна и приносила мало доходов, да и пожар застрахованных зданий едва ли не был вызван специально, чтобы свести концы с концами.

Из Брюсселя мы отправились в Лейпциг — навестить К. А. Кламрота. В Кёльне пересаживались, между поездами оставалось время, и мы погуляли по городу и купили «О-де Колона», то есть «Воды Кёльна», которой славится город. Особенной известностью пользовались фабрики «Мария-Фабрина» и «№ 4711». Мы накупили продукции обеих фабрик. Помню чудесные духи «Виолет» фабрики «№ 4711». Маме в подарок мы купили большую бутылку одеколона «Мария-Фабрина», который она очень любила: запах действительно замечательный.

В Лейпциг мы приехали рано утром. К Кламротам так рано идти было неудобно. И мы отправились в Лейпцигскую картинную галерею. Ничего особенного там не обнаружили, огромное впечатление произвела лишь мраморная скульптура, изображающая Бетховена. Раньше я знал её по описаниям. Изображать Бетховена в кресле совершенно обнажённым мне казалось просто неприлично. Но на деле было совсем не так: я увидал колоннаду, промежутки между колоннами завешаны какими-то

драпировками. Я приподнял одну драпировку и был совершенно очарован: Бетховен из чудного белого мрамора, как живой, сидит в кресле, на коленях что-то вроде пледа из жёлтого мрамора. Бетховен сосредоточенно и вдохновенно смотрит куда-то вдаль, и нагой он или одетый — это совершенно неважно. Даже хорошо, что нет никакого платья, платье слишком обыкновенно для такого колосса, а перед Гением — орёл из чёрного мрамора, который как бы поражён величием Гения и отступает перед ним. Я никак не ожидал, что эта скульптура может производить такое впечатление. Как сейчас, вижу всю эту картину. Надо признать, изображения на фотографиях не дают никакого понятия об оригинале.

Мы пришли к Кламротам домой, и мой милый учитель опять был растроган свиданием. Я его видел, увы, последний раз. Мы пообедали у них, посидели недолго, дабы не утомлять старика — ведь Карлу Антоновичу перевалило уже за 80 лет*.

От Кламротов мы отправились прямиком на вокзал и, нигде больше не задерживаясь, поехали через Берлин — Александрово — Варшаву восвояси. В Александрове проводился досмотр вещей. Мы никаких мер не принимали, чтобы избежать пошлины, но вот наши спутники, и особенно спутницы, начиная от Берлина, были разодеты во все обновки, приобретённые за границей. Но после досмотра все шляпы, накидки и прочее были сняты и уложены по чемоданам. Ведь платье, пальто, шляпа, если они надеты на человеке, пошлиной не облагались, но если они лежали в сундуке, то оплачивались, и довольно высоко.

* Он умер летом 1913 года 84 лет.— Прим. В. Д. Зёрнова.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
(1910—1911)

Покупка научной библиотеки О. Д. Хвольсона

Ещё на рождественских каникулах в конце 1909 года, когда я уже вернулся после торжества открытия Саратовского университета, в Москве проходил съезд естествоиспытателей и врачей*[325], и я, конечно, ходил на все заседания секции физики. А на последнем заседании я даже был выбран почётным председателем как гость-профессор.

В то время впервые появилась цветная фотография по трёхцветной системе фирмы Люмьера[326]. Один из врачей на последнем заседании этого съезда как раз и делал доклад о системе Люмьера и показывал в проекции на экране свои прекрасные фотографии. Впоследствии я одалживал у него эти фотографии для публичной лекции, которую я читал в Саратове, — своих снимков у меня ещё не было.

Перед самым съездом я ездил в Петербург к Хвольсону, чтобы купить у него его научную библиотеку для Саратовского университета. Хвольсон сам написал мне письмо в Саратов, предлагая купить его библиотеку за небольшую цену[327]. Я просидел у Ореста Даниловича целый день, просматривая книги. Лучшие коллекции журналов он уже передал Русскому физико-химическому обществу[328], но всё же оставалось множество книг и журналов, и я, естественно, взял у него всё, что имелось. За массу книг — были там и редкие издания — он назначил всего одну тысячу рублей. Таким образом, библиотека Саратовского университета сразу получила большую коллекцию книг и журналов по физике. Мне хотелось, чтобы это собрание книг носило имя Хвольсона, но В. И. Разумовский запротестовал, так как Орест Данилович не пожертвовал книги, а продал их, хотя и за небольшую сумму.

Библиотека Саратовского университета быстро пополнялась. Много было и пожертвований[329]. Так, одна из самых больших коллекций книг была пожертвована сенатором Галкиным-Враским, и мне по этому случаю было даже поручено Советом написать для «Известий Саратовского университета» о нём биографический очерк[330].

Работа в строительной комиссии Саратовского университета

Зима 1910—1911 годов для меня явилась особенно памятной: я был введён в число членов строительной комиссии[331], что делалось чуть ли не по «Высочайшему приказу». Начались хлопоты по проектированию Физического института. Одновременно с ним проектировался громадный Анатомический театр. В его здании должны были размещаться, собственно, всего три учреждения, три кафедры: нормальной анатомии (профессор Стадницкий), патологической анатомии (профессор Заболотнов) и оперативной хирургии (ею заведовал сам В. И. Разумовский). Впрочем, в этом же здании размещалась, кажется, и кафедра судебной медицины. Во всяком случае, все дисциплины, имевшие дело с трупами, были собраны в одном месте, оттого-то и здание само получилось весьма грандиозным.

Корпус Физического института, по моей задумке, также должен был проектироваться с большим запасом площади. На это я чуть раньше получил «благосло-

---

* Он собирался каждые три года. — Прим. В. Д. Зёрнова.

вение» самого министра народного просвещения. Дело в том, что на предварительной беседе со мной Шварц сказал буквально следующее: «Стройте так, чтобы институт был рассчитан на сто лет вперёд!».

С того времени как я вместе с кафедрой перебрался в новое здание на Московской площади (конец 1913 года), прошло более тридцати лет, а помещения Физического института до сих пор ещё не все использованы по своему назначению. Уже после моего отъезда из Саратова в здании Физического института разместили фундаментальную библиотеку (она занимает по крайней мере треть всего здания — весь верхний этаж), чем надолго, а может, и навсегда испортили первоначально составленный план[332].

Главным архитектором был Карл Людвигович Мюфке (его В. И. Разумовский привёз с собой из Казани) — человек высокой культуры, хороший архитектор и художник[333]. Строительство предстояло очень большое, а отсюда за проекты зданий и самоё строительство Мюфке должен был бы получить довольно большое вознаграждение[334]. Но строительный отдел Министерства народного просвещения также претендовал на доходы с этого дела, поэтому и чинил всяческие препятствия и затруднения при утверждении проектов Мюфке.

И вот, чтобы удовлетворить аппетиты министерских архитекторов, наша строительная комиссия (или лучше сказать — В. И. Разумовский) решила оставить проект Анатомического театра за Мюфке, а проект Физического института заказать архитектору из министерства. Во главе строительного отдела министерства стоял тогда архитектор Шишко. Ему-то я и заказывал проекты Физического института[335].

Размеры и первоначальный набросок плана мы обсуждали с П. Н. Лебедевым, который непременно требовал, чтобы заведующий институтом и его ближайшие сотрудники непосредственно жили в самом здании института. Так обычно проектировались все немецкие институты. Лебедев хорошо представлял себе, как это важно для сохранения времени, ведь работа в институте иногда требует очень длительного присутствия в лаборатории, что крайне затруднительно для заведующего, если отсутствует для него жилое помещение в здании самого института. Мне удалось, опираясь на авторитет Лебедева, во всём этом убедить Разумовского. Так и было сделано здание Физического института.

Разумовский, Мюфке и я отправились в Петербург для защиты проекта Анатомического театра и Физического института. Что касается проекта Физического института, то он оказался неплохим, и наше требование о жилом помещении было удовлетворено в виде пристройки к основному зданию. Но он не выдержал сметы и вышел за пределы отпускавшейся суммы (помнится, тысяч 250) на 10 процентов.

Строительный комитет потребовал, чтобы проект был сокращён и проектная сумма не превышала разрешённой. Я указал тогда наиболее простой способ выполнения этого требования: предложил уменьшить линейные размеры пола института на 5 процентов, это как раз и дало бы уменьшение общей кубатуры на требуемые 10 процентов. Всё остальное, в том числе и жилая пристройка, сохранялось. Уменьшение размеров на 5 процентов линейных нисколько не портило дела, так как размеры, собственно, были преувеличены. Например, в третьем этаже были проектированы три зала для practicum'а на 10 саженей длины каждая да ещё две оптические комнаты.

При рассмотрении проекта Анатомического театра опять встретились затруднения. В перерыве к Мюфке подошёл один из министерских инженеров и откровенно сказал: «Послушайте, надо же „поделиться"». Карл Людвигович был крайне возмущён такой развязностью и не стал, конечно, дальше разговаривать. А Василий Иванович Разумовский прямо-таки готов был плакать. Когда я вышел из здания Министерства народного просвещения, то увидал Василия Ивановича стоящим под аркой, его форменная фуражка, как обычно, была сдвинута на затылок, а в глазах стояли слезы. Мне просто жалко стало старика. Я и говорю ему: «Позвольте мне посоветовать вам! Я Шварца хорошо знаю. Он, во всяком случае, человек порядочный и, конечно, не знает о том, что делается в строительном комитете министерства. Возьмите проекты, пойдите завтра на приём к самому министру и расскажите ему всё, как оно есть».

Разумовский просидел с Мюфке всю ночь и, подправив в проекте всё, что казалось рациональным из указанных в комитете замечаний, отправился к министру. Василий Иванович показал в общих чертах проект и рассказал о тех затруднениях, которые делает комитет (не знаю, говорил ли он о предложении «поделиться»). А. Н. Шварц взял листы чертежей проекта и подписал: «Утверждаю. А. Шварц»[336]. Так Саратовский университет получил роскошное здание Анатомического театра. Лучшее в то время во всей России.

Мы вернулись в Саратов, и я стал дожидаться проекта Физического института. Я был уверен, что скоро получу его: предложенная мной система для удешевления проекта была достаточно проста и требовала лишь выполнения общего чертежа. Все рабочие чертежи должны были быть изготовлены аппаратом саратовской университетской комиссии. Пересчёт финансового проекта также не представлял каких-то трудностей. Но не тут-то было.

Время шло. Строительный сезон приближался, а из Петербурга ни ответа, ни привета. Работы по постройке Анатомического театра сдавались уже подрядчикам, а проекта Физического института нет как нет. Пишем, телеграфируем в строительный комитет министерства — никакого ответа. Наконец посылаем телеграмму министру с просьбой разрешить сдавать работы до получения проекта, иначе время для заключения договоров с подрядчиками будет упущено и строительство придётся отложить на целый год. В скором времени такое разрешение мы получили, при этом сообщалось, что проект высылается следом. Через несколько дней он был получен. Но — какое огорчение! — это был тот же черновой экземпляр чертежей без всяких сокращений, а уменьшение проектной суммы было произведено за счёт того, что жилая постройка полностью выбрасывалась из проекта. Спорить было уже некогда. Тем более, что и В. И. Разумовский в глубине души был против жилых корпусов на территории Московской площади, где строился университет. Так мне и не удалось осуществить свою мечту и завет П. Н. Лебедева — жить при самом институте. Впоследствии мне часто вспоминались слова Петра Николаевича: «Постройте себе хоть конуру, но живите при самом институте».

На закладке я присутствовал вместе с И. А. Чуевским. Мы сами выкопали первые лопаты земли для котлована. Не помню, какого это было числа, вспоминается только, что стоял чудесный весенний день 1911 года[337].

Позже из лабораторных помещений, указанных в проекте, я всё же выкроил маленькую квартиру для ассистента, заведующего хозяйством и для механика.

Я мог бы тем же образом выкроить неплохую квартиру и для директора, но было уже поздно. К тому же казалось, что если я так поступлю, то буду выглядеть несколько непорядочным человеком: помещение предназначено для лаборатории, а я его употребляю для своего жилища.

Волнений с постройкой было много — то одно задерживается, то другое не ладится. Помню, осенью 1911 года стены корпуса не были ещё выведены под крышу. По плану же мы должны были не только их закончить, но и покрыть здание до наступления зимних холодов. Другая напасть: в сентябре, когда строительный сезон далеко ещё не завершился, поднялся вдруг ураган, который свирепствовал три дня. Такая погода для Саратова не была, конечно, редкостью, но нам-то от этого не было легче. Все деревянные леса были разбросаны, а рабочие разбежались. Тогда же подрядчик нам заявил, что в создавшихся условиях он строить дальше не может, объяснив это тем, что его рабочие уехали по домам, а на Пешем рынке[338] рабочих нет, а если и есть, то они ломят такую несуразную цену, что он скорее согласен уплатить неустойку, чем набирать их — так-де он потерпит меньше убытку.

Мы с К. Л. Мюфке всячески убеждали подрядчика, доказывая ему: университет — это всё равно что церковь и отказываться от постройки университета всё равно что отказываться от постройки храма. По счастью, подрядчик нашими доводами вполне был убеждён. Работа, прерванная ураганом, снова возобновилась, и к зиме карниз был покрыт крышей.

Строительство и общее оборудование здания института заняло три строительных сезона, и только в конце 1913 года, перед самым Рождеством, нам наконец-то удалось перебраться из временного помещения у Царских ворот в роскошные здания на Московской площади.

Семейные события лета 1911 года

В Петров день, 29 июня 1911 года, появилась на свет наша Мурочка[339]. Несмотря на некоторый риск, мы решили встречать нашего третьего ребёнка в Дубне (доставить врача туда ведь не так просто).

Рано утром 29-го Катёна разбудила меня, я в свою очередь поднял акушерку и разбудил родителей: папа хотел на всякий случай вызвать из Москвы по телефону ассистента Н. И. Побединского доктора Унтилова (самого Побединского не было в Москве). Папа сейчас же встал, велел заложить лошадей и поехал в Лопасню к телефону, а мама опять заснула. Мурочка не заставила себя долго ждать. Папа не успел вернуться из Лопасни, а я уже во второй раз разбудил маму и поздравил её с внучкой.

Все радовались появлению «нового человека в мире». Для нас каждый новый член семьи служил источником радости и ещё больше укреплял наше семейное счастье.

Нам непременно хотелось назвать новорождённую в честь бабушки Марии Егоровны Марией. Мария Егоровна считала своей покровительницей Божию Матерь и праздновала свои именины 15 августа — в день Успения Богородицы. Я отправился к нашему «батюшке» и просил его прийти к нам и дать молитву новорождённой, нарекши её Марией в честь Богоматери. Батюшка заявил, что этого сделать нельзя, что в православии в честь Богоматери не называют, что даже нет какого-то «отпуска», какой-то молитвы, заключающей богослужение. Я не знал,

как быть. На помощь пришла матушка, попадья Варвара Ивановна. Она слушала наш разговор и сомнения батюшки разрешила следующим заявлением: «Ну что тебе, отец, как просят — так и назови!». Не знаю, какой «отпуск» читал священник, но наша Мурочка наречена была Марией. К крестинам я заранее купил новую хорошую медную купель. Крестили дома, в верхней гостиной. Крёстной была мама, а крёстным — Сергей Антонович Макаров. Нашу новорождённую дочурку все сразу почему-то начали называть Мура, Мурочка.

Мои родители радовались на своих внуков. Танечка была очень мила и по внешности, и по поведению. Была очень серьёзна и строга. Митюня, напротив, был очень подвижен, шаловлив. Танечкина рассудительность сохранилась на долгое время. Ещё когда мы в Саратове узнали о Февральской революции и отречении Николая II, Митюня (ему было 10 лет) очень волновался и обсуждал, как всё будет устроено, Танечка же солидно заявила: «Нечего нам разговаривать, всё равно нашего дитячьего голоса никто не послушает».

Я об этом писал папе в письме, которое нашёл развёрнутым на его письменном столе, когда приехал в Москву, вызванный по поводу его смерти. Очевидно, это последнее, что он прочёл о своей крестнице.

Вскоре после рождения Мурочки я съездил в Саратов по каким-то строительным делам. В Саратове была ужасная жара, так что днём все ставни были закрыты, и, хотя в комнатах стояла полутьма, от этого в них было значительно прохладнее, чем на улице. Наша прислуга Даша была занята вареньем. Как раз в это лето вишня практически была нипочём, да к тому же и сахар стоил гроши, поэтому и варенья наваривалось пропасть. Когда банка наполнялась вареньем, Даша её завязывала и крестила. Я пробыл в Саратове дня два-три и поездом вернулся в Москву. На строительной площадке было весело. Строительство шло полным ходом.

Приём в университете высоких гостей

Осенью 1910 или 1911 года, не помню точно, объезжал и осматривал отруба — устроенные по замыслу Столыпина хутора — министр земледелия Кривошеин[340]. Был он и у нас в помещении бывшей Фельдшерской школы. Держался Кривошеин очень важно, по-министерски, но к нашему университету он не имел никакого отношения, и мы им мало заинтересовались.

Вскоре нас известили, что должен посетить университет в сопровождении Кривошеина сам Столыпин. Это было как раз 17 сентября. И вот мы все в сборе.

Небольшая группа студентов и профессоров ждала высокого гостя в Актовом зале. Наконец появляется исключительно внушительная фигура Петра Аркадьевича Столыпина, а следом за ним целая свита — городские и губернские власти. Пётр Аркадьевич, человек громадного роста, в форме министерства внутренних дел — чёрном сюртуке с золотыми погонами, поздоровался с профессорами и прежде всего как-то внедрился в толпу студентов и стал с ними разговаривать об их делах и нуждах. Особенно бойко разговаривал со Столыпиным один студентик, который только что был на именинах и, верно, немного набрался там для храбрости. Я же в этот момент искал взглядом, куда подевался министр земледелия Кривошеин. И увидел — он как-то бочком присел сзади на подоконник, и в облике его никакой важности уже не замечалось, не то что при первом посещении университета. Мне тог-

да почему-то вспомнился гоголевский правитель канцелярии Иван Петрович, который, когда подошёл к дверям кабинета начальника, то и ростом даже сделался меньше, чем был на самом деле.

Пётр Аркадьевич, должно быть, по-прежнему продолжал чувствовать, что Саратовский университет — это его рук дело, что есть в нём и его заслуга.

Столыпин, бесспорно, являлся крупнейшим государственным деятелем. Если бы ему удалось провести свою земельную реформу до конца — разбить всё землепользование на отруба (хутора), возможно, история России пошла бы и по другому руслу.

Другим гостем, которого было также очень приятно видеть в стенах нашего университета, был Илья Ильич Мечников. В Прикаспийских степях возникли очаги чумы, и Мечников с целой компанией бактериологов, своих учеников из Парижа, направлялся для её изучения[341]. Продвигались они по Волге. И как пароход пристал к саратовскому берегу, учёные были встречены представителями города и университета. Между прочим, один из корреспондентов местной газеты, знакомясь с Мечниковым и интервьюируя его, выпалил такую тираду:

— Как приятно встречать в представителе Франции такого истинно русского человека и к тому же с таким характерным русским лицом!

Мечников тогда, помнится, улыбаясь, закончил мысль корреспондента своими словами:

— Тем более что я еврей.

Кажется, его мать, действительно, была еврейкой, но отец являлся русским дворянином[342].

Среди гостей Саратовского университета были и великая княгиня Мария Александровна с сыном Андреем Владимировичем в сопровождении какого-то немецкого принца. Мария Александровна, жена Владимира Александровича, являлась шефом всех пожарных частей и разъезжала по России, так сказать, с инспекторской целью[343].

В Саратове ей демонстрировали противопожарные средства в городе и на Волге. Говорят, когда пожарные пароходы работали одновременно всеми помпами, эффект был потрясающий. Я этого представления, к сожалению, сам не видел, но, по рассказам очевидцев, пожарные суда представляли собой громадные фонтаны в десятки, сотни струй воды, вздымавшейся на большую высоту.

Затем вся компания осматривала наши лаборатории и университет в целом. Чтобы оживить нашу экскурсию, я показал гостям несколько физических опытов. Между прочим, продемонстрировал им прибор собственного (нашей механической мастерской) приготовления, который показывал, как парусное судно движется против ветра. И в первый момент, как на грех, моё судно ни в какую не хотело двигаться вперёд, но потом, правда, пошло, и довольно удачно.

Мне же было поручено обратиться к высоким гостям с просьбой оставить свои подписи в книге, в которой, как правило, расписывались почётные посетители университета. Первой мою просьбу выполнила Мария Александровна. Это была видная, красивая, но уже пожилая женщина. Не знаю, правда ли, но говорили, что в Петербурге она вместе со всем своим семейством вела довольно весёлую жизнь. Иног-

да их увеселения в ресторанах заканчивались даже скандалами. О времяпрепровождении её сына Кирилла рассказывается, кстати, в повести «Порт-Артур», хотя, возможно, в ней уж очень сгущены краски.

Университетские дела

Наша университетская жизнь была очень интересна. Для меня внове было чтение полного курса и обеспечение его экспериментами. Я уже писал, что много времени посвящал подготовке лекций, так как И. М. Серебряков был ещё совсем неопытным демонстратором. Кажется, в первый же год я зачислил лаборантом (ассистентом) кафедры В. А. Заборовского. Он был моим однокурсником по университету, а в Саратове я его застал преподавателем физики в реальном училище. В эксперименте он, как и Серебряков, был малоопытен, но с большим интересом относился к работе. Он первый руководил практическими занятиями. Заборовский проработал недолго, года два, он болел туберкулёзом и умер совсем молодым человеком[344].

Сами заседания Совета (отдельных заседаний факультета у нас не было, так как факультет был только один — медицинский) происходили довольно часто, были оживлёнными и интересными. Это, конечно, зависело оттого, что всё находилось на стадии организации и постановления Совета действительно имели решающее значение. Кроме того, студентов было немного, мы знали их почти поимённо, и студенческие дела, которые теперь проходят мимо профессуры, тогда всех интересовали. Взять хотя бы назначение именных стипендий. И теперь назначение Сталинских стипендий идёт через Совет, но когда этот вопрос разбирается, то все только и думают, хоть бы поскорее он кончился. А главное-то, пожалуй, то, что тогда мне было тридцать с небольшим, а теперь без малого семьдесят. Но не только это.

Сейчас по положению Совет является «совещательным органом при директоре». И хоть в последнее время Совету даны некоторые решающие права (например, утверждение избирательных протоколов факультетов), но главным образом Совет — это говорильня: поговорят, поговорят, и ни для кого эти разговоры не обязательны.

Помню такой случай: обсуждалось в Совете предоставление стипендии — да, кажется, именно так. Кто-то из членов Совета, может быть, это был и я сам, выдвинул в число кандидатов одного юношу — еврея, очень хорошего студента. Я и не сомневался в том, что он вполне достойный кандидат и получит стипендию, тем более что он сильно в ней нуждался. И вдруг ректор В. И. Разумовский в резкой форме отвёл нашего кандидата, мы стали настаивать, а я по молодости лет горячее всех. Василий Иванович и мне сказал что-то резкое.

Я страшно разобиделся и, придя домой, даже поплакал: я очень любил Василия Ивановича, и мне было больно оттого, что он как-то резко оборвал меня, а ведь у меня были самые лучшие намерения. Я даже пообещал Катёне, что ходить в заседания Совета не буду. Только дело кончилось совсем иначе.

Сижу я на другой день у себя в лаборатории, и вдруг, как сейчас вижу, отворяется дверь и входит милый Василий Иванович. Он затворил за собой дверь и, подойдя ко мне, сказал:

— Вы, голубчик, на меня не сердитесь! Я вчера чувствовал, что вы совершенно правы, но я не мог согласиться, и, что самое главное, я не мог в Совете объяснить вам, почему я должен отвести вашего кандидата.

Дальше Василий Иванович рассказал мне, что ректор получает от Министерства внутренних дел особые приказы; этот же студент находился под надзором полиции, и лишь вследствие этого его нельзя было проводить как стипендиата, по крайней мере на ту стипендию, на которую мы его выставляли*.

Конечно, это вовсе не оправдывало резкое выступление Василия Ивановича на заседании Совета, но то обстоятельство, что он сам пришёл ко мне, а ведь я годился ему в сыновья, и был так искренно огорчён происшедшим, привело к тому, что моей обиды как не бывало и я навсегда остался большим поклонником Василия Ивановича.

Деятельность строительной комиссии тоже была интересна. Все подробности проходили через комиссию и ею утверждались. Нам хотелось как можно лучше и красивее выстроить здания, а министерство не хотело ничего отпустить, чтобы украсить их. Оно, похоже, стремилось к тому, чтобы внешность университетских корпусов имела казарменный вид. Нам же хотелось и на фасаде колонны поставить, и вестибюли украсить искусственным мрамором, и в аудиториях сделать красивые амфитеатры, и потолки украсить лепкой — мы все с большой любовью относились к нашему молодому университету. Каждый перерасход должен был быть оправдан, то есть должны были быть указаны средства, из которых этот перерасход будет покрыт, без этого «контроль» не утверждал наших расходов. И вот у нас выработалась такая формула: «перерасход покрывается из средств, полученных от продажи пустых бочек из-под цемента».

Бочек у нас, действительно, были горы: не только кирпичная кладка требовала большого количества цемента, но и все перекрытия и перегородки (они были железобетонные).

Несмотря на фактическую продажу этих бочек, перерасход делался всё больше и больше, но «контроль» тем не менее продолжал утверждать наши расходы. Кто-то даже из мудрых саратовских заправил убеждал нас, что если перерасход будет маленький, то его могут возложить на членов строительной комиссии персонально, но надо сделать так, чтобы перерасход был не меньше миллиона, тогда его утвердят и «спишут». Так оно и вышло. Война 1914 года и затем революция всё перемешали, и никто уже не заботился о перерасходах, а здания вышли красивые и внутри просторные.

Музыкальная жизнь в Саратове[345]

В первые же годы я начал играть квартет с компанией преподавателей музыкального училища, которое вскоре было превращено в консерваторию[346]. Первую скрипку играл прекрасный скрипач Я. Я. Гаек (у него в Саратове учились Д. М. Цыганов и Я. Рабинович, они оба теперь профессора Московской консерватории[347]), вторую скрипку играл я, альта — очень хороший музыкант Ершов. Он был несколько чудаковатым и недалёким человеком. Рассказывая о себе, он всегда повторял неизменно, одно и то же: «Я ведь замечательный!». Позже он перешёл на дирижёрство и долго работал в Саратове. На виолончели играл преподаватель консерватории Гордель.

Мы публично в камерных концертах консерватории исполняли Пятый квартет Бетховена, Флорентийский секстет Чайковского. Учили Третий квартет Чайковского, но не помню, играли ли мы его на эстраде или нет. Компания была очень довольна моим участием.

* Впоследствии этот студент благополучно окончил университет, и я встречал его в Москве, когда тот был уже в «больших чинах». — Прим. В. Д. Зёрнова.

На втором году существования Саратовского университета на кафедру химии был назначен Владимир Васильевич Челинцев. И между нами вышел такой разговор: Челинцев интересовался, как мне живётся в Саратове, напомнив, что ведь это он подбил меня променять Варшаву на Саратов. Я рассказывал, что город мне очень нравится, что и саратовцы ко мне хорошо относятся, что вот-де и музыканты — преподаватели консерватории — приняли меня в свою компанию и мы даже выступаем в камерных концертах. Челинцев пришёл в ужас: «Как, вы выступаете на эстраде со скрипкой?! Это неприлично для профессора университета!». Я, честно говоря, до крайности был удивлён такой репликой и стал доказывать, что Челинцев неправ, что участие в таком составе в концертах я считаю для себя, напротив, почётным, что я это дело люблю и, очевидно, делаю его неплохо. Но Челинцева убедить было невозможно. «Мало ли, что вы любите и что неплохо делаете! Выступать профессору на эстраде со скрипкой всё равно неприлично! Ну вот если бы я, скажем, хорошо боролся и любил бы борьбу, я всё же не стал бы выступать в качестве профессионального борца на арене». Мне стало отчётливо видно, что говорить и доказывать Челинцеву что-либо совершенно бесполезно. Мы холодно расстались и домашнего знакомства впредь не водили. Так наши отношения и оставались прохладными.

Весной 1935 года праздновалось двадцатипятилетие Саратовского университета, и я в числе других учёных, ранее работавших в его стенах, в качестве гостя был приглашён на это знаменательное торжество[348]. Тогда же я доложил на научной конференции о «Старой и новой акустике». Челинцев, председательствовавший на этом заседании, которое происходило в большой физической аудитории, горячо приветствовал меня как первого профессора физики Саратовского университета и строителя здания, в котором проходила конференция. Под шумные аплодисменты всей аудитории мы по русскому обычаю троекратно расцеловались.

Не знаю, помнил ли Владимир Васильевич наш разговор, который состоялся почти 25 лет тому назад, но он, во всяком случае, старался быть как можно более любезным и приветливым. Однако слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Разговор о квартете и борьбе на арене так и остался для меня яркой характеристикой Владимира Васильевича Челинцева, несмотря даже на то, что он теперь и заслуженный деятель науки, и член-корреспондент Академии наук.

Своих же партнёров по квартету я всё-таки попросил о том, чтобы в афише не значилось моей фамилии, а вместо неё стояли бы три звёздочки. Но во всех последующих афишах просто было напечатано, что такой-то квартет исполнит «квартет Саратовской консерватории», без фамилий. Это было, конечно, нехорошо, а для моих партнёров даже как-то обидно. Это обстоятельство отчасти расстроило нашу компанию. К тому же вскоре в Саратове появился второй преподаватель скрипки В. В. Зайц, впоследствии мой кум и партнёр по домашнему квартету. Он играл у нас партию альта, вторую скрипку играла дочь профессора П. П. Заболотнова Маруся — ученица консерватории[349], а виолончель — профессор химии Р. Ф. Холлман, заместивший Челинцева, когда тот временно перешёл в Москву. Он занимал кафедру органической химии, после того как Н. Д. Зелинский с другими профессорами в 1911 году вышел из состава профессоров Московского университета. После революции Зелинский вернулся в университет, а Челинцев возвратился в Саратов, так как Холлман к тому времени уехал в Юрьев (Дерпт), а затем в Германию.

С преподавателями консерватории мы играли ещё фортепианный квинтет Шумана на концерте 7 декабря в годовщину памятного всем «концерта-бала» по случаю открытия Саратовского университета. Фортепианную партию исполнял брат Я. Я. Гаека Эмиль, также преподаватель консерватории.

В тот концерт прежде всего я заботился о том, чтобы никто во время исполнения в зал не входил, чтобы в нём на протяжении всего концерта соблюдался полный порядок. Для этого я поставил своего «швейцара» — Ефрема Крючкина — у боковой двери, которая находилась как раз около эстрады, и велел никого не впускать.

Было у меня и домашнее трио: фортепианную партию играл присяжный поверенный Пётр Константинович Всеволожский, виолончель до приезда Р. Ф. Холльмана — некто Поляков. П. К. — так его и звали «Пекаша» — был исключительно милый человек и прекрасный пианист. Он читал любую фортепианную партию точно так же, как мы читаем обыкновенную книгу, — открывал и играл.

Когда впоследствии я был выбран ректором, Всеволожский работал секретарём Совета университета, а вскоре после нашего отъезда в Москву он, совсем ещё молодым, умер от тифа. Мы с ним переиграли множество камерных произведений. И до сих пор я вспоминаю его как одного из лучших моих партнёров по музыке.

Чтобы случайно не пропустить выступлений интересных музыкантов, мы с Катёной абонировали места на камерные концерты консерватории, несколько лет подряд наши места находились в четвёртом ряду крайние около прохода.

Приезжали к нам артисты из Москвы. Как-то приезжал Л. В. Собинов[350] с баритоном под фамилией Андога, который всё пел по-итальянски, но оказался ни кем иным, как Витей Журовым, который учился в нашей пятой гимназии и был на один класс моложе меня. Он пел очень хорошо, так что рядом с Собиновым мог если не конкурировать с ним, то, во всяком случае, не пасовать, и все принимали его за настоящего итальянца, а он был из московского купечества. В их имении, находившемся в Ярославской губернии, была речка под названием Андога, отсюда и псевдоним у него такой.

Интересна история его артистической карьеры. В ранней юности никаких особенных музыкальных способностей Журов не проявлял. С детства его родители и некие Сидоровы, у них была дочка, решили поженить потомков, чтобы затем объединить свои фирмы. Так и считалось, что Витя Журов непременно женится на Сидоровой. Но когда молодые люди выросли, то у барышни охота выходить замуж за Витю отпала. Сидорова заявила, что согласится выйти замуж за Журова, если тот сделается певцом вроде Девойода. Витя отправился в Италию, занимался там пением и вскоре сделался профессиональным певцом. Но когда он вернулся в Москву под именем Андога, оказалось, что Сидорова вышла замуж за другого. Впрочем, сколько я знаю, Витя не был этим огорчён. Он был красивым молодым человеком и, естественно, пользовался очень большим успехом у женщин.

Однажды приезжал в Саратов Иосиф Гофман[351], пианист, которым я увлекался, ещё когда был совсем молодым студентом. Катёна тоже с большим увлечением всегда слушала Гофмана. Денег было у нас мало, но мы истратили на билеты всё до копейки, зато не пропустили ни одного концерта.

Был ещё такой случай в моей музыкальной жизни. Приходит ко мне Я. Я. Гаек и от имени консерваторских музыкантов просит принять участие в симфоническом ор-

кестре, который экстренно организуется по поводу приезда Глазунова[352]. Постоянного симфонического оркестра в Саратове в то время не было, и Глазунов должен был дирижировать концертом из своих произведений. Я, конечно, согласился, несмотря на мнение Челинцева. В оркестре Гаек был концертмейстером, а я сидел рядом с ним, то есть занимал место второго концертмейстера. На репетициях Глазунов дирижировал сидя, он был грузным, одряхлевшим человеком, но на концерте он подтянулся и во фраке за дирижёрским пультом уже был совсем молодцом.

Играли мы одну из его симфоний, потом солировал Козолупов, профессор Саратовской консерватории, на виолончели, и оркестр аккомпанировал. Кажется, ещё какую-то увертюру играли. Конечно, появление на эстраде Глазунова было для музыкального Саратова большим событием.

С отъездом Глазунова симфонический оркестр опять перестал существовать. Но мне вполне хватало камерной музыки. С П. К. Всеволожским мы и концерты играли, до концертов Чайковского включительно.

В роли главного распорядителя студенческих вечеров

Я всегда бывал главным распорядителем студенческих вечеров 7 декабря и устраивал интересные постановки. Особенно памятны две постановки, не помню уж, в каком году мы их ставили: «Живые картины под музыку». Это было очень интересно и красиво. В режиссёрстве самих картин мне помогал талантливый актёр Южный, который служил в этом сезоне в труппе городского театра.

Мы поставили четыре картины: «Вечерняя молитва», «Ванька и Танька», «Менуэт» и «Дочь султана». Лишь первая картина всё время исполнения «Вечерней молитвы» Гуно оставалась неподвижной и только освещалась разными прожекторами. Центральной её фигурой была красавица Кукуранова, которая была поставлена как молящаяся женщина на картине «Экстаз», а вокруг неё, тоже в белых одеяниях, девушки — как бы сонм ангелов. Всё было сделано по картине. Во время демонстрации живой картины «Вечернюю молитву» пела под аккомпанемент рояля и скрипки хорошая певица, которую я выбрал. Партию скрипки, конечно, играл я сам.

Картина «Ванька и Танька» была поставлена следующим образом: на боковой эстраде опять исполнялся известный дуэт Даргомыжского «Ванька с Танькой», а на центральной сцене одна за другой открывались живые картины на фоне декорации, представлявшей дворик украинской хаты, которые иллюстрировали содержание текста дуэта. Таньку изображала дочка нашего домохозяина Новикова Тоня, хорошенькая девушка украинского типа, Ваньку — какой-то подходящий студент.

Для картины «Менуэт» мы играли квинтетом известный менуэт Боккерини, а на сцене показывали позы менуэта. После каждой позы занавес закрывался, это было необходимо для того, чтобы «живые картины» до конца оставались неподвижными* .

Четвёртая картина сопровождалась пением романса Рубинштейна «Вечерком гулять ходила дочь султана молодая...», а на сцене изображалось то, о чём пелось в романсе. На роль дочери султана я нашёл исключительно красивую грузинку — жену офицера княгиню Джапаридзе. Она была в роскошном, расшитом золотом национальном турецком костюме и брала своей красотой. Роль Магомета исполнил тоже красивый студент из восточных народов, очень подходящий по фигуре и

* В этой картине участвовали дочери Павлова и два студента. — Прим. В. Д. Зёрнова.

внешности. Но Южный никак не мог обучить его позой изображать те страдания, которые, по содержанию текста, он должен был испытывать.

Наконец, всё было слажено и 7 декабря «Живые картины» прошли с большим успехом.

Другой раз мы ставили интермедию из «Сна в летнюю ночь» Шекспира. Среди студентов первого приёма имелась компания больших любителей сценического искусства. В особенности один, который исполнял женскую роль Физбэ, был очень способный актёр, но большой любитель выпить. Его товарищи предупредили меня, что «Физбэ» надо перед спектаклем «выдержать», а не то он непременно напьётся. Я запер его в артистической уборной и время от времени навещал; «Физбэ» уверял, что ему перед выходом необходимо хоть немного выпить, и я в качестве поощрения за примерное поведение в заключение дал ему хорошую рюмку коньяку. Играл он отлично.

Кроме того, что мои актёры играли хорошо, они были и хорошо одеты, костюмы мы брали из театра, и особенно хороши были грим и причёски. В этом нам действительно повезло: в Саратове нашёлся старый парикмахер, который в молодости был театральным парикмахером в московском Малом театре. Этот парикмахер соорудил замечательные причёски. Так, у Физбэ была греческая причёска из соломенных чехлов от бутылок, парик Льва был сделан из деревянных стружек — ведь по тексту Льва исполняет плотник. Всё было оригинально и красиво.

Когда началась война 1914 года, всех моих актёров забрали на фронт в качестве «зауряд-врачей», «Физбэ», говорили, был награждён офицерским Георгием. Он находился на Кавказском фронте и, как врач, сидел в окопе позади передовой линии, на которой шли стычки с турками, и спокойно выпивал. Вдруг он видит, что через окоп перескакивают отступающие русские солдаты. «Физбэ» был уже в порядочном «градусе» и, естественно, возмутился, выскочил из окопа, выхватил шашку (врач может обнажить оружие только для самозащиты) и, обругав отступавших, с криком «ура» кинулся навстречу туркам. Отступавшие солдата остановились, а затем кинулись за своим врачом, в результате чего турки были отброшены. «Физбэ» был награждён Георгием, но за то, что он нарушил устав и обнажил оружие, был посажен на гауптвахту. Говорят, что георгиевского кавалера по статусу ордена ведут под арест с музыкой. «Физбэ» потребовал выполнения этой подробности.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
(1911—1914)

Мои публичные выступления в Саратове. Кончина П. Н. Лебедева*

8 ноября 1911 года Саратовский университет отмечал двухсотлетие со дня рождения Ломоносова. Было устроено в Актовом зале торжественное заседание с тремя докладами. Первый доклад, посвящённый Ломоносову как поэту, был поручен нашему профессору богословия Алексею Феоктистовичу Преображенскому, так как никаких филологов в университете ещё не было. Алексей Феоктистович, человек высокообразованный, по специальности церковный историк, сделал очень хороший обзор деятельности Ломоносова в области литературного творчества. Челинцев говорил о химических работах Ломоносова, а мне было поручено сделать доклад «Ломоносов как физик». По счастью, такой доклад было очень легко составить по материалам, опубликованным в «Журнале Русского физико-химического общества» Меншуткиным[353]. Актовый зал наш был полнёхонек, и вообще торжество вышло хоть куда[354].

Весной 1912 года я объявил публичную лекцию, назвав её «Невидимые лучи»[355]. Мы с Иваном Максимовичем подготовили множество опытов по самым разнообразным излучениям. И так как желающих попасть на публичные лекции было очень много, то мы перенесли лекцию в Актовый зал (аудитория вмещала с небольшим сто человек) и устроили лекционный план на особой эстраде.

И вдруг накануне лекции я получаю телеграмму, извещающую меня о кончине Петра Николаевича Лебедева[356]. Я не мог не ехать и не проводить моего дорогого незабываемого учителя. Лекцию я перенёс на неделю позже и сейчас же выехал в Москву.

Пётр Николаевич скончался в своей квартире в Мёртвом переулке, в том самом доме, в котором им была организована лаборатория после его ухода в 1911 году из университета. Я приехал накануне похорон. В квартире, где стоял гроб с телом Петра Николаевича, я встретил множество его учеников и других физиков. Я заказал венок от себя лично, попросив сделать на ленте надпись «Любимому учителю».

Всем распоряжался П. П. Лазарев, который в последнее время был ближе всех к Петру Николаевичу, отчасти потому, что Лазарев по образованию был врачом, к тому же и жил он долгое время и в университете, и в Мёртвом переулке с Лебедевым.

Отпевание происходило в домовой церкви князей Голицыных, в переулке за Музеем изящных искусств (тогда он назывался Музеем Александра Третьего)[357]. Мы, ученики Петра Николаевича, плакали о нём как о самом близком человеке. Большая группа студентов, старших учеников Лебедева и профессоров провожала его на кладбище Алексеевского монастыря[358]. На могиле произносилось множество речей, но мне не хотелось тогда афишировать свои личные отношения с Петром Николаевичем, поэтому я держался в стороне. Впоследствии на заседаниях,

посвящённых памяти П. Н. Лебедева, я неоднократно делился своими воспоминаниями об этом замечательном человеке, учёном и наставнике[359]. Позже я написал для юбилейного университетского сборника биографию П. Н. Лебедева[360]. Эту биографию я считаю своей лучшей работой. Писал я этот биографический очерк с каким-то особым энтузиазмом и любовью.

Мне также было очень приятно, что именно ко мне, хотя с Московским университетом во время его 185-летнего юбилея я никаких официальных связей не имел, обратились университетские физики с просьбой написать биографию Петра Николаевича. Мне было исключительно интересно писать о жизни и работах своего учителя. Его сестра Александра Николаевна предоставила мне письма, которые Лебедев посылал матери из-за границы, когда работал у Кундта. И очень жаль, что эта биография напечатана только в юбилейном сборнике, который имеет очень малое распространение.

По возвращении в Саратов я 9 марта прочёл назначенную ранее лекцию «Невидимые лучи». Актовый зал был переполнен слушателями. Были заняты не только все места, но публика стояла в боковых проходах плечом к плечу. Пришли ученики Саратовской католической семинарии, во главе их был преподаватель: он и ученики в сутанах занимали целый ряд стульев. Были и все мои товарищи профессора. Катёнушка тоже присутствовала и лекцию одобрила (она всегда была очень строга в оценке моих выступлений).

Все опыты хорошо удались. Я несколько раз упоминал имя Петра Николаевича. Когда же я раздал первому ряду штук пятнадцать эвакуированных стеклянных трубок и в затемнённом зале они засветились под действием переменного электрического поля высокого напряжения и большой частоты, то кто-то из публики громко сказал: «Да ведь это панихида по Лебедеву».

Маленькие, довольно безграмотно составленные заметки саратовских газет («Саратовский Листок» и «Саратовский Вестник») всё же отражают тот интерес, который возбуждали у саратовской публики наши выступления[361].

Громадным успехом пользовались лекции университетских профессоров и на учительских курсах, которые в начале лета устраивались земством для учителей сельских школ. Это была преинтересная аудитория. Всё для слушателей казалось чудесным. Некоторые из глуши впервые видели губернский город и с удивлением смотрели на единственный в то время в Саратове четырёхэтажный дом Пташкиных на Константиновской улице[362], на которой и мы жили в одноэтажном особняке. После последней лекции толпа слушателей с цветами провожала меня до дому. А на другой день я ещё получил от группы слушательниц букет белых роз в вазочке[363].

Последний раз земские курсы были организованы в 1914 году. Я читал лекции уже в аудитории нового Физического института, куда мы перешли в конце 1913 года. Аудитория опять была полна восторженными слушателями, но воспоминание об этих курсах у меня было испорчено следующим происшествием.

Я рассказывал о восприятии цветностей и излагал теорию трёхцветного зрения Юнга — Гельмгольца и показывал в проекции серию цветных фотографий, которые были сделаны мной на пластинках по способу Люмьера, основанному как раз на теории Юнга — Гельмгольца. Слушатели были в восторге, и это выразилось в том, что

после лекции группа слушателей кинулась к лекционному столу, чтобы ещё раз посмотреть фотографии, и, вырывая друг у друга целую стопу пластинок, бухнула их на пол, и пластинки вдребезги разбились. Другая партия фотографий пропала у меня уже в Москве. Кто-то взял их и не вернул. Осталось только несколько штук.

Так как мои публичные лекции и выступления пользовались успехом и нравились моим товарищам, и в особенности В. И. Разумовскому, то я получил поручение от Совета произнести учёную речь на торжественном акте университета 6 декабря 1912 года. Я выбрал тему, модную в то время, — «Строение атома»[364].

Планетарная модель атома Резерфорда тогда только ещё родилась; я составил неплохой доклад по свежим материалам, конечно, в чисто физико-материалистическом стиле, и закончил его такой фразой: «Может быть, нам удастся в близком будущем освободить от материальной — ньютонианской массы и положительный электрон (по-современному — ядро), и тогда мы скажем, что окружающий нас Мир соткан из одной тончайшей материи, имя которой — электричество»[365].

Я и до сих пор склонен думать, что можно построить достаточно стройную теорию миротворчества на основе воззрения, что «электрическое поле является основной категорией материи». Я даже по настоянию одного философа, Николайцева, который руководил кружком по изучению диалектического материализма уже в Москве, изобразил это в виде статьи, которая, впрочем, навсегда осталась в рукописи[366].

Разумовский очень заботился о том, чтобы все формальности, полагавшиеся в старые времена, были точно соблюдены. Заседание происходило в Актовом зале бывшей Фельдшерской школы. В первом ряду сидели губернские власти во главе с архиереем преосвященным Алексием, который заменил Гермогена.

Сначала читался «Отчёт», с ним, кажется, выступал И. А. Чуевский. Потом — моя речь. По указанию Разумовского, я должен был прежде всего подойти под благословение преосвященного, затем взойти на кафедру, начать свою речь следующим образом: «Ваше преосвященство, ваши превосходительства, милостивые государыни и милостивые государи!». И только после этого я мог приступить к изложению темы. Я всё в точности выполнил. Но, несмотря на моё столь «благонравное» поведение, преосвященный жестоко меня раскритиковал в черносотенной газете «Волга»[367] за моё материалистическое мировоззрение. Его статья до сих пор хранится в моих реликвиях. Кстати, она не раз уже и в Москве оказывала мне добрую службу, подтверждая мои материалистические взгляды в то время, когда современные руководители упрекали меня в пристрастии к идеализму[368].

Озеро Эльтон

К весне 1912 года относится поездка на озеро Елтон (официально — Эльтон, но местные жители и саратовцы говорят — Елтон). Это своеобразное озеро окружено кольцом минеральных грязей, которые издавна среди кочевников заволжской полупустыни славились лечебными свойствами. Больные ревматизмом выкапывали в грязи углубление и лежали в этой грязевой ванне, получая облегчение от своих страданий.

Управление Рязано-Уральской железной дороги устроило для своих работников на берегу Елтона очень скромную грязелечебницу, а чтобы обосновать расходы на неё, просило представителей университета обследовать лечебные грязи и высказать свои заключения. Были приглашены почти все профессора университета — и хирурги, и гинекологи (Спасокукоцкий и Какушкин), и терапевты, из естественников — ботаник А. Я. Гордягин, химик Р. Ф. Холлман и я. Меня просили посмотреть, не радиоактивна ли эта грязь, что довольно часто наблюдается в лечебных грязях[369].

У меня не было под руками аппарата (фонтактоскопа), необходимого для исследования радиоактивности. Времени оставалось уже мало, а мне не хотелось отказываться от предложения и ударить в грязь лицом. Я взял каталог Эрнеке и по телеграфу заказал фонтактоскоп в Германии. Не прошло и недели, как все нужные приборы стояли передо мной: прекрасный градуированный электрометр Эльстера и Гейтеля и сухой столбик Замбони, заряжавший электрометр до четырёхсот вольт, а также все принадлежности, необходимые для исследования радиоактивности минеральных вод. Мы сейчас же дополнили оборудование специальным приспособлением для исследования почв и грязей. Я освоил способ наблюдения и к нужному моменту был во всеоружии.

На пасхальной неделе мы экстренным поездом, составленным из двух спальных вагонов и вагона-ресторана, выехали рано утром из Покровска на Елтон и ещё засветло прибыли на место. С нами выехало несколько инженеров. Кормили и поили нас на убой. Инженеры-путейцы умели угощать! Ночевали мы в вагонах, поезд стоял на запасном пути.

С раннего утра все отправились осматривать озеро, его берега и учреждения грязелечебницы. Озеро это весьма своеобразное. Оно занимает несколько десятков квадратных километров, но летом воды или, лучше сказать, «рапы» — пересыщенного раствора соли, так мало, что большая часть дна открыта и ветер перегоняет рапу с места на место. Даже весной, когда мы здесь были, по озеру можно было ходить пешком — воды не больше, как по колено. Она так насыщена солью, что все предметы, попавшие в воду — палки, стружки, — тут же покрываются большими кристаллами соли, получается нечто вроде хрустальных щёток или друзов, а перелётные водные птицы, видя поверхность воды, садятся на неё для отдыха, но подняться уже не могут — их перья покрываются кристаллами соли. Местные кочевники ходили по озеру пешком и руками спокойно ловили этих птиц. Мы попросили, чтобы нам доставили несколько птиц для музея Саратовского общества естествоиспытателей, в котором я председательствовал. И какой-то степняк привёз на верблюде целый воз этой дичи. Мы взяли штуки три, не более, они малосъедобные — их мясо сильно пахло рыбой. Сами птицы были похожи на уток, но с острым клювом, вероятно, они ближе к чайкам.

Всё дно озера представляло собой слой каменной соли настолько толстый, что, говорят, бурили на 100 метров и до конца соляного слоя не доходили. На некотором расстоянии от края грязевого кольца, уже на соляном дне, сделана была площадка, на которой лежали громадные бунты соли, чтобы их промыло дождями, так как в естественном виде соль в пищу не годится — она имеет горький вкус. На той же площадке стоит солемолка, которая перемешивает уже вы-

ветрившуюся соль для отправки её на рынки и в немудрёное ванное помещение для рапных и грязевых ванн.

В озеро впадают ручейки с горько-солёной водой, совершенно непригодной для питья. Питьевую воду для грязелечебницы и железнодорожной станции «Эльтон» привозят в железнодорожных цистернах. Вся местность вокруг озера в полной мере пустынна. Я как-то вышел ночью из вагона и прошёл по направлению к этой пустыне. Прямо жутко делалось. Небо закрыто. Полная тьма и абсолютная тишина. Только время от времени издали слышен писк сусликов. Я постоял-постоял, послушал тишину и скорей вернулся в наш прекрасный вагон.

Площадка на озере была соединена с основным железнодорожным полотном рельсовым путём для вывоза соли. Я попробовал сейчас же определить радиоактивность грязи в том сыром виде, в котором она употребляется в лечебнице — консистенции густой сметаны, но, к моему огорчению, заметной радиоактивности в этом виде грязь не проявила; воздух над ней не был ионизирован. Однако я велел набрать бочонок грязи с тем, чтобы её надлежащим образом уже в лаборатории высушить и подвергнуть тщательному обследованию.

После неудачного опыта мы долго гуляли с Холлманом по пустынному берегу озера, и уже незадолго до обеда мне пришла в голову мысль — посмотреть радиоактивность грязи, которая была использована в ванном заведении и в достаточно сухом виде кучей лежала около ванн на площадке. Так как времени оставалось до обеда мало, а от станции до площадки было километра два-три, я попросил дать мне маневровый паровоз «кукушку» и с Фёдором Троицким мигом возвратился на площадку. Отвесили нужную порцию сухой грязи, и я с удовольствием обнаружил, что в этом виде она сильно ионизировала воздух, обнаруживая радиоактивность, значительно превышающую таковую одесских лечебных грязей. На той же «кукушке» мы вернулись к нашему поезду и застали всех уже сидящими за обедом. Моё сообщение о положительном результате исследования вызвало большой восторг у инженеров — наших хозяев, на радостях они потребовали шампанского, чтобы «спрыснуть» радиоактивность эльтонской грязи.

По возвращении в Саратов я ещё раз проверил наблюдения и опять обнаружил, что при жидком состоянии грязи радиоактивность не обнаруживается. После сушки и прокалки в первый момент активность так же, как и полагается после прокалки, не обнаруживается, а потом начинает нарастать и достигает значительной величины. Всё это я описал в статье и докладывал затем на съезде естествоиспытателей и врачей в Тифлисе[370]. Теперь я сожалею, что не исследовал воды впадающих в озеро ручейков и грязи с разных мест.

Мы ещё спали, когда к нашему поезду прицепили паровоз, и перед вечером мы вернулись в Покровск, откуда на перевозном пароходе переехали в Саратов* — парома, а тем более моста, в то время ещё не было[371].

Артистическая судьба Фатьмы Мухтаровой

Хочется мне вспомнить историю одной артистки — Фатьмы Мухтаровой, которая ходила в Саратове по дворам с шарманкой и под неё пела. Тогда она была

* Я с Митюней встречала на пристани.— Прим. Ек. Зёрновой.

девочкой, называлась Катя Мухтарова, по национальности она персиянка. Жила она у своего отчима, который и посылал её на промысел.

Примерно один раз в неделю Катя появлялась у нас во дворе и, несмотря на свою юность, мощным контральто пела «Пожар московский», «Чайку» и другие песни, за что аккуратно получала пятачок, который я передавал ей через форточку.

Однажды я уронил пятачок между рамами. Катя была в отчаянии. И хотя у меня были ещё пятачки, но, не желая терять этого, я взял палку, прилепил к её концу кусочек воска и, опустивши её между рамами, поймал упавший пятачок на воск и на палке подал его повеселевшей Кате. Её, по-видимому, забавляла самая процедура «ловли» пятачка.

У Кати был действительно исключительный голос, и её многие в Саратове знали. На масленице в Управлении Рязано-Уральской железной дороги устраивался благотворительный «базар» с разными развлечениями и аттракционами, и одному из устроителей (им оказался железнодорожный техник и виолончелист-любитель) пришла в голову счастливая идея: в «кабаре» устроить эстраду и среди различных других номеров выпустить Катю Мухтарову, но не с шарманкой, а с аккомпанементом рояля. Отчиму пришлось уплатить некоторую сумму в возмещение «убытков».

Катю обучили ещё нескольким песням, одели в немудрёный концертный костюм, набросили красный шарф через плечо, как у цыганок в хоре, и она с громадным успехом по нескольку раз в день выступала на эстраде. Когда кончился «базар», то не хотелось уже предоставлять отчиму эксплуатировать безусловно талантливую девочку с прекрасным голосом. Компания инженеров предложила отчиму отпустить Катю учиться в консерваторию. Тот заартачился и потребовал довольно крупный выкуп. Чтобы собрать средства на выкуп, был устроен в зале консерватории сборный концерт, в котором выступала и сама Катя. Она опять имела большой успех[372].

Одета она была на этот раз в концертное платье с чужого плеча, боа и длинные, до локтя, перчатки. Когда она вышла на сцену, то сразу же была встречена аплодисментами и так растерялась, что, несмотря на предварительные репетиции выхода, вытерла нос, проведя по нему рукой в перчатке от кисти до локтя. Как сейчас помню это непосредственное движение!

Катя была принята в консерваторию, стала заниматься у профессора Медведева, когда-то знаменитого тенора, и вскоре нельзя было узнать в характерной, интересной, немного размашистой консерваторке прежнюю шарманщицу и уличную певицу.

Во время войны мы устраивали в университетских госпиталях концерты. В одном из них я играл (даже помню, что именно: «Andante contabile» Чайковского, «Восточную мелодию» Кюи, «Мазурку» Венявского) и пела Мухтарова. Репертуар её был уже совсем другой.

Училась Катя недолго и была принята на сцену в частную оперу в Москве. Она приезжала в Саратов уже в качестве гастролёрши, и мы слушали её в «Кармен». Надо сказать, что Катя давала очень своеобразный образ Кармен, гораздо более реалистический, чем это обычно было принято. Ничего «демонического» в Кармен Мухтаровой не было. По сцене, кстати, Катя стала называться своим настоящим именем — Фатьма Мухтарова.

Катя вышла замуж за молодого саратовского присяжного поверенного[373], и я как-то встречал молодых супругов у Гюнсбургов — муж Кати оказался товарищем одного из Гюнсбургов[374]. Мухтарова сделалась крупной провинциальной артисткой и приспособила своего мужа к театральной администрации.

Когда мы были уже в Москве, Фатьма Мухтарова гастролировала в Большом театре, её коронными ролями были Кармен и Амнерис из оперы «Аида». В Москве на сцене я её не видел, но как-то на улице встретил артистку с сынишкой. Она сейчас же меня узнала, была очень приветлива, охотно вспоминала саратовское житьё-бытьё и рассказывала о своей судьбе.

В Москве Мухтарова не удержалась. Кажется, очень прочно обосновалась в Тифлисе[375].

Съезд естествоиспытателей и врачей в Тифлисе[376]

На съезд естествоиспытателей и врачей в Тифлисе (июнь 1913 года) я вёз несколько докладов: 1. «Фонограммы гласных человеческой речи» — это были фотографии акустических кривых, которые я сделал в моей маленькой лаборатории; 2. «Радиоактивные свойства Эльтонской лечебной грязи»; 3. Демонстрация некоторых лекционных опытов, в том числе «Фоническое колесо», которое мы соорудили с Ф. Ф. Троицким. А ещё я докладывал в ботанической секции по просьбе П. П. Подъяпольского «Об устойчивости хлорофилла» по спектрофотометрическим исследованиям, которые я делал для него при помощи спектрофотометра Люмьера с вращающимся сектором, очень хорошо выполненного Троицким по моему чертежу. Мы его тоже возили в Тифлис, чтобы похвастаться работой нашей мастерской.

Вытяжки хлорофилла у меня были из свежих листьев, зелёного налёта на желтках весенних яиц (это случается, когда куры едят свежую весеннюю траву), и самый интересный объект — содержимое желудка допотопного мамонта, труп которого был найден в вечной мерзлоте. С виду это было просто сено. Собственно, для чего нужно было устанавливать, что линии поглощения хлорофилла почти не изменились, несмотря на его прохождение через организм курицы и на протяжении многих тысячелетий в желудке мамонта, мне не было ясно, но Подъяпольский, очень милый человек, непременно просил от его имени рассказать об этом на съезде (сам он на съезде не был).

Ездили мы в Тифлис целой компанией, но что мне было особенно приятно — Катёнушка тоже решилась поехать. В компании были саратовец доктор А. Е. Романов, мой ассистент В. Е. Сребницкий, ассистент кафедры анатомии (забыл его фамилию), ассистент В. В. Вормса Орлов и нас двое[377].

В купе с нами до Владикавказа ехал гимназистик, очень милый мальчик. Он ехал домой и был в совершенном восторге, что скоро будет на родине. Будил меня и приговаривал: «Что вы спите, вы слышите — какой воздух!» Он требовал, чтобы я дал ему свой адрес, а он со своей родины пришлёт мне фруктов и вина. Подъехали мы к Владикавказу в сильнейший дождь и грозу. Насилу вышли из вагона. Но пока мы были на вокзале, гроза пронеслась, и когда мы вышли, перед нами, как «грань алмаза», блистал Казбек. Я единственный раз видел Казбек из Владикавказа.

Здесь мы встретили остальную компанию и по моему настоянию взяли «коч-коляску» — такой же допотопный рыдван, в котором мы ездили в 1896 году с родителями и в 1898-м — с моими товарищами, и, ещё раз переночевавши, рано утром выехали из Владикавказа. Военно-Грузинскую дорогу я проезжал уже в третий раз, но впечатление от этого не уменьшалось. Погода стояла чудесная, однако когда мы во второй половине дня подъехали к станции Казбек, вершина Казбека была закутана облаками. Я всё-таки рискнул организовать экскурсию на Чхерский ледник. Сходил на деревню и заказал на утро верховых лошадей. Катёна, конечно, идти на ледник не решилась и осталась дожидаться нас на станции.

Мы пораньше легли спать, чтобы рано встать и, если позволит погода, отправиться на ледник. Мы заняли два номера — я с Катёной в одном маленьком и рядом, в большом, остальная компания. Оба номера выходили окнами на долину Терека.

Ночью я проснулся и выглянул в окно и опять, как в первую поездку, был поражён удивительным зрелищем. Ночь выдалась лунная, вершина Казбека освободилась от облаков и светилась своим таинственным сиянием. Я оделся и потихоньку постучал в номер наших спутников. Владимир Ефимович Сребницкий от восторга стал прямо кричать, так что его пришлось унимать. Спать мы больше уже не ложились.

И как только стало едва светать, я сходил за лошадьми, и мы отправились. Экскурсия удалась в полной мере. Вершина была всё время открыта. Мы дошли до морены на краю ледника. Вернулись на станцию сравнительно рано с букетами альпийских цветов и, пообедавши, выехали дальше.

Уже в сумерки доехали до Гудаура — это первая станция за Крестовым перевалом — и решили ночевать: в темноте спускаться по Млетскому спуску неинтересно да, пожалуй, и небезопасно. От Гудаура станция Млеты видна внизу, а расстояние по спуску 18 километров. Поужинали, пили белое вино из громадного бурдюка, сделанного из бычьей кожи, и когда через «ногу» из бурдюка наливали вино, то бурдюк колыхался, точно живой.

Рано утром выехали по Млетскому спуску, в Млетах не останавливались и к обеду приехали в Пасанаур. А к вечеру добрались до Душета и отправились в «Белый замок». Там мы нашли весьма приятную обстановку. Хозяева, отставной генерал с генеральшей, держали себя по отношению к приезжающим как к своим гостям. Комнаты обставлены старинной мебелью, на стенах фамильные портреты, чай подали не по-трактирному, а в старинной посуде.

На следующий день мы доехали до Тифлиса. Останавливались в Мцхете и ездили в старый Мцхет, где построен большой храм, внутри которого целиком сохранена очень старинная грузинская церковь чуть не первых веков христианства. Последний переход от Мцхета до Тифлиса мы ехали в ужасную жару, да и в самом Тифлисе было очень жарко. Мы с Катёной получили хороший номер в гостинице недалеко от «майдана».

Здесь я встретил много старых знакомых. В той же гостинице, где остановились и мы, я встретился в последний раз с милейшим Н. Е. Жуковским, который был вместе со своей дочкой. Катёна ходила со мной на заседания секции, были мы с ней и на общем собрании в театре, где Н. К. Кольцов делал доклад о «лошадях

Граля», которые будто бы умели производить разные арифметические вычисления. Мне тогда же казалось, что всё это вздор и обман дрессировщика. Так оно впоследствии и оказалось.

Были мы, конечно, опять в серных банях, но на этот раз не Орбельяни, а в других.

В конце съезда секция физики устроила ужин в загородном саду на речке Вера — с грузинскими национальными блюдами и, конечно, с грузинским вином. Во время ужина играли и пели грузинские музыканты. Состав оркестра весьма несложный: два дудочника и один барабанщик, он же и певец (тенор). На барабане он играл очень искусно пальцами, пел что-то очень грустное. Я подошёл к нему и спросил:

— Про что вы поёте?

— Про любовь!

— Да отчего же так грустно? — удивился я, и исполнитель песни в трёх словах мне всё объяснил:

— Моя милая далеко!

Катёна на этот ужин не поехала, а потому я до конца не остался. Остальные же члены нашей секции, кажется, кутили там до утра.

Мамина кончина

В эти же первые годы мы с Катёной взяли к себе её сестру Надю, которая училась и жила раньше в Туле, она приехала гимназисткой примерно шестого класса. Я устроил её в министерскую гимназию, которую она впоследствии очень хорошо кончила.

К детям, собственно, к Митюне и Танюше, так как Мурочка была ещё на руках и при ней находилась нянька, мы взяли бонну — немку фрау Вильгельми. Забавно было наблюдать, как дети начинали говорить по-немецки. Вообще, мы обслуживались множеством прислуги. Все были сыты, одеты и обуты. А ведь жили мы на сравнительно скромные средства. Никаких нетрудовых доходов у нас не было.

Хорошо и привольно тогда мы жили и в Саратове, и в Дубне. В Дубне сад яблочный, который был посажен в 1900 году, достиг хорошего плодоношения. Яблоки были чудесные, особенно антоновка. Всего яблонь в 1900 году было посажено 1000 штук да в год нашей свадьбы 100 штук анисовых. Вокруг дома была масса цветов. Чудные розы, левкои, астры, уж не говоря о пионах, жёлтых лилиях, царских кудрях. Василий Егорович Котов, наш садовник, очень симпатичный молодой человек, имел специальное образование садовода. Тут же и женился на нашей деревенской девушке Татьяне Волковой. Василий Егорович жил у нас до войны 1914 года[378], после чего был призван в армию и погиб на фронте.

Лето 1913 года было последним, в котором мама была с нами. Она скончалась 19 декабря 1913 года. Летом она заметно стала слабеть, хотя сама не сознавала этого. Она стала с трудом ходить, так что папа даже сделал в Дубне подьёмную машину, чтобы маме подыматься на второй этаж. Летом маме минуло 68 лет[379] — она была именно моего теперешнего возраста.

Так как мама была очень слаба, то мы не ждали родителей в Саратов на рождественские праздники, а собирались с детьми на Рождество поехать в Москву. Но

числа 15 декабря я получил от папы телеграмму: «Положение больной тяжёлое. Приезд детей придётся отсрочить. Отец». Я понял, что дело плохо, и сейчас же один выехал в Москву. Я застал маму ещё в сознании, и она, хотя с трудом, спросила меня: «Как Катя?». Это были её последние сознательные слова. И хотя мне до сих пор больно вспоминать эти дни, но меня всегда утешает то, что последние слова мамы были о Катёнушке. Ночью мама скончалась. Я рано утром ехал в Никитский монастырь[380], и мне было как-то жутко смотреть на массу спешащих людей. Думалось: всем этим людям надо было родиться с такими трудами, всем им надо умереть с такими мучениями...

Я вызвал телеграммой Катёну, она приехала на следующее же утро. После похорон мы, даже не возвращаясь на Девичье Поле, вместе с папой поехали в Саратов. Приехали не то в сочельник, не то на первый день Рождества*. Несмотря на наше великое горе, мы не хотели лишать радости наших ребяток и всё-таки украсили и зажгли им ёлку, которую они так ждали.

Первые мои сотрудники. Переезд в новое здание Физического института[381]

После смерти Заборовского в качестве ассистента на кафедру физики я пригласил Николая Павловича Неклепаева, который сделал хорошую работу у П. Н. Лебедева, будучи ещё студентом[382], и Владимира Ефимовича Сребницкого, работавшего раньше под руководством П. П. Лазарева. Оба они были очень милые и способные люди.

Николай Павлович должен был отбывать воинскую повинность. Он переехал с женой в Саратов и уже здесь отбывал эту повинность. Его удалось параллельно с этим зачислить ассистентом. С ним мы были долго связаны и в Саратове, и впоследствии в Москве. Сребницкий, как я уже писал раньше, был призван в армию в самом конце войны, потом вскоре вернулся в Саратов, поехал за женой[383] в Симбирск и там попал в историю с отступлением чехословацкой армии[384], по-видимому, снова был призван в войска и пропал без вести.

К самому концу 1913 года постройка и оборудование Физического института были закончены, и мы перенесли всю аппаратуру, коллекции и лаборатории в новое здание[385]. В бывшей Фельдшерской школе мы неплохо просуществовали четыре с половиной года, провели, пожалуй, самые лучшие годы. Там и собирались, и получали всё оборудование, там удалось и научные работы поставить — времени хватало на всё: и учить, и учиться самому, и музыкой заниматься, и в театр, и в концерты ходить.

Теперь мы перешли в роскошные помещения. Чудесная аудитория, просторные лаборатории, прекрасная аккумуляторная батарея и машины с переменным и постоянным током. К этому времени мы построили специальный университетский газовый завод, который давал нам прекрасный чрезвычайно теплотворный нефтяной газ. Одним словом, все сведения, которые я получил от П. Н. Лебедева и от заграничных командировок при знакомстве с устройством и функционированием заграничных институтов, и всю мою любовь к новому моему детищу я вложил в устройство Физического института. Один недостаток, впрочем, так навсегда и остался — это отсутствие при институте жилого помещения для директора. Однако для «хозяйственного лаборанта», кото-

* В сочельник. – Прим. Ек. Зёрновой.

рым был Н. П. Неклепаев, механика Ф. Ф. Троицкого и препаратора И. М. Серебрякова я всё-таки сумел выкроить вполне приличные жилые помещения.

При всём этом мне лично не удалось надлежащим образом использовать этот чудесный институт. Вскоре наступили тяжёлые времена: война, революции, да ещё и необходимость нести административные обязанности (деканство и ректорство), а потом и эпопея ареста и переезда в Москву.

Весенний семестр я начал читать уже в большой физической аудитории.

К этому времени в Саратове по инициативе агронома Б. Х. Медведева был открыт сельскохозяйственный институт[386], в котором я также получил кафедру физики. Однако лекции свои я читал в физической аудитории университета, так как оборудования сельскохозяйственный институт пока не имел. Тогда он назывался сельскохозяйственные курсы, и на них, за неимением в Саратове математиков и метеорологов, я читал маленький курс дифференциального и интегрального исчисления и нормальный курс метеорологии по Клоссовскому[387]. Эта педагогическая нагрузка значительно повысила нашу «покупательную» способность.

Ещё раньше открылись женские медицинские курсы[388], где я также читал лекции по физике — сначала в их собственном помещении на Московской улице.

Вне всякой хронологии расскажу о некоторых событиях, связанных с моим преподаванием и с нашей домашней жизнью.

Опыты с жидким воздухом[389]

Мне очень хотелось показать моим слушателям опыты с жидким воздухом. В Саратове машины для получения жидкого воздуха не было[390]. Я решил привезти его из Москвы. Купил у Трындиных трёхлитровый дюаровский сосуд, соорудил для него особый ящик и отправил И. М. Серебрякова в Москву (ещё до перехода в новый институт). Студентов я заранее просил собраться в аудитории ко времени прихода поезда из Москвы.

Народ собрался, ждём-пождём, и вдруг Иван Максимович является с совершенно расстроенным лицом и пустым сосудом. Оказалось, сосуд был плохо откачен и весь воздух за дорогу выкипел. Иван Максимович был страшно этим огорчён и всё говорил мне, что он несколько раз смотрел, и ещё в Кирсанове жидкость в сосуде была. Может быть, если бы Иван Михайлович не так часто смотрел, и осталось бы хоть немного жидкого воздуха. Во всяком случае, виноват был сосуд.

Я опять послал Ивана Максимовича, чтобы он взял у Трындиных трёхстенный заграничный сосуд и привёз в нём жидкий воздух. Но и на этот раз нас постигла неудача. Опять я собрал студентов к приходу московского поезда. На этот раз воздух до Саратова доехал благополучно. Я всё, что нужно, рассказал студентам и собрался налить воздух, как обычно, через край, из серебряного сферического сосуда в цилиндрический. Взял в руки сферический сосуд и только что начал наливать, как сосуд лопнул, воздух пролился на стол, в результате чего я оказался в густом облаке тумана. Студенты повскакали с мест и кинулись ко мне. Они думали, что от меня ничего не осталось, что это я превратился в пар. Но этот «эксперимент» столь же эффектен, сколь и безопасен: сосуд всегда разбивается или, правильнее сказать, ломается внутрь вакуума и ни-

какого разброса стекла не бывает (металлических дюаровских сосудов в те времена ещё не было).

Я не успокоился на этом и снова отправил своего помощника в Москву за жидким воздухом, но теперь поехал Сребницкий — ему очень хотелось побывать в Москве; у него там была невеста, впоследствии ставшая его женой. Наконец жидкий воздух благополучно привезли в Саратов, и я показывал опыты и для университетских студентов, и на женских медицинских курсах, и в сельскохозяйственном институте.

Студенческая забастовка в Саратовском университете[391]

Ещё до перехода кафедры физики в новое помещение на Московской площади в университете была осуществлена студенческая забастовка[392]. Что явилось её причиной, я теперь затрудняюсь сказать, но она не была внутриуниверситетская. Вполне возможно, что причиной стали события на Ленских золотых приисках — «Ленский расстрел»[393].

Мы, профессора, ничего не имели против такой забастовки. Во-первых, мы тоже не были в восторге от общей политики, а во-вторых, неочередной перерыв занятий всегда приятен. У меня лекция просто не состоялась за отсутствием слушателей, но на другие лекции несколько человек продолжали являться, и профессора, хотели они или нет, принуждены были читать для них. Так было и на лекции В. В. Вормса.

Несколько «штрейкбрехеров» сидело в аудитории, и Вормс, хотя он больше, чем кто-нибудь, сочувствовал студентам, читал лекцию. Посреди неё открывается дверь, и группа студентов-забастовщиков входит и требует прекращения лекции. Вормс весьма политично ответил, что до тех пор, пока у него в аудитории есть слушатели, он обязан и будет читать. Забастовщики пошумели немного и легко убедили «штрейкбрехеров» уйти с лекции. Никакого рукоприкладства не происходило. Всё обошлось тихо и мирно.

Только студенты успели благополучно разойтись, как в помещение университета (Фельдшерской школы) явилось несколько полицейских во главе с саратовским полицмейстером Николаем Павловичем Дьяконовым. Мы находились в кабинете Вормса, который рассказывал нам о происшествии[394]. Полиция была сильно разочарована тем, что всё уже кончено и она не может проявить свою «рачительность». Конечно, у полиции были агенты среди студентов, которые и известили полицмейстера о «снятии» слушателей с лекции Вормса, но всё произошло так быстро, что полиция явилась не к шапочному разбору, а тогда, когда ни одной студенческой фуражки в раздевалке уже не было. Дьяконов учинил допрос Вормсу, принялся допытываться, как было дело. Тот рассказал. Дьяконов добивался:

— Кто вошёл? Как их фамилии? Вормс отвечал:

— Не знаю. Не помню фамилии. Да разве ж можно запомнить фамилии всех студентов!

— Ну хотя бы некоторых, — не унимался Дьяконов.

— Да говорю же вам, что я не знаю!

Как сейчас, вижу милого Владимира Васильевича Вормса с весёлой, хитроватой усмешкой и несколько растерявшегося Дьяконова — у него был вид «про-

пуделявшего» охотника или рыбака, у которого с крючка сорвалась хорошая рыба. Действительно ведь: студенческая забастовка! Какая богатая и лёгкая добыча для полиции, и вдруг так «пропуделять»!

Я по простоте душевной, обращаясь к Дьяконову, сказал:

— Николай Павлович! Неужели вы и вправду думаете, что, если бы даже Владимир Васильевич знал фамилию хотя бы одного вошедшего, он назвал бы его вам?!

Дьяконов увидал, что приходится ему возвращаться домой «без пера», и бросил это дело. Тем более что занятия вскоре восстановились и никаких последствий «беспорядки» не имели.

Дьяконов был вообще очень порядочный человеком. Был он из кадровых офицеров, а теперь в чине полковника являлся полицмейстером и должен был выполнять порученные ему функции. Но никаких полицейских «художеств» за ним не числилось. Это следует хотя бы из того, что после революции он, конечно, посидел в тюрьме[395], но был освобождён и назначен инспектором игорного дома, организованного правительством в помещении бывшего театра Омон* для выкачивания денег из карманов нэпманов. Я несколько раз встречал его на Тверской, когда он шёл на «службу».

Эпидиаскопы. Воздушный шар. Аэростат Монгольфьера*

В начале декабря 1913 года вызывает меня В. И. Разумовский и говорит:

— У нас на этот год осталось неизрасходованных на научное оборудование 3000 рублей, жалко их отдавать обратно в казну. Не сумеете ли вы их экстренно с пользой для дела израсходовать?

Три тысячи по тому времени сумма была большая и распылять её на что попало не хотелось. Поразмыслив немного, я предложил такой выход:

Рискните перевести всю сумму авансом Цейсу в Иену, а он нам пришлёт счёт с распиской о получении денег и вышлет два эпидиаскопа для новых аудиторий — они как раз стоят по 1500 рублей каждый, сами же приборы мы получим после.

Василий Иванович согласился на такой риск, и деньги Цейсу с заказом на эпидиаскопы были переведены. Никто не сомневался, что Цейс в своё время приборы вышлет, но никто также не мог и предполагать, что в конце июля 1914 года начнётся война с Германией.

В начале июля в адрес Саратовского университета пришли от Цейса два громадных ящика с эпидиаскопами с макро- и микропроекцией, чудесные аппараты, хотя прежний эпидиаскоп Лейтца, который у меня был раньше, для меня был милее — он был смонтирован более компактно. Всё обошлось благополучно, мы вовремя получили приборы.

Но вот почему я об этом вспоминаю. Лично у меня к началу войны никаких неисполненных заграничных заказов не было, но целый ряд заказов у других кафедр был сделан и к началу войны заказы эти выполнены не были, они и оплачены не были. Так замечательно то, что после заключения мира, через три-четыре года, немецкие фирмы выслали заказанные им приборы.

* На его месте теперь построен концертный зал имени Чайковского. — Прим. В. Д. Зёрнова.

Объясняя студентам на лекциях явление конвекции в газах, всегда вспоминаю и привожу в качестве примера одно происшествие. Я как-то купил Митюне красный воздушный шар, шары в те времена всегда наполняли светильным газом или водородом (в Саратове — водородом). Мы с Митюней пристроили к шару бумажную лодку с бумажными пассажирами и забавлялись с шаром, меняя нагрузку, причём, он то упирался в потолок, то плавал в воздухе. Уходя спать, Митюня оставил шар в гостиной с малой нагрузкой, так что он упёрся в потолок. Рано утром Митюня ворвался в нашу спальню и разбудил меня:

— Пусенька, пусенька! Посмотри-ка, что делается с шаром!

И Митюня потащил меня к дверям гостиной. Я увидал действительно презабавное явление: шар за ночь несколько потерял свою подъёмную силу и уже не упирался в потолок, а плавал в воздухе, совершая правильные экскурсии. Он поднимался по теплому зеркалу голландской печи, под потолком, не касаясь его, отправлялся к стене с окнами, там опускался и недалеко от пола возвращался опять к зеркалу печи, то есть следовал за циркуляцией воздуха в комнате с голландским отоплением (печь была рано утром нетоплена).

Другое событие связано с изготовлением аэростата Монгольфье[396]. Это было летом 1911 года, в год рождения Мурочки. Я затеял склеить из папиросной бумаги воздушный шар, который должен был подыматься, будучи наполненным теплым воздухом. Сначала я склеил из папиросной бумаги трёх цветов сравнительно небольшой шар диаметром так 100—120 сантиметров. Мы наполняли его теплым воздухом, держа над керосиновой кухней, и шар поднимался, но объём его был небольшой, и он быстро остывал и подымался невысоко. Такие шары пускают, подвязывая под отверстие зажжённую вату, смоченную спиртом. Но мы не решались пускать шар с огнём: в Дубне было много соломенных крыш. Вскоре шар сгорел на старте, во время наполнения его теплым воздухом.

Тогда я купил большое количество папиросной бумаги трёх цветов — белую, розовую и голубую — и склеил шар, который в надутом состоянии имел не менее трёх метров в диаметре. При наполнении шар приходилось держать на палке с верхнего балкона. Попробовали наполнять его над керосинкой, но не удалось. Пришлось построить особую печь: в жестяную чашку наливался спирт, а над чашкой ставилась железная труба с пробитыми внизу в несколько рядов отверстиями. Получалась очень сильная тяга. Пламя в трубе прямо гудело.

Для удержания шара в воздухе в правильном положении к нижнему кольцу его была привязана корзиночка, в которую в качестве балласта было положено два яблока. При таких предосторожностях шар совершил два «вылета». Первый раз он поднялся над деревьями и, перелетев большой пруд, опустился. Второй вылет был ещё удачнее. Дул очень слабый ветер, шар поднялся над парком, пролетел над школой и опустился недалеко от погоста.

Оба раза мы пускали шар перед заходом солнца. Шар начинал подыматься в тени от дома и парка, и было очень красиво, когда он, поднявшись выше деревьев, вдруг освещался лучами заходящего солнца.

Приглашение в Московский университет[397]

Со времени смерти П. Н. Лебедева кафедра физики в Московском университете оставалась вакантной. Н. А. Умов* и А. П. Соколов давно уже выслужили свои сроки и были заслуженными профессорами, продолжая читать общий курс. Профессур на кафедре считалось две (без профессуры метеорологии, которую занимал профессор Э. Е. Лейст). Одна профессура была замещена по назначению министра Кассо Б. С. Станкевичем. Это был уже пожилой человек. Он выслужил срок в Варшавском университете (там срок был сокращённый) ещё до получения мной кафедры в Саратове и на «пятилетие» оставлен не был[398]. По-видимому, на его место и искали кандидата, когда Лебедев рекомендовал меня в Варшавский университет.

Выйдя из состава профессоров Варшавского университета, Станкевич жил в своем имении где-то в западном крае и был земским начальником. После демонстративного ухода профессоров в 1911 году[399] министр Кассо назначил своей властью Б. С. Станкевича в Москву, хотя профессорский состав пополнялся либо по «конкурсу», либо по «рекомендации». Это же назначение явилось, конечно, одиозным для старой профессуры, и положение Станкевича было неприятное. После революции ему пришлось покинуть Московский университет[400], как, впрочем, и всем, кто был назначен властью Кассо на место ушедших в 1911 году. В таком же положении оказался и В. В. Челинцев[401].

После совершения Февральской революции Станкевич появился почему-то в Саратове в очень жалком виде, и я даже поместил его в Физическом институте. Он прожил здесь несколько дней и отправился в Пермь, где получил кафедру и, проработав несколько лет, там же и умер.

Так вот, одна профессура в Московском университете оставалась вакантной. Сколько я знаю, не то Соколов, не то Станкевич рекомендовал факультету на кафедру физики Н. П. Кастерина, который был профессором в Одессе. Кандидат был весьма солидный, но почему-то члены факультета были против данной кандидатуры и при баллотировке Кастерина провалили.

В начале марта 1914 года я получил от декана физико-математического факультета Московского университета официальное извещение о том, что Станкевич рекомендует меня факультету[402]. Я этим делом, конечно, был весьма взволнован и не знал, как мне поступить. Я обратился за советом к В. И. Разумовскому. Он, хотя ему и жалко было бы со мной расставаться, советовал мне соглашаться на баллотировку.

Я сейчас же отправился в Москву, чтобы ещё раз посоветоваться с отцом и повидаться со Станкевичем и деканом Л. К. Лахтиным (он был моим учителем ещё в пятой гимназии). Со Станкевичем я раньше знаком не был, поэтому в первую очередь я отправился к нему, благодарил его, как говорят, за доверие, но решительного ответа не дал. Потом навестил моего старого учителя Лахтина. Он очень уговаривал меня соглашаться на переход в Московский университет. Я в ответ ему говорил, что меня смущает история с Кастериным, который и по научной квалификации, и по возрасту выше меня, однако факультет его забаллотировал. Лахтин стал уверять меня, что в отношении Кастерина имелись какие-то личные соображения, а ко мне-де отношение совсем другое и

* Н. А. Умов выпел из состава профессоров в 1911 году, хотя он и без того был уже за штатом.— Прим. В. Д. Зёрнова.

можно быть почти уверенным, что факультет отнесётся благоприятно к моей кандидатуре.

После мы долго говорили с папой и, несмотря на то, что предложение перейти в Московский университет было весьма почётно, да и для папы было бы очень приятно, если бы мы переехали в Москву, решили всё же написать официальный отказ. Папа видел, как хорошо ко мне относятся в Саратове. Саратовский университет относился хорошо и к папе — его, по представлению В. И. Разумовского, Совет избрал своим почётным членом[403]. Я только что выстроил новый институт.

Конечно, на кафедру физики в Москве я попадал как младший её член, да ещё надо было подписать обязательство защитить к определённому сроку докторскую диссертацию*. Учитывая всю сложность отношений в Москве и моё исключительно благоприятное положение в Саратове, даже и материальное, которое значительно улучшилось с открытием сельскохозяйственного института и женских медицинских курсов, мы с папой и решили, что Москвой соблазняться не стоит[404].

Впоследствии, уже после революции, был объявлен конкурс и А. П. Соколов приглашал меня принять участие в нём. Впрочем, Соколов писал мне, что если подаст на конкурс Кастерин, то он в первую очередь будет поддерживать его, а меня только в том случае, если кандидатура Кастерина не встретит сочувствия или он вовсе на конкурс не подаст. Я был деканом только что открытого физико-математического факультета и полностью был увлечён его организацией[405]. Поэтому Соколову я ответил, что на конкурс не подам, так как занят организацией факультета. Позже Соколов с некоторой даже обидой отвечал мне, что он-де, к сожалению, не может предложить мне деканства в Москве. Не подал на конкурс и Кастерин. В результате конкурс также не состоялся. И тогда В. И. Романов в спешном порядке защитил свою старую работу, которую он сделал ещё у Лебедева, на степень магистра физики и был выбран факультетом на кафедру. И, надо сказать, с честью занимал её вплоть до 1938 года, до своего ареста[406].

Лето 1914 года. Начало войны*

На лето 1914 года мы, как обычно, переехали в Дубну. И началась война, принесшая так много несчастия и, в конечном счёте, до неузнаваемости изменившая весь уклад жизни.

В Дубне несколько человек были призваны в действующую армию и на деревне стоял вой. На ограде церкви был наклеен отпечатанный «манифест» с объявлением войны. «Манифест», как это полагалось, был оглашён священником с амвона после обедни. Все были уверены, что война не продолжится более двух-трёх месяцев, и когда англичане писали, что они готовятся, по крайней мере, на три года, то все думали: вот чудаки, кто же может так долго воевать. Ну, а как оказалось, англичане были дальновиднее, чем кто-либо.

К нам в Дубну приезжали в гости Н. П. Неклепаев с женой Анной Михайловной и её сестрой Марией. Когда была объявлена война, Неклепаевы находились у

* Лахтин уверял, что последнее — совершенная формальность и определённый срок вовсе не обязателен, то же говорил и Соколов. — Прим. В. Д. Зёрнова.

нас, и так как Николай Павлович как прапорщик запаса подлежал призыву, он заторопился возвратиться в Саратов и, действительно, по возвращению тотчас же был призван. И когда мы приехали в Саратов, Николай Павлович уже собирался на фронт со своей частью в качестве начальника пулемётного гнезда. Я провожал его на вокзале. Он и здесь, как всегда, был спокоен и деловит, распоряжался погрузкой своих солдат и снаряжения, и вид у него был хорошего хозяина. Вскоре у Анны Михайловны родился сынишка Кока[407]. Мы почему-то совершенно не замечали, что она ожидает ребёнка, и были очень удивлены, когда как-то утром Мария Михайловна по телефону сообщила нам, что появился Кока.

Хотя не полагалось указывать в письмах, с какого места они пишутся, но мы всегда знали, где в данный момент находится Николай Павлович. Он условился, что в конце каждого письма будет написана фраза, начальные буквы слов которой как раз и составят название места, откуда он пишет. Николай Павлович очень ловко подбирал нужную фразу, так, чтобы она не была бессмысленна и оторвана от основного текста.

В Саратове вначале война мало чувствовалась, но вскоре новые университетские здания стали превращаться в госпитали. Жёны профессоров и преподавателей исполняли обязанности сестёр. У меня в институте был организован хирургический госпиталь, и операционная была в большой аудитории. Я устроил рентгеновский кабинет, сначала с очень маломощными трубками, но всё же он приносил пользу[408].

Первый транспорт раненых состоял из австрийцев, и вот на носилках приносят к нам в кабинет молодого человека с раной в груди. Температура у него была чуть не 40 градусов, и он находился почти без сознания. Нам казалось, что он вот-вот умрёт. Однако мы положили его на скамью и сфотографировали грудную клетку. Сейчас же проявили и увидали, что в лёгком имеются какие-то две палки, размещённые перпендикулярно к рёбрам, и несколько каких-то металлических предметов. Прямо из рентгеновского кабинета вместе с мокрой ещё фотографией раненого перенесли в операционную. С. И. Спасокукоцкий, посмотрев на нашу работу, выпилил два ребра и вынул из лёгкого две резиновые трубки, которые ещё в полевом госпитале были помещены в рану для откачки гноя, но при вздохе проскочили внутрь, и несколько металлических частей от снаряжения, которые были занесены пулей. Сама пуля, кажется, прошла навылет.

Недели через две мы были в рентгеновском кабинете. Вдруг кто-то стучит. Открывается дверь, и входит наш пациент, ещё слабый, но уже поправляющийся. Он пришёл к нам поблагодарить за то, что мы первые его встретили и поспособствовали его быстрому выздоровлению. Какая высокая культура![409]

В рентгеновском кабинете работал студент-медик Шура Козырев, впоследствии ассистент В. И. Разумовского, хирург весьма способный и смелый, но человек не очень щепетильный. В работе ему помогала А. М. Неклепаева, что и повело к разрушению домашнего очага Николая Павловича Неклепаева. Неклепаев, когда вернулся, долго не горевал и женился на приятельнице Анны Михайловны — Серафиме Алексеевне. Но и этот союз не был счастливым:

Серафима Алексеевна впоследствии лишилась рассудка и кончила свои дни в психиатрической больнице. Николай Павлович женился ещё раз, и эта жена пережила его. Неклепаев умер в конце 1942 года. Я, возвратясь из эвакуации, застал его уже умирающим в Боткинской больнице[410] .

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
(1915—1919)

Детский праздник встречи Нового года

Мне хочется записать, как мы устраивали для детей праздник встречи Нового года. Должно быть, это была встреча 1916 года. Мы позвали в гости к нашим ребятам несколько детей моих товарищей-профессоров и для всех купили небольшие подарки. Конечно, была зажжена ёлка. И, чтобы позабавить ребяток, устроили такое представление: Старый год — им был я в маске старика с длинной бородой и в халате — прощался с детьми и раздавал на прощание номерки для получения подарков. Потом Старый год, кряхтя, удалился, а Новый год — его изображал трёхлетний Славик Зайц, сын скрипача В. В. Зайца — выезжал в детской колясочке, стоя в ней с золотым жезлом в руках, на котором были укреплены вырезанные из золотой бумаги цифры нового года. Славика в белой рубашечке, с гирляндой искусственных цветов через плечо и с таким же венком на голове, вёз медведь — в его роли выступал снова я в медвежьей маске и в вывернутой мехом шубе. Новый год поздравлял всех и раздавал подарки по номерам, выданным Старым годом. Славик держал себя как настоящий артист*. Этот детский праздник оставил в памяти какое-то светлое, радостное впечатление.

Киевские высшие учебные заведения в Саратове. Весенние прогулки

Зима 1915—1916 годов в Саратове вообще прошла весьма оживлённо. Осенью 1915 года Киев находился под угрозой наступления австро-германских войск, и целый ряд высших учебных заведений из Киева был эвакуирован в Саратов. Приехало много киевских профессоров и студентов, и мы должны были обеспечить их помещением для занятий[411]. Когда киевляне увидели наши новые здания и наше оборудование — «с иголочки», они были удивлены: думали, что «в глуши, в Саратове» ничего нет. Киевляне не стали даже распаковывать своё оборудование и использовали нашу аппаратуру.

Мы жили с киевлянами очень дружно. Отчасти даже принимали участие в преподавании и приёме экзаменов. Я, например, экзаменовал в Государственной комиссии по физике и на полукурсовых по метеорологии; был официальным оппонентом на магистерской диссертации у Кордыша и даже что-то читал какому-то курсу. В Саратов приехали не все профессора из Киева, и наше участие было действительно необходимо, к тому же «гости» таким образом немного подкармливали «хозяев».

В моём домашнем квартете в этот год вторую скрипку играл профессор математики Киевского университета Граве. Зимой устраивались вечера, а весной, когда пошли пароходы, мы устроили весеннюю весёлую прогулку по Волге. На палубе большой баржи, которую вёл маленький буксирный пароходик, были расставлены столы с угощением, и вся компания, сидя за столами на открытом воздухе, угощалась, вы-

---

* Впоследствии Славик Зайц учился в Московской консерватории и был способным пианистом, но занимался мало и большого музыканта из него не вышло; он, бедный, погиб в войну 1941 года.— Прим. В. Д. Зёрнова.

шивала (среди киевлян, да и моих саратовских друзей было немало любителей выпить), но всё это только до несколько повышенного веселья. Так мы проплавали весь длинный весенний день.

Весенние прогулки по Волге вообще у нас практиковались. Ещё раньше, весной 1914 года, мы саратовской компанией точно так же катались. Мы высадились на каком-то острове.

Каждую весну мы выезжали на моторной лодке, принадлежавшей Обществу естествоиспытателей[412], председателем которого я был. Мы выезжали выпускать мальков, выведенных на рыборазводном заводе Общества. Лабораторией Общества и рыборазводным заводом заведовал сын саратовского лютеранского пастора Арвид Либорьевич Бенинг, очень способный биолог[413].

Эти наши выезды, конечно, тоже сопровождались угощением, и при выпуске мальков пили за их здоровье и процветание. К сожалению, война и последующие события прервали интересное и нужное дело искусственного разведения рыбы в Волге. Предполагалось, что можно будет следить за тем, как развиваются породы рыб, которых ранее в водах Волги не было. Например, выпускали мальков волховских сигов, сибирскую нельму — эти превосходные сорта рыб в Волге не водились. Выводили форель, но её выпускали не в Волгу, а в Тёпловские проточные пруды, и когда форель вырастала до мерной величины, её отправляли в вагоне-аквариуме в Петербург.

Последние годы жизни и смерть отца[414]

В конце 1914 года мы, списавшись с папой, решили всей семьёй провести рождественские каникулы в Дубне. Стояли очень сильные морозы. Несмотря на это, мы отправились в Дубну. Мурочке было всего три года, но дети были тепло одеты. Мы благополучно в двух санях добрались со станции Лопасня до Дубны, дети были укутаны с головой.

Папу мы застали в каком-то болезненно-раздражённом состоянии — он сердился, зачем мы в такой холод рисковали и везли детей. С нами приехала и наша приятельница Алла Михайловна Томская со своей воспитанницей — девочкой лет десяти. В Дубне в это время находились и Макаровы. Папа говорил: куда я помещу всех? Но, конечно, всё это было результатом того, что папа был болен. Он плохо спал ночью, а днём часто дремал, почти не имел аппетита. Когда все устроились, и довольно неплохо, папа поуспокоился, и мы прожили хорошо каникулы. В нижней столовой устроили ёлку. Дети веселились, а воспитанница Аллы Михайловны замечательно танцевала. Дети гуляли и катались с горы. Но я видел, что нужно предпринимать что-то экстренное со здоровьем папы.

В самом начале января мы возвратились в Москву, и я вызвал врачей. Папу всегда лечил профессор Н. С. Кишкин, но надо было не терапевта, а хирургов и андрологов. Профессор А. В. Мартынов, хирург, большой папин почитатель, рекомендовал такой состав консультации: сам Мартынов, профессор Спижарный, А. Ф. Гагман и Фронштейн.

У папы была констатирована гипертрофия простаты, и в связи с этим начиналось отравление организма. Мартынов настаивал на немедленной операции удаления желез, операции тяжёлой и кровавой, считая, что в противном случае будет делаться всё тяжелее и кончится смертью. Фронштейн его поддерживал. А Спижарный говорил, что,

не будь это Дмитрий Николаевич, он согласился бы на риск операции, но рисковать испортить свою «статистику» неудачной операцией над Дмитрием Николаевичем Зёрновым он-де не желает. Гагман поддерживал Спижарного и говорил, что можно вполне обойтись катетеризацией. Так они и не пришли к общему заключению.

Когда Гагман и Спижарный уехали, Мартынов остался и сказал мне:

— Я считаю, что отношение Спижарного просто недобросовестно. Он не хочет рисковать испортить свою статистику и оставляет больного без помощи. Но при создавшихся условиях я без поддержки крупного хирурга оперировать не решусь. Вызовите из Петербурга Фёдорова*. Если Сергей Петрович поддержит, я, несмотря на риск, буду оперировать. Я лично уверен в необходимости операции!

Я сейчас же, хотя было 9 часов вечера, поехал на станцию междугороднего телефона. Мне удалось соединиться с квартирой С. П. Фёдорова. Надо сказать, что лично я его раньше никогда не встречал. Он находился дома. Несмотря на плохую слышимость, мне удалось достаточно точно рассказать, в чём дело. Сергей Петрович без всяких колебаний ответил:

— Сегодня уже поздно, я выехать не могу, но послезавтра утром я буду у Дмитрия Николаевича!

До сих пор с волнением и благодарностью вспоминаю отношение А. В. Мартынова и С. П. Фёдорова к папе. Теперь уже давно их обоих нет на свете[415].

Через день утром я отправился на Николаевский вокзал встретить Фёдорова. Из вагона вышел красивый блондин с большими усами «в три кольца», в генеральской шинели на красной подкладке. Я сразу догадался, что это Сергей Петрович, подошёл к нему и рекомендовался. Сергей Петрович сказал, что он только заедет домой (у него была квартира и в Москве) переодеться и через час-полтора будет у нас.

Когда я вернулся, Мартынов был уже у нас, а вскоре приехал и Фёдоров. Хотя всё это меня и очень волновало, но я любовался, с какой уверенностью и ловкостью исследовал папу Сергей Петрович. Он без всяких колебаний сказал, что операция необходима и немедленно, но рекомендовал разделить её на два такта: сначала вскрыть мочевой пузырь через живот и сделать свищ, чтобы моча не задерживалась, а когда состояние папы улучшится, приступить уже к радикальной операции удаления железы.

Папа переехал в хирургическую клинику Мартынова на Девичье Поле, и вскоре тот его оперировал, а Фёдоров присутствовал на операции. Операцию папа перенёс хорошо. Заснул от хлороформа, по выражению Мартынова, как младенец. Мартынов объяснял это тем, что нервная система папы не была испорчена ни алкоголем, ни другими какими-нибудь наркотиками, кроме, пожалуй, никотина.

Я во время операции в клинике не присутствовал, но приехал в тот же день и затем в течение двенадцати дней каждый раз бывал у папы. Привозил ему виноград, икру и с каждым новым днём видел, что общее состояние его улучшается: появился аппетит, восстановился хороший цвет лица, папа всем опять начал интересоваться. Конечно, папе было всё же трудно существовать, хотя он мог выходить и даже впоследствии стал опять читать лекции — он оставил за собой свою любимую тему «Органы чувств», но ему приходилось постоянно носить на себе мочеприёмник (резино-

* Сергей Петрович Фёдоров был лейб-хирургом и профессором Военно-медицинской академии и также являлся поклонником папы. — Прим. В. Д. Зёрнова.

вый мешок), который был соединён трубкой через свищ на животе непосредственно с мочевым пузырем. Пришлось постоянно держать медицинскую сестру, которая должна была прилаживать эти приспособления, стерилизовать катетеры. Всё это, конечно, было тяжело. Папа мечтал о радикальной операции.

Весной 1915 года папе пришлось опять лежать в клинике, но и на этот раз радикальной операции не сделали, а только удалили камень, образовавшийся в мочевом пузыре. Очевидно, опасность отравления мочой всего организма была устранена, и те хирурги, которые были за операцию, теперь не решались рисковать. Но папа попрежнему мечтал о радикальной операции и говорил, что если он её перенесет, то навсегда переедет в Саратов, чтобы жить вместе с нами.

Лето 1915 года мы, как и всегда, проводили в Дубне, но перед переездом в неё довольно долго оставались в Москве. Папа лежал в клинике, а мы жили в его квартире.

На Пасхальных каникулах в 1916 году папа гостил у нас, и мы с ним усиленно искали дом — папа хотел купить дом, в котором мы могли бы жить вместе. Мы совсем было уже сторговали двухэтажный дом на Астраханской улице у законоучителя коммерческого училища отец Николая, кажется, тысяч за двадцать. Но кто-то дал этому отцу Николаю на одну тысячу больше. И когда я пришёл к нему, чтобы условиться, как переводить деньги, дом оказался проданным. Нам было весьма досадно: дом очень нам подходил и по размеру, и по цене, к тому же он располагался совсем близко от университета. Папа, конечно, не стал бы спорить из-за одной тысячи. А меньше чем через год папы не стало.

После Нового 1917 года мы с Катёной и Танюшей ездили к нему в Москву и пробыли у него Татьянин день[416]. Он мне тогда не сказал, что собирается всё же оперироваться, а в начале марта он решил подвергнуться радикальной операции, но её он не дождался. Накануне переезда в лечебницу для подготовки к операции он внезапно скончался от настоящего разрыва сердца*.

Когда я осознал, что папы больше нет, у меня сделалось такое ощущение, будто мне не на что и не на кого в жизни опереться, хотя я уже был ординарным профессором.

Папа скончался 13 марта 1917 года через две недели после Февральского переворота. Последний его подарок Митюне — сочинения Загоскина, на книжках папа написал по ошибке 13 марта вместо 7-го, то есть случайно указал число дня своей смерти.

Погром немецких магазинов в Москве

Во время нашего пребывания в Москве там произошёл погром магазинов и учреждений, принадлежавших людям с немецкими фамилиями. Первоначально антинемецкая демонстрация, несомненно, была организована полицией, но потом толпа так расходилась, что «патриотическая» демонстрация превратилась в дикий грабёж: всё, что имелось в магазинах, подверглось разграблению. А магазины были и в самом деле соблазнительные. Я сам видел, когда грабёж уже немного поунялся, как «патриоты» входили через разбитые окна в магазин Эйнем[417] и выходили оттуда с узлами конфет, печений и прочих сладостей. На Кузнецком мосту из окон второго этажа летели чудесные рояли из ма-

* Я не привожу здесь подробности его кончины, так как уже описал их в небольшой статье, переданной В. Е. Прудникову, который также интересовался биографией и моего деда, и моей собственной. — Прим. В. Д. Зёрнова.

газина Циммермана[418]. Был разграблен и магазин обуви фирмы «Скороход»[419], хотя тут уж и фамилии никакой немецкой не было.

Полиция не могла унять ею же организованную «патриотическую» демонстрацию. Из нашей прислуги в ней участвовала молодая прачка Лиза. И домой она заявилась только на другое утро с целым запасом «трофейных» вещей и продуктов. К этому времени вышел приказ московского градоначальника, в котором он требовал прекращения безобразия и грозил репрессиями демонстрантам-грабителям. Я вызвал Лизу и ругал её, читая приказ весьма громким голосом.

Дни Февральской революции в Саратове

Февральский переворот застал меня в Саратове. Сведений достоверных о том, что действительно происходит, мы не имели[420]. На улицах были расставлены патрули, которые тоже ничего не понимали и не знали, кого и от кого они охраняют.

В один из первых вечеров довольно поздно я возвращался из университета. У нашего подъезда стоял патрульный с винтовкой. Вид у него был совсем не воинственный: мужик уже не молодой, с окладистой бородой, видимо, из запасных давнего года рождения. Когда я подошёл и начал звонить, солдат нерешительно спросил меня:

— Барин, а, барин! Говорят, царь-то сменился?!

Я так же нерешительно отвечаю, что, мол, тоже слышал, что царь сменился. Солдатик, вздохнувши полной грудью, снова произнёс:

— Может, замирение будет?!

На этом наш разговор и кончился.

Громадное большинство людей действительно мечтало о «замирении», а что принесёт будущее, никто себе представить не мог. Жизнь, конечно, до известной степени по инерции продолжалась. Ходили друг к другу в гости, делились слухами, были мы даже в концерте.

Во время этого концерта в зал вошёл молодой человек в юнкерской форме, в полном боевом снаряжении и начал раздавать листовки, в которых «граждане» призывались брать оружие и выходить на защиту, но, собственно, кого и от кого защищать — по-прежнему было не понятно: старый ли строй от нового, ещё совершенно неизвестного, или это неизвестное от сторонников старого строя. Поклонников старого строя было мало, а «новое» было ещё совершенно неопределённо*.

Как-никак было какое-то новое правительство, и войска, находившиеся в Саратове, должны были демонстрировать свою преданность этому новому правительству. В один из первых дней после переворота на Московской площади была назначена такая военная демонстрация[421]. Военные говорили, что они побаивались контрдемонстрации и были вооружены боевыми патронами. Но никакой контрдемонстрации не последовало. Мы на это смотрели из окон здания университета на Московской площади. Шёл густой мокрый снег. Были видны через туман и густой снег колонны войск, которые шли с развёрнутыми знамёнами, но они не встречали никакого сопротивления и ни сколько-нибудь внушительной сочувствующей толпы. Так в тумане и некотором недоумении и было принято это «новое»[422].

Наибольшей популярностью среди интеллигенции тогда пользовалась констуционно-демократическая партия, или «кадеты». Когда партийные деятели поразобрались в ошеломляющих событиях, то начались довольно крикливые митинги. Помню митинг в городской

* Пожалуй, я ошибаюсь! Это было, по-видимому, уже при начале Октябрьского переворота. — Прим. В. Д. Зёрнова.

Да! — Прим. Е. В. Зёрновой.

Думе. Теснота была невероятная. На лестнице происходила самая настоящая давка. С горячей речью, конечно, в революционном духе выступал один из крупных кадетов, присяжный поверенный В. Н. Поляк, человек очень умный и высокообразованный*[423].

Так как на митингах программа была довольно стандартная и речи повторялись, я перестал ходить на эти собрания. Вместо этого мы с моим приятелем и кумом В. В. Зайцем усиленно занимались музыкой и учили замечательный скрипичный дуэт Сарасате «Наварра». Заяц очень интересно показывал мне, как его учитель Шевчик рекомендовал разучивать трудные места. Стоим мы так друг против друга и с увлечением «пилим». Не заметили, как пришёл С. И. Спасокукоцкий, посмотрел на нас и говорит:

— Нет! Это совершенно сумасшедшие люди! Весь народ на митингах, а они пилят и пилят!

В университете официально занятия не прекращались, но в аудиториях тоже часто вместо лекций происходили митинги. И вот однажды я прихожу в Физический институт на лекцию, а аудитория занята тысячной толпой митингующих. Тут были и студенты, но главным образом люди с улицы. Довольно большая группа моих слушателей медиков, человек двадцать, окружила меня и заявила, что они хотят слушать лекцию. Я, памятуя, что во время Великой Французской революции в Сорбонне не было пропущено ни одной лекции, предложил им пойти со мной в мою библиотеку в Физическом институте, где имелась хорошая доска. Там я и читал им лекцию — об устройстве микроскопа и выводил «увеличение микроскопа». Эту тему я почему-то никогда больше в курсе не читал. А выбрал я её потому, что она не имела непосредственной связи ни с предыдущим, ни с последующим материалом, и те, которые не присутствовали, могли легко её пройти и без лекции. К тому же выводов геометрической оптики я на экзаменах не требовал.

Университетские дела

Ещё задолго до Февральской революции наш первый ректор В. И. Разумовский, к которому все относились с исключительным уважением, отказался от ректорства[424]. Василий Иванович имел частые столкновения с министерством и попечителем, и это его сильно нервировало. Может быть, тут были и другие причины.

Дело в том, что во время думских каникул был проведён закон об организации нового Министерства здравоохранения. Закон должен был впоследствии утверждаться Государственной Думой. Во главе министерства стоял лейб-акушер Рейн. Он-то и написал Разумовскому письмо, в котором сообщал, что сам царь желает видеть в качестве товарища министра — Разумовского. Я уверен, что Рейн врал. Просто ему надо было уговорить Василия Ивановича пойти на эту должность, чтобы иметь около себя облечённого общественным доверием человека, каковым Разумовский несомненно являлся.

Положение же нового министерства было весьма шаткое. Василий Иванович позже сам показывал мне письмо Рейна. И так как Разумовский был человеком старого закала, хотя и прогрессивных мыслей, желание царя ему чрезвычайно импонировало. Несмотря на шаткость положения нового министерства, организованного помимо Думы, и несмотря на то, что прогрессивные круги считали неудобным участвовать в таком министерстве, Василий Иванович, подкупленный выдумкой Рейна, решился принять должность товарища министра и уехал в Петербург[425].

* После Октябрьской революции, кажется, после взрыва в Леонтьевском переулке в Москве он был расстрелян — Прим. В. Д. Зёрнова.

Как только собралась Дума, она рассмотрела закон об организации нового министерства и закон этот отвергла. По-видимому, это было сделано исключительно потому, что закон был проведён в порядке какой-то там статьи[426] без предварительного обсуждения в Думе, так как по существу организация министерства была вполне рациональна. Все медицинские дела до этого были сосредоточены в медицинском департаменте Министерства внутренних дел.

Министерство здравоохранения было в итоге раскассировано, но Разумовский в Саратовский университет не вернулся, а отправился на Кавказский фронт в качестве главного хирурга[427]. Потом, уже после Октябрьской революции, он оказался отрезанным от Саратова и вернулся в него только весной 1920 года. На Кавказе Василий Иванович участвовал в открытии и организации Тифлисского и Бакинского университетов[428].

Когда Разумовский отказался от ректорства, временно исполняющим обязанности ректора был назначен профессор анатомии Н. Г. Стадницкий, для этой роли совершенно неподходящий[429].

Тоже до Февраля, верно, осенью 1915 года, назначены были выборы ректора[430]. Тогда же в университете возникла группа, которая поддерживала кандидатуру Стадницкого[431]. В этой группе находился и умнейший и хитрейший А. А. Богомолец, для которого цель оправдывала любое средство, а целью в данном случае являлось иметь ректором человека недалёкого, на которого, положивши ему белый шар при баллотировке, можно было бы успешно влиять. Трудно было предсказать, какие шансы имеет Стадницкий, но агитация, исходившая главным образом от Богомольца, была сильная, и Стадницкий весьма рассчитывал получить большинство избирательных шаров. Другим кандидатом был профессор патологической анатомии Пётр Павлович Заболотнов, человек довольно провинциальный, но старых академических правил[432].

Незадолго до дня выборов я получил вызов в Петербург в комиссию по магнитометрической съёмке всей России[433]. Мне очень хотелось поехать. Но в это время в Саратове находился попечитель Казанского учебного округа Кульчицкий (впоследствии — последний царский министр народного просвещения[434]), и надо было получить его согласие на командировку. Я отправился к нему на приём и рассказал, что меня вызывают в Петроград по такому-то важному делу. Кульчицкий, встав из-за стола и поплотнее закрыв дверь приёмной, как будто его могли подслушать, произнёс:

— Знаете, во всякое другое время я охотно подписал бы вашу командировку, но у вас в Совете на днях выборы ректора и ваше отсутствие на выборах может дать перевес нежелательному для вас кандидату. Вот смотрите... — Кульчицкий довольно верно определил шансы того и другого кандидата.

По политической окраске Стадницкий был ближе к Кульчицкому, чем Заболотнов, но попечитель, как всякий умный человек, прекрасно понимал, что кандидатура Стадницкого поддерживается в оппортунистических целях.

Я остался до выборов. Заболотнов был избран лучше, чем мы того ожидали[435]. Некоторые приятели Стадницкого «надули» его. Может быть, Кульчицкий им пригрозил?[436]

Порядок самих выборов выглядел так: при баллотировке ректор стоит у ящика и по списку вызывает членов Совета. В данном случае у ящика стоял Стадницкий. Каждому члену Совета ректор выдаёт деревянный шарик, а баллотирующий запуска-

ет руку в верхнее отверстие ящика и бросает шар в правый или левый выдвижной ящик. Снаружи совершенно незаметно, в какой из выдвижных ящиков брошен шар. Левая половина окрашена в чёрный цвет, правая — в белый. В левом выдвижном ящике собираются неизбирательные шары — так называемые чёрные, в правом — избирательные, белые шары. Каждый кандидат баллотируется особо. Когда все члены Совета положили шары тому и другому кандидату, Стадницкий выдвинул свой белый ящик и увидел там шаров меньше, чем рассчитывал. Его лицо сразу же приобрело растерянный и огорчённый вид. Он то и дело посматривал на своих приятелей вопросительным взглядом, словно спрашивая их: «Кто же это меня надул?».

Таким образом, всё благополучно уладилось, и я на другой день выехал в Петроград, но уже никакой комиссии не застал. Оказалось, она заседала один день. Всё заранее было подготовлено. Я побывал у председателя комиссии, какого-то почтенного адмирала[437], объяснил ему причину своего опоздания, завтракал с его семейством, очень простым и симпатичным, и, не задерживаясь, возвратился в Саратов.

П. П. Заболотнов без блеска, но вполне благополучно правил университетом до сентября 1918 года — законное «трёхлетие»[438], после чего абсолютно отказался от вторичного избрания. Тут наступали бурные времена, и удерживать в равновесии университетский корабль старому уже Заболотнову было не по силам.

Дубна 1917 и 1918 годов. Настя (Кусенька)

Лето 1917 года мы первый раз проводили в Дубне без папы. Было очень грустно видеть Дубну по-прежнему такой, какой её любил папа, все его посадки, все его вещи стояли на местах, а его самого уже не было.

Я вошёл в его кабинет, сел в его самодельное кресло за его письменный стол, за которым он сидел так много лет, и не мог удержать слезы и долго плакал, как плачут дети. Я благодарю Бога за то, что он дал мне таких родителей, что он дал мне великую любовь к ним, что он научил меня любить и мою семью. Я уверен, что отношения мои с моими родителями дали и те отношения, которые существуют у меня с моими детьми.

Лето 1917-го и лето 1918 годов ещё не внесли радикальных изменений в дубненскую обстановку. Тогда ещё только шёл разговор об изъятии из пользования «новой земли» — 6 десятин, которые папа в последнее время прикупил к 10 десятинам усадьбы[439]. Эти 6 десятин примыкали к усадьбе, и папа купил «новую землю» с тем, чтобы сеять там овёс и клевер. И о саде ещё никто не подымал вопроса. Кучер Чувиков и его жена числились моими служащими и получали от меня жалованье.

После смерти папы Настя (Кусенька) и Елена переехали в Дубну. Настя, поселившись во флигеле, так там и оставалась до своей смерти. Она прожила в нашем семействе 51 год. С нашего возвращения в Москву в 1921 году и до осени 1927 года Настя заведовала кухней, и каждый вечер, надев накрахмаленный чепчик и белый фартук, она являлась к Катёне «к приказанию», как она сама говорила, — обсудить, что готовить на завтра. Настя говорила, что её главное желание — дожить до пятидесятилетнего «юбилея», исполнявшегося в ноябре 1927 года. Вместе с Настиной племянницей Грушей я ездил в этот день в Дубну и отвёз ей кое-какие по-

дарки, конечно, пустяшные, — времена были уже трудные. За 25 лет службы Настя получила от папы золотые часы с надписью и золотой крючок в виде брошки для того, чтобы вешать их на платье. Часы эти Настя завещала Мурочке.

Настю деревенские любили, и последние годы ходили к ней лечиться, она хорошо умела делать компресс, лечила какими-то травами, припарками, умела сделать перевязку. Состоя при маме долгие годы, она научилась многому и вообще была умной женщиной. Дети мои её тоже очень любили и звали всегда непременно «Кусенькой».

Когда мы в 1928 году приехали в Дубну, Настя была совсем слаба. Я вызывал к ней доктора, сына крестьянина из Дубны Ивана Алексеевича Теремова, но помочь Насте было невозможно. По-видимому, у неё был рак какого-то внутреннего органа. Она понимала, что умирает, и когда ей было совсем плохо, она брала в руки зажжённую восковую свечу, как в старину, но потом ей опять делалось лучше, и она её гасила.

По старому обычаю её «соборовали». Собственно, «соборование» — это вроде молебна о выздоровлении больного. Но так как эту службу совершали обычно у постели тяжелобольного, когда не было уже надежды на его выздоровление, то «соборование» в представлении простонародья превратилось в какое-то предсмертное богослужение. Незадолго до Настиной смерти я сидел около неё, она делала распоряжения, как поступить с её имуществом. Я не знал, как облегчить её последние минуты и, так как она, как мне казалось, ждала смерти как облегчения от страданий, сказал ей:

— Вот ты скоро увидишь маму и папу.

А она строго посмотрела (пожалуй, даже зло) и говорит:

— Никого не увижу!

Я понял, что она, по существу, не была верующим человеком. Мы похоронили Настю около церкви. Поминальный обед по старому обычаю был устроен на весь приход. Обедали в несколько смен. Варили и лапшу, и щи, подавали жареную баранину, два сорта каши и кутью, пиво, чай с булками. Словом, всё по старинным деревенским обычаям. До войны 1941 года сохранялся холмик и крест с надписью. Сейчас (1946 год) и могила затоптана, и ограда у церкви уничтожена, да и сама церковь разграблена и запакощена.

Новые факультеты. Деканство*

Открытие новых факультетов Саратовского университета задерживалось. Проектирование новых зданий прекратилось с началом войны 1914 года. Мы несколько раз ходатайствовали об открытии факультетов[440]. Физический институт был уже готов, помещение бывшей Фельдшерской школы у Царских ворот осталось за университетом, можно было при желании и ещё найти помещения, но дело не двигалось.

Когда организовалось Временное правительство, мы снова ходатайствовали, обращались к А. Ф. Керенскому, который возглавлял это правительство. И вот, наконец, с осени 1917 года новые факультеты были открыты[441]. Так как кафедры физико-математического факультета уже отчасти были налицо, нам было разрешено выбрать декана и секретаря факультета из своей среды.

В то время имелись следующие кафедры: физики (ею заведовал я), химии (Р. Ф. Холлман), зоологии (Б. И. Бируков), ботаники (Д. Э. Янишевский, а А. Я. Гордягин был уже переведён в Казань). На первом курсе естественного фа-

культета читался также курс анатомии, однако профессор анатомии в состав членов физико-математического факультета не входил.

Деканом был выбран я, секретарём факультета — Р. Ф. Холлман[142]. Не хватало пока что профессоров математики, механики, второго физика (на кафедру теоретической физики), метеорологии; имелся только один профессор химии, а надо было ещё и органика. Я начал переписку по поводу приглашения математиков с моим бывшим учителем профессором Московского университета Д. Ф. Егоровым, который в то время являлся самым крупным математиком в Москве. Он порекомендовал нам прекрасных математиков — В. В. Голубева и И. И. Привалова. Они приехали в Саратов к началу второго семестра. Когда новые профессора начали читать, все сразу же по заслугам оценили прекрасных учёных и лекторов. Позже они сами привлекли на факультет Г. Н. Свешникова, тоже очень талантливого математика.

Не помню, объявляли ли мы конкурсы, но я независимо от этого обращался к Н. Д. Зелинскому (я был у него на квартире), и он рекомендовал на кафедру органической химии своего ученика (не могу вспомнить его фамилию), который долго, уже и после меня, оставался в Саратове[143].

Желающих поступить на физико-математический факультет оказалось гораздо больше, чем мы с нашими весьма скромными средствами могли принять, и мне пришлось провести среди претендентов конкурс аттестатов, в результате чего на первом курсе подобрался отличный состав студентов[144]. Из этих студентов впоследствии получилось несколько профессоров. Когда они заканчивали своё обучение в университете, меня в Саратове уже не было, но желая, чтобы я всё-таки присутствовал на коллективном снимке выпускной группы, студенты схитрили и сзади на стену повесили над группой мой большой портрет*.

На посту ректора Саратовского университета[145]

Осенью, в сентябре 1918 года, предстояли перевыборы ректора. П. П. Заболотнов отказался от выставления своей кандидатуры. Ему было не под силу и не по характеру регулировать сложные взаимоотношения, которые возникли между университетской администрацией и новыми властями. Большая группа профессоров (теперь Совет состоял из профессоров всех факультетов, так как с осени 1917 года начали функционировать и физико-математический, и юридический, и филологический факультеты) выдвинули мою кандидатуру, но были и противники. Самым ярым среди них являлся мой большой приятель В. И. Скворцов, который якобы говорил: «Что вы делаете? Владимир Дмитриевич такой несдержанный человек, что в Совете полетят пух и перья!»

Не помню, кто был выставлен кандидатом от другой группы, но, во всяком случае, выбрали меня по-старинному, с баллотировкой шаров с очень большим преимуществом[146]. Я очень хорошо помню первый Совет, в котором я председательствовал. Помню даже, что для такого случая я надел только что купленную мной визитку и вообще чувствовал себя в этот день немного связанным: не то потому, что очутился в новом для себя положении, не то новой визиткой, которая была мне немного велика, но пригонять её было трудно, времена были тяжёлые. Так без подгонки я и проносил эту визитку много лет.

Несмотря на очень большие хозяйственные затруднения и сложные взаимоотношения с администрацией, мне удалось без всяких компромиссов довольно бла-

* Эта фотография была сделана весной 1921 года, когда я был арестован и перевезён в Москву. — Прим. В. Д. Зёрнова.

гополучно вести университетский корабль, охраняя его независимость, с одной стороны, и не впадая в особые конфликты с общей администрацией, с другой.

Так как при первом избрании на должность ректора я был избран не единогласно, то осенью 1919 года я потребовал «вотума доверия» и назначил новые выборы. На этот раз я был избран единогласно[447]. За 1919—1920 годы произошли большие изменения в жизни университета: в состав Правления и Совета вошли представители студенческих и городских организаций. Всё это совершалось довольно болезненно, но мне удалось провести эти революционные новшества без скандалов и удерживать руководящую роль за основным Советом и Правлением, состоящим из профессоров[448].

С городскими и губернскими властями — горисполкомом, губисполкомом — отношения были корректные как между союзными великими державами, а с губоно, пожалуй, даже дружественные, в особенности когда там работал Ребельский, впоследствии известный лектор в Москве по вопросам организации работы студентов.

Времена были очень своеобразные, а иногда затруднительные. Ведь ректору приходилось заботиться обо всём хозяйстве, хозяйство же страны было в очень плохом состоянии. Кажется, в первый же год моего ректорства оказалось, что Саратов не имеет нефти, а все топки новых зданий были построены в расчёте на жидкое топливо. Не было и запасов дров. Совет, очень этим обеспокоенный, потребовал все топки переделать в экстренном порядке на дровяное отопление. Когда я доложил, что и дров в городе нет, то члены Совета ответили, что они сами пойдут в лес, что можно мобилизовать всех студентов и дрова будут заготовлены собственными силами.

Мне пришлось подчиниться требованию Совета, хотя я предвидел, что ничего из этого предприятия не выйдет. Мы получили разрешение затратить на переоборудование печей миллион рублей (это в 1918 году были ещё большие деньги), переделали все топки на дровяное отопление. Некоторые профессора действительно отправились в лес, на горы над Саратовом, и заготавливали там дрова, но придать этим заготовкам массового характера не удалось[449].

Студентов отправить в лес, как это теперь делается, в 1918 году было невозможно, просто они не считали себя назначенными для работы в лесу и хотели заниматься науками, поэтому и не вышли на заготовку. Да и транспорта у нас не было, чтобы вывезти дрова из леса. Так на университетский двор и не было доставлено ни одного полена. Приспособления для дровяной топки простояли в течение зимы, а университет не отапливался[450].

Делать нечего, поставили «времянки». В моей физической аудитории, например, поставили довольно большую Унтермарковскую печь, но она давала недостаточно тепла для такой громадной аудитории, и когда наступили холода, помещение пришлось вообще закрыть. Народа на лекции ходило мало, и я читал их у себя в кабинете, слушало человек тридцать, не больше. Правда, в кабинете тоже было холодно. Как-то я читал «Молекулярные явления в жидкости». Для демонстрации плёнок и других опытов приготовил жидкость, но, пока я рассказывал, жидкость замёрзла — так показать ничего и не удалось. Читал я, конечно, в шубе, шапке и тёплых перчатках — в голой руке мел невозможно было держать[451].

На следующую зиму положение было совершенно иным. За лето к Саратову в наливных судах подвезли много нефти, однако продвинуть её дальше по железной дороге не удалось — весь железнодорожный транспорт пришёл в полное расстройство.

Залили все баки на берегу Волги, но подвести нефть от берега к университету оказалось трудно. Возчики за деньги возить не желали или запрашивали такие суммы, которые мы не в состоянии были заплатить. Мы думали даже как-то подвести к зданиям университета рельсовый путь, благо, главные железнодорожные пути находились не далёко, и пригонять по ним прямо цистерны, но позже нашли более простой выход. В «Райспирте» мы получали много спирта. Вот и решили, что вместо денег или в добавление к деньгам выдавать возчикам спирт. Расплату с возчиками я наблюдал лично: возчик тут же около выдачи залпом выпивал полбутылки спирта, в результате обе стороны оставались довольными. Во всех подобного рода хозяйственных делах мне помогал тогда ещё совсем молодой человек Евгений Александрович Гюнсбург, который только что окончил Саратовское коммерческое училище и был у меня заведующим хозяйством[452].

В конце отопительного сезона выяснилось, что мы, увлекшись повышением температуры в помещениях, до срока израсходовали всю полагавшуюся нам нефть. Необходимо было ещё дополнительно тысяч пять пудов. Предстояла длительная переписка с «Райнефтью», но тут я вспомнил, что встретил как-то заведующего «Райнефтью» (или его помощника?), который, оказавшись скрипачом, просил у меня на время партии Второго квартета Бородина. Мне, конечно, давать их не хотелось и я сказал тогда, что, сколько я помню, этих нот у меня нет. Но в этот момент я решил ими пожертвовать.

Я тут же велел заложить «Богатыря» — это моя ректорская лошадь — и, захватив с собою ноты, отправился с Женей Гюнсбургом добывать нефть. В «Райнефти» я отыскал заведующего и сделал вид, что пришёл к нему исключительно для того, чтобы передать ноты.

— Можете себе представить, — обращаясь к нему, произнёс я первую фразу, — перебирал свои ноты и нашёл экземпляр квартета, которым вы интересовались. Поговорили о музыке в самых дружеских тонах, а потом я и говорю:

— Я ведь к вам ещё по одному делу. Нам нужно добавить топлива.

— Да что вы, стоит ли беспокоиться о таких пустяках! Сколько нужно, столько и отпустим! — откликнулся заведующий.

Он тут же написал распоряжение, Женя всё как надо оформил. И мы в тепле докончили год.

Были и такие затруднения: нам очень нерегулярно переводили деньги из Москвы. Иногда привозили кучу «совзнаков», а потом долго ничего не было. Мы неоднократно писали и телеграфировали в Москву. Будто бы об этом докладывали самому Ленину, а он будто бы отвечал: «Ну, умные люди и без денег проживут». И мы действительно жили без денег. В оборот снова пускался спирт. Все кафедры, включая и кафедры филологического и юридического факультетов, под разными предлогами выписывали спирт. Например, такой предлог: спирт необходим для промывки переплётов — это какая-то кафедра филологического факультета выписывала. Дело в том, что в это время получалось много частных библиотек из больших помещичьих усадеб[453] и на промывку старых заплесневевших переплётов, действительно, шла небольшая часть получаемого спирта, большая же часть использовалась гораздо эффективнее.

Мы с Женей Гюнсбургом отправились в «Райспирт» для оформления заявки. Вся заявка была приблизительно на 60 вёдер спирта разной денатурации. Указанных дена-

турации в «Райспирте» не оказалось, и мы согласились взять наполовину сырца, а остальное ратификатом. Чтобы получить означенный спирт, надо было оставить «Райспирту» 4 ведра, то есть расписаться в получении 60, а фактически получить 56 вёдер. И «Райспирту» надо было как-то существовать! В такие мелочи я уже не вмешивался.

Из-за сильно изменившейся структуры университета осенью 1920 года вновь состоялись выборы ректора. В них, кроме членов Совета профессоров, участвовало и студенчество. Закрытой баллотировки уже не было.

Сами выборы происходили в большой физической аудитории, до отказа забитой публикой. Собственно, трудно было даже установить, кто из собравшихся участвовал в выборах, а кто нет. Не могу вспомнить, был ли кроме меня ещё какой кандидат на пост ректора, но выбрали опять меня — только теперь уже по новому, непривычному для меня способу: назвав моё имя, председательствующий спросил, обращаясь к публике:

— Кто «за»?

Поднялось множество рук, но никто их даже не пытался сосчитать.

— Кто «против»?

Никто рук не поднимает. Та же картина наблюдалась и после третьего вопроса:

— Кто «воздержался»?

В завершение всей процедуры председательствующий объявляет «результат» выборов:

— Избран единогласно!

Несмотря на всё усложнявшиеся условия жизни, занятия в университете продолжались. В 1918 году было объявлено, что двери университета открыты для всех трудящихся[454].

Когда я вышел на первую лекцию, аудитория была переполнена самой разнообразной публикой, которая, конечно, и не могла, и не думала всерьёз учиться в университете. Мне буквально в громадной аудитории негде было повернуться. Были заняты не только все места и все хоры, но все проходы были забиты народом. Слушатели стояли прямо перед лекционным столом и едва ли не сидели на самом столе. Об лекционных экспериментах в такой обстановке нельзя было и думать. Но наплыв публики быстро таял, и к зиме, как я уже писал, университет замёрз и лекции читались двум-трём десяткам настоящих студентов в кабинете[455].

Характерный случай произошёл во время моей лекции в большой аудитории. Читаю я лекцию и для какой-то демонстрации затемняю аудиторию. Вдруг с верхнего балкона, который соединял хоры над лекторским столом, прямо передо мной падает какой-то предмет. Я наклонился, поднял — оказывается, револьвер! Чтобы не вызывать разговоров, я, не давая света, вышел из аудитории с револьвером в руках и вижу — с верху бежит ко мне совершенно бледный молодой человек. Оказалось, это был «агент», который должен был следить за моей лекцией. Он стоял на балконе и наклонился через перила, чтобы видеть, что я делаю, а револьвер, который был у него за поясом, что ли, выскочил и упал, чуть было не стукнувши меня по голове. Агент был очень испуган и, ради Бога, просил отдать ему его револьвер и никому не говорить о случившемся, а то-де его выгонят из его высокого учреждения. Мне не хотелось связываться, и я отдал ему револьвер.

Получил я как-то письмо, неизвестный мне автор писал, что он живёт в одной квартире с таким же «агентом» и случайно видел его записную книжку, где были за-

писаны его поднадзорные и между ними значился и я. При этом поднадзорные были характеризованы обычными приметами: «нос обыкновенный, носит бороду, ходит в сером пальто». Думаю, что это было, по крайней мере относительно меня, излишним. Меня в Саратове хорошо знали, тем более что мой большой портрет был выставлен на Немецкой улице в витрине фотографии Шепелева[456], а какой-то артист театра, изображая профессора Сторицына[457], даже гримировался под меня.

Ещё во время войны 1914 года, когда Николай Павлович Неклепаев был по нашему ходатайству возвращён с фронта, он организовал при Физическом институте прекрасную мастерскую по изготовлению тончайших измерительных приборов для военного ведомства. Николай Павлович ездил в Москву и привёз оттуда несколько станков, так что в мастерской работало человек 15—20. Удалось вернуть с фронта и Ивана Максимовича Серебрякова, лекционного помощника, и Фёдора Федосеевича Троицкого, механика. И так как мы изготовляли приборы для военного ведомства, то сравнительно легко этих людей нам вернули и больше уже не беспокоили.

Перед их возвращением я оставался с одним служителем Иваном Исаевым, которого тоже хотели взять в армию, но мы послали за подписью ректора телеграмму военному министру, после чего Исаев от призыва был освобождён.

Мне с этим Иваном суждено было играть роль щедринского городничего. Дело в том, что у Исаева в деревне была жена, а он в Саратове сошёлся с одной немкой. Тогда законная его жена, молодая, славная баба, явилась ко мне на квартиру и пожаловалась на свою судьбу, прося вразумить её супруга. Я вызвал Ивана к себе и стал убеждать его словами щедринского городничего:

— На что тебе эта? Смотри, какая у тебя жена, не баба, а печь, а ты! Ах, ты!

Иван моргал глазами и обещал исправиться, но толку из моих увещеваний не вышло. Иван и его немка сохранили ко мне хорошее отношение, и, когда в 1921 году я сидел в саратовской тюрьме, немка по утрам приносила мне с воли горячий кофе, кофейник был завёрнут во что-то тёплое и до меня доходил совсем горячий. Чудные были времена.

В эти годы появились у меня новые ассистенты: К. А. Леонтьев и Б. И. Котов. Леонтьев приехал из Москвы, так как жить там становилось всё труднее и труднее. Он был весьма способным человеком, но обладал мрачным характером. Приехал он с женой Елизаветой Фёдоровной. В Саратове у них родилась дочка Таня, которую я крестил. Леонтьев, когда я был перевезён в Москву, занял кафедру физики, но, может быть, из-за своего мрачного характера, не собрал около себя сколько-нибудь интересного коллектива физиков[458]. Один из его сотрудников Герасимов впоследствии перешёл в Москву и, сколько я знаю, довольно удачно продолжил свою научно-педагогическую деятельность. Другой — Голубков, после смерти К. А. Леонтьева[459] занял кафедру в Саратове, но ничем себя заметно не проявил и не использовал тех возможностей, которые даёт университетская кафедра физики[460]. Котов появился из Петрограда, кажется, по тем же причинам, что и Леонтьев. Он после моего переезда в Москву вскоре, как и Неклепаев, перебрался туда же, и они оба долго работали у меня в Ломоносовском институте. Котов — способный преподаватель, но он, хотя впоследствии и получил звание профессора Военной академии Моторизации и Механизации, никогда не мог проявить себя научным работником.

Читая лекцию «Второй принцип термодинамики», я излагал его тогда, надо сознаться, с сильно выраженным идеалистическим уклоном. Моё изложение вызывало большой интерес у студентов. В моём изложении вечное существование мира обеспечивалось не «вероятностью», достаточной в космосе для концентрации энергии, рассеивающейся в пространстве согласно второму началу термодинамики, как это мы трактуем сейчас, в нём фигурировал «δαίμον» — демон Максвелла, настоящее разумное начало, которое и обеспечивает вечное существование вселенной. Конечно, эту трактовку я не сам придумал. Так же излагал эти вопросы и Н. А. Умов, когда я, будучи студентом первого курса, слушал его в университете. Умов излагал это чрезвычайно торжественно. За это торжественное изложение принципа термодинамики и посадили меня в 1921 году в саратовскую тюрьму.

События первого года Советской власти в Саратове[461]

В начале сентября 1918 года, как я уже писал, я был выбран ректором университета. Выборы происходили вечером, а ночью после выборов я с Е. А. Гюнсбургом выехал в село Разбойщину под Саратовом, чтобы купить там на зиму запас картофеля. Домашнее хозяйство делалось затруднительным[462].

Стояла чудесная погода. Весь следующий день мы провели в Разбойщине, переночевали там, купили два воза картошки и на лошадях рано утром повезли её в город. Более мелкие покупатели лагерем стояли у железнодорожной станции и в кострах пекли только что купленную картошку, дожидаясь поезда.

Вскоре после этого* к нам на квартиру на Константиновской улице явилась какая-то вооружённая компания людей в солдатских шинелях, и новые господа заявили нам, что они реквизируют всю нашу движимость и занимают квартиру. Нам они оставляли по одной тарелке, по одной чашке, по одной ложке на человека. Мы должны были выселяться куда угодно[463].

Выселение опротестовать было невозможно, но реквизицию имущества мне удалось аннулировать. Конечно, пришлось использовать, как теперь говорят, «блат». Я вспомнил, что С. И. Спасокукоцкий только что оперировал одного из власть имущих, которого кто-то ранил в голову. Операция прошла удачно, хотя ранение оказалось тяжёлым. Пациент после операции уже поправился. Я написал просьбу о приостановке реквизиции, и Сергей Иванович сам лично передал мою просьбу своему пациенту, а тот написал на прошении: «Реквизицию приостановить впредь до особого распоряжения».

На основании этой подписи я вывез всё имущество, вплоть до электрической арматуры, в Физический институт. Временно мы переехали в лабораторные помещения, и я начал искать новую квартиру. Что же касается «новых хозяев» квартиры на Константиновской, то они, когда опять явились туда и обнаружили совершенно пустое помещение, поселяться в ней отказались, так как у них своего ничего не было и они рассчитывали спать на наших кроватях и есть из нашей посуды.

Мне никогда не забыть такую картину: явившись к нам, они тут же принялись описывать наше имущество и, когда в ящике буфета обнаружили серебряные кольца для салфеток, то попытались надеть их на руку в виде браслета и всё удивлялись тому, что они так узки. И так как никакого употребления этим кольцам придумать не удалось, оставили их в покое. Другие двое перебирали посуду в серванте и нашли там две бутылки с остатками ликёра. Тут же, сидя на полу, они прямо из гор-

* Я даже ещё не вступил в новую должность, так как после поездки в Разбойщину что-то захворал и у меня была высокая температура. — Прим. В. Д. Зернова.

льщика допили эти остатки. Наша квартира впоследствии была занята какой-то другой компанией.

С месяц мы прожили в лаборатории, а потом я нашёл очень симпатичную квартиру на Малой Сергиевской. Это был двухэтажный дом с садом[464]. Мы заняли сначала всю квартиру в первом этаже. У нас был балкон, выходивший в сад. А в верхнем этаже жили ещё хозяева дома Тихоновы. Когда-то это были богатые люди из купцов. Старик являлся гласным городской думы. Старший Тихонов коммерческими делами уже не занимался и спокойно жил себе в своём доме с женой Еленой Васильевной, очень милой старушкой, и дочерью Ксенией Степановной, которая была замужем за художником А. И. Кравченко. Весной 1919 года старик был арестован в качестве заложника и после взрыва в Москве в Леонтьевском переулке расстрелян. Кравченки с матерью впоследствии переехали в Москву и жили на Николиной Горе в своей даче.

Трудные и сумбурные были времена! Весной 1918 года в Саратове произошёл какой-то конфликт между губернскими властями и «Красной гвардией». Говорили, что конфликт произошёл по поводу снабжения «Красной гвардии». По-видимому, «Красную гвардию» уже мало-помалу стала заменять гораздо более организованная «Красная армия».

«Красная гвардия», защищая своё существование и снабжение, начала обстреливать здание, где помещался губисполком, непрерывно стреляли из пулемётов и вдоль Константиновской улицы. Губернские власти, собираясь покинуть город, выехали на вокзал. Сейчас же откуда-то вынырнули эсеры и в автомобиле с громадным белым знаменем разъезжали по городу. Едва ли всё предприятие не было делом рук эсеров. Однако конфликт этот был быстро улажен и эсерам пришлось опять скрыться. Власти снова вернулись на свои места[465].

О том, что происходило в здании исполкома, мне рассказывал позже один из старейших саратовских присяжных поверенных Иван Яковлевич Славин. Кстати, в 1921 году он был арестован одновременно со мной и также перевезён затем в Москву. В тюрьме-то Иван Яковлевич и поведал мне многое из своей судебной практики и своей жизни[466].

Ещё до «конфликта» Славин был арестован и сидел под замком в здании исполкома. Он слышал, как началась бомбардировка, как возникла паника, как все покидали здание и как после большого шума наступила тишина. О нём забыли, а выйти сам из запертой комнаты Славин не мог. Вдруг он слышит, что кто-то стучит в запертую дверь и зовёт его. Оказалось, это его служитель, который знал, что Славин сидит здесь под замком, он прибежал выручать своего господина. Верный человек взломал дверь и освободил Славина. После этого Иван Яковлевич оставался на свободе вплоть до 1921 года.

Отправлялись мы как-то вечером в гости к профессору М. Р. Фасмеру. Я был со скрипкой. На улицах темно и пустынно. Где-то слышались ружейные выстрелы. На углу Немецкой и Никольской улиц стоял солдатик с винтовкой в качестве постового стража. Я спросил блюстителя нового порядка: «Что это стреляют?». Солдатик совершенно спокойно и убедительно ответил: «Для паники!». И мы, несмотря на «панику», всё же были в гостях у профессора Фасмера, и я играл с ним сонаты — Фасмер был хороший пианист. Позднее он уехал на родину — не то в Эстонию, не то в Латвию — и приезжал летом 1920 года в Саратов за своей библиотекой[467].

Когда мы жили в институте, в Саратове появился Сергей Анатольевич Богуславский, которого я пригласил на кафедру теоретической физики, он же читал вначале и теоретическую механику. Для Саратовского университета это было большое приобретение. Сергей Анатольевич был человеком с заграничным образованием. Он докторировался в Гёттингене и, возвратясь в Россию уже во время войны, защитил в Петрограде магистерскую диссертацию[468]. Так как Богуславский долгое время жил за границей, то и вид у него был европейский. Мы уже ходили в валенках и «бурках» — обуви, сшитой из старой солдатской шинели, а летом на даче — так даже в лаптях. Сергей Анатольевич же в отличие от нас был одет в отлично сшитый заграничный костюм и в лаковые туфли.

Утром мы сидели в моём институтском кабинете и пили чай (вернее — отвар какой-то из листьев) с варёной картошкой. Вдруг отворяется дверь и входит интересный, полуседой человек. Он, как-то немного театрально «расшаркавшись», представился: «Я Богуславский». Я был очень ему рад. И для факультета он был необходим, и мне понравились его вид и его европейские повадки.

Вначале Сергей Анатольевич появился в Саратове совершенно один, и о нём приходилось заботиться: к практической жизни, в особенности в наступивших революционных условиях, он был мало приспособлен. Потом в Саратов переехала мать Богуславского, а ещё позднее и его сестра Елена Анатольевна, которая и до сего дня является нашим ближайшим другом.

Найти профессора механики было очень трудно, и этот предмет читал то один, то другой. Появился Н. Н. Андреев и просил дать ему работу, так как он на значительный срок застрял в Саратове. Андреев пробирался в Омск, где находилась его семья, но перебраться через линию фронта и попасть в Сибирь, занятую Колчаком, оказалось весьма трудным делом, и Андреев решил переждать в Саратове и взялся читать механику, но не по Жуковскому, а в векторном изложении. Такого курса механики у меня не было, но Андреев заверил, что готов читать его по памяти. Вышло, впрочем, неудачно. По счастью, Андреев вскоре бежал через заволжские степи в Сибирь. Он нашёл какого-то проводника и на верблюдах отправился целиной, без дороги в путь. Говорят, когда власти узнали, что кто-то бежал через заволжские полупустыни, то тут же приказали организовать погоню. Однако никого не догнали, и Андреев, видимо, благополучно добрался до Омска.

Позже, когда я был уже в Москве, механику в Саратовском университете читал Г. Н. Свешников.

Лето 1919 года. На Садомовских дачах. Обыск[469]

О поездке на лето в Дубну нельзя было и думать. Железнодорожный транспорт был до крайности разорён, да и мои ректорские обязанности не позволяли мне уехать. Мне удалось получить на лето несколько дач около Малой Поливановки — так называемые Садомовские дачи, и мы всё лето провели там в очень хорошей компании. Тут были Голубевы, Свешниковы, Богуславские, Скворцовы, Богомольцы, Приваловы. Тут же жили Кравченки (отец Ксении Степановны был уже арестован, но ещё жив).

Дачи стояли у самого устья Штафовского ущелья с чудесными ключевыми прудами. Струя воды толщиной в руку, бившая из горы, была необыкновенно чистая и холодная. Горы все были покрыты лесом, а перед дачами расстилалась широкая степь.

Я каждый день ездил в университет. Возил меня «Богатырь», а кучером был красивый поляк Леонтий. Он с женой Клавдией жил тут же. Клавдия летом готовила нам.

Лето выдалось чудесное, не сильно жаркое, достаточно влажное, что для Саратова редкость, и благодаря этому была буйная растительность. Необыкновенно разнообразные полевые цветы украшали наши комнаты. В. В. Голубев имел прекрасный определитель растений, и мы забавлялись, отыскивая в нём названия и изображения цветов. На территорию дач часто приезжали крестьяне с продуктами, и мы на разные вещи выменивали у них муку и прочие снеди.

В день моих именин, — это были также именины В. В. Голубева и день свадьбы Скворцовых, — все жившие на дачах устроили совместное торжество. На лужайке составили столы и украсили их пирогами и другой едой, заранее каждым из нас припасённой. Конечно, имелось и вино, во всяком случае — наливки и настойки. День провели дружно и весело.

Опишу ещё одно происшествие из этого же лета. Сижу я на балконе и вижу подъезжают на лошади два молодых человека, представляются агентами ЧК и предъявляют ордер на обыск. Обыскивать было легко: вещей у нас на даче имелось очень мало. Тут я, правда, вспомнил, что в углу у меня стоит старая солдатская шашка, которая была мне куплена, когда я гимназистом одевался в дедушкин, Егора Петровича, гусарский костюм[470], а теперь находилась в игрушках у детей. Но так как она была всё же «шашка» и её можно было рассматривать как оружие, то я, пока сыщики обыскивали соседнюю комнату, взял эту шашку и бросил в колодезь, который находился во дворе.

Среди каких-то бумажек агенты обнаружили цифрами «шифрованное письмо», спрашивают:

— Это что такое? Прочтите!

— Не могу. Это сын переписывается со своим товарищем Лёвой Яковлевым, — ответил я.

— Позовите сына!

Митя прибежал с красными ушами (ему было 12 лет), объяснил цифровую азбуку и прочёл письмо. Конечно, письмо было совершенно невинное. Так обыск и окончился ничем. Катёна напоила агентов чаем, и они благополучно отбыли.

Возвращались мы в город на своеобразном транспорте: мой «Богатырь», две пары университетских волов — они везли вещи — и две тачанки на верблюдах. На одной тачанке везли пианино, которое мы таскали с собой на дачу, так как дети занимались музыкой, а ко мне часто приезжал милый П. К. Всеволожский играть сонаты. При въезде в город первую тачанку, на которой находилось пианино и ехали Митюня с кем-то из прислуги, остановили и отправили в милицию. «Частным лицам» в то время иметь пианино не полагалось[471].

Пришлось применить моё ректорское влияние, чтобы вызволить наше пианино. У меня и на скрипку было написано специальное удостоверение, свидетельствующее о том, что она необходима мне для научных занятий по акустике. Правда, в Саратове реквизиция смычковых инструментов не проводилась, как в Москве, но никакой гарантии, что кому-нибудь вдруг не захочется отобрать инструмент, не было. На пианино необходимо было иметь такое же удостоверение от консерватории.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
(1919—1921)

Оборона Саратова и заготовка дров для университета[472]

Летом на Саратов наступали войска Деникина. Все граждане были мобилизованы на оборонительные работы вокруг города. Университет также получил предписание всем профессорам и преподавателям, рабочим и служащим явиться в какой-то там участок для получения направления[473]. Я отправился к члену исполкома Леониду Александровичу Меранвилю де Сенклеру, бывшему харьковскому присяжному поверенному, чтобы выяснить, насколько всё это серьёзно и как мне мобилизовать профессоров на рытьё окопов. Леонид Александрович был очень любезен и сказал:

— Я считаю, что всё это чепуха, профессора вовсе не должны отправляться на земляные работы. Это всё придумывает другой член исполкома (к сожалению, забыл его фамилию[474]). Я сейчас с ним переговорю, и предписание будет отменено.

Леонид Александрович взял трубку телефона и довольно долго убеждал ретивого члена исполкома. После телефонного разговора он сказал мне:

— Ничего не могу сделать с этим имярек. Придётся вам формально выполнить предписание. По мнению имярек, это необходимо, чтобы произвести впечатление, что никто от этой повинности не освобождается. Вывесите объявление, придут — хорошо, а не придут — никто не взыщет.

Я вывесил объявление, и на другое утро сам явился в участок, где собралось человек двадцать. Из профессоров были только я и Баллод да ещё химик — ассистент Я. Я. Додонов, остальные — частично студенты, частично младшие сотрудники, заинтересовавшиеся получением хлебного пайка, который полагался. Нагрузившись буханками хлеба, мы отправились через гору, через лес на Садомовские дачи. Я специально выхлопотал именно этот участок. Шли мы лесом через Кумысную поляну. Шли не спеша и часам к пяти вечера пришли на нашу дачу. Катёна поставила большой самовар, и мы, напившись чаю, рано устроились на ночлег в какой-то пустой даче. Надо было рано лечь спать, так как чуть свет следовало явиться на «пункт» для получения инструкций. Недалеко от нашей дачи стояла военная кухня. Спрашиваем у повара:

— Ну, а вдруг войска Деникина захватят вас, что вы будете тогда делать? Баламут повар, не смущаясь, ответил:

— А мне что! Скажу: «Ваши благородия, пожалуйте чай кушать!»

Встали мы со светом и всей компанией отправились на «пункт». Там нас встретил молоденький командир (как позже оказалось, мобилизованный студент Московского Высшего Технического училища), и когда он узнал, что пришли «профессора и преподаватели университета с ректором во главе», то проникся чрезвычайным к нам почтением и стоял передо мной навытяжку.

— Не извольте беспокоиться! Я вам укажу самый спокойный участок!

Выдал нам по отличному военному топору и повёл нас на участок. Им оказался лесок, в котором надо было делать просеку. Оставляя нас одних, наш провожатый сказал:

— Вы не утруждайте себя особенно, срубите по берёзке и отдыхайте.

Мы так и сделали. Скоро стало жарко. Мы легли отдохнуть, и так как ночью спали мало, а накануне устали, то скоро и задремали. Я лёг в тени кустика и быстро заснул. Вдруг чувствую, меня кто-то трогает. Открыл глаза — оказывается, я лежу на солнце (оно успело так подвинуться, что тень ушла) и надо мной стоит наш студент-медик Шиловцев с повязкой красного креста и сумкой с медикаментами. Он обходил участки для оказания медицинской помощи работающим и вдруг видит — лежит без признаков жизни ректор университета!

— Владимир Дмитриевич! Вам дурно?

— Да нет, всё благополучно, только я лёг, когда здесь была тень, а теперь — солнце.

Мы посидели ещё немного и, забравши топоры, возвратились на «пункт». Там, между прочим, были сильно удивлены, что мы сдаём все топоры. Оказывается, ещё не было такого случая, когда бы бригада сдавала весь инструмент полностью. Часть инструментов всегда «была потеряна» в лесу. Выдали нам квитанции в удостоверение нашей явки и исполнения поручения. На том наши оборонные работы и закончились.

Деникинские войска до Саратова так и не дошли, но пушечные выстрелы были уже хорошо слышны. Деникин дошёл до Синеньких — километров 20 от Саратова, после чего наступление вдруг растворилось. Я был очень рад этому. По правде сказать, я с большой тревогой ожидал, чем кончится это наступление. Положение ректора, в случае занятия Саратова Деникиным, было бы чрезвычайно тяжёлое.

Весной 1919 года мы отправились всей компанией Физического института на заготовку дров. Было объявлено, что граждане могут осенью с городских складов получить дрова, если весной напилят соответствующее количество в лесу. Губернские власти доставку дров из леса в город брали на себя. Надо было напилить не менее кубической сажени на человека.

Пароходом мы спустились вниз по Волге километров на 25 к так называемой «Мануфактуре»[475]. С нами, кроме членов кафедры физики — меня, Неклепаева, Котова, Троицкого, — были также мастера из нашей военной мастерской и кузнецы. От пристани несколько километров пешком мы прошли на какой-то хутор. Хозяева-староверы сначала нас к себе не пустили, а для ночёвки отвели сарай, который стоял вне усадьбы. Тут же поместились какие-то военные, кажется, казаки. Мы с завистью наблюдали, как казаки отрезали хорошие куски малороссийского сала и, наткнувши его на штык, поджаривали на огне костра. А мы жевали чёрствый хлеб, не помню даже, чтобы мы сварили себе каши.

Утром мы пошли в лес, покрывавший крутые приволжские балки. Лес был не очень крупный, но почти исключительно дубовый и кленовый, так что пилить было трудно, это ведь самые прочные породы! Мы честно старались выполнить задание в кубическую сажень, но здоровенные кузнецы немного поработали, а потом сидели и покуривали, издеваясь над нашим старанием: «Что? Вы думаете, дадут вам дров? Ничего не получите! А если дадут, то дадут и нам!».

Они оказались дальновиднее, чем мы. Дров осенью нам не дали. Можно, кажется, было что-то получить, но давали такую гниль, что никто брать не хотел. Топили мы зимой подсолнечной шелухой, это было замечательное топливо: шелуха подаётся в топку особой «машинкой» и горит в печи не хуже нефти из форсунки.

И хотя пилить дубы и клёны было трудно, но зато погода стояла чудесная и места были хорошие, и мы не без удовольствия исполняли наш «гражданский долг». На хуторе, когда узнали, что мы преподаватели университета и что я ректор, отношение к нам резко изменилось: нас пригласили в горницу, угощали молоком, молочной кашей и солёными помидорами и огурцами, что нам казалось роскошной трапезой.

На другой день мы опять пилили в лесу. В соседней бригаде произошёл тяжёлый несчастный случай: один из работавших сорвался с крутого берега балки и наткнулся на сук. Сук его проткнул насквозь. Так он на этом суку и умер.

Расстояние до Саратова было с лишним 30 километров. На полпути мы остановились в какой-то деревне, где достали молока и хорошего чёрного хлеба. Как вкусно было это молоко с хлебом! Подошли мы к Саратову не очень поздно, но город уже был объявлен на осадном положении, и мы попали в милицейский участок, куда направляли всех, кого встречали на улицах после восьми часов, а часы были переведены часа на два вперёд. Провели в участке всю ночь. Отпустили нас только тогда, когда начало светать — часа в четыре утра.

Штафовские дачи. Митюнина операция

Лето 1920 года мы опять проводили под Саратовом. Приблизительно в тех же местах, что и в прошлом году, но на этот раз почему-то Садомовские дачи получить не удалось. Кажется, там были устроены детские дома. Я снял две дачи в самом ущелье. Прежде эти дачи принадлежали табачным фабрикантам Штафам, отсюда и название самого ущелья — Штафовское. Дачи стояли выше прудов и, конечно, были довольно сильно разрушены. Часть стёкол была выбита, и мы пустые рамы заклеивали бумагой; дверь наружу не только не запиралась, но даже плотно не закрывалась, мы заваливали «входное отверстие» ковром. Штукатурка с потолка в общей комнате обвалилась и лежала грудой на полу. Тем не менее, само место, где располагались эти дачи, было хорошее. Правда, дачи находились на дне ущелья, но горы вокруг были покрыты лесом, в котором в начале лета пело несколько соловьёв.

На дачу мы переезжали, когда Митюня после операции лежал в клинике. Ещё на Страстной неделе я в церкви стоял позади Митюни и обратил внимание, что у него на правой стороне шеи появилась опухоль. Я показал его С. И. Спасокукоцкому. Он сказал, что это какой-то «железистый» процесс, что хорошо бы вырезать железы, но место очень трудное для операции — здесь проходит и лицевой нерв, и тройничный, если я не ошибаюсь. Можно-де попробовать лечить солнцем. Сергей Иванович не принадлежал к тому типу хирургов, которые режут, нужно это или не нужно. Он был блестящим хирургом, ювелиром своего дела. Я находился в большом затруднении — на что решаться? А опухоль всё увеличивалась. И вот однажды я встречаю только что возвратившегося с Кавказа Василия Ивановича Разумовского[476].

— Василий Иванович! Дорогой! Я вас жду как Бога. Помогите мне, скажите, что мне делать?! — И рассказал ему, какие у меня возникли сомнения.

Разумовский созвал консилиум в клинике «Уха и горла»[477], на который пригласил С. И. Спасокукоцкого, С. Р. Миротворцева и М. Ф. Цытовича. Они внимательно осмотрели Митюню и отправились в соседнюю комнату для совещания. Миротворцев, младший из консультантов, первым доложил своё мнение. Он вооб-

ще был человеком размашистым. Студенты даже острили: Спасокукоцкий делает большие операции через маленькие разрезы, а Миротворцев, напротив, маленькие операции через большие разрезы.

Не помню, долго ли они консультировались. Но, наконец, появились, и Василий Иванович сказал мне, что консультанты пришли к заключению: опухоль в худшем случае туберкулёзного происхождения и её нужно удалить.

Спасокукоцкий взялся делать операцию, и я поместил Митюню в хирургическое отделение Александровской больницы[478], которая служила госпитальной клиникой Саратовского университета. Утром я отвёл Митюню, а перед вечером навестил. Тут выяснилась одна характерная подробность, присущая тому времени. Первое, что он произнёс, когда увидел меня, было:

— Пусенька, мне нужно в одно местечко!

— Ну так что же? — не сразу понял я.

— Да я не могу туда войти, — беспомощным голосом проговорил Митюня.

Я пошёл посмотреть, в чём дело, и убедился, что войти в «учреждение» действительно почти невозможно. Тут я уже как ректор вызвал дежурного врача и попросил объяснить, каким образом в хирургической госпитальной клинике допущено такое безобразие. Дежурный врач был очень смущён и объяснил мне, что никто из младших служащих не хочет убирать уборную, но никаких мер воздействия администрация клиники применить к ним не может[479].

На другой же день была назначена операция. Я находился в клинике, но в операционную не пошёл. Было бы и мне самому тяжело видеть, как режут Митюню, да и моё присутствие могло бы стеснять Сергея Ивановича. Всё это время я сидел в соседней комнате, и можно себе представить мои ощущения! Операция продолжалась полтора часа. Спасокукоцкий с величайшей осторожностью, чтобы не задеть ни одного нерва, добирался до воспалившихся желез. Вдруг через комнату, где сидел я, пробегает ассистент Сергея Ивановича. Я останавливаю его единственным вопросом:

— Ну, как там дела?

— Потеет и ругается! — отвечал на ходу ассистент.

«Потеет и ругается» — это была манера Спасокукоцкого во время сложных операций, особенно в трудные её моменты, про себя немного ворчать.

Наконец операция закончилась и моего мальчика пронесли на носилках мимо меня бледного, как полотно, находящегося ещё в полном наркотическом состоянии, укутанного бинтами. Послеоперационный период прошёл вполне нормально, и уже на восьмой день ассистентка Спасокукоцкого Алмазова[480] снимала швы.

Мы на «Богатыре» поехали на дачу через горы, мимо Кумысной поляны, и попали под проливной дождь. Оттого ли, что мы промокли, или это было связано с операционным ранением, но у Митюни сильно повысилась температура. Однако это была последняя тревога. Температура дня через два выровнялась, и Митюня стал быстро поправляться. Я ещё раз видел, какие чудеса производит хирургическое вмешательство. Митюня начал расти, как на дрожжах.

На этот раз из наших друзей рядом с нами жили только Богуславские, остальные почему-то на дачу в это лето не поехали. Но к нам часто приезжали гости. А в мои именины было много народу, пекли торты из пшена, ставили большой самовар, уже не помню как, но всё же «по-революционному» угощали милых друзей, которые

к нам всегда очень хорошо относились. Мои саратовские друзья и до сих пор (1946 год) вспоминают моё ректорство и подымают тост за «rector magnificus»[481].

Весной мы купили корову «Голубку» — симменталку из шмидтовского стада*. Она была изумительной красоты животное: белая с чуть-чуть палевыми пятнами, голова громадная, как у быка, и чёрные глаза. Надо мной посмеивались, говоря, что «Голубка» — моё последнее увлечение. Она, конечно, была с нами на даче и питала нас молоком. Её гоняли в деревенское стадо, за что пастух, когда наступала наша очередь, приходил к нам столоваться. Это был презабавный мужик, звали его Никиша. Во время пастьбы он читал «Анну Каренину», а прочитанные страницы выкуривал. В дни столования Катёнушка подносила ему стаканчик разведённого спирта, это угощение Никиша особенно ценил. Желая быть любезным и сделать хозяйке приятное, он как-то сказал:

— Уж я чем-нибудь заслужу! Ну вот умрёшь, я тебе гроб сделаю.

Ещё осенью 1919 года Тихонов, хозяин дома, где мы жили[482], был расстрелян, семья выселена, квартира опустошена, и в неё (она помещалась как раз над нами) поселили какую-то воинскую часть. Была уже зима. Уборная в квартире сейчас же была приведена в полную негодность. Для «части» построили уборную во дворе.

Проходя однажды по коридору, я заметил, что на потолке появились мокрые пятна, а потом с потолка начало даже капать. Пройдя наверх, я обнаружил, что новые квартиранты, чтобы не ходить в холодную уборную, справляют свои дела прямо на пол в коридоре, а чтобы не намочить ног, по всему коридору положили кирпичи, по которым ходят. Я тут же отправился в санитарную часть и добился осмотра санитарными врачами этого безобразия. В конце концов новых квартирантов выселили, а помещение передали университету.

Приведя в должный порядок весь дом, мы заселили его, заняв и часть нашей квартиры, университетскими профессорами и преподавателями[483].

Командировка в Москву*

В конце августа 1920 года я поехал в командировку в Москву. Катёна с детьми, тётей Лёлей и Решенькой оставались на даче. Мне нужно было хлопотать по различным университетским делам: предстояло обеспечить клиники медикаментами и перевязочным материалом, а затем возник вопрос о присоединении сельскохозяйственного института к университету в качестве факультета[484] и ещё какие-то дела. Кроме того, в сентябре в Москве должен был состояться съезд физиков, кажется, первый после революции[485]. Чтобы мне самому не бегать по разным хозяйственным делам, я захватил с собой секретаря правления[486]. Сам я поселился в наркомпросовском общежитии в Харитоньевском переулке, где теперь помещается Техническое отделение Академии наук, а секретарь — в гостинице, недалеко от Спасской башни.

В первую очередь я отправился в Наркомздрав к Н. А. Семашко. Николай Александрович очень внимательно отнёсся к нашим нуждам. Я рассказал ему, что клиники находятся в очень тяжёлом положении: в Саратове ничего нет, а из Москвы мы уже давно ничего не получаем. Николай Александрович сейчас же распорядился полностью удовлетворить все наши заявки, и секретарь вскоре погрузил

* У Шмидта было имение в Разбойщине, и там содержалась прекрасная скотина, которую после революции всю распродали.— Прим. В. Д. Зёрнова.

всё полученное в вагон и повёз в Саратов. Мы получили целый вагон, если не два, всяких медикаментов, ваты, бинтов, инструментов.

Семашко произвёл на меня самое лучшее впечатление. Это был настоящий представитель земской медицины, высокоинтеллигентный, отзывчивый человек.

Был я и у М. Н. Покровского, который заведовал в Наркомпросе высшими учебными заведениями, но этот деятель, напротив, произвёл на меня самое отталкивающее впечатление. Ничего от него не добился, и мне показалось, что Покровский только и ждёт, когда от него отвяжется этот назойливый проситель, и если не словами, то всем своим видом и поведением показывал, что ему никакого дела нет до наших нужд и просьб.

В Харитоньевском переулке я помещался в одной комнате с ректором Томского университета А. П. Поспеловым и И. А. Соколовым, который был в Томске ассистентом, а впоследствии работал у меня на кафедре в Москве во II университете[487]. Поспелов привёз из Томска большую бутыль спирта, который был чем-то безвредным подкрашен, а на самой бутыли имелось изображение черепа и костей, как рисуют обычно на ёмкостях с сильным ядом. Содержимое этой бутыли сильно ядовитым во всяком случае не было, а перед скромным обедом, который состоял из пустых щей и пшённой каши, употребление в надлежащем, конечно, количестве этого «яда» скрашивало немудрёную трапезу.

Как-то сидим мы в общежитии и слышим какие-то движения, все куда-то бегут — оказывается, в общежитие приехал В. И. Ленин и выступает в большом зале перед учительским съездом[488]. Мы тоже побежали и вошли в зал, когда Ленин стоял уже на кафедре и с характерным для него жестом — он размахивал правой рукой, как будто забивал гвоздь в крышку стола* , — докладывал о событиях на русско-польском фронте. Тема была довольно трудная. Русские войска попали в «мешок» и были отрезаны. Ленин доказывал, что этот относительный неуспех в конечном счёте принесёт пользу Советскому государству, так как в тыл польской армии попадёт большое количество русских партийных людей, которые будут способствовать разложению польской армии и популяризировать советские идеи. Ленин говорил без внешнего красноречия, но убеждённо и чрезвычайно настойчиво. После выступления Владимир Ильич сейчас же уехал, провожаемый приветствиями и аплодисментами. Это был единственный случай, когда я видел и слышал живого Ленина.

Ходил я и на заседания съезда, встретил там всех товарищей по лебедевской лаборатории. В. И. Романов уже заведовал кафедрой в университете.

Помню и некоторые доклады. Интересная работа была доложена Метёлкиным, он рассказывал о фосфоресценции газов и показывал, как разреженный газ после прохождения по нему тока долгое время продолжал светиться. Сам Метёлкин вскоре умер, и, сколько я знаю, эти вопросы не получили дальнейшей разработки. Интересный доклад сделал А. А. Эйхенвальд по акустике — я бы сказал, музыкально-физиологический. Александр Александрович как раз во время этого съезда уехал за границу и, рассорившись с ВОКСом[489], назад уже не вернулся[490]. Если не ошибаюсь, на этом же съезде В. А. Михельсон докладывал свой проект постройки дома с «солнечным» отоплением, который был создан в связи с недостатком топлива. Сам я этого прекрасного доклада не слушал, поз-

* Этот жест затем был усвоен почти всеми партийными ораторами. — Прим. В. Д. Зёрнова.

накомился с этой работой только тогда, когда вышел том трудов вскоре после этого умершего Михельсона[491].

Будучи в Москве, я иногда ночевал у сестры Наташи, она жила в Астафьевском переулке. У неё в доме был величайший беспорядок[192]. В это время Наташина дочь Верочка вышла замуж за студента Путейского института Посельского, очень хорошего и дельного парня. Вера была совсем девчонкой, кажется, даже пришлось испрашивать у архиерея специальное разрешение на венчание.

Побывали мы с Наташей и в нашей милой Дубне. В ней постоянно жила Настя (Кусенька), может быть, потому и сохраняла Дубна по-прежнему своё очарование. Всё было цело. Мы шли от вокзала пешком. Была какая-то тишина в природе, она особенно была заметна после колготы и развала в Москве. Дом, как раньше, был уютный, пронизанный насквозь солнцем. Ласково меня встретили и старики крестьяне. Иван Мещанинов принёс мне мяса, которое было уже большой редкостью. Иван комично рассказывал, как его арестовывали за торговлю мясом и как он подвязывал куски мяса под платье, только бы скрыть их от обысков.

Я пробыл в Москве больше месяца и с Катёной не переписывался[193], так как почта вообще действовала очень плохо. Кто-то приезжал из Саратова и рассказывал, что там более или менее всё благополучно.

Наконец я собрался в обратный путь — не то в самом конце сентября, не то даже в начале октября. Я приехал в Саратов перед вечером и, узнавши, что Катёна всё ещё находится на даче, велел заложить Богатыря и поехал на дачу. Была чудесная лунная, но довольно прохладная ночь. И совсем затемно я приехал к моим милым Катёнушке и ребяткам. Все, слава Богу, были здоровы. Жили они на даче, охраняемые, по правде сказать, одним Богом; наружная дверь не закрывалась, окна были заклеены бумагой, да и жили-то они в совершенном одиночестве. Кругом стояли пустые разорённые дачи.

Об Александро-Невском соборе и событиях, с ним связанных[494]

В Саратове как сравнительно молодом городе церквей было мало[495]. Мы к службам чаще ходили в домовые церкви учебных заведений: то в духовную семинарию, то в реальное училище, то в церковь первой классической гимназии. Но я бывал и в соборе.

Саратовский кафедральный собор[496] стоял около городского парка «Липки» в самом центре города и представлял собой оригинальное здание совершенно необычной для православного храма архитектуры. Громадный куб со всех четырёх сторон был окружён дорическими колоннами, на них опирались четыре фронтона. Над кубом — крыша в виде полусферы, над которой возвышался крест*. Кроме главного храма, был придел в полуподвальном этаже. Поздняя обедня всегда служилась в верхнем храме. Служба была хорошо обставлена. Пел хороший хор. Часто бывало архиерейское служение.

Однажды в начале революции, когда духовенство пыталось бороться за своё положение и значение церкви, на колокольню, которая стояла отдельно от собора, подымали большой колокол. Я, кажется, единственный раз в жизни видел, как это делается. Хотя нет! В детстве наблюдал, как подымали колокол в Никитском монастыре — он находился на Никитской улице как раз против окон нашей квартиры**.

* Между прочим, крест в начале революции свалился — случайное совпадение производило неприятное впечатление.— Прим. В. Д. Зёрнова.

** И ещё на Шаболовке в богадельне Нечаева-Мальцева накануне нашей свадьбы.— Прим. Ек. Зёрновой.

Зрелище потрясающее: вся площадь перед колокольней заполнена народом, на колокольне подвешены полиспасты и множество канатов спущено к площади. Канаты прикреплены и к самому колоколу, чтобы часть народа оттягивала ими колокол от стены колокольни.

Перед началом подъёма по знаку, поданному с колокольни, наступила полная тишина, вслед за этим все канаты натянулись, и громадный колокол, отделившись от земли, медленно поплыл кверху. Пролёты на колокольне, через которые проходил колокол, были расширены, часть кирпичей была вынута, так как диаметр колокола значительно превышал ширину пролётов. Снизу я, конечно, не видел, но как только колокол пошёл к своему месту, сейчас же мастера подвесили его железными муфтами на приготовленные балки.

Однако этот колокол благовестил и призывал в храм верующих недолго. Вскоре звон запретили*[497], а самое здание собора потом разрушили. Не знаю, верно ли, но мне говорили, что на весь Саратов осталась одна церковь «на Горах»[498] .

Помню ещё одно очень внушительное церковное торжество в Саратове — крестный ход из собора на Волгу в день Крещения. Саратовское духовенство из всех церквей с крестными ходами после обедни собралось у собора. День был морозный и солнечный. Из собора показалось шествие, три архиерея возглавляли сонм духовенства. Золотые ризы и хоругви сияли на солнце. Колокольный звон — «во все колокола». Площадь перед собором была черна от народа, так что советским милиционерам приходилось расчищать путь крестному ходу и один из них в усердии кричал: «Дорогу преосвященному!».

С левой стороны Волги на «Иордань»[499] пришёл весь Покровск, да из Саратова вслед за крестным ходом к берегу собрались большие толпы народа. Весь берег над «Иорданью» был залит народом. А на льду были построены громадный ледяной крест, ледяной налой и ледяная ограда, так что всё богослужение хорошо было видно и сверху.

Во время погружения креста и пения «Спаси, Господи, люди твоя» выпустили стаю белых голубей, и они кружили над «Иорданью». Зрелище — совершенно незабываемое. Впечатление для меня было несколько испорчено лишь тем, что вслед за этими торжественными минутами из домика, стоявшего совсем близко к «Иордани», выбегали совершенно голые люди в позе стыдливой Венеры, выходящей из воды, и их на полотенцах на одно мгновение опускали в прорубь, после чего они быстро опять скрывались в домик-раздевалку. Это обычай, освящённый веками, — купаться в Крещение в освящённой воде, но в мороз на Волге подобное действо производит совсем не то впечатление, которое получаешь, любуясь картинами Иванова, где тоже верующие погружаются в воды Иордана.

Духовенство и «совет прихожан» собора, конечно, знали о моём отношении к церкви, по-видимому, им также была известна и моя трактовка вопроса о миро-

* Это случилось уже после нашего переезда в Москву, я ещё в 1921 году из окон Бутырской тюрьмы слушал красный звон в пасхальную ночь.— Прим. В. Д. Зёрнова.

творчестве и «промысле», то есть о «Sinn der Welten»[500]. Возможно, кто-нибудь слышал моё изложение второго принципа термодинамики, в котором я не отрицал существования в мире «разумного начала».

Я вообще ещё не ясно тогда понимал, почему нельзя свободно судить и говорить о таких отвлечённых предметах. Однажды шли мы с Катёной по Александровской улице и видим — среди небольшой толпы разглагольствует какой-то человек (конечно, это был агитатор). Я прислушался и стал ввязываться в разговор, возражая говорившему. Он оборвал меня, а когда из публики послышались голоса: «Почему же хорошему человеку нельзя говорить?!», агитатор достал свисток, свистнул и, когда подбежал милиционер, приказал отвести меня в «отделение».

Тут я уже не возражал, и мы с Катёной под руку пошли за милиционером, а за нами двинулась и вся толпа, слушавшая агитатора, причём в толпе слышались разговоры и возгласы, весьма нелестные в отношении действия агитатора. По мере нашего движения толпа увеличивалась. Сам же агитатор с нами не пошёл, может, ему было неудобно выявлять своё официальное положение. Но и положение милиционера выглядело довольно глупым; он приводит толпу во главе с человеком, держащимся независимо и вовсе не похожим на тех, кого обыкновенно приводят в «отделение» — что, собственно, доложить начальству о преступных действиях этого человека? И желая, по-видимому, выбраться из такого невыгодного для него положения, милиционер вскоре улизнул в переулок. Толпа тут же растаяла, а мы с Катёной благополучно вернулись домой.

Разумеется, такое моё легкомысленное поведение не могло оставаться неизвестным, знали о нём и губ. ЧК, и церковники. И вот однажды является ко мне на квартиру священник и говорит, что он делегирован от «совета верующих» ко мне с просьбой: выступить на общем собрании с докладом о моём отношении к делам веры[501]. Я почувствовал, что меня втягивают в большой спор, но мне казалось тогда, что я могу свободно говорить на такие философские темы, поэтому-то отказываться мне не хотелось, к тому же свой отказ я счёл бы за малодушие. Я согласился! Катёна, правда, была потом очень недовольна тем, что я дал согласие выступить в соборе.

Меня предупредили, что собрание состоится в нижнем помещении собора и что на нём выступят также профессора Какушкин и Быстренин.

Духовенство, конечно, использовало моё согласие и для широкой церковной агитации, потому что когда в назначенный день перед вечером я подошёл к собору, то около него стояла большая толпа народа, которую уже не вмещал собор. Я с трудом пробрался в его нижнее помещение. Народ стоял там плечо к плечу.

Посредине церкви имелось возвышение — архиерейское место, с него и пришлось выступать. Сначала говорил какой-то светский богослов, преподаватель духовной семинарии. Это было обычное богословское рассуждение о бытии Божием с цитатами из Святого Писания. Конечно, центр интереса находился в выступлении профессоров. Перед моим выступлением устроители просили меня взять благословение у священника, мотивируя это тем, что надо показать слушателям сразу, что я не чуждаюсь церковных обычаев. Я не отказался от привычного для меня действия.

Говорил я прежде всего о том, что наука и вера — две вещи совершенно различные и что естественно-историческая наука не занимается доказательствами бытия Божия, но и не отрицает разумного начала мира. Говорил также о том, что

можно вечное бытие мира рассматривать как результат промысла Божия, что многие великие учёные естествоиспытатели были искренно верующими людьми[502]. А закончил я такой мыслью: верующий имеет преимущества перед неверующим — ему легче жить, легче и умирать.

После меня говорили Какушкин и Быстренин. Как они связывали гинекологию и педиатрию, представителями которых они являлись, с темой беседы, я точно не скажу[503]. Помню одно учительское собрание, на котором представители наробраза рассказывали, как при идеальном строе детей после рождения будут отдавать в чудные детские дома, а родители будут совершенно свободны от всяких забот по питанию, уходу и воспитанию своих детей. Я тогда тоже неосторожно выступил, выразив сначала восторг от такого порядка, но тут же, продолжая восторгаться будущими чудесными порядками, нарисовал и нелепые результаты, которые непременно явятся итогом таких утопий. Слушатели-учителя, разумеется, поняли мою иронию и горячо мне аплодировали.

Конечно, всё это я делал зря и глупо. Этим утопическим детским рассадникам и другим утопическим идеям нужно было дать перебродить, и мне вовсе не следовало вмешиваться в этот процесс брожения. Все мои легкомысленные поступки, несомненно, брались на заметку лицами и учреждениями, следившими за моим поведением. А я продолжал делать глупости.

Опять ко мне явился представитель от приходского совета и просил повторить мой доклад в церкви первой классической гимназии: многие-де из-за тесноты не могли попасть на первое собрание. Я опять согласился.

В саратовской газете появилась статья, в которой нас, выступавших, называли мракобесами, и хоть прямо нам и не угрожали, но по тону статьи чувствовалось, что автор рекомендует репрессии по отношению к таким философам[504]. А ведь ещё недавно преосвященный Алексий ругал меня за материалистическое мировоззрение, но это было его частное мнение, и статья в «Волге», которая до сих пор хранится у меня, тогда никаких последствий не имела.

Луначарский в Саратове*

Вскоре после этого в Саратов приехал Анатолий Васильевич Луначарский, народный комиссар просвещения[505]. Мы ему были подчинены, тогда ВКВШ[506] ещё не существовало. Я как ректор университета делал доклад Анатолию Васильевичу. Он принял меня не в помещении губоно, а в квартире, где он остановился. Мы сидели за столом, подали кофе. И я в такой обстановке делал доклад. Луначарский держал себя как благожелательное начальство и был очень любезен. Я просил его посетить университет, и он на другой день действительно был в университете[507].

После официального доклада я попросил позволения обратиться к наркому по личному делу. Анатолий Васильевич любезно разрешил. Я рассказал ему о моём выступлении и о статье в газете. Луначарский уверял меня, что это моё личное дело и никто не имеет права вмешиваться, а тем более указывать то или иное мировоззрение: «Ведь в Москве в церковных службах участвуют артисты, одни делают это из-за заработка, другие — верующие люди по убеждению и участие в богослужении доставляет им удовлетворение. Никто не имеет права вмешиваться в такого рода дела!». Луначарский пригласил меня в театр, где ему предстояло сде-

лать доклад на антирелигиозную тему «Религия и коммунизм»[508] или что-то в этом роде, и дал мне записку, по которой я и прошёл в здание театра.

Луначарский по праву являлся одним из самых блестящих ораторов, но этот его доклад, хотя и блестящий, показался мне несколько вульгарным. Анатолий Васильевич рассчитывал на «смешок», допускал «остроcловие», вообще как-то подделывался к «массовому» слушателю.

На другой день я принимал его в университете. Показывал ему наши чудесные здания и лаборатории, говорил и о тех затруднениях, которые испытывали мы и в университетской, и в личной жизни. Жить было уже трудно. Одеты все были кое в чём. Случайно навстречу попался профессор-филолог, он был одет как китаец: какая-то тёплая женская кофта, из-под неё торчала не то юбка, не то более длинная кофта, на ногах — неизвестно что, а ведь это был доктор филологических наук (впоследствии он переехал в Московский университет). Профессор Дурново, тоже доктор, ходил как какой-то оборванец и так обовшивел, что к нему было страшно подойти. Обо всём этом я говорил Луначарскому, а «китайца» ему продемонстрировал даже в натуре. Анатолий Васильевич обещал помочь, но ничего из всех его обещаний не вышло. По-видимому, он и не мог помочь в те времена, тем более что его интересы были направлены главным образом в сторону искусства и особенно театра[509].

Проводили мы наркома, а жизнь потекла сама по себе. Его либеральные разговоры о том, что каждый может поступать по своему разумению, также оказались беспочвенными или, по крайней мере, весьма преждевременными.

Мой арест и содержание в саратовской тюрьме № 3[510]

В начале Масленой недели мы устроили для ребят костюмированный вечер. И хотя мы жили уже тесно, но ребята всё же весело провели время. На Митюне был албанский костюм, на Танечке — цыганский, а на Мураше — бывший Митин костюм паяца с бубенчиками. Очень мила была одетая амуром с крылышками и годовалая Аничка Свешникова*.

Гости разошлись. Мы легли спать. Стучат в дверь. Я встал, спрашиваю: кто там? В ответ слышу: «Откройте — представители милиции!». Входят два милиционера и с ними присяжный поверенный А. А. Образцов. Предъявляют ордер на обыск. Мы оделись. Начался подробный обыск. Перерыли весь мой письменный стол. Одному из обыскивающих, по-видимому, понравились мои золотые запонки с монограммами, он всё старался прикрыть их бумагами, но я твёрдо возвращал их на прежнее место. Обнаружили маленький кавказский кинжальчик в серебряных ножнах, но по измерению он под оружие не подошёл. У нас действительно ничего криминального — ни тайного, ни явного — не было. Образцов всё это время сидел в передней. Я сначала думал, что он приглашён в качестве понятого при обыске. Кончился обыск, и мне предъявили ордер на арест[511].

В таких случаях не разговаривают. Ещё во время обыска на всякий случай был поставлен самовар. Без всякого аппетита выпил я стакан чаю. Перекрестил Катёнушку и спящих ребятишек и отправился. Оказалось — Образцов в таком же положении, что и я.

Шли пешком. Было ещё почти темно. На улицах — оттепель и грязь. Когда мы подошли к тюрьме № 3[512], начало светать. Но в помещении тюрьмы было

* Свешниковы жили в одной квартире с нами.— Прим. В. Д. Зёрнова.

темно, мигали керосиновые лампы. В коридоре стояла очередь арестованных — перед столом, за которым производилась регистрация прибывающих. Я увидел массу знакомых. Тут были профессора Какушкин и Быстренин, начальник Рязано-Уральской железной дороги И. И. Бенешевич, тут был и И. Я. Славин, о котором я недавно вспоминал. Общество самое разнообразное, но, во всяком случае, это была высшая интеллигенция Саратова. Тут были и верующие и неверующие; впрочем, ни одного представителя духовенства я не заметил.

Оказалось, что в эту ночь арестовали громадное количество людей из саратовской интеллигенции, по своим взглядам и действиям ничего общего друг с другом не имевших. Большинство искренне недоумевало — что за причина их ареста? Что ж касается меня, то присутствие Какушкина и Быстренина, естественно, наводило на подозрение, что причина нашего ареста — выступление в соборе, но, с другой стороны, заверение Луначарского[513] и присутствие массы людей атеистического образа мыслей нас совершенно дезориентировало.

Арестованных было так много, что в камеру, рассчитанную на двадцать человек, было помещено более шестидесяти. Это были совершенно «дикие», то есть ни к каким партиям не принадлежавшие люди, совершенно различных профессий и образа мыслей.

Началось нудное «сидение». В камере — страшная грязь. Первую ночь я почти не спал — сидел, ловил клопов и бросал их в горящую керосиновую лампу. На ночлег мы устроились следующим образом: вдоль камеры с двух сторон были нары. По обсуждению, с общего согласия было поставлено, что люди, имеющие менее сорока лет от роду, ложатся на полу — под нарами, естественно, головами наружу, остальные, имеющие более сорока, ложатся на нары головами к стене. Вся компания по такому возрастному признаку разделилась почти пополам. Но даже и при таком порядке лежать можно было только на боку, ощущая присутствие обоих соседей. Я помещался на нарах, так как мне было уже 42 года.

От массы народа и курева воздух в камере был очень «густой», так что мы держали открытой форточку. Окно, понятно, было с решёткой. Утром выстраивались в камере на «поверку». Являлся помощник начальника тюрьмы, бывший обойщик, которого некоторые из сидевших в камере знали: ранее он у них обивал мебель. Надо сказать, препротивный был этот обойщик, какой-то гнусавый, нахальный.

Мы держали себя скромно, почти ничего не требовали. Правда, на первых же порах мы просили произвести «дезинфекцию» камеры, и эта просьба была уважена. Пришли санитары и факелами (на длинной палке пылала тряпка, смоченная спиртом) обожгли все стены. Стало несколько легче. В другой просьбе — отказали: по утрам нас выводили в организованном порядке умываться и «оправляться». Для пользования же в остальное время в камере у двери стояла классическая «параша». У одного старичка, бывшего товарища городского головы и мещанского старшины, был хронический колит, и ему днём при всей честной компании всякий раз приходилось садиться на «парашу». Естественно, его это очень стесняло. И вот на одной из «поверок» бывший заместитель городского головы обратился очень вежливо к обойщику, которого он лично знал, с просьбой ему днём выходить в уборную. Сопатый помощ-

ник начальника тюрьмы, не глядя на старика, ответил: «Вот поедешь в Ессентуки, там тебе ванны будут делать». Повернулся и ушёл.

Против нашей камеры помещались арестованные меньшевики, это была очень шумная компания. Они постоянно чего-то требовали: то улучшения пищи, то письменных принадлежностей. И вот как-то вечером слышим мы — выводят наших соседей в коридор и начальник тюрьмы, который, по-видимому, был в сильном градусе, после краткого разговора стал орать на выстроенных заключённых: «Вот я покажу вам письма писать! Всех к стенке поставлю!». И дальше в таком же духе.

Кормили действительно отвратительно. Приносили в жестяных умывальных тазах какую-то серую баланду, в которой попадались маленькие разваренные рыбки. Таз полагался человек на восемь, и мы своими ложками хлебали эту бурду. С воли, конечно, приносили передачу. В первые же дни мне принесли от Катёнушки целую корзину, тут были и еда, и бельё, так как прошёл слух, что нас могут выслать. Днём водили нас на прогулку во двор тюрьмы. Такая прогулка на маленьком дворике не могла доставить большого удовольствия, но мы всё же неизменно пользовались ею.

По вечерам мы устраивали нечто вроде «самодеятельности». Рассказывали разные вещи, например, И. И. Бенешевич — об испытаниях паровозов. Я до сих пор, когда на лекциях говорю о резонансе, всегда вспоминаю этот «доклад». Студентам я рассказываю именно о том резонансе, который наблюдается при испытании паровоза: если совпадают период его свободного колебания на рессорах и толчки о стыки рельс, паровоз начинает, по словам Бенешевича, скакать как скаковая лошадь.

Очень интересны были рассказы И. Я. Славина о разных юридических делах, участником которых он являлся. С нами сидел директор крестьянского (или городского) банка Павел Иванович Шиловцев, большой любитель театра и сам актёр-любитель; он часто читал стихи. Рассказывал и я один раз о «теории относительности»[514], участвовал в чтении стихов. Помню, прочёл я шуточное стихотворение Лёни Прозорова, которое всем очень понравилось:

Надеждами я мало избалован!
Я трёх Надежд по месяцу любил.
Тремя Надеждами дурачен, околдован,
От трёх Надежд отставку получил.

Я помню, Вер имел. Менял порою,
Хотя, конечно, я не изувер.
И даже долго счастлив был с одною
Из этих милых, верящих мне Вер.

Теперь Любовь имею на примете.
Любовь к Любви — не первый уж пример.
Желая всё изведать в этом свете,
Хочу узнать Любовь, Надежд и Вер.

Как-то водили нас в тюремную баню: рано утром, на дворе ещё совсем темно, нас разбудил дежурный, велел построиться и отправляться в баню; мы были рады некото-

рому разнообразию в нашем времяпрепровождении, но баня нас совершенно разочаровала. То, что называли баней, представляло маленькое здание во дворе тюрьмы. В бане было довольно холодно, а так как куб с водой кипел, то стоял такой туман, что рядом ничего не видно. Всё помещение освещалось одной лампочкой, которую через туман также было едва видно. Пол земляной, а если там и были доски, то слой грязи настолько был велик, что ноги вязли в ней; были положены кирпичи, на которых лежала доска, так что передвигаться можно было по этой доске гуськом.

Сидел с нами очень энергичный волжский капитан старик Поплавский, настоящий «морской волк». Он командовал большим пароходом «Ольга Николаевна» и, говорят, держал себя как полный хозяин парохода. Поплавский предложил для поддержания жизнедеятельности регулярно делать гимнастику. Отозвалось человек двадцать, и я в их числе. Поплавский строил нас по четыре в ряд, становился перед группой и сам делал разные простые движения, а мы по команде их повторяли.

Однажды не успели мы кончить гимнастику — открывается дверь и дежурный вызывает Поплавского. Тот бодро отправился. Мы думали, что его вызвали на допрос, но бедный старик не вернулся — его ночью расстреляли. Конечно, гимнастика была тут ни при чём.

Как просачивались сведения к нам из-за стен тюрьмы, я даже не соображу. Но мы более или менее знали, что делается на белом свете. А про гимнастику я вспомнил вот по какому поводу. Когда мы узнали о судьбе Поплавского, погоревали об интересном товарище, но решили дело, им начатое, продолжить. На место Поплавского встал ещё молодой человек, тоже водник. Раза два-три мы благополучно провели наши гимнастические упражнения, и вдруг, также во время упражнений, когда молодой водник командовал нашими движениями, снова отворяется дверь и дежурный вызывает его: «Такой-то, возьми кружку и ложку и выходи!»* .

Этот вызов произвёл на нас удручающее впечатление. Мы были уверены, что молодой человек также вызван на расстрел. Никто после этого не захотел командовать гимнастикой, и наши упражнения прекратились. Но на этот раз мы оказались, к счастью, не правы. Уже в Москве я встретил этого молодого человека на Страстном бульваре, и мы так обрадовались друг другу, что крепко расцеловались. Оказалось, что когда его вызвали, то тут же отпустили на свободу.

Был и такой случай: перед самым вечером вводят в нашу камеру человека, которого я сразу узнал. Я знал его мальчиком и встречал на катке Патриарших прудов. Это был некто Торопов. Приобрёл он печальную известность тем, что сделался махровым черносотенцем, членом «Союза русского народа» (кажется, ещё в период русско-японской войны). Торопов в ресторане застрелил сотрудника либеральной газеты, с которым у него вышел какой-то «принципиальный» разговор. Несмотря на то, что преступление было совершенно очевидно, суд оправдал Торопова. И вот этот Торопов входит, и весьма развязно, в нашу камеру. Я испытал ощущение, которое обычно испытываешь, когда видишь какого-нибудь гада — змею или жабу. Тем более что Торопов и внешностью напоминал жабу — небольшого роста, очень плотный, с большим лицом и особенно большим ртом. Я сидел в своём уголке и одним ухом прислушивался, как Торопов повествует о своих свиданиях с власть имущими и высочайшими особами. Слышать всё это было противно.

* Кружка и ложка — неотъемлемая собственность заключённого. И когда его вызывают с тем, что он назад уже не вернётся, то велят ему забрать с собой всё своё имущество.— Прим. В. Д. Зёрнова.

Перед сном стали назначать дежурного на следующий день. И как на грех, была моя очередь. Торопов услышал мою фамилию.

— Это какой Зёрнов? Ректор университета? Владимир Дмитриевич? Как же, как же, я знал его мальчиком! Где же он? — И, увидав меня, направился ко мне.

Подойдя, он стал напоминать встречи на Патриарших прудах. Я делал вид, что с трудом вспоминаю давно прошедшие годы, и разговора, естественно, не поддерживал.

Легли спать. Вдруг открывается дверь и дежурный, при свете ночника с трудом разбирает записку:

— Топорков, что ли, — произносит он вялым голосом. В ответ молчание.

— Есть тут Топорков? — усилив голос, крикнул дежурный.

— Нет, Топоркова здесь нет! — донеслось из камеры.

— Ну, Торопов, что ли.

— Торопов есть.

— Ну, Торопов, собирайся!

Торопов быстро вскочил с нар. И развязность его как ветром снесло. Он в ужасе вскрикнул:

— На расстрел?

Дежурный грубо расхохотался — очень уж забавным показался ему испуг смертника. И со словами: «Как они этого боятся!» — он увёл нашего недолгого гостя.

Торопова расстреляли, по-видимому, в эту же ночь. Этот, по крайней мере, получил по заслугам.

Время от времени то одного, то другого вызывали на допрос. Помню, как вызывали и Бенешевича. Он сильно волновался, у него дёргались мышцы на передней части шеи, под подбородком. Однако допрос продолжался недолго, и Бенешевич, успокоенный, возвратился в камеру. Он был освобождён в Саратове на Страстной неделе (я находился уже в Москве, в Бутырской тюрьме) и, говорят, из тюрьмы пришёл прямо в церковь*.

Вызвали на допрос и меня. Чудной это был допрос. Следователь в штатском платье имел вид народного учителя. Спрашивать, собственно, было не о чем, всё было известно. Выступал я и в университете, и в других местах публично, никаких секретов не делал. Один вопрос меня удивил:

— Не рассказывали ли вы во время выступления анекдота про «серп и молот»?

— Что вы, какие анекдоты! — в искреннем удивлении воскликнул я. — Доклад был на чисто философскую тему. А какой же есть анекдот по этой части?

Следователь замялся, анекдота не рассказал.

Я не мог понять, в чём заключается вся эта шарада. Впоследствии-то мне всё, конечно, объяснили.

Официальные вопросы были закончены. Но «народный учитель» скоро меня не отпустил. Он стал расспрашивать: возможно ли межпланетное сообщение, можно ли летать на Луну, возможна ли жизнь на Луне и других планетах, — как будто он искал другую квартиру и спрашивал меня, не слышал ли я — не сдаётся ли где подходящее помещение и как туда проехать. Мне пришлось разочаровать его в возможнос-

* Ив[ан] Ив[анович] Бенешевич был у меня по выпуске из тюрьмы.— Прим. Ек. Зёрновой.

ти жизни и на Луне, и на Марсе. Беседовали мы со следователем на эти темы часа полтора. Так что мои товарищи по камере начали уже беспокоиться за меня.

Концентрационный лагерь. Пересылка в Москву*

Наступила тёплая весенняя погода. Нас перевели в здание, которое называлось «концентрационный лагерь»[515]. В сущности, это была та же тюрьма. Громадное здание выходило фасадом на Московскую площадь. Нас вели в строю, окружённом тюремной стражей, которая держала оружие наизготовку, а начальник тюрьмы, также сопровождавший нас, демонстративно размахивал револьвером. Всё это, разумеется, было совершенно излишне. Никто из нас не собирался бежать. Я лично ко всему этому относился как-то спокойно. Единственно, что волновало меня, — как там Катёнушка с ребятами? Вскоре я узнал, что Катёна ведёт себя как героиня: спокойно, с полной уверенностью, что вся история кончится благополучно.

Отвели нам просторную комнату — хоть танцуй (из этой камеры как раз и был взят молодой водник), но никаких нар не было. Комната — совершенно пустая. Нам пришлось устраиваться прямо на полу. Прогулки отменили: не имелось изолированного двора. Здесь-то я и получил горячий кофе от немки Ивана Исаева, который уже перешёл на работу в милицию.

За время сидения в этом помещении я имел два свидания — одно незаконное с Катёнушкой, его устроил А. А. Богомолец, а другое официальное с В. В. Голубевым, который замещал меня как ректора[516]. Александр Александрович Богомолец был каким-то консультантом при тюремной больнице и провёл в лабораторию Катёнушку под видом медицинской сестры, а меня через «глазок» известили, чтобы я записался на приём в амбулаторию. Нам врачи дали возможность поговорить в отдельной комнате. Катёна принесла мне гостинцев и даже папирос: она знала, что я в тюрьме закурил. Сама Катёнушка была бодра, да и дома всё было слава Богу.

Другое свидание было устроено совершенно официально. Владимир Васильевич Голубев подал заявление администрации, что ему как заместителю ректора необходимо переговорить с заключённым ректором. Разрешение было получено, и мы с ним долго и почти свободно беседовали в отдельной комнате. Правда, присутствовал «страж», но он нам не мешал и держался в стороне.

От Владимира Васильевича я узнал интересные вещи. По поводу массовых арестов в Саратове из Москвы была прислана комиссия во главе со Смидовичем — выяснить причину этих арестов, в частности, причину ареста моего, Бенешевича и других. Комиссия будто бы потребовала, чтобы арестованным были предъявлены обвинения или, если таковых предъявить нельзя, арестованные должны быть освобождены. Саратовские власти, которые этот массовый арест осуществили, отвечали, что они обвинений, достаточно обоснованных для возбуждения судебного дела, предъявить не могут, но и освобождать массу людей также не решаются, это-де произведёт «сенсацию». Заведующий губ. ЧК (кажется, Петров) был вызван в Москву, но по дороге он заразился сыпным тифом и вскоре умер[517].

Точной хронологии, в какой происходили эти события, я не помню, да, может, целиком её я и не знал. Говорили, что московская комиссия будто бы всё же распо-

рядилась часть арестованных освободить, в число их попали Бенешевич и ряд других, а относительно меня и тех, кто оставался в нашей компании (Какушкин, Быстренин, Образцов, Славин...), распорядилась переслать эту группу в Москву[518].

Оказалось, поводом к арестам явилась нервозность ЧК, вызванная действиями какого-то полковника Антонова[519], который с небольшим отрядом буйствовал в Саратовской области: грабил поезда, жёг станции*.

Должно быть, в конце четвёртой недели Великого поста, в чудный тёплый весенний день нас под конвоем повели из узилища к вокзалу. Мы проходили мимо университета, и студенты встречались на нашем пути, они, конечно, сейчас же сообщили в университете, что нас, по-видимому, отправляют в Москву.

Хочу отметить, что отношение и товарищей, и студентов к нам, арестованным, было исключительно хорошее. Никто от нас не отрекался, как это вошло впоследствии в моду (и приводило иногда к «курьёзам» — отрекутся от арестованного товарища, а его возьмут, да и освободят, да ещё награду дадут), и все товарищи всячески старались нам помочь и выразить сочувствие нашим семьям.

Когда нас привели на вокзал, то выяснилось — поезд, на котором мы должны были отправляться, только что ушёл. И нас оставили на вокзале до следующего поезда, который должен был отходить только ночью. На вокзале стали собираться товарищи, семейные, студенты. Приехала Катёнушка, пришли все сотрудники по Физическому институту. Принесли продовольствия, денег. Нам разрешили даже разговаривать, но пока было много народу, то разговаривать разрешили только через стол. Мы стояли с одной стороны, а наши посетители — с другой. Потом, когда народ поразошёлся, так как мы на вокзале пробыли целый день, нас поместили в какой-то комнате, и туда пришли мои сотрудники. Катёнушка, простившись со мной, возвратилась домой там ждали её наши ребятки. Проводы получились такие длинные, что я уговорил провожавших идти домой, а мы забрались в товарный вагон, который уже стоял в составе поезда на путях перед вокзалом. Конечно, весь поезд был из товарных вагонов. Классные вагоны вообще в это время почти не ходили.

Нас, арестованных, было, помнится, семнадцать человек. В качестве конвоя с нами были отправлены пять мальчиков в военных шинелях. Старшему из них на вид было лет шестнадцать. В дороге конвоиры предоставляли нам полную свободу, а сами валялись, пели песни и вообще никакого беспокойства нам не чинили.

Всю ночь поезд простоял на путях против вокзала и тронулся только рано утром. Раздвижные двери вагона были постоянно открыты. Ехали мы очень медленно, подолгу простаивали. При таких остановках мы обычно раскладывали на обочине костёр и варили кашу. Но вот на какой-то станции мы с А. А. Образцовым отправились в помещение вокзала, там на стол буфета ставили большой самовар. Мы сбегали за чайниками, но самовар ещё не закипел, буфетчица говорит нам: «Да вы подождите, поезд не скоро пойдёт». Мы остались дожидаться, болтали с буфетчицей. Когда самовар закипел, набрали воды и вышли на перрон, а нашего поезда нет, видим только, как его хвост уходит уже за семафор, а от поезда бежит к нам один из конвоиров с сумкой с документами через плечо.

---

* Мы на пути в Москву видели разграбленные вагоны и догорающие станции. — Прим. В. Д. Зёр*нова*.

Получилось довольно чудное положение: в поезде едут пятнадцать арестованных и четыре конвоира без всяких документов, а мы, двое арестантов и один конвоир со всеми документами, сидим на вокзале. Пришлось обратиться к начальнику станции: рассказали ему, кто мы такие и что с нами случилось. Начальник станции был очень приветлив: он успокоил нас и сказал, что часа через два проследует «литерный» поезд и что мы на нём к вечеру догоним наш — «маршрутный», дал нам записку к главному кондуктору, так как вообще билетов не продавали, и мы стали ожидать этот «литерный».

Он также состоял из товарных вагонов, шёл по расписанию. Мы действительно ещё засветло на большой станции увидали на «запасе» наш поезд. Наши конвоиры встретили нас криком «ура».

До Москвы мы добирались целую неделю. Погода всё время была чудесная, и после месячного сидения в камере такая прогулка для нас была просто очень приятной, хотя мы и находились под наблюдением наших молодых конвоиров.

В Кашире в эти времена около вокзала жил с женой и совсем маленьким сыном Катёнушкин младший брат Лёня, он работал машинистом на Рязано-Уральской железной дороге. У Лёни был собственный небольшой домик, хороший огород и садик. Я с одним из конвоиров отправился к Лёне в гости, так как поезд опять долго стоял на «запасе». Лёня угощал меня и на дорогу дал продуктов. В Кашире же нас обогнал поезд, в котором ехал Женя Гюнсбург, — мои товарищи по Саратовскому университету послали его в Москву для подталкивания ходатайства о нашем освобождении и организации передач[520]. Я виделся с Женей на саратовском вокзале перед нашим отъездом, где он и рассказал мне о плане предстоящих действий.

Поместиться он должен был у Вари Разумовской* . И передачи организовывала главным образом Варечка. Сестра моя Наталья Дмитриевна как-то панически восприняла события и старалась держаться подальше от хлопот, да и связей у Макаровых особенных не было. Женя должен был познакомиться с П. П. Лазаревым, который хотя ещё и не был академиком[521], но в Наркомздраве имел большой вес, был в хороших отношениях с Семашко и другими заправилами Наркомздрава.

Прибыли мы на Саратовский вокзал в Москве ровно через неделю после нашего выезда из Саратова рано утром. Пешком с вещами в руках отправились на Лубянскую площадь (потом — площадь Дзержинского), где помещалась ВЧК. Конечно, идти по родной Москве посреди улицы под конвоем было обидно. Особенно трудно было идти И. Я. Славину, он уже был очень стар и очень плохо видел. С нами прибыла и одна старуха (кажется, Бок), которая была арестована просто за дворянское происхождение, да при обыске у неё нашли портреты членов императорской фамилии.

Однако понемножку мы всё же добрели до Лубянки. При регистрации мы сдали все имеющиеся у нас деньги, золотые и серебряные вещи. Деньги я отдал, но обручальное кольцо вовремя надел на третий палец, с которого его можно снять только при помощи мыла. Мне его оставили.

После регистрации нас отправили во внутреннюю тюрьму, которая помещалась здесь же. Там нас встретила пёстрая и шумная компания. Тут были и участ-

* Варечка Разумовская, дочь В. В. Вормса, вышла замуж за сына В. И. Разумовского, Владимира Васильевича, который уже кончил Московский университет и работал химиком на заводе; они и жили при заводе на Большой Садовой. — Прим. В. Д. Зёрнова.

ники ночных попоек, и мелкие воры, и люди просто подозрительные. Нами сначала заинтересовались, обступили, стали расспрашивать, но мы не склонны были завязывать знакомства, и от нас отстали.

Мы кое-как разместились и немного подремали, так как с дороги устали. Но пробыли мы в этой пёстрой компании часа два-три, после чего нас всех вызвали и направили в Бутырскую тюрьму. Опять пешком вышли мы в Кисельный переулок. И тут выяснилось, что наши старики совсем ослабли и уж своих вещей нести не могут. Мы их вещи взяли, но и без них идти им всё же было трудно. Вышли мы к Трубной площади, и тут попался ломовой. Сердобольный человек положил все вещи на полок, посадил старуху и И. Я. Славина и довёз их до Бутырской тюрьмы. Мы шли пешком за нашим благодетелем. Я написал на клочке бумаги расписку, указав в ней, что он нам помог, а также просил, чтобы администрация Лубянки выплатила ему из задержанных у нас денег. Но я больше чем уверен, что этот милый парень и не обращался на Лубянку, а помог нам, арестантам, ради Христа, как это часто делали русские люди в старые времена.

В Бутырской тюрьме*

В Бутырской тюрьме мы попали в совершенно другую обстановку, чем была во внутренней тюрьме. Поместили нас сначала в «карантин». В этой камере уже находились какие-то польские инженеры. У каждого была своя койка, было чисто. Койки имели такое устройство: железная рама с натянутой на неё парусиной, короткой стороной она на петлях привинчивалась к стене так, чтобы на день или на время уборки койку можно было подымать и укреплять у стены в вертикальном положении.

Общество на этот раз было «самое изысканное». Разговоры велись на философские, религиозные и исторические темы. Один такой разговор я хорошо помню. Какой-то инженер, еврей по национальности, ревностно защищал атеизм, рекомендуя себя как убеждённого атеиста. Он говорил, что в детстве посещал синагогу, но рано закрались сомнения в его мысли.

— Я порывался отказаться от предрассудков, — говорил инженер, — и перестать ходить в синагогу, но традиции были ещё сильны, я всё же боялся, а вдруг Иегова[522] прогонит и накажет отступника! Но однажды решился на этот шаг, перестал посещать синагогу — и Иегова не проявил никакого гнева!

Я заметил тогда, обращаясь к инженеру:

— Не знаю, наказал ли вас Иегова, может, это ещё впереди, но то, что он выгнал вас из синагоги, — это очевидно.

— То есть, как это выгнал? — несколько растерявшись, переспросил мой собеседник. — Я сам перестал ходить.

— Да вы что же, думаете — Иегова вас будет выводить из синагоги с громом и молнией да ещё под звуки труб? Вот вы не ходите в синагогу — и тем ваше изгнание осуществлено.

Такой парадокс озадачил моего еврея.

Вскоре после нашего приезда в камеру заходили представители Красного Креста осведомиться, за какие провинности мы попали в узилище и какие мы имеем претензии. Относительно первого вопроса мы отозвались незнанием — никому из нас обвинения предъявлены не были, а относительно второго — просили поспособство-

вать скорейшему разбору дела и, если возможно, скорейшему освобождению. Представителями Красного Креста являлись какой-то юрист, молодой еврей[523], и первая жена Максима Горького, с которой он уже не жил[524]. Это была довольно интересная средних лет женщина, одетая в чёрное платье, на руке имелось кольцо с большим бриллиантом — всё строго и стильно.

И. Я. Славин, когда вошли в камеру представители Красного Креста, сидел в одном белье. Увидав даму, он наскоро надел пиджак, но о брюках совершенно забыл, и, видя, что даме некуда сесть, он, запамятовав, что сидит без штанов, схватил табуретку и, спотыкаясь, так как видел плохо, поспешил через всю камеру, чтобы услужить даме. Так сильны в нём были «буржуазные» привычки!

В этой же камере произошёл, кажется, единственный за всё сидение конфликт между двумя членами нашей группы. Дело в том, что мы каждое утро проверяли своё бельё: вошь была в те времена повсеместная, мы то и дело находили её на своём белье. Давить этих отвратительных насекомых ногтем было противно, и наш товарищ Н. Н. Петров (брат певицы Петровой-Званцевой), приехавший с нами из Саратова, изобрёл такой способ казни вшей: пойманную вошь он клал между двумя стёклышками и сдавливал их. Но вот сидит однажды Петров без рубашки, изловил насекомое, глянул туда-сюда, а стёклышки пропали. И вдруг он видит, что один из соседей завладел, оказывается, его инструментом и с успехом применяет его на практике. Петров поднял шум, как без его согласия и позволения использовали его изобретение, да к тому же и инструмент его взяли. Нам насилу удалось его унять.

В один из первых дней, когда мы находились в «карантине» и я дежурил по камере, вечером меня вызвали в коридор: как оказалось, представители партийных заключённых*, которые пользовались относительной свободой, затеяли демонстративную голодовку. Голодать предполагалось всей тюрьмой, за исключением вновь прибывших (как раз нас), так как одним из первых требований выставлялось ускорение рассмотрения дел арестованных, чтобы дела были рассмотрены в трёхдневный срок, а наши дела, может быть, ещё и вовсе не поступали. Второе требование — открыть все камеры, чтобы заключённые могли спокойно сообщаться между собой, и, в-третьих, как всегда, требовали улучшения питания, хотя по сравнению с Саратовом питание в Бутырской тюрьме нам казалось просто хорошим. От нас организаторы добивались идейной поддержки всех требований и самой голодовки, освобождая нас от фактического осуществления голодания.

Я спросил своих товарищей, согласны ли они «идейно» поддержать требования и голодовку? Никто не возражал. Вся Бутырская тюрьма с громадным населением единогласно объявила голодовку. Голодовку вели не только политические заключённые, но и все уголовные элементы.

Со следующего утра никто, кроме нашей «карантинной» камеры, не прикасался к еде. Зато нам подали особенно наваристые жирные щи и прекрасную пшённую кашу.

Вообще, пищу подавали в прекрасной посуде — в кастрюльке красной меди в форме усечённого конуса, причём медь блестела как солнце. Кипяток приносили в громадных чайниках также красной меди. После жестяных умывальных тазов, в которых подавали серую жидкость в Саратове, сама посуда радовала глаз. Надо сказать, что бывший московский губернатор В. Ф. Джунковский[525], кото-

* В тюрьме сидели анархисты, эсеры и меньшевики. — Прим. В. Д. Зёрнова.

рый тоже был заключён в Бутырках, в своё время очень заботился о тюремных порядках, оттого, наверное, вся прислуга и порядки в тюрьме 1921 года были ещё старые. Прислуга помнила Владимира Фёдоровича ещё своим начальником.

Повели нас в баню. И это учреждение отнюдь не напоминало баню в саратовской тюрьме № 3. В бане масса воды, плиточные полы, светло. Можно было даже подстричься, но я решил этого не делать до тех пор, пока меня не освободят (говорят, император Александр I решил не бриться, пока не будут изгнаны из России наполеоновские войска![526]). Ко дню своего освобождения я так оброс, что был похож на старого еврея, которого изображают на картинах библейского содержания.

Из «карантинной» камеры нас переселили в «околоток» — полулечебное учреждение. Но собственно в коридоре, носящем это название, помещалась почти исключительно высшая интеллигенция. Здесь мы встретили и В. Ф. Джунковского, и придворного генерала и военного историка Андрея Медардовича Зайончковского, и генерала Мичульского[527], и молодого гвардейца князя Святополк-Мирского[528], и бывшего начальника штаба главнокомандующего в войне 1914 года генерала Клембовского[529], и милейшего игумена Петровского монастыря отца Никодима, и многих других. Привилегией «околотка» было то, что в коридоре камеры не запирались и все могли целый день сообщаться.

Голодовка продолжалась, но на «околоток», как на учреждение квазилечебное, она не распространялась. Разговоры велись на те же темы. Отец Никодим активно в словопрениях не участвовал, но прислушивался к разговорам. Волосы у него были заплетены в косичку, а ряска подвязана верёвочкой. Он послушает-послушает и, обращаясь к человеку атеистического и антирелигиозного направления, скажет: «Вот поживи с моё и увидишь!». Скажет это и отойдёт с удовлетворённым видом, как будто высказал весьма убедительное доказательство. У отца Никодима при себе имелось всё, что требуется для богослужения: и облачение, и сосуды, и антиминс[530]. Так что он совершал даже литургию и все службы.

Всё это теперь мне кажется каким-то представлением. Впрочем, и тогда мы переживали все события как зрители, ведь от активного участия мы, теперь уже «околоток», организаторами голодовки были освобождены. Наша задача заключалась лишь в «идейной» поддержке их мероприятий. Голодовка продолжалась уже три дня, но администрация Лубянки не реагировала. Тогда организаторы решили ускорить процесс. На утро четвёртого дня назначен был «вой». Мы опять как «больные» были освобождены от этого.

Погода стояла очень тёплая. И хотя был ещё конец апреля по новому стилю, окна всех камер были открыты настежь, причём выходили они на улицу Новослободскую. Правда, самой улицы из окон не было видно, от тюрьмы её отгораживала стена, но крыши домов на противоположной стороне улицы были хорошо видны.

Камеры «партийного коридора», а может, и других коридоров, были разделены на своеобразную очередь так, чтобы каждая камера могла в свою очередь выть, кричать, вопить по нескольку минут. Когда же эта камера уставала, её сменяла соседняя — и так до конца, затем начинала выть снова первая. Всё это

было слышно на улице, и народ стал вылезать на крыши — посмотреть, что там такое происходит. Говорили даже, что какой-то заводик, помещавшийся недалеко от тюрьмы, бросил работу и рабочие готовы были идти на выручку к заключённым. Тяжёлое впечатление этот вой производил и внутри самой тюрьмы, хотя мы и знали, что всё это устроено нарочно. Людям же вне тюрьмы представлялось, что там за решётками происходит что-то ужасное, что заключённых избивают.

Вой продолжался часа два-три. Начался он рано утром. Часов в 10 утра к тюрьме подкатил автомобиль с администрацией Лубянки. Вой не утихал. Администрация вызвала организаторов (конечно, ей было известно, из каких коридоров это идёт) и спросила их:

— В чём дело? Чего вы хотите? Организаторы повторили свои требования.

— Ну зачем же из-за этого лишать себя пищи и устраивать такой дебош? — заявило начальство. — Вызвали бы нас, переговорили, вы знаете, мы всегда идём навстречу всем заключённым, если их требования законны. Ваши требования вполне законны, и мы немедленно выполним все ваши пожелания. Дела будут рассмотрены в трёхдневный срок, камеры откроем и пищу улучшим.

Сказав это, администрация тут же уехала. Вой сейчас же прекратился. Все камеры и выходы во внутренний двор были открыты. Организаторы ходили как именинники. Началось что-то невообразимое: в садике внутреннего двора, где стояла упразднённая церковь, бренчала балалайка, из партийного коридора неслись нестройные звуки пианино, началось непрерывное хождение по всей тюрьме. Все ходили в гости друг к другу. К нам пришёл какой-то анархист (кажется, Айхенбаум[531]) и рассказывал о разных анархических действиях, которые предпринимались этой партией. Рассказы об ограблениях, убийствах и прочем были интересны, но описываемые события казались не особенно достоверными. Впрочем, на то они и анархисты.

Ходили и мы с Какушкиным и Быстрениным в гости в «одиночный» корпус — больше для того, чтобы посмотреть, что же такое «одиночка». Так сказать, с исследовательской целью. Навестили там трёх архиереев, которые сидели вместе в одиночной маленькой камере.

В тот же день я читал лекцию в тут же организованном «тюремном университете» всё в том же партийном коридоре. Читал на тему «Строение мира» — от Галактик до атома.

День был хлопотный и сумбурный. Долго не ложились спать, а легли — я долго не мог уснуть. И вот, когда наконец всё затихло, я слышу: по коридору в ногу раз-два, раз-два идут люди, побрякивает их вооружение, и... камеры запираются со стороны коридора. Закрыли и наши камеры «околотка», которые и в обычное-то время ни днём, ни ночью не запирались. Так в несколько минут всё громадное помещение тюрьмы оказалось заперто. Тут уж начался настоящий дебош. Звенели разбиваемые оконные стёкла. Чем-то тяжёлым бухали в запертые двери, по-видимому, длинными скамьями, которые стояли в камерах, поднялся визг, упирались и визжали извлекаемые из своих камер жители партийного коридора. В каждой камере их было 16—18 человек, но наряд был основательный, так что силы оказались неравными.

Оружие применено не было, камера за камерой все заключённые «партийцы» были извлечены, посажены на автомобили и увезены. Сообщали, что их развезли

по железнодорожным вокзалам, посадили в поезда и отправили по разным провинциальным городам, где и выпустили.

После того как все камеры партийного коридора были освобождены от заключённых, в тюрьме наступила тишина. Наши камеры снова были открыты. Остальные же оставались заперты.

Голодовка прекратилась, так как уголовники идейно её вовсе не поддерживали. У нас в камере был, правда, один голодавший молодой человек. Но он объявил голодовку индивидуально. Он уже долго сидел в тюрьме, но дело его всё не рассматривалось и на допросы его не вызывали. Казалось, что о нём просто забыли. Голодовка, кстати, объявляется официально: пишется заявление о её начале и предъявляются требования. Этот молодой человек объявил, что он не будет и пить до тех пор, пока не будет рассмотрено его дело. Когда ему очень хотелось пить, то он брал в рот кристаллик соли, появлялась слюна, и мучительная жажда проходила. Он всё время лежал, чтобы не тратить сил, проголодал он, кажется, дней 12—14 и добился своего. Говорили, что после опроса его отпустили на свободу. По крайней мере, в камеру он больше не возвращался. Последние дни этот молодой человек производил неприятное впечатление. Он физически сильно ослаб, но был возбуждён, с горящими глазами, много говорил. Казалось, что психически он не совсем нормален.

Рядом с койкой А. М. Зайончковского помещался сравнительно молодой врач. Друг друга предупреждали, что он посажен «наседкой». Наседкой называется заключённый, принявший на себя обязанности осведомителя. Предложение таких функций делается часто. Я знаю, что профессора Какушкина во время нашего сидения специально вызывали на Лубянку и предлагали ему освобождение, если он возьмёт на себя обязанности информатора настроений членов Совета Саратовского университета. Какушкин, конечно, отказался. Несомненно, некоторые, рассчитывая на облегчение своей участи, и соглашались.

Этот врач был вообще очень милый человек, любил поговорить, что уже воспринималось с некоторым подозрением, но что особенно было подозрительно — он рано ложился спать и очень быстро «засыпал», пока ещё в камере шёл оживлённый разговор. Долго он «спал» и по утрам.

Андрей Медардович также был осведомлён о предположительной роли своего соседа, но относился к этому как-то иронически. По утрам медный чайник с кипятком уже подадут, а доктор всё спит. Андрей Медардович заваривает чай в чайнике доктора, укрывает его чем-то тёплым и громко приговаривает:

— Мой доктор любит долго спать. Он так внимателен ко мне! Надо ему приготовить утренний завтрак!

Андрей Медардович был умнейшим, высокообразованным, с оттенком «хитреца», человеком. Он очень много рассказывал о войне и её причинах, о придворной жизни, всё с оттенком лёгкой иронии[532]. Он говорил, что его жизнь теперь делится на две части: его отправляют возглавлять какой-нибудь штаб, потом сажают в тюрьму, затем опять направляют в штаб*. Он уже несколько раз сидел и освобождался. Кажется, в этот раз его сидение в тюрьме было последним. После освобождения он был профессором военной истории в Военной академии Генерального штаба[533].

* Он, между прочим, во время наступления Деникина на Москву являлся начальником штаба красных войск.— Прим. В. Д. Зёрнова.

В нашей камере помещался также художник, который нарисовал очаровательную колоду карт на картоночках для визитных карточек. По вечерам Андрей Медардович, генерал Мичульский, Святополк-Мирский и доктор ставили посреди камеры столик и садились играть в преферанс, точно находились они не в тюрьме, а в какой-то фешенебельной гостинице: «Ваше превосходительство, ваш ход!».

Игра в карты в тюрьме вообще воспрещалась. И вот однажды сидят наши генералы и играют «пульку». Открывается дверь, и, словно пуля, влетает в камеру маленький, дегенеративного вида человек — не то начальник тюрьмы, не то его помощник.

— Ни с места!!! — раздался его короткий окрик, хотя никто и не порывался покидать своего места. Я лично лежал на койке. Зайончковский же спокойно поднялся.

— Почему вы встали!!! — обращаясь к Зайончковскому, возопил вошедший. Андрей Медардович собрал спокойно свои карты и сунул их в карман тужурки, после чего ответил:

— Я привык вставать перед начальством.

Ничтожного вида «начальство» и величественный «подчинённый» представляли замечательную картину.

— Что вы там спрятали? — визжит «начальство».

Андрей Медардович спокойно вынул карты и подал их вопрошавшему. «Начальство» сгребло и остальные карты партнёров и выкатилось из камеры. Очевидно, спокойствие и величавость старого генерала подавляюще подействовали на «начальника».

Самыми яркими впечатлениями у меня остались богослужения, которыми все увлекались и даже активно в них участвовали. Все службы, начиная со всенощной в субботу под Вербное воскресенье, службы Страстной недели и Светлую заутреню, Пасхальные обедни совершал отец Никодим. Сами службы происходили в камере. За причетника был В. Ф. Джунковский, в околотке нашлись три настоящих певца, которые прекрасно пели трио даже «Разбойника благоразумного». При них составился хор, в котором принимал посильное участие и я. Особенно памятной была служба на вечерню в Великую Пятницу с выносом Плащаницы.

Утром с воли с передачей нам принесли не букет, а целый сноп цветущей черёмухи, но день выдался жарким, и она успела порядочно увять. Тут принесли громадный чайник с кипятком, и я вспомнил способ оживления древесных цветов: я схватил сноп и весь его сунул в чайник. На меня накинулись: «Что вы, вы совсем его сварите!». Однако черёмуха, словно живая, стала подымать листья и цветы — получился роскошный букет.

Настоящей плащаницы в пятницу не было. На другой день Джунковскому в передаче принесли небольшую, но чудесную «плащаницу» — настоящую икону лежащего в гробу Спасителя; икона, как это делают всегда с плащаницей, была оправлена красными шёлковыми подзорами, по углам расшитыми золотом. Но это было на другой день, а в пятницу, по счастью, у отца Никодима нашлась небольшая картинка «Положение во гроб». Он приколол её кнопками к дощечке, и эту самодельную плащаницу за вечерней вынесли.

Сначала дощечка с картинкой лежала на столике у койки отца Никодима, как бы на престоле, затем он взял её, торжественно возложил себе на голову и тихо под

пение хора пронёс её по камере и положил на столик, украшенный черёмухой. Потом отец Никодим произнёс слово, необычайно простое и вместе с тем искреннее и трогательное. Смысл «слова» заключался в том, что вот почти две тысячи лет тому назад Христа распяли и он принял это распятие за грехи человечества, и до сего дня его продолжают распинать, но это распятие только очищает истинно верующих в Христа людей. Сам отец Никодим плакал, вытирали слезы и многие слушавшие его. Это была самая трогательная вечерня в Великую Пятницу, которую я помню.

Все мы исповедовались и в Великую Субботу за обедней причащались.

К Пасхе с воли родные и знакомые прислали разговенья и «Красный Крест» каждому заключённому передал по кусочку ветчины и ещё какие-то гостинцы.

Светлую заутреню мы решили отслужить, не дожидаясь полуночи, — боялись, что ночная служба вызовет протест начальства. Стояли мы, как и полагается, со свечами, которые были присланы с воли, и с великим подъёмом пели «Христос воскресе из мёртвых, смертию смерть поправ и сущих во гробах живот даровав», и так как окна были открыты, то радостные пасхальные напевы разносились по всей тюрьме.

Не успели мы кончить заутреню, как явился к нам посланец от начальства, но не с запрещением, а с приглашением отслужить Светлую заутреню в рабочем коридоре, в камерах которого были заключены рабочие. Мы всей гурьбой с отцом Никодимом во главе спустились в «рабочий» коридор. Все камеры были открыты, вдоль камер — составлены столики, покрытые белой бумагой, на них были расставлены куличи и пасха. Мы опять пели утреню с начала и до конца. С требованиями рабочих, хотя и заключённых, начальство тюрьмы очень считалось.

Наше пасхальное пение и службы на Страстной неделе слышны были во всей тюрьме, и женщины также высказали требование, чтобы отец Никодим пришёл в женское отделение для исповеди и причащения. Женщины, триста человек, помещались в громадном чердачном помещении — сушилке.

Кажется, был второй день Пасхи. После обедни отец Никодим поднял чашу и, держа её двумя руками на уровне лица, пошёл по переходам и лестницам тюрьмы, а мы с громким пением «Христос воскресе» шли вслед за ним сначала вниз, через внутренний двор, и затем по лестнице на чердачное помещение. Когда отец Никодим вошёл в «сушилку», все женщины опустились на колени, и отец Никодим с Дарами в руках провёл общую исповедь. Я тогда в первый раз видел общую исповедь, и мне очень понравилось, как это совершается. После исповеди все женщины причащались. И эта исповедь и причащение, как все предыдущие, были весьма торжественны и трогательны.

На Страстной неделе меня вызвали на допрос. Допрашивал совсем простого вида небольшой человечек. Допрос начался со стандартных вопросов:

— Фамилия, имя и отчество? Есть ли недвижимое имущество?

— Дом в Серпуховском уезде, — так же лаконично отвечал я.

— А в каком районе?

— Да недалеко от Лопасни при селе Дубна, по наследству от отца перешёл.

— Вот что! Мы тоже лопасненские, от Мелихова недалеко. Столяры мы!

— Значит, земляки, — закончил я мысль следователя.

Земляк задержал меня не более пяти минут разговором о выступлении в саратовском соборе, не касаясь собственно самого содержания выступления. На прощание я попросил:

— Ну как, земляк, долго держать-то будут?

— Да нет! Дела-то никакого нет. На днях отпустят!

Так оно и случилось. Правда, прошло ещё недели две, и лишь 13 мая утром принесли повестки «на свободу» Какушкину и Быстренину. А моей повестки почему-то не было. Я расстроился, что мне придётся ещё сидеть, но меня утешали: наверно, просто повестка в канцелярии тюрьмы застряла, так как накануне слышали, что нас всех троих освобождают.

Проводили мы с аплодисментами (такой был тюремный обычай) моих друзей. Стали собираться на прогулку. Я лёг на койку и решительно заявил, что гулять не пойду. Публика очень чутко относилась, не приставала. И не успели мои соузники вернуться, как в дверях камеры появился дежурный служитель с повесткой в руке и объявил:

— Зёрнов, на свободу![534]

Пришедшие с прогулки товарищи по камере поздравляли меня и радовались моему освобождению: в этом видели признак того, что дела не лежат под спудом, а понемногу ликвидируются.

Из всех соузников по Бутырской тюрьме, сколько я знаю, был расстрелян один только генерал Клембовский[535], остальные же благополучно были освобождены. А. М. Зайончковский умер в звании профессора Военной академии Генерального штаба[536], милый отец Никодим тоже умер на свободе, а В. Ф. Джунковский работал на какой-то маленькой советской должности. Я встречал его на улице. И мне кажется, на днях (1946 год) я видел его в метро, но не решился окликнуть[537]. Может, ему было бы неприятно вспоминать 1921 год.

При выходе из тюрьмы мне предложили дать подписку в том, что я останусь работать в Москве.

На свободе

День был жаркий, а я — в шубе, барашковой шапке, с мешком за спиной и сильно обросший, но решил не стричься до приезда моих из Саратова. Прямо из Бутырок я прошёл к П. П. Лазареву, он жил при институте на Миусской площади, это совсем близко от Бутырской тюрьмы. Меня очень ласково встретили и Пётр Петрович, и его жена Ольга Александровна*. Пётр Петрович рассказал мне, что в моём освобождении принимали участие он сам, Н. А. Семашко и профессор Л. А. Тарасевич — они подписали втроём нечто вроде поручительства[538].

От Лазаревых направился к Варечке Разумовской. Разумовские жили тогда на Садовой, против Бронной в первом этаже. Я зашёл со двора. Варечка сидела на подоконнике открытого окна и читала книжку. Она со свойственной ей экспансивностью бурно обрадовалась моему освобождению и немного поплакала. У Разумовских я пока и пристроился. Квартира у них была просторная. У них же всё это время жил и Женя Гюнсбург.

Тотчас же я послал телеграмму Катёнушке в Саратов. А на другой день мы справляли одновременно день моего рождения и моё освобождение. Вормсы и Разу-

* Она впоследствии трагично погибла: Лазарева арестовали, ходили слухи, что его расстреляли, и Ольга Александровна повесилась на оконной ручке.— Прим. В. Д. Зёрнова.

мовские и всегда хорошо относились к нам, а тут Варечка ухаживала за мной, как за самым близким человеком.

После всего этого я отправился в Наркомздрав к Н. А. Семашко — поблагодарить его за помощь. Николай Александрович ласково встретил меня. Из приёмной провёл в отдельную комнату. Разговор шёл в таких простых тонах, что я решился спросить, почему мне предложено работать в Москве, а не возвращаться в Саратов, мне и жить-то в Москве негде.

— Нет уж, оставайтесь в Москве. Мы вас здесь всячески устроим. За провинцию мы не отвечаем. Опять произойдёт какая-нибудь заварушка. Опять вас арестуют и придётся вас выручать, а пока я вам дам записку и вы устроитесь в доме отдыха!

Николай Александрович написал записку заведующему домом отдыха «для лиц, уставших от умственного труда» имени Семашко в Николо-Воробьинском переулке, недалеко от Воронцова Поля[539]. Всегда вспоминаю фразу Семашко: «Ведь мы боремся не против религии, а против попов!». Потом, немного помолчав, он добавил: «Нет, впрочем, конечно, мы боремся против религии». Это весьма характерно. Николай Александрович не вполне чётко отдавал себе отчёт в том, против чего, собственно, ведётся борьба. Но сама искренность признания воспринималась хорошо.

В тот же дом отдыха были направлены и Какушкин с Быстрениным, хотя они в отличие от меня могли сразу ехать обратно в Саратов[540].

Дом отдыха помещался в прекрасном здании старинной архитектуры с большим садом, спускавшимся к Яузе. Обставлен он был роскошно. Кормили едва ли не семь раз в сутки. Общество — самое «изысканное». Там я встретил профессора Барыкина, с которым после играл квартет у Бобкова, да и у самого Барыкина тоже. Встретил композитора Гречанинова, с которым раньше был знаком и играл даже у него квартет.

Гречанинов, между прочим, исполнял нам свою «Messa domestica». Это очень крижальное произведение церковной музыки. Всю православную обедню поёт тенор (кантор) под аккомпанемент небольшого оркестра. Все темы взяты из старинных «гласов», то есть возгласов священника и диакона. Гречанинов сам пел, несмотря на то, что голоса у него совершенно не было, и аккомпанировал себе на рояле. Даже при ограниченных средствах исполнения произведение производило большое впечатление. Гречанинов рассказывал, как однажды он отдыхал в каком-то сугубо партийном доме отдыха. Его пригласили что-нибудь исполнить из собственных сочинений. У него ничего с собой не было, кроме этой «Mess'ы». После исполнения состоялся митинг, на котором было постановлено просить Гречанинова оставить дом отдыха, так как музыка производит слишком положительное «религиозное» впечатление.

Встретил я там и дочь Ф. И. Шаляпина Ирину и её мать Иолу Торнаги. Ирина читала стихи, она готовилась к сценической деятельности. Читала очень хорошо. Встретил бывшую танцовщицу Джури, которая была замужем за Карзинкиным, прежде очень богатым коммерсантом. Джури когда-то была очаровательной, лёгкой как пушинка танцовщицей Большого театра[541], а здесь — иссохшей старушкой. Я даже неловко удивился, когда она себя назвала, но сейчас же спохватился и стал вспоминать, как мы молодыми людьми ею увлекались.

Сам я тоже выступал перед отдыхающими, читал лекцию об основах теории относительности — тогда эта тема была особенно в моде.

Читал как-то свои произведения поэт Альвинг. Вся поэзия его была пропитана каким-то старомодным ароматом. Мне очень понравились его стихи, и он собственноручно написал мне на память стихотворение «Черепаховая табакерка». На первой странице листка сделано посвящение[542]: «Профессору Владимиру Дмитриевичу Зёрнову. В знак самого искреннего внимания и радости нашей встречи. Москва. Здравница № 1. 31–V–1921 г.». А далее — само стихотворение:

Нет, модных портсигаров мерка
И стиль — тебе горчей обиды,
Ты черепаховая табакерка
Эпохи северной Семирамиды.
Отделанная аметистами,
С веночками Empire из золота,
Когда-то, может быть, лучистыми —
Теперь по крышке ты расколота.
Два зеркальца под нею вправлены,
Какие улыбались губы вам:
Светлейшего ль, тоской отравлены,
Порочные ли графа Зубова?
Перстнями ли, но не фамильными,
Постукивали по тебе от скуки,
Иль сувенирами умильными
Служила ты и Долгоруким?
И как они, твои владетели,
Оканчивали пытку дней неровных:
Под пышной маской добродетели
Иль затихая в подмосковных?
Ты меньше табаком пропитана,
Чем их интригами и легкомыслием...
Но где ж твоя эпоха? — Спит она,
И воскресить её немыслимо.
Да и зачем? В жилище новом,
У антиквара, под стеклянной дверкой,
Ты отдохнёшь на бархатце пунцовом
Непродающейся табакеркой.

Арс. Альвинг.

Из отдыхавших в Николо-Воробьинском переулке вспоминаю ещё одного сравнительно молодого еврея, он являлся членом Госплана. Разговоры, как и в тюрьме, вращались около философии и религии. И этот также рекомендовал себя атеистом. Я читал какой-то толстый журнал, в котором мне попалась статья толстовца, кажется, Булгакова о судьбах божественной религии. Там имелась такая фраза: «религия уйдёт за толстые стены церкви и сделается достоянием интеллигенции первого класса»[543]. Я тогда прочёл вслух эту цитату, и разговор наш пресёкся, видимо, член Госплана был сильно огорчён тем, что по классификации автора статьи он не попадал в число «интеллигенции первого класса».

После сидения в тюрьме я с удовольствием пользовался свободой, ходил ко всем московским знакомым и чаще всего, конечно, бывал у Разумовских и у Романовых. Я познакомился с Евгенией Васильевной Романовой и тут же подружился с ней и с Вячеславом Ильичом, с которым раньше мы как-то близки не были. Оба они теперь были со мной ласковы, и я чувствовал себя у них очень хорошо.

Катёнушке приехать в Москву было трудно, но всё же в конце концов удалось получить разрешение на выезд. Одновременно переезжали в Москву и Приваловы. Все наши вещи пока оставались в Саратове, так как я ещё не был устроен в Москве и по-прежнему числился профессором и ректором Саратовского университета.

Я был извещён, не помню уж кем, вероятно, телеграммой, о времени приезда Катёнушки с ребятами и отправился на вокзал встречать их. Стою на перроне. Поезд подходит, но я не вижу своих. Мелькнула мысль: по какой-нибудь причине они не смогли приехать. Только успел об этом подумать, как из передних вагонов, точно буря, летит ко мне Митюня.

Мы сразу же отправились на Курский вокзал, чтобы ехать в Дубну: останавливаться в Москве было незачем, да и негде. Заехали только в Николо-Воробьинский переулок, взяли мои вещи и предупредили о моём отъезде из дома отдыха. Николай Михайлович Какушкин, которого мы застали там, увидев меня счастливым в окружении семьи, даже поплакал. Он в это время был очень одинок. Его жена Вера Александровна незадолго до всех описываемых событий умерла в Саратове от туберкулёза. Впоследствии Николай Михайлович еще раз женился, и у него была, пускай чужая, но всё-таки семья. Н. М. Какушкин тоже ушёл из Саратовского университета и был профессором в Харькове, где и погиб во время оккупации города немцами.

Серпуховский поезд был составлен из товарных вагонов, но мы всё же благополучно добрались до Лопасни. Никита Волков, муж Алёны, у которого была мельница в Лопасне, дал нам лошадей, и мы совсем уже в темноте приехали в Дубну. Настя (Кусенька) ждала нас. Дом был освещён. На столе кипел самовар. Постели были открыты. После всех перипетий казалось, что мы попали в царствие небесное.

Николай Павлович Неклепаев получил мои жалованья в Саратове и привёз мне порядочную сумму денег, так что мы смогли вскоре купить корову и стали понемногу восстанавливать, хотя и в минимальном размере, хозяйство. Всё, что имелось раньше — лошади, коровы — исчезло. Бывший наш кучер Андрей Чувиков, который впоследствии доставил мне много неприятностей, завладел домом, в котором он размещался как наш служащий, и разбазарил наше имущество. Да еще подал в суд, требуя с меня 1800 рублей золотом. Он получал от меня по 50 рублей в месяц, которые я высылал из Саратова. Но когда мне сообщили, что Чувиков распродаёт моё имущество, я написал «комиссару», чтобы он взял ключи от сараев и передал их Насте[544], а также сообщил Андрею, что я не считаю его больше связанным со мной.

Сад в 1920 году взял райсовет, который и платил Чувикову жалованье как сторожу сада. Говорят, Чувиков хорошо нажился на этом деле. Во всяком случае, райсовет никаких доходов от сада не получил, и когда я возвратился в Дубну, предоставил мне опять распоряжаться садом.

Мы с Митюней стали косить, чтобы собрать сена для коровы. Трава в 1921 году была очень плохая, и мы с трудом набрали корма на одну корову. Уже не помню, в этом году или в следующем, когда для косьбы я стал нанимать старика Якова, ко-

торый после ряда лет жил у нас в качестве сторожа, подошёл ко мне Чувиков и предложил взять его в качестве косца (убирали сено мы сами). Я ответил ему:

— Как тебе не стыдно? Ты подал на меня в суд, ищешь с меня неизвестно за что большую сумму денег, и после этого ты ещё предлагаешь мне заключать какое-то соглашение!

— Да что же, Владимир Дмитриевич! Разве это дело «острожное», присудят — хорошо, а не дадут — это их дело! — как ни в чём не бывало откликнулся Чувиков.

Суд, который происходил в Серпухове, в иске ему всё-таки отказал, признав его претензии необоснованными.

11 июля (по старому стилю) Лёля Власова выходила замуж за Михаила Евгеньевича Михайлова. Я должен был исполнять обязанности посажёного отца Лёли — Александра Васильевича уже не было в живых. Обязанности несложные — ввести невесту в церковь. Церковь находилась прямо против дома, где жили Власовы. Всё происходило по старым обычаям. Лёля была в белом подвенечном платье с вуалью и флердоранжевыми цветами. Надо было и посажёному отцу выглядеть в лучшем виде, а у меня, как на грех, имелась только визитка, в которой я сидел в тюрьме. Я телеграммой выписал из Саратова фрак. Получил его вовремя, но вот ни рубашки под фрак, ни белого галстука нет и купить негде. Тут на помощь пришла Евгения Васильевна Романова — она дала мне рубашку Вячеслава Ильича с крахмальным воротничком и грудью в складочку. А с галстуком я сам придумал, как выйти из затруднения. У меня имелась не то портянка, не то полотенце из тонкого полотна. Из этого-то материала я и соорудил себе галстук. Вышло недурно. По крайней мере, никто не заметил, что это бывшая портянка.

Я под руку провёл нарядную невесту через улицу в церковь. Праздновали свадьбу в квартире Власовых. Народу собралось много. Было возможное в то время угощение. Были и танцы. Мы с Володей играли прекрасные скрипичные дуэты Вьётана. Свой медовый месяц молодые провели в Дубне.

Мы с Катёной позвали пожить в Дубне Романовых и Разумовских. Уже после 20 июля они одновременно приехали в Дубну.

Мы в это время сильно и навсегда подружились с Романовыми и полюбили их.

Мне надо было заботиться о своём устройстве в Москве. П. П. Лазарев рекомендовал меня на кафедру в институт имени Ломоносова[545], а В. И. Романов передал мне профессуру на Сельскохозяйственных Голицынских курсах[546], да ещё зачислил меня сотрудником Физико-технического института в Афанасьевском переулке[547]. В конце лета мне предложили взять также профессуру во втором государственном университете на организованном там педагогическом факультете[548]. Декан факультета химик Крапивин поддержал мою кандидатуру. Эти дела требовали частого посещения Москвы, и мы с Романовым частенько шагали до станции пешком, да и по Москве тоже — другого средства сообщения почти не было.

Один раз я насилу дошёл до Дубны. Из Саратова Н. П. Неклепаев прислал мне бидон топлёного масла фунтов тридцать, а я, как на грех, купил решето малины. Не оставлять же такие драгоценности. Взял я и то, и другое и поехал с вечерним поездом. Каким-то образом связал эти два груза, перекинул через левое плечо (на правом я никогда носить не мог) и пошёл со станции пешком. На этот раз один. Скоро стемнело, и пришёл я домой только поздно ночью весь мокрый, как мышь. В лесу я

то и дело останавливался и думал, что не дойду. О, сколько раз и потом приходилось с мешком хлеба на спине отмеривать путь от станции до Дубны!

В это тяжёлое время очень помогал нам Никита Волков. У него имелись и лошади, и мука, и он без всякой платы и без всякой просьбы с нашей стороны давал нам и то, и другое. Конечно, неловко было пользоваться этим слишком широко. Ведь Никите ничего от меня не было нужно. Просто он помнил старые хорошие отношения, помнил, как мы в детстве играли с ним и его братом Иваном. Так и прожили хорошо мы это лето с нашими ребятами и друзьями.

Грустное расставание с Саратовом

В половине сентября мы с Катёнушкой отправились в Саратов, чтобы ликвидировать все саратовские дела и перевезти вещи в Москву. Дети с тётей Лёлей оставались в Дубне. Выехать из Москвы было не так просто. Надо было иметь командировку, так как Саратов, кроме всего прочего, был изолирован карантином — летом там возникла холера. Может, и не настоящая азиатская холера, но народу поумирало множество. Зимой все помойки и отхожие места в порядке общей гражданской повинности были вывезены на линию трамвая — я сам участвовал в чистке помоек по такой повинности. Предполагали, что трамвай будет вывозить этот навоз за город, но почему-то отказались от этого. Когда же началась жара, вся масса навоза, которая скопилась горами вдоль трамвайных путей, начала гнить и испускать зловоние, в связи с чем поднялась страшная смертность населения от кишечных заболеваний. Я лично видел имевшуюся в Наркомздраве кривую смертности в Саратове, которая катастрофически поднималась кверху. Наконец догадались, что эти заболевания могут зависеть от загрязнения города, после чего весь навоз экстренно на грузовых трамваях вывезли за город. И кривая смертности сейчас же упала до нормы. К сентябрю заболевания квазихолерой были уже ликвидированы.

Я получил командировку через Рентгеновский институт, которым ведал П. П. Лазарев, якобы для ревизии рентгеновских установок в Саратове, но для Катёнушки никакой командировки достать не удалось. Мы на вокзале с рук купили какой-то просроченный транзитный билет и рискнули ехать. На всякий случай В. И. Романов дал мне бутылку спирта, который в те времена очень помогал во всевозможных делах.

Сначала всё шло благополучно, но уже на второй половине пути бригада кондукторов с представителем ЧК осматривала ручной багаж пассажиров и обнаружила в моём багаже бутылку с наклейкой «раствор сулемы». Но осматривающие сейчас же установили, что это спирт, бутылку отобрали и меня до «выяснения» забрали в служебный вагон. С нами ехали студенты (среди них — и ныне профессор Л. Н. Сретенский), мои ученики, они отправились меня выручать. Благодаря их стараниям меня отпустили, но бутылку задержали. Я сказал бригаде, что в ней чистый спирт и никакой сулемы там нет. По-видимому, бутылка свою роль сыграла. При следующем контроле наш просроченный билет был признан вполне удовлетворительным.

В Саратове мы пробыли около месяца. Не просто было получить разрешение на вывоз вещей, достать вагон и прочее. Всё делалось при помощи «благодарностей».

Меня очень сердечно провожало Общество естествоиспытателей. В его помещении был устроен прощальный ужин с речами и пожеланиями и с хорошим по тогдашнему времени угощением. Общество естествоиспытателей избрало меня сво-

им почётным членом. Я ведь несколько лет был его председателем. На ужине присутствовали и мои товарищи по университету, но официально университет меня не провожал. Вероятно, страха ради, тем более что я не отчислялся из списков сотрудников, а как бы уезжал в длительную командировку.

Единственное «тёмное пятно» из этого пребывания в Саратове относится к заседанию физико-математического факультета. Дело в том, что в Физико-техническом институте (у В. И. Романова) мне по заданию военного ведомства предложили работу, для которой был необходим спектрофотометр, а его в распоряжении института не было. В Саратове же у меня имелся прекрасный прибор, для которого мы сами сделали вращающийся спектр. И вот я обратился в факультет с просьбой, одолжить в порядке «технической помощи» мне на время этот спектрофотометр. Но совсем неожиданно для меня факультет отказал. Инициатором отказа был, по-видимому, К. А. Леонтьев — мой бывший ассистент и приемник по заведованию универскитетской кафедрой. Другим же членам факультета, возможно, неловко было с ним спорить по этому поводу, и они промолчали. Во всяком случае, когда В. В. Голубев вспомнил однажды в разговоре об этом курьёзе, мне показалось, что он до сих пор испытывает некоторые угрызения совести. Вообще, следует признать выписанное мною в своё время для Саратовского университета оборудование после моего отъезда так и осталось неиспользованным в полной мере. Особенно досадно за спектрофотометр с чудными приспособлениями, с большой дисперсией — он имел три резерфордовские призмы.

Вещи перевезли в Благовещенский переулок. С нами в Москву приехала и Реша, которая лето проводила в Саратове, охраняя нашу квартиру. На улицах Москвы мы впервые после революции видели, как с рук продавали маленькие белые французские хлебы. Мы купили три штуки, чтобы полакомить наших ребяток, и отправились за ними в Дубну.

Приехали на Лопасню мы поздно. Ночь была холодная и очень лунная. Сначала мы увязались было за людьми, шедшими с вокзала, но скоро отстали от них и совершенно одни шли глубокой ночью. Сильно устали и проголодались. Присели отдохнуть и съели одну булочку, так что нашим ребятам не пришлось уже по целой булочке. Тогда и в голову не приходило, что подобные путешествия небезопасны.

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ
(1921—1941)

Начало новой московской жизни

В Москве мы устроились на квартире, которую мне предоставил Ломоносовский институт. Сначала я за неё ничего не платил, но впоследствии плата была назначена. В те времена профессорам платили так мало, что всё моё жалованье, которое я получал в Ломоносовском институте, удерживалось за квартиру. Приходилось жестоко совместительствовать, чтобы хоть как-нибудь сводить концы с концами. У меня сразу образовалась большая лекционная нагрузка. Я читал и в Ломоносовском институте, и во втором университете, и на Голицинских курсах. Вскоре мне предложили читать курс оптики в военной Фотограмметрической школе — тоже пришлось взять, так как там выдавали военный паёк.

Лениным была объявлена «новая экономическая политика»[549]. Как по волшебству открылись магазины, восстановилась работа на мелких предприятиях. Говорят, Ленин встретил очень большое сопротивление среди своих партийных товарищей этой «новой политике». Но он понял лучше других, что перейти к полному огосударствлению торговли и производства можно только постепенно.

Советские денежные знаки продолжали падать в цене. Каждый день объявлялся курс «червонца». Сначала ходили «сотни», потом «тысячи», затем «миллионы», «миллиарды» и «триллионы». Трамвайный билет стоил полмиллиарда рублей (может, полмиллиона рублей, уже не помню)[550]. Зарплату мы стали получать в «червонном» исчислении. Правда, ставки были маленькие, но когда я с «червонцем» приезжал в Лопасню, — это было событием. И на «червонец» можно было купить довольно много.

В декабре 1921 года я получил привет из Саратова от моих саратовских товарищей[551]:

«Многоуважаемый и дорогой Владимир Дмитриевич.

Профессора, преподаватели и их семьи, собравшись в день празднования открытия Университета в Вашем бывшем Институте, шлют из далека горячий сердечный товарищеский привет Вам, нашему дорогому товарищу, нашему любимому Ректору.

Здесь, в Саратове, мы помним всё то, что Вы сделали для Университета, и гордимся, что в нашей среде был такой энергичный, стойкий и преданный Университету деятель, как Вы. В Вашей новой деятельности от души желаем Вам успеха, полного удовлетворения в работе и такую же дружную и любящую Вас семью Ваших товарищей по работе.

Екатерине Васильевне мы все шлём наши лучшие сердечные пожелания счастья».

Это милое послание до сих пор наполняет меня радостью и даёт мне удовлетворение. Я не даром работал в Саратове. Под этим письмом стояло 58 подписей — не только моих товарищей по университету, но и их жён. Многих их подписавшихся давно уже нет на этом свете.

В Москве нас тоже ласково встретили наши родственники, в особенности Власовы. Александра Васильевича, правда, уже не было в живых[552]. В полном составе находилась ещё семья сестры Наташи. В Москве жила мамина сестра тётя Анна и все её дети: Гуга, Лёля, Миша и Ольга. Мои двоюродные братья Зёрновы (Сергеевичи)[553] тоже находились в Москве, но с ними у нас никогда близких отношений не было. И только Бориса[554] я впоследствии встречал, и то на работе в МИИТе.

Из новых московских знакомых мы ближе всех были с Романовыми, но появились и другие, главным образом, связанные с Ломоносовским институтом. По музыкальной части я вошёл в компанию доктора А. П. Бобкова, одного из старейших альтистов-любителей Москвы, с которым я играл ещё в юношеские годы. Он сам зашёл ко мне с этим предложением, и я каждый понедельник играл у него квартет. У Бобкова я встречал много музыкантов-любителей, и среди них моих многолетних впоследствии партнёров и друзей, милых Д. Е. Серебрякова и Д. А. Орлова. Восстановили мы дружбу и с моим гимназическим товарищем Додей Рывкиндом, который до 1932 года также играл у нас в квартете и был очень к нам привязан. Он давно уже умер в Ленинграде.

Были живы Саша и Сергей Кезельманы. С Сашей, врачом, мы были очень дружны. Совсем исчез из моих друзей юности Юра Померанцев. Как я уже писал, он остался за границей, там и умер[555], и о нём я слыхал только стороной. Встречались мы и с Полозовым, но тяжёлый характер жены Миши привёл к тому, что в последние его годы мы перестали встречаться. Миша играл очень большую роль в НКПСе[556] — был заместителем наркома по технической части, потом был арестован и умер где-то в ссылке или заключении[557].

Сохраняем мы родственные и дружеские отношения до настоящего времени с моим двоюродным братом Н. Е. Машковцевым и его семьёй. Между прочим, он принимал деятельное участие в хлопотах по моему освобождению из заключения. В частности, устроил свидание с Луначарским, кажется, сам с Женей Гюнсбургом был у него, где они передали ходатайство саратовской профессуры о нашем освобождении, но Луначарский, хотя и был любезен, ничего фактически не предпринял. Это, по-видимому, было характерным образом действия этого, безусловно, талантливого человека[558].

Ребят надо было устраивать в школу. Была цела ещё гимназия Н. П. Щепотьевой, теперь — уже школа для мальчиков и девочек. Но директором её по-прежнему оставалась Надежда Петровна Щепотьева, продолжали работать в ней и старые преподаватели. Ближайшей помощницей Надежды Петровны являлась Мария Устиновна Шмелёва которая была преподавателем, когда в гимназии училась ещё Катёна.

Детей приняли в те же классы, в которых они числились в Саратове, однако это оказалось, по крайней мере для девочек, делом трудным; помню, как обе мои доченьки стояли в школе на лестнице и горько плакали. Но когда их перевели на класс ниже, то учиться им сделалось легче, всё наладилось, тем более что Мурочка попала в класс, которым руководила Мария Устиновна, которую все ученицы просто обожали*.

---

* Бедная Мария Устиновна погибла нелепейшим образом. Вечером перед ноябрьскими торжествами её сбил автомобиль. Всю израненную её доставили в больницу, но в больнице все занимались митинговщиной перед праздником, и Марию Устиновну кое-как перевязали и оставили без помощи до завершения праздничных торжеств. Когда же, наконец, взялись надлежащим образом перевязывать и замывать раны, то все они оказались загноившимися, и Мария Устиновна умерла от сепсиса. Это произошло позднее, когда Мурочка была уже в старших классах.— Прим. В. Д. Зёрнова.

Я был зачислен сверхштатным профессором в университете, но фактически занимался семинаром с одной группой и через год бросил это. Когда организовался Научно-исследовательский институт при кафедре физике Первого университета, я был зачислен в его действительные члены[559]. Я уже работал в МИИТе, и мне удавалось кое-что делать и по научной части. Я напечатал в «Трудах МИИТа» «Табличный и механический гармонический анализ»[560] и докладывал эту работу с присоединением к ней акустических кривых человеческого голоса (материал статьи, вышедшей ещё в Саратове[561]), разложенных анализатором Мадера. Этот доклад я делал на годичном заседании Лебедевского общества[562], которое вообще заседало совместно с исследовательским институтом. Затем я исследовал, применяя свои фонометры, звукопроводность строительных материалов, потом — теплопроводность строительных материалов[563] с помощью специально построенного для этой цели прибора. Ещё было выполнено совместно с П. А. Брянцевым исследование внутреннего трения при кружильных колебаниях. Все эти работы напечатаны в «Трудах МИИТа» и докладывались на заседаниях общества.

Был такой «процесс промпартии»[564], и во всех учреждениях происходили собрания, на которых было принято требовать смертной казни для членов промпартии. Состоялось такое собрание и в исследовательском институте. Председательствовал на нём директор института Гессен[565]. Большинство членов института более или менее удачно обходили вопрос о смертной казни, но звучали и весьма «подхалимские» речи. Не хочу называть имён — люди ещё живы, и многие из них сейчас занимают крупные посты[566].

Как известно, одну из главных ролей в промпартии играл профессор Рамзин. Он долго был репрессирован, но впоследствии освобождён и, более того, награждён[567]. Не знаю, приходилось ли людям, требовавшим для него смертной казни, встречаться с этим человеком, и если да, то как они при этом себя чувствовали?

В своём выступлении на этом «обличительном» собрании я сказал, что Советская власть так себя зарекомендовала и в настоящее время так сильна и устойчива, что я «удивляюсь» членам промпартии, если они действительно организовали заговор против власти! Гессен оборвал меня и заявил, что надо не удивляться, а возмущаться. Говорил он очень резко и закончил заявлением, что мне с ним, Гессеном, «не по дороге».

На другой день я подал в президиум исследовательского института заявление с просьбой освободить меня от звания и обязанностей действительного члена. Через некоторое время Гессен был снят с должности директора института, арестован и, повидимому, «ликвидирован». По крайней мере, больше он уже не появлялся и никаких официальных сведений о его судьбе не было[568]. Хорошо, что мне с ним оказалось «не по дороге».

Я невольно перестал в моих воспоминаниях держаться хронологического порядка...

С Ломоносовским институтом я был связан до самого конца его пребывания в Благовещенском переулке. От него отпочковался Институт сельскохозяйственного машиностроения, который поместился в Черёмушках, и там кафедру получил мой ассистент Б. И. Котов. Позже Ломоносовский институт как-то исчез и восстановился сначала при каком-то заводе, а на его месте появилась Военная академия моторизации и механизации[569]. Я в это время был занят главным образом Путейским институтом[570] и институтом имени Плеханова[571]. В Военную академию устроился Котов, но она в Благовещенском переулке просуществовала несколько месяцев и выехала в Лефортово, а на месте её в Благовещенском переулке в 1932 году появилась Военно-транспортная академия[572], и профессорами в неё были приняты почти сплошь одни профессора МИИТа, в том числе и я. Потом, в 1937 году, Военно-транспортная академия переехала в Ленинград, а на её место из Ленинграда прибыла Военно-политическая академия[573]. В последней кафедры физики уже не было, но мы продолжали жить в Благовещенском переулке. Военно-политическая академия пыталась нас, правда, выселить, но никакого другого помещения она предоставить нам не могла, и мы занимали там свои квартиры до 1941 года.

В весеннем полугодии 1924 года я сильно захворал, а после выздоровления я подал заявление об уходе ректору II университета Намёткину и по конкурсу получил кафедру в теперешнем МИИТе[574]. Если в МИИТе и есть недостатки, то, по крайней мере, там я сам себе голова и никаких «партнёров» на кафедре нет. В таком же положении я себя чувствую и в МВТУ, где я взял совместительство после переезда Военно-транспортной академии в Ленинград[575].

Дело об «оскорблении» Чувикова*

Это было в году 1923-м[576]. Яблочный сад в то время находился ещё в нашем распоряжении и мы по мере возможности охраняли яблоки от разграбления. В особенности надо было ожидать усиленного грабежа ночью под второй (яблочный) Спас. Я попросил нашего сторожа Егора[577] подежурить ночью в огороде, где росли особенно сладкие соблазнительные яблоки.

Андрей Чувиков, в это время уже вполне «освоивший» дом, в котором он жил как наш служащий (от серпуховских властей он получил удостоверение, что этот дом принадлежит ему)[578], состоял в сельской пожарной дружине, чуть ли не был её начальником. Деятельность пожарной дружины проявлялась прежде всего в том, что старенькая пожарная машина, с которой я в былые годы многократно участвовал в тушении пожаров, которая в полной готовности с дюжиной брезентовых вёдер стояла в сарайчике около нашего дома, была «обобществлена». Я долго не мог добиться, куда она последовала. И только несколько лет спустя, когда в Ермолове прорвало плотину и обнажилось дно пруда, я обнаружил остатки нашей машины. Правда, тогда существовала общественная машина, которая стояла в сарае, помещавшемся на бугре против церкви. По правилам всё оборудование должно было быть всегда наготове. Но каждый раз, когда где-нибудь в соседней деревне возникал пожар и надо было выезжать с машиной, оказывалось, что что-нибудь исчезло — то упряжи нет, то у телеги, на которой стояла машина, не хватает колеса. Тогда подымался крик, все бегали, и

выезд задерживался, и я всегда с моей машиной прибывал на место пожара раньше, чем общественная машина.

Так вот, Егор вечером пятого августа отправился в огород на сторожбу. Когда стемнело, Егор, чтобы обнаружить свою бдительность, развёл небольшой костёр.

Сижу я дома и слышу, на огороде какой-то шум, крик. Я отправился посмотреть, что там происходит. Подхожу и вижу, что около костра собралось несколько ребятишек, а Егор препирается с Чувиковым, который требует в качестве начальника пожарной команды, чтобы костер был потушен, так как от него-де может произойти пожар. И хотя я видел, что никакой возможности возникновения пожара не было — костер находился далеко от нашего сарая и тем более далеко от дома Чувикова, но чтобы прекратить весь этот шум, велел Егору либо загасить костёр, либо перенести его в то место, которое укажет «начальник пожарной дружины». Сделав это распоряжение, не вступая в дальнейшие разговоры, я развернулся и пошёл домой. На плотине я встретил Митюню, который бежал, чтобы принять участие в событии. Я взял его за руку и говорю:

— Пожалуйста, не связывайся, ты знаешь, с кем имеешь дело!

— Известно, со сволочью, — ответил он и пошёл со мной к дому.

Тогда я не обратил внимания на Митюнин ответ, тем более что мы были уже на значительном расстоянии от огорода и нашего разговора, казалось, никто слышать не мог. Я совершенно забыл о нём. Но через несколько дней является милиционер и спрашивает, не оскорблял ли я Чувикова?

— Нет, — ответил я. — Ни коим образом оскорблять я его не мог, так как ни в какие разговоры с ним не вступал.

Тогда милиционер попросил позвать Митюню и просил его рассказать, как было дело. Митюня (тогда ему было 16 лет) обстоятельно рассказал все, что я сейчас записал, не скрывши и своей реплики. На этом допрос окончился. Но в начале сентября, уже в Москве, мы получили повестки из Серпуховского суда, которые вызывали нас по уголовному делу об «оскорблении» гражданина Чувикова — Митюню как обвиняемого, а меня как свидетеля.

Делать нечего, с утра в назначенный день мы отправились в Серпухов. Тотчас по приезде, уже в здании суда, я обратился к «заступнику» и просил его взять на себя защиту обвиняемого. Не помню фамилии этого милого человека. Он тут же потребовал «дело», пробежал его глазами и с видимым удовольствием согласился.

Мы долго ожидали своей очереди. Наконец, началось наше дело. Помнится, сначала говорил истец. Но Чувикову вовсе не было интересно судиться с Митюней, ему всячески хотелось задеть и опорочить меня. Тут он во всю старался изобразить мои «преступления». Уверял, что я будто бы угрожал сжечь его дом и всю деревню, упоминал, что я в 1921 году сидел в тюрьме, а об Митюне ничего не говорил, — он его и не видал. Потом были допрошены вызванные Чувиковым свидетели. Их было двое. Первый, приятель Чувикова — Пётр Ефимович Михеев. К моему удивлению Михеев заявил, что хотя он и был около костра, но из показаний Чувикова ничего подтвердить не может, так как ничего не слыхал. Так и осталось непонятным, почему Чувиков указывал на него как на свидетеля моих «преступных умыслов». Вторым свидетелем был мальчон-

ка, который, как оказалось, шёл за мной от костра по плотине. Он слышал весь разговор с Митюней и, конечно, передал его Чувикову. И здесь на суде он честно рассказал, как было дело. Затем опросили меня. Я, не отрицая возможности такого разговора, сказал, что так мало придал значения реплике Митюни, что точно и не помню подробностей. Не помню, был ли опрошен «главный обвиняемый»?

Потом судья дал слово защитнику. С тех пор прошло чуть ли не 25 лет, а я до сих пор с удовольствием вспоминаю блестящее, остроумное выступление настоящего адвоката:

— Граждане судьи! Позвольте мне, прежде всего, охарактеризовать личность истца. Вы видели, что Чувиков непременно хочет опорочить и не обвиняемого вовсе, а его отца. Он напоминает, что Владимир Дмитриевич Зёрнов в 1921 году был арестован, но надо знать, что теперь он является уважаемым профессором двух высших советских учебных заведений! И какое отношение всё это имеет к данному делу? Чувиков уверяет, что профессор Зёрнов «угрожал» пожаром. Но из свидетельских показаний ничего подобного установить нельзя. Но если бы даже допустить, что угроза была сделана, то по советскому уголовному кодексу действие это не карается. Вот, например, я скажу: «Чувиков, я разобью тебе физиономию» — это угроза, но я за неё не караюсь. Другое дело, если бы я действительно разбил ему физиономию! Таким образом, Чувикову не удалось хоть сколько-нибудь задеть старого Зёрнова.

— Теперь о молодом Зёрнове. Пусть всё происходило именно так, как рассказывает второй свидетель. Но ведь, сам Чувиков при разговоре не присутствовал. Да почему же Чувиков этот разговор принимает на свой счёт? Ведь из показаний свидетеля не следует, что выражение «сволочь» относится именно к нему — Чувикову. Вот если бы я подошёл к Чувикову и сказал ему в глаза: «Чувиков, ты сволочь», — это было бы оскорблением и я отвечал бы перед судом. Но заочно, неизвестно к кому обращенное слово оскорблением квалифицироваться не может.

Я утверждаю, что никакого состава преступления нет!

Суд удалился на совещание. Чувиков, по-видимому, был несколько расстроен речью защитника. Но тут появился сын П. Е. Михеева — Пётр, который одно время был у меня в Саратове в качестве препаратора, но вскоре увлёкся партийной деятельностью и стал пропагандистом. Он утешал Чувикова: «Не сомневайся, ты — батрак, а Зёрновы — буржуи», и дальше в том же духе.

Суд совещался очень долго, не менее двух часов. Наконец, вышедший из совещательной комнаты судья объявил приговор: считать обвинение в оскорблении Чувикова Дмитрием Зёрновым доказанным и приговорить подсудимого к штрафу в размере 10 рублей[579].

Я рад был, что кончилась вся эта канитель. Но всё-таки мне был неприятен приговор, осуждавший Митюню. И я, рассчитываясь с защитником и благодаря его за энергичное и весьма остроумное выступление, поинтересовался: не находит ли он уместным обжаловать постановление суда. На что он ответил:

— Да что вы, неужели жалко заплатить десятку за удовольствие обругать Чувикова? Я бы и сам десятку заплатил, чтобы ещё раз его сволочью назвать!

Поздно вечером мы были уже дома.

У меня в Саратове в качестве механика работал Ф. Ф. Троицкий, муж дочери Чувикова, я о нём писал уже неоднократное. Это очень хороший человек, и ему было весьма неприятно, что его тесть делает мне всякие пакости. Как-то летом Троицкий приехал из Саратова в Дубну и стыдил Чувикова. Ведь все дети Андрея так или иначе нами были устроены. Оба его сына были устроены мной учениками в механической мастерской Громова и сделались впоследствии хорошими мастерами. В судьбе Матрёши, жены Ф. Ф. Троицкого, я, правда, участия не принимал, но когда она вышла замуж, я взял Фёдора Федосеевича на службу в Саратов и она даже жила первое время в моей квартире. Другие две дочери Чувикова Анюта и Маша жили до замужества у нас в Саратове в качестве горничных.

После разговоров с тестем Фёдору Федосеевичу хотелось, чтобы я пришёл к нему (он останавливался у Чувиковых) пить чай и этим, так сказать, показал, что я предаю забвению все пакости, которые Чувиков мне когда-либо устраивал. Мне не хотелось огорчать Ф. Ф. Троицкого и я исполнил его желание.

Больше столкновений с Чувиковым у нас действительно не было, да он вскоре и умер, а семья его дом продала.

«Музыкальные среды» в Благовещенском переулке[580]

И в это время, как, впрочем, во все другие периоды моей жизни, большое значение имела для меня музыка. Сначала я играл квартет только у Бобковых. Но с февраля 1923 года — и у нас дома. Вторую скрипку играл Вова Власов, альта — Д. Е. Серебряков и виолончель — Д. А. Орлов. Несколько позже, с осени 1924 года, к нам подключился Д. В. Рывкинд, и Вова мало-помалу отошёл от нашего квартета.

Приблизительно в это же время дома у нас организовался молодёжный квартет из Мурашиных университетских товарищей. Мура занимала в нём, как и в небольшом оркестре при университетском клубе, место второй скрипки; немного и я с ними играл. Мураша играла весьма недурно, но, к сожалению, впоследствии она совершенно бросила музыку.

Как-то на Тверской (улица Горького) я встретил одного из сильнейших виолончелистов-любителей доктора В. К. Кайзера, с которым я несколько раз играл в молодости. Мы разговорились; оказалось, что он, полностью реабилитированный, только что вернулся из сибирской ссылки. За это время Кайзер потерял всё своё имущество, в том числе и виолончель (Гранчино), которая была передана в Государственную коллекцию. Виолончель он, впрочем, получил из коллекции обратно, но только в аренду.

После этой встречи мы начали регулярно собираться: один раз у нас, а другой — у Кайзера. Альта в этом составе с самого начала играл Мурашин муж Жора, а вторую скрипку — старинный партнёр Валентина Карловича Ю. Н. Драйзен. Юлиан Николаевич был участником квартета у Н. В. Даля и много играл в старые годы с В. К. Кайзером. Он оказался неплохим скрипачом и исключительно милым человеком. По рождению еврей, он окончил духовную семинарию и филологический факультет университета, сделавшись специалистом по древним языкам. Юлиан Николаевич жил где-то за городом и жил довольно бедно, несмотря

на своё высшее образование, — древние языки только ещё начинали восстанавливаться в своих правах. Во время войны он оставался в Москве и в 1942 году умер едва ли не от голода.

Летом 1922 года в Дубну приезжали мои партнёры по Бобковскому квартету: виолончелист Зельбаум, альтист Бобков, а вторую скрипку на этот раз совершенно случайно играл Д. Е. Серебряков. Должен был приехать профессор Барыкин[581], но его куда-то экстренно вызвали. Тогда мы с Бобковым отправились к Дмитрию Егоровичу, который раньше в нашей компании не играл, и уговорили его ехать. Кроме всего прочего, он, собственно, был, так сказать, «присяжным» альтистом. Тут мы с ним и познакомились, и потом вплоть до его смерти нас соединяла самая тесная и искренняя дружба.

В Дубне мы играли и в нижней столовой, и в верхней гостиной, и на балконе, и в парке. В парке играть квартет совершенно невозможно — друг друга совсем не слышно. Это уже во второй раз в Дубне собрался квартет. Впервые же — когда мы ещё не были женаты: тогда приезжали Н. А. Жувена, Болих и Конский.

Собирался квартет в Дубне и впоследствии в составе Орлова, Серебрякова и Рывкинда. Этот состав держался до 9 марта 1932 года. На следующее собрание не пришли Орлов и Серебряков, оказалось, что они арестованы. Дмитрий Егорович так и умер в заключении. Прежде он был весьма состоятельным человеком. Революция лишила его всего, он остался совершенно нищим. Пробовал он зарабатывать в цирковом оркестре, но долго там не удержался. Я застал его, когда он работал бухгалтером в каких-то паршивых меблированных комнатах. Однажды он даже затеял ходить с гитарой по дворам.

К нам он был исключительно привязан. Ему доставляло большое удовлетворение, когда он мог подарить нам что-нибудь из остатков своих вещей. Фотогравюра «Квартет Гайдна», бюстики Бетховена, Чайковского, «Женщина со скрипкой» — всё это подарки Серебрякова. Мы также очень любили Дмитрия Егоровича. Конечно, помочь ему особенно мы не могли, но хотя бы своим хорошим к нему отношением старались сколько-нибудь облегчить его тяжёлую жизнь.

Судьба другого моего партнёра — Дмитрия Андреевича Орлова — тоже была весьма печальная. Он был братом крупного пианиста Н. А. Орлова, профессора Московской консерватории, который поехал за границу концертировать и не вернулся[582]. Мать и сестра Дмитрия Андреевича также перебрались за границу, и он остался совершенно один. В последние годы мне удалось его пристроить лаборантом при моей кафедре в Ломоносовском институте. Дмитрий Андреевич был прекрасным виолончелистом. И тон, и безупречная интонация, и «прекрасная фраза», и очень порядочная техника. Ему следовало бы специализироваться по музыке. Но всё в жизни ему как-то не удалось. Тем не менее он был высококультурным человеком, очень много читал, обладал замечательной памятью. Однако, как и Серебряков, Дмитрий Андреевич был «осколком разбитого вдребезги прошлого». Его продержали в тюрьме несколько месяцев и выпустили, очевидно, не было возможности приписать ему какое-нибудь «злодеяние». И всё же ему было предложено выбрать себе место жительства подальше от Москвы. Он почему-то выбрал Мичуринск, бывший Козлов, и там вскоре умер.

С третьим моим партнёром Додей (Давидом Васильевичем) Рывкиндом мы проучились в одной гимназии все восемь лет, играли вместе в оркестре Эрарского. Особенной близости тогда у нас не было. Додя поступил на юридический факультет и в консерваторию. То и другое полностью кончил. Но музыкой занимался как любитель. Сделался он присяжным поверенным и вёл гражданские дела и юрисконсультуру у банкиров Поляковых[583] и булочника Филиппова. Это, по-видимому, давало ему хороший заработок. После революции он всё ещё цеплялся за юридические дела, хотя теперь они приносили очень мало прибыли, был юрисконсультом при Ломоносовском институте.

Узнав, что мы вернулись в Москву, он зашёл к нам. Познакомил нас с своей женой Софьей Борисовной, после чего мы стали часто встречаться. Прежнее безразличие перешло в самую искреннюю дружбу. И Додя, и Софья Борисовна стали одними из самых близких нам друзей.

После арестов Серебрякова и Орлова и наш квартет развалился. Додя переехал в Ленинград, куда несколько раньше переселилась Софья Борисовна к своим родителям. Он бросил юридические дела и устроился в оркестр при каком-то театре. Додя страдал болезнью почек, от неё он и умер.

В этом составе мы проиграли девять лет. Наши «среды» привлекали много народу. Кого тут только не было! В качестве пианистов участвовали мой приятель юности А. П. Румянцев и тётя Соня. У нас часто пели. Евгения Васильевна Романова приводила своих знакомых певиц. Была даже как-то её учительница, бывшая артистка императорских театров Мария Адриановна Дейша-Сионицкая и пела свои «Колокола» — это удивительное изображение голосом колокольного звона кремлёвских церквей. «Колокола» являлись коронным номером Марии Адриановны. Особенно замечательно подражала она бою часов Спасской башни. Пел у нас и совсем молодой, только что приехавший из Киева и поступивший на сцену Большого театра Пантелей Маркович Норцов. Первый раз он пел в день Танечкиного шестнадцатилетия — 26 октября 1925 года, второй — в день Катёнушкиных именин — 7 декабря 1927 года. В тот же день, 7 декабря две певицы из оперы Станиславского исполняли сцену письма Татьяны (Татьяна — Синицына и няня — Пан): это был подарок племяннице от тёти Сони, которая им и аккомпанировала. Пел также некто Александрович[584].

На «среды» к нам ходили не только музыканты, но и просто слушатели, собиралась и молодёжь.

Я почти с самого начала вёл запись программ «сред»[585], и в год выходило от пятидесяти до шестидесяти собраний[586]. Летом мы не играли, но в случае публичных выступлений делали добавочные репетиции. Много раз мы выступали публично. Самым ответственным было исполнение XI квартета Бетховена и затем — XVII бетховенской фуги.

В Москве существовал любительский оркестр имени Сараджева, обитал он в помещении строительного факультета МВТУ на Покровском бульваре*[587]. Оркестром дирижировал и учился на нём теперь известный дирижёр Хайкин. Члены оркестра затеяли отметить столетие со дня смерти Бетховена исполнением любительским составом всех камерных произведений композитора. На долю нашего состава пришёлся XI квартет. Мы учили его весьма старательно:

* Где теперь Военно-инженерная академия, а прежде была Практическая академия, директором которой являлся профессор А. С. Алексеев, о котором я уже писал.— Прим. В. Д. Зёрнова.

кроме сред, стали собираться и по субботам. Всего репетиций было одиннадцать. Публичное исполнение состоялось 12 марта 1927 года. Оно было очень ответственно: слушателями были все любительские квартетные составы Москвы. Играли мы неплохо. Наш состав не был случайной компанией. После исполнения Катёнушка устроила нам дома угощение. Это был период нэпа, и затруднений продовольственных не испытывалось. Даже на обычных «средах» угощение было хорошее.

В процессе подготовки к «бетховенскому циклу» выяснилось, что ни один состав не берётся исполнить последний бетховенский квартет № XVII — фугу «ouvertura». Тогда мы решили выучить и её. Не помню уж, почему Д. Е. Серебряков был заменён Д. В. Ганштером, гораздо более сильным альтистом. Может быть, Дмитрий Егорович сам не охотился учить эту тяжёлую вещь?

Публично фугу мы играли 20 марта. Перед нашим выступлением устроитель всего предприятия Д. Г. Баев, виолончелист, рассказал историю этого произведения, рассказал и о том, что оно из-за своей сложности исполняется очень редко. Мы выучили её прилично, но большой успех у публики мы получили, вероятнее всего, в результате выступления Баева. Эту фугу трудно играть, а ещё труднее слушать.

Весь цикл прошёл очень интересно. Случайно, кажется, исполнители в последний момент отказались, не будучи уверены в себе, от исполнения VII и XII квартетов.

Такая работа и проверка любительских сил так всем понравились, что в последующие годы были проведены циклы Гайдна, Моцарта, Шуберта и, наконец, Глиера. Во всех циклах мы неизменно участвовали. В гайдновском мы играли опять два раза. В одном квартете я играл первую скрипку. В цикле Моцарта мы исполняли XIII квартет, в цикле Шуберта — из второго тома op. pastum, а в цикле Глиера — первый секстет. После исполнения Глиер дал мне на моих нотах свой автограф.

Кроме этих, так сказать, ответственных выступлений, мы много раз играли и в МИИТе, и в Ломоносовском институте. Выступали и в школе, где училась Мура. Когда мы открывали «университет культуры» (я был его ректором) в МИИТе, я играл с Е. А. Бекман-Щербиной третью сонату Грига; в одном из концертов этого «университета культуры» я играл трио Аренского с виолончелистом Адамовичем[588] и пианистом радиокомитета Орентлихером.

И вот с арестом Д. Е. Серебрякова и Д. А. Орлова вся наша музыка кончилась. Пробовал я играть то с тем, то с другим, но найти себе состав по сердцу и по качеству исполнения не мог. Да и воспоминания о моих милых партнёрах и горечь утраты друзей мешали найти замену. Но музыки мне очень недоставало.

Оркестр научных работников*

Как-то встретил я музыканта-любителя в Доме учёных, он спрашивает, играю ли я квартет?

— Составить квартет, который удовлетворял бы меня во всех отношениях, не так просто, — ответил я.

— Да, это верно! А знаете, — оживился мой собеседник, — гораздо проще составить оркестр. Давайте собирём сначала струнный состав, а там видно будет. Может быть, удастся собрать и полный симфонический оркестр.

Возможно, моим собеседником был В. А. Карра, который очень много сделал для организации оркестра научных работников. Для партнёров по оркестру вовсе не нужна такая близость чисто личная, как в квартете.

Вскоре мы набрали человек 18—20 струнного состава и стали собираться сначала в помещении недалеко от Дома учёных (улица Кропоткина, 10). Позднее наши репетиции были перенесены в Дом учёных. Мы не хотели примыкать к существовавшим оркестрам любителей, в частности к оркестру имени Сараджева — он был связан с клубом и свои программы должен был составлять для него, а не для себя, не для удовлетворения своих музыкальных интересов и потребностей. Программы этого оркестра поневоле разучивались наспех, ведь в сезон требовалось приготовить не одну программу. Мы решили пойти по совершенно иному пути — разучивали незаслуженно забытые или просто не исполнявшиеся в России вещи, конечно, с учётом наших возможностей[589]. Не помню сейчас, кто был нашим первым дирижёром[590], я всегда поддерживал кандидатуру нашего теперешнего руководителя и дирижёра В. И. Садовникова. Он человек большой музыкальной культуры, хорошо знающий литературу и охотно работающий с любителями — это дело очень трудное. Вначале некоторые из участников оркестра возражали против Садовникова — он-де преимущественно вокалист и тяготеет к произведениям оперного и ораториального типа — и мы играли под управлением Срабнана[591]. Когда оркестр насчитывал уже около пятидесяти человек и в его составе были «духовики», мы всё же отступили с Срабнаном от нашей установки и, уступив желанию ряда оркестрантов, играли шестую симфонию Чайковского. Конечно, было очень приятно её играть, к тому же я знал каждую нотку этого замечательного произведения. Но, несмотря на все усилия, мы всё же играли её хуже, чем любой профессиональный оркестр.

С Садовниковым мы начали с Генделя и Баха. Это не требует большого состава. Кажется, именно с этой программой мы впервые выступали в Доме учёных. На одном из первых наших концертов вместе с астрономом П. Н. Долговым я играл с аккомпанементом оркестра концерт Баха для двух скрипок.

Весьма интересен был концерт, которым дирижировал Себастьян[592]. Нам прислали из-за границы только что обнаруженную юношескую симфонию Бетховена. Она никогда не исполнялась и вообще оставалась в рукописи. Мы первыми исполнили её в Москве. К ней были добавлены ещё какие-то странные вещи, и концерт вышел очень интересным и оригинальным — все вещи исполнялись, по крайней мере в России, впервые. Для нас было интересным и то, что Себастьян эту программу выучил с нами в чрезвычайно короткий срок. Вообще же мы учили очень долго, так как собирались один раз в неделю, да и с текучестью ничего не сделаешь — обязать научных работников во что бы то ни стало не пропускать репетиций невозможно, всё же на первом плане находилась обязательная работа в институтах. Но Себастьян заявил однажды, что ему надо перед выступлением несколько репетиций подряд. И мы в виде исключения рискнули на такое напряжение и выдержали его благополучно. Конечно, для нас это представляло немалую трудность[593]. Себастьян

дирижировал и радиооркестром, может, поэтому наш концерт был включён в радиопрограмму. Но Себастьяну не пришлось далее заниматься с нами: он вскоре уехал за границу[594]. Это был очень хороший дирижёр. Играть с ним было интересно и удобно — всё так ясно было в его движениях!

Я ещё не был концертмейстером. На этом месте находился Ю. В. Ключников, сменовеховец[595]. Впоследствии он был арестован и выслан[596], с тех пор я и сижу на концертмейстерском месте.

Самым крупным достижением нашего оркестра было исполнение оратории Гайдна «Времена года». Параллельно с нашим оркестром в Доме учёных организовалась хоровая капелла, которой руководил также В. И. Садовников. Оркестровый и хоровой коллективы взял на своё иждивение областной комитет Союза высшей школы и научно-исследовательских учреждений, он ежегодно стал вносить в смету порядочную сумму на расходы по содержанию преподавателей капеллы, на наём помещения для занятий певцов и расходы по оркестру. Постановка «Времён года» заняла много времени, но это было буквально событием в музыкальном мире Москвы. Постановкой интересовались все музыканты. Сначала мы в качестве проб исполняли частями эту колоссальную ораторию в учебных заведениях и, наконец, два раза полностью — в Большом зале консерватории. Зал был полон, и мы действительно имели большой успех[597].

Исполнение «Времён года» в зале консерватории было записано на магнитофон. Обком за наши успехи устроил для всего коллектива немудрёный ужин* в помещении Академии наук в Харитоньевском переулке. «Гвоздём» вечера была передача с магнитной записи нашего исполнения. Было весьма интересно слушать запись со всеми нашими достижениями и промашками, которые, конечно, тоже имелись, хотя для публики и незаметные.

Далее, хотя и не таким крупным, но всё же «событием» было исполнение в Большом зале консерватории симфонической поэмы Листа «Освобождённый Прометей»[598].

Мои студенты всегда очень интересовались моими музыкальными успехами. У меня хранятся знаки их внимания: дирижёрский жезл из слоновой кости в серебряной оправе, как музыкальный символ**, книга «Жизнь и творчество Собинова»[599] и полное собрание романсов Балакирева. Эти подарки снабжены дорогими для меня надписями.

Из произведений ораториального типа до войны 1941 года мы исполняли ещё чудесную вещь Римского-Корсакова «Песнь о вещем Олеге»[600], также очень редко исполняемую. А весной 1941 года впервые в России мы играли «Странствование Розы» Шумана, очаровательное и по музыке, и по теме произведение[601]. Мы исполняли его и в открытых концертах, и два раза на радио. Первый раз на длинных волнах — для России, второй на коротких, буквально за неделю до начала войны, для германских учёных, так во всяком случае трактовалось.

---

* Впрочем, кажется, на средства, полученные от концерта.— Прим. В. Д. Зёрнова.

** Девицы, которые поднесли мне этот оригинальный подарок, сами были им, по-видимому, весьма довольны; когда я приехал в Новосибирск, одна из девушек, встретив меня на улице, первым делом спросила: «Привёз ли я в эвакуацию их подарок?». По счастью, Мурочка, собираясь ехать, сунула жезл в скрипичный футляр.— Прим. В. Д. Зёрнова.

Одно время особенно увлекались самодеятельным искусством. И вот однажды было решено обычный для ноябрьского праздника концерт в Большом театре после торжественной официальной части составить исключительно из выступлений самодеятельных коллективов. Тут были и хоры, и пляски, и сольные выступления. Разумеется, были выбраны лучшие исполнители и коллективы. Самодеятельных симфонических оркестров в Москве было всего несколько, и было решено составить большой «сводный» оркестр. Собралось человек полтораста. Черновые репетиции проводил ассистент Штейнберга, дирижёра Большого театра. Играли мы «Торжественную увертюру» Глазунова. Последняя генеральная репетиция проходила на сцене Большого театра. И так как днём и вечером театр был занят, мы собрались в двенадцатом часу ночи, а домой я попал часа в четыре утра.

Нашим выступлением начинался весь концерт. Театр был переполнен. В левой нижней литерной ложе сидели члены правительства во главе со Сталиным. Но я сидел в первых скрипках спиной к этой ложе и не решался оборачиваться, чтобы рассмотреть наших высоких слушателей[602].

Другое музыкальное предприятие — поездка в студенческой компании в Ленинград! Случилось это несколько позже, в конце января — начале февраля 1937 года. Я без отрыва от основной своей работы читал лекции в вечернем институте имени Бубнова. Когда же Бубнова «изъяли» из жизни, во всех институтских бумагах его имя густо замарали чернилами[603]. Я уже понемножку устранялся от чтения в нём и передавал дела Е. А. Ляхову, моему ученику по Саратову, но связи с институтом ещё поддерживал.

Студенты этого института как-то просили меня участвовать в их самодеятельном вечере, и мы играли там квартет в составе: я, Мура (вторая скрипка), Жора (альт) и, помнится, Миша Пекарский (виолончель). А потом пристали с уговорами ехать с ними в Ленинград, где в Политехническом институте в Сосновке организовался «слёт самодеятельности студентов машиностроительных ВТУЗов». От МВТУ отправлялся струнный квартет, а от Бубновского института — два неплохих певца (Никитин и Руновский)*. Было, конечно, чудновато мне, 59-летнему, участвовать в молодёжном слёте. Однако моё участие давало известное своеобразие самодеятельному коллективу Бубновского института, так сказать, демонстрировало близость студенчества с профессурой, и я согласился. В Сосновке нас встретили очень хорошо, прекрасно разместили и хорошо кормили. Выступали мы в Большом институтском зале и заслужили шумные аплодисменты.

1926 год. Поездка в Крым[604]

Сделавшись профессором Института путей сообщения (1924 год), я получил право бесплатного проезда по железным дорогам[605], и не только я сам, но и все официально числящиеся на моём иждивении члены семьи. Три раза в год можно было выписывать «разовый» билет хоть до Владивостока и обратно.

Первый раз это право я использовал летом 1926 года. Мне очень хотелось показать детям хоть бы кусочек Крыма. Я выписал билет для всего семейства до Севастополя и обратно. А пожить мне предложил в своём «кооперативном» помещении в Бат-Лимане И. А. Лобко, ассистент Н. В. Кашина.

* Один из них, тенор Никитин, впоследствии бросил инженерную специальность и сделался солистом в Краснознамённом ансамбле.— Прим. Ек. Зёрновой.

Бат-Лиман — очаровательное местечко на берегу моря, у Байдарских ворот. До революции тут было разбросано несколько дач, которые оказались без владельцев. Единственный старый хозяин, продолжавший жить в Бат-Лимане, был тесть академика А. Ф. Иоффе. Остальные же дачи были предоставлены учительскому кооперативу, членом которого и состоял Лобко. Кстати, он располагал верхним этажом дачи, прежде принадлежавшей Врангелю, но, кажется, не тому генералу, который стоял во главе войск, воевавших с частями Красной Армии в Крыму[606].

До начала августа мы прожили в Дубне. Именно в начале этого лета я получил некоторую сумму денег за издание папиной «Анатомии»[607] и почти всё истратил на ремонт дубненского дома*. Мы выехали числа 27 или 28 июля. Я с волнением ожидал, когда появится полоска моря перед Севастополем по правую сторону железной дороги и какое произведёт впечатление на ребят, но и Митюня отнёсся довольно равнодушно к «свободной стихии», и девочки в восторг не пришли. Да, с морем надо сначала познакомиться близко, тогда эта полоска на горизонте может вызвать и волнение.

В замечательной панораме «Оборона Севастополя»[608] мы были на обратном пути. В своей жизни я видел две панорамы. И обе оставляли громадное впечатление. Первая, ещё в мои гимназические годы, «Голгофа» Яна Стыка была устроена в здании около Московского цирка на Цветном бульваре[609]. Обе панорамы устроены были одинаково. Зрители помещаются на возвышении посредине громадного цилиндрического здания — как бы на плоской крыше дома, на первом плане постройки и фигуры изображены в натуральную величину, а второй план и даль изображены на огромном полотне, охватывающем всё здание. Получается впечатление полной реальности[610].

Далее из Севастополя ехали местами, где когда-то происходили бои и где осталось лежать много и наших, и врагов — и все они объединены общей участью. Наконец, по плохому шоссе, идущему зигзагами, мы потихоньку спустились к дачному посёлку. Дачка оказалась очаровательной. Буквально в одной минуте от берега моря. А лес — до самой воды. Очень милое семейство Лобко — там была его жена с двумя детьми. Нам предоставили две комнаты. Правда, никакой обстановки в комнатах кроме топчанов не было. Набили соломой мешки — вот и вся обстановка. Но элементарность обстановки вполне искупалась чудесной нетронутой природой и дивным морем. Имелись отдельные маленькие пляжи, отгороженные друг от друга скалами. Был и более просторный общий пляж, но все предпочитали отдельные маленькие пляжи, где можно было купаться без специальных купальных костюмов. Питались мы в центральной даче. Кормили не Бог знает как, но зато это стоило какие-то гроши — чуть ли не по рублю в день с человека. Была и лавчонка, где можно было кое-что подкупить.

Я, конечно, скоро перезнакомился с множеством народа. Гуляли больше в самом Бат-Лимане. Ходили с молодёжью довольно далеко по берегу в сторону Балаклавы. С нами ходила и дочка А. Ф. Иоффе Валя, тогда она была прехорошеньким подростком и, по-моему, не прочь была пофлиртовать с Митюней, но он никаких шагов в этом направлении не делал. Отправлялись мы всей компа-

* За «Анатомию» получили раньше, в [19]23-м году, и купили лошадь и тележку.— Прим. Ек. Зёрновой.

нией (и Катёнушка решилась) в дальнюю прогулку в сторону мыса Сарыч. Както А. Ф. Иоффе для всей публики рассказывал о своей поездке в Америку, откуда он только что возвратился. Бывали мы в гостях. Старик, тесть Иоффе, угощал нас виноградом из собственного виноградника. Устраивали в соседней даче самодеятельный концерт. Я активного участия не принимал: при мне не было моего инструмента.

Прожили мы здесь недели две и решили ещё прокатиться через Байдарские ворота до Алупки, где жила в этом время Наташа Власова. Рано утром 28 августа мы на линейке выехали в Алупку. К селению Байдары мы проехали через какую-то деревушку и через Байдарские ворота к Форосу и дальше прямо до Алупки. Наташа писала нам, что в Алупке чудно и что её хозяева живут чуть ли не во дворце, но оказалось, что «дворец» — это двухэтажный довольно грязный дом. Алупкинский чудесный парк весь вытоптан отдыхающими, которые в одних трусах сидят под лаврами и олеандрами и играют в «три листика»; в маленьких прозрачных озерках, на тихих водах которых, бывало, плавали лебеди, теперь валяются консервные банки. Двадцатые годы были ещё временем, когда изгонялся старый дух аристократического Крыма. Несмотря на всё, самая поездка была интересна.

В Алупке мы переночевали одну ночь и во второй половине дня 29 августа двинулись обратно. Ночевали в Байдарах. Наш извозчик-татарин привёз нас к своим знакомым. У татар всегда было чисто и они всегда были приветливыми и радушными хозяевами.

Я, как всегда, записывал все расходы до копейки. Трёхнедельное путешествие обошлось в 200 рублей — по 40 рублей на человека.

1927 год. Гагры*

Летом 1927 года мы опять жили в Дубне, а в августе проехали по Кавказскому побережью, где я сам никогда не бывал. Гагры — это бывшее имение принца Ольденбургского, в нём сохранился его дворец, превращённый в санаторий, и несколько гостиниц. Самая привлекательная гостиница — «Деревянная», или «Гагрипш», у самого парка. Она была куплена принцем Ольденбургским в Париже после выставки 1900 года и в разобранном виде на пароходе доставлена в Гагры, где и поставлена на новый фундамент.

В Старых Гаграх есть турбаза — в громадном здании бывшей гимназии, которую основал и содержал прежде Ольденбургский для больных детей. Этой турбазой заведовал муж падчерицы А. М. Кезельмана. Её мы на всякий случай известили о нашем приезде. Доехали мы благополучно до Сочи, тогда железная дорога доходила до Адлера, но из Сочи непосредственно в Гагры ходили открытые автобусы. Нам удалось сейчас же получить места в автобусе, так что Сочи мы совсем почти не видали.

Уж совсем стемнело, когда мы приехали в Старые Гагры. Везде огоньки, ярко освещённые электрическими лампочками палатки, заваленные разными фруктами. Всё производило театральное впечатление. Мы взяли извозчика (линейку) и велели везти нас в турбазу. По дороге увидали «Деревянную гостиницу», которая была вся ещё освещена, но мы почему-то не попытались зайти туда и сразу устроиться. Бывшая гимназия, а теперь турбаза, располагалась на выезде из Ста-

рых Гагр. Подъехали мы к ней в полной темноте. Взяв в руки вещи, стали взбираться по довольно крутому подъёму. Кто-то шёл нам навстречу. Оказалось — это как раз Наташа, падчерица А. М. Кезельмана.

Роскошное когда-то помещение гимназии в новом своём оформлении было чрезвычайно запущено. Кровати все поломаны, просторные умывальные и ванные помещения загажены, канализация испорчена. По спальням бегают крысы! Я с Митюней поместился внизу в мужском отделении на сломанных кроватях, а Катёнушка с девочками — в женском наверху, где и сломанных-то кроватей не было, так что пришлось стелить прямо на полу. Ночью через них то и дело бегали крысы. За ночёвку взималась ничтожная плата, но задерживаться на этой турбазе было невозможно. Утром нас тоже по дешёвке покормили завтраком. Мы с Митюней сбегали к морю и выкупались.

Тотчас после завтрака я отправился к «Деревянной гостинице». Заведующий, весьма приятный человек, попенял мне, что я не сразу обратился к нему. Обедали мы уже в этой «Деревянной гостинице», в громадном ресторане совершенно европейского стиля.

Мы наслаждались, главным образом, чудесным купаньем. На пляже народу было очень мало. Далеко мы никуда не ходили. Один раз только гуляли по ущелью «Гагриши», где, собственно, расположено небольшое селение Старые Гагры. В Мурочкины именины ходили в церковь — восстановленную церковку постройки III века в стиле старинных грузинских храмов.

Встретили мы Т. П. Кравца, который жил в даче хирурга С. П. Фёдорова. Это превосходно расположенная дача, вся белая, над Гаграми, к ней ведут две зигзагообразные лестницы. Кравец был у нас, и я бывал у него. Однажды застал и самого С. П. Фёдорова, о котором у меня сохранилось самое лучшее воспоминание, я помнил, как он относился к болезни папы. Тогда он был ещё совсем бодрый, интересный, любил посидеть с дамами в ресторане за бутылкой красного вина и нередко выходил из «Гагриша» немного «под шафэ». Позже он, правда, как-то вдруг сильно ослабел и вскоре умер[611].

Председателем Совнаркома Абхазии был некто Лакоба[612], у него имелась прекрасная дача. Мать его, типичная абхазка, говорила: «Мой сын — абхазский царь!» К этому «царю» во время нашего пребывания приехали в гости члены правительства Украины. Вся компания сильно «веселилась» в ресторане «Гагриш», и как-то, говорят, подвыпивший абхазец так разошёлся, что стал гоняться за собутыльниками с кинжалом. Была вызвана гагринская милиция. Шум нам был хорошо слышен, и наряд милиции из четырёх человек (кажется, больше в Гаграх и не было) спешным маршем прошёл мимо наших окон в ресторан. Буянов уняли и на машинах развезли по домам.

На другой день утром следы попойки ещё оставались: стол был залит вином и везде валялись окурки. Я позвал «услужающего» и говорю:

— Что это за безобразие?!

— Какое безобразие, — искренне удивился тот, — просто господа гуляли. В Гаграх мы прожили дней двенадцать* и тем же путём, через Сочи, возвратились в Москву — прямо к началу семестра.

* Девять дней. — Прим. Ек. Зёрновой.

Съезд физиков в Москве. Поездка в Коктебель*

В конце июля 1928 года проходил в Москве съезд физиков. Съезд оказался интересным не столько по содержанию докладов (ничего сенсационного), сколько по своему составу: собрались все русские физики и много приглашённых иностранцев — были Борн, Франк, даже гости из Америки[613]. Митюня и его приятель Миша Шесминцев находились в числе студентов-распорядителей: молодым людям поручили встречать гостей и сопровождать их в экскурсиях, давать различные объяснения. Гости, конечно, интересовались главным образом нашими новыми порядками, но так как многое с трудом поддавалось объяснению, то Шесминцев в большинстве случаев «воздевал» руки и говорил: «Sozialismus!!!»

После окончания заседаний в Москве была организована экскурсия (Москва—Нижний Новгород поездом, а уже от него был зафрахтован большой пароход, и по Волге экскурсия доехала до Царицына (Сталинграда), потом отправилась на Кавказ в Тифлис. В Казани проходили заседания съезда и такое было сильное угощение, что некоторых иностранцев пришлось на пароход доставлять в горизонтальном положении. Многие просто объелись[614]. В Саратове тоже проходили заседания[615]. Георгий Николаевич Свешников, тогда профессор Саратовского университета, произнёс приветственную речь на латинском языке. Борн в Саратове сделал доклад на немецком языке по мало созвучной диалектико-материалистическому миропониманию теме — «Предел человеческого миропонимания». Но так как большинство присутствовавших ничего не понимало, то все ему шумно аплодировали.

Мы всей семьёй собирались ехать в Крым, в Коктебель[616]. Я заранее списался с Марией Адриановной Дейша-Сионицкой, когда-то знаменитой певицей Мариинской сцены и Большого театра. У неё в Коктебеле на самом берегу моря была большая дача. Она оставила для нас две комнаты во втором этаже. В соседних с Коктебелем Отузах тем летом жили Наташа и Лёля Власовы и ученица Марии Адриановны Тамара Спиридоновна Шенейх с сестрой и племянниками.

Без особых приключений мы добрались до Феодосии и сейчас же взяли линейку ехать до Коктебеля. От Феодосии до него километров 18. Довольно скоро мы въехали в Коктебельскую долину, окружённую голыми холмами, которые с правой стороны бухты переходят в массив потухшего вулкана Кара-Даг (Чёрная гора). Отдельные вершины похожи на какие-то исполинские человеческие бюсты, их называют «Султан» и «Султанша», а профиль предгорий Кара-Даг похож на профиль Пушкина. Скалы, спускающиеся обрывом в море, также похожи на профиль человека с густой бородой, и писатель Максимилиан Александрович Волошин, у которого тоже была дача в Коктебеле, утверждал, что это его профиль[617].

Дача Марии Адриановны стоит в самом центре чудесного пляжа. Когда мы только приближались к цели нашего путешествия, я в сердцах посетовал: «Вот так порекомендовали местечко! Растительности никакой! Голая поверхность пустынной, потрескавшейся на мелкие чешуйки земли». Правда, первое же купание в корне изменило моё отношении к Коктебелю. Пляж оказался совершенно изумительным. С востока бухта ограничена холмами, далеко уходящими в море, и они, в зависимости от освещения, меняют свои цвета (Мария Адриановна называла их «Хамелеонами»), с запада — грозные обрывы Кара-Дага.

Разместились мы чудесно. Одна комната выходила окнами и маленьким балкончиком на «Хамелеоны», в ней поместились я с Митюней; в другой — Катёнушка с девочками. С общего балкона открывался чудесный вид на море и всю бухту от Кара-Дага до «Хамелеонов». Питались мы тут же при даче. Мария Адриановна сдавала кухню какому-то ресторатору из Феодосии, и он кормил и её, и всех её постояльцев за весьма сходную цену очень сытно и вкусно. За завтрак и обед мы платили по 3 рубля 50 копеек в день с человека. Это было значительно дороже, чем в Бат-Лимане, но там и кормили гораздо лучше, да и вообще червонцы начали уже дешеветь.

Дача М. А. Волошина также стояла на берегу моря. Сам Максимилиан Александрович постоянно жил в Коктебеле, а дачу свою с условием, что он доживёт в ней свой век, передал Союзу писателей[618]. У Максимилиана Александровича имелось два дома, и его дачники были преимущественно люди, причастные к литературе, а у Марии Адриановны компания была «академическая». Волошин всю жизнь немного чудил. Теперь он ходил с седыми кудрями, схваченными повязкой, с окладистой бородой и в древнегреческом хитоне. Дети первыми обратили внимание на «чудного дяденьку». Я вскоре познакомился с ним[619]. Оказалось, что мы почти ровесники, он помнил меня чуть ли не гимназистом, во всяком случае, студентом (он учился в первой гимназии и в Московском университете)[620]. Волошин позвал меня как-то к себе и читал мне свои поэмы, написанные белыми стихами. У него было прекрасное помещение, двусветная библиотека, в которой он и принимал гостей. Читал очень интересную поэму «Серафим Саровский»[621], потом, не помню названия, поэму, в которой описывается смена мировоззрений, начиная от халдейского и до наших дней[622]. Читал он и стихотворение, посвящённое памяти Витольда Карловича Цераского[623]. Оно было написано специально для заседания, которое астрономы устраивали после смерти Цераского[624], но на заседании прочесть его не решились. Все произведения Максимилиана Александровича чрезвычайно далеки были от материалистического миропонимания и, конечно, не могли печататься. Между прочим, Волошин сказал, что однажды его вызывали в Кремль, где он читал эту поэзию (кажется, ещё при Ленине)[625]. Я, по правде сказать, удивился, что в Кремле слушали такие вещи, а Волошин, усмехнувшись, ответил:

— Да ведь только в Кремле и можно их свободно читать.

Дейша совершенно игнорировала Максимилиана Александровича за хулиганство, которое он однажды учинил. Как-то ночью она проснулась от шума, крика, свиста под окнами своего дома. Выглянула в окно и увидела компанию, одетую чертями с рогами и хвостами, в страшных масках. Оказалось, что это Максимилиан Александрович со своими дачниками решили напугать живущих у Марии Адриановны постояльцев.

Когда я возвратился от Волошина, то, отчасти поддразнивая Марию Адриановну, но совершенно искренно, с увлечением рассказывал об интересных произведениях Волошина. Марья Адриановна спросила:

— А Максимилиан Александрович не придёт к вам?

Я ответил, что не решался его просить; известно, что Марья Адриановна в претензии на Волошина и с ним не встречается.

— Если бы вы записочкой пригласили Максимилиана Александровича, — посоветовал я ей, — я думаю, он не отказался бы прийти и почитать свою поэзию.

К моему удивлению, мой вызов имел успех. Мария Адриановна написала любезную записку, и Волошин в своём греческом хитоне был в гостях у Марии Адриановны, читал свои произведения, и вся «академическая» компания дачи «Ариадна» во главе с Марией Адриановной слушала и «Серафима Саровского», и «Памяти Цераского». Таким образом, неожиданно для самого себя я стал причиной примирения коктебельских Монтекки и Капулетти.

Дважды ездили мы в Отузы. Первый раз — на лошадях в линейке. После простора Коктебеля Отузовская долина, сплошь занятая садами и виноградниками, нам показалась тесной. В это время мы были уже полностью покорены своеобразной прелестью Коктебеля. А утром 8 сентября, в день именин Наташи, мы отправились в Отузы на моторной лодке. Катёнушка оставалась дома — она никогда не решалась садиться в лодку. Это маленькое морское путешествие мимо обрушившегося в море вулкана было особенно интересно. Половина вулкана в обломках находится на дне моря. Вода так прозрачна, что виден каждый камень, а на отвесной стене Кара-Даг видны жилы лавы, которая когда-то извергалась из недр земли. Дети остались ночевать и вечером с компанией довольно бурно справляли именины Наташи, а я пешком сокращённым путём через Кара-Даг возвратился ещё засветло в Коктебель.

В день Мурочкиных именин вся отузская компания приезжала к нам в Коктебель. К обеду я раздобыл местного чудесного розового муската. Обедали все в столовой при даче, а пить чай Мария Адриановна предложила у себя и во время чаепития сама устроила целое представление — пела свои знаменитые «Кремлёвские колокола»: голосом изображала перезвон колоколов и бой часов Спасской башни. К этому номеру был составлен кем-то довольно фривольный текст. Очень жалею, что не записано это на пластинку или на плёнку: вещь совершенно неповторимая. Потом Мария Адриановна изобразила целую балетную сцену. Трудно было поверить, что ей было тогда далеко за шестьдесят, если не все семьдесят[626].

Самое привлекательное в Коктебеле — пляж и море. Между прочим, с перевала через Кара-Даг видно два моря — Чёрное и Азовское: Чёрное море — как сапфир, Азовское — как бирюза. Впоследствии дети уже самостоятельно ездили в Коктебель. Теперь же (1946 год) и дачи «Ариадна» нет — её разрушили немцы, и Волошин лежит в могиле на Кара-Даге[627], как он и завещал, и Марии Адриановны давно уже нет в живых. Кажется, и она похоронена в Коктебеле[628].

Чаир*

Летом 1929 года мы, опять пользуясь бесплатным проездом, ездили в Крым. С нами ездила и Лёля Власова-Михайлова. Маршрут был не совсем обычный: от Москвы до Бахчисарая по железной дороге, далее на лошадях через Ай-Петри, не заезжая в Ялту, к конечной цели Чаиру, бывшему имению жены великого князя Николая Николаевича Анастасии Николаевны. Там в хорошо обставленном частном пансионе мы прожили недели две. Затем на автомобиле доехали до Севастополя и поездом вернулись домой.

Часов в 5 утра 27 июля мы прибыли в Бахчисарай. Остановились в, кажется, единственной бахчисарайской гостинице «У фонтана». Она была выстроена в совершенно восточном стиле, все номера двух этажей выходят на веранды, окружающие внутренний дворик. Посреди двора находился фонтан — просто небольшой источник, из которого стекала вода в водоём, выложенный камнем. В Крыму все источники почему-то называются фонтанами. Возле источника — громадная виноградная лоза, листва которой закрывает весь внутренний двор, создавая живописный потолок. Сама гостиница более чем скромная и известностью пользуется только благодаря этой виноградной лозе.

Мы отдохнули, позавтракали и отправились осматривать остатки ханского дворца, который, несмотря на разрушения, сделанные временем*, всё ещё привлекателен, теперь уже больше по воспоминаниям о «Бахчисарайском фонтане» Пушкина[629]. Есть ещё прекрасное описание Бахчисарая в воспоминаниях Пассек[630] — воздух напоен запахами роз и, хотя ханов уже не было, Бахчисарай оставался столицей ханского царства. Но это было сто лет назад. Теперь всё поблёкло.

Часов в двенадцать мы все вшестером выехали на просторной линейке. Сначала дорога шла голой степью, но вскоре побежала по плодородной долине реки Качи между изгородями, за которыми виднелись деревья с соблазнительными фруктами — яблоками, грушами, сливами, грецкими орехами и винными ягодами. На полпути до Ай-Петри возвышается дворец «Коккозы» («Голубой глаз»), выстроенный князем Юсуповым, графом Сумароковым-Эльстон в чудесной горной местности в качестве «охотничьего домика» для приёма царской фамилии, когда высочайшая компания приезжала из Ливадии охотиться в эти места. Дворец и вправду был весь выдержан в голубых тонах и украшен изображением голубого глаза[631].

Наш извозчик уверял, что мы засветло доберёмся до вершины Ай-Петри. Но начался довольно крутой подъём, ехать пришлось шагом. Скоро стало очевидным, что засветло мы никак до Ай-Петри не доберёмся. Ущелья и горы, покрытые лесом, тонули в розовом свете заката. Сделалось очень свежо, так что мы все, кроме Катёнушки, шли пешком, обгоняя лошадей. Дорога вилась всё кверху через лес. Воздух напоён был запахом какой-то цветущей «омелы», напоминающей душистый жасмин. Когда окончательно стемнело, по всему лесу вдруг, словно свечи, зажглись маленькие огоньки — светляки (жуки); «свечи» зажглись в траве и на ветвях деревьев, точно в опере «Сказание о граде Китеже»[632]; обстановка была просто волшебная: тёмный лес, душистый чудный воздух и повсюду дрожащий свет южных светляков.

Наконец мы выехали из леса на плоскогорье Яйлы и часов в десять достигли турбазы, расположенной на самом перевале. Турбаза оказалась битком набита экскурсантами. Ночевать в ней не было никакой возможности. Рядом с базой помещалась метеорологическая станция, и я обратился к её директору. Он оказался исключительно любезным человеком, притащил в лабораторию несколько тюфяков и просил нас воспользоваться этим приютом. Спали мы, конечно, не-

* Дворец и его реликвии — ханская мечеть, зал заседаний ханского совета и фонтан слёз, в котором капля за каплей всё ещё капала вода — обветшали и производили впечатление забытого кладбища. — Прим. В. Д. Зёрнова.

важно, тем более что в этом же помещении спали два практиканта и один из них жутко храпел, но все остались довольны, что не пришлось всю ночь маячить под открытым небом.

Перед тем как укладываться спать, мы любовались со специально устроенной площадки сиявшей электрическими огнями Ялтой, которая была видна как на ладони, причём прямо под площадкой на расстоянии по отвесной линии в целый километр, а дальше — безбрежное море, но его в темноте не видно.

Рано утром, напившись чаю с красным вином (по поводу моих именин), которым мы запаслись в Бахчисарае, поехали по замечательному спуску через вековые сосновые леса. У водопада Учи-Су сделали привал, фотографировались. Не заезжая в Ялту, мы повернули вправо по Севастопольскому шоссе и по нижней дороге через виноградники мимо Ливадии и Ореанды подъехали к Чаиру. Помещение нам было обеспечено заранее, но не во дворце, а во флигельке, сплошь увитом плющом. В Чаире этим летом жил А. В. Щегляев, племянник Е. А. Богуславской, который только что женился на писательнице Агнии Барто. С ними мы списались, и они наняли нам это помещение.

Чаир знаменит, прежде всего, своими розовыми плантациями, и дворец, и флигель окружены ими. Выращенные здесь розы отправляют для продажи в Ялту. Около дворца имелся и обыкновенный цветник, а на самом краю над морем красовалась великолепная галерея, увитая вьющимися розами, и чудесная эспланада с двумя сходами к морю, вырубленными в скале. К сожалению, эти сходы, да и группы лавров в саду были сильно загрязнены: в Чаир постоянно приходили экскурсии из соседних домов отдыха, а никаких «удобств» для многочисленных посетителей предусмотрено не было, так что каждое укромное место использовалось для соответствующего употребления. Это были результаты поспешной пролетаризации Южного берега Крыма.

Дальних прогулок мы не предпринимали. Ходили, впрочем, в соседний «Мис-Хор» на запад и в противоположном направлении к «Ласточкиному гнезду». Да ещё я один поднимался в «Гаспру», посмотреть этот академический дом отдыха. Состав отдыхающих приятный, я сразу встретил академических знакомых.

Рядом с Чаиром помещается дача «Крамарж». Здесь отдыхал Н. А. Семашко с женой певицей Гольдиной и целой компанией артистов и артисток театра Станиславского. С балкона нашего флигелька по вечерам было слышно, как шумно веселилась театральная компания, как часто раздавались возгласы: «За здоровье Николая Александровича! Ура! Ура!». И слышать это приходилось не один вечер. А утром с чаирской эспланады можно было наблюдать небольшой крамаржский пляж: как венок из причудливых цветов, в пёстрых сарафанах отдыхали дамы, другие в изящных купальных костюмах плескались у берега. Но вот появляется в пёстром купальном халате милейший Николай Александрович, а за ним на подносах несут фрукты, напитки, виноград. В «венке орхидей» движение — все приветствуют любимого хозяина, а хозяин, скинув халат и оставшись в одних трусах, кидается в море и плавает и кувыркается в воде не хуже дельфина.

Как-то прохожу я перед вечером по узкой улочке между Чаиром и «Крамаржем». За каменной невысокой оградой Крамаржа слышу возгласы, смех. Я

забрался на кучу щебня и заглянул через ограду — картина из времён «Версаля». Пёстрые «орхидеи» играют в волейбол, а Семашко как судья сидит верхом на стуле и считает: «Три-ноль, три-один, четыре-один». Приятно было наблюдать людей, которые искренно веселятся, приятно было видеть, что Семашко, которого я знал как высококультурного и озабоченного народного комиссара, решавшего большие дела и берущего на себя огромную ответственность, — просто весёлый, приветливый хозяин.

К Н. А. Семашко я, конечно, невольно отношусь с предвзятой симпатией, вспоминая, как он принял меня в 1920 году, когда я хлопотал о снабжении Саратовского университета, как он помог мне освободиться из узилища в 1921 году и так по-человечески разговаривал со мною после моего освобождения и другой раз, когда я хлопотал о сохранении за собой Дубны[633].

Съезд физиков в Одессе[634]

В 1930 году во второй половине августа был созван съезд физиков в Одессе[635]. Это был последний «общий» съезд. После него стали устраивать «конференции» по специальностям. Может быть, это и рационально, но мне лично очень жаль, что общие съезды больше не собираются. Всегда было полезно потолкаться среди интересного общества, послушать доклады на самые разнообразные темы. Может, особенно умнее мы от этого не становились, но общий тонус повышался. Конференции по большей части проходят довольно вяло, собираются люди, которые и без того весьма часто встречаются и иногда удовольствия от этих встреч не получают. Впрочем, одна из конференций по акустике была многолюдна и интересна, это было году в 35-м, в расцвет ультра-, инфра-, электро- и других акустик. Теперь акустику заслонили всякие атомные процессы.

Митюня в январе 1930-го окончил университет и работал уже в ВЭИ, Танюша была студенткой химико-технологического факультета Плехановского института, Мураша — студенткой жирового техникума, так что всё семейство по положению о съезде могло быть его членами. Все впятером мы и отправились в Одессу. С нами же ехали на съезд в качестве переводчицы, так как опять было много иностранцев, Елена Анатольевна Богуславская и ряд Митюниных товарищей по университету.

В научном отношении съезд оказался бледным. Было, правда, несколько интересных докладов, но их привезли иностранцы. Помню доклад о твёрдом гелии[636], на общих собраниях делались обзорные доклады, но никто ни содержанием, ни формой не блеснул. На одном из общих собраний ожидали доклада химика Н. А. Шилова, но оказалось, что перед самым отъездом в Одессу, Шилов скоропостижно скончался[637]. Говорили, что он увязался с молодёжью в какую-то горную экскурсию, не рассчитал своих сил и, возвратившись переутомлённый, умер от паралича сердца.

Время, в которое собирался съезд, было концом нэпа. В магазинах можно было ещё кое-что купить, а в ресторанах пообедать за сходную цену. Посмотрели мы и самый город. Конечно, прежнего блеска уже не было: кафе «Фанкони» превратилось во второразрядную столовую, но на приморском бульваре в ресторане «Англия» было ещё почти роскошно. В этом ресторане мы обедали на прощанье — по 5 рублей с персоны.

Окрестности Одессы, которые я видел в 1903 году нарядными (дачи все в цветах, прекрасные пляжи), теперь потеряли всю свою привлекательность. Пригородный пляж «Ланжерон», когда-то гордость Одессы, оказался затоптанным, загрязнённым; «общественная уборная» на самом пляже так «благоухала», что мы поскорее покинули его; другое место, известное своим пляжем из бархатного песка, — «Аркадия», тоже было настолько поблекшим и загрязнённым, что мы и купаться не стали. Съездили мы на трамвае в новое купальное место — «Лузановку», оно более благоустроено: построены общественные раздевалки вроде длинных сараев и пляж не загажен. Но место это унылое.

Несмотря на все эти нововведения, несмотря на то, что знаменитая лестница от памятника герцогу Ришелье к морю заросла травой и пообломалась, сама Одесса производила какое-то радостное впечатление. На углах больших улиц продавались цветы. Народ подвижный, весёлый и даже нарядный. Немного смешила нас украинизация Одессы: на парикмахерских было написано «Голярня», над входом в столовые красовалась вывеска «Їдальня», а на углах улиц пешеходам рекомендовалось «подывитися» направо или налево. В уличной же толпе «украинской мовы» пока слышно не было. Все говорили на чистейшем великорусском. В начале украинизации всем профессорам на Украине предписывалось читать и писать исключительно по-украински. От этого многие, даже те, кто родился и прожил всю жизнь на Украине, испытывали большие затруднения; да и научной номенклатуры на украинском языке в то время не было, приходилось уже установившуюся номенклатуру читать с украинским акцентом. Я как-то получил из Киева от профессора Л. И. Кордыша его статью, трактовавшую какие-то движения электронов, которая начиналась такими словами: «Электрони рухаются...», я в первый момент был в полном недоумении, что же это такое делается с электронами?!

По окончании заседаний масса членов съезда отправилась на морскую прогулку до Батуми и обратно.

Не успели мы перейти по сходням на палубу теплохода «Грузия», как он отвалил от берега. Когда вошли в свои каюты второго класса, то были просто ошеломлены — в них стояла отчаянная духота, хотя иллюминаторы были открыты настежь. Казалось, здесь невозможно оставаться ни одной минуты, а ехать предстояло трое суток до Батуми и столько же обратно. Мы сейчас же на семейном совете решили сойти в Севастополе и по железной дороге вернуться домой.

Но погода была изумительная, нельзя сказать «море было как зеркало», — я никогда такого моря не видал, — всегда хочется применить горьковское выражение: «Море играло». Каюты через открытые иллюминаторы мало-помалу проветривались. И наше решение оставить теплоход стало не таким бесповоротным, а потом и вовсе нам расхотелось покинуть «Грузию».

«Грузия» и другой однотипный теплоход «Абхазия» были построены в Германии и назначались для дальних северных рейсов. Может, именно поэтому они были особенно тщательно, а первый класс даже роскошно, оборудованы. Мы спускались в машинное отделение, и вот тут-то я понял, какое преимущество представляют теплоходы перед пароходами. На пароходах машинное отделение и особенно котельные —

это какой-то ад, там невыносимая жара, всё черно и кочегары как какие-то черти. На теплоходе же всё блестит, всё чисто, всё делается автоматически*.

Вернувшись в Одессу, мы должны были, не теряя времени, заботиться об отъезде в Москву. Остановились мы в той же гостинице. Я сейчас же отправился в организационное бюро съезда и заказал билеты. Затем пошёл что-нибудь купить в дорогу. В магазине было очень тесно. И тут, оплатив уже покупку, вдруг обнаружил, что у меня пропал бумажник с оставшимися деньгами — рублей 180. Хорошо, что в Одессе всё было оплачено и взяты билеты, да дома оставалась небольшая сумма денег, так что до Москвы нам вполне хватало. И всё же было досадно, тем более что Катёну пропажа могла расстроить. Поэтому я решил скрыть от неё эту историю. Но, вернувшись в гостиницу, застал у нас Елену Анатольевну, рассказывавшую со смехом, как только что в трамвае обокрали В. К. Семенченко**. Подождав, пока Елена Анатольевна с Катёнушкой вдоволь потешатся над растяпостью Владимира Ксенофонтовича и, почувствовав — настал удобный момент для признания моей собственной растяпости, произнёс:

— Если вы хотите действительно посмеяться, то слушайте, что случилось со мной! — И рассказал им о пропаже бумажника с деньгами.

Воровство в Одессе тогда было «массовым явлением».

После ряд лет мы удовлетворялись отдыхом в Дубне и на юг не ездили.

1936 год. Геленджик*

Летом 1936 года мы всей семьёй на две недели ездили в Геленджик, но этой поездке необходимо предпослать некоторое предисловие.

Мура осенью 1931 года, окончив жировой техникум, поступила на первый курс бывшего химико-технологического факультета МВТУ[638]. Он потом выделился в Химико-технологический институт[639], в котором училась и Танюша[640]. Весной 1932 года Химико-технологический институт преобразовали в Военно-химическую академию[641]. Мурочка автоматически превратилась в военного — надела военную шинель, шлем и всё остальное красноармейское обмундирование. Но к концу 1932 года проходил медицинский отбор учащихся академии, и Мурочку по состоянию здоровья отчислили и направили с хорошей учебной аттестацией на химический факультет первого Московского университета. Конечно, атмосфера университета гораздо более подходила для неё, чем дух военной академии. Химический факультет помещался в здании бывшего анатомического театра, так что Мурочка училась в стенах здания, которое построил её дедушка Дмитрий Николаевич и которому он посвятил всю свою жизнь. Мне это обстоятельство было как-то особенно приятно.

Осенью 1934 года в университетском клубе[642] организовался студенческий симфонический оркестр, и Мура с увлечением принимала в нём участие, сидя на концертмейстерском месте вторых скрипок. Оркестром дирижировал весьма способный молодой профессиональный дирижёр Цейтлин, а главным организатором и

---

* Теперь оба этих прекрасных теплохода лежат на дне моря, потопленные немцами в войну.— Прим. В. Д. Зёрнова.

** Он стоял в проходе с рюкзаком на спине, жулик разрезал рюкзак и потаскал оттуда целый ряд вещей. — Прим. В. Д. Зёрнова.

одним из первых скрипачей был студент механико-математического факультета Георгий Тимофеевич Иванов*.

Оркестровый коллектив представлял дружную компанию, и с музыкальной стороны оркестр, хотя и небольшой, производил очень хорошее впечатление. Он выступал на клубных концертах с небольшой программой. За успехи по музыкальной части и выступления в клубных концертах члены оркестра летом 1935 года были премированы путёвками в студенческий дом отдыха в Геленджике.

Геленджик расположен на берегу совершенно закрытой крутой бухты. В 1905 году он вошёл в историю революции. Здесь образовалось самостоятельное правительство, во главе которого совершенно неожиданно для самого себя был поставлен Александр Яковлевич Гречкин, он, будучи студентом, часто бывал у нас, так как являлся симбирцем и товарищем моего двоюродного брата Гути Попова. Собственно, Гречкин вовсе не был настроен особенно революционно, он просто находился в это время в Геленджике, вёл какую-то работу, был в хороших отношениях с рабочими, и когда последние решили образовать собственное рабочее государство, то потребовали, чтобы он встал во главе правительства и организовал оборону. Не выполнить требование рабочих было рискованно, кроме того, Гречкин был человеком весьма экспансивным. Он решился возглавить «Геленджикскую республику»[643]. Нашли пушку, вероятно, оставшуюся от времён покорения Кавказа, но вскоре к берегам подошла Черноморская правительственная эскадра и потребовала «покорности», угрожая в случае неповиновения расстрелять Геленджик из двенадцатидюймовых орудий. Силы были абсолютно неравные. Глава Геленджикского правительства с белым флагом отправился на флагманский корабль и добился вполне приемлемых условий сдачи. По возвращении на берег Гречкин предпочёл скрыться как от рабочих, так и от победивших правительственных властей и бежал с чужим паспортом. В конце концов он попал в Одессу, где и был выдан правительству своим служителем. Гречкина судили, и он долгие годы сидел в тюрьме[644]. Мама посылала ему как-то передачу, бельё и что-то ещё, а он из тюрьмы прислал маме цепочку своей работы, сплетённую из конского волоса. Освобождён он был только после Февральской революции и работал инструктором по хлебопечению; был как-то у меня, привёл своего племянника Рагозинского, очень способного юношу, которого я взял лаборантом. Впоследствии Александр Яковлевич был опять арестован, теперь уже Советской властью[645].

Зимой 1935/36 года у нас организовался молодёжный квартет, и я принимал в нём участие в самом начале, играя партию альта. Жора сделался, будучи ещё студентом, директором университетского клуба и на лето 1936 года устроил командировку всего оркестра в студенческий дом отдыха в Геленджик для работы на эстраде этого «курортного местечка»[646]. Дирижировал оркестром сам Жора. Мурочка уехала со своей университетско-музыкальной компанией в начале лета и писала нам милые письма, расхваливая Геленджик и уговаривая нас также приехать туда.

Молодые заранее приготовили нам помещения. Митюня и Танечка поместились в гостинице, у каждого имелось по маленькой комнатке, а для меня с Катёной была снята комната в частном доме, недалеко от приморского бульвара. Купальни находились тут же.

* Жора впоследствии женился на Муре.— Прим. В. Д. Зёрнова.

Мне достали скрипку, и я после двух-трёх репетиций уже участвовал в выступлениях студенческого оркестра и даже в попурри из «Травиаты» — играл сольные скрипичные места, о чём было особо анонсировано. Составили и квартет — играли днём на балконе дома, в котором мы с Катёной жили. Приятно, конечно, быть окружённым молодёжью, тем более что и молодёжи, по-видимому, наше присутствие было тоже приятно.

Обучение детей

Ещё в Саратове Митюня поступил в частную гимназию, которую до революции 1917 года содержал большой педагог Добровольский, и пробыл в ней до весны 1918 года. Началась революционная перестройка школы, которая, как известно, проходила весьма болезненно[647]. Чтобы не подвергать детей тяжёлым результатам начального экспериментирования, мы образовали небольшую группу человек в восемь, и лучшие педагоги взялись руководить в ней занятиями. Дело пошло очень хорошо. Мальчики сдружились, да и учение им давалось нетрудно. Потом занятиями по всем предметам стала руководить одна учительница — Анна Гавриловна. Руководила она с любовью и большим педагогическим мастерством. Митюня продолжал заниматься в этой группе до самого переезда в Москву в 1921 году.

В Москве все трое поступили в школу, которая была образована на базе и в помещении гимназии Н. П. Щепотьевой. Школа жила ещё старыми традициями. Начальницей оставалась Щепотьева, много было и старых преподавателей: Мария Устиновна Шмелёва, Евгений Иванович Вишняков (историк), Эмилия Карловна (немка). Сначала всё шло хорошо. Но когда Митюня был уже близок к окончанию школы, она сама стала разваливаться. В ней оставили только первые четыре класса, а старшие, в том числе и Митюнин, перевели в другую школу, в том же переулке, где прежде помещалась женская гимназия Перепёлкиной. Ученики в ней сплошь и рядом не посещали занятия, и я счёл за благо взять Митюню отсюда и устроить его на старший курс рабфака при Ломоносовском институте. Там были хорошие преподаватели. Правда, сына профессора согласились принять на рабфак только «вольнослушателем». Официального документа об окончании рабфака ему не выдали, а лишь написали на клочке бумаги, что он наравне с другими закончил курс. Теперь предстояло попасть на физико-математический факультет университета. Рабфаковцев принимали без всякого затруднения и без всякого экзамена, а для остальных производился довольно строгий отбор. Тут, частично под моим нажимом, удалось использовать «клочок бумаги», который Митюня получил при окончании рабфака.

В университете обстановка в общем была хорошей. Профессора прекрасные: математику читал И. И. Привалов и упражнения вела замечательный педагог Цубербиллер, физику читал В. И. Романов, специальную работу по ультракоротким электромагнитным колебаниям Митюня делал у Г. В. Потапенко, ученика В. И. Романова. И товарищи подобрались хорошие: Миша Шесминцев, Коля Хлебников, Венечка Ерохин*.

---

* Миша Шесминцев особенно был привязан к Митюне. — Прим. В. Д. Зёрнова.

Всеми делами в университете верховодила компания студентов. Деканами были студенты. И вот в декабре 1929-го, за месяц перед последними экзаменами, совершенно неожиданно Митюню и его товарищей исключили из числа студентов, будто бы потому, что лишний год оставались на старшем курсе. Конечно, дело было не в том. Я отправился к декану и говорю ему:

— Что же вы делаете? Государство затратило большие средства на воспитание специалистов, а вы за месяц до получения дипломов выбрасываете молодых людей и не даёте им возможности получить права квалифицированных специалистов!

— Ах, я этого не знал, это всё студенческая комиссия перегнула палку, — стал сетовать декан.

Благодаря моему вмешательству, всех восстановили в студенческих правах. Митюня и его друзья сдали последние экзамены. Однако этим не кончилось: «студенческая комиссия по распределению» не давала Митюне направления. Но я знал, что в Москве, имеются места и, что В. И. Романов делал даже специальную заявку на Митюню для Всесоюзного электротехнического института (ВЭИ).

Через несколько дней Митюня получил открытку с извещением, что он направляется на работу в лабораторию В. И. Романова в ВЭИ[648]. Митюня весьма успешно работал в этом институте, а теперь он, блестяще защитив в 1941 году кандидатскую диссертацию и сделавшись известным специалистом по электронике, готовит докторскую диссертацию, работая старшим научным сотрудником в Академии наук. С 1932 года Митюня работает и в МИИТе. Он прекрасно читает общий курс.

С Танюшиным обучением также было много перипетий. Её тоже перевели в другую школу, куда попал и Митюня, потом снова перевели в школу, помещавшуюся в здании бывшей мужской гимназии, которую когда-то кончал я, затем она попала на химические курсы имени Нансена в Мерзляковском переулке и, наконец, кончила их, что было эквивалентно окончанию средней школы.

Несмотря на эти передряги, Танюша окончила школу с хорошей подготовкой для поступления в высшее учебное заведение. Вкусы её лежали в области технических или естественно-исторических наук, она любила литературу, искусство, но в то время никаких гуманитарных вузов не было, вся молодёжь шла в технику. И мне казалось, что Танюше всего легче поступить в Плехановский институт, в котором я тогда заведовал кафедрой. Танюша держала вступительные экзамены и была принята на химико-технологический факультет[649]. На первом курсе она слушала мои лекции, и мне всегда было очень приятно среди других слушателей видеть и свою дочку. Я с особенным удовольствием, будто для неё одной, читал лекции.

Химико-технологический и электротехнический факультеты были прекрасно обставлены и обслуживались видными профессорами. Казалось, учебное заведение было вполне устойчивым. Но вот был организован новый экономический факультет, потом, как грибы, выросли ещё какие-то факультеты с необычайными специальностями: «беконной промышленности», «кондитерской» и всяких других промышленностей. Что уж там преподавалось, трудно сказать, но только все старые основные факультеты были уничтожены, хотя впоследствии и все новые «беконные» факультеты были также расформированы. Обо-

рудование распылилось по разным втузам. Плехановский же институт превратился в чисто экономический вуз. Студентов химико-технологического и электротехнического факультетов после их расформирования рассовали по другим втузам, а некоторых и вовсе отчислили. Танюша в конце концов попала в Технологический институт[650], где ей пришлось заниматься по фотохимической специальности.

Студентов во всякое время года отрывали от занятий и посылали на самые разнообразные заводы на практику, которая зачастую вовсе не соответствовала их специализации. Чего только ни делала Танюша на такой «практике»: на металлургическом заводе она была, конфеты, печенье и пряники она делала, и пиво она варила. Всё это, по крайней мере, было в Москве или под Москвой. Но вот, когда она училась на старшем «терме»*, среди зимы в самые холода её отправляют в Черниговскую губернию в местечко Шостку на фотоплёночный завод, теперь хоть по специальности.

Мы, конечно, с некоторым страхом отпускали Танюшу в неизвестную Шостку. Эта практика была довольно длительная, пришлось взять порядочно вещей: с Танюшей была большая «фибра» с бельём, платьями и другими необходимыми вещами. В дороге спутники-студенты ей всячески помогали и опекали её, но когда приехали, то оказалось, что завод никаких практикантов не ожидал — администрация института посылку практикантов ни с кем не согласовывала. Никакого общежития приготовлено не было, так что молодым людям предложили устраиваться самим. Провертевшись на стульях три ночи и страшно устав, на четвёртый день Танюша на завод не пошла, а собрала свои вещи и «бежала» с «трудового фронта».

Танюша до того была утомлена, что как только села в вагон, крепко заснула. А когда проснулась, то обнаружила, что все её вещи украдены. Танюша появилась дома, обливаясь потоками слёз. В этот же день я отправился к директору института и заявил ему крайнюю мою претензию и потребовал направить Танюшу в такое место, куда я сам могу добраться, чтобы помочь ей устроиться. Я знал, что такие места у института имеются. Директор был любезен и обещал исполнить моё требование. Снова виноватыми оказались какие-то студенческие организации, на этот раз, кажется, профком, который распределял студентов на практику. Когда я опять пришёл к директору, то его настроение под влиянием «студенческих организаций» изменилось. Оказалось, что для искупления своего «преступления» Танюша должна возвратиться в Шостку. Я категорически заявил, что тогда я прошу отчислить Таню из числа студентов. Директор стал уговаривать меня: «Ведь она уже на старшем терме! Но она всё же должна понести наказание за оставление «трудового фронта»». Я твёрдо настаивал на своём. И директор предложил в качестве «кары» перевести Таню в экстернат, который освобождал студентов от обязательной практики. Я согласился.

Вскоре институт был превращён в Военно-химическую академию, и экстернат был ликвидирован, а директор, как я слышал, «выведен в расход». Что уж там было, не знаю. Таня не поохотилась поступать в другой вуз, а поступила сначала

* Теперь курсы «для пользы дела» называли термами.— Прим. В. Д. Зёрнова.

на завод фотопластинок*, потом работала довольно долго лаборанткой в Карповском институте[651]. Однако настоящего вкуса к химии она не имела, поэтому стала ещё заниматься английским языком на вечерних курсах. Конечно, ей было очень трудно. Я посоветовал ей поступить в институт иностранных языков[652]. Танюша так и сделала. И как-то незаметно перед самой войной окончила курс английского факультета. Сначала она получила работу в Информбюро[653] по приёму английского радио, но вскоре, в связи с войной, всех начинающих работников уволили. Танюша отправилась в эвакуацию вместе с нами.

Мурочка училась как-то более радостно и благодаря своему характеру приобрела много друзей. В Москве она, как Митюня и Танюша, продолжила учёбу в бывшей гимназии Н. П. Щепотьевой. Классом руководила Мария Устиновна Шмелёва, замечательный педагог, которая умела создать исключительно хорошую атмосферу. По окончании четырёх классов Мурочка была принята в школу в Хлебном переулке, весьма заурядную. После семилетки она училась в школе с химическим уклоном, помещавшейся в здании бывшего второго реального училища[654]. Эта школа, напротив, оставила самые прекрасные воспоминания, и опять благодаря тому, что химию возглавлял замечательный педагог Михаил Павлович Даев. Он был и хороший музыкант (скрипач), организовал при школе музыкальные классы. Мура в это время брала уроки игры на скрипке у Карпова и сделала довольно заметные успехи. В химической школе Даев организовал также ученический оркестр[655], в котором и Мурочка участвовала, и я помогал немного. И ученье было хорошо поставлено, а музыка украшала школу и привязывала маленьких музыкантов и к учебному заведению, и к милому Михаилу Павловичу. С Даевым мы, кстати, и дома играли квартет.

По окончании девяти классов Мурочка осталась там же, в жировом техникуме. Школу с химическим уклоном к этому моменту ликвидировали и на её месте открыли техникум. Но от этой передряги Мурочка не пострадала: девятилетку она успела кончить.

Тогда существовало правило: окончившему непосредственно техникум поступить в высшее учебное заведение было нельзя — необходимо было отработать по специальности не менее трёх лет. Поэтому техникум она не закончила и поступила на первый курс Технологического института, где училась и Танюша. После же преобразования института в Военно-химическую академию она была направлена для дальнейшего обучения в университет, о чём я уже писал. В университете Мурочка, окружённая друзьями, училась очень охотно. Университет она кончила дипломной работой по физической химии, которую защитила с отличием. Ещё до окончания курса она начала работать в лаборатории физической химии у профессора Попова, потом перешла в Академию наук в лабораторию академика Ильинского. По итогам своей работы в лаборатории она делала доклад на академической конференции молодых учёных.

Работала она восемь часов, да ещё час обеденного перерыва — итого девять, да громадное расстояние до Калужской улицы. Каждый день она выходила из дома в 8 часов утра и возвращалась не раньше 7 часов вечера. Помимо прочего, в лаборатории, находившейся в подвальном помещении, не работало вентиляцион-

* Таня работала сначала в лаборатории у Вениамина Аркадьевича [Зильберминца], а потом в институте Карпова.— Прим. Ек. Зёрновой.

ное устройство. Мурочка очень уставала и в конце концов захворала, долго лежала и должна была перейти на инвалидность. Тут грянула война, затем эвакуация. Так Мурочка в Академию и не вернулась.

В Новосибирске она взяла педагогическую работу на кафедре химии МИИТа, на ней и осталась. Педагогом она показала себя прекрасным. Этого рода деятельность даёт больше свободы, а ей ведь приходится опекать по хозяйству и своих старых родителей.

Танюша за время студенчества нашла себе по сердцу друга[656], и 3 января 1939 года появился на свет наш милый внучек Алёшенька, для которого я и начал писать эти воспоминания.

КОММЕНТАРИИ

1 Данный раздел составлен публикатором, объединившим в одно целое два авторских обращения к пятилетнему внуку, помещённых в начальной и заключительной частях 1-й тетради рукописи.

2 Отец Д. Н. Зёрнова — профессор Николай Ефимович Зёрнов (1804—1862), читавший курс чистой математики в Московском университете с 1835 года по 1862 год, по свидетельству специалистов, «внимательно следил за новейшими достижениями науки и использовал их в своих лекциях, которые находились на уровне передовой науки того времени. Написанный им в 1842 г. курс математического анализа считался лучшим курсом. [...] Как преподаватель Зёрнов пользовался большим и заслуженным авторитетом у студентов. Следует отметить, что Зёрнов был одним из немногих профессоров университета, выступавших за допуск в университет женщин» (История Московского университета. В 2 т. Т. 1. М., 1955. С. 123).

Столь же высоких и почётных вершин в стенах Московского университета достигла научно-педагогическая деятельность и Д. Н. Зёрнова. Характеризуя эту грань его личности, П. И. Карузин свидетельствовал: «Эрудиция, дар слова, красивая образная речь, прекрасная дикция и художественные способности при широком понимании задач преподавания делали изложение Д[митрия] Н[иколаевича] живым и интересным; чтение лекций обычно сопровождалось прекрасно набрасываемыми схемами и рисунками и демонстрацией большого количества музейных и свежих препаратов» (Карузин П. И. [Краткий очерк научно-организаторской и педагогической деятельности Д. Н. Зёрнова]. М., 20 августа 1917 года. Машинопись. Л. 4 // Личный архив В. Д. Зёрнова, входящий в состав Коллекции документов по истории Саратовского университета В. А. Соломонова (Саратов) [далее — Коллекция В. А. Соломонова]).

3 Трёхтомный труд Д. Н. Зёрнова «Руководство описательной анатомии человека» (М., 1890—1892), выдержавший в общей сложности 13 переизданий.

4 «Обыкновенно, — замечал в связи с этим П. И. Карузин, — профессора теоретических предметов занимались медицинской практикой, занятия которой были возможны благодаря малой дифференцировке и небольшому объёму курсов». Что же касается Д. Н. Зёрнова, то в начале своей научно-педагогической карьеры он, «несмотря на скромное доцентское жалование (1200 р.), не желая отвлекаться от своей работы в Университете, совершенно отказывается от врачебно-практической деятельности, не берёт на себя никаких дел вне Университета, все свои силы и способности отдаёт на выработку курса и улучшение для преподавания на самых широких основаниях» (Карузин П. И. Указ. соч. Л. 3, 3об.).

«Факультетское обещание» — врачебная клятва, в которой говорилось: «Принимая с глубокою признательностью, даруемые мне наукою права доктора медицины и постигая всю важность обязанностей, возлагаемых на меня сим званием, даю обещание в течение всей моей жизни ничем не помрачать чести сословия, в которое ныне вступаю. Обещаюсь во всякое время помогать, по лучшему моему разумению, прибегающим к моему пособию страждущих, свято хранить вверяемые мне семейные тайны и не употреблять во зло оказываемого мне доверия. Обещаю продолжать изучать врачебную науку и способствовать всеми своими силами её процветанию, сообщая учёному свету всё, что открою. Обещаю не заниматься приготовлением и продажею тайных средств. Обещаю быть справедливым к своим сотоварищам — врачам и не оскорблять их личности; однако же, если бы того требовала польза больного, говорить правду прямо и без лицемерия. В важных случаях обещаю прибегать к советам врачей, более меня сведущих и опытных; когда же сам буду призван на совещание — буду по совести отдавать справедливость их заслугам и стараниям» (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 340, л. 104).

5 Зоологический музей Московского университета основан в 1791 году как Кабинет натуральной истории; открылся для посетителей в 1805 году; в 1896—1902 годах по проекту архитектора К. М. Быковского было построено современное здание музея.

6 Слово имеет семь значений; в данном случае — пункт, место (фр.).

7 Имеется в виду коронация на российский престол Николая II, проходившая в Москве 14 мая 1896 года.

8 Так дети ласково называли Настасью Александровну Пудину (1855—1928), прослужившую в доме Зёрновых пятьдесят лет.

9 О пристрастии отца к сочетанию умственного и физического труда, В. Д. Зёрнов в одной из своих неопубликованных статей вспоминал так: «Всё свободное время в деревне, если не было спешных корректур постоянно переиздававшегося учебника, отец проводил в саду, то вскапывая новые грядки под клубнику, то выпиливая сушь, то подрезая дички у яблонь, то опрыскивая или обмазывая их. У него собралась хорошая библиотека по цветоводству, плодоводству и пчеловодству. Если работы в саду не было, отец работал в своей мастерской, строя немудрую мебель или какие-нибудь приспособления нужные в саду или в домашнем хозяйстве» (Зёрнов В. Д. Профессор Дмитрий Николаевич Зёрнов. Рукопись. // Коллекции В. А. Соломонова Л. 11).

10 Берейтор — специалист, обучающий верховой езде.

11 Головкины — старинный дворянский и графский род. Наиболее известными представителями его являются: Гавриил Иванович Головкин (1660—1734), канцлер и сенатор, приближённый и доверенное лицо Петра I, возведенный в 1707 году в графы Римской империи и утверждённый в этом звании в 1709 году, начав собою тем самым первый на Руси графский род. И три его сына: Иван Гаврилович (1687—1734), посланник в Голландии и сенатор; Александр Гаврилович (1688—1760), посланник в Берлине, Париже и Голландии и сенатор; Михаил Гаврилович (1699—1754), главный директор монетной канцеляри (в Москве) и канцелярии монетного управления.

12 Сочельник (сочевник) — канун дня Рождества Христова.

13 Имеется в виду Торговый дом «Юлиус-Генрих Циммерман» в Москве (Кузнецкий мост, дом Захарьина).

14 Речь идёт о директоре Департамента общих дел Министерства народного просвещения Василии Александровиче Рахманове (1851—после 1914).

15 Екатерина Егоровна Машковцева (1846—1892), тётя В. Д. Зёрнова по материнской линии.

16 В Новосибирске семья Зёрновых, эвакуированная вместе с другими сотрудниками Московского института инженеров железнодорожного транспорта, находилась с 1941 по 1942 год.

17 «Ах, такой маленький!» (нем.).

18 «Поповка» — тип русского броненосца круглой формы, проектированного и построенного по идее и под руководством адмирала Андрея Александровича Попова (1821—1898).

В истории русского военного судостроения А. А. Попов занимает видное место как один из сотрудников великого князя Константина Николаевича в создании броненосного и крейсерского флота. Активное участие в нём он начал принимать с 1856 года в качестве совещательного члена кораблестроительного комитета, а с 1870 года — в качестве члена кораблестроительного отделения морского технического комитета. «Под его руководством построены: броненосец „Пётр Великий", поповки „Новгород" и „Вице-адмирал Попов", императорская яхта „Ливадия" и несколько клиперов смешанной системы и корветов с бортовой бронёй. Обладая непреклонной волей, Попов в своих идеях доходил до увлечения, стоившего России довольно дорого, именно — к постройке поповок, которые в основе своей имели, несомненно, правильную мысль, но неудачные лишь из-за того, что эта мысль была осуществлена в самом крайнем пределе.[...] Более удачными оказались другие суда, менее отступавшие от общепринятой конструкции: проектированный по его идее башенно-брустверный броненосец „Пётр Великий", бывший в своё время (1878) одним из наиболее сильных военных судов; клипера смешанной системы, осуществившие идею небольшого крейсера для дальнего плавания; корветы „Генерал-адмирал" и „Герцог Эдинбургский", представлявшие собой бронированные рангоутные крейсера» (РБС: В 20 т. Т. 12. М., 2001. С. 263—264).

19 Аршаулов Вадим Павлович (1858 или 1859 — 1942), инженер-техник, инженер-механик, изобретатель, автор ряда усовершенствований дизельных двигателей. Профессор Политехнического института. В 1906—1912 гг. преподавал проектирование судовых механизмов в С.-Петербургском технологическом институте, в 1912—1916 гг. — в Институте путей сообщения имени Александра I. Входил в Высочайше учреждённый Особый комитет по усилению военного флота на добровольные пожертвования, один из председателей Общества пароходства по Волге и Каспийскому морю «Кавказ и Меркурий». В 1906—1916 гг. член правления бельгийского акционерного общества «Русский провиданс»; Общества технологов. Член советов: строительного общества «Гриффитс и К°», францус-

кого общества «Сумских машиностроительных заводов», член правления общества электрических аккумуляторов «Рекс», директор транспортного и страхового общества «Кавказ и Меркурий». После 1917 г. В. П. Арпаулов эмигрировал во Францию, где продолжил активно заниматься научно-педагогической и общественной деятельностью. Умер 28 декабря 1942 года в Париже.

20 Дополнительных сведений о существовании и дальнейшей судьбе этой исторической реликвии обнаружить не удалось.

21 Имеется в виду экскурсия В. Д. Зёрнова в Грецию в 1903 году в составе студенческого историко-филологического Общества при Московском университета.

22 Вера Николаевна Краснопевцева [урождённая Зёрнова] (1838—1909) и Александра Николаевна Зёрнова (1833—?), тёти В. Д. Зёрнова по отцовской линии.

23 Директором Московской 5-й гимназии Александр Николаевич Шварц (1848—1915) был утверждён 22 октября 1887 года и оставался в этой должности до 1900 года; пост министра народного просвещения он занимал с 1 января 1908 года до 25 сентября 1910 года.

24 Детский симфонический оркестр при Синодальном училище в Москве организован А. А. Эрарским и его женой в 1887 году и просуществовал до 1897 года.

25 Подробнее об изобретённых Эрарским инструментах и их техническом устройстве см.: Кашкин Н. Д. Детский оркестр А. А. Эрарского // Русские ведомости. 1895. 8 апреля.

26 Речь идёт о виолончелисте Марониме Леонидовиче Померанцеве (1875—?), окончившем математическое отделение физико-математического факультета Московского университета и служившем затем контролёром на Северной железной дороге.

27 Для детского оркестра Танеевым была написана симфония в 4-х частях, судьба которой до сих пор остаётся неизвестна.

28 В приведённой автором биографической справке о Ю. Н. Померанцеве допущена неточность. Окончив в 1902 году Московскую консерваторию, Померанцев до 1914 года состоял секретарём дирекции Московского отделения Российского музыкального общества. Как дирижёр дебютировал в 1909 году в Оперном театре С. И. Зимина, с 1910 по 1918 год являлся дирижёром балета Большого театра. За границу композитор эмигрировал лишь в 1919 году. Последние годы жил и работал в Париже, где 28 мая 1933 года и умер.

29 В период с 1889 года по 1901 год директором Синодального училища являлся музыковед, палеограф и хоровой дирижёр, профессор Московской консерватории Степан Васильевич (у автора ошибочно указано — Фёдорович) Смоленский (1848—1909).

30 Речь идёт о концерте детского симфонического оркестра, состоявшемся в зале Синодального училища 9 апреля 1895 года. В связи с болезнью Эрарского дирижировал им Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов (1859—1935); исполнялись переложения пьес Баха, Бетховена, Шопена, Чайковского, а также специально написанные для этого оркестра пьесы Аренского и Корещенко.

31 Анатолий Александрович Эрарский умер в 1897 году.

32 Речь идёт о широко распространённом в тот период и не утратившем своей эффективности и спроса в наши дни методе «прямого» (наглядного беспереводного) обучения иностранным языкам, разработанного американским педагогом, немцем по происхождению, Максимилианом Бёрлицем (1852—1921).

33 Страстная неделя — последняя неделя отмечаемого православной церковью перед Пасхой Великого поста. В эти дни верующие вспоминают о страданиях Иисуса Христа перед его мученической кончиной на кресте.

34 Имеется в виду Татианинская, Никитского сорока, домовая церковь при Московском университете, построенная по проекту архитектора Е. Д. Тюрина и действовавшая с 1837 года по 1919 год. В советское время в её помещении размещался Дом культуры гуманитарных факультетов МГУ. С 1995 г. служба в церкви вновь возобновилась.

35 Храм Христа Спасителя — величественное 103-метровое сооружение, вмещавшее под свои своды 7200 человек, было воздвигнуто в 1837–1883 годах по проекту архитектора К. А. Тона в память победы русского оружия в Отечественной войне 1812 года. В 1931 году на месте храма было решено воздвигнуть гигантский Дворец Советов. «Храм Христа Спасителя был буквально ободран и выпотрошен: его богатейшее внешнее и внутреннее убранство по большей части погибло. 5 декабря 1931 года серией взрывов храм был уничтожен. Но и Дворцу Советов не было суждено „вознестись“ на этом месте — помешала война, а после войны было не до дворца. В огромном котловане был со-

здан плавательный бассейн «Москва»». (Кондратьев И. К. Седая старина Москвы. Изд. 2-ое стереотипное. М., 1999. С. 307).

В феврале 1990 года Священный Синод Русской Православной Церкви благословил возрождение Храма Христа Спасителя и обратился в правительство с просьбой разрешить восстановить его на прежнем месте. 7 января 1995 года состоялся торжественный молебен с закладкой камня и памятной доски в фундамент воссоздаваемого Храма, а 19 августа 2000 года Святейшим Патриархом Алексием II было совершено его Великое освящение.

36 Просфира (просвира) — маленький круглый белый пресный хлебец, употребляемый в некоторых православных богослужениях и обрядах.

37 Светлая Заутреня — последняя ночная (на рассвете) христианская церковная служба в дни церковных праздников.

38 Амвон — возвышение перед Царскими Вратами православного храма, ведущими в алтарь, с которого произносятся проповеди и молитвы, читаются евангелие во время богослужения.

39 Колокольня Ивана Великого (1505–1508, надстроена до высоты 81 м в 1600 году при Борисе Годунове). «...Всех колоколов 33, из них 4 в пристройке и 29 на главной колокольне. Самый большой колокол, называемый Успенским или праздничным, находится в пристройке, в нём весу 4000 пудов. Мастер Богданов отлил его из упавших от взрыва Кремля в 1812 г. [...] Лестница, ведущая на колокольню, имеет 409 ступеней» (Русский архив: Альманах. Вып. 1. М., 1990. С. 25–26). В 1930-х годах колокольня была разрушена.

40 Царские Врата — иначе святые или великие; находятся в середине иконостаса, через них выносятся святые дары.

41 Московский ресторан «Стрельна» (Петербургское шоссе, собственный дом).

42 Семья крупных российских предпринимателей, владельцев Торгового дома «Братья И., К. и Я. Прохоровы» (с 1843) и «Товарищества Прохоровской Трёхгорной мануфактуры» (с 1874).

43 Людвиг Карлович Альбрехт (1844 – после 1898), виолончелист, композитор, музыкальный деятель и педагог; в 1878–1889 годах преподавал в Московской консерватории, в 1881–1893 годах играл в оркестре Большого театра. После 1893 года преподавал в Саратове. Из его сыновей наибольшую известность приобрёл, ставший позже музыкантом, Валерий Львович [Людвигович] Альбрехт (1878–1935). Окончив в 1897 году Московское реальное училище и Саратовское музыкальное училище, где учился под руководством отца, он с 1903 года работал в Этнографическом отделе Музея русского искусства Александра III (впоследствии Этнографический музей) в С.-Петербурге. В 1916–1918 годах находился на военной службе в 9-ом Кавалерийском запасном полку. В 1918 году был в составе кругосветной экспедиции по спасению тысячи петроградских детей, с участием организаций Американского, Шведского и Российского Красного Креста. По возвращении продолжил работу в Этнографическом музее в качестве инвентаризатора научных коллекций и научного сотрудника (см.: РНЭ: т. 1: А — И. М., 1999. С. 42, 44).

44 Имеется в виду Евгений Карлович [Эйген Мария] Альбрехт (1842–1894), скрипач, музыкальный и общественный деятель, один из основателей (вместе с братом Людвигом) Петербургского общества квартетной музыки (1872; с 1878 г. — Общество камерной музыки) и его пожизненный председатель.

45 Саратовское музыкальное училище при местном отделении Русского музыкального общества, основано в 1895 году. В 1912 году преобразовано в императорскую Алексеевскую консерваторию (с 1935 г. — Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова).

46 Премия имени Владимира Петровича Мошнина установлена в 1887 г. из средств, пожертвованных его вдовой; ежегодно присуждалась Московским обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии «за самостоятельные научные исследования в области физики и химии, а также за выдающиеся изобретения и усовершенствования по практическому приложению этих наук с соблюдением очередности между ними».

В 1904 году по рекомендации П. Н. Лебедева на соискание этой премии была представлена работа В. Д. Зёрнова «Сравнение методов измерения звуковых колебаний в резонаторе». Заслушав доклад соискателя, сделанный в Обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии 1 октября 1904 года, члены комиссии по присуждению премии единодушно заключили: «...в своих исследованиях и устроенных им приспособлениях г[осподин] Зёрнов обнаружил большие знания и остроумие и подвинул вперёд весьма важный вопрос...» (Тр. ОЛЕ. Т. XII, вып. II (Изв. ИОЛЕАЭ. Т. CVII, вып. II). М., 1904. С. 41).

47 Владимир Германович Аппельрот умер 23 августа 1897 года.

48 Несколько иначе кончину императора Александра III описывает современный историк А. Н. Боханов:

«И наступило 20 октября. Всю ночь царь не смыкал глаз, закуривал и тут же бросал одну папиросу за другой, чтобы хоть как-то отвлечь себя. С ним в комнате были императрица и один из врачей. Они пытались занять больного разговорами. В пять утра он выпил кофе с женой. Больного посадили в кресло в середине комнаты. В восемь утра пришёл цесаревич. Затем стали приходить другие: брат великий князь Владимир и сестра герцогиня Эдинбургская, только накануне вечером приехавшая. Постепенно собралась вся фамилия.

Государь был со всеми ласков, но мало говорил. Большей частью лишь улыбался и кивал головой. [...] Монарх сохранил самообладание до последней минуты. [...]

В половине одиннадцатого Александр III пожелал причаститься ещё раз. Вся семья встала на колени, и умирающий неожиданно уверенным голосом стал читать молитву Верую Господи.... [...] Священник читал отходную молитву, вокруг рыдали. Около трёх часов дня доктор Лейден потрогал руку императора и сказал, что пульса нет. Самодержец скончался» (Боханов А. Н. Николай II. М., 1997. С. 116).

49 Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве открылось в 1832 году как художественный кружок, с 1843 года — Училище живописи и ваяния, с 1866 года после присоединения Дворцового архитектурного училища — Училище живописи, ваяния и зодчества. После 1917 года на базе училища были созданы Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), преобразованные в 1926 году в институт (ВХУТЕИН). В дальнейшем в здании много лет размещались различные учреждения. После многолетней реставрации оно передано Академии живописи, ваяния и зодчества.

50 Далее в виде приложения автор приводит текст вырезки из газеты «Московские ведомости» от 28 октября 1894 года.

«(От Северного Телеграфного Агентства).

ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. Телеграммы министра Двора:

1) 27 октября. Ливадия. Сегодня тело Императора Александра перенесено в Ялту на крейсер «Память Меркурия». В 11 ч[асов] 30 м[инут] утра крейсер, на который вошли Государь, Государыня, высоконаречённая невеста, Цесаревич, великие князья Михаил Александрович и Алексей Александрович, великая княгиня Ксения Александровна с супругом и великая княжна Ольга Александровна, направился в Севастополь.

2) Бельбек. В 3 ч[аса] 30 м[инут] пополудни „Память Меркурия“, пройдя линию судов Черноморского флота, подошёл к железнодорожной пристани в Севастопольской южной бухте. После литии, гроб с телом перенесён был в траурный вагон. Печальный поезд отбыл в Москву сопровождаемый вторым императорским поездом. Наследник Цесаревич, продолжающий лечение горным воздухом, отбыл на Кавказ.

3) Диагноз болезни Императора Александра, поведшей к кончине: хронический интерстициальный нефрит с последовательным поражением сердца и сосудов. Геморрагический инфаркт в левом лёгком с последовательным воспалением. Подписали 21 октября 1894 года: Лейден, Захарьин, Гирш, Попов, Вельяминов. Скрепил министр Двора.

4) Акт, составленный по вскрытии тела почившего Императора октября 22-го, в семь с половиной часов вечера: „Мы, нижеподписавшиеся, нашли при бальзамировании тела почившего Императора значительный отёк подкожной клетчатки нижних конечностей и пятнистую красноту на левой голени. В левой полости плевры 200 кубических сантиметров сывороточной жидкости, окрашенной в красный цвет. В правой полости плевры 50 кубических сантиметров таковой же жидкости. Старый фиброзный рубец в верхушке правого лёгкого. Отечное состояние правого лёгкого. В левом легком отёке верхней доли и кровяной инфаркт в нижней доле того же лёгкого, причём эта нижняя доля очень полнокровна и содержит в себе очень мало воздуха. Кровяной инфаркт находится у верхнего края нижней доли левого лёгкого и в разрезе имеет трёхугольную форму, полтора сантиметра в продольном разрезе и один сантиметр в поперечном. В околосердечной сумке 30 кубических сантиметров красноватой сыровороточной жидкости. Сердце значительно увеличено в объёме: продольный размер — 17 сантиметров, поперечный размер — 18 сантиметров. В подсерозной клетчатке сердца большое количество жировой ткани. Сердце плохо сократилось. Левая полость сердца увеличена, и стенка левого желудочка утолщена (= двум с половиной сантиметрам). Мышца левого желудочка

бледна, вяла и желтоватого цвета. В правом желудочке мышечная стенка истончена (6 миллиметров) и такого же желтоватого цвета. Заслоночный аппарат совершенно нормален. В полости живота около 200 кубических сантиметров сывороточной жидкости. В желудке и кишечнике большое количество газов. Печень немного увеличена и очень полнокровна. Почки имеют следующие размеры: левая — 16 сантиметров в длину, 7 сант[иметров] в ширину и 4 сант[иметра] в толщину; правая — 15 сант[иметров] в длину, 6,5 сант[иметров] в ширину и 4 сант[иметра] в толщину. Капсула почки обыкновенной толщины и отделяется легко, мелкозерниста, темно-красного цвета. Плотность почек, наружная поверхность почек незначительная. Корковое вещество почек уменьшено (от 6 до 7 миллиметров) и желтовато; медуллярное же вещество темно-красного цвета. Сверх того, в левой почке серозный пузырёк трёх миллиметров в поперечнике. На основании вышеизложенного, мы полагаем, что Император Александр скончался от паралича сердца при перерождении мышц гипертрофированного сердца и интерстициальном нефрите (зернистой атрофии: почек)". Подписали: профессоры Московского университета: Клейн, Зёрнов; профессор Харьковского университета Попов. Прозекторы: Московского университета Алтухов, Харьковского — Белоусов. Скрепил министр Двора».

51 Принимая участие в бальзамировании тела умершего императора Александра III, Д. Н. Зёрнов имел помимо научно-исследовательского (морального) удовлетворения также и чисто материальную выгоду. Доказательством тому является уникальный исторический документ, хранящийся в личном архиве В. Д. Зёрнова, — письмо-уведомление управляющего Кабинетом его императорского величества от 19 декабря 1894 года следующего содержания: «Милостивый Государь Дмитрий Николаевич. По приказанию Министра Императорского Двора, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что Вам Всемилостивейше повелено выдать пять тысяч рубл[ей], за труды Ваши по лечению в Бозе почившего Императора Александра III. Об отпуске означенных денег распоряжение сделано...» (Коллекция В. А. Соломонова).

52 О строительстве и открытии в Петербурге в мае 1909 года памятника императору Александру III имеется любопытное свидетельство непосредственно причастного к этому делу С. Ю. Витте. Вспоминая об этом событии, он писал:

«Наконец, был назначен день открытия памятника. В обществе начали относиться к этому памятнику крайне критически. Все его критиковали. [...]

Таким образом, всё это неприятное дело свалилось с моих плеч, но тем не менее и после по поводу открытия этого памятника я имел некоторые неприятности; прежде всего мне было, конечно, крайне неприятно то, что памятник этот при открытии заслужил общее хуление. Все большей частью критиковали памятник. Отчасти эта критика была связана с тем, что памятник императору Александру III, императору весьма реакционному, был так скоро открыт благодаря моему содействию, моей энергии, в то время когда памятник Александру II в то время и до настоящего времени отсутствует. Затем в некоторых слоях общества этот памятник критиковали ввиду моего участия в этом деле, а большинство критиковало потому, что этот памятник вообще представляет собой нечто несуразное.

Но прошло некоторое время,— отмечал далее Витте,— и теперь с этим памятником более или менее примирились, а некоторые даже находят его выдающимся в художественном отношении. Так, известный художник Репин уверяет, что этот памятник представляет собою выдающееся художественное произведение. Мне приходилось последнее время встречать людей, которые сначала критиковали этот памятник, а теперь находят в нём некоторые черты высокого художества» (Витте С. Ю. О постройке памятника императору Александру III // Избранные воспоминания, 1849–1911. М., 1991. С. 656–657).

53 Речь идёт о трагических событиях, происшедших 18 мая 1896 года на Ходынском поле (северозападная часть Москвы, в начале современного Ленинградского проспекта) во время раздачи царских подарков по случаю коронационных торжеств. В возникшей давке по официальным данным погибло 1389 человек, изувечено 1300. По другим сведениям в этот день получили разной степени увечья около 5000 человек.

После торжественной церемонии коронации во французском посольстве должен был состояться праздничный бал и царь, несмотря на трагедию и уговоры французского посла перенести бал на более удобное для него время, присутствовал на нём.

54 В неопубликованной биографической заметке о жизни и деятельности Николая Ефимовича Зёрнова, его внук приводит краткие, но весьма любопытные факты из биографии и своего прадеда

— надворного советника, служащего иностранной коллегии Московского почтамта Ефима Петровича Зёрнова (ок. 1750—1825).

«Отец Н. Е. — Ефим Петрович,— писал В. Д. Зёрнов,— по окончании духовной семинарии решил поступить студентом в Московский Университет, и на этот шаг его благословила его бабка иконой, которая сохраняется у меня до сего дня. Ефим Петрович был знатоком иностранных языков и служил в иностранной коллегии Московского почтамта. По-видимому, его служба требовала знания языков. По семейному преданию Е. П. хорошо знал также древние языки и занимался переводами классиков на русский язык. Е. П. скончался в 1825 году и был погребён на Дорогомиловском кладбище, где впоследствии погребались все члены семьи Зёрновых» (Зёрнов В. Д. Некоторые сведения из жизни профессора Н. Е. Зёрнова, сообщённые его внуком профессором В. Д. Зёрновым. Рукопись. Л. 1 // Коллекция В. А. Соломонова).

55 Воспоминания о П. Н. Лебедеве содержатся и в других, ранее опубликованных работах В. Д. Зёрнова: «Пётр Николаевич Лебедев. Очерк жизни и деятельности» (Учён. зап. МГУ. Юбил. сер. Вып. LII. Физика. М., 1940. С. 125–150) и «Учитель и друг» (Тр. ИИЕТ. Т. 28. М., 1959. С. 111–118; Соломонов В. А. «Имя П. Н., его записка открывали передо мною любые лаборатории» (к истории взаимоотношений П. Н. Лебедева и В. Д. Зёрнова) // ВИЕТ. 2004. № 4. С. 143–151).

56 Неточность; данный инцидент произошёл 22 ноября 1887 года.

57 По свидетельству современников, выражение «брызгаловская эпоха» для московского студента-восьмидесятника звучало так же определённо, как, например, «аракчеевщина» или «бироновщина». Возникший в студенческой среде заговор против Брызгалова конечной своей целью имел вынудить последнего уйти в отставку. Для этого во время студенческого концерта, проходившего в зале Благородного собрания 22 ноября 1887 года, инспектору было нанесено публичное оскорбление. Менее чем через полгода после этого — 1 марта 1888 г. — А. А. Брызгалов скончался.

58 Исполнителем этой акции по жребию стал студент 3-го курса юридического факультета А. Л. Синявский. По воспоминанию Б. А. Щетинина, он «выглядел тихоньким, скромным юношей, необщительным и даже несколько застенчивым. Невольно рождался вопрос: как он мог решиться на такой отчаянный поступок? Очевидцы говорили, что он подошёл к Брызгалову не совсем твёрдой поступью, даже слегка пошатываясь как пьяный, и, нанося удар, чуть было не споткнулся» (Щетинин Б. А. Первые шаги (Из недавнего прошлого) // Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989. С. 544).

59 Н. В. Бугаев был очень высокого мнения о своём учителе, о чём ярко свидетельствует его речь, посвящённая памяти Н. Е. Зёрнова — «Математика как орудие научное и педагогическое», с которой 12 января 1869 года он выступил в заседании Совета Московского университета.

«Деятельность Николая Ефимовича как профессора настолько полезна, его долгое, безупречное служение делу распространения математических знаний в России имеет такое значение, что в истории русского образования оно займёт почётное, видное место.

В этой истории,— подчёркивал далее оратор,— не только с уважением отнесутся к нему, как учёному и профессору, но и достойным образом оценят его достоинства, как челове-ка и гражданина, его благотворное влияние на русскую науку и образование. Посвящая несколько минут благодарным воспоминаниям о Николае Ефимовиче, я имел в виду этим заявить, что ученики его свято сохраняют нравственную связь со своим бывшим учителем, что они живо сознают ту великую пользу, которую от него получили. [...] Я убеждён, что в этих стенах никогда не забудут, что Николай Ефимович был достойным членом той дружины, которая в настоящее время собралась на скромное торжество во имя науки и истины» (Цит. по: Прудников В. Е. Русские педагоги-математики XVIII–XIX веков. М., 1956. С. 376).

60 Имеется в виду капитальный труд Н. Е. Зёрнова «Дифференциальное исчисление, с приложением к геометрии, составленное Н. Зёрновым, ординарным профессором Императорского Московского Университета» (М., 1842).

61 Н. В. Бугаев был женат на Александре Дмитриевне, урождённой Егоровой (1858—1922).

62 Речь идёт о Борисе Николаевиче Бугаеве (литературный псевдоним Андрей Белый). В тексте допущена описка, объединившая в одно целое псевдоним и подлинную фамилию писателя.

63 Приводится неточное название книги мемуаров А. Белого «На рубеже двух столетий» (М., 1930).

64 Николай Васильевич Бугаев умер 29 мая 1903 года.

65 Речь идёт о Николае Васильевиче Цингере (1865—1923), ботанике, морфологе и флористе, при-

ват-доценте (1898–1903) Университета св. Владимира в Киеве и адъюнкт-профессоре (с 1903) Ново-Александрийского института.

66 Александр Васильевич Цингер (1870–1934), физик, приват-доцент Московского университета. В 1917 году, тяжело заболев, выехал на лечение за границу. С 1922 года жил за границей.

67 Неполное название книги В. Я. Цингера «Сборник сведений о флоре средней России» (М., 1885).

68 Речь идёт об известном русском патологе и терапевте, профессоре Московского университета Корнелие Яковлевиче Млодзеевском (1818—1865).

69 Дом учёных в Москве открылся в 1922 году, до 1937 года находился в ведении Центральной комиссии по улучшению быта учёных (ЦЕКУБУ), затем АН СССР. Здание, в котором находится Дом учёных, построено в конце XVIII века; в 1908–1910 годах было заново перестроено.

70 По мнению специалистов-математиков, «имя Бобыбина пользовалось большой известностью в России и за рубежом, но его выдающиеся научные заслуги получили официальное признание уже после Октябрьской революции. 35 лет он оставался приват-доцентом Московского университета и лишь в 1917 г. получил профессорское звание» (Юшкевич А. П. История математики в России до 1917 года. М., 1968. С. 323).

71 В статье профессора Н. А. Капцова «Физика в Московском университете со дня его основания и до Столетова» на этот счёт содержится иная точка зрения.

«После столкновения с отчимом, — говорится в статье, — [...] Усагин решил написать письмо Н. А. Любимову. Любимов принял горячее участие в Усагине, вызвал его к себе на свидание и затем, «надевши ордена», самолично отправился в лавку отчима. [...] Любимов определил Усагина учеником в университетскую мастерскую и стал оплачивать из личных средств его содержание. Усагин должен был ежедневно являться к Любимову, который в продолжение шести месяцев обучал его арифметике, геометрии, алгебре и грамматике. Через год И. Ф. Усагин стал помощником Любимова на лекциях в Лицее цесаревича Николая, а в 1882 году перешёл на работу механиком в Университет» (Учён. зап. МГУ. Юбил. сер. Вып. LII. Физика. М., 1940. С. 47–48).

72 В свою очередь В. Д. Зёрнов позаботился обзавестись аналогичным свидетельством и от педагогического начальства гимназии. В выданном удостоверении говорилось: «Преподавателю Московской женской гимназии Н. П. Щепотьевой — Владимиру Дмитриевичу Зёрнову дано сие удостоверение в том, что к вступлению его в брак с девицей Екатериной Васильевной Власовой со стороны означенной гимназии препятствий не встречается. Председатель Педагогического Совета П. Истрин» (Коллекция В. А. Соломонова).

73 Общество любителей оркестровой, камерной и вокальной музыки в Москве учреждено по инициативе А. А. Литвинова в 1895 году.

74 Ныне этот дом скрыт во дворе здания по улице Воздвиженке, 6, построенного в 1930-х годах в стиле конструктивизма и по традиции именуемого москвичами «Кремлёвской больницей».

75 Название своё театр получил от упразднённого после Октябрьской революции популярного в Москве сада «Эрмитаж», который располагался в районе Селезнёвской улицы и принадлежал известному театральному деятелю, антрепренёру и артисту Михаилу Валентиновичу Лентовскому (1843—1906). В 1894 году сад арендовал Я. В. Щукин, построивший в нём постоянный театр, где выступали его опереточная труппа и приезжавшие летом в Москву театральные труппы и известные артисты. Ныне значительная часть территории бывшего сада «Эрмитаж» застроена.

76 Знаменитые меблированные комнаты «Фальц-Фейн» размещались в собственном доме Александра Ивановича Фальц-Фейна на углу Тверской и Газетного переулка.

77 Неточное название московского ресторана «Ливорно» (ул. Рождественка, дом Захарьина).

78 Красильное производство Петра Евдокимовича Цуккермана находилось на Арбате в доме Ромейко.

79 Пароходное общество «Кавказ и Меркурий» учреждено в 1858 году на основе слияния двух обществ: «Меркурий» (1849) и «Кавказ» (1858). К концу 90-х годов на линии Нижний Новгород–Астрахань курсировало 23 двухпалубных парохода этой компании.

80 «Gaudeamus igitur» («Будем веселиться» лат.) — старинная студенческая песня, возникшая из застольных песен вагантов (средневековые бродячие певцы, выходцы из недоучившихся семинаристов или разжалованных священников). В распространённой ныне редакции текст оформился в конце XVIII века, музыку написал фламандец Иоганн Окенгейм (XV век). Русский перевод принадлежит перу Сергея Ивановича Соболевского (1864–1963), филолога, автора многочисленных трудов по древнегреческому и латинскому языкам.

81 «Из страны, страны далёкой» — студенческая песня на слова Н. М. Языкова.

82 Дарьяльское ущелье расположено в долине реки Терек на Кавказе, в месте пересечения Бокового хребта. По Дарьяльскому ущелью проходит Военно-Грузинская дорога.

83 Девдоракский ледник расположен на северо-восточном склоне Казбека, вблизи Военно-Грузинской дороги, его площадь 7 кв. км.

84 Морена (франц. moraine) — отложения, накопленные непосредственно ледниками при их движении и выпахивании ложа.

85 Цминда Самеба (Святой троицы, XIII–XIV вв.) — старинная церковь к западу от посёлка Казбеги на высоте 2170 м над уровнем моря; является наглядным примером удачного использования древнегрузинскими зодчими естественных возвышенностей и вообще ландшафтного фона. В середине 1970-х годах к историческому памятнику проложена воздушно-канатная дорога.

86 Вспоминая о пребывании С. И. Танеева и Ю. Н. Померанцева в Ясной Поляне, С. Л. Толстой писал:

«В 1895 и 1896 годах Танеев поселился со своей няней Пелагеей Васильевной в яснополянском флигеле, куда привёз пианино. Некоторое время в 1895 году прожил с ним во флигеле его ученик Ю. Н. Померанцев (Юша). Сергей Иванович вставал в семь или восемь часов, няня ему готовила чай и завтрак, после чего он садился за работу. Он или писал свой «подвижной контрапункт строгого письма» и свои композиции, или упражнялся на фортепиано и занимался с Юшей Померанцевым. Приблизительно в двенадцать часов он уходил гулять и купаться на речке Воронке, отстоящей от дома в полутора верстах. С ним обыкновенно ходили Александр Антонович Курсинский (учитель моего брата Миши), Ю. Померанцев или ещё кто-нибудь из мужского персонала» (Толстой С. Л. Очерки былого. Изд. 4-е, испр. и дополн. Тула, 1975. С. 345).

87 Балет Ю. Н. Померанцева «Волшебные грёзы» впервые был показан на сцене Большого театра 5 декабря 1899 года одновременно с балетом П. Л. Гертеля «Тщетная предосторожность» (дирижёр А. Ф. Арендс, балетмейстер А. А. Горский).

88 Ошибка; надо: «Волшебные грёзы».

89 Всего на сцене Большого театра состоялось три представления балета Ю. Н. Померанцева «Волшебные грёзы» — 5, 8 и 28 декабря 1899 года. Последний раз балет был показан 26 сентября 1901 года в Новом театре, где попеременно силами артистов Большого и Малого театров ставились музыкальные (оперные и балетные) и драматические спектакли (см.: Русские ведомости. 1901. 26 сентября).

90 Своё первое знакомство с П. Н. Лебедевым, происшедшее осенью 1898 года Зёрнов весьма красочно описал в статье «Учитель и друг» (См.: ВИЕТ. 2004. № 4. С. 143–144).

91 В виду того, что П. И. Чайковский решительно был настроен не отдавать «Онегина» ни за какие блага ни петербургской, ни московской дирекции», 16 декабря 1878 года на сцене Московской консерватори для пробы было поставлено несколько первых картин из оперы «Онегин» (дирижировал спектаклем С. И. Танеев). По авторитетному мнению Е. С. Чёрной, «состав исполнителей был признан вполне удовлетворительным. Юная же исполнительница партии Татьяны — Климентова, вначале внушавшая руководителям большие сомнения, пленила всех своим талантом. Ларош тогда уже отметил, что красивый тембр голоса, особенно густого и сильного в среднем регистре, одушевлённое пение, непринуждённая грация и естественность игры делают [...] начинающую певицу такой Татьяной, которая весьма близко подходит к композиторскому идеалу».

Премьера же спектакля на консерваторской сцене состоялась 17 марта 1879 года. Партию Татьяны исполняла М. Н. Климентова, Ольги — А. Н. Левицкая, Онегина — С. В. Гилёв, Ленского — М. Е. Медведев. Для первого представления оперы «декарации были частью вновь написаны К. Ф. Вальцем — знаменитым в то время декоратором императорских театров, частью подобраны из старых постановок. Костюмы все были сделаны заново на средства, отпущенные РМО».

Внешне премьера прошла благополучно, но «в квартете первого акта Ольга сбилась, а за ней спутались и остальные певцы; [...] фальшивили и пели невпопад. И этот, и некоторые другие промахи Чайковский воспринял как скандальный провал» (Чёрная Е. С. «Евгений Онегин» П. И. Чайковского. М., 1960. С. 25–27).

92 Имеется в виду книга: Риман Г. Музыкальный словарь. Под ред. Ю. Энгеля. М., 1901–1904.

93 Речь идёт о выступлении московского студенчества 15–21 февраля 1899 года. Причиной его явилось столкновение петербургских студентов с полицией 8 февраля того же года. В размноженном на гек-

тографе «Кратком обзоре студенческого движения 1899 года в Московском университете» были сформулированы требования, с которыми выступало московское студенчество, а именно: «1) гарантия физической неприкосновенности личности; 2) распубликование в стенах Ун[иверсите]та той инструкции, которой руководствуется полиция в своих отношениях к ст[удент]ам, 3) обжалование неправильных действий полиции обычными судебными порядками» (Коллекция В. А. Соломонова).

94 На посту ректора Московского университета Д. Н. Зёрнов находился с 8 августа 1898 года по 7 августа 1899 года.

95 Тема работы названо неточно: надо: «Исследование изменения диэлектрической постоянной при переходе бензола из жидкого в кристаллическое состояние». Работа осталась неопубликованной.

96 Строки из второй песни поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1829–1830).

97 Исторический музей в Москве был создан, как и Политехнический музей, на основе экспонатов Политехнической выставки 1872 года. Для строительства здания музея было выбрано место на Красной площади, между Воскресенскими воротами и Угловой Арсенальной башней Кремля. Ранее на этом участке размещались Земский приказ и Главная аптека, в 1755 году в этих зданиях был открыт Московский университет.

98 Две первые строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Внимая ужасам войны...» (1856).

99 Неточность: в 1899 году В. А. Нащокиной было 88 лет (родилась в 1811 году).

100 Мать А. М. Шнейдер — Анастасия Воиновна, в замужестве Окулова – приходилась П. В. Нащокину родной сестрой.

101 В. А. Нащокина и два её брата, Фёдор и Лев, получившие при рождении фамилию Нарских (по названию реки, на берегах которой находилось имение Рай-Семеновское), являлись внебрачными детьми троюродного дяди П. В. Нащокина — гофмаршала Александра Петровича Нащокина (1758–1838).

102 Речь идёт о первой книге обширной трилогии Б. М. Маркевича, впервые напечатанной в «Русском Вестнике» в 1878 году; две других книги трилогии назывались: «Перелом» (1880) и «Бездна» (1883–1884; неокончена).

103 Имеется в виду директор училищ Матвей Алексеевич Окулов (1791—1853), участвовавший в Отечественной войне 1812 года; сын херсонского губернатора А. М. Окулова.

104 См. коммент. 101.

105 Речь идёт о созданном в 1831 году знаменитом «нащокинском домике», в котором с необыкновенной точностью была воспроизведена в миниатюре вся реальная обстановка дома П. В. Нащокина; ныне экспонируется в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.

106 К причинам, повлекшим полное разорение семьи Нащокиных, следует добавить и то, что Павел Воинович, по признанию современников, слыл одним из самых азартных в Москве картёжников. Играя в карты, он «нередко проигрывал, в случае же большого выигрыша жил по широкой натуре и, где только требовалось, делал добро — помогал бедным и давал взаймы, часто без отдачи. У него чуть ли не ежедневно собиралось разнообразное общество: литераторы, актёры, купцы и цыгане. Иногда являлись заезжие петербургские гости, в том числе и Пушкин...» (Артамонов М. Д. Ваганьково. М., 1991. С. 106).

107 «Я надеюсь, что мадам Вера Нащокина [со]хранит добрую память о Вьётане» (фр.).

108 Имеется в виду Торгово-промышленное товарищество «Е. С. Трындина С-вья» в Москве (Большая Лубянка, 13), основано в 1809 году (после революции — завод «Метрон»). Наибольшего расцвета фирма достигла при сыновьях Е. С. Трындина — Сергее Егоровиче (1847–1915) и Петре Егоровиче (1852—1909). На принадлежащей им паровой фабрике кроме физических, оптических, медицинских приборов и инструментов, начали выпускать геодезическое оборудование и наглядные учебные пособия. Кроме этого заметно увеличился оборот посреднических торговых операций с зарубежными фирмами.

109 Иван Степанович Плотников (1879—1955), физикохимик; с 1909 года приват-доцент, с 1911 года профессор (назначен распоряжением Кассо вместо И. А. Каблукова) Московского университета. С 1918 года жил за границей. В 1919–1920 годах руководил научной фотохимической лабораторией «Agfa» в Берлине, с 1920 года профессор и директор Института физики Загребского университета.

110 Речь идёт о Международном конгрессе по радиологии и электричеству, проходившем в Брюсселе с 13 по 15 сентября 1910 года.

111 Пастеровский институт — один из первых частных научно-исследовательских учреждений, основанный в 1888 году в Париже на средства, собранные по международной подписке. В первой полови-

не XX века являлся международным центром исследований по микробиологии.

112 Общий стол (фр.)

113 Кладбище Пер-Лашез находится на месте последних боёв в мае 1871 года коммунаров с версальцами. 27 мая у северо-восточной стены Пер-Лашеза пленённые версальцами коммунары были расстреляны. В 1899 году в память об этом парижане воздвигли памятник «Стена коммунаров».

114 Данный фрагмент воспоминаний уместно дополнить, внешне хотя и схожей, но гораздо более выразительной и колоритней по содержанию, характеристикой того же события, помещённой в неопубликованной до сих пор научно-популярной статье В. Д. Зёрнова о проблеме внутриатомной энергии:

«Пишущему эти строки посчастливилось слушать доклад супругов Кюри во время Всемирного съезда физиков в Париже в 1900 году. Громадная аудитория Jardin des plantes была переполнена съехавшимися со всего мира физиками. Пьер Кюри докладывал об открытии радия, Мария Кюри ассистировала ему, демонстрируя опыты. Чем дальше мы слушали их выступление, тем больше становилось удивление, охватывавшее нас. Пьер Кюри рассказывал о той громадной работе, которую пришлось проделать, прежде чем из нескольких тонн руды выделить ничтожное количество наиболее активного вещества; как сначала применялся химический метод разделения составных частей руды, как полученную самую активную часть обогащали многократной перекристаллизацией, как, наконец, была выделена соль нового, дотоле неизвестного элемента, названного радием. Эта соль обладала колоссальной активностью и своим излучением делала окружающий воздух проводником электрического тока. Что представлялось самым удивительным — маленькая коробочка с препаратом этого вещества всегда имела температуру на 3 градуса Цельсия выше окружающей её среды. Очевидно было, что излучение радия частично поглощается стенками коробочки и превращается в тепло. Но изменения самого препарата тогда ещё не наблюдалось.

Казалось, что всё, чему нас когда-то учили, все изменения в природе, которые, как мы были уверены, происходят на основе закона сохранения энергии, — всё должно быть пересмотрено. Казалось, что найден вечный двигатель.

Рассказанное и показанное супругами Кюри было совершенно убедительно. И всё-таки мы ровным счётом ничего не могли понять. Под гром аплодисментов Пьер Кюри закончил доклад. Слушатели уходили с него потрясённые, ошеломлённые тем необычным, что услышали и увидели собственными глазами. Мы с Цингером, остановившись в холле, с недоумением спрашивали друг друга: «Что же, теперь всё, чему нас учили, — неверно? Как же быть дальше?».

Теперь, разумеется, всё разъяснилось. Закон сохранения энергии остаётся в силе, но и до сего времени я с волнением вспоминаю о впечатлении, которое получил сорок лет назад. По-прежнему, как живых, я вижу перед собой этих героев труда — Пьера и Марию Кюри».

(Зёрнов В. Д. Проблема внутриатомной энергии. Рукопись [4.IX.1945 г.]. С. 22-26 // Коллекция В. А. Соломонова)

115 Имеется в виду Всемирный конгресс студенческих федераций, проходивший в 1900 году в Париже.

116 Когда в 1900 году Комитет всеобщей ассоциации французских студентов в Париже предложил русским студентам участвовать в работе конгресса студенческих федераций по случаю открытия Всемирной выставки, российский министр народного просвещения направил во все высшие учебные заведения страны директиву: «...по педагогическим и административным соображениям командировок не давать, сделать всё, чтобы приглашения не проникали в среду учащихся» (Цит. по: Олесич Н. Я. В. И. Ленин и революционное студенчество России. М., 1982. С. 16).

117 Установка для получения жидкого воздуха изобретена в 1895 году немецким инженером Карлом Линде (1842—1934).

118 Форейтор (нем. Vorreiter) — слуга, сидящий верховом на передней лошади, запрожённой цугом.

119 Монблан (фр. Mont Blanc) — горный массив и вершина в Западных Альпах, на границе Франции и Италии, самая высокая в Западной Европе (4807 м). Площадь оледенения свыше 200 квадратных метров.

120 Далее в виде приложения автор приводит текст вырезки из газеты «Московские ведомости» за 12 октября 1900 года с напечатанной в ней заметкой: «Чествование К. А. Кламрота».

«11 октября Большой театр чествовал одного из старейших своих тружеников — Карла Антоновича Кламрота, который прослужил 44 года, как первый концертмейстер, и теперь потребовал себе необходимого отдыха.

К. А. Кламроту в настоящее время 71 год; место его рождения Тюренген, где он и получил своё первоначальное музыкальное образование сначала у своего отца, а затем у известного скрипача Липиньского.
В Россию, в Москву К. А. Кламрот приехал в 1851 году и поступил, по приглашению Н. А. Рубинштейна, преподавателем в основанную им музыкальную школу, впоследствии преобразованную в Московскую консерваторию.
Преобразование школы в Консерваторию сделало К. А. Кламрота профессором.
В 1856 году он, по приглашению дирекции Императорских театров, поступил первым скрипачом и концертмейстером в Большой театр, и 44 года он служил русской опере на своём пульте, будучи образцом аккуратности, доброго товарища и в то же время строгим хранителем древних преданий Большого театра.
Чистота и музыкальность его исполнения, добросовестное отношение к делу и широкое музыкальное образование доставили ему почётную известность не только в русском музыкальном мире и среди московской публики, но даже в музыкальных заграничных обществах и кружках. Не мудрено поэтому, что официальное чествование его собрало 11 октября в Большой театр много публики, явившейся почтить «лебединую песню» скрипача-ветерана.
Чествование началось в начале 4 акта поставленной по этому случаю «Травиаты», где К. А. Кламрот неподражаемо исполнял solo. После финального аккорда solo при оглушительных дружных аплодисментах публики поднялся занавес и на сцене оказались собравшимися все главные силы нашей оперы во главе с главным режиссёром А. И. Барцалом.
Самоё чествование всё же открыл оркестр в лице своего капельмейстера г. Фельдта, который прочёл и вручил К. А. Кламроту адрес следующего содержания:
„Дорогой и глубокоуважаемый товарищ, Карл Антонович!
Тяжело расставаться и выражать пожелания товарищу, с которым прослужилось 10–20 лет, но что сказать человеку, прослужившему чуть не полвека искусству и стоящему на страже его истории и преданий. Здесь только два выхода: или написать целую книгу как продолжение истории Русской оперы на Московской сцене, или поручить этому листу сказать:
«Дорогой товарищ! Твой дивный образ необычайной красоты и сердечной простоты сохраним мы навсегда. Он будет постоянно стоять перед нами как идеал самоотверженному служению искусству и образец товарищества, и каждому новому члену нашего оркестра мы скажем, с гордостью и любовью, показывая на твой пульт:
— Здесь полвека трудился Кламрот!
Прими же, дорогой товарищ, выражения нашей любви и будь уверен, что каждый раз наши сердца забьются, когда при нас произнесут твоё имя"».
Кроме адреса, оркестр поднёс К. А. Кламроту на цветной подушке роскошный серебряный альбом с его инициалами и прочувствованную надпись.
Со слезами на глазах благодарил растроганный К. А. Кламрот своих товарищей и жал им руки. После оркестра Карла Антоновича чествовали артисты в лице своего главного режиссёра А. И. Барцала, сказавшего ему небольшую прочувствованную речь.
Речь сопровождалась подношением на цветочной подушке золотого с бриллиантами жетона, который был вручён К. А. Кламроту г[оспо]жами Дейша-Сионицкой и Маклецкой.
Нечего и поминать, что все подношения и речи сопровождались дружными аплодисментами вставшей со своих мест публики.
К. А. Кламрот благодарил, жал руки товарищам и артистам и кланялся публике, которая настойчиво требовала повторения solo; оно было повторено, и исполнителя его ещё раз наградили дружными рукоплесканиями.
Официальное чествование закончилось, но по окончании акта «Травиаты», когда г. Кламрот вышел раскланиваться по требованию публики, чествование превратилось в овацию, устроенную ему его поклонниками и почитателями.
Кроме подношений, речей и адреса К. А. Кламрота почтили сегодня телеграммами почти все наши музыкальные общества и кружки, а также некоторые отдельные видные представители мира оперы и музыки».
121 В 1904 году П. Н. Лебедев со своими учениками перешёл в новое здание Физического института (ул. Моховая, 11, в настоящее время — Институт радиотехники и электроники РАН). Во втором

этаже разместилась его личная лаборатория, а в подвальном помещении проводили экспериментальные исследования ученики. Отсюда и пошло ставшее широко известным в научном мире название «Лебедевский подвал». Его атмосфера и быт великолепно описаны в статье профессора К. А. Тимирязева «Новые потребности науки XX века и их удовлетворение на западе и у нас» (Тимирязев К. А. Сочинения. М., 1939. Т. IX. С. 64–65), а также в воспоминаниях Д. Д. Галанина «Лебедевские подвалы» (Природа. 1968. № 9. С. 82–87).

122 С 1901 по 1906 год Вильгельм Яковлевич Альтберг (1877—1946) работал в лаборатории П. Н. Лебедева над темой: «О силах давления звуковых волн и об абсолютном измерении интенсивности звука»; в последствии занимался исследованиями в области геофизики, в частности, гидрофизики и гидрологии.

123 Анна Егоровна Попова [урождённая Машковцева] (1850—1927), тётя В. Д. Зёрнова по материнской линии.

124 Описываемая встреча могла произойти, когда Ф. И. Шаляпин ездил в 1901 году к отцу, Ивану Яковлевичу Шаляпину (1838–1921), известившему сына о плохом состоянии своего здоровья. «Я тотчас же, — вспоминал Шаляпин, — собрался и поехал к нему пароходом до Казани и Вятки....» (Шаляпин Ф. И. „Страницы из моей жизни". М., 1990. С. 215).

125 Имение Пензенской губернии Инсарского уезда при деревне Еникеева Поляна было куплено в июле 1853 года у коллежского асессора Григория Ивановича Безгина. Он же в свою очередь приобрёл его 6 августа 1852 года с публичного торга, заплатив 19 тысяч 305 рублей серебром Воспитательному Дому, к которому это имение отошло «по просроченному обязательству девицы Марьи Александровны Титовой, в займе её [...] в четырнадцать тысяч сорок рублей» (Коллекция В. А. Соломонова).

126 Деревня Еникеева Поляна Инсарского уезда Пензенской губернии, находилась вблизи судоходной реки Мокши. По данным 9-й ревизии, проведённой в 1850 году, имение имело 638 десятин 695 квадратных саженей пахотной земли и 6 десятин строевого осинового леса и 312 душ мужского пола, состоящих на оброке, занимавшихся хлебопашеством и тканьем рогож, сбываемых ими в городах Тамбове и Воронеже.

127 Неточность; в подписанной девицами Александрой и Софьей Николаевными Зёрновыми, Верой Николаевной Краснопевцевой и Надеждой Николаевной Артёмьевой и заверенной московским нотариусом А. А. Поль доверенности от 21 мая 1877 года говорится не о выкупе их долей имения, а о передаче сёстрами в пользу Д. Н. Зёрнова прав на «полное управление и хозяйственное распоряжение» им. Известно также, что «на основании сей доверенности 1886 года Марта 19 по реестру за № 1119 в конторе Московского Нотариуса А. А. Поль явлено от Г[осподина] Зёрнова передоверие к Коллежскому Советнику Сергею Николаевичу Зёрнову на управление имением и отдачу оного в аренду» (Коллекция В. А. Соломонова).

128 Михаил Матвеевич Бородай (1853–1929), русский театральный деятель, антрепренёр. С конца 1880-х годов содержал оперные и драматические труппы в Харькове, Киеве, Казани, Саратове, Одессе, городах Урала и Сибири.

Его антрепренёрские способности в разных видах сценического искусства современники оценивали неоднозначно. Вот что, например, писал по этому поводу в 1920-х годах бывший редактор газеты «Саратовский вестник» Н. М. Архангельский:

«Бородай был своего рода административно-хозяйственным гением театра. Он считался главой „товарищества", но фактически был полным хозяином дела, которое быстро поставил блестяще. [...] Он не только умел привлекать лучшие актерские силы, — он обладал особым чутьем на молодые таланты, умел находить их и использовать их с наиболее сильной стороны». Но об оперной антрепризе Бородая Н. М. Архангельский отзывался отнюдь не восторженно. «Оперное дело, — констатировал он, — Бородай знал плохо, вернее — совсем его не знал. На нём он и споткнулся. Крах лишил его душевного равновесия, уверенности в себе и после этого счастье изменило ему. [...] Кончил Бородай службой в какой-то «конторе», на положении маленького конторщика...» (Архангельский Н. М. Прошлое Саратовского театра. По личным воспоминаниям // Весь Саратов. Альманах-справочник на 1925 год. С. 411–412, 414).

129 Частный драматический театр, основанный антрепренёром Фёдором Адамовичем Коршем (1852–1923), существовал с 1882 по 1932 год. В нём начинали свою театральную карьеру впоследствии всемирно известные артисты: В. О. Топорков, М. М. Блюменталь-Тамарина, А. П. Кторов и многие другие.

130 Воспоминаний и свидетельств о выдающемся оперном певце сохранилось, увы, не много. Тем любопытнее сравнить характеристику, данную Ж. Девойоду автором воспоминаний с отзывом о его таланте, оставленным известным русским художником М. В. Нестеровым.

«В маленьком, незатейливом театре сада „Эрмитаж", — вспоминал Нестеров, — идёт «Фауст»: Валентина поёт Девойод. [...] Мы заранее предвкушаем великое наслаждение [...] Имя Девойода ещё недавно гремело как в Европе, так и за океаном. Короли предлагали ему свою дружбу. Один из них шёл дальше: хотел „покумиться" с ним (у Девойода было 12 детей). Девойод, убеждённый республиканец-патриот, — он солдатом-добровольцем дрался за родную Францию с пруссаками, — не колеблясь, отклоняет королевское предложение. Женатый на русской, он любит бывать в России. Странствуя по белу свету, охотно возвращается к нам. Великодушный, благородный, щедрый до расточительности, зарабатывая огромные деньги, он не сумел сберечь ничего „про чёрный день" и вот теперь, стариком, должен без надежды на отдых кончать свой век, где придётся. [...] Попытаюсь дать его портрет. Девойод родился во второй половине 40-х годов во Франции; он хорошего среднего роста, с небольшой головой, пропорционально сложенный, носит острую бородку. Стремительный, сухощавый, с пластической, упругой как сталь, походкой, с сверкающим, открытым взором, с тонко сжатыми губами, весь страстный, он был неотразимо прекрасен в трагические моменты своей игры. Да это и не была игра, а была жизнь, во всей реальной полноте, потрясавшая, казалось, как его, так и тех, кто видел, слышал его. Превосходный певец (баритон), с чудесной дикцией, он был в то же время изумительный трагический актёр: он послужил прообразом для врубелевского „Пророка". [...] Через год Девойод скончался: умер на сцене злополучного театра во время исполнения одной из своих лучших ролей — шута Риголетто. Великое сердце артиста не выдержало бед и напастей, обрушившихся на него.

Похороны Девойода были многолюдны, торжественны. Старый друг покойного Савва Иванович Мамонтов сказал надгробное слово на могиле гениального артиста» (Нестеров М. В. М. Н. Ермолова и Жюль Девойод // Мария Николаевна Ермолова. Письма. Из литературного наследия. Воспоминания современников. М., 1955. С. 419–421).

131 Немецкое кладбище, известное также как Введенское, или Введенские Горы, расположено на Наличной улице, 1. На территории некрополя — лютеранская часовня, сооружённая в 1911 году (после октября 1917 года она была закрыта, возобновлена в 1995 году), а также православная часовня, открытая в 1990 году.

132 Вечер песни (нем.)

133 Антон Степанович Аренский умер 12 февраля 1906 года в Петербурге и был похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

134 Отец М. Е. Зёрновой, отставной штабс-ротмистр Егор Петрович Машковцев (1812—1854), принадлежал к хорошо известной в Вятке культурной и состоятельной семье, в которой было много театралов, любителей книг. Книги с экслибрисами Егора Петровича находятся в областной научной библиотеке имени А. И. Герцена, да и сама она помещается в доме одного из Машковцевых.

В личном архиве В. Д. Зёрнова сохранился замечательный исторический документ, касающийся родословной Машковцевых. Он содержит полный послужной список Егора Петровича, перечисляет членов его семьи, а также удостоверяет: «...за собственноручным подписанием Его Императорского величества Николая Павловича 1844 года Ноября 3 дня за № 10686, что в воздаяние ревностности его Штаб-ротмистра Машковцева заслуг жаловать [...] в вечные времена в честь и достоинство Нашей Империи в Дворяне...» (Коллекция В. А. Соломонова).

135 Талица — село Глазовского уезда Вятской губернии (ныне Фаленский район Кировской области), основано в 1901 году.

136 20 мая 1882 года М. Е. Зёрновой был получен «Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО, из Московской Дворянской Опеки», в котором говорилось: «Опека, вследствие рапорта Вашего, прекратив опекунство над имением г. Машковцевых, на основании означенных в том рапорте обстоятельств и за продажею означенного имущества за долги и Вас от звания опекунши уволив, даёт Вам знать о сём и предписывает объявить всем наследникам того имения о содержании сего указа» (Коллекция В. А. Соломонова).

137 Е. П. Машковцев умер 22 марта 1854 года и был погребён в Вятском Успенском Трифоновом монастыре. После октября 1917 года монастырь закрыли, а захоронения уничтожили. Долгое вре-

мя местонахождение могилы Е. П. Машковцева было неизвестно. И только в 1994 году из местной прессы вятская общественность узнала, что «по прошествии многих десятилетий при производстве строительных работ на территории монастыря плита с могилы Е. П. Машковцева вновь найдена. Теперь любой может прочесть имя и годы жизни университетского товарища А. И. Герцена, одного из культурнейших людей Вятки первой половины XIX столетия» (Вятский епархиальный вестник. 1994. № 7).

138 Пассажирское пароходное движение по Вятке–Каме и Волге до Казани было открыто вятским купцом Т. Ф. Булычёвым в 1874 году. Своё дело он начинал с двух пароходов: «Филипп Булычёв» и «Почётный». Спустя два года численность его флотилии удвоилась. В 1877 году, имея в своём распоряжении уже шесть пароходов, Булычёв продлил линию до Нижнего Новгорода.

139 Название указано неточно; надо: «Определение декремента затухания акустических резонаторов».

140 Вячеслав Ильич Романов (1880—1954), физик; в 1902 году окончил математическое отделение физико-математического факультета Московского университета (научный руководитель Н. Е. Жуковский), после чего был оставлен при университете «для приготовления к профессорскому званию»; с 1902 по 1911 год работал в лаборатории П. Н. Лебедева.

141 Открытие памятника Александру II в Саратове состоялось на Соборной площади (ныне площадь Н. Г. Чернышевского) 19 февраля 1911 года (скульпторы С. Волнухин и М. Чижов). Демонтирован 22 сентября 1918 года. В настоящее время на его месте находится памятник Н. Г. Чернышевскому.

142 Преподавателем Московской частной женской гимназии Н. П. Щепотьевой (Воздвиженка, дом Азанчевского) В. Д. Зёрнов был назначен 7 декабря 1902 года.

143 Имеется в виду Московский лицей памяти цесаревича Николая Александровича (наследника престола, сына Александра II), умершего в 1865 году в возрасте 22 лет. Основан был редактором журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости» М. Н. Катковым и его компаньоном П. М. Леонтьевым на средства миллионера-железнодорожника С. С. Полякова в 1868 году (отсюда второе его название — Катковский).

144 Так ласково называл В. Д. Зёрнов после венчания свою жену Екатерину Васильевну, урождённую Власову (1885—1959).

145 Ошибка: Александру Борисовичу Изачику (1874—?), окончившему медицинский факультет Московского университета, принадлежала III-я Московская зубоврачебная школа (Петровка, дом Кабанова, кв. 58). Владельцем же I-ой Московской зубоврачебной школы (Долгоруковская ул., собственный дом), просуществовавшей 13 лет — с сентября 1892 по декабрь 1905 года, являлся Илья Матвеевич Коварский (1856—1955).

146 «Гимназия Щепотьевой, — вспоминал преподававший в ней с 1910 по 1913 год известный впоследствии русский историк, публицист и общественный деятель С. П. Мельгунов, — была по духу уже совсем иной. Для Н. П. Щепотьевой её гимназия была делом идейным — делом её педагогического интереса. Эта гимназия представляла собой как бы до некоторой степени семью, членами которой являлся и педагогический и учащийся персонал. Работать здесь в силу этого вдвойне было приятно, да и состав учениц был повышенно интеллигентный. Отношения у меня и здесь установились самые лучшие, и за все три года решительно не было ни одного малейшего осложнения. Преподавание шло без всяких затруднений, излишних опек, контролей. Всё основывалось на интересе и доверии.
Председателем педагогического совета был добродушнейший, незлобивый старичок П. Ф. Истрин, родственник академика. Человек политически крайне правый, но по своему добродушию не могший проявлять ни педагогического формализма, ни вводить соответствующей политики в гимназический обиход. Обойти его ничего не стоило. Надо было только слушать его длинные и весьма скучные педагогические рацеи» (Мельгунов С. П. Воспоминания и дневники / Сост., прим. и подготовка текста Ю. Н. Емельянова. М., 2003. С. 218).

147 Стихотворение А. Н. Майкова; с ним Е. В. Власова выступала на музыкальном вечере в гимназии Н. П. Щепотьевой 9 марта 1903 года.

148 27 сентября 1902 года ректор А. А. Тихомиров известил Д. Н. Зёрнова об избрании его Советом Московского университета «своим представителем для участия в специально учреждённой, с высочайшего соизволения, под председательством Господина Управляющего Министерством Народного Просвещения, Тайного Советника Зенгера, Комиссии для обсуждения вопроса о преобразовании высших учебных заведений ведомства Министерства Народного Просвещения», прося

его «отправиться в г. С.-Петербург в Министерство Народного Просвещения к открытию означенной Комиссии, назначенному на 30 сего сентября» (Коллекция В. А. Соломонова).

По воспоминаниям В. Д. Зёрнова, работа её длилась «едва ли не три месяца. [...] Отец буквально целыми днями работал в Комиссии и разных подкомиссиях, [...] и устав, приемлемый для университетских коллегий, был разработан. Работы комиссии были даже изданы. Всего набралось пять томов разных протоколов, записок, особых мнений. Никакого дальнейшего движения эти работы, как известно, не получили» (Зёрнов В. Д. Профессор Дмитрий Николаевич Зёрнов. Рукопись. Л. 9–10 // Коллекция В. А. Соломонова).

149 Речь идёт об историко-филологическом студенческом Обществе при Императорском Московском университете. Основной своей целью, отмечалось в уставе Общества, утверждённом попечителем Московского учебного округа 12 марта 1902 года, оно ставило: «1) научное саморазвитие студенчества в сфере историко-филологических и соприкасающихся с ними наук; 2) единение студентов между собою и единение их с профессорами на почве научных интересов» (ГАРФ, ф. 1093, оп. 1, д. 6, л. 3).

150 Поездка длилась с 29 июля по 2 сентября 1903 года и, по свидетельству А. Н. Анисимова, — «...считая плату за проезд и стол, обошлась каждому экскурсанту в 55 рублей, что оказалось возможным устроить лишь благодаря трёхтысячной субсидии Министерства, любезности греческого правительства, предоставившего в бесплатное распоряжение экскурсии военное судно «Канарис», многочисленным скидкам и удешевлениям на железной дороге и пароходе и другим исключительным условиям» (Анисимов А. Экскурсия студенческого общества в Грецию. М., 1904. С. 4). Первоначальный же взнос каждого участника экскурсии, по сведениям С. Н. Трубецкого, составлял 100 рублей. Из Москвы в составе экскурсии выехало 118 человек, по пути следования к ним добавилось ещё 21 человек — всего насчитывалось 139 экскурсантов (ГАРФ, ф. 1093, оп. 1, д. 69, л. 1, 3).

151 Специально для поездки в Грецию Правлением Общества из Вены через торговую фирму «Мандль М. и Н.», специализировавшуюся на торговле готовой одеждой было выписано 300 костюмов по цене от 2 рублей 80 копеек (тужурка и брюки) до 3 рублей 50 копеек (пиджак, брюки и жилет). При этом по распоряжению министра финансов они были освобождены от обязательного таможенного сбора (ГАРФ, ф. 1093, оп. 1, д. 69, л. 3).

152 Группы состояли из 8–9 человек, всего их было 16. Совет старост составлял хозяйственный комитет, возглавляемый казначеем Общества, которым являлся студент Н. А. Гейнеке.

153 По возвращении в Москву, организатор и руководитель поездки князь С. Н. Трубецкой выступил с ходатайством о награждении педеля П. Сарычева соответствующим знаком отличия. В своём обращении на имя ректора Московского университета он писал:

«По моей просьбе и по просьбе студентов, принимавших участие в экскурсии историко-филологического Общества, посетившей Грецию в августе прошлого, 1903 года, сопровождать экскурсию был командирован с разрешения Вашего превосходительства педель Павел Сарычев. На обязанности его лежало заведование хозяйственной частью, канцелярской частью и счетоводством. Неизменное усердие и исполнительность Сарычева в значительной мере способствовали материальному успеху экскурсии и поддержанию образцового порядка и общего довольства среди членов экскурсии. Всё время экскурсии Сарычев держал себя с большим тактом и достоинством, заслужившими ему общие симпатии. В виду сего я ходатайствую перед Вашим превосходительством о представлении Сарычева к награде. Он уже имеет большую серебреную медаль» (ГАРФ, ф. 1093, оп. 1, д. 6, л. 5–5об.).

154 Из отчёта Общества видно, что «за 75 коп[еек] в день экскурсанты имели сытный и здоровый стол — обед и ужин из двух блюд. Независимо от этого хозяйственный комитет закупал во множестве арбузы, виноград и в исключительных случаях вино. Чай был закуплен на всё время в Москве с потребным количеством чайников и самоваров» (ГАРФ, ф. 1093, оп. 1, д. 69, л. 1).

155 Алексей Иосифович Бачинский старше Зёрнова был только на год с месяцем (родился 2 апреля 1877 года).

156 Имеется в виду статья Н. В. Давыдова «Студенческая экскурсия в Грецию» (Русские ведомости. 1903. 18 сентября).

В ней он вспоминал: «Переход до Босфора был чудесный, пароход почти не качало, погода стояла отличная [...]. Между участниками экскурсии нашлись музыканты, и каждый вечер во время пла-

вания (туда и обратно) в гостиной первого класса, где стояло пианино, устраивались концерты: играли на фортепиано, скрипке, мандолине, гитаре, пели дуэты, романсы solo; [...] на корме даже давались отрывки из опер „Фауста", „Евгения Онегина", „Пиковой Дамы" с обстановкой. Особенным успехом пользовался „Фауст", в котором кроме хоров стариков и солдат отличались виртуозностью исполнения Маргарита, певшая сильным мужественным баритоном, и Мефистофель, изящно и таинственно драпировавшийся в резиновый дождевой плащ с капюшоном».

157 Сам Н. В. Давыдов, вспоминая об этом происшествии и своей роли в нём, писал: «...пришлось держать общему собранию экскурсантов речь, имевшую [цель] успокоить появившееся у них недовольство [...] за то, что в числе наших товарищей оказался молодой человек, кажется, не имевший права, по каким-то формальным причинам, участвовать в экскурсии; недовольство это объяснялось тем, что комплект путешественников был полон и нескольким лицам пришлось отказать в участии в поездке. Сначала молодёжь, вероятно уже несколько утомившаяся от поездки, горячилась, требовала расследования инцидента и исключения неправильно, по её мнению, принятого товарища, но благодушное настроение было всё-таки настолько велико, что после немногих моих слов о ничтожности данного случая, при явном отсутствии какого и чьего-либо злоупотребления, горячность нападок уменьшилась. Под конец собрания я заявил, что сейчас дело во всяком случае поправить нельзя, ибо сомнительного пассажира нельзя же потопить, а высадить на необитаемый остров, как бы оно следовало, немыслимо, ибо на Чёрном море островов нет, и что начавшаяся было, как раз в это время, лёгкая качка служит прекрасным основанием для закрытия собрания; как раз в этот момент крупная волна чувствительно поддала и опустила место собрания, и все при общем хохоте и весёлых кликах единогласно приняли моё предложение об оставлении дела без последствий и ни о каком недовольстве между ними не было речи и потом» (Давыдов Н. В. Князь С. Н. Трубецкой // Давыдов Н. В. Из недавнего прошлого. Ч. 2. М., 1917. С. 123–124).

158 Григорий Николаевич Трубецкой (1873—1930), русский дипломат и общественный деятель; брат С. Н. Трубецкого.

159 Памятник византийской культуры, построенный в 532–537 годах архитекторами Анфимием из Тралл и Исидором из Милета.

160 Принцевы острова (Кызыладалар; Kiziladalar) — 9 островов в Турции, на Северо-Востоке Мраморного моря, недалеко от Стамбула; славятся своими виноградниками и садами.

161 Янычары — регулярная турецкая армия (пехота), созданная в XIV веке, изначально комплектовалась из пленных, позже путём насильственного набора юношей из числа христианского населения Османской империи; ликвидирована в 1826 году Махмудом II.

162 Праздник Преображения Господня отмечается 6 августа в честь чудесного преображения лица Иисуса Христа. В Евангелии от Луки сказано: по прошествии 8 дней после признания апостолом Петром во Христе спасителя последний, взяв с собой учеников, взошёл на гору и стал молиться. Во время молитвы лицо его преобразилось, одежда сделалась белою. Из явившегося Христу и его ученикам облака раздался голос Бога: «Сей есть сын мой возлюбленный; его слушайте» (Лука, 9, 35).

163 Риза — парчовое, тканное золотом или серебром одеяние без рукавов, верхнее церковное облачение священнослужителей.

164 Епитрахиль — часть облачения священнослужителя (священника): расшитый узорами передник, надеваемый на шею и носимый под ризой.

165 Смирна — древнегреческое название города Измир.

166 Имеется в виду греко-турецкая война 1897 года на Кипре, длившаяся один месяц, в результате которой Греция потерпела поражение. Вопреки высказанному В. Д. Зёрновым мнению, русский десант совместно с войсками других европейских государств высаживался на Крите для поддержки греческих повстанцев, но оказать существенную помощь было уже поздно.

167 Великая княгиня Ольга Константиновна (1851—1926), дочь великого князя Константина Николаевича была замужем (с 1867 г.) за королём Греции Георгом I.

168 Пропилеи — парадный вход в Акрополь в Афинах (437–432 до н. э.; архитектор Мнесикл), имеет 2 дорических портика, расположенные на разных уровнях и связанные внутренней ионической колоннадой; в северном крыле Пропилеи размещалась Пинакотека (хранилище произведений искусства).

169 Парфенон — храм Афины Парфенос на Акрополе в Афинах, памятник древнегреческой классики. Храм был разрушен в 1687 году; в настоящее время частично восстановлен.

170 Архитрав — нижняя из трёх горизонтальных частей антаблемента, лежащая на капителях колонн; имеет вид балки.

171 Элевсинские мистерии — ежегодно проводившиеся в Древней Греции религиозные празднества в честь богини земледелия Деметры и её дочери богини плодородия и подземного царства Персефоны.

172 Пелопоннес — полуостров, историко-географическая область на юге Греции. На нём расположены города Спарта, Коринф, Патры, развалины Микен, Олимпии и другие древние достопримечательности. Дельфы — древнегреческий город в юго-западной Фокиде, считался общегреческим религиозным центром с храмом и оракулом Аполлона; место проведения пифийских игр.

173 Да здравствует прекрасная Греция и её народ! Да здравствует прекрасная Греция, пусть она всегда процветает! (лат.).

174 Подтверждения описанной встречи с королевским министром, ни в одном из известных источников, касающихся данного события, обнаружить не удалось. Известно только, что после обеда, который профессора давали офицерам «Канариса» в Коринфе, на имя греческой королевы Ольги была отправлена поздравительная телеграмма на французском языке по случаю её дня рождения. Когда же экскурсанты вернулись из поездки домой, на имя С. Н. Трубецкого в Подольск пришла ответная телеграмма от королевы, написанная по-русски, но латинскими буквами: «Благодарю Вас и студентов за пожелания. Искренно сожалею, что не могла лично приветствовать вас в Афинах. Ольга» (ГАРФ, ф. 1093, оп. 1, д. 9, л. 17).

175 Речь идёт об исторической эпопее Н. С. Новикова-Прибоя «Цусима» (1932–1935) о походе и гибели русской эскадры в русско-японской войне 1904–1905 годов.

176 Остров Лесбос расположен в Эгейском море вблизи побережья полуострова Митилини; являлся одним из центров древнегреческой культуры. Являлся родиной древнегречеcкой поэтессы Сапфо (Сафо) (7–6 вв. до н. э.), руководившей кружком знатных девушек, которых обучала музыке, слаганию песен и пляске. В центре её лирики — темы любви, общения и человеческой красоты.

177 Касаясь причин, приведших к ликвидации историко-филологического Общества при Московском университете, Н. В. Давыдов писал: «...это было уже в 1904 году, когда настроение студенчества круто изменилось, и вопросы внутренней политики поглотили (конечно, временно) интересы научные. Общество, при таком настроении студенчества распадалось, заседания его, проходившие слишком бурно, не могли собираться, и, наконец — после смерти С[ергея] Н[иколаевича Трубецкого] и декабрьских событий, — Общество совсем замерло и само собой ликвидировалось. Оно возродилось было в 1910 году, назвавшись студенческим научным обществом памяти С. Н. Трубецкого, [...] но академическая судьба не пощадила и его» (Давыдов Н. В. Из прошлого. Ч. 2. М., 1917. С. 115–116).

178 Автором исторической дилогии «Порт-Артур» (Кн. 1–2, 1940–1941), повествующей о начальном этапе русско-японской войны 1904–1905 годов, являлся Александр Николаевич Степанов (1892–1965).

179 Имеется в виду русско-турецкая война 1877–1878 годов, вызванная подъёмом национально-освободительного движения на Балканах и обострением международных отношений; завершилась подписанием Сан-Стефанского мирного договора (1878).

180 Рафаил Михайлович Соловьёв умер 12 апреля 1904 года и похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

181 Ваганьковское кладбище — находится в северо-западной части Москвы в районе площади Краснопресненской заставы (ул. Сергея Макеева, 15). Основано в 1771 году во время эпидемии чумы близ Ваганькова (отсюда название); являлось одним из крупнейших московских кладбищ. В начале XIX века построены церковь Воскресения, флигели при въезде (архитектор А. Г. Григорьев).

182 Особенности класса, в котором училась Е. В. Власова, были отображены в актовой речи начальницы гимназии Н. П. Щепотьевой, произнесённой ею 17 сентября 1905 года: «Когда вы в прошлом году, изучая русскую литературу, разбирали типы русской женщины по произведениям новейших писателей XIX в., мне как-то пришло в голову, что вы сами или многие из вас послужили бы хорошим материалом современному писателю для изображения чисто русской девушки начала XX века. Этот тип был бы во всяком случае не отрицательный, а положительный» (Записная книжка Е. В. Власовой // Коллекция В. А. Соломонова).

183 Петровское-Разумовское — местность на севере Москвы; к западу от линии Октябрьской железной дороги близ одноимённой платформы. В середине XVIII – начале XIX веков являлось владением гра-

фов Разумовских. Сохранился дворец (1865 года, архитектор Н. Л. Бенуа), 2 флигеля (XVIII век), парк с прудами и белокаменный грот (XVIII век). В 1860 году Петровское-Разумовское перешло в казну, в нём в 1865 году была открыта Петровская земледельческая и лесная академия (ныне Сельскохозяйственная академия).

184 Новый Иерусалим — Воскресенский мужской монастырь (современный город Истра (до 1930 года Воскресенск) Московской области), основан в 1656 году патриархом Никоном, «по мысли которого монастырь этот должен служить для русского народа местом созерцания страданий, смерти и воскресения Спасителя» (ПБЭС. Т. 1. СПб., [1913]. Стлб. 1060). Упразднён в 1919 году. В монастырских зданиях многие годы располагался Московский областной краеведческий музей (ныне Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим»). В 1970-х годах по соседству с обителью, на берегу реки Истры, создан Архитектурно-этнографический музей под открытым небом, куда свозятся памятники деревянного зодчества Подмосковья.

185 Имеется в виду четырёхклассная Ефремовская женская прогимназия, в которой Е. В. Власова обучалась с 1896 по 1899 год. В свидетельстве об окончании прогимназии, выданном ей 23 мая 1900 года, отмечалось: «Предъявительница сего, ученица IV класса Ефремовской женской прогимназии Екатерина Васильевна Власова, [...] дочь Ефремовского мещанина Василия Борисова Власова, вероисповедания православного, родившаяся в 1884 году, поступила по экзамену в первый класс Ефремовской женской прогимназии 1896 года 1 августа и, находясь в ней до окончания полного курса учения, в продолжении всего этого времени вела себя отлично и была переводима, по испытаниям, в высшие классы. [...] В настоящем году, при бывшем окончательном испытании ученицам IV класса, она оказала в обязательных предметах прогимназического курса нижеследующие познания:

1) В Законе Божием — отличные (5).
2) В русском языке с церковно-славянским — хорошие (4).
3) В математике — отличные (5).
4) В географии всеобщей и русской — отличные (5).
5) В естественной истории — отличные (5).
6) В истории всеобщей и русской — отличные (5).

Затем чистописанию и рукоделию обучалась с хорошими успехами.

Почему, на основании установленных правил, она, Власова Екатерина, удостоена звания ученицы, окончившей полный курс учения в женской прогимназии с распространением на неё прав и преимуществ, предоставленных ст[атьёй] 45 Положения о женских гимназиях и прогимназиях Министерства народного просвещения, ВЫСОЧАЙШЕ утверждённого 24-го мая / 8-го июня 1870 года». (Коллекция В. А. Соломонова).

186 Здание приюта (ул. Шаболовка, 33) построено по заказу и на средства крупного российского промышленника, филантропа и мецената, владевшего стекольным, бумагопрядильным и ткацким заводами в городе Гусь-Хрустальном, обер-гофмейстера Юрия Степановича Нечаева-Мальцева (1834—1913) как своеобразная дань памяти о своём отце — поэте, прозаике, археологе, обер-прокуроре и сенаторе С. Д. Нечаеве. Проектировал здание приюта архитектор Р. И. Клейн, с которым заказчик уже сотрудничал по созданию Музея изящных искусств. В 1906 году приют начал функционировать. Учреждение было строго сословным, в него принимались исключительно обедневшие престарелые нетрудоспособные дворяне (см.: Власов П. В. Благотворительность и милосердие в России. М., 2001. С. 225—227).

«Этот дом на Шаболовке с большим садом, — вспоминал впоследствии В. А. Власов, — был украшением серой замоскворецкой скучной улицы. Особенно красива была домовая церковь с иконостасом из итальянского мрамора с иконами и фресками из мозаики, с красиво звучащими на маленькой звоннице колоколами. Мой отец стал главным врачом и заведующим этой богадельней» (Власов В. А. Встречи. М., 1979. С. 17—18).

187 МИИТ — Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, основан в 1896 году как Инженерное училище (с 1913 года — Институт инженеров путей сообщения, с 1924 года — современное название).

188 Намёк на дарственную надпись, оставленную В. И. Эсмархом на обороте собственной фотографии, подаренной Е. В. Власовой: «Екатерине Васильевне, в воспоминание о добрых наших отношениях за годы моего преподавания в Вашем классе. От души желаю, чтобы судьба, благоприятствуя Вашим природным задаткам, дала бы Вам возможность приобрести столь редкое в наши дни всесто-

роннее, гармоничное образование; и чтобы жизнь с её требованиями и нуждами никогда не нарушила бы светлой ясности Вашей природы» (Коллекция В. А. Соломонова).

189 Письма и записки, которыми обменивались В. Д. Зёрнов и Е. В. Власова до свадьбы, сохранились; и ныне находятся в личном архиве учёного, входящем в состав Коллекции документов по истории Саратовского университета В. А. Саломонова (Саратов).

190 Указ о «Временных правилах об управлении высшими учебными заведениями ведомства Министерства народного просвещения» от 27 августа 1905 года, отменяя многие статьи Университетского устава 1884 года, предоставил университетам право самим выбирать ректора, проректора и декана. Однако утверждение избранных должностных лиц по-прежнему оставалось исключительной прерогативой высшей власти.

191 В. Д. Зёрнов неточен; встреча с Николаем II делегаций от земств и городов, куда входил С. Н. Трубецкой, состоялась 6 июня 1905 года. Тогда была произнесена знаменитая речь С. Н. Трубецкого, призывающая царя приступить к решительным и действенным реформам. Выражение же «бессмысленные мечтания» прозвучало из уст Николая II десятью годами раньше, 17 января 1895 года, когда поздравить его с восшествием на российский престол пришли представители земств, дворянских собраний и городских дум.

192 Ректором Московского университета князь С. Н. Трубецкой был избран 2 сентября 1905 года. В российском обществе это событие, как известно, вызвало массу восторженных откликов. Так, например, профессор Петербургского университета О. Д. Хвольсон в телеграмме от 3 сентября 1905 года сравнивал избрание Трубецкого на пост ректора старейшего русского университета с «блестящим началом новой эры университетской жизни» (ГАРФ, ф. 1093, оп. 1, д. 36, л. 10).

193 С. Н. Трубецкой скоропостижно скончался 29 сентября 1905 года. Смерть наступила от апоплексического удара в кабинете министра народного просвещения В. Г. Глазова сразу после совещания, на котором обсуждалась необходимость предоставления народу широкой свободы слова, разрешить ему повсеместно устраивать политические митинги и собрания. Только это, по мнению учёного, могло успокоить студенчество и вернуть академическую жизнь в мирное русло (см. Лопатин Л. Князь Сергей Николаевич Трубецкой. М., 1906. С. 15).

194 Донской мужской монастырь (Донская площадь, 1) основан в 1593 году царём Фёдором Ивановичем в память избавления Москвы от нашествия крымского хана Казы-Гирея на месте, где находился стан русских воинов и стояла церковь-палатка с иконой Донской божьей матери; упразднён после Октябрьской революции. С 1934 года в Донском монастыре находился Музей архитектуры Академии архитектуры СССР, с 1964 года — филиал научно-исследовательского Музея архитектуры имени А. В. Щусева. В 1990 году монастырь был возвращён Русской православной церкви. На его территории находятся Старое и примыкающее к нему Новое Донские кладбища.

195 Речь идёт о княгине Прасковье Владимировне Трубецкой [урождённой Оболенской] (1860—1914), явившейся с 1887 года женой профессора Московского университета князя С. Н. Трубецкого.

По воспоминаниям Н. В. Давыдова, «Прасковья Владимировна благотворно влияла на С[ергея] Н[иколаевича], помогая ему в разрешении встречавшихся на его пути сложных жизненных вопросов, поддерживая в нём бодрость и энергию в борьбе с тем, что она правильно и в полном единении с ним считала злом» (Давыдов Н. В. Князь С. Н. Трубецкой // Давыдов Н. В. Из недавнего прошлого. Ч. 2. М., 1917. С. 138).

196 Н. В. Давыдов писал: «...эта церемония, длившаяся с утра до позднего вечера, грандиозностью своей по массе народа, принявшего в ней участие, превзошла всё бывшее прежде при отдаче последнего долга выдающемуся человеку. Это не было прощание с человеком науки, с первым выборным ректором, толпа, казалось, чествовала наиболее память отошедшего в вечность политического деятеля. Этот оттенок даже со стороны части студенчества, вызывался между прочим возбуждённым настроением населения, в то время уже близком революционному. Во время медленного движения похоронной процессии в рядах, сопровождавших её, раздавалось молитвенное пение, но временами звучали такие песни, как „Марсельеза“ и „Вы жертвою пали“, что отнюдь не совпадало с направлением покойного, так же, как то обстоятельство, что во время его отпевания в университетской церкви, в том же здании, в нескольких аудиториях раздавались такие же песни. На гроб С[ергея] Н[иколаевича] были возложены и венки с белыми лилиями, и венки с ярко красными лентами — цвет, который С[ергей] Н[иколаевич] никогда не признавал «своим». Эти явления, — заключал Давыдов, — хотя они и сопровождали похороны С[ергея] Н[иколае-

вича], не относились лично к нему, они были неизбежной тогда данью времени» (Давыдов Н. В. Из прошлого. М., 1917. Ч. 2. С. 133–134).

197 Николай Эрнестович Бауман был убит 18 октября 1905 года. Его похороны, вылившиеся в 300-тысячную политическую демонстрацию, состоялись 20 октября 1905 года. На следующий день газеты сообщили, что «грандиозная политическая манифестация» прошла с соблюдением полного порядка. Однако, вернувшиеся вечером к зданию университета провожавшие «подверглись внезапному расстреливанию» со стороны Манежа (Русские ведомости. 1905. 21 октября).

198 Если не брать в расчёт газетных репортажей периода первой российской революции, то впервые наиболее полная информация о баррикадах 1905 года на территории Московского университета появилась в многотомном издании «Революция 1905–1907 гг. в России. Документы и материалы» (М., 1955. Ч. 1), а также в юбилейном двухтомнике «История Московского университета» (М., 1955. Т. 1).

199 Речь идёт о Вере Николаевне Муромцевой (1881—1961), дочере члена Московской городской управы и племяннице председателя I Государственной Думы. В 1906 году, познакомившись в Москве, в доме Б. К. Зайцева с уже известным к тому времени русским писателем И. А. Буниным, она тут же, не раздумывая, согласилась стать сначала гражданской, а после венчания в Париже в 1922 году вполне законной его супругой. В. Н. Муромцева-Бунина разделила с мужем все выпавшие на их долю радости и невзгоды, а после его смерти сделалась единственной хранительницей его бесценного литературного наследия.

200 См.: Алексинский Григорий Алексеевич // БСЭ. Т. 2. М., 1926. Стлб. 195–196.

201 Манифест 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании государственного порядка», подготовленный С. Ю. Витте и опубликованный в дни Октябрьской Всероссийской политической стачки, обещал народу «даровать незыблемые основы гражданской свободы», неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний и союзов, признать Государственную Думу законодательным органом и «в меру возможности» привлечь к выборам те слои населения, которые ранее были лишены избирательных прав.

202 При реконструкции улицы Горького в 1937–1938 годах это здание было передвинуто на несколько метров в глубь участка. В 1946 году по проекту архитектора Д. Н. Чечулина оно было надстроено ещё двумя этажами, а фасад отделан в стиле «сталинского ампира». Ныне в этом доме — Мэрия Москвы.

203 В 1906 году, будучи приват-доцентом Московского университета, Н. К. Кольцов подготовил и издал книгу «Памяти павших», посвятив её студентам университета — участникам событий октября-декабря 1905 года. Вырученные от продажи этой книги деньги автор передал П. К. Штернбергу для оказания помощи арестованным студентам (см. Летопись Московского университета. 1755–1979. М., 1979. С. 152).

204 М. А. Полозов со своей матерью, Анной Ивановной Полозовой, жили в это время на Тверском бульваре, в доме Романова, № 81.

205 Ошибка: открытие I Государственной Думы состоялось 27 апреля 1906 года.

206 Твёрдых принципов беспартийности В. Д. Зёрнов придерживался в течение всей последующей жизни. Но при всей своей неприязни к «политике» он всегда (и до революции, и в советское время) был политически активен и непримирим в своём противостоянии любому проявлению реакционности, произвола и беспринципности.

207 Налой (аналой) — стол, покрытый такой же материей, из какой делаются ризы священников; употребляется при богослужении в православной церкви, когда диакон читает евангелие.

208 Пароходное товарищество «Самолёт», основано в 1853 году отставным капитаном флота Владимиром Александровичем фон Глазенапом и титулярным советником Максимилианом Густавовичем Бехагель фон Аллерсконом. Суда общества, как правило, носили имена писателей, композиторов и князей: «Пушкин», «Лермонтов», «Тургенев», «Крылов», «Чайковский», «Князь Ярослав Мудрый», «Князь Юрий Суздальский» и другие. К моменту национализации в 1918 году общество имело 42 парохода.

209 Пароходное общества «По Волге», основано в 1843 году. Его первый пароход — «Волга» — мощностью 200 лошадиных сил был построен в Голландии и в разобранном виде доставлен в Россию. Главный инициатор создания общества — иностранец Д. И. Кейли; кроме него уполномоченными директорами являлись: петербургский первой гильдии купец М. Н. Кириллов и калязинский

первой гильдии купец Д. М. Полежаев. К 1918 году общество владело 20 пароходами.

210 Зелёный остров — островная местность на Волге у Саратова, поросшая деревьями и кустарником; до сих пор является одним из наиболее излюбленных мест отдыха саратовцев.

211 Ныне — улица Советская; дом, где жила семья Зёрновых не сохранился.

212 Крупный успех, выпавший на долю повести Н. С. Лескова «Соборяне» (1872), рассказывающей о быте российского духовенства, по мнению С. А. Венгерова, «влил успокоение в душу писателя и раскрыл ему глаза на настоящее его призвание — уменье находить яркую колоритность в сфере самых серых, на первый взгляд, положений и слоёв русского быта» (РБС: В 20 т. Т. 9. М., 2001. С. 324).

213 Торговый дом «И. Г. Харитоненко с Сыном в Сумах», основан в 1856 году Иваном Герасимовичем Харитоненко (1820—1891). После его смерти семейное дело возглавил его сын действительный статский советник, коммерции-советник, крупный меценат и коллекционер Павел Иванович Харитоненко (1852—1914).

214 Младшая дочь Харитоненок, Наталья Павловна, вышла замуж за внука министра иностранных дел и Государственного канцлера, потомка старинного русского княжеского рода начала XVI века, восходящего к черниговской ветви Рюриковичей, светлейшего князя Михаила Константиновича Горчакова. Старшая же дочь, Елена Павловна, — за сына генерала от кавалерии и члена Государственного Совета из французского дворянского рода, с 1-й четверти XIX века состоявшего на русской службе, гвардейского офицера Михаила Сергеевича Олив. По отзывам современников, «первый был очень красивый барин, второй оказался с большим характером» (Нестеров М. В. Воспоминания. М., 1989. С. 363).

215 Иначе характеризовал супружескую чету Харитоненок М. В. Нестеров. Вспоминая о своих встречах с ними, он писал: «...надо сказать, что мои заказчики далеко не были людьми худыми. Они были добры, внимательны к людям им нужным, тратили огромные деньги на свои Сумы, на десятки учреждений, ими созданных. Правда, они были тщеславны, и за это дорого платили (доходы их в последние годы достигали четырех миллионов чистыми). [...] Тысячи людей около Харитоненок нашли безбедное существование. [...]

Легко и приятно проходила жизнь этих беспечных добряков. Они постоянно куда-то стремились, боясь запоздать туда, где было так называемое избранное общество, модная выставка или премьера. Они легко сходились с людьми, ещё легче расходились. Дорого и мило им было то, что носило на себе клеймо успеха или моды. Они не были исключением в обществе начала XX века, как не были исключением во все века минувшие: напудренные парики дочерей стали бы розовыми и голубыми, природа же этих людей из века в век оставалась неизменной, и они, не ведая, доживали до своего рокового часа» (Нестеров М. В. Указ. соч. С. 362–365).

216 В период революции 1905—1907 годов торговый дом «И. Г. Харитоненко с Сыном в Сумах», действительно, оказался в тяжелейшем финансовом положении. В общей сложности задолженность крупнейшей в России сахарной фирмы составила 22,2 млн р., из них 7,7 — Государственному и 14,5 млн р. — частным петербургским и московским банкам. В создавшейся ситуации П. И. Харитоненко в марте 1908 года обратился в Госбанк с просьбой отсрочить платежи по векселям торгового дома.

Летом того же года «было заключено соглашение Госбанка и частных кредиторов, по условиям которого Харитоненко закладывал в Дворянском банке свою недвижимость с оценкой 25 млн р. (земля при девяти сахарных заводах, стоившая, по оценке самого Харитоненко, 41 млн р.), а кредиторы создавали Комитет по надзору за ходом его дел и обязались снабжать фирму оборотными средствами по учёту финансовых векселей на сумму до 2,2 млн р. [...]

В 1909 г. соглашение, срок которого был установлен в один год, решено было продлить ещё на год с условием получения из Дворянского банка ипотечной ссуды для погашения долга фирмы коммерческим кредитным учреждениям. Однако в начале 1910 г. Харитоненко обратился в Министерство финансов с предложением покрыть полностью долг акционерным банкам из ипотечной ссуды, чтобы консолидировать все свои счета в Госбанке, которому в этом случае он оставался должен ещё около 6 млн р. (эту задолженность он обязался погасить в течение 5 лет). Госбанк принял это предложение [...].

В итоге Госбанк остался единственным кредитором фирмы, а окончательный расчёт был произведён в начале 1915 г. наследниками скончавшегося в 1914 г. П. И. Харитоненко» (Петров Ю. А. Ком-

мерческие банки Москвы. Конец XIX в. — 1914 г. М., 1998. С. 75–76).

Что касается личного состояния П. И. Харитоненко, то современники не случайно считали его одним из самых богатых людей России: к 1914 году ему принадлежало 70 тысяч десятин земли, 60 миллионов капитала и 10 сахарных заводов, оборудование для которых привозилось из Бермингема. Одновременно с производством сахара он открывает новую для себя сферу вложения капитала и становится директором управления Белгородско-Сумской железной дороги. Предпринимательская жилка, стремление к умножению огромного состояния за счёт использования новейших достижений науки и техники просматривались во всех его начинаниях. Наглядное подтверждение тому: благоустройство фамильного имения, заложенном в 1884 году на песчаных берегах реки Мерчик И. Г. Харитоненко и названном в честь младшей внучки — Натальевкой. «Из Швейцарии, Дании и Голландии выписывается скот, по последнему слову науки строятся птичники и коровники. Питомцы натальевских конюшен были призёрами московских бегов. Всё поставлено на коммерческую основу и вложено так, что немецкие агрономы, побывав здесь, заявили, что подобного хозяйства они не видели даже в Европе. А студенты московского сельхозинститута вместе с профессурой ежегодно приезжали сюда, чтобы ознакомиться с последними новинками.

Николай II за особо успешную деятельность на поприще отечественной промышленности возвёл Павла Харитоненко в потомственное дворянство, а его фамильный герб был увенчан словами: «Трудом возвышаюсь».

217 Московская частная мужская гимназия Л. И. Поливанова находилась на улице Пречистенке, в доме Пегова.

218 Изящный особняк на Софийской набережной, 14 был построен в 1891–1893 годах под руководством выдающихся московских архитекторов — В. Г. Залесского (автор проекта) и Ф. О. Шехтеля (внутренний интерьер).

Харитоненки поселились в особняке на Софийской набережной в 1893 году и прожили в нём до лета 1918 года. После отъезда хозяев в особняке около года помещалась миссия датского Красного Креста, а в 1919 году его передают Комиссариату иностранных дел для размещения высокопоставленных гостей. В последующие годы там останавливались многие знаменитости — писатель Герберт Уэллс, кузина Уинстона Черчилля скульптор Клэр Шеридан, журналист и писатель Артур Рэнсон, американский предприниматель Арманд Хаммер, танцовщица Айседора Дункан и король Афганистана Аманулла. Здесь же жили и семьи ряда высокопоставленных советских дипломатов, в том числе будущего наркома Литвинова.

С 1931 года в особняке на Софийской набережной, 14 находится посольство Великобритании в Москве.

219 До лета 1918 года В. А. Харитоненко с сыном Иваном, наследником многомиллионного отцовского состояния, который скончался в родовом имении Натальевке в 1914 году, продолжали жить в знаменитом московском особняке на Софийской набережной. Затем, бросив на произвол судьбы всё своё несметное богатство и, прежде всего, уникальную коллекцию художественных ценностей, переехали на Украину; оттуда эмигрировали за границу, где и закончили дни своего существования. Жизнь И. П. Харитоненко оборвалась трагически, в результате самоубийства, происшедшего в Мюнхене в 1924 году.

220 Один из подобных увеселительных вечеров в доме Харитоненок весьма колоритно представлен в воспоминаниях М. В. Нестерова: «В спектакле участвовала московская «золотая молодежь», разные доморощенные «дофины» и «инфанты». Среди них первенствовал «единственный», как томно называла мадам Харитоненко сына Ивана Павловича — Ваню Харитоненко. Народу набралось человек до трехсот. Москва титулованная и та, что «за кавалергардов» — именитое купечество со своими отпрысками. Были кое-кто из артистов, художников. Спектакль ставил артист Художественного театра талантливый, опытный Москвин. Хорошие костюмы, декорации.

Спектакль затянулся. По окончании мы с женой хотели тотчас уехать домой — не удалось. Намерение наше было открыто, пришлось остаться ужинать. Началось шествие к столу. Княгиня Щербатова взяла меня под руку, и судьба моя была решена.

Огромная столовая, в ней большой центральный стол и ряд малых, отлично сервированных, украшенных массой цветов. За нашим столом, кроме кн[ягини] Щербатовой и меня, были молодые Мекки, кн[язь] Щербатов и балерина Гельцер. Не скажу, чтобы я чувствовал себя в этом обществе, как дома. Салонные разговоры не были мне по душе. Однако как-то всё обошлось благополуч-

но. Хозяевами был предложен тост за моё здоровье. Часам к четырём ужин кончился, мы распростились, автомобиль доставил нас домой» (Нестеров М. В. Указ. соч. С. 365).

221 А. И. Леман является автором трёх работ, посвящённых скрипичному искусству: «Акустика скрипки» (Ч. 1 и 2. М., 1903); «Книга о скрипке» (2-е изд. М., 1903) и «Русская скрипка» (СПб., 1909).

222 Дмитрий Владимирович Зёрнов родился 7 марта 1907 года.

223 См.: Зёрнов В. Д. Учитель и друг // Тр. ИИЕТ. Т. 28. Ист. физ.-мат. наук. М., 1959. С. 111–118. См. также: ВИЕТ. 2004. № 4. С. 143–151.

224 По-видимому, речь идёт о письме П. Н. Лебедева из Гейдельберга от 4 июля 1906 года, в котором он «весьма настоятельно» просит В. Д. Зёрнова «изложить теорию манометра Вина, так как она должна появиться в печати». В конце же письма Лебедев с упрёком замечает: «...всё, что Вы пишите, должно быть додумано до конца, а в Ваших неряшливых набросках добраться до понимания достаточно трудно» (ВИЕТ. 2004. № 4. С. 161).

Похожие замечания П. Н. Лебедева присутствуют и в других его письмах к Зёрнову. Так, например, в письме от 15 июня 1906 года он писал: «Многоуважаемый Владимир Дмитриевич! Во-первых, поздравляю и желаю Вам всего хорошего. Во-вторых, поздравляю Вас с тем, что я далеко. Дело в том, что я никогда не ожидал, что Вы дадите мне Вашу рукопись в такой неряшливой форме: Вы не потрудились даже сами перечитать её и заполнить пропуски в цитатах и размерах приборов, без чего её нельзя печатать — и я, в качестве переводчика, ничего не могу сделать» (ВИЕТ. 2004. № 4. С. 152).

225 В своём ответном послании, черновой набросок которого хранится в личном архиве учёного, В. Д. Зёрнов писал: «Многоуважаемый Пётр Николаевич! Любезное письмо Ваше от 4. VII получил. Очень жаль, что Вы не сообщили мне при свидании в Москве о тех сомнениях, которые представляет теория манометра Вина. В моём тексте она изложена согласно Вашим указаниям, сделанных в черновике, который прилагаю (очень прошу Вас листы черновика сохранить и при свидании возвратить мне). Изложение теории в двух редакциях, как Вы требуете, также прилагаю.

Далее. Вам угодно знать моё суждение о формулах „самого Вина". Затрудняюсь что-либо на это ответить, т[ак] к[ак] не знаю о каких формулах идёт речь. У меня в тексте не упоминается о таковых формулах» (Коллекция В. А. Соломонова).

226 Вот что писал по этому поводу сам П. И. Карузин в биографической заметке, посвящённой памяти Д. Н. Зёрнова: «В 1899 г., по выслуге 30 лет, Д[митрий] Н[иколаевич] не оставил преподавательской деятельности, остался директором Института нормальной анатомии и ему, кроме пенсии, назначено было из сумм министерства 1200 руб[лей].

На освободившуюся кафедру избирается э[кстра]орд[инарный] проф[ессор] П. И. Карузин, с которым с 1901 г. Д[митрий] Н[иколаевич] и делил труды преподавания, уступив ему ещё в 1898 г. чтение лекций на естественном отделении» (Карузин П. И. [Краткий очерк деятельности Д. Н. Зёрнова]. Москва, 20 августа 1917 года. Машинопись. Л. 1об. // Коллекция В. А. Соломонова).

227 То же обстоятельство подчёркивалось в речи В. К. Аркадьева, произнесённой 24 апреля 1946 года на торжественном заседании Совета физического факультета МГУ, посвящённом 80-летию со дня рождения П. Н. Лебедева. «Лебедев на этот прибор обращал внимание видных певцов и музыкантов того времени (Собинов, Шаляпин, Танеев), старался фонометр „внедрить в производство", как мы теперь говорим. Однако, — замечал он далее, — в то время число и мера ещё не завоевали себе полного признания в искусстве. Только в двадцатых годах фонометр нашёл широкое применение на практике, когда с развитием радио получила развитие и акустика и в виде электроакустики, архитектурной и военной акустики сомкнулась с техникой. В настоящее время фонометр Лебедева-Зёрнова применяется при акустических измерениях и в различных электроакустических приборах, чаще всего нося название диска Рэлея. Имя же Зёрнова и Лебедева, проложивших путь этому прибору, часто не упоминается даже в отечественной литературе (см., напр[имер]: „Физический словарь", слова „Рэлея диск" и „Фонометр")» (Аркадьев В. К. П. Н. Лебедев. [Речь на торжественном заседании Совета физического факультета МГУ, посвящённом 80-летию со дня рождения П. Н. Лебедева. Москва, 24 апреля 1946 года]. Машинопись. Л. 4 // Коллекция В. А. Соломонова).

228 Речь идёт о публикациях В. Д. Зёрнова: «Über absolute Messungen der Schallintensität: (Zweite Mitteilung). Die Rayleighsche Scheibe» (Annalen der Physik. 1908. B. 26. Nr. 1. P. 79–94) и «Об абсолютном измерении силы звука: (Второе сообщение). Диск Рэлея» (ЖРФХО. 1908. Т. 40. Физика. № 3. С. 70–83).

229 Учёной степени доктора философии П. Н. Лебедев был удостоен в 1891 году, защитив в Страсбургском университете диссертацию «Об измерении диэлектрических постоянных паров и о теории диэлектриков Мосотти-Клаузиуса».

230 Фундаментальная научная работа П. Н. Лебедева «Экспериментальное исследование пондеромоторного действия волн на резонаторы» получила высокую оценку физиков всего мира, а её автору доставила докторскую степень Московского университета без сдачи предварительных экзаменов и защиты магистерской диссертации, полагавшихся по уставу того времени.

231 Работа А. П. Соколова «О гальванической поляризации электродов» защищена в 1882 году в качестве магистерской диссертации. Степени же доктора физики он был удостоен в начале 1886 года за другую работу — «Опытное исследование электрических колебаний в электролитах».

232 По-видимому, имеется в виду четырёхтомный труд О. Д. Хвольсона «Курс физики» (СПб., 1892—1915). В 1923—1926 годах в Берлине вышло пятое последнее его издание в шести томах.

233 Фонометр — прибор, состоящий из подвешенного к кварцевой нити длиной около 300 мм прямоугольного зеркальца 3 х 15 мм с алюминиевой лопаткой внизу для успокоения колебаний. Для защиты от случайных воздушных потоков подвижная система прибора была окружена цилиндрической оболочкой из тонкого чёрного тюля. Установка крепилась на высокой стойке с установочными винтами. Современным исследователям, работающим над акустическими измерениями, фонометр Лебедева-Зёрнова известен как «диск Рэлея».

234 Деканом физико-математического факультета Варшавского университета в это время был профессор Павел Иванович Митрофанов (1857—1920). Однако в августе 1908 года лабораторию П. Н. Лебедева, вопреки утверждению Зёрнова, посетил и справлялся о возможных кандидатах на варшавскую кафедру не декан, а попечитель Варшавского учебного округа Владимир Иванович Беляев (1855—1911). Откликаясь на просьбу последнего, Лебедев 23 сентября 1908 года писал:

«Многоуважаемый Владимир Иванович!

В конце августа я имел удовольствие видеть Вас в своей лаборатории и беседовать с Вами о возможных кандидатах на кафедру физики в Варшавском Университете. В настоящее время я имею возможность рекомендовать очень подходящего кандидата Владимира Дмитриевича Зёрнова (сына Декана нашего Медицинского факультета), который на днях оканчивает магистерские экзамены, имеет готовую диссертацию и к декабрю может быть магистром. В. Д. Зёрнов уже студентом начал работать у меня, за сделанное им исследование по акустике получил премию Мошнина и, получив место лаборанта при нашем институте — где он из личного опыта ознакомился с руководством занятиями студентов,— он не оставлял своих научных работ. В. Д. Зёрнов часто выступал референтом в наших физических коллоквиях и невольно обращал на себя внимание как очень хороший лектор: он спокойно, ясно и интересно говорит, что Вам могут подтвердить все слышавшие его на Менделеевском Съезде.

Я буду премного благодарен Вам, если Вы сообщите мне, считаете ли Вы желательным, чтобы В. Д. Зёрнов официально выступил кандидатом, и указали бы мне форму, в которой это можно было бы сделать.

Примите уверения в совершенном почтении. П. Лебедев» (Научная переписка П. Н. Лебедева. М., 1990. (Научное наследство; Т. 15). С. 286).

235 Характеризуя этого «физика», П. Н. Лебедев в письме к Б. Б. Голицыну от 19 декабря 1909 года писал:

«Я не знаю, известна ли Вам деятельность этого зловредного фрукта, но мне от души было досадно, что хитроумный Орест [Данилович Хвольсон], дипломатически сославшийся на внезапное нездоровье, передал Вам председательство на время „сообщения" Г[осподи]на Мышкина: Мышкин очень ловко околпачил Клоссовского (которого большие заслуги в области устройства Метеорологии и одновременное полное непонимание физики я себе вполне ясно представляю) и через Клоссовского, очевидно, попал в милость к Рыкачёву.

Дело в том, что Г[осподи]на Мышкина маститый Ив. Ив. Боргман провёл в магистры, как говорит легенда, не за абсолютно неприличную и бессмысленную диссертацию, а по доброте, потому что Г[осподи]ну Мышкину без этого не дали бы места в Новой Александрии. Я не берусь судить, была ли тут доброта или тупое непонимание разницы между работой по физике и просто ерундой — но факт налицо и, как кажется, Ив. Ив. теперь не особенно гордится тем, что был восприемником диссертации.

Потом Г[осподи]ну Мышкину нужна была докторская диссертация. Он сделал две попытки в этом направлении — и Г[осподи]ну Мышкину оставалось бы только найти доброго дубину-оппонента, чтобы пролезть в доктора,— а это при большом количестве вакантных кафедр по физике выгодно — но я устроил ему препону в виде двух небольших, но достаточно убедительных заметок. [...]

Теперь Г[осподи]н Мышкин, очевидно, околпачивает метеорологов и поэтому пути хочет пролезть. Когда я прочитал, что Г[осподи]н Мышкин состоит членом магнитной Комиссии при Академии Наук, то я был в одинаковой мере и изумлён и его ловкостью — и «неосторожностью» Академии и хотел бы обратить Ваше внимание на это обстоятельство. Не думаю, чтобы Г[осподи]н Мышкин был полезен Академии, но Академия будет ему, конечно, полезна — я только сомневаюсь, чтобы это было в интересах учёного и учебного дела в России.

Мне всегда ужасно противно выступать в печати с „опровержением“ разных прохвостов, но я знаю, что махнуть на это рукой и плюнуть я не имею права в интересах дела: если не мешать прохвостам, то они задушат у нас физику: они не только собой будут затыкать кафедры и сознательно или бессознательно губить молодежь — но и в наследники себе пустят только эквивалентную себе сволочь. Я это хорошо знаю: насмотрелся! С меня довольно!» (Научная переписка П. Н. Лебедева... С. 304–305).

236 «Его [Лебедева. — В. С.] решительный отказ (1905–1909 г.) признать дисперсию света в мировом пространстве впоследствии полностью оправдался» (Аркадьев В. П. Н. Лебедев. Апрель 1946 г. Машинопись. Л. 5 // Коллекция В. А. Соломонова).

237 Ошибка; см.: коммент. 234.

238 На вакантную должность профессора кафедры физики Варшавского университета, вместо отказавшегося от неё В. Д. Зёрнова, в 1909 году был назначен другой ученик П. Н. Лебедева — Андрей Робертович Колли (1874–1918).

239 Московская «Типография Г. Лисснера и Д. Собко» (Воздвиженка, Крестовоздвиженский пер., дом Лисснера).

240 Речь идёт об известном московском фотосалоне, владельцем и мастером-фотографом которого был Отто Ренар (Газетный пер., дом баронессы фон Шеппинг, напротив частного театра).

241 I Менделеевский съезд проходил в Петербурге 20–30 декабря 1907 года.

242 Стремление П. Н. Лебедева к достижению предельной ясности и краткости в научном исследовании — требование, одинаково предъявляемое как к себе лично, так и к своим ученикам. На это обращалось внимание и в надписи-напутствии, сделанном им на оттиске первой печатной работы В. Д. Зёрнова (см. ВИЕТ. 2004. № 4. С. 145–146).

243 Далее в рукописи в виде приложения вклеен, составленный В. Д. Зёрновым, «Первоначальный конспект речи, произнесённой на защите диссертации. Написано в 1909 г.»:

«Работа, представленная мною на суд факультета, представляет конечный результат пятилетних экспериментальных исследований, предпринятых мною по предложению профессора П. Н. Лебедева в его лаборатории.

Цель исследования — это выработка простого и точного метода для определения силы звука в абсолютной мере.

До настоящего времени было предложено 4 метода для определения силы звука в абсолютной мере, а именно:

1) Рефрактометрический метод Тёплера и Больцмана, основанный на измерении изменения плотности газа в узле стоячей волны;

2) Метод манометра Вина, основанный на измерении амплитуды давления в узле стоячей волны;

3) Метод звукового давления, определяющий силу звука по постоянному малому избытку давления в узле стоячего колебания;

4) Метод диска Рэлея, основанный на измерении вращающего момента, действующего на пластинку, помещённую под некоторым углом к направлению движения колеблющихся частиц газа.

Последний из этих методов до настоящего времени не применялся никем для абсолютного измерения силы звука, хотя теория его дана была В. Кёнигом еще в 1891 году.

Измерения, произведённые авторами, предлагавшими тот или другой метод, не были проверены ими другими методами, а потому нельзя было с уверенностью утверждать, насколько близки к истине результаты этих измерений.

Этот пробел я и постарался заполнить.

Из названных методов я подверг исследованию три:

1) Манометр Вина; 2) Звуковое давление; 3) Диск Рэлея.

Чтобы сравнить результаты этих методов и экспериментально проверить теорию Кёнига, я пользовался приборами, любезно предоставленными в моё распоряжение профессором А. П. Соколовым и директором ушной клиники С. Ф. фон Штейн, которым я позволяю себе здесь выразить мою глубокую благодарность. Оригинальные приборы и части сделаны частию мной собственноручно, частию при помощи университетских мастеров.

В результате предпринятых экспериментов оказалось, что избранные методы дают результаты практически вполне отвечающие истине.

Из всех методов наиболее чувствительным и точным оказался метод диска Рэлея, он же экспериментально и наиболее прост и универсален, так что представилась возможность построить „универсальный, портативный фонометр", которым я и произвёл ряд измерений.

Если эти несколько разрозненные измерения сами по себе и не могут ещё иметь значения, то они во всяком случае убеждают меня в полной пригодности метода диска Рэлея к разрешению различных практических вопросов, связанных с измерением силы звука.

Результаты моих исследований изложены в четырёх главах настоящей диссертации.

В I главе кратко описаны ранее предложенные методы и даны выражения плотности звуковой энергии через параметры доступные измерению.

Во II главе описаны опыты, касающиеся сравнения методов.

В III — специальное исследование диска Рэлея и опытные проверки теории В. К[ёнига], а также описание абсолютного фонометра.

В IV — описан портативный фонометр и дан ряд измерений, произведённых им.

Вот в кратких чертах результаты моих работ и план изложения.

Физико-математический факультет, рассмотрев мой труд, призвал меня сегодня, чтобы публично защищать представленную диссертацию. Я с благодарностью выслушаю замечания моих почтенных оппонентов и постараюсь дать нужные объяснения, но прежде этого в заключение моей речи я хотел бы выразить благодарность моему дорогому учителю профессору П. Н. Лебедеву и профессору А. П. Соколову, взявшему на себя труд представить рецензию о моей работе».

И в завершение — приписка, сделанная в период работы над данным разделом воспоминаний: «На [защите] диссертации, при произнесении „речи", изложение было более подробное и добавлено было об измерении звукового давления манометром Тёплера, чего в печатном тексте нет; описание опытов с[о] струёй паров эфира, чего также в диссертации нет. Демонстрированы были диапозитивы фотографий струи на экране» (Коллекция В. А. Соломонова).

244 Далее в тексте вклеена вырезка из газеты «Московские ведомости» от 13 марта 1909 года: «Академическая жизнь. Вчера, около 3-х час[ов] дня в аудитории физического института В. Д. Зёрнов, сын известного профессора Д. Н. Зёрнова и внук покойного профессора же Н. Е. Зёрнова, публично защищал диссертацию на соискание степени магистра физики: „Абсолютное измерение силы звука". После прочтения проф[ессором] Лейстом curriculum vitae диспутанта, с перечислением его учёных трудов, оппонентами выступили профессора: Соколов, Лебедев и Умов, единогласно признавшие, что работа В. Д. Зёрнова является весьма ценным вкладом в науку. На этом основании и принимая также во внимание и всю прежнюю плодотворную деятельность диссертанта на научном поприще, факультет нашёл его вполне заслуживающим искомой степени. Постановление это было встречено аплодисментами всей аудитории. В[ладимир] Д[митриевич] отправляется на казённый счёт в научную заграничную командировку на 2 года».

245 Законопроект «Об основании Университета в г. Саратове и отпуске средств на этот предмет» был одобрен и подписан Николаем II 10 июня 1909 года.

246 Такое положение дел объяснялось тем, что Саратовский университет был открыт в составе одного единственного факультета — медицинского.

247 В указанный период времени Василий Александрович Рахманов (1851—после 1914) занимал должность директора Департамента общих дел Министерства народного просвещения.

248 Фуникулёр (от лат. funiculus — канат) — рельсовая дорога с канатной тягой для перемещения пассажиров и грузы в вагонах по крутому подъёму на короткое расстояние. Первые пассажирские фуникулеры появились в Италии и Австрии в 1854 году.

249 Как дела в W. C.? (нем.); W. C. (англ. Water Closet) — туалет.

250 Да это Лесная капелла (нем.).

251 Слуга, служитель (нем.).

252 Завод по производству точной механики и оптики в Йене (Германия), основан Карлом Цейсом в 1846 году.

253 Добрый день (нем.).

254 Что за станция? (нем.).

255 Леонид Исаакович Мандельштам умер 27 ноября 1944 года от болезни сердца.

256 Пожилая супружеская пара (нем.).

257 Броккен (Brocken) — вершина в горах Гарц (высота 1142 м). С Броккеном связан ряд немецких народных поверий, в частности, шабаш ведьм в Вальпургиеву ночь (на 1 мая). У древних германцев считался праздником начала весны, с VIII века отмечается как праздник ведьм («великий шабаш») на Броккене.

258 Карл Бедекер (1801—1859), известный составитель путеводителей. В 1827 году основал в Кобленце знаменитую фирму, выпускающую путеводители по разным странам и городам. В 1839 году подготовил и издал путеводители по Рейнской области, средней, северной и южной Германии, Швейцарии, Парижу и другие. Все путеводители составлены были по личным наблюдениям автора и, благодаря добросовестному и умелому выбору материала, приобрели большую известность, сделав имя Бедекера нарицательным. Дело К. Бедекера продолжили его сыновья. Зёрнов пользовался, вероятно, изданием: Baedeker K. London, Südengland, Wales und Schottland. Koblenz, 1881.

259 Дьюара сосуд — колба с двойными посеребрёнными изнутри стенками, между которыми создано вакуумное пространство, что позволяет долгое время сохранять постоянной температуру вещества. Предложен в 1898 году английским физиком и химиком Джеймсом Дьюаром (1842—1923).

260 Первая линия Лондонского метро протяженностью в 3,6 км была построена в 1863 году.

261 Имеется в виду тюбинг (англ. tubing, от tube — труба) — элемент сборной крепи подземного сооружения, в данном случае, тоннеля метрополитена.

262 Речь идёт об одном из крупнейших музеев мира — Британском музее в Лондоне, основанном в 1753 году и открытым для посещения в 1759 году.

263 Вестминстерское аббатство — усыпальница английских королей, государственных деятелей, знаменитых людей (XIII–XIX веков).

264 Не полное название статьи В. Д. Зёрнова: «Über absolute Messungen der Schallintensität: (Zweite Mitteilung). Die Rayleighsche Scheibe» («Об абсолютном измерении силы звука: (Второе сообщение). Диск Рэлея») (Annalen der Physik. 1908. B. 26. Nr. 1. P. 79—94).

265 В рукописном оригинале русская транскрипция фамилии известного английского физика Эрнеста Резерфорда (Rutherford'а) везде приводится автором как «Рутерфорд».

266 Спинтарископ Крукса — прибор для наблюдения за сцинтилляциями (от лат. scintillation — мерцание) — кратковременными вспышками люминесценции, возникающих в сцинтилляторах под действием ионизирующих излучений; назван по имени создателя — английского физика и химика Уильяма Крукса (1832—1919).

267 К. А. Тимирязев был женат на Александре Алексеевне, урождённой Ловейко; по первому мужу — Готвальт (1857—1943).

268 Среди первых семи профессоров, получивших назначение в Саратовский университет, оказались люди всецело преданные науке и высшему образованию. Это — профессора Казанского университета: В. И. Разумовский (ректор), И. А. Чуевский (по кафедре физиологии с исполнением обязанностей декана медицинского факультета), В. В. Вормс (по кафедре физиологической химии, с исполнением обязанностей проректора), А. Я. Гордягин (по кафедре ботаники); приват-доценты Московского университета: В. Д. Зёрнов (по кафедре физики), Б. И. Бируков (по кафедре зоологии со сравнительной анатомией и паразитологией) и приват-доцент Новороссийского университета Н. Г. Стадницкий (по кафедре нормальной анатомии).

269 Ошибка; в Саратов В. Д. Зёрнов приехал 22 июня 1909 года.

270 Предложение взять на себя организацию и ректорство в новом университете на Юго-Востоке России, для самого В. И. Разумовского было совершенно неожиданным. «Если бы кто-либо сказал мне тогда, — вспоминал позже Васьлий Иванович, — что я скоро перейду к университетской административной деятельности, я бы не поверил: я не имел ни желания, ни влечения к этому» (Разумовский В. И. Хирургические воспоминания. Очерк 5: Строительство медицинского факультета Сарато-

вского университета // НХА. Екатеринослав, 1925. Т. 9, кн. 1. № 33. С. 3; ИСУ. Саратов, 2002. Т. 2. Вып. 2. С. 13.).

Место первого ректора и строителя Саратовского университета министр не случайно предложил профессору В. И. Разумовскому. В те годы он пользовался широкой известностью «...и не только как хирург с большим научным авторитетом, но и как человек смелых, независимых суждений, цельного морального облика» (Бакулев А. Н. Полвека на службе жизни // Прометей. М., 1972. Вып. 9. С. 113), что позволяло медицинской общественности уже тогда считать его «совестью русского врача» (Разумовская С. В. Жизнь и общественная деятельность В. И. Разумовского. Доклад на заседании Московского научного общества историков медицины 23 апреля 1982 г. Машинопись. С. 4. // Коллекция В. А. Соломонова).

271 Увек (или Укек) — третий по величине золотоордынский город, возник вдоль правого берега Волги в XIII веке, когда Нижнее Поволжье стало центром монголо-татарского государства. До 1313 года являлся центром обширной территории, включающей в себя и мордовские земли между Окой и Волгой. Просуществовал около 150 лет. Нашествие Тамерлана в конце XIV века на Золотую орду разорило город, на части развалин лишь в конце XVIII века возникла деревня Набережный Увек (ныне посёлок), который сохранил своё старое название. На территории Увекского городища и сейчас ещё можно найти предметы быта XIII века.

272 Железнодорожный мост через Волгу протяжённостью в 1694 м был построен в 1935 году.

273 Первый ректор Саратовского университета профессор В. И. Разумовский, вспоминая позже об этом событии, писал: «Деканом мне хотелось иметь кого-либо из профессоров-теоретиков. Мой выбор остановился на 3 кандидатах: одесском — профессоре Н. А. Батуеве, варшавском — Н. Г. Ушинском [...] и казанском — И. А. Чуевском. Оба первые уже были профессорами около 15 лет, следовательно, весьма опытны в академической жизни, а профессор Батуев, как опытный анатом и профессор первых 2-х курсов, был в особенности необходим при открытии Университета». Но из переписки с ними стало ясно, что первые двое не желают менять обжитые ими места на провинциальный город. «Лучше, — указывал далее В. И. Разумовский, — мне посчастливилось с 3-м кандидатом, профессором фармакологии в Казанском университете И. А. Чуевским, хотя и новым тогда профессором в Казани, но успевшим приобрести симпатии; он охотно согласился сменить казанскую кафедру на кафедру физиологии в Саратове и взять деканство» (Разумовский В. И. Хирургические воспоминания. Очерк 5: Строительство медицинского факультета Саратовского университета // НХА. Екатеринослав, 1925. Т. 9, кн. 1 (№ 33). С. 6; ИСУ. Саратов, 2002. Т. 2. Вып. 2. С. 15).

274 Иван Афанасьевич Чуевский умер 6 июня 1926 года.

275 Здание Саратовской фельдшерской школы, построенное в 1899 году по проекту архитектора А. М. Салько, находилось на углу Большой Сергиевской и Никольской улиц (ныне ул. Чернышевского и Радищева). Сейчас здесь размещается областой медицинский колледж.

276 Царские (Триумфальные) ворота были построены в 1871 году в честь приезда в Саратов императора Александра II. Находились они на Никольском взвозе — в районе пересечения современных улиц Чернышевского и Радищева. Снесены в 1926 году при строительстве СарГРЭС.

277 Неточность; надо: «на Большую Сергиевскую».

278 Не последнюю роль в этом деле сыграл попечитель Казанского учебного округа Н. К. Кульчицкий, который ещё до 1914 года намеревался заменить в Саратовском университета А. Я. Гордягина на К. С. Мережковского, чтобы последний смог «одновременно занять там и должность ректора».

Описывая от третьего лица всю эту закулисную «игру», Андрей Яковлевич констатировал: «Кульчицкий ещё и до попечительства имел основания для неприязни против некоторых саратовских профессоров, в том числе и Гордягина; может быть, главным из этих оснований был отказ участвовать в съезде правых профессоров, организатором которого был Кульчицкий в 1909 г. Став попечителем, Кульчицкий разными способами добился ухода неугодных ему профессоров из Правления Саратовского университета, а, следовательно, и из строительной комиссии, учреждения, которое существовало на основании особого закона и доставило немало неприятностей и казанским попечителям, и министерству. Гордягин тоже состоял членом Правления Саратовского университета, но по избранию от Совета, и удалить его из Правления было труднее, чем других, тем более что в законе о Саратовском университете по недосмотру не был оговорён срок, на который избираются такие члены Правления. Законный срок для расчёта с Гордягиным, который, по отзыву Кульчицкого, «поддерживал каждое выступление против министерства», открывался лишь в 1914 г., когда исполнялось двадца-

типятилетие службы Гордягина: министерство имело право «освобождать» от службы профессоров по истечении этого срока» (Гордягин А. Я. Из истории Ботанического кабинета Казанского университета // Учён. зап. Казан. ун-та. 1933. Т. 93. Вып. 6. С. 58–59). Касаясь же неожиданных перемен в своей жизни (о переводе в Казанский университет учёный узнал из газет), А. Я. Гордягин вынужден был с горечью констатировать: «К сожалению, внезапное перемещение летом 1914 года из Саратовского университета в Казань положило конец моей работе над Halobyss Jaczewskii, ибо в Казани я оказался лишённым собственной лабораторной обстановки, а начавшаяся война и революция не позволяли создать таковую» (цит. по: Баранов В. И. О жизни и работе А. Я. Гордягина // Учён. зап. Казан. ун-та. 1933. Т. 93. Кн. 6. Ботаника. Вып. 1. С. 20).

279 Исполняющим обязанности экстраординарного профессора по кафедре химии Саратовского университета Владимир Васильевич Челинцев (1877—1947) был назначен 10 июня 1910 года.

280 Из состава профессоров Саратовского университета Б. И. Бируков выбыл в 1922 году; дальнейшая его судьба не известна.

281 Ныне — улица Шевченко.

282 В настоящее время тетрадь хранится на кафедре общей физики Саратовского университета.

283 Московский ресторан «Саратов» находился на Сретенке в доме Дубровиной.

284 Цистоскоп — металлический катетер с оптической и осветительной системами, с помощью которого производится осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря.

С 1919 по 1923 год Ф. Ф. Троицкий обучался на механических курсах при союзе металлистов, после чего поступил в Саратовский индустриальный техникум, который окончил без отрыва от производства в 1926 году, получив специальность техника-механика по холодной обработке металлов.

Приступив к работе в Саратовском университете в должности препаратора кафедры физики с исполнением обязанностей мастера при физическом кабинете, Ф. Ф. Троицкий затем последовательно занимал должности: лаборанта кафедры физики, заведующего производством и директора Научно-конструкторской лаборатории, инженера экспериментальных мастерских, старшего механика НИИМФ при СГУ. Трудовой стаж Ф. Ф. Троицкого в стенах Саратовского университете составил в общей сложности 47 лет — с 1 сентября 1909 года по 16 декабря 1956 года (день выхода на пенсию).

Обращая внимание на наличие у Ф. Ф. Троицкого природных инженерно-конструкторских задатков и выделяя его заслуги перед Саратовским университетом, заведующий кафедрой общей физики и электроники СГУ, профессор П. В. Голубков писал: «За время своей работы в университете тов[арищ] Троицкий зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом в области разработки, конструирования и изготовления точной измерительной аппаратуры, широко эрудированным, обладающим весьма обширным опытом производственной и организационной работы, инициативным и дисциплинированным. По инициативе и непосредственном участии Ф. Ф. Троицкого была создана при Университете солидная научно-механическая база (экспериментальные мастерские), бессменным руководителем которых Ф. Ф. Троицкий был более 30-ти лет.

В период с 1917 по 1921 г[оды] тов[арищ] Троицкий совместно с коллективом мастерских выполнял по непосредственному заданию командования Красной Армии ответственные задания по разработке и освоению сложных специальных механизмов, до того времени импортировавшихся из-за границы. Столь же большую и ответственную работу вёл Троицкий в годы Великой Отечественной войны, оказывал весьма ценную помощь в деле обеспечения обороны нашей Родины.

Являясь талантливым конструктором и изобретателем Ф. Ф. Троицкий на протяжении своей многолетней работы предложил и лично осуществил многочисленные усовершенствования научной и учебной аппаратуры, а также новые, оригинальные конструкции разнообразных контрольных и измерительных приборов, клинических аппаратов, лабораторных станков для специальных целей и учебного обарудования. Общее количество указанных выше предложений Ф. Ф. Троицкого превышает 300. Ряд рационализаторских и конструкторских предложений Ф. Ф. Троицкого зарегистрирован в Комитете по Делам Изобретений. Многие из предложенных Ф. Ф. Троицким новых конструкций оказались весьма ценными по своим качествам и позволили обеспечить проведение важных исследовательских работ, проводившихся различными кафедрами Университета» (Архив СГУ. Д. 66 [Ф. Ф. Троицкий]).

285 Постоянным мастером «для изготовления оригинальных приборов и исправления существующих в механической мастерской при физическом кабинете, с оплатою по 35 рублей в месяц, из свободно-

го оклада, присвоенного по штату должности препаратора при кафедре физики», Ф. Ф. Троицкий был утверждён с 7 июля 1909 года. До этого он исполнял обязанности служителя с оплатою в 20 рублей в месяц (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 51, л. 6).

286 Чтения лекций в Саратовском университете началось 23 сентября 1909 года.

287 В сентябре 1909 года первый курс медицинского факультета Саратовского университета насчитывал 106 человек — 92 студента и 14 вольнослушателей (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 14, л. 27–27об.).

288 Вопрос, каким будет первый набор студентов Саратовского университета, накануне его открытия волновал многих. «Вероятно, — писал «Саратовский вестник», — что первые студенты будут саратовцами. В дальнейшем Саратовский университет сделается, определённо, областным высшим учебным заведением, которое будет привлекать слушателей из губерний Самарской, Астраханской, Симбирской, Тамбовской, Пензенской, Оренбургской, Уральской области и Области войска Донского» (Саратовский вестник. 1909, 6 июля).

Как показывают подсчёты, произведённые М. В. Казанским относительно 87 студентов, преобладающее большинство среди них действительно принадлежало уроженцам Саратова и Саратовской губернии — 46 человек, или 52% от общей численности. Однако среди первых питомцев Саратовского университета были и те, кто окончил гимназии, реальные училища, семинарии и кадетский корпус в Царицыне, Пензе, Тамбове, Астрахани, Самаре, Симбирске, Вятке, Рязани, Моршанске, Чернигове и Орле. Таких насчитывалось 29 человек (33%). Примечательно также, что 31 человек (35%), в их числе 19 саратовцев, ранее уже являлись студентами (а некоторые даже дважды) Казанского, Петербургского, Святого Владимира в Киеве, Новороссийского (Одесского), Томского, Московского, Харьковского и Юрьевского (Дерптского) университетов (см.: Казанский М. В. О торжестве открытия Саратовского университета 6-го декабря 1909 года. Казань, 1910. С. 39).

289 Фёдор Михайлович Топорков родился 24 марта 1887 года в городе Баку в семье вольного штурмана. Прозвище «капитан» закрепилось за ним в университетской среде не случайно. К моменту поступления на медицинский факультет Саратовского университета у него имелось уже два аттестата об окончании Астраханского училища малого плавания (1905) и Бакинского мореходного училища дальнего плавания Императора Александра II (1907). В 1920-е годы Топорков являлся доцентом Астраханского медицинского института.

290 Работы названы неточно; надо: «Фонограммы гласных человеческой речи» (ИИНУ. 1916. Т. 7. Вып. 1. С. 115–126); «Радиоактивные свойства эльтонской лечебной грязи» (там же. 1913. Т. 4. Вып. 3. С. 156–161).

291 Впечатления В. Д. Зёрнова от прочитанных им в первые годы работы в Саратовском университете лекций и об отношении к нему слушателей особенно ярко отражены в его письмах к жене от 7 и 12 июня 1912 года (см. Письма профессора В. Д. Зёрнова периода открытия и становления Саратовского университета (1909-1914) / Вступ. статья, коммент. и под. писем к публ. В. А. Соломонова // Изв. вузов «ПНД». Саратов, 1999. Т. 7. № 6. С. 131–133).

292 Д. Н. Зёрнов прибыл в Саратов 4 декабря 1909 года.

293 Дом на углу улиц Московской и Ильинской (ныне ул. Чапаева) сохранился до наших дней. Сейчас в нём находятся книжный магазин «Читающий Саратов» и стоматологическая поликлиника.

294 Речь идёт об Александро-Невском кафедральном (Новом) соборе в Саратове, построенном на народные деньги по проекту архитектора В. П. Стасова в честь победы русской армии в Отечественной войне 1812 года. Закладка собора состоялась 30 августа 1815 года, а торжественное освещение — 28 марта 1826 года. Позже, в 1840–1845 годах, на пожертвованные М. Ф. Дмитриевой деньги, была выстроена колокольня. В 1856 году в собор на вечное хранение были переданы знамёна саратовского ополчения, участвовавшего в Крымской военной кампании. В 1934 году собор был варварски уничтожен; ныне на его месте находится стадион «Динамо».

295 Первоначально для этой цели намечалось здание Музыкального училища. Однако от этого намерения члены комиссии вскоре вынуждены были отказаться и остановить свой выбор на городском театре, «имеющим самое большое и наиболее удобное помещение». Но, учитывая, что и он мог вместить не более 800–900 человек, «вместо 2000 гостей на торжественный акт решено было пригласить всего 1200» (Чуевский И. А. Торжество открытия Императорского Николаевского университета в г. Саратове 6 декабря 1909 года. Саратов, 1910. С. 22–23; Саратовский вестник. 1909. 17 и 27 ноября).

296 Здание Саратовской городской думы находилось на пересечении современных улиц Октябрьской и Московской. Сейчас в нём помещается институт «Промпроект».

297 Ныне: гарнизонный Дом офицеров — улица Соборная, 18.

298 Город (с 1914 года) в Саратовской области; с 1931 года современное название — Энгельс.

299 Утром 6 декабря 1909 года должно было начаться торжественное богослужение. Но по сообщениям местных газет, задолго до назначенного времени «вся Соборная площадь и близлежащие улицы Немецкая, Никольская, Армянская (ныне — проспект Кирова, улицы Горького и Волжская. — В. С.) и др[угие], были сплошь запружены народом. Все окна, парадные двери, балконы и заборы на этих улицах были заняты самой разнообразной публикой. С каждой минутой толпа на площади всё более и более увеличивалась; усиленные наряды полицейских, городовых, казаков и солдат с большим трудом удерживали напор толпы в несколько десятков тысяч. Солдаты стояли цепью и в собор пропускали только по билетам» (Саратовский вестник. 1909. 8 декабря).

После литургии епископ Саратовский и Царицынский Гермоген произнёс речь на тему о христианстве как истинной основе знания и наук. Затем под перезвон церковных колоколов, молебное пение и звуки военного оркестра все присутствовавшие на богослужении в соборе длинной вереницей направились к месту закладки зданий университета. «Говорят, — писали газеты, — когда процессия дошла до Московской пл[ощади], хвост, тянувшийся за нею толпы кончался у Вольской у[лицы]. Во всяком случае народу шло не менее 25 тыс[яч] человек, а некоторые доводят число до 40 и 50 тысяч» (Саратовский листок. 1909. 8 декабря).

300 Имеется в виду религиозный обряд освещения места будущего строительства на Московской площади, по окончании которого «специально изготовленный крест, имеющий форму университетского учёного значка, по окроплении святой водой, при торжественном пении стихир был поднят и укреплён на высоком шесте, украшенном национальными флагами и гербами — государственным и города Саратова. На этом месте весной будет заложено первое из университетских зданий: институт экспериментально-медицинских наук» (Чуевский И. А. Торжество открытия Императорского Николаевского университета... С. 33). Затем тем же порядком процессия возвратилась обратно в собор.

301 Некоторым современникам всё происходящее в тот декабрьский день в городском театре напоминало нечто вроде космического бал-маскарада. Вот что, например, по этому поводу писал фельетонист из «Саратовского вестника», скрывший своё имя под инициалами «К. Г.»: «Астрономы служебного звёздного мира [...] чествовали 6-го декабря на своей улице праздник: весь театр во время торжества открытия университета усеян был звёздами и пестрел лентами. [...]

И на сцене, и в партере, и в ложах — везде сияли Сириусы, Юпитеры, Марсы и прочие звёзды и планеты, так что мы, скромные астероиды, чувствовали себя сиротливо среди этого блеска и парада.

Одно нас поддерживало — это чувство духовного родства с виновником торжества — с университетом, который не знает ни звездоносцев, ни вельмож, у которого нет и не должно быть ни эллина, ни иудея, ни Васьки Зубка, ни полковника Дуплицкого...» (Саратовский вестник. 1909. 8 декабря).

302 В 1907 году, ходатайствуя об открытии в Саратове университета, особая депутация в составе городского головы В. А. Коробкова и гласных Г. Г. Дыбова и М. Ф. Волкова посетила П. А. Столыпина, после чего сообщала в своём отчёте: «С первых же слов нашего личного ходатайства он с полным и живым сочувствием высказался, что Университет в Саратове был его давнишним желанием, и что если будет основан новый Университет, то только Саратов может претендовать на него; при этом особенно подчеркнул, что говорит так не потому, что был Саратовским губернатором, а следовательно — говорит из любезности, а потому, что Саратов по своему положению и значению действительно заслуживает того, чтобы стать университетским городом...» (Чуевский И. А. Торжество открытия Императорского Николаевского Университета... Приложение. С. 65).

Об искренности и серьёзности намерений П. А. Столыпина в этом вопросе красноречиво свидетельствуют и мемуары М. Ф. Волкова, в которых почти дословно приводятся слова, сказанные главой правительства: «...в деле основания университета в Саратове, — обращаясь к членам саратовской депутации, заявлял Столыпин, — я ваш убеждённый сторонник и союзник, не потому, что я, бывший саратовский губернатор, хочу сделать приятное Саратову по просьбе его представителей. Я вряд ли это сделал бы, если бы считал, что он (университет. — В. С.) пока излишен. Я стою за университет потому, что Саратов в культурном, образовательном и экономическом отношении действительно является таким центром, в котором давно уже должен

быть основан именно университет...» (Волков М. Ф. История учреждения Саратовского университета и Саратовская городская Дума. 1906–1909 гг. Машинопись. // СОМК. Коллекция П. А. Козлова-Свободина. № 27745 С. 37).

Однако ни мнение П. М. Кауфмана, имевшего «...вид благодушного барина, очень любезного и приветливого», но не производившего «впечатление энергичного, стойкого, с большой инициативой государственного деятеля» (Там же. С. 180), ни поддержка даже такого авторитетного и влиятельного в высших кругах власти человека, как П. А. Столыпин, поставить в ближайшее время окончательную точку в жаркой дискуссии не могли. Правда, начиная с 1907 года взгляд сторонников открытия Саратовского университета становится преобладающим в Совете Министров. Всё меньше и меньше оставалось в нём тех, кто считал эту акцию преждевременной и опасной для государства.

303 Борьбу за открытие нового университета в России одновременно вели 10 городов: Царицын, Самара, Минск, Витебск, Смоленск, Воронеж, Ярославль, Нижний Новгород, Астрахань и Саратов.

304 Имеются в виду актовые речи В. И. Разумовского «К истории университетов и медицинских факультетов» и И. А. Чуевского «К истории Императорского Николаевского Университета» (см.: ИИНУ. Саратов, 1910. Т. I: Науч. отд.).

305 Фельетонист из «Саратовского листка» резонно заметил по этому поводу: «...чтение всех адресов задаёт задачу просто арифметическую. Если всех депутаций 150, и если каждая употребит на выход и прочтение своего адреса только три минуты, то получается 450 минут или 7 часов. Да ещё официальные речи, да разного рода заминки...» (Саратовский листок. 1909. 6 декабря). Поэтому зачитали свои приветствия лишь представители от города, земства, дворянства, от университетов, высших учебных заведений и некоторых учёных обществ.

306 Связывая воедино прошлое, настоящее и будущее обширного Юго-Востока России, естественным центром которого выступал Саратов с его окрестностями, А. А. Мануйлов и Д. Н. Зёрнов, представляя адрес старейшего русского университета, от имени всей его учёной корпорации заявляли: «...там, где некогда ютилась за земляными насыпями и рвами горсть стрельцов, пушкарей и казаков с их оружием и боевыми запасами, ныне видим многочисленный гарнизон культурной рати с её торговыми и промышленными учреждениями, учебными учреждениями и учёными обществами, с её музеями, библиотеками, типографиями и изданиями. Культ науки и просвещения уже давно свил себе прочное гнездо в Саратове, и ему обязан своим появлением именно в этом городе новый русский университет.

Но, являясь завершением славного прошлого Саратовского Поволжья, открытие в нём университета рождает надежды и упования на ещё более славное будущее. Отныне близок будет живой источник, который должен напоить жаждущих высшей науки и просвещения в крае. Отныне культ знания, культ просвещения будет получать мощную и близкую поддержку в открывающейся академии и Саратов ещё успешнее станет выполнять свою великую историческую миссию в разноплеменном Поволжье» (цит. по: Чуевский И. А. Торжество открытия Императорского Николаевского Университета... Прил. С. 68–69).

307 Говоря о позиции первосвященника местной епархии по данному вопросу, М. В. Казанский подчёркивал: «...еп[ископ] Гермоген не разрешил не только своему духовенству быть в театре на торжестве, но даже и депутату от духовенства — члену Гос[ударствен]ной Думы, священнику Лебедеву, воспрещено было быть в театре для прочтения привезённого им приветственного адреса» (Казанский М. В. Указ. соч. С. 12).

308 От человека, имевшего в обществе незавидную репутацию гонителя прогрессивной мысли (эта характерная черта личности Гермогена особенно ярко проявилась в годы первой российской революции, когда им были основаны, по сути дела, черносотенные газеты: «Православный россиянин» и «Братский листок») многие из присутствовавших на празднике открытия Саратовского университета действительно ожидали услышать нечто сенсационное, однако «еп[ископ] Гермоген разочаровал корректностью своей речи...» (Казанский М. В. Указ. соч. С. 8). Впрочем, для этого имелись веские основания: как-никак, а Владыка был «птенцом гнезда университетского» — он окончил три факультета Новороссийского университета, а затем Санкт-Петербургскую духовную академию.

По свидетельству А. И. Александрова, «архипастырь говорил о том, какие цели и задачи должен преследовать новый светоч науки. Открываемый ун[иверсите]т, поучая науке, должен воспитывать в молодых питомцах-студентах чувство гражданского долга, любви к родине, — но из него должны выходить в жизнь и верующие христиане. [...] Основные свойства истинного учёного, говорил вла-

дыка, скромность, самоотречение, преданность светлым началам добра и истины — есть вместе с тем и основные свойства истинно-верующего христианина» (Александров А. И. Открытие Императорского Николаевского университета в г. Саратове и 100-летний юбилей С.-Петербургской Духовной Академии // Учён. зап. Казан. ун-та. Год LXXVII. Кн. III. Март. Казань, 1910. С. 6–7).

309 В сопроводительном письме от 6 февраля 1910 года, адресованном главному библиотекарю университета Ивану Антоновичу Буссе (1856—1934), отмечалось: «Совет университета, согласно постановлению своему, 6 декабря 1909 года состоявшемуся, при сём препровождает Вам, милостивый государь, для хранения при библиотеке „163" адреса и „669" приветствий, поднесённых Императорскому Николаевскому Университету в день торжественного его открытия — 6 декабря 1909 года и поименованных в приложенной при сём особой описи» (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 51, л. 6).

310 В телеграмме П. Н. Лебедева говорилось: «Приветствую нарождающийся Физический институт. Желаю ему расти большим, иметь силы, много успешно работать». Подлинник телеграммы ныне хранится на кафедре общей физики Саратовского университета.

311 После подведения в январе 1910 года окончательных итогов городская управа подсчитала, что на участие в торжественных мероприятиях по случаю открытия Саратовского университета ею было израсходовано 5500 рублей. Из них для обеда 182-х приглашённых в городскую думу гостей — 2519 рублей, а для обеда 1300 человек бедных — 483 рубля (по другим данным — 540 рублей) (см.: Петров Б., Гапоненков А. «Он всё время стремится в Саратов...»: Саратовские страницы биографии Михаила Булгакова // Волга. 1990. № 5. С. 103; Саратовский вестник. 1909. 6 декабря).

312 В 1909–1918 годах должность секретаря Совета и Правления Саратовского университета занимал Сергей Ильич Купцов (1868—не ранее 1929).

313 Текст «Кантаты» (слова М. Я. Горделя, музыка С. К. Экснера):

День этот славный, как знамя победное,
Дорог и памятен будет всегда;
День этот — светоч, едва загоревшийся,
Над колыбелью священной труда.

Мирный и благостный,— пусть разгорается
Пламенем ярким забрезживший свет,
Свет исцеляющий, свет примиряющий
В мире страданий, печали и бед.

Жаждущим знаний, в потёмках блуждающим
Он озаряет дорогу кругом...
Всем, охраняющим пламя священное,
В день этот радостный славу поём.

314 В настоящее время этот документ хранится в Коллекции В. А. Соломонова.

315 О профессорском гонораре в Саратовском университете можно судить по представленной проректором 23 октября 1909 года справке. В ней отмечалось: «...до настоящего времени поступило гонорарной платы за истекший семестр 1909 года от 52 студентов и 10-ти вольнослушателей — 1116 руб[лей], которые распределяются в следующем порядке: проф[ессор] Н. Г. Стадницкий... 679 р[ублей], И. А. Чуевский ...93 р[убля], В. Д. Зёрнов ...232 р[убля] 50 к[опеек], В. В. Вормс ...139 р[ублей] 50 к[опеек], А. Я. Гордягин ... 139 р[ублей] 50 к[опеек], Б. И. Бируков ...232 р[убля] 50 к[опеек]» (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 106, л. 4).

316 Вера Николаевна Краснопевцева [урождённая Зёрнова] умерла 6 мая 1909 года.

317 Международный конгресс по радиологии и электричеству в Брюсселе проходил с 13 по 15 сентября 1910 года.

318 «Под крышами Парижа» («Sous les toits de Paris», 1930) — первый звуковой фильм французского режиссёра Рене Клера (1898—1981), в котором широко использовались музыкальные лейтмотивы и крайне сдержанно возможности звучащего слова.

319 Лувр (фр. Louvre) — первоначально королевский дворец в Париже; возведён на месте старого замка в XVI–XIX веках; с 1791 года — художественный музей, одно из богатейших хранилищ древне-

египетского, античного и западноевропейского искусства.

320 Речь идёт о трилогии Д. С. Мережковского «Христос и Антихрист» (1895–1905).

321 «Фея кукол» («Die Puppenfee») — одноактный балет Й. Байера (1888); российская премьера состоялась 20 февраля 1897 года на сцене Большого театра; балетмейстер И. Мендес, художник-декоратор К. Ф. Вальц, дирижёр С. Я. Рябов. Исполнительница главной роли — А. А. Джури.

322 Пьер Кюри трагически погиб 19 апреля 1906 года. События, приведшие к смерти выдающегося французского физика, в книге его младшей дочери, Евы Кюри, предстают в несколько ином, чем у В. Д. Зёрнова ракурсе. Вспоминая об этом происшествии, она писала: «Пьер намеревался пересечь мостовую и добраться до тротуара на другой стороне улицы. Со свойственной рассеянным людям неожиданностью движений он вдруг выходит из-за фиакра, который загораживает ему горизонт своим четырехугольным ящиком, делает несколько шагов влево и наталкивается на одну из лошадей грузовой фуры, пересекающей в эту секунду путь фиакру. Пространство между двумя экипажами сокращается с головокружительной быстротой. Пьер, застигнутый врасплох, делает неуклюжую попытку повиснуть на груди у лошади; лошадь поднимается на дыбы, подошвы учёного скользят по мокрой мостовой. Крик двадцати голосов сливается в один вопль ужаса...

Пьер лежит на земле, живой, невредимый. Он не кричит и не шевелится. Копыта даже не задели его тела, лежавшего между копытами лошадей; благополучно миновали его и два передних колеса. Возможно чудо. Но громадная махина, увлечённая шестью тоннами своего веса, проезжает ещё несколько метров. Заднее левое колесо наталкивается на какое-то слабое препятствие и сокрушает его на ходу. Это голова Пьера...» (Кюри Е. Мария Кюри. М., 1973. С. 223).

323 Всеволод Александрович Ульянин (1863–1930), физик и геофизик; с 1888 г. работал в Московском (с 1894 г. – приват-доцент), с 1897 г. – в Казанском (с 1904 г. – профессор и директор метеорологической обсерватории) университетах. В 1880-х годах одновременно со Столетовым занимался исследованием фотоэффекта. В русской и немецкой научной литературе ему принадлежит и сам термин «фотоэффект». Существенный вклад в науку Ульянин внёс также в области изучения теплового излучения.

324 Речь идёт о письме директора физико-химической лаборатории Нобелевского института Сванте Аррениуса 1911 года, выдержку из которого В. Д. Зёрнов впервые привёл в своей статье «Пётр Николаевич Лебедев. Очерк жизни и деятельности» (Учён. зап. МГУ. Юбил. сер. Вып. LII. Физика. М., 1940. С. 125–150).

325 Московский съезд естествоиспытателей и врачей проходил с 28 декабря 1909 по 6 ноября 1910 года.

326 Луи Люмьер (1864–1948), французский изобретатель и предприниматель. Предложил способ производства высокочувствительных фотопластинок, наладил их производство. Член Парижской АН (1919).

327 В заявлении В. Д. Зёрнова, сделанном по этому поводу в середине января 1910 года в заседании университетского Совета, говорилось:

«Имею честь довести до сведения Совета, что мною получено от профессора О. Д. Хвольсона предложение приобрести для фундаментальной библиотеки Императорского Николаевского Университета его библиотеку, состоящую из серии журналов по физике за старые годы и книг в количестве 250–300 экземпляров по разным отделам физики и математики. Во время пребывания в С.-Петербурге я осмотрел библиотеку профессора О. Д. Хвольсона и полагаю, что приобретение её было бы весьма желательно.

Профессор О. Д. Хвольсон по болезни отказывается составить опись книг и их расценку и просит отнести этот труд на покупателя. При этом проф[ессор] Хвольсон официально заявляет, что высший предел цены он назначает в 1000 руб[лей], если же по расценке окажется, что его собрание книг не стоит этой суммы, то он согласен и на низшую цену, какова бы она ни была. Я с своей стороны полагаю, что собрание книг проф[ессора] Хвольсона может стоить значительно больше названной им предельной суммы...» (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 89, л. 3–3об.).

328 Русское Физико-химическое общество было создано в 1878 году путём объединения Русского физического (1872) и Русского химического (1865) обществ; реорганизовано в 1930 году. В 1937 году его химическое отделение стало частью Всесоюзного химического общества имени Д. И. Менделеева.

329 Испытывая серьезные ограничения в специальных средствах, университету ничего не оставалось, как уповать на отзывчивость и добрые чувства российских и зарубежных меценатов, иначе говоря, взывать к просвещённой благотворительности.

В начале сентября 1909 года В. И. Разумовский обратился ко всем высшим учебным заведениям (отечественным и иностранным), учёным и научным обществам, а также к частным лицам с призывом передать библиотеке Саратовского университета безвозмездно или же на льготных условиях свои труды, издания, журналы, а при желании и целые книжные коллекции, содержащие сведения по самым различным отраслям научных знаний.

Результаты этой благотворительной акции превзошли все ожидания: только за период с 27 октября по 31 декабря 1909 года от 22 лиц и учреждений библиотеке безвозмездно было передано 1621 издание в 2603 томах (см.: Отчёт о состоянии Императорского Николаевского Саратовского университета за 2-ю половину 1909 года // ИИНУ. Саратов, 1910. Т. 1. С. 23).

По имеющимся статистическим данным, наибольшее число пожертвований было произведено в 1910 году (1610 изданий в 14068 томах на сумму 13567 рублей 50 копеек) и в 1914 году (4271 издание в 9192 томах на сумму 16071 рублей 20 копеек). Ненамного уступает объём дарственных поступлений и 1913 года (4722 издания в 7684 томах на сумму 9357 рублей 45 копеек). В остальное время пожертвования выглядели менее внушительными, хотя по-прежнему значительно превосходили численность приобретаемых библиотекой книг. Всего с 27 октября 1909 по 1 января 1916 года от частных лиц и учреждений в университетскую библиотеку поступило 26079 изданий в 45896 томах стоимостью в 53317 рублей 40 копеек, что превышало официальные приобретения более чем в 3 раза (см.: Соломонов В. А. Императорский Николаевский Саратовский Университет: история открытия и становления (1909–1917). Саратов, 1999. Прил. 11. С. 221).

330 См.: Зёрнов В. Д. М. Н. Галкин-Враской (1834–1916). Биографический очерк // ИИНУ. Т. VII. Вып. 3–4. Саратов, 1916. Университетская летопись. С. 1–6.

331 Членом строительной комиссии по возведению собственных зданий Саратовского университета В. Д. Зёрнов был назначен 8 февраля 1911 года (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 33, л. 43).

332 В 1909 году университетская библиотека занимала всего одну комнату в одноэтажном невзрачного вида доме А. Н. Замоткиной по улице Никольской (ныне ул. Радищева), 1, в нём же помещалась и канцелярия университета. С 4 августа 1910 по июль 1914 года библиотека находилась в небольшом двухэтажном особняке по Большой Сергиевской (ныне — Чернышевского), 147, принадлежавшем епархиальному ведомству. А в июле 1914 года она заняла южную половину второго и третьего этажей в здании Физического института (III корпус СГУ). Это последнее «временное» пристанище университетской библиотеки растянулось на долгие 43 года, пока, наконец, в 1957 году по проекту архитекторов Д. Ф. Фридмана и С. В. Истомина для неё не было выстроено специальное здание объёмом 45 тысяч кубических метров и площадью в 9900 квадратных метров (Подробнее о строительстве Научной библиотеки СГУ см.: Артисевич В. А. Страницы жизни // Библиотечная легенда. Саратов, 1996. С. 29–59).

333 К моменту назначения на должность архитектора-строителя Саратовского университета К. Л. Мюфке уже обладал достаточным запасом знаний и опыта в проектировании и строительстве университетских помещений. Обосновывая свой выбор, В. И. Разумовский писал: «В Казани Мюфке принадлежат лучшие здания: Художественная школа на Арском поле (проект здания был одобрен Академией художеств), дом Ушковых и др[угие]. Мне о Мюфке дал хороший отзыв, между прочим, известный русский учёный академик Н. П. Кондаков (член Академии наук и Художественной академии). Мой выбор одобрил и мой друг М. Я. Капустин, хорошо знавший Мюфке по Казани» (Разумовский В. И. Строительство медицинского факультета Саратовского университета // НХА. 1925. Т. IX. Кн. 1 (№ 33). С. 5; ИСУ. Саратов, 2002. Т. 2. Вып. 2. С. 14).

334 О величине денежного вознаграждения за проектирование зданий Саратовского университета можно судить из перечня «лиц и фирм, подлежащих внесению в именной кредиторский список за закупленные от них строительные материалы и сданные строительные работы». В нём зафиксировано, что архитектору Министерства народного просвещения Л. П. Шишко (за составление проекта и сметы Института Экспериментальной Медицины) было выдано 4737 рублей 44 копейки, а архитектору-строителю К. Л. Мюфке (за разработку проекта и наблюдение за постройкой зданий университета) — 8000 рублей. Кроме того, «К. Л. Мюфке, в возмещение расходов, произведённых им из собственных средств по начатым работам при сооружении зданий Университета», дополнительно было выдано 7617 рублей 68 копеек (Протоколы заседаний строительной комиссии Саратовского университета // КБ НБ СГУ).

335 В «Хирургических воспоминаниях» В. И. Разумовского эти события описаны так: «В министерстве сделаны были всевозможные усилия, чтобы дискредитировать и затормозить проект Анатомического института. Но зато без всяких задержек прошёл проект Физического института, который мы ранее, до всех этих историй, по соглашению с В. Д. Зёрновым, поручили составить архитектору министерства (по наведённым справкам ему приходилось иметь дело с проектом такого рода, и он в этом деле разбирался лучше, чем в медицинских зданиях)» (Разумовский В. И. Строительство медицинского факультета Саратовского университета // НХА. 1925. Т. IX. Кн. 1. № 33. С. 18; см. также: ИСУ. Саратов, 2002. Т. 2. Вып. 2. С. 22). Однако доводить «до ума» неряшливо выполненный министерский проект Физического института пришлось всё тому же К. Л. Мюфке.

О чисто формальном, не принесшем реальной пользы университетскому строительству участии столичного архитектора в проектировании здания Физического института свидетельствуют многие факты, в том числе два документа из личного архива профессора В. Д. Зёрнова. Это, во-первых, пакет с планами трёх этажей и крыши института, на каждом из которых в правом нижнем углу стоит собственноручная подпись Л. Н. Шишко, и, во-вторых, его письмо В. Д. Зёрнову от 13 августа 1910 года (текст письма см.: Соломонов В. А. Императорский Николаевский Саратовский Университет... С. 130).

Известно также, что к проектированию здания Физического института архитектор Л. Н. Шишко отнёсся в высшей степени несерьёзно, больше того — халатно (см.: Зёрнов В. Д. Физический институт Императорского Николаевского Университета в Саратове. Киев, 1916. С. 1–3).

336 Сцена бессовестной сделки в Строительном комитете Министерства народного просвещения достаточно ярко представлена и в «Хирургических воспоминаниях» В. И. Разумовского (см.: Разумовский В. И. Строительство медицинского факультета Саратовского университета // НХА. 1925. Т. IX. Кн. 1. № 33. С. 15–18; ИСУ. Саратов, 2002. Т. 2. Вып. 2. С. 21–23).

337 Земляные работы по строительству Физического института начались 30 апреля 1911 года.

338 Пеший рынок — Нижний базар в Саратове находился на улице Чернышевского (от ул. Московской до ул. Челюскинцев). Ныне на его месте выстроен жилой дом.

339 Имеется в виду младшая дочь Зёрновых — Мария Владимировна (1911–1993).

340 П. А. Столыпин и А. В. Кривошеин приезжали в Саратов осенью 1910 года.

341 Город Саратов с его культурными и научными достопримечательностями, включая университетское здание, Илья Ильич Мечников (1845—1916) посетил в мае 1911 года, направляясь «во главе международной экспедиции в астраханские степи для исследования вопросов, связанных с распространением чумы и туберкулёза среди иноверцев, в те степи, которые он уже посетил в начале девяностых годов». В состав экспедиции входили три ближайших его сотрудника: французский учёный Бюрне, итальянский — Самембени и японский — Яманучи, а также жена учёного Ольга Николаевна, урождённая Белокопытова (1858–1944), её брат с супругой, прикомандированный главным ветеринарным управлением при Министерстве внутренних дел врач-бактериолог Н. Н. Шукевич и приват-доцент Московского университета Л. А. Тарасевич (см.: Саратовский листок. 1911. 15 мая; Разумовский В. И. Из жизненных встреч // НХА. 1927. Т. XII. Кн. 4 (№ 48). С. 496; Катков С. Букет от Саратова // Годы и люди. [Вып. 2]. Саратов, 1986. С. 125–126).

342 И. И. Мечников родился 16 мая 1845 года в Харьковской губернии. Его отец, Илья Иванович Мечников (1811–1878), являлся офицером царской гвардии и помещиком в степных районах Украины. Мать же, Эмилия Львовна Мечникова (умерла на 66-м году жизни), дочь известного еврейского общественного деятеля и писателя Л. Н. Неваховича (1776–1831), была еврейского происхождения (см.: Мечников И. И. Страницы воспоминаний. Сборник автобиографических статей. М., 1946. С. 145).

343 Неточность в изложении исторических фактов и событий: в газетном репортаже о визите в город высочайших особ содержится несколько иная информация: «2-го июня Их Императорские Высочества — великая княгиня Мария Павловна, великая княгиня Мария Александровна, великий князь Борис Владимирович и герцог Мекленбургский, в сопровождении шталмейстера кн[язя] Кропоткина, фрейлины кн[ягини] Гагариной, генерала Кнорринга, генерала Орлова и др[угих] придворных чинов посетили Саратов. [...]

В половине 11-го часа утра к пристани подошёл пароход „Император Александр Благословенный".

С пристани высокие гости на автомобилях проследовали в Троицкий старый собор, а оттуда в Городской театр, где им были представлены местные общественные деятели. Затем, с театрального балкона, они наблюдали за показательными выступлениями на Театральной площади. «Пожарные части, — например, — по команде брандмайора сделали несколько примерных упражнений: ставили громадную лестницу, бежали на зов сигналиста, развёртывали шланги и направляли струи воды в воздух, скакали с повозками», удостоившись в лице «брандмайора Дмитриева за образцовый порядок пожарного обоза» высочайшей благодарности.

Далее представители Дома Романовых посетили: «Радищевский музей и музей архивной комиссии, университет, женский монастырь», откуда возвратились на пристань пароходного общества «Самолёт» для отбытия в Астрахань. «В университете Их Высочеств встречал и[сполняющий] д[олжность] ректора Стадницкий с коллегией. Их Высочествам поднесены медали в память основания университета, цветы и брошюра с университетским отчётом. Прощаясь с профессорами, Их Высочества пожелали процветания юному рассаднику науки» (Саратовский листок. 1913. 5 июня).

344 Владимир Александрович Заборовский умер 11 сентября 1911 года в Саратове и был похоронен на Воскресенском кладбище.

345 У автора — «Музыка».

346 Саратовского Императорского Музыкального общества Алексеевская консерватория (ныне — Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова), третья в России (после Петербургской и Московской) и первая в провинции открыта в 1912 году.

347 Речь идёт о профессорах (с 1935 г.) Московской консерватории: народном артисте СССР Дмитрии Михайловиче Цыганове (1903—1992) и заслуженном артисте РСФСР Якове Ильиче Рабиновиче (1900—1978).

348 Саратовский университет и мединститут свой 25-летний юбилей должны были отметить 19 декабря 1934 года, но, по-видимому, из-за убийства в Ленинграде С. М. Кирова официальные торжества перенесли на 7–10 апреля 1935 года.

Один из участников юбилейных торжеств — профессор С. И. Спасокукоцкий, 12 апреля 1935 года в письме В. И. Разумовскому писал: «Празднику был придан всесоюзный и политический размах. Достаточно сказать, что Саратов[ский] краевой исполком ассигновал на проведение его 200000 рублей. Накануне были мобилизованы 200 грузовиков и 1000 лошадей, и город был в один день вычищен, вывезен мусор, улицы и обочины посыпаны песком. На вокзале встречали 3 десятка легковых машин, к[оторы]е все дни были в распоряжении делегатов, отвели для помещения гостиницу „Асторию" [ныне — гостиница „Волга", проспект Кирова, 34. — В. С.], организовали прекрасное питание, одним словом, окружили самым большим вниманием. Банкет [в первый день] был организован на 400 человек с выписанной из Москвы посудой, официантами, шампанским» («Празднику был придан всесоюзный и политический размах» (проф. С. И. Спасокукоцкий о праздновании 25-летия Саратовского университета и медицинского института) / Вступ. статья, коммент. и под. текста к публ. В. А. Соломонова // Отечественные архивы. 1995. № 6. С. 81).

349 Мария Петровна Заболотнова (1898—1970) окончила Саратовскую консерваторию по классу скрипки со званием свободного художника в 1922 году. В 1918–1927 годах в качестве скрипача-концертмейстера занималась сезонной работой в симфонических, оперных и драматических оркестрах Саратова, с 1927 по 1931 год преподавала в Саратовском музыкальном техникуме (Архив СГМУ. Д. 962, л. 15об., 20).

350 Возможно, речь идёт о концерте Л. В. Собинова, состоявшемся в зале музыкального училища 30 октября 1910 года.

351 Концертные выступления известного польского пианиста Иосифа Гофмана в зале Саратовского музыкального училища заняли три дня: 8, 10 и 19 октября 1911 года.

352 Концерт симфонического оркестра, исполнявшего под руководством А. К. Глазунова его произведения, проходил в Саратове 18 февраля 1916 года.

353 Возможно, речь идёт об издании: Меншуткин Б. Н. Ломоносов как физико-химик. [К истории химии в России]. СПб., 1904.

354 В подготовленных и заранее разосланных официальных приглашениях сообщалось: «Во вторник, 8-го ноября, в день двухсотлетия от рождения великого Русского учёного Михаила Васильевича Ломоносова, в здании Императорского Николаевского Университета (угол Никольской и Б[ольшой] Сер-

гиевской ул[иц]) в 12 $^1/_2$ час[ов] дня будет отслужена панихида, и, по окончании оной, произнесены соответствующие событию речи профессорами: В. И. Разумовским, А. Ф. Преображенским, В. А. Павловым, В. Д. Зёрновым и В. В. Челинцевым» (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 166, л. 7).

На следующий день в «Саратовском листке» появилась заметка: «...8 ноября к часу дня главное помещение университета (его актовый зал — В. С.) наполнилось почётными гостями, профессорами, представителями города и учебных заведений, врачами, студентами [...]. В числе почётных гостей находились: начальник губернии П. П. Стремоухов, ректор духовной семинарии арх[иерей] Серафим, городской голова В. А. Коробков, директора средних учебных заведений и мн[огие] др[угие]. Торжество открылось панихидой, после которой ректор университета В. И. Разумовский произнёс речь о значении личности М. В. Ломоносова и его трудов в области русской науки и литературы» (Саратовский листок. 1909. 9 ноября).

О глубине и всеобъемлющем содержании прозвучавших в этот день речей говорят их сами названия: «Михаил Васильевич Ломоносов, его жизнь и деятельность» (Разумовский), «Духовный облик М. В. Ломоносова и некоторые основные черты его мировоззрения» (Преображенский), «М. В. Ломоносов как физик» (Зёрнов), «М. В. Ломоносов в его деятельности на поприще химии, минералогии и геологии» (Челинцев) и «Некоторые черты характера М. В. Ломоносова» (Павлов) (см.: Ломоносовский день в Императорском Николаевском университете. Саратов, 1911).

355 Первоначально лекция была назначена на пятницу 2-го марта 1912 года, но в связи с кончиной П. Н. Лебедева была перенесена на 9 марта.

356 Пётр Николаевич Лебедев умер 1 марта 1912 года.

357 Музей изящных искусств в Москве (ныне Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина) — второе по значению (после Эрмитажа) в России собрание памятников древневосточного, древнеегипетского, античного и западноевропейского искусства. Основан в 1912 году по инициативе известного русского учёного, специалиста в области античной истории, этнографии и искусства Ивана Владимировича Цветаева (1847—1913).

358 Алексеевский женский монастырь — основан во 2-й половине XIV века митрополитом Алексеем — инициатором строительства белокаменных стен Кремля. Находился первоначально на месте Зачатьевского монастыря, а с начала XVI века — на возвышенности при впадении в Москву-реку ручья Черторый. В 1838 году, в связи со строительством на этом месте храма Христа Спасителя, Алексеевский монастырь был переведён в Красное Село (Верхняя Красносельская улица, 17), а здания его, включая уникальный двухшатровый главный собор, были разрушены. Упразднён после Октябрской революции.

При ликвидации Алексеевского монастыря прах П. Н. Лебедева был перенесён на кладбище Новодевичьего монастыря (Лужнецкий проезд, 2).

359 Обращаясь 3 октября 1946 года к Е. В. Зёрновой со словами соболезнования по поводу кончины её мужа, А. К. Тимирязев, делясь собственными впечатлениями от последнего выступления учёного, прозвучавшего 24 апреля 1946 года на торжественном заседании Совета физического факультета МГУ, писал: «...особенно ярко вспоминается его проникновенная речь, посвящённая восьмидесятилетию со дня рождения Петра Николаевича Лебедева.[...] Эту речь нельзя забыть. Так говорить, как говорил он, может лишь тот, кто совмещает в себе и учёного и большого художника! Вспоминая эту речь, произнесённую бодрым, жизнерадостным и таким ещё молодым — несмотря на свои годы — голосом, просто не веришь, что мы его больше не увидим!» (Коллекция В. А. Соломонова).

Впоследствии стараниями сына Владимира Дмитриевича — члена-корреспондента АН СССР Д. В. Зёрнова — эта речь была подготовлена к печати и в 1959 году впервые опубликована на страницах академического научного издания (см.: Тр. ИИЕТ. Т. 28. Ист. физ.-мат. наук. М., 1959. С. 111–118). Снабжённая необходимыми комментариями, эта статья в полном объёме воспроизведена также: ВИЕТ. 2004. № 4. С. 143-151.

360 См.: Зёрнов В. Д. Пётр Николаевич Лебедев. Очерк жизни и деятельности // Учён. зап. МГУ. Юбил. сер. Вып. LII. Физика. М., 1940. С. 125–150.

361 Далее в тексте вклеены две газетные вырезки: «Лекция проф[ессора] Зёрнова о „невидимых лучах“ привлекла полный зал университета. Многочисленные учащиеся слушали лекцию стоя по обеим сторонам аудитории. Лекция изобиловала очень интересными опытами и экспозициями на экране. Лектор подробно остановился на лучах электромагнитных, демонстрировал т[ак] н[азываемую] поющую вольтовую дугу, произвёл эффектный опыт проявления волн в трубках от проведённого

через весь зал электрического тока. В высшей степени интересны были демонстрация катодных и анодных лучей, а также рентгеновских. Между прочим, на экране показан был снимок с желудка и кишок живого человека, наполненных висмутовой кашицей. Лекция несколько раз прерывалась аплодисментами» (Саратовский вестник. 1912. 11 марта); «Лекция проф[ессора] Зёрнова „Невидимые лучи", прочитанная в пятницу 9 марта в актовом университетском зале, привлекла более 400 человек слушателей. Зал был переполнен. Среди публики было много учащихся местных учебных заведений. Лектор начал с изложения теории излучения света, затем перешёл к явлению спектра, к анодным и катодным лучам радия и закончил лекцию объяснением свойств рентгеновских лучей. Лекция сопровождалась многочисленными интересными демонстрациями» (Саратовский листок. 1912. 11 марта).

362 Речь идёт о доходных домах (ул. Советская, 3), принадлежавших кандидату прав, помощнику присяжного поверенного и инспектору Саратовского строительного общества Льву Исаковичу Итанкину, выстроенных в стиле модерн по проекту саратовского архитектора Петра Митрофановича Зыбина (1857—1918). «Ансамбль создавался по петербургскому типу, как система проходных дворов, квартиры состоятельных людей имели ванны, паровое отопление, телефон, электричество, канализацию, здесь впервые в Саратове был установлен электрический лифт» (ЭСК. Саратов, 2002. С. 442). В сентябре 1911 года в одном из этих домов случился обвал балочного перекрытия. «Главной причиной катастрофы, — отмечалось в прессе, — было то обстоятельство, что по забывчивости архитектора под верхние части средней стены третьего этажа была положена, вместо 2 железных балок, только одна балка» (Саратовский листок. 1911. 25 сентября).

363 Далее в тексте вклеена газетная вырезка: «Последняя лекция и проводы проф[ессора] В. Д. Зёрнова. В среду в народной аудитории состоялась последняя лекция проф[ессора] В. Д. Зёрнова по физике. Эта лекция, как и все предыдущие, прошла при переполненной аудитории.

Проф[ессор] Зёрнов показал несколько очень интересных опытов.

Закончив чтение лекции, проф[ессор] Зёрнов обратился к аудитории с небольшой речью, в которой, между прочим, указал на огромное значение педагогической деятельности и на те заслуги, какие выпадают на долю лиц, посвятивших себя трудному и великому делу воспитания будущих граждан.

По окончании лекции ответственный распорядитель курсов А. П. Карпов обратился к проф[ессору] Зёрнову с речью, в которой выразил ему от лица всей аудитории глубокую благодарность за понесённые труды и высказал надежду, что и в будущем году он не откажет в чтении лекций. Затем учитель Камышинского уезда Карпов выразил проф[ессору] Зёрнову глубокую благодарность от лица учащихся губернии за понесённый «тяжёлый, но полезный труд».

Небольшое приветствие произнесла учительница Сарат[овского] уезда Е. Д. Земскова, поднесшая проф[ессору] Зёрнову букет цветов.

Заключительное слово проф[ессора] Зёрнова покрыто было дружными аплодисментами всей аудитории» (Саратовский вестник. 1912. 15 июня).

364 Название речи приведено неточно; надо: «Строение материи».

365 Цит. по: Зёрнов В. Д. Строение материи. Речь, произнесённая на торжественном акте Императорского Николаевского университета 6-го декабря 1912 г. Саратов, 1912. С. 17.

366 Упомянутая автором рукопись не обнаружена.

367 Речь идёт о статье-рецензии «Атомы жизни: (По поводу актовой речи профессора В. Д. Зёрнова «Строение материи»)», напечатанной в декабре 1912 года в издававшейся на субсидии Саратовского губернского земства газете «Волга». Статья подписана псевдонимом: «-й».

368 Особенно остро этот вопрос был поставлен в 1931 году во время так называемого «смотра кафедры физики МИИТ», закончившимся «отчётными выступлениями бригады и кафедры физики перед широким собранием представителей общественных организаций МИИТ». По мнению проверявших, главная задача учёных-физиков, стоящих на стороне пролетариата: «Выявить, обнаружить, показать на конкретном богатом материале науки в её истинном научном содержании — материалистическую диалектику; решительно, на деле бороться за очищение физики от всех реакционных, идеалистических, метафизических, механических и поповских вериг, тянущих физику (науку) назад, принижающих её научное значение, сковывающих её дальнейший рост и развитие.

Задача сводится к тому, чтобы овладеть материалистической диалектикой и применить её как могучее научное оружие в деле борьбы пролетариата, в деле разрушения старого, преступного, эксплуататорского мира, в деле построения нового коммунистического общества.

[...] В этом отношении, — подчёркивалось в представленном отчёте, — проф[ессор] Зёрнов со стороны партийных и профсоюзных организаций МИИТ встретит чуткое внимание и самую дружную товарищескую поддержку» (Дзержинец. [1931]. 5 июня).

369 О поездке на озеро Эльтон сообщалось и в письмах В. Д. Зёрнова жене от 7 и 9 июня 1912 года (см. Изв. вузов «ПНД». Саратов, 1999. Т. 7. № 6. С. 131-132).)

370 Речь идет о статье В. Д. Зёрнова «Радиактивные свойства Эльтонской лечебной грязи» (ПИНУ. Саратов, 1913. Т. IV. Вып. 3. С. 156–161; Отд. отт. Саратов, 1912).

371 Железнодорожный мост через Волгу был построен только в 1935, а автодорожный – в 1965 году.

372 Имеется в виду первый концерт Ф. С. Мухтаровой в зале Саратовского музыкального училища. В «Саратовском вестнике» отмечалось по этому поводу: «Большой зал музыкального училища полон. Забиты проходы, забито фойе. Саратовская публика доказала, что она Катю знает, Катю любит, и, давая Кате на улице пятачки, здесь дала ей полный сбор, — больше, чем дала Гофману, Губерману». «Сбор, несмотря на пониженные цены, достиг 1000 р[ублей], причём многим пришлось отказать в билетах». Вскоре после этого «Л. Н. Каменский заключил с родителями Кати Мухтаровой нотариальный договор, по которому они будут получать по 400 р[ублей] в год до окончания Катей музыкального образования» (Саратовский вестник. 1912. 24 и 26 февраля).

373 В 1914 году Ф. С. Мухтарова вышла замуж за саратовского адвоката Александра Ивановича Малинина.

374 Гюнсбурги, братья: Дмитрий Александрович (1890—1972), в 1920-х годах заведующий хозяйственно-техническим отделом Саратовского университета; Евгений Александрович (1900—1970), физик; доцент Саратовского института механизации сельского хозяйства имени М. И. Калинина и Николай Александрович (1896–1932). Установить, о ком именно из них идёт речь, не удалось.

375 С 1938 по 1972 год заслуженная артистка Грузинской ССР (1936) и народная артистка Азербайджанской ССР (1940) Ф. С. Мухтарова жила в Баку, где до 1953 года являлась солисткой Азербайджанского театра оперы и балета.

376 У автора — «Съезд в Тифлисе».

377 XIII съезд естествоиспытателей и врачей проходил в Тифлисе с 16 по 24 июня 1913 года. От Саратовского университета в его работе участвовали: профессора В. Д. Зёрнов, Б. И. Бируков, В. А. Арнольдов, ассистент кафедры физики В. Е. Сребницкий, лаборант кафедры медицинской химии Ф. Н. Орлов и помощник прозектора при кафедре нормальной анатомии В. Г. Рамляу.

378 Неточность: В. Е. Котов работал садовником в Дубне до 3 июня 1912 года.

379 Неточность: летом 1913 года Марии Егоровне Зёрновой исполнилось 72 года (родилась 8 июня 1841 года).

380 Никитский женский монастырь, основан в XVI веке боярином Никитою Романовичем Захарьиным-Юрьевым, дедом царя Михаила Фёдоровича, на месте церкви Никиты у Ямского двора. После его основания Волоцкая улица (или Новгородская) стала называться Большой Никитской. Упразднён после Октябрьской революции. В 1935 году на его месте построено здание электроподстанции метрополитена.

381 У автора — «Мои сотрудники в первые годы. Переезд кафедры в новый Институт».

382 Николай Павлович Неклепаев (1886–1942), физик: «во время университетского курса работал по физике в лаборатории проф[ессора] А. П. Соколова, а с 1908 по 1912 год в лаборатории научных исследований профессора П. Н. Лебедева, где выполнил работы: «Über Absorption Rürzer akustischen Wellen in der Zuft» («Поглощение коротких акустических волн в воздухе»), напечатанная в «Annalen der Physik» (B. 35, p. 171, 1911), и изготовил спектограф для инфракрасных лучей, демонстрированный на II-м Менделеевском съезде в Петрограде» (ГАСО, ф. 393, оп.1, д. 169, л. 38).

383 В. Е. Сребницкий был женат на Наталии Ивановне Куликовой, родившей ему 5 марта 1916 года сына Дмитрия.

384 Речь идёт о контрреволюционном выступлении на территории Поволжья, Урала и Сибири в мае — августе 1918 года чехословацких войск (около 45 тысяч человек) из числа бывших военнопленных.

385 Переход кафедры физики в новое здание Физического института на Московской площади, начавшийся в конце 1913 года, продолжался всё весеннее полугодие 1914 года. Официально же институт вступил в строй 4 октября 1914 года после того, как членами строительной комиссии и Правления Саратовского университета был произведён детальный осмотр всего здания и составлен акт его приёмки (полный текст его см.: Изв. вузов «ПНД». Саратов, 1999. Т. 7. № 6. С. 137).

386 Речь идёт о Высших сельскохозяйственных курсах в Саратове, торжественное открытие которых состоялось в зале городской думы 15 сентября 1913 года. Преобразованы в институт 22 июля 1918 года.

387 Курс по метеорологии В. Д. Зёрнов мог читать по любому из двух известных к тому времени учебно-научных изданий Александра Викентьевича Клоссовского (1846—1917): «Метеорология» (Общий курс. Т. 1. Статическая метеорология. Одесса, 1908) или «Основы метеорологии» (Одесса, 1910).

388 Неточность: Высшие женские курсы Саратовского санитарного общества были основаны в 1915 году — на два года позже, чем Высшие сельскохозяйственные курсы.

389 У автора — «Жидкий воздух».

390 Вопрос о приобретении Саратовским университетом собственной машины для получения жидкого воздуха впервые был поднят в заседании Правления 7 марта 1914 года. «Для целого ряда работ по физики, — подчёркивалось в заявлении В. Д. Зёрнова, — требуется жидкий воздух. Доставка жидкого воздуха из Москвы сопряжена с большими затруднениями и часто оканчивается неудачей. Вследствие этого было бы весьма желательно приобрести собственную машину для сжимания воздуха» (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 419, л. 145). К этому ходатайству присоединились также профессора Р. Ф. Холлман и В. В. Вормс. Однако из-за начавшейся вскоре первой мировой войны реализовать данный проект не удалось.

391 У автора — «Забастовка».

392 Студенческая забастовка произошла в Саратовском университете 1 февраля 1911 года. По заявлению исполняющего обязанности ректора Саратовского университета И. А. Чуевского, «объявление забастовки последовало внезапно, для большинства студентов — неожиданно, по заранее составленной резолюции группой студентов преимущественно 1-го курса, не превышающей по численности 40 — 50 человек...». Причину её Чуевский объяснил так: «Означенная забастовка не имеет никакой связи с академической жизнью Императорского Николаевского университета, а является лишь отзвуком событий, происходящих в настоящее время в столичных и других университетах и высших учебных заведениях и мотивируется желанием быть солидарными с студентами означенных заведений» (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 151, л. 18–18об.).

393 Трагические события на Ленских золотых приисках (расстрел царскими войсками мирного шествия забастовщиков, протестовавших против ареста членов стачечного комитета) произошли 4 апреля 1912 года; поводом к началу студенческой забастовки в Саратовском университете они быть не могли.

394 Известна объяснительная записка самого профессора В. В. Вормса, в которой с точностью до минут он описал происшедший во время его лекции инцидент. Вот её текст:

«Около 1 ч[аса] 15 мин[ут] пришли мои слушатели из пассажа Юренкова, где они слушали лекцию профессора И. А. Чуевского. В 1 ч[ас] 20 мин[ут] я отправился в аудиторию. Проходя коридором, я обратил внимание на то, что студенты 1-го курса ещё не разошлись, но особого значения этому обстоятельству я не придал, так как студенты вели себя тихо, никаких тревожных признаков я не заметил. Вслед за мной в аудиторию вошли мои слушатели в числе около 30-ти человек. Я приступил к чтению лекции. Из коридора и зала никакого шума до меня не доносилось, так что я решил, что студенты потихоньку расходятся. Так продолжалось около 10 мин[ут], как вдруг до меня из зала донеслись аплодисменты. Хотя это обстоятельство и вывело меня отчасти из равновесия, но я продолжал чтение лекции в надежде, что инцидент исчерпан и студенты разойдутся. Однако я ошибся. Через очень короткое время (2–3 мин[уты]) в аудиторию вошла группа студентов и средь общего шума до меня донеслись отдельные возгласы об учебной забастовке с направленным к моим слушателям требованием разойтись. Я обратился к вошедшим студентам с предложением покинуть аудиторию и не мешать чтению лекции. Когда после этого студенты не ушли и продолжали шуметь, я ещё раз напомнил им о тяжёлых последствиях их поведения и просил немедленно оставить аудиторию, заявив, что я должен доложить о происшедшем г[осподи]ну Ректору с просьбой принять необходимые меры. Когда и это указание не оказало должного воздействия, я принужден был оставить аудиторию, чтобы доложить обо всём и[сполняющему] д[олжность] ректора — профессору И. А. Чуевскому.

Возвратившись из канцелярии в главный корпус вместе с и[сполняющему] д[олжность] ректора — профессором И. А. Чуевским и полицмейстером, мы нашли в швейцарской 6 студентов II-го курса: Комарова В., Лебедева В., Шапиевского В., Беляева Н., Прозорова П., Краузе Н. и двух студентов I-го курса: Васильева Н. и Разумовского В. Все 6 студентов II-го курса были у меня на лекции и в виду того, что лекция была прервана, собрались уходить. Студенты же I курса занимались в со-

седней со швейцарской лаборатории профессора А. Я. Гордягина. Об этом мною также было заявлено г[осподину] полицмейстеру» (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 151, л. 18об.–19об.).

395 Перипетии, связанные с арестом и последующим освобождением Н. П. Дьяконова, весьма ярко показаны в воспоминаниях бывшего в 1917 году начальником саратовской милиции А. А. Минха.

«Узнав об этом, — писал он, — я немедленно приказал отпереть кабинет и, войдя туда, увидал перепуганного околоточного, забившегося в угол, и спокойно сидевшего за столом головы Дьяконова, а у двери сидевшего с револьвером в руках (именно в руках, а не в руке) — гражданина солдата. [...]

Не только я, но и все жители города хорошо знали Н. П. Дьяконова как глубоко честного, мягкого, справедливого и, я бы сказал, по-своему демократичного полицмейстера.

Он был удивлён, за что и почему его арестовали, так как, по его словам, вся администрация давно приготовилась „к неизбежному“ и не помышляла оказывать какое-либо сопротивление.

[...] через два дня после ареста полицмейстера, — вспоминал далее Минх, — стали поступать в Губкомитет ходатайства от различных общественных групп, от рабочих, от Союза саратовцев-евреев и т. д. с просьбой об освобождении полицмейстера. Обращались и ко мне как к начальнику милиции с просьбой „похлопотать“, я, собрав все эти ходатайства, подал заявление в Губкомитет, в котором просил отпустить на поруки, как начальник милиции, бывшего полицмейстера. Это ходатайство обсуждалось неумно и всё-таки не было решено, а когда я, потеряв терпение, пришёл на одно из заседаний и положил перед председателем комитета приказ об отдаче бывшего полицмейстера Н. П. Дьяконова мне на поруки с обязательством в трёхдневный срок выехать ему из города Саратова, то таковое и было немедленно подписано. Полицмейстер был мной тотчас же освобождён, а следом пришло распоряжение из Петербурга об освобождении губернатора и вице-губернатора, которые тотчас же уехали из города» (Рейли Д. «Заложник пролетариата». Отрывки из воспоминаний А. А. Минха. Саратов, 2001. С. 25, 30).

396 Монгольфье [Montgolfier], французские изобретатели воздушного шара, братья: Жозеф (1740—1810) и Этьенн (1745—1799). В 1783 году они построили воздушный шар, наполненный горячим дымом; первый полёт с людьми состоялся 21 ноября 1783 года в Париже.

397 У автора — «Рекомендация и конкурс на кафедру Московского университета».

398 Неточность; кафедру физики в Новороссийском (Одесском) университете Борис Вячеславович [у автора ошибочно указаны инициалы — Б. С.] Станкевич (1860—1924) возглавлял с 1908 года вплоть до своего назначения в 1911 году распоряжением министра Кассо на должность профессора физики в Московский университет. Профессорскую же должность в Варшавском университете он занимал с 1891 по 1902 год.

399 Имеется в виду отставка 131 профессора и преподавателя Московского университета в знак протеста против опубликования и введения в действие постановления Совета министров «О недопущении в стенах высших учебных заведений студенческих собраний и вменение в обязанность полицейским чинам принимать быстрые и решительные меры против них» (История Московского университета: В 2 т. М., Т. I. 1955. С. 376).

400 Кафедру Московского университета профессор Б. В. Станкевич оставил в 1917 году по собственному желанию, ещё до появления в мае 1917 года известного циркуляра министра народного просвещения Временного правительства А. А. Мануйлова об увольнении с профессорских должностей всех лиц, назначенных после 27 августа 1905 года без представлений факультетов и советов университетов (см.: Предводителев А. С. Годы упадка (1911—1917) // Учён. зап. МГУ. Юбил. сер. Вып. LII. Физика. М., 1940. С. 172).

401 Профессорскую кафедру и заведывание лабораторией органической и аналитической химии в Московском университете В. В. Челинцев освободил вернувшемуся из Петрограда Н. Д. Зелинскому 14 марта 1917 года, так же как и Станкевич, добровольно, не дожидаясь министерского циркуляра. С 24 апреля 1917 по 1 июля 1918 года в качестве приват-доцента он продолжал трудиться в Москове, после чего вновь был назначен на должность профессора по кафедре органической, неорганической и физической химии, а в 1921 году — заведующим кафедрой органической химии Саратовского университета.

402 В письме декана физико-математического факультета Московского университета профессора Л. К. Лахтина от 28 февраля 1914 года сообщалось: «В виду поступившего от профессора Б. С. Станкевича заявления о его желании рекомендовать Вас Факультету в качестве кандидата на

вакантную ныне профессуру по кафедре физики, покорнейше прошу Вас о присылке письменного заявления, будете ли Вы согласны на баллотировку на вышеназванную должность. В случае согласия благоволите прислать Ваше жизнеописание и список учёных трудов или самые труды.
Ответ Ваш желательно было бы получить к следующему заседанию Факультета, которое будет иметь место 12 марта» (Коллекция В. А. Соломонова).

403 Почётным членом Саратовского университета Д. Н. Зёрнов был избран 31 мая 1914 года.

404 Впервые реальная возможность занять кафедру в Московском университете у В. Д. Зёрнова появилась ещё в 1912 году, когда в личной беседе с Д. Н. Зёрновым министр Кассо вдруг неожиданно выразил сожаление о том, что его сын не имеет докторской степени, а является лишь магистром. В противном случае он перевёл бы его своей властью в Москву. У Д. Н. Зёрнова подобное замечание министра, которого иначе как «проклятым цыганом» он не называл, особого восторга не вызвало. В письме сыну от 3 июня 1912 года, касаясь сути своего разговора с Кассо, он недвусмысленно советовал ему не обольщаться данной перспективой: «...перевод в Москву наподобие Челинцева едва ли был бы тебе приятен, да и кафедра-то свободная по теоретической физике, которую ты не возьмёшь. Компания же с Соколовым и Станкевичем едва ли приятна. [...] Конечно, перевод в Москву для нас [с] мамой был бы желателен и приятен, но для тебя, при настоящих обстоятельствах, едва ли удобен» (Коллекция В. А. Соломонова).
Отказаться от аналогичного предложения Д. Н. Зёрнов посоветовал сыну и в 1914 году. В письме от 14 января 1914 года он писал ему: «...всё дело становится в зависимость от Станкевича, который, вероятно, идёт навстречу, чтобы досадить Соколову, выдвигающему Яковлева. Таким образом, дело о переходе твоём обставляется неприятными обстоятельствами и, кажется, лучше оставить это, хотя на время и тем более, что пребывание в Саратове тебе, по-видимому, не так уж противно. Что же касается меня, то есть моего одиночества, то, разумеется, оно не может быть решающим моментом. [...] Можно будет сказать Лахтину, что в настоящее время ты, во-первых, считаешь более удобным работать на диссертацию в Саратовской лаборатории, а, во-вторых, боишься попасть между Соколовым и Станкевичем, которые ссорятся» (Коллекция В. А. Соломонова).

405 Должность декана физико-математического факультета Саратовского университета В. Д. Зёрнов занимал с 5 сентября 1917 по 28 сентября 1918 года.

406 Речь идёт об экспериментальной работе В. И. Романова «О методе получения и о затухании электромагнитных волн в проволоках», представленной в 1918 году к защите в качестве магистерской диссертации.
С 1919 по 1923 год В. И. Романов являлся директором Государственного физико-технического института, преобразованного в 1923 году во Всесоюзный эспериментальный электротехнический институт (ВЭИ), а в 1922 году был назначен директором Научно-исследовательского института физики при физико-математическом факультете Московского университета и оставался в этой должности до 1930 года. В 1938 году В. И. Романов подвергся необоснованному аресту и, проведя пять лет в заключении, последние годы жил и работал в Уфе (см: Андреев А. В. Физики не шутят. Страницы социальной истории Научно-исследовательского института физики при МГУ (1922—1954). М., 2000. С. 247–248).

407 Сын Н. П. Неклепаева Николай родился в Саратове в 1914 году.

408 «Только что начавшаяся научно-учебная жизнь Института, — говорилось в отчёте кафедры физики Саратовского университета за 1914 год, — с осени должна была сразу сократиться, а деятельность Института временно приняла совсем новое направление. Оба лаборанта [Н. П. Неклепаев и В. Е. Сребницкий. — В. С.] и механик [Ф. Ф. Троицкий. — В. С.] были призваны в ряда действующей армии и двое из них (Н. П. Неклепаев и Ф. Ф. Троицкий) находятся на передовых позициях (Н. П. Неклепаев заведует пулемётной ротой в блокадной армии, осаждающей Перемышль), а В. Е. Сребницкий командирован в Казань в юнкерское училище.
Большая часть помещения Института отведена под госпиталь (на 140 кроватей) Общеземского союза. Заведующим кафедрой организован при лазарете рентгеновский кабинет обслуживающий все три университетские госпитали. В рентгеновском кабинете безвозмездно работают М. М. Михайлова и студент А. Козырев» (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 484, л. 42–42об.).

409 Оказывая медицинскую помощь, саратовская профессура с одинаковой ответственностью и вниманием относилась к раненым воинам как русской армии, так и враждующих держав. Ярким подтверждением тому служит письмо-благодарность пленного чеха Антона Димеш, адресованное

профессору В. И. Разумовскому: «Многоуважаемый профессор!!! Позвольте мне — Вашему пленному больному чеху — Антону Димеш — поблагодарить Вас за операцию, сделанную мне так успешно, а также за доброе сердечное отношение и ласковые слова. Я не могу словами выразить, какую глубокую благодарность чувствую я к Вам. Так ещё раз, профессор, благодарю Вас от всего сердца и желаю Вам всего лучшего в дальнейшей жизни. Остаюсь всегда уважающий Вас, Антон Димеш» (Коллекция В. А. Соломонова).

410 Боткинская больница — Московская городская клиническая больница имени С. П. Боткина (2-й Боткинский проезд, 5), построена в 1908–1910 годах по проекту архитектора И. А. Иванова-Шица на средства купца К. Т. Солдатёнкова как бесплатная больница для лиц всех сословий населения Москвы. До 1920 года больница называлась Солдатёнковской.

411 Осенью 1915 года в Саратов были эвакуированы из Киева Университет Св. Владимира, Коммерческий институт, Высшие женские курсы и педагогический институт — общей численностью более 9,5 тысяч научных работников и студентов. Научно-учебные подразделения Киевского университета (все три факультета: юридический — более 1300 человек, физико-математический — около 1000 человек и историко-филологический — 300 человек) радушно принял под свой кров Николаевский университет, предоставивший для этой цели большую часть 1-го и 2-го учебных корпусов и часть 3-го.

Прибытие в Саратов одного из старейших университетов страны, в котором работали многие известные учёные — создатель первой в России алгебраической школы профессор Д. А. Граве, прославленный химик профессор С. Н. Реформатский, специалист по истории Литовско-русского государства и декабристкого движения профессор М. В. Довиар-Запольский, историк русского права профессор М. Ф. Владимирский-Буданов и другие — внесло в жизнь местного высшего учебного заведения заметное оживление, наполнило его научную и учебную деятельность новым содержанием (Подробнее об этом см.: Малинин Г. А. Киевский университет в Саратове // Поволжский край. 1984. Вып. 7; Соломонов В. А. «Мы жили с киевлянами очень дружно» (О пребывании киевских высших учебных заведений в Саратове в годы первой мировой войны) // Цивилизация на пороге тысячелетия. Балашов, 2001. Вып. 2. Т. 1).

412 Саратовское Общество естествоиспытателей и любителей естествознания было основано по инициативе Саратовского губернского земства с целью изучения и выработки мер борьбы с неблагоприятными природными явлениями. Официальное его открытие состоялось 21 ноября 1895 года в помещении губернской земской управы в присутствии членов-учредителей, губернатора Б. Б. Мещерского, губернского предводителя дворянства князя Л. Л. Голицына и председателя губернской земской управы В. В. Крубера. После прекращения деятельности Общества часть коллекций его Естественно-исторического музея составила основу созданного в 1928 году естественно-исторического отдела Нижневолжского краевого музея (ныне отдел природы Саратовского областоного музея краеведения). На основе существовавшей при Обществе Волжской биологической станции с рыборазводным заводом создано Саратовское отделение Государственного научно-исследовательского института озёрного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ).

413 Арвид Либорьевич Бениг (1890 — после 1931), гидробиолог, с 1927 года профессор Саратовского института сельского хозяйства и мелиорации. В описываемый период он заведовал Волжской биологической станцией и рыборазводным заводом при Саратовском Обществе естествоиспытателей и любителей естествознания; руководил работами по гидробиологическому исследованию Волжского речного бассейна, искусственному разведению стерляди (при помощи мальков из садков станции) в Ставропольском уезде.

Дальнейшая судьба А. Л. Бенига оказалась трагичной: 14 декабря 1930 года за «участие» в контрреволюционной организации он был арестован и постановлением коллегии ОГПУ от 30 апреля 1931 года приговорён к высшей мере наказания — расстрелу, заменённому 10 годами лишения свободы. Реабилитирован 23 мая 1960 года.

Отец учёного, евангелически-лютеранский пастор церкви Святой Марии Либориус Эдуард Гербард Бениг (1862—1933), благодаря своей духовной и общественной деятельности, был в Саратове человеком весьма известным. В августе 1914 года под его руководством при церкви Святой Марии в Саратове был «создан Комитет для оказания помощи лицам, пострадавшим во время войны, открыты два отделения лазарета для раненых без различия вероисповедания. Во время голода 1920–1922 годов [он] участвовал в организации помощи голодающим, являлся координатором работы Шведского Красного Креста и Национального лютеранского совета, занимавшихся доставкой продовольствия

в Поволжье». В мае 1931 года вместе с женой был арестован и заключён в саратовскую тюрьму, где перенёс воспаление лёгких и инфаркт. Освобождён в июне того же года благодаря ходатайствам Шведского Красного Креста и посольства Германии в Стокгольме. Умер 26 марта 1933 года (РНЭ: т. 1: А — П. М., 1999. С. 157).

414 У автора — «Болезнь папы и операция. Последние годы и смерть папы».

415 Алексей Васильевич Мартынов умер 24 января 1934 года, а Сергей Петрович Фёдоров — 15 января 1936 года.

416 Татьянин день — день памяти святой мученицы Татианы, отмечаемый 12 (25) января. В этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении Московского университета. Начиная с XIX века, студенты, преподаватели и выпускники университета ежегодно праздновали его (днём — торжественный акт в университете, вечером — традиционный ужин в ресторане «Эрмитаж»). С конца XX столетия Татьянин день отмечается как общероссийский студенческий праздник.

417 Товарищество «Эйнем», основанное в 1886 году в Москве купцом 1-й гильдии Юлием Фёдоровичем Гейсом, владело кондитерской фабрикой (с 1867) с 940 рабочими, фруктово-консервной фабрикой в Симферополе (с 1884) с 95 рабочими, оптовым складом и пятью магазинами.

418 И. И. Шнейдер, вспоминая о «немецких погромах» в Москве, писал: «За зеркальным оконным стеклом музыкального магазина немецкой фирмы „Юлий-Генрих Циммерман", помещавшейся во втором этаже дома на Кузнецком мосту виднелся, блестя полировкой, большой концертный рояль. Вдруг он поехал на стекло, которое лопнуло со звоном, слившимся с рокотом и стоном струн рояля, неуклюже прыгнувшего своим громоздким чёрным телом из окна на мостовую. [...] Начался московский «немецкий погром», инспирированный властями с целью разрядить атмосферу, сгустившуюся от поражений, которые терпели русские войска, предаваемые изменниками, продаваемые спекулянтами и обрекаемые на гибель бездарным командованием.

На погроме, — замечал далее мемуарист, — деятельно работали уголовные элементы, но недалеко от разбитой витрины ювелирного магазина на Петровке я встретил хорошо одетого и растерянно улыбавшегося господина, который шёл с непокрытой головой, неся в руках свою шляпу доверху наполненную мужскими золотыми часами» (Шнейдер И. И. Записки старого москвича. М., 1970. С. 124).

419 Товарищество механического производства обуви «Скороход», основанное в 1882 году в Петербурге, владело кожевенным заводом и 36 специализированными магазинами в 14 городах Российской империи.

420 Несмотря на полученную в Саратове 1 марта 1917 года телеграмму В. В. Родзянко об образовании Временного исполнительного комитета Государственной Думы, к которому переходили полномочия старого правительства, саратовские власти по-прежнему любым способом задерживали поток информации из центра. Однако слухи о петроградских событиях, подкреплённые изданием столичных телеграмм местными редакциями газет, быстро распространялись по городу.

421 Имеются в виду торжества по случаю свержения самодержавия в России, состоявшиеся в Саратове 15 марта 1917 года: местом их проведения была Театральная (у автора ошибочно указана — Московская) площадь.

422 Особое место в этих торжествах, по мнению саратовского историка В. А. Жилкина, отводилось местному гарнизону.

«В предстоящем военном параде, — замечает он, — были задействованы все воинские части и подразделения гарнизона. Например, от школы прапорщиков принимали участие 500 человек, 90-го пехотного запасного полка — 1000, 91-го пехотного запасного полка — 1000, 92-го пехотного запасного полка — 1000, 3-го пулемётного полка — 1000, 4-го пулемётного полка — 1000, 692-й пешей саратовской дружины — 600, 4-й запасной артиллерийской бригады — 480, 108-й бригады — 240 и т. д. Общая численность военнослужащих составила 9480 человек.

С утра 15 марта возле Городского театра, была воздвигнута трибуна, которую украсили красными флагами и штандартами. При этом выделялись три штандарта, а именно: Военного комитета, Совета рабочих и солдатских депутатов, социалистов-революционеров. К 10 часам трибуну заполнили члены Общественного городского исполнительного комитета, Военного комитета, Совета и представители прессы.

Торжества начались с построения войск гарнизона. Разумеется, первое слово было предоставлено начальнику гарнизона. При склонённых знаменах и с обнажёнными головами войска почтили на-

мять тех, кто погиб за свободу в борьбе с самодержавием. А когда траурный марш сменился звуками „Марсельезы", войска начали движение от гостиного двора. За ними устремились горожане. Очевидец писал: „Блеск целого леса штыков на красном фоне реющих в воздухе знамён смешался в этой незабвенной чудной панораме с пестротой костюмов: серых солдатских, штатских чёрных и разноцветных женских".

Впереди шла школа прапорщиков с флагом „Привет Свободе". Вслед за ними ковыляли раненые из лазарета, встречаемые многочисленными приветствиями горожан. Затем под громогласное «ура» проходили перед трибуной попеременно колонны солдат и жителей города. На флагах, которые они несли, были надписи: „Да здравствует демократическая республика!", „Да здравствует Учредительное собрание!", „В борьбе обретёшь ты право своё» и другие. К трём часам дня вся процессия закончилась, но ещё долго на улицах города слышались революционные песни" (Жилкин В. А. 15 марта 1917 года в Саратове // Саратовское Поволжье в панораме веков: история, традиции, проблемы. Саратов, 2002. С. 406-407).

423 Владимир Николаевич Поляк (1860—1919), политический и общественный деятель, присяжный поверенный при Саратовском окружном суде, член партии кадетов. В разные периоды состоял членом Совета присяжных поверенных округа Саратовской судебной палаты, юрисконсультом управления Рязано-Уральской железной дороги, гласным городской думы, членом-секретарём Совета Саратовского общества любителей изящных искусств и членом Советов саратовских обществ вспомоществования нуждающимся литераторам и недостаточным людям, стремящимся к высшему образованию. С 1913 года являлся одним из активных членов Саратовской учёной архивной комиссии. Особую известность приобрёл как защитник в судебном процессе над участниками забастовки на РУЖД в годы первой российской революции. После взрыва 25 сентября 1919 года в Леонтьевском переулке в Москве в качестве заложника старого режима был арестован и 30 сентября того же года расстрелян.

424 О своём отказе повторно баллотироваться на пост ректора Саратовского университета В. И. Разумовский объявил 7 мая 1912 года:

«В настоящее [...] время организацию медицинского факультета можно считать более или менее законченной. С назначением этим летом новых профессоров [...] факультет будет полным. Бюджетная смета для последнего 5-го курса уже составлена и представлена в министерство. Благодаря опытной и компетентной строительной комиссии, в состав которой, между прочим, обязательно входят все члены Правления и 2 члена Совета, дело строительства университета поставлено прочно и хорошо. Свою задачу я считаю выполненной, — и теперь, за окончанием 3-х-летнего срока ректорства прошу на предстоящих выборах не намечать меня кандидатом. Я имею право не выставлять свою кандидатуру на выборы тем более, что среди членов Совета находятся лица, работавшие вместе со мной с основания Саратовского Университета и, следовательно, с такой же опытностью, как и у меня; не сомневаюсь, что при их участии (в случае выбора их) дальнейшее развитие Николаевского университета пойдёт правильно. Насколько могу, в качестве члена Совета, буду всеми силами способствовать этому, но быть в администрации университета я отказываюсь» (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 271, л. 3об.)

425 Вскоре после этого В. И. Разумовский получил официальное уведомление о своём новом назначении: «Именным Высочайшим приказом, данным Правительствующему Сенату 1916 года Ноября 6 дня Всемилостивейше повелено быть Товарищем Главноуправляющего Государственным Здравоохранением» (Архив СГМУ, д. 2327 а, л. 41).

426 Имеется в виду статья 87 Основных законов Российской империи, которая разрешала правительству в промежутке между сессиями Государственной Думы проводить неотложные меры. Начиная со Столыпина, широко использовалась для принятия новых, часто непопулярных в обществе законодательных актов.

427 После Февральской революции В. И. Разумовский был назначен главным хирургом Кавказского фронта, в результате чего под его личным врачебно-санитарным контролем оказались обширные территории Северного Кавказа и всего Закавказья с Восточной Персией и Малой Азией, включая Эрзерум (см.: Шиловцев С. П. В. И. Разумовский. 1857–1935. Куйбышев, 1958. С. 47).

428 Об участии В. И. Разумовского в организации и становлении Русского закавказского университета в Тифлисе (1917–1919) и Бакинского государственного университета (1919–1920) подробнее см.: Разумовский В. И. Хирургические воспоминания. Очерк 15: Два года (1917–1918) в

Тифлисе // ИХА. 1930. Т. XXI. Кн. 2. № 82; Его же. Основание Бакинского университета // Изв. АзГУ. 1922. № 2.

429 Очередные выборы ректора Саратовского университета состоялись 7 марта 1912 года. На баллотировку выставлена была лишь одна кандидатура — профессора И. А. Чуевского, получившего в итоге 14 избирательных и 2 неизбирательных шара. Но принятое университетским советом решение одобрения в Министерстве народного просвещения не нашло, и назначение И. А. Чуевского на пост ректора не состоялось (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 271, л. 4об.)

430 Ошибка; указанные выборы проходили 23 сентября 1913 года. В кандидаты записками были намечены профессора Стадницкий (10 записок), Заболотнов (10 записок), Павлов (1 записка) и Преображенский (1 записка). Два последних от баллотировки отказались (ГАСО, ф. 1, оп. 1, д. 9210, л. 13).

431 Как явствует из секретного донесения саратовского губернатора князя А. А. Ширинского-Шихматова в Министерство народного просвещения, «профессорская коллегия (25 чел[овек]) резко разделилась на 2 группы: на правых, во главе с ректором Стадницким, и на левых, во главе с бывшим ректором Разумовским и Вормсом. Первых 10 и вторых 15 человек». Кандидатуру Стадницкого на выборах 23 сентября, говорилось далее, поддержали «все правые профессора, а именно: Преображенский, Бируков, Богомолец, Вербицкий, Левковский, Теребинский, Быстренин, Юдин, Виктор Скворцов и Крылов. Против Стадницкого голосовали: Вормс, Разумовский, Гордягин, Чуевский, Павлов, Заболотнов, Светухин, Зёрнов, Кириков, Спасокукоцкий, Холмач, Арнольдов, Какушкин, Вертоградов и Владислав Скворцов» (ГАСО, ф. 1, оп. 1, д. 9210, л. 54, 13об.)

432 Говоря о приверженности П. П. Заболотнова «старым академическим правилам», автор, по-видимому, имел в виду его членство в известном своим либеральным направлением «Академическом Союзе Профессоров», действовавшем в 1905 году в Казанском университете.

433 Речь идёт о созданной 5 сентября 1912 года при Императорской Академии Наук «Междуведомственной комиссии для производства магнитной съёмки России».

2 сентября 1913 года В. Д. Зёрнов получил от её председателя академика М. А. Рыкачёва письмо, в котором говорилось: «Предполагая, что для возможно успешного движения вопроса о магнитной съёмке России потребуется два или несколько заседание и что для согласования постановлений и окончательной редакции проекта может потребоваться новая подготовительная работа, председатель Магнитной Комиссии покорнейше просит Вас принять к сведению, что для предстоящих заседаний следует иметь несколько дней начиная с 24 сентября сего года» (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 355, л. 3–7).

434 Николай Константинович Кульчицкий (1856—1925) в должности министра народного просвещения находился с 29 декабря 1916 года по 27 февраля 1917 года.

435 23 сентября 1913 года, при баллотировке утверждённых кандидатур на пост ректора, П. П. Заболотнов получил 14 избирательных и 11 неизбирательных шаров, а его основной противник, Н. Г. Стадницкий, соответственно — 10 и 15 (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 271, л. 49).

436 О непонятной двойственной позиции Н. К. Кульчицкого во время ректорских выборов в Саратове также см.: Письмо В. Д. Зёрнова Е. В. Зёрновой от 21 сентября 1913 года (Изв. вузов «ПНД». Саратов, 1999. Т. 7. № 6. С. 139).

437 Комиссию по магнитной съёмки России возглавлял Михаил Александрович Рыкачёв (1640—1919), полный генерал по адмиралтейству, академик Петербургской АН (1896), директор Главной физической обсерватории (1896–1913); крупный специалист по метеорологии, земному магнетизму, физической географии и воздухоплаванию.

438 Должность ректора Саратовского университета П. П. Заболотнов занимал с 25 января 1914 года по 7 мая 1918 года.

439 Декретом о земле от 26 октября 1917 года помещичья собственность на землю была полностью отменена. На основании § 1, изданной в исполнении этого закона временной «Инструкции переходных мер», все бывшие помещики выселялись из имений. Однако, в виде исключения из общего правила, всем губернским и уездным земельным отделам было разъяснено циркуляром Народного комиссариата земледелия от 16 сентября 1918 года, что они «имеют право по отзывам волостных земотделов, всесторонне проверенным, оставлять некоторых бывших помещиков, которые своею деятельностью не проявили контрреволюционных стремлений и в настоящее время ведут хозяйство, не прибегая к наёмному труду на отведённой в их пользование земле и утверждать отвод им земли по норме» (Коллекция В. А. Соломонова).

440 Вопрос об открытии в Саратовском университете новых факультетов в Министерстве народного просвещения поднимался неоднократно. По одному только физико-математическому факультету ходатайства посылались четыре раза — в 1911, 1912, 1913 и 1916 годах, и каждый раз отклонялись. Аргументом для отказа выставлялись три причины: недостаток учёных сил в России, нехватка в Саратове университетских помещений и невыполнение городом взятого на себя обязательства внести в Государственное казначейство 1 миллион рублей в возмещение расходов по сооружению Саратовского университета (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 718, л. 6).

441 Постановлением Временного правительства от 1 июля 1917 года в Саратовском университете были открыты три новых факультета: историко-филологический, юридический и физико-математический.

442 Первые выборы декана и секретаря физико-математического факультета Саратовского университета состоялись 5 сентября 1917 года.

443 Установить, о ком именно из сотрудников университета идёт речь, не удалось.

444 Вопрос о комплектовании первого курса физико-математического факультета специально ставился на его заседаниях 15-го и 21-го сентября 1917 года. В итоге было решено: «Считать предельным числом слушателей на 1 курсе физико-математического факультета: по разряду естественно-исторических наук 120 человек (в том числе не более 30 чел[овек] по группе химической) и по разряду математических наук 120 человек слушателей» (ГАСО, ф. 393, оп. 1, д. 718, л. 60). В действительности же в 1917/1918 учебном году приняли: на математическое отделение — 162 студента и 71 вольнослушателя, на естественно-историческое отделение — 123 студента и 11 вольнослушателей. Таким образом, вместо 240 по плану на первый курс физико-математического факультета Саратовского университета поступило 367 человек (См.: Список студентов и посторонних слушателей Саратовского университета на 1917–1918 учебный год. Саратов, 1918. С. 21–61).

445 У автора — «Ректорские выборы (осень 1918 г.) и моё ректорство».

446 Первые после октября 1917 года ректорские выборы в Саратовском университете состоялись 28 сентября 1918 года.

447 В первые годы Советской власти выборы ректора в российских университетах, в том числе и в Саратовском, проводились не раз в три года, как прежде, а ежегодно. Поэтому 19 ноября 1919 года В. Д. Зёрнов, сложив с себя ректорские полномочия, назначил новые выборы.

«Записками в кандидаты на должность ректора, — отмечалось в протоколе заседания университетского Совета от 19 ноября 1919 года, — были намечены профессора В. Д. Зёрнов, получивший 37 записок, проф[ессор] В. С. Елпатьевский, получивший 14 записок, проф[ессор] В. В. Вормс и проф[ессор] А. А. Богомолец, получившие по 1 записке каждый. Профессор Елпатьевский, Вормс и Богомолец от баллотировки на должность ректора отказались. Профессор В. Д. Зёрнов изъявил согласие баллотироваться. [...] Затем была произведена закрытая баллотировка шарами, в результате коей оказалось, что профессор Зёрнов получил 59 избирательных и 4 неизбирательных шара» (ГАСО, ф. 332, оп. 1, д. 65, л. 19, 19об.)

448 В 1919 году общее количество членов Правления Саратовского университета, за счёт включения в его состав, наряду с профессурой, представителей от служащих и студентов, составило 21 человек. По вполне резонному замечанию большинства учёных, это не могло не сказаться на оперативном и качественном решении стоявших в те годы перед университетом, как, впрочем, и перед всей страной, острейших хозяйственно-экономических задач (ГАСО, ф. 332, оп. 1, д. 61, л. 1об.; д. 65, л. 30–32).

449 Ввиду переживаемого в Саратове топливного кризиса, ректор университета В. Д. Зёрнов обратил внимание всех членов университетского Правления, участвовавших в заседании 19 июня 1919 года, на необходимость самим «озаботиться заготовкой дров на предстоящий топливный сезон, так как на получение дров от города рассчитывать нельзя». Но очень скоро пришлось «признать невозможность силами Университета обеспечить топливом [даже] главные университетские корпуса, ввиду огромного количества топлива, потребного для их отопления (1800 пятериков)». Обременительным для университета оказалось и другое обстоятельство: по самым скромным подсчётам, произведённым заведующим его хозяйственной частью Д. А. Гюнсбургом, к заготовке дров требовалось привлечь «до 50 человек и работы будут продолжаться не менее 2 месяцев по заготовке и 3 месяцев по перевозке...» (ГАСО, ф. 332, оп. 1, д. 62, л. 12; д. 63, л. 5об.)

450 По справедливому заключению декана медицинского факультета профессора Д. О. Крылова, из-за отсутствия необходимого топлива, над Саратовским университетом нависла опасность «в самом

непродолжительном времени закрыть все имеющиеся в его распоряжении клиники». Под угрозой полного уничтожения оказались также уникальные и дорогостоящие научные коллекции и приборы (ГАСО, ф. 332, оп. 1, д. 62, л. 2; д. 63, л. 19; д. 64, л. 85).

Оказавшись в непростой ситуации, университетские учёные, тем не менее, сумели найти достойный выход и из этого лабиринта.

Профессор химии В. В. Челинцев, например, вспоминал: «Лишённая дровяного и нефтяного топлива, лаборатория поставила у себя широкие опыты по отоплению химического корпуса сланцами. С одной стороны это было испытание сланцев, с другой — это позволило пережить тяжёлые кризисные годы в смысле недостатка топлива. Химический корпус на сланцах хорошо просуществовал целых два года — было тепло.[...] Благодаря сланцевому отоплению, можно было хорошо сохранять реактивы для работ в лаборатории, они не замерзали и поэтому практические занятия студентов по химии не прерывались» (Саратовский государственный университет им. Чернышевского. 1909–1934. Сборник материалов по истории СГУ и его кафедр. Саратов, 1935. С. 40).

451 В «Воспоминаниях» профессора А. А. Гераклитова имеется любопытная запись, характеризующая тогдашнюю жизнь университета: «В 1919 г., при праздновании десятилетия нашего университета, ректор Зёрнов держал торжественную речь во фраке и... в серых валенках. Правда, в нетопленой аудитории был адский холод, и я, например, сидел в старом, ещё деревенском полушубке. Но всё же фигура почтенного ректора была довольно комичной» (Гераклитов А. А. Воспоминания / Подг. текста, публ., коммент. и вст. статья Н. А. Попковой. Саратов, 2004. С. 111).

452 Ошибка: в 1919 году заведующим хозяйственно-техническим отделом Саратовского университета являлся Дмитрий Александрович Гюнсбург, брат упомянутого в тексте Е. А. Гюнсбурга.

453 С 1917 по 1920 год в Научную библиотеку Саратовского университета поступило свыше 177 тысяч томов из национализированных у помещиков и буржуазии частных библиотек (подробнее об этом см.: Саратовский университет. 1909–1959. Саратов, 1959. С. 251).

454 Имеется в виду декрет Совета Народных Комиссаров от 6 августа 1918 года, согласно которому «в число слушателей любого высшего учебного заведения может поступить, независимо от гражданства и пола, каждое лицо, достигшее 16-летнего возраста, без представления диплома, аттестата или свидетельства об окончании средней или какой-либо школы». Но судя по заявлению, сделанному Саратовским губотделом народного образования 12 февраля 1919 года, даже после такого революционного нововведения «высшая школа не стала доступнее для рабочих и крестьян, т. к. у них не было необходимой для высшей школы подготовки» (ГАСО, ф. 332, оп. 1, д. 14, л. 57об.; д. 83, л. 1).

455 Члены специально созданной университетской приёмной комиссии не без основания замечали, что «и среди не имеющих аттестата безусловно есть люди годные для уразумения читаемых [...] дисциплин, но само собой понятно будут и лица, неспособные к их восприятию. Принять же сразу всех [...] решительно невозможно» (ГАСО, ф. 332, оп. 1, д. 14, л. 70–70об.).

Такое заявление лишь добавило масла в огонь, позволив местному городскому начальству ещё больше усомниться в лояльности вузовской интеллигенции новому режиму. В результате оказалось, что большая и далеко не самая худшая часть её представителей была самочинно зачислена в стан злейших врагов революции. В одной из бесчисленных докладных записок того времени подчёркивалось, например, что «всякое мероприятие, направленное на пользу революционно-трудовому студенчеству, встречало самое отчаянное сопротивление блока профессуры и буржуазно-черносотенного студенчества. [...] Чтение предметов элементарных для не вполне подготовленных к высшей школе до сих пор [т. е. 12 февраля 1919 года. — В. С.] не проводится в широком масштабе. Наконец, самый учебный план таких факультетов, как физического, историко-филологического и экономического настолько не соответствует переживаемой действительности, что кажется, что Октябрьская революция совсем не коснулась высшей школы. [...] Фактически, — заключал автор данной записки, — профессорские кафедры превратились в трибуны, с которых раздаётся безудержная агитация против Советской власти. [...] Невольно возникает вопрос, не сослужила ли Советская власть медвежью услугу рабочему классу, допустив его детей в высшую школу, которая при своём современном положении способна только убить в них веру в свои силы, в социальную революцию, в коммунизм...» (ГАСО, ф. 332, оп. 1, д. 83. Л. 1об.–2).

Таким образом, под давлением разного рода угроз, исходивших от советских и партийных работников, в Саратовский университет были приняты все подавшие заявления. Так, на историко-филологический факультет в 1918/1919 учебном году поступило 810 человек, а в следующем — 1172. При

этом важно отметить, что лекционные и семинарские занятия добросовестно посещались всего 528 студентами, или 45% от общего числа принятых (ГАСО, ф. 332, оп. 1, д. 3, л. 7об.–8).

456 Речь идёт об известном фотосалоне Матвея Николаевича Шепелева, существовавшем в Саратове с 1896 по 1916 год.

457 Имеется в виду пьеса Л. Андреева «Профессор Сторицын» (1912), поставленная на саратовской театральной сцене в начале сезона 1912–1913 годов.

458 К работе на кафедре общей физики Саратовского университета Константин Александрович Леонтьев (1889—1932) приступил 24 мая 1918 года, а в марте 1921 года он был утверждён в должности заведующего кафедрой. По заключению специалистов, К. А. Леонтьев «приложил немало усилий к насаждению в нашей стране радиотехнических знаний. Будучи хорошим экспериментатором, он увлекал молодёжь в область физического эксперимента» (Очерки по истории физики в России. М., 1949. С. 309).

Отзываясь о характере К. А. Леонтьева, автор излишне категоричен, но в целом не далёк от истины. В последние годы своей жизни талантливый учёный страдал тяжёлой формой неврастении, что не могло, конечно, не сказаться на его общении с окружавшими людьми. К тому же, по признанию самого Леонтьева, он не имел ни малейшей тяги к педагогической деятельности. 23 июня 1931 года в заявлении на имя директора Саратовского университета С. З. Каценбогена он в связи с этим писал: «Категорически отвергая какой-то «особой линии поведения», которая усердно приписывается мне,[...] я должен сказать, что никакого призвания к педагогической работе не имею и всегда тяготился ею, рассматривая её лишь как средство, дающее возможность вести научно-исследовательскую работу. Постоянная перегрузка приводила к тому, что, не отвечая требованиям, предъявляемым педагогу, я в то же время не мог систематически работать научно. Такое положение дел неизбежно приводит к деквалификации, что и начинает ощущаться мною всё сильнее и сильнее» (Архив СГУ, д. 31 [К. А. Леонтьев]. Л. 42, 49).

459 Константин Александрович Леонтьев умер 4 мая 1932 года.

460 С создателем научной школы радиоэлектроники, профессором Саратовского университета Петром Васильевичем Голубковым (1899—1973), работать бок о бок В. Д. Зёрнову не довелось. И судить о его научно-исследовательских, педагогических и организаторских возможностях он вряд ли мог объективно. Те же, кому посчастливилось непосредственно наблюдать за деятельностью П. В. Голубкова, прежде всего его саратовские коллеги, напротив, до сих пор хранят о нём самые тёплые воспоминания.

Один из его бывших учеников, а ныне профессор физического факультета Саратовского университета В. В. Игонин, вспоминая о своём учителе и наставнике, пишет: «Профессор В. Д. Зёрнов открыл физику в Саратовском университете, создал её материальную базу. Профессор К. А. Леонтьев внёс «дух и букву» физической, в широком смысле, школы великого П. Н. Лебедева в нашу альма-матер. Действенную реализацию этого обеспечил и претворил его ученик Пётр Голубков. Главный стержень школы Лебедева — фундаментальность исследований передовой науки, их разнонаправленность, а не узкая школа одного направления личной работы руководителя. Школа — это комплекс научных направлений, курируемых шефом. Профессор Голубков, — подчёркивает далее автор статьи, — став руководителем кафедры и вскоре факультета (первый раз он был деканом физмата в 1932–1935 гг.), повёл целенаправленную работу. Он глубоко осознавал, что успех любой школы определяется её составом. И уже в 1934 г. на физическое отделение факультета приглашаются из ЛФТИ В. П. Жузе (физика полупроводников), Е. Ф. Гросс (оптика), Г. А. Остроумов (электроакустика), Г. Ф. Далецкий и Н. А. Мандрыка (физика диэлектриков). Тогда же из МГУ — Д. И. Блохинцев (теоретическая физика) и из Ленинградской центральной радиолаборатории В. И. Калинин (радиофизика). Приехали Н. К. Трифонов и Б. П. Никольский (химфизика). На математическое отделение из МГУ пригласили И. Г. Петровского, А. Я. Хинчина, А. Г. Куроша.

Как видно, — заключает Игонин, — приехавшие учёные представляли почти все основные направления физико-математической науки того времени, т. е. комплекса направлений, а отнюдь не одного...» (Игонин В. Горжусь своим учителем // Саратовский университет. 2001. Сентябрь. № 12).

461 У автора — «Переселение на новую квартиру. Так, разные картинки из жизни».

462 Профессору В. А. Павлову, например, дабы не умереть с голоду самому и хоть как-то прокормить домочадцев, пришлось даже обращаться в Правление университета с просьбой разрешить «использовать небольшой участок земли на университетском дворе для посева свёклы и картофеля»

(ГАСО, ф. 332, оп. 1, д. 61, л. 42об.). Не изменился в лучшую сторону быт саратовских учёных и в последующие годы, «большинству приходилось искать заработок на стороне, продавать имущество, а подчас и книги и всё же временем буквально голодать...» (там же, д. 166, л. 2об.).

463 Из квартиры на улице Константиновской (ныне ул. Советская), 6/8 семья Зёрновых была выселена 15 октября 1918 года.

464 По личному ходатайству В. Д. Зёрнова дом на улице Малая Сергиевская (ныне ул. Мичурина), 100 в январе 1920 года решением Центрального жилищного отдела г. Саратова был передан в полное распоряжение университета с целью создания в нём общежития для профессорско-преподавательского состава (ГАСО, ф. 332, оп. 1, д. 121, л. 48).

465 Речь идёт о контрреволюционном эсеровском мятеже в Саратове, начавшемся 16 мая 1918 года. Город оказался на военном положении. После его подавления выяснилось, что с обеих сторон имеются людские потери: убито около 30 человек, ранено — 36 (См.: Твои четыре века, город. Саратов, 1990. С. 113–114).

466 Иван Яковлевич Славин (1849—1930) — присяжный поверенный, в 1876–1917 гг. гласный Саратовской городской думы, юрисконсульт и член городской управы — являлся крупным общественным деятелем дореволюционного Саратова. Юрист по образованию (блестяще окончил юридический факультет Петербургского университета, удостоившись после защиты диссертации степени кандидата прав), он активно участвовал в становлении и развитии в городе музыкальной и художественной культуры; курировал работу городских публичных библиотек, возглавлял городской театральный комитет, содействовал открытию в Саратове Радищевского художественного музея, университета и консерватории; был деятельным членом Саратовской Учёной Архивной Комиссии, «Общества народного просвещения», «Общества народной трезвости» и организованного саратовским архиереем «Духовного просветительского союза». После 1917 г. неоднократно арестовывался за участие в религиозных беседах. Умер 24 июня 1930 г.

В ГАСО в настоящее время хранится большое литературно-публицистическое наследие И. Я. Славина, в котором особенно выделяются его мемуарные записки, содержащие множество ценных сведений о социально-экономическом, культурном и политическом развитии Саратова с 70-х годов XIX по 20-е годы XX веков. Значительная часть их в журнальном варианте уже опубликована (см.: „В плавучей тюрьме (на барже)“ // Волга. 1993. № 4; „Минувшее пережитое“ // Там же. 1998. № 2–3, 5–8, 11–12; 1999. № 2, 3, 7, 8, 12). Однако многое из рукописной коллекции И. Я. Славина еще ожидает своих вдумчивых и кропотливых исследователей.

467 Макс Юлиус Фридрих Рихард [Максим Романович] Фасмер (1886—1962), немецкий языковед-славист, иностранный член-корреспондент АН СССР (1928); в 1917–1918 гг. профессор по кафедре сравнительного языкознания Саратовского, в 1918–1921 гг. Тартуского, в 1921–1924 гг. Лейпцигского, в 1925–1947 гг. Берлинского, в 1947–1949 гг. Стокгольмского университетов. Особую известность и признание в мировом научном сообществе получили его 10-томная серия монографий по филологии и культуре славянских народов (1925–1933) и 3-томный этимологический словарь русского языка (1950–1958).

468 Осенью 1915 года постановлением физико-математического факультета Петроградского университета Сергей Анатольевич Богуславский (1883—1923) был допущен лишь к экзамену на степень магистра физики, который успешно сдал в течение 1916–1917 годов. Что же касается его магистерской диссертации «Основы молекулярной физики и применение статистики к вычислению термодинамических потенциалов», то она в декабре 1917 года была представлена в Московский университет, где 19 апреля 1918 года и состоялась её защита. Причём, как полагал профессор А. А. Эйхенвальд, один из пяти официальных оппонентов диссертанта, «представленный С. А. Богуславским труд, мог бы быть квалифицирован как диссертация не только на степень магистра, но и на степень доктора». Однако, избранная факультетом комиссия, в составе Эйхенвальда, Н. Е. Жуковского, С. А. Чаплыгина, А. П. Соколова и Н. Н. Лузина, «тремя голосами против двух признала: работу С. А. Богуславского допустить в качестве магистерской, а не докторской диссертации» (Архив СГУ, д. 54 [С. А. Богуславский]. Л. 3об., 10).

469 У автора — «Лето 1919 года».

470 В указе об отставке Е. П. Машковцева от службы, изданном 8 августа 1842 года за № 5708, говорилось: «...Егор Петров сын Машковцев, из потомственных почётных граждан и действительных студентов Императорского Московского университета, в службу вступил унтер офицером 1836 мая 29

в гусарский ерц-герцога Фердинанда полк, произведён в корнеты [1]837 мая 17, поручиком — [1]840 июля 1, получил высочайшее благоволение в 1847 году, а 1849 года по Высочайшему приказу марта 14 по прошению уволен от службы с награждением чином штабс ротмистра, в штрафах и под судом не был, и аттестован достойным...» (Коллекция В. А. Соломонова).

471 Речь идёт об «обязательном постановлении», принятом Саратовским губотделом народного образования, согласно которому все клавишные инструменты следовало зарегистрировать в отделе в двухнедельный срок. В противном случае, как сообщалось в местной прессе, «все граждане и учреждения [...] будут считаться уклонившимися от исполнения сего постановления и будут привлекаться к суду ревтрибунала» (Саратовские известия. 1921. 22 января).

Разъясняя суть опубликованного 15 января 1921 года в «Саратовских известиях» постановления о регистрации клавишных инструментов, заведующий подотделом искусств А. Назаров в статье «К переучёту музыкальных инструментов» писал: «...ни один инструмент, обслуживающий детей трудящихся, не будет изъят из их пользования; то же самое распространяется и на остальных лиц, имеющих на рояль или пианино юридическое документальное право. Правда, — оговаривался автор, — юридические документальные данные не спасут владельца инструмента от уплотнения, т. е. предоставления возможности пользоваться его инструментом лицам, нуждающимся [...] в количестве не более 3 чел[овек]» (Саратовские известия. 1921. 25 января).

472 У автора — «Участие в обороне Саратова. Заготовка топлива. 1920 г.».

473 В июле 1919 года губернский революционный комитет издал постановление о призыве всех мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, кроме рабочих, на окопные работы. От Саратовского университета было призвано на эти работы 55 процентов всех его служащих. Подлежали призыву и преподаватели вузов, за исключением преподавательского персонала больничных учреждений (ГАСО, ф. 332, оп. 1, д. 62, л. 72об.–73, 87, 88об.)

474 По вопросу мобилизации сотрудников университета на окопные работы В. Д. Зёрнов встречался с Меранвилем-Десентклером и Морозовым — ответственными работниками губисполкома и горисполкома (ГАСО, ф. 332, оп. 1, д. 62, л. 63).

475 На просьбу Правления университета о выделении лесного массива для заготовки дров, как докладывал профессор Н. Н. Кураев, лесозаготовительным отделом были отведены следующие участки: «1) 5–10 дес[ятин] в Увекском Займище (20 вёрст), 2) 10–15 дес[ятин] в Усовском лесничестве (45 вёрст) [...], 3) Остальные площади леса будут отведены частью в Вольском уезде (120 вёрст), частью в Кузнецком уезде (200 вёрст от Саратова). Более точно последние места определены не были» (ГАСО, ф. 332, оп. 1, д. 64, л. 84).

476 В 1920 году, оставив должность ректора Бакинского университета, В. И. Разумовский вернулся в Саратовский университет, где вновь возглавил кафедру общей хирургии медицинского факультета. В 1931 году, после трагических событий, коснувшихся семьи заслуженного учёного — ареста ОГПУ по ложному обвинению сына, Вадима Васильевича Разумовского (1887—1931), и его расстрела, он окончательно порывает с Саратовом и переезжает на постоянное жительство в Ессентуки.

477 Имеется в виду университетская клиника уха, горла и носа имени академика Николая Петровича Симановского (1854—1922), построенная на пожертвованный им капитал в 100 тысяч рублей (РГИА, ф. 733, оп. 205, д. 1632, л. 43).

478 Александровская больница (ныне — Городская клиническая больница № 2 имени В. И. Разумовского) — старейшее учреждение здравоохранения города Саратова (открыта в 1806 году). С 1909 года являлась главной клинической базой медицинского факультета Саратовского университета.

479 Подтверждением типичности ситуации может служить заявление заведующего факультетской терапевтической клиникой профессора Д. О. Крылова, сделанное 24 июля 1919 года в заседании Правления университета: «20-го июля вечером, — говорил он, — я осматривал клинику и нашёл полный беспорядок и грязь, оставшиеся после ухода больных; даже моча в банках стояла под кроватями не убранной. 21 июля сиделки явились наконец на уборку помещения. Из опроса сиделок я уяснил себе, что моё распоряжение [об уборке помещения. — В. С.] было отменено старостой сиделок Шишкиной М. Ф. ...» (ГАСО, ф. 332, оп. 1, д. 62, л. 88).

480 Надежда Васильевна Алмазова (1884—1928), первая женщина-хирург, удостоенная в Саратове учёной степени доктора медицины. В 1917–1924 годах находилась в должности старшего ассистента, затем приват-доцента госпитальной хирургической клиники Саратовского университета, с 1924 по 1928 годы заведовала хирургическим отделением 1-й советской больницы в Саратове.

481 Славный руководитель (лат.).

482 Дом на улице Малой Сергиевской (ныне — Мичурина), 100.

483 Кроме Зёрновых в этом доме проживали семьи университетских профессоров: В. И. Скворцова, С. А. Богуславского, Г. К. Свешникова, К. А. Леонтьева, ассистентов: Котова и Яшнова, а в стоящем во дворе дома флигиле поселилась семья профессора В. В. Голубева.

484 Аграрный факультет при Саратовском университете был открыт 20 сентября 1918 года и просуществовал до 1 мая 1922 года, после чего снова был преобразован в сельскохозяйственный институт.

485 Имеется в виду I съезд Российской ассоциации физиков, состоявшийся в Москве в сентябре 1920 года. Участвовавший в работе этого съезда С. Э. Фриш, позже вспоминал: «Заседания съезда проводились в разных местах — то в Московском университете, то в помещениях московских технических вузов. Народу собралось много. Съезд проходил в лучших условиях, чем предыдущий — в Петрограде в 1919 году. Различие было не только внешнее, но и в характере самого съезда. Тогда, в 1919-м, новые советские институты только что начали организовываться, не успели ещё дать законченных исследований, и доклады проводились главным образом по итогам работ, выполненных в предреволюционные годы. Теперь новые научные учреждения начали действовать. Они были ещё очень молоды, многого сделать не успели, но их голос всё же стал слышен. Съезд явился переходной вехой от старой русской физики к новой физике советского времени» (Фриш С. Э. Сквозь призму времени. М., 1992. С. 96).

486 О ком идёт речь, установить не удалось; однако из материалов эпистолярного архива В. Д. Зёрнова доподлинно известно, что в Москву он выехал вместе со своим ассистентом Б. И. Котовым.

487 2-й Московский государственный университет, основан в 1918 году на базе преобразованных Высших женских курсов. В 1930 году реорганизован в три самостоятельных вуза: педагогический институт имени В. И. Ленина, 2-й медицинский институт имени Н. И. Пирогова и институт тонкой химической технологии имени М. В. Ломоносова.

488 В. И. Ленин выступал на II Всероссийском съезде работников просвещения и социалистической культуры 1 сентября 1920 года с докладом о текущем моменте. Стенограмма доклада не велась (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 54. С. 431–432).

489 ВОКС — Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (1925–1958).

490 В биографическом очерке о жизни и деятельности Александра Александровича Эйхенвальда (1863—1944), профессор А. Б. Млодзеевский писал: «В 1920 г. Эйхенвальд был командирован в Берлин. Помимо исполнения правительственного поручения, целью Эйхенвальда было также заняться восстановлением своего здоровья, к тому времени сильно расшатанного. Из Берлина он переехал в Прагу, а затем в Милан. Его попытки вернуться обратно в СССР не имели успеха из-за его расстроенного здоровья, но в течение всего этого времени он поддерживал связь с Москвой и посылал в Москву для напечатания свои работы; последней из них была [...] работа «Акустические волны большой амплитуды», которую он прислал из Милана» (Очерки по истории физики в России. М., 1949. С. 182).

Великая Отечественная война застала его в Италии, и дальнейшая его судьба была в течение долгого времени неизвестна. В 1947 г. его московские родственники получили известие, что скончался А. А. Эйхенвальд в Милане 12 сентября 1944 года, но обстоятельства смерти до настоящего времени остаются не выясненными.

491 Владимир Александрович Михельсон умер 27 февраля 1927 года.

492 Об этом подробно говорится в письмах В. Д. Зернова, хранящихся в Коллекции В. А. Соломонова (Саратов)

493 Вопреки утверждению автора, переписка между супругами в это время велась, о чем свидетельствуют 6 писем от 31 августа, 1, 3, 10, 13 и 15 сентября 1920 года (Коллекция В. Д. Соломонова).

494 У автора — «Городской собор».

495 В первые десятилетия XX века в Саратове имелось 40 храмов — 1 кафедральный собор, 22 приходские церкви и 17 храмов при учебных заведениях и приютах.

После издания декрета ВЦИК от 23 января 1918 года об отделении церкви от государства и школы от церкви в Саратове, как и в целом по стране, началась постепенная ликвидация деятельности религиозных учреждений. К 1990-м годам в почти миллионном Саратове действовали всего 2 церкви (см.: ЭСК. Саратов, 2002. С. 661).

496 См. коммент. 294.

497 Церковный звон в Саратове был запрещён постановлением Саратовского горисполкома 2 декабря 1930 года, тогда же приступили и к снятию церковных колоколов.

По этому поводу 1 января 1930 года М. Д. Соколов в своём «Дневнике» писал: «Церковные праздники и воскресенья можно ещё узнавать по церковному звону, но, вероятно, и этому скоро придёт конец. Ведётся бешеная кампания за снятие всех колоколов и закрытие церквей. Везде на улицах и трамваях расклеены лозунги: «Новый мир построим без попов и веры в бога», «Дадим стране цветной металл — перельём колокола на машины»... С колокольни Александро-Невского собора колокола уже сняли, причём при снятии убился один рабочий. Собор закрыт. Придрались к тому, что общество православных верующих не выполнило в установленный срок капитального ремонта» (цит. по: Мишин Г. Воздвигнут во славу... // Годы и люди. Вып. 6. Саратов, 1992. С. 130).

498 Церквей с подобным названием в Саратове было две: Покровская церковь (на горах), построенная в 1860 году на пересечении улиц Большой Горной и Александровской; закрыта после революции. В 1930 году в её здании расположилось студенческое общежитие Саратовского планового института. В марте 1992 года здание церкви вновь вернули епархии. И Ново-Никольская церковь (на горах), построенная в 1904 году на улице Большой Горной (между улицами Радищева и Некрасова). После закрытия в 1934 году здание церкви решением горисполкома было отдано под засыпку зерна, а позже и вовсе снесено. Ныне на её месте разбит сквер.

499 Иордань — крещенская прорубь, вырубаемая во льду для освещения воды в праздник Крещения.

500 Дословно: значение мира; в вольной трактовке: смысл жизни (нем.).

501 Из материалов следственного дела В. Д. Зёрнова известно, что от имени совета церкви с просьбой выступить перед прихожанами Александро-Невского кафедрального собора к нему обратился священник Л. Н. Поспелов. Свой доклад Зёрнов сформулировал так: «Рассеяние энергии и разумное начало в мироздании» (Справка УКГБ СССР по Саратовской области от 9 октября 1990 года. № 4. Л. 2 // Коллекция В. А. Соломонова).

502 В газетной статье «Всеми забытое, но большое зло» отмечалось: «Профессора Какушкин и Зёрнов, выступая после обедни в воскресенье пред молящими, излагали взгляд о науке и религии, особенно подчёркивая, „что наука не против религии и что, в общем, они союзники"» (Саратовские известия. 1921. 28 января).

Любопытно и другое свидетельство — выдержка из записной книжки Е. В. Власовой: «Думают, что наука, изучение природы и вообще просвещённый человеческий разум подрывают и разрушают веру. Это — глубокая ошибка. Истинно просвещённый разум не враг веры, он её опора и светильник. Отымите у веры разум, и она утеряет свою высшую ценность, станет верой слепой; она будет уже не вера, а суеверие. Веру в Бога может отрицать только поверхностное образование, которое лишь пригубило с края чашу знания и самоуверенно полагает, что ему всё ясно, всё доступно и всё ведомо. Знаменитый английский учёный Бэкон, отец опытной науки, говорит, что задача настоящей науки и философии должна состоять в том, чтобы человечество дошло до совершеннейшего понимания Творца и что лучшим средством для этого после свящ[енного] Писания служит опытное изучение мира. И эти слова Бэкона тем яснее каждому серьёзному мыслителю, чем глубже его ум, чем шире его познания. Возьмём, напр[имер], Ньютона, знаменитого математика и естествоиспытателя Ампера, создавшего новую науку электродинамику, Кеплера, Галилея, Либиха, Пастера и многих других крупных светил ума и знания, [которые] ясно доказывают, что к безбожию приводит только научное верхоглядство, а серьёзное знание, истинная наука ведут человека к Богу» (Коллекция В. А. Соломонова).

503 В декабре 1920 года Н. М. Какушкин трижды выступал в соборе перед верующими с лекциями на темы: «О боге», «О новогодних приветствиях» и «О браке». В лекции о браке, например, он стремился, чтобы слушатели прониклись мыслью о том, что «совершенный, чистый брак возможен только при совершенной личности мужчины и женщины и при полном равноправии женщины» (Справка УКГБ СССР... От 28 мая 1991 года № 10-а/1738 // Коллекция В. А. Соломонова).

Официальных сведений, подтверждающих участие в религиозных беседах профессора И. Н. Быстренина и его последующего ареста, обнаружить не удалось.

504 Речь идёт о статье Г. И. Петрова «Всеми забытое, но большое зло» (Саратовские известия. 1921. 28 января).

505 А. В. Луначарский прибыл в Саратов 3 февраля 1921 года с целью выяснить отношение саратовцев к развернувшейся тогда в партии дискуссии о роли и задачах профсоюзов и разъяснить позицию по этому вопросу ЦК РКП(б).

506 ВКВШ — Всесоюзный комитет по делам высшей школы при Совете Народных Комиссаров СССР.

507 Саратовский университет А. В. Луначарский посетил 7 февраля 1921 года. По сообщениям местной прессы, «сопровождаемые ректором университета проф[ессором] Зёрновым, профессурой, военкомом медфакультета тов[арищем] Кочиашвили, гости осматривали лаборатории и аудитории Саратовского университета. [...] Профессор Зёрнов от имени саратовской профессуры приветствовал Луначарского как первого поборника науки в стране и выразил глубокую благодарность за посещение университета» (Саратовские известия. 1921. 9 февраля).

508 Выступление А. В. Луначарского в театре имени Н. Г. Чернышевского с докладом «Религия и коммунизм» состоялось 5 февраля 1921 года.

509 К. И. Чуковский однажды язвительно заметил о Луначарском: «Я видаюсь с ним чуть не ежедневно. Меня спрашивают, отчего я не выпрошу у него того-то или того-то. Я отвечаю: жалко эксплуатировать такого благодушного ребёнка. Он лоснится от самодовольства. Услужить кому-н[и]б[удь], сделать одолжение — для него ничего приятнее! Он мерещится себе как некое всесильное благостное существо, источающее на всех благодать. Пожалуйста, не угодно ли, будьте любезны — и пишет рекомендательные письма ко всем, к кому угодно, — и на каждом лихо подмахивает: Луначарский. Страшно любит свою подпись, так и тянется к бумаге, как бы подписать» (Чуковский К. Дневник (1918–1923) // Новый мир. 1990. № 8. С. 143).

510 У автора — «Детский костюмированный вечер и мой арест (1921). Саратовская тюрьма № 3».

511 Арест В. Д. Зёрнова Саратовской губчека по подозрению в контрреволюционной пропаганде был проведён 9 марта 1921 года, а обыск на квартире — 8 марта.

512 Саратовская тюрьма № 3 находилась на Большой Сергиевской (ныне — Чернышевской) улице недалеко от кладбища Красного Креста в доме бывшего гласного Саратовской городской думы Алексея Матвеевича Оленева.

513 Имеется в виду разъяснение относительно учёных бесед на религиозные темы, данное А. В. Луначарским во время его пребывания в Саратове, который, как заявлял В. Д. Зёрнов на допросе, «...с моими вкладами на полное неимение препятствий к чтению лекций, носящих религиозный и научный характер, согласился» (Справка УКГБ СССР...от 9 октября 1990 года. № 4. Л. 2 // Коллекция В. А. Соломонова). «Луначарский, — замечал по тому же поводу И. Я. Славин, — ссылаясь на „конституцию“ нашей республики, возмущался статьёй Петрова и говорил о полной, неограниченной свободе у нас совести, веры и даже пропаганды веры. Луначарский просил Зёрнова подать ему по этому предмету особую докладную записку, которую он представит с своим заключением в Совет народн[ых] комиссаров. Такая записка была ему подана. Но какая судьба постигла эту записку с его заключением — мы не знаем. А наша судьба в этом деле скоро выяснилась и определилась...» (Славин И. Я. Московская Бутырская Тюрьма. Саратовские соборяне. Рукопись. Саратов, 28 июня – 11 июля 1921 г. // ГАСО, ф. 1283, оп. 1, д. 7, л. 18).

514 В марте – начале апреля 1921 года перед заключёнными Саратовской тюрьмы В. Д. Зёрнов выступал с лекцией на тему «О разумном начале мироздания».

515 «Концентрационный лагерь» находился на пересечении улиц Цыганской (ныне ул. Кутякова) и Астраханской. В настоящее время — Учреждение ИЗ-61/1 МВД РФ.

516 Владимир Васильевич Голубев (1884—1954) исполняющим должность ректора Саратовского университета являлся с апреля 1921 по 11 января 1923 года.

517 Возможно, речь идёт о Григории Ивановиче Петрове; о его смерти сообщалось в «Саратовских известиях» 21 мая 1921 года.

518 Точной даты этапирования В. Д. Зёрнова и других заключённых в Москву установить не удалось. Однако из письма В. Д. Зёрнова жене от 14 апреля 1921 года (см.: Соломонов В. А. «Поводом к арестам явилась нервозность ЧК...» (Письма В. Д. Зёрнова жене Е. В. Зёрновой. Март—май 1921 года) // Русская наука в биографических очерках. СПб., 2003. С. 444.) можно предположить, что выехали они не позднее 13 апреля и прибыли на место 18 апреля 1921 года.

519 Александр Степанович Антонов (1890—1921), сын слесаря-кустаря. В 16 лет примкнул к боевой организации неонароднического направления; в 1917–1918 годах проходил службу в должности начальника милиции Кирсановского уезда Тамбовской губернии. В 1920–1921 годах руководил антисоветским мятежом в Тамбовской и части Воронежской губерниях. Полковничьего чина не имел.

520 В личном архиве В. Д. Зёрнова сохранилось любопытное свидетельство — письмо Е. А. Гюнсбурга Е. В. Зёрновой от 18 апреля 1921 года, в котором говорится:

«Глубокоуважаемая Екатерина Васильевна! Как рад, что застал Володю в Москве и могу сообщить Вам. Не смотря на то, что приехали к вечеру вчерашнего дня — кой-что удалось сделать: чем больше соприкасаюсь с людьми, идущими навстречу, тем более крепнет вера в скорый благополучный исход и возвращение обратно в Саратов. Я послал Вам письмо из Бирюлёво, но не могу быть уверен, что Вы его получите скорее этого, а потому ещё раз опишу сцену встречи с Вл. Дм. и остальными в Кашире.

Вчера утром проснулись, подъезжая к К[аши]ре. Поезд подходит, и на перроне стоит Вл. Дм., Ник. Мих. [Какушкин] и др[угие]. Первый момент я побоялся даже передать об этом Бор. М. [Соколову], думая, что просто показалось. Поезд останавливается, и к моему окну подходит наш Вл. Дм. Описать радость встречи не берусь, слёзы радости одновременно выступили к[а]к у меня, т[а]к и у него. Оказалось, что они медленно, но нигде не бывая по пересыльным тюрьмам, в течение четырёх дней добрались до К[аши]ры. Вид и настроение от такой, по словам Вл. Дм., странной, но и интересной в своём роде поездки, хорошее. Снабдили их хлебом и провизией, что было очень кстати. Деньги не взяли, боясь, что могут быть отобраны в М[оскве]. Пробыли вместе минут 10–15, оставив их в К[аши]ре, поехали дальше.

Эта встреча особенно ценна, помимо материальной поддержки, в душевном их успокоении и воочию убедились в том, что мы по дороге в М[оск]ву. Им казалось, что непредвиденные обстоятельства могут задержать нас или же совсем не выпустить из Саратова. Теперь и сидеть-то будут легче, с сознанием присутствия тут же людей, о них заботящихся. Итак, начало нашей поездки хорошее. Вчера весь день было приятно и светло на душе. Вечером был у Иверской Божьей Матери и заказал молебны на неделю о здравии их.

Дорогая Екатерина Васильевна, не смущайтесь, если не будете продолжительное время получать писем, ведь не всегда найдёшь оказию, а, по словам родни Б. М. С[около]ва, у которых я временно остановился, письма по почте зачастую не доходят. Возможно, что перейду к дочери Вормса — Разумовской В. В.; единственно, что против такой перемены местожительства, — безумная даль от мест, которые мне часто придётся посещать. Пока, не наверное, удалось узнать, что их переведут в Таганскую тюрьму, что от Р[азумовск]их находится на расстоянии 8–10 вёрст, а от квартиры Соколовых — вдвое ближе.

Посетив вечером кой-кого из профессоров, которые имеют данные к тому, что благодаря связям некоторым из их числа, удастся проникнуть к лицам с большим весом в том мире, который нас особенно сейчас интересует. Утром был у Макаровых, которые также со своей стороны принимают самые решительные меры по тому же вопросу.

Ещё раз от себя и от Вл. Дм. прошу не особенно волноваться, теперь каждый день приближает нас к благополучному финалу. Сообщать буду обо всех новостях при каждом удобном случае.

Поклон и поцелуй от Вл. Дм.

Преданный Вам. Ваш Евгений» (Коллекция В. А. Соломонова).

521 Неточность: Пётр Петрович Лазарев (1878—1942) являлся ординарным академиком по Отделению физико-математических наук (физика) Российской АН с 4 марта 1917 года.

522 Иегова — искажённая форма имени бога в иудаизме Яхве.

523 Вероятно, речь идёт о Михаиле Львовиче Винавере (1880—1942) — адвокате, ближайшем помощнике Е. П. Пешковой по работе в Политическом Красном Кресте и Польском Красном Кресте. В 1937 году он был арестован и приговорён к 10 годам заключения, но вскоре освободился из лагеря в связи с зачислением в польскую армию генерала В. Андерса.

524 Екатерина Павловна Пешкова [урождённая Волжина] (1876–1965), активная участница правозащитного движения в СССР. В 1918-1937 гг. являлась председателем советского Общества Красного Креста и руководителем Московского комитета «Помощи политическим заключённым». В 1896–1904 годах была замужем за А. М. Горьким.

525 Владимир Фёдорович Джунковский (1865—1938), московский губернатор (1905–1913), товарищ министра внутренних дел и шеф Отдельного корпуса жандармов (1913–1915). В годы первой мировой войны генерал-лейтенант, командующий 3-м сибирским пехотным корпусом. В 1918 году консультант Ф. Э. Дзержинского по вопросам создания ВЧК, организации паспортной и визовой систем.

526 Речь идёт о малоизвестном эпизоде времён Отечественной войны 1812 года, когда при встрече в Петербурге с британским представителем при русской армии сэром Робертом Томасом Вильсоном император Александр I торжественно поклялся «своею честию и повелел ему повторять это самым официальным образом, что он никогда не войдёт в какие-либо переговоры с Наполеоном до тех пор, пока хоть один вооруженный француз будет оставаться в русских пределах», добавив при этом, что «он лучше отрастит бороду до пояса и будет есть картофель в Сибири» (Вильсон Р. Т. Дневник и письма 1812–1813. СПб., 1995. С. 257–258).

527 Возможно, речь идёт о Платоне Алексеевиче Лечицком (1856–1923) — генерале от инфантерии, бывшем командующем войсками Приамурского военного округа и войсковом наказном атамане Амурского и Уссурийского казачьих войск, с января 1921 года занимавшего в РККА должность инспектора пехоты и кавалерии Петроградского военного округа.

Вспоминая о нём, А. А. Брусилов писал в мемуарах: «...тяжёлым камнем остались у меня на душе два случая, когда все мои хлопоты — словесные просьбы, письменные прошения, ничему не помогли, — это когда арестовали Клембовского и ген[ерала] Лечицкого. Последнего арестовали в Петрограде после наступления Юденича, привезли в Москву. Когда мы об этом узнали, то жена моя стала хлопотать о передачах ему, я же добивался его освобождения. Но тщетно. Мне обещали неоднократно, назначали сроки, когда его выпустят и надували меня. Оба они так и умерли в тюрьмах, и это глубоко меня потрясло. Что касается Лечицкого, то я допускаю мысль, что по своей честной, но узкой несговорчивости, прямолинейности действий в вопросах политики, он и не хотел сдаваться, даже в разговорах. Но Клембовский думал и действовал иначе, его поймать в неискренности относительно Советской власти было труднее. Это был человек с очень широкими горизонтами. И, тем не менее, они оба одинаково погибли» (Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 2001. С. 296).

528 По-видимому, речь идёт о князе Дмитрии Петровиче Святополк-Мирском (1890–1939) — поэте, журналисте и литературном критике. В 1922–1932 годах он жил в Англии, затем, приняв марксистскую идеологию, вернулся в СССР, где в 1935–1936 годах вновь был репрессирован.

529 Генерал от инфантерии Владислав Наполеонович Клембовский (1860—1923) был арестован и заключён в Бутырскую тюрьму по обвинению в пособничестве полякам, хотя непосредственно в боях 1920 года и не участвовал. «Чекисты его долго держали в тюрьме без допросов. Генерал, — по воспоминаниям одного из заключенного, — объявил голодовку. Явился, хотя и не сразу, полномочный представитель ВЧК. Предложил генералу прекратить голодовку. Клембовский продолжал голодать, кажется, так и умер от голода. Никто ему не помог, никто его делом не заинтересовался» (Федоткина Т. Палач королевства любви // Московский комсомолец. 2002. 21 ноября).

530 Антиминс — церковный вместопрестольник; освящённый плат, с изображением положения во гроб Иисуса Христа; кладётся на престол церковный при совершении Литургии.

531 Возможно, речь идёт о Всеволоде Михайловиче Волине [наст. фам. Эйхенбаум] (1882–1945), политическом и общественной деятеле. Вступивший на путь революционной борьбы в начале 1900-х годов, он неоднократно затем менял свою политическую окраску. В 1905–1911 годах — эсер, в 1911–1914 годах — анархист-коммунист, один из организаторов заграничного российского анархического движения, с 1914 года — анархист-синдикалист. С августа 1919 года являлся ближайшим сподвижником Н. И. Махно, председателем Военно-революционного совета, одним из идеологов махновского движения. В январе 1920 года Эйхенбаум был арестован ВЧК и с марта месяца содержался в московской тюрьме. 1 октября 1920 года по соглашению с Махно освобождён, но 25 ноября за подготовку съезда анархистов в Харькове опять арестован и направлен в Москву. 5 января 1922 года, после очередного освобождения из тюрьмы, в числе 10 анархистов выслан за границу (см.: ПДР. М., 1993. С. 69–70).

532 Данную автором воспоминаний характеристику А. М. Зайончковского, любопытно сопоставить с другой, не менее ёмкой и колоритной оценкой этой личности, содержащейся в письме С. Н. Чернова к своему университетскому учителю С. Ф. Платонову от 11 марта 1926 года:

«Вы, вероятно, знаете из газет о смерти ген[ерала] Зайончковского. Это тот самый генерал, который занимался военной историей и, в частности, писал о великой Восточной войне 50-х гг. XIX в. По его примечаниям к этой и другим работам и по личным его рассказам видно, что он собрал много разнородного материала по общей и военной истории. Среди большого количества копий его собрания есть и подлинные рукописи.

[…] Этот Зайончковский, — замечал далее Чернов, — был для меня любопытным осколком старого, навсегда ушедшего в вечность веков мира. Я встретился и познакомился с ним в Москве во время архивной работы: любил слушать его рассказы про своё прошлое и старину Николая Павловича, вежливую похвалу своим собранием материалов; любил наблюдать его лукавство царедворца и неуязвимое мастерство спорщика. Это был, как мне за немного встреч представляется, в меру умный и более чем умный, хитрый и лукавый человек, обезоруживающий светской готовностью врага, подчиняющий его себе своей любезностью царедворца, в которую очень тонко вплетались подкупающие нотки нарочитой грубости старого солдата, — будто бы искренней и простой. Я любил видеть его в действии» (Чернов С. Н. Павел Пестель: Избранные статьи по истории декабризма… СПб., 2004. С. 259).

533 Андрей Медардович Зайончковский (1862—1926), находясь с 1918 года на службе в РККА, занимал должности: начальника штаба 13 армии (1919–1920), члена Особого совещания при главнокомандующем всеми вооружёнными силами Республики (с мая 1920), члена Малого и Высшего Академических военно-педагогических советов (с 1921), главного руководителя Военной академии РККА (с 1922).

534 Неточность: «постановлением Президиума ВЧК Какушкин Н. М. из-под стражи был освобождён за неимением материала и отсутствием улик» 18 мая 1921 года (Справка УКГБ СССР… от 28 мая 1991 года № 10-а/1738 // Коллекция В. А. Соломонова). А И. Н. Быстренин с В. Д Зёрновым — неделей раньше, 11 мая 1921 года (Справка Управления КГБ СССР… от 9 октября 1990 года № 4 // Там же; Славин И. Я. Московская Бутырская Тюрьма. Саратовские соборяне. Рукопись. Саратов, 28 июня — 11 июля 1921 г. // ГАСО, ф. 1283, оп. 1, д. 7, л. 23–23 об.)

535 «Что касается до Клембовского, — вспоминал А. А. Брусилов, — то, невзирая на все мои хлопоты, его арестовали так крепко, что больше я его и не видел. Его не выпустили. Спустя некоторое время он умер в тюрьме от истощения» (Брусилов А. А. Указ. соч. С. 296).

536 См. коммент. 532 и 533.

537 Ошибка: такой встречи быть не могло, так как 28 февраля 1938 года по обвинению в контрреволюционной деятельности В. Ф. Джунковский вновь был арестован и 5 марта того же года расстрелян.

538 Помимо наркома здравоохранения Н. А. Семашко в ходатайстве об освобождении В. Д. Зёрнова из тюрьмы принимал участие и нарком просвещения А. В. Луначарский.

539 См.: Письмо В. Д. Зёрнова Е. В. Зёрновой от 1(14) мая 1921 года (Соломонов В. А. «Поводам к арестам явилась нервозность ЧК…» С. 449–451)

540 По возвращении в Саратов, Н. М. Какушкин в течение восьми лет руководил университетской кафедрой. Затем с 1930 по 1941 год возглавлял гинекологическое отделение Института Рентгенологии в Харькове. Его жизнь завершилась трагически: в 1942 году во время оккупации Харькова он был арестован и за отказ сотрудничать с немецко-фашистскими захватчиками казнён. Та же страшная участь постигла его семью.

Иначе, после освобождения из тюрьмы, сложилась судьба И. Н. Быстренина. Оставаясь профессором медицинского факультета Саратовского университета, он ещё более активизировал свою общественную деятельность: был членом общества «Капля молока», заведовал «Домом охраны младенчества», выступал с публичными лекциями перед руководителями детских садов и площадок отдыха. В 1922 году по его инициативе в Саратове возникло «Общество детских врачей имени Н. Ф. Филатова», бессменным председателем которого учёный оставался вплоть до его слияния с «Обществом педиатров г. Саратова».

По свидетельству профессора В. А. Сурата, до конца своих дней И. Н. Быстренин продолжал пользоваться «неизменною любовью и глубоким уважением своих многочисленных учеников и пациентов. Суровый по внешности, он обладал чутким отзывчивым сердцем, и это было хорошо известно всем близко знавшим его» (Сурат В. А. Профессор Иннокентий Никандрович Быстренин // Советская педиатрия. 1934. № 10. С. 147–148). Умер он 18 апреля 1934 года в Саратове и похоронен на Воскресенском кладбище.

541 Аделина Антоновна Джури [по мужу Карзинкина] (1872—1963), артистка балета, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1945). По национальности итальянка, приехав в Россию в 1885 году, поступила в Московское театральное училище. В 1891 году в партии Эсмиральды дебютировала на сцене Большого театра, после чего уехала в Милан, выступала в театре «Ла-Скала». С 1894 года снова в труппе Большого театра.

Лучшие работы А. Джури связаны с балетами П. И. Чайковского и А. К. Глазунова. Первая исполнительница на сцене Большого театра партии Раймонды (1900). По отзывам критиков, «танец

Джури отличался воздушностью и вместе с тем стремительностью, силой, виртуозным блеском» (БЭ. М., 1981. С. 185).

После 1903 года прославленная балерина занималась исключительно педагогической деятельностью: преподавала в студии имени Шаляпина, в школе сценического танца Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве, в 1926–1947 годах являлась педагогом классического танца Московского хореографического училища.

542 Далее следует вклеенный в рукопись подаренный В. Д. Зёрнову автором автограф стихотворения А. Альвинга «Черепаховая табакерка», текст которого целиком приводится в «Записках».

543 Источник и название цитируемого произведения С. Н. Булгакова, установить не удалось.

544 В личном архиве В. Д. Зёрнова сохранился по этому поводу любопытный исторический документ (стиль и орфография подлинника):

«Опись имущества и инвентаря в усадьбе профессора Владимира Дмитриевича Зёрнова, принятая Дубенским сельским советом в присутствии члена Лопасненского волостного исполкома П. Грачёва и понятых гражд[анина] с[ела] Дубны А. Теремова от Андрея Степановича Чувикова от 25-го мая 1919 г., заключающаяся в следующем количестве и виде:

3 екипажа; 1 линейка; 3 тарантаса; 2 выязных санок; 1 поломаные санки; 1 косилка; 1 веялка; 1 кочкорез; 1 плуг в дерев[янной] оправе; 1 железная борона; 1 железный плуг; 2 дуги; 1 борона в деревяной раме; 2 шлеи; 1 пара кожаных [неразборчиво]; 1 шлея; 1 уздечка; 1 [неразборчиво] железная цеп; 2 горбатых сиделки; 3 хомута без гужей; 1 телега с колёсами; 1 вилы железные; 1 продольная пила; 1 гребёнка для чистки лошадей; 1 щётка; 8 ключей экипажных гаечных; 1 конные клещи; 1 капустное корыто для рубки; 1 покрывало полость меховая для саней; 1 дамское седло; 2 саней больших; 1 каток деревяный; 1 лодка; 18 парниковых рам; 1 каток для белья; 1 ванна цынковая; 1 [неразборчиво] деревянных; 1 котёл, вмазаный в бане для стирки; 1 маслобойка; 1 корова дойная и за мобилизованную лошадь 1200 руб[лей].

К сему подписуемся: Члены Дубенского сельского совета

Председатель Ф. П. Мишин

Член Пётр Барцков

Понятой А. Теремов

Член Лопасненского волостного исполкома И. А. Грачёв

Секретарь Н. Кузнецов.

Всё вышепоименованное имущество и инвентарь передано по поручению В. Д. Зёрнова Настасии Александровне Пудиной, каковая и получила всё полностью.

Подпись Пудиной Неграмотная, каковую удостоверил член исполкома И. А. Грачёв».

(Коллекция В. А. Соломонова).

545 В должности профессора по кафедре физики Московского практического механико-электротехнического (механического) института имени М. В. Ломоносова (ул. Тверская, Благовещенский пер., 1) В. Д. Зёрнов состоял с 10 октября 1921 года по 1929 год включительно.

546 Московские высшие женские сельскохозяйственные курсы при гимназии С. К. Голицыной (Голицынские) (ул. Большая Никитская, дом Чернопятовой), основаны в 1908 году усилиями преподавателей Московского сельскохозяйственного института во главе с агрохимиком и почвоведом, впоследствии академиком АН СССР (1929) и ВАСХНИЛ (1935) Дмитрием Николаевичем Прянишниковым (1865—1948).

В. И. Романов на Высших сельскохозяйственных курсах преподавал с 1908 года по 1920 год.

547 С 1919 года по 1923 год В. И. Романов был директором Государственного физико-технического института, преобразованного в 1923 году во Всесоюзный электротехнический институт (ВЭИ).

548 В должности профессора по кафедре физики II-го МГУ В. Д. Зёрнов состоял с 1921 года по 1924 год.

549 Новая экономическая политика (НЭП) введена в 1921 году по решению X съезда РКП (б). Основные её мероприятия: замена продразверстки продналогом; разрешение частной торговли, мелких капиталистических предприятий; перевод государственной промышленности на хозрасчет; замена натуральной зарплаты денежной.

550 Цены на все виды услуг, продукты питания, промышленные товары в 1920-е годы возросли до небывалых размеров. Проезд на извозчике, например, стоил 3 тысячи рублей с добавлением 2-х фунтов хлеба, масло на базаре — 13–16 тысяч рублей, одно яйцо — 600 рублей, бутылка молока

1,5 тысячи рублей, соль — 2 тысячи 200 рублей (см.: Чуковский К. Дневник (1918–1923) // Новый мир. 1990. № 8. С. 137, 142).

551 Далее, в виде приложения, помещённого внутри авторского повествования, В. Д. Зёрнов приводит содержание полученного им в декабре 1921 года из Саратова приветствия.

552 Александр Васильевич Власов умер в 1919 году от сердечного приступа, находясь у постели больного.

553 Имеются в виду двоюродные братья В. Д. Зёрнова — Владимир, Константин, Борис и Георгий Сергеевичи Зёрновы.

554 Имеется в виду Борис Сергеевич Зёрнов, инженер-механик, в 1938 году профессор Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева.

555 Юрий Николаевич Померанцев умер 28 мая 1933 года.

556 НКПС — Народный комиссариат путей сообщений.

557 Дополнительные сведения о судьбе М. А. Полозова обнаружить не удалось.

558 Подтверждения тому содержатся и в «Дневнике» М. Н. Чернышевского, которому по делам устройства в Саратове музея памяти своего отца — Н. Г. Чернышевского неоднократно приходилось бывать в Москве и общаться с А. В. Луначарским.

В пятницу 6 августа 1920 года он писал: «К 10 у[тра] пошёл в Кремль, Потешный дворец — к А. В. Луначарскому, который принял меня около 12 ч[асов] очень приветливо. Я подал ему докладную записку и проект Положения о Музее, и он тотчас же продиктовал бумагу в Наркомпрос и в Совнарком о внесении этого вопроса в Коллегию Наркомпроса и в Совнарком, о причислении Музея к Отделу Музеев, об ассигновании на нужды Музея до конца года, впредь до предоставления общей сметы, 1 м[и]л[лио]н руб[лей] на ремонт (рамы и электричество) и дрова. Назначил мне персональный оклад в 15 т[ысяч] и дал бумажку в Саратовский Губпродком о выдаче мне усиленного (академического) пайка».

Однако, придя 4 сентября за результатами в Наркомпрос, М. Н. Чернышевский ужаснулся: «...там меня прямо убили, оказывается, что всё, что было сделано 3 недели тому назад и, что я считал окончательно сделанным, всё это осталось лежать до возвращения Луначарского из его поездки на юг. А вернётся он через 2 недели. Кроме того, в Коллегии Наркомпроса решили отнести Музей не к Отделу Музеев, а к Научному Сектору.[...] Теперь придётся всё перекладывать и начинать сначала. А насчёт жалованья послана бумага в Наркомтруд и оттуда никакого ответа» (цит. по: Манова Е. И. «Мечта и задача моей жизни — устроить музей памяти моего отца» (Из дневниковых записей М. Н. Чернышевского 1917–1924 годов) // Пропагандист великого наследия. Саратов, 2002. Вып. 3. С. 40–41).

559 Институт физики и кристаллографии при физико-математическом факультете Московского университета (так до 1927 года официально назывался НИИФ) был основан в 1922 году на базе существовавшего с 1904 года Физического института при Московском университете (ул. Моховая, 11; ныне в этом здание расположен Институт радиотехники и электроники РАН).

Кандидатом в действительные члены НИИФа В. Д. Зёрнов был избран 7 февраля 1923 года.

560 См.: Зёрнов В. Д. Табличный и механический гармонический анализ (Таблицы Ципперера и гармонический анализатор О. Мадера) // Труды МИИТ. 1926. № 2. С. 5–16.

561 Речь идёт о работе В. Д. Зёрнова «Фонограммы гласных человеческой речи» (ИННУ. 1916. Т. VII. Вып. 1. С. 115–126).

562 «Физическое общество имени Лебедева (вначале — Московское физическое общество) было создано в 1911 году (устав зарегистрирован 16 марта 1911 года). Согласно параграфу первому устава, [...] Московское физическое общество имело своей целью: „а) способствовать своими трудами успехам физики; б) оказывать своим членам содействие в их научных занятиях физикой...“. Время создания — всего через два месяца после известного „дела Кассо“ — говорит об идеологической подоплёке деятельности общества: очевидно, — замечает А. В Андреев, — это была попытка вывести университетскую физику из-под опеки государства. Как указывалось в одном из отчетов, [...] общество „было призвано на свет для продолжения той бодрой работы, которая до того времени с успехом протекала на коллоквиумах при физическом институте университета под руководством ... Петра Николаевича Лебедева“. Общество планировало проводить регулярные открытые и закрытые собрания; иметь собственную библиотеку и читальный зал; организовать собрание приборов, музей, лабораторию; издавать на русском или иностранном языке журнал. Также планировалось финансово поддерживать членов общества. Средства предполагалось получать в виде членских взносов,

пожертвований, доходов от издательской и другой деятельности. [...] К концу 20-х годов отношение большинства физиков к Лебедевскому обществу претерпевает существенное изменение. Не позднее 1931 г. деятельность Общества прекратилась» (Андреев А. В. Указ. соч. С. 57, 59).

Первым председателем Московского физического общества являлся П. Н. Лебедев, в 1912–1920 годах — А. А. Эйхенвальд, с 1920 года исполняющим обязанности, а с 4 апреля по 25 декабря 1925 года председателем был избран Г. (Ю.) В. Вульф, в 1925–1931 годах — Н. П. Кастерин.

Членом Совета Московского физического общества имени П. Н. Лебедева Зёрнов был избран 4 апреля 1925 года.

563 Имеются в виду работы В. Д. Зёрнова, выполненные в соавторстве с П. А. Брянцевым: «К вопросу о звукопроводимости строительных материалов» и «Определение теплопроводности некоторых строительных материалов» (Тр. МИИТ. 1929. № 10. С. 265–272, 279–285).

564 Имеется в виду судебный процесс по делу о «Промышленной партии», проходивший с 25 ноября по 7 декабря 1930 года в Москве. Руководителей этой «антисоветской подпольной» организации обвиняли в подготовке и осуществлении в 1925–1930 годах вредительских акции в промышленности и на транспорте СССР.

565 Борис Михайлович Гессен (1893—1936), физик по образованию, занимался также философскими проблемами естествознания, с 1919 года член РКП(б). Директором НИИФа он был назначен в 1930 году. В 1933–1934 годах являлся также первым деканом физического факультета МГУ, а с 1934 года — заместителем директора Физического института АН СССР.

Характеризуя его роль в истории НИИФа, А. В. Андреев пишет: «Многими современниками Б. М. Гессен воспринимался как типичный „красный директор". [...]

Важной особенностью позиции Гессена-администратора (и Гессена-философа) была его публичная поддержка теории относительности и квантовой механики.[...] Известен Гессен также своим вкладом в историю естествознания. Его доклад „Социальные корни механики Ньютон" на лондонском конгрессе по истории естествознания в 1931 году вызвал огромный резонанс среди историков науки и до сих пор рассматривается в качестве классического труда в русле экстерналистского подхода к истории естествознания.

Однако наибольший вклад в советскую физику Б. М. Гессен внёс именно своей деятельностью в качестве „красного директора" НИИФа, обеспечившей возможность „научного директорства" (по выражению Гамова) Л. И. Мандельштама» (Андреев А. В. Указ. соч. С. 68–69).

566 Вероятно, имеются в виду сотрудники НИИФа, входившие в «группу академика Мандельштама», академики АН СССР: Леонид Исаакович Мандельштам (1879—1944), Сергей Иванович Вавилов (1891—1951), Игорь Евгеньевич Тамм (1895—1971) и Григорий Самуилович Ландсберг (1890—1957).

567 Леонид Константинович Рамзин (1887--1948), теплотехник, участник разработки плана ГОЭЛРО, один из организаторов и первый директор (1921–1930 гг.) Всесоюзного теплотехнического института. В 1930 году был осуждён по делу «Промпартии», но вскоре амнистирован. Лауреат Государственной премии СССР (1943).

568 Б. М. Гессена арестовали в августе 1936 года и 20 декабря того же года расстреляли. Подлинные причины его ареста неизвестны. По официальной версии поводом для этого явилось его руководство нелегальным философским кружком при кафедре истории и философии естествознания Московского университета (см.: Андреев А. В. Указ. соч. С. 79–81, 238).

569 Военная академия моторизации и механизации имени И. В. Сталина (ныне — Военная академия бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского), основана в 1932 году в Москве для подготовки командно-штабных и инженерных кадров Российской армии.

570 Путейский институт — так в период с 1913 года по 1924 год назывался Московский институт инженеров транспорта (МИИТ).

571 Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова (МИНХ), основан в 1907 году как Московский коммерческий институт, с 1924 года современное название.

Профессором этого института Зёрнов состоял с 1926 года по 1936 год.

572 Военно-транспортная академия имени Л. И. Кагановича (ныне — Военно-инженерная академия им. В. В. Куйбышева), основана в 1819 году как Николаевская инженерная академия в Петербурге (с 1932 года в Москве).

В должности профессора этой академии Зёрнов находился с 1932 года по 1 марта 1938 года.

573 Военно-политическая академия имени В. И. Ленина, основана в 1919 году в Петрограде (с 1938 года в Москве).

574 Профессором и заведующим кафедрой физики МИИТа В. Д. Зёрнов работал с 1 августа 1924 года по 1 октября 1946 года (по день смерти).

575 Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана (МВТУ; ныне — Московский государственный технический университет) — крупнейший в России научно-исследовательский центр машино- и приборостроения, основан в 1830 году как ремесленное училище; с 1868 года — Императорское Московское техническое училище, с 1917 года — МВТУ.

Должность профессора по кафедре физики МВТУ Зёрнов совмещал с основной научно-педагогической деятельностью в МИИТе с 1 сентября 1938 года по 1 октября 1946 года (по день смерти).

576 Описываемые события произошли в марте 1925 года.

577 Имеется в виду Егор Алексеевич Нюнин, нанятый 16 июля 1929 года сторожем в дубненскую усадьбу Зёрновых с оплатою 20 рублей в месяц. Первое трудовое соглашение с ним В. Д. Зёрнов заключил 21 декабря 1923 года. В нём говорилось:

«Мы, нижеподписавшиеся профессор Владимир Дмитриевич Зёрнов с одной стороны и Егор Алексеевич Нюнин с другой стороны, заключили нижеследующее условие с 1 января 1924 года.

Я, В. Д. Зёрнов, даю Нюнину помещение, отопление и освещение и, кроме того, в месяц: 1 пуд чёрной муки, десять ф[унтов] крупы, ? ф[унта] чаю, 1 ф[унт] сахару, ? ф[унта] табаку, картофель и молока к чаю. Кроме того, уплачиваю Нюнину по 5 р[ублей] червонных ежемесячно.

Я, Е. А. Нюнин, за предоставленное мне довольствие обязан ходить за скотиной, принадлежащей профессору Зёрнову и исполнять мелкую работу по домашнему хозяйству.

До 1-го января 1924 года никаких претензий друг к другу не имеем.

21/XII [19]23 [года]

Проф[ессор] Вл[адимир] Зёрнов

Егор Нюнин» (Коллекция В. А. Соломонова).

578 Летом 1922 года А. С. Чувиков возбудил одновременно два ходатайства: 1) перед Лопасненской земельной комиссией о наделении его землёй в пределах зёрновской усадьбы и 2) перед Народным судом о признании за ним, Чувиковым, права собственности на ряд хозяйственных построек (двор, сенной сарай и погреб) и на избу для рабочего. Испрашиваемое право собственности на часть построек из владений Зёрнова истец получил через постановление Народного суда от 18 декабря 1923 года, основанном на: «а) личном заявлении Чувикова, б) отношении Серпуховского коммунального отдела от 20/XI–23 года с резолюцией завед[ующего] коммунотделом с предложением Лопасненскому волисполкому закрепить дом со всеми надворными постройками за Чувиковым, сдав таковые Чувикову в аренду на 5 лет вместе с участком земли, примыкающим к постройкам» (Коллекция В. А. Соломонова).

579 Как видно из сохранившихся квитанций от 12 марта 1925 года, по «делу об оскорблении Чувикова», В. Д. Зёрновым в общей сложности было уплачено 16 рублей: по квитанции № 6 в уплату штрафа по 172 статье Уголовного кодекса, согласно отношения Народного суда Серпуховского уезда № 528 — 10 рублей и по квитанции № 7 в уплату за вызов свидетелей и потерпевших, согласно исполнительного листа — 6 рублей (Коллекция В. А. Соломонова).

580 У автора — «Музыка».

581 Возможно, речь идёт о профессоре Владимире Александровиче Барыкине (1879—1939) — заслуженном деятеле науки РСФСР, научном руководителе Центрального института Эпидемиологии и микробиологии Наркомздрава СССР. В последствии судьба его сложилась весьма трагично: 22 августа 1938 года учёный был арестован; 14 апреля 1939 года, обвинённый в участии в контрреволюционной организации и шпионаже, приговорён Выездной коллегией Верховного суда СССР к высшей мере наказания — расстрелу. На следующий день, 15 апреля 1939 года, приговор был приведён в исполнение.

582 Описывая жизнь талантливого музыканта в эмиграции, Б. Н. Александровский вспоминал:

«Когда и каким образом он попал за границу, я не знаю, но его блестящая карьера, начавшаяся в Москве в юном возрасте, продолжалась с тем же блеском и за рубежом.

Как пианист Н. А. Орлов пользовался во всех странах мира славой не меньшей, чем Рахманинов. Про него, так же как и про последнего, можно было сказать, что его постоянным местопребывания были железнодорожный вагон, каюта океанского парохода и самолет. Билеты на его концерты во

всех столицах мира, избалованных первоклассными гастролёрами, брались с бою. Этой славе мог бы позавидовать любой прославленный музыкант любой страны» (Александровский Б. Н. Из пережитого в чужих краях. Воспоминания и думы бывшего эмигранта. М., 1969. С. 300–301).

583 Поляковы, крупные российские предприниматели, банкиры, участники железнодорожного строительства, братья: 1) Самуил Соломонович (1837—1888), владелец железных дорог и основатель многих банков; 2) Лазарь Соломонович (1842—1914), основатель в Москве банкирского дома; 3) Яков Соломонович (1832—1909), основатель многих банков.

584 Возможно, речь идёт об известном в будущем оперном исполнителе, обладавшем уникальным «бельканто» — Михаиле Давыдовиче Александровиче (1914—2002).

585 Систематический учёт репертуара и персонального состава участников «музыкальных сред» в Благовещенском переулке В. Д. Зёрнов вёл с 24 сентября 1924 года до 9 марта 1932 года.

586 С 7 октября 1924 года по 15 февраля 1941 года, струнный квартет доктора А. П. Бобкова провёл 400 музыкальных собраний, где было исполнено 1404 произведения, принадлежащих 32 авторам. За 16 лет и 4 месяца в выступлениях квартета приняли участие 51 человек.

587 Известно два его официальных названия: «Московское Симфоническое Общество имени профессора Сараджева при Исполбюро профсекций Московского высшего технического училища» (1927) и «Симфонический оркестр имени проф[ессора] К. С. Сараджева при Исполбюро профсекций Моск[овского] высшего технического училища» (с 1928). В обоих случаях адрес идентичен — Покровский бульвар, 5.

588 Возможно, речь идёт о польском музыканте Викторе Теофиловиче Адамовиче, родившемся в 1922 году в имении Милюнцы Браславского уезда Виленского воеводства (Польша). 16 декабря 1940 года он был арестован, приговорён Выездной коллегией Верховного суда СССР 24 июня 1941 года по обвинению в шпионаже к смертной казни и 12 июля того же года расстрелян.

589 Симфонический оркестр научных работников (ныне Симфонический оркестр имени А. П. Бородина Центрального Дома учёных РАН), был организован Обкомом союза высшей школы и научных учреждений осенью 1934 года. Первый симфонический концерт в его исполнении на сцене Московского Дома учёных АН СССР (ул. Пречистенка, 16) состоялся 19 апреля 1934 года.

Венгерский дирижёр Георг Себастьян, вспоминая о первых самостоятельных шагах этого «необыкновенного оркестра», писал: «Два года назад группа учёных организовала при союзе работников высшей школы маленький оркестр. В нём было всего двадцать человек. В часы досуга почтенные профессора собирались вместе и разучивали симфонические произведения мировых классиков. Чуть ли не с первых дней оркестр поставил перед собой задачу — создать свой собственный „профиль": строить репертуар не на избитых, заигранных вещах, а на лучших, но редко исполняемых произведениях классической и современной музыки. Наряду с симфониями Чайковского, Бородина, Бетховена оркестр разучивал Баха, Генделя, Рамо, Перселя» (Себастьян Г. Необыкновенный оркестр // Вечерняя Москва. 1936. 13 апреля).

590 В 1934–1935 годах симфоническим оркестром научных работников при Московском Доме учёных руководил профессор Московской консерватории В. И. Садовников.

591 Под управлением дирижёра Иоганнеса Срабиана самодеятельный музыкальный коллектив выступал в 1935 году с программой, состоящей из произведений Бородина, Половинкина и Чайковского.

592 Речь идёт о большом симфоническом концерте самодеятельного оркестра научных работников (дирижёр Г. Себастьян), состоявшемся в зале Московского Дома учёных 13 апреля 1936 года.

«В отчётном концерте, — отмечал музыкальный критик, — были впервые исполнены юношеская (так называемая Йенская) симфония Бетховена, рукопись которой открыта в архивах Йенского университета в 1911 г., и симфония для двух флейт и струнного оркестра Фридемана Баха (опубликованная впервые в 1934 г.). [...]

Говоря об исполнении программы, не приходится делать „скидки" на то, что перед нами не профессиональный, а самодеятельный коллектив: оркестр научных работников по своим достоинствам стоит на уровне профессиональных оркестровых коллективов. Кроме того, у этого коллектива есть качество, присущее далеко не всем профессиональным оркестрам — это любовное, необычайно внимательное и серьёзное отношение к своей работе, большое внутреннее горение каждого участника коллектива.

[...] Исполнение всей программы целиком, — подчёркивалось в заключение, — говорит о большой и глубокой работе коллектива, проведённой под руководством дирижёра Георга Себастьяна» (К. С. Концерт симфонического оркестра научных работников // Радио. 1936. 17 апреля).

593 Вот как вспоминал об этом сам Г. Себастьян: «Признаюсь, вначале мне казалось невероятным предъявлять самодеятельному оркестру высокие требования. Передо мною сидели вооружённые знаниями учёные, руки которых изощрены в искусстве владеть микроскопом или хирургическим ножом, но для которых смычок или клапан гобоя — далеко не столь привычные орудия.

Это ощущение очень скоро прошло. После нескольких тактов я совершенно забыл о гранях, отделяющих профессиональный оркестр от самодеятельного коллектива. Эта готовность советских учёных после напряжённого трудового дня просиживать часами на репетициях, это горячее стремление добиваться всё лучших результатов, эта страстная любовь к музыке не могут не трогать и не волновать каждого музыканта. Работу с замечательным коллективом учёных-энтузиастов я считаю одним из самых ярких моментов в моей деятельности в Советском Союзе» (Себастьян Г. Указ. соч.).

594 С 1938 года по 1945 год Георг Себастьян жил и работал в США, с 1946 года — в Париже.

595 Сменовеховство — общественно-политическое течение в среде русской интеллигенции (преимущественно эмигрантской) в 1920-х годах. Название получило от печатного органа «Смена вех» (Париж, 1921—1923). Возникло в связи с введением в СССР Новой экономической политики. Его идеологи предполагали, что через НЭП Советский Союз сможет вернуться на путь буржуазного капиталистического развития, и потому призывали интеллигенцию к объединению с новой советской буржуазией и сотрудничеству с Советами.

596 Ключников Юрий Вениаминович (1886—1938) — окончил гимназию, 4 года учился на философском факультете Берлинского университета, затем на юридическом факультете Московского университета. Член конституционно-демократической партии. В 1913 году, по окончании университета с дипломом I степени, был оставлен для подготовки к профессорскому званию по кафедре международного права. С 1915 года приват-доцент Московского университета, в 1917 году приглашён работать в Народный университет А. Л. Шанявского. Весной 1918 года получил кафедру международного права в Ярославском юридическом лицее. Печатал статьи по вопросам международных отношений и политики в журналах «Накануне», «Юридический вестник», в газетах «Русское Слово», «Утро России».

С 1 ноября 1918 года — товарищ министра иностранных дел Временного Сибирского правительства, с 4 ноября — исполняющий должность товарища министра иностранных дел Временного Всероссийского правительства с возложением на него временного управления Министерством иностранных дел. Указом Верховного правителя А. В. Колчака от 19 ноября 1918 года был назначен управляющим Министерством иностранных дел Российского правительства; от должности уволен согласно личному прошению 28 декабря 1918 года.

В 1919 году эмигрировал во Францию. После окончания гражданской войны — один из идеологов «сменовеховства». В 1922 году по инициативе Ленина был приглашён в качестве эксперта по международному праву в состав советской делегации на Генуэзскую конференцию. В 1923 году возвратился в советскую Россию, занимался научной и педагогической работой. В 1936 году постановлением «Особого совещания» был сослан на три года в Карелию. 5 ноября 1937 года подвергся аресту и 10 января 1938 года приговорён за «шпионско-террористическую деятельность» к расстрелу.

597 В заметке Д. Заславского «Музыкальный ансамбль научных работников», посвящённой этому событию, говорилось:

«Оркестр и хоровая капелла научных работников поставили под управлением своего художественного руководителя В. И. Садовникова ораторию Гайдна „Времена года". Выбор произведения и его исполнение свидетельствуют о высокой художественной культуре ансамбля.

Гениальная оратория Гайдна — это один из наиболее выдающихся шедевров мирового музыкального искусства. Странно, непонятно, что наши профессиональные ансамбли держат это великое произведение под спудом, не знакомят с ним широкую советскую аудиторию. [...]

„Времена года" были исполнены в Большом зале Московской государственной консерватории. Солисты, оркестр и капелла, организованные Московским областным комитетом союза работников высшей школы и научных учреждений, показали художественную зрелость и высокую музыкальную культуру. Публика устроила им восторженную овацию» (Правда. 1939. 25 марта).

598 Исполение оркестром научных работников и хоровой капеллы работников высшей школы и научных учреждений (художественный руководитель и дирижёр В. И. Садовников) симфонической поэмы Ф. Листа «Освобождённый Прометей» в Большом зале Московской консерватории состоялось 13 ноября 1939 года.

«Эта симфоническая поэма, — писал С. Корев, — полностью исполняется в нашей стране впервые. Отдельные отрывки её (хоры) исполнялись в России много десятилетий назад. Между тем, „Освобождённый Прометей" — превосходная, романтически яркая, волнующая поэма, насыщенная глубоким эмоциональным содержанием, светлым, жизнерадостным оптимизмом. Образ Прометея, великого героя-человеколюбца, воссоздан композитором с исключительной силой, с большим монументальным подъёмом и художественной убедительностью. [...] Концерт сопровождался заслуженным успехом» (Корев С. «Освобождённый Прометей». Оркестр научных работников // Вечерняя Москва. 1939. 16 ноября).

599 Возможно, речь идёт о книге М. Л. Львова «Леонид Витальевич Собинов [Очерк жизни и творчества]. 1872--1934» (М.-Л., 1945).

600 Кантата для тенора, баритона, мужского хора и оркестра Н. А. Римского-Корсакова «Песнь о вещем Олеге».

601 Кантату-сказку Роберта Шумана «Странствование Розы» Симфонический оркестр научных работников и Капелла Обкома Союза высших школ и научных учреждений впервые в Москве исполнили 14 мая 1941 года (дирижёр и художественный руководитель профессор В. И. Садовников, концертмейстеры: А. Сенкевич и И. Шкаровская).

602 Имеется в виду торжественный концерт, посвящённый 18-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, проходивший 6 ноября 1935 года на сцене Большого театра.

603 Речь идёт о Московском машиностроительном институте, до 1937 года носившем имя наркома просвещения РСФСР А. С. Бубнова. Манипуляции с зачёркиванием его имени на официальных бланках института, о чём пишет мемуарист, вызваны были арестом наркома 17 октября 1937 года, завершившимся вынесением ему 1 августа 1938 года смертного приговора.

604 У автора — «Наши летние поездки. Бат-Лиман».

605 Правом бесплатного проезда по железным дорогам (в частности, по Рязано-Уральской железной дороге) В. Д. Зёрнов пользовался и раньше, о чём свидетельствуют специальные удостоверения личности, выданные ему Управлением дороги 7 октября 1920 года и 1 июня 1922 года.

606 Имеется в виду Николай Николаевич Врангель (1880—1915), историк, искусствовед, участник первой мировой войны.

607 Речь идёт о 13-м издании трёхтомного труда Д. Н. Зёрнова «Руководство описательной анатомии человека» (М., 1890–1892), вышедшем в издательстве Сабашниковых в 1924–1926 годах.

608 Монументальный исторический памятник, увековечивший героизм защитников Севастополя во время Крымской войны 1853–1856 годов, работы известного русского художника-баталиста, академика Петербургской Академии художеств Франца Алексеевича Рубо (1856—1928). Над огромным живописным полотном (длина 115 м и высота 14 м) художник работал с 1901 года по 1904 год в специально оборудованном круглом павильоне в Мюнхене, там же готовился и предметный (натурный) план общей площадью около тысячи квадратных метров. Для всеобщего обозрения панорама была открыта 27 мая 1905 года.

609 Ян Стыка (1858--?), польский живописец-монументалист; учился в Венской академии художеств, в Риме и у Яна Матейки (1838—1893) в Кракове; автор ряда картин на библейские сюжеты, серии палестинских этюдов и иллюстраций к «Quo vadis» Генрика Сенкевича (1846—1916), а также популярных художественных панорам.

Выставка-панорама Я. Стыки «Голгофа» на Цветном бульваре в Москве открылась 12 ноября 1900 года, вызвав жаркую полемику в печати, упрекавшей автора в профанации религиозного сюжета (см.: Московские ведомости. 1900. 18 декабря). В 1911–1913 годах панорама «Голгофа» демонстрировалась также и в Саратове в специально построенном для этого круглом здании на Митрофановской площади (на месте нынешнего сквера на пересечении улицы Вавилова и Мирного переулка). В 1912 году здесь же была развёрнута новая картина-панорама Я. Стыки «Мучения христиан в цирке Нерона», фрагменты которой сохранились в репродукциях на старых открытках (см.: Максимов Е. К., Сафронов Ю. А. Старый Саратов на фотографиях и открытках. Саратов, 2004. С. 214–215).

610 Делясь полученными от посещения панорамы «Голгофа» впечатлениями, корреспондент «Саратовского листка» писал: «В здании тихо. Царит полумрак. Входите на круглую площадку, устроенную в центре панорамы на возвышении, и перед вами открываются Палестинские дали, синеющие горы, песчаные холмы, сливающиеся на горизонте с голубым небом. Перед вами — Иерусалим и его окрестности, толпы народа, Голгофа с тремя крестами. [...]

Вид Иерусалима и его окрестностей срисован с купола храма Гроба Господня. Художник перенёс на полотно всю открывающуюся перед ним панораму. Это полотно, длиною в 146 аршин, натянуто на стенки круглого здания сплошной лентой. [...] Художник достиг больших результатов: в картине много света, воздуха.

Нижний край полотна переходит в рельефные изображения предметов, в декорации, в «натуру». Грань, отделяющую картину от „натуры", нельзя уловить сколько бы вы нн напрягали зрения. [...] Во всей картине много движения, жизни. Она погружена в полумрак, ибо изображает момент конца затмения, бывшего „от шестого часа до часа девятого"» (Саратовский листок. 1911. 3 мая).

611 См.: коммент. 415.

612 Нестор Аполлонович Лакоба (1893—1936), советский государственный и политический деятель; в 1922—1936 годах председатель Совнаркома, с 1930 года председатель ЦИК Абхазской ССР.

613 Речь идёт о VI Всесоюзном (передвижном) съезде физиков. Первое его заседание состоялось в Нижнем Новгороде, второе — в Казани, третье — в Саратове. В работе съезда участвовали известные немецкие физики Петер Йозеф Вильгельм Дебай (1884—1966) и Макс Борн (1882—1970), английский физик Поль Андриен Морис Дирак (1902—1984), советские физики академики С. И. Вавилов, А. Ф. Иоффе и другие.

614 Об этом В. Д. Зёрнов узнал из письма сына, который 12 августа 1928 года писал ему из Казани: «В общем, здорово. Сейчас приехал с банкета. Везли на легковых автомобилях с шиком через всю Казань. Вчера полпарохода отравили мороженым, в том числе и меня. Бедный prof. Schell бегал в уборную ede fünf minuten [каждые пять минут (нем.) — В. С.], но на банкете всё же присутствовал» (Коллекция В. А. Соломонова).

615 В Саратове 15 августа 1928 года состоялось третье, заключительное заседание VI Всесоюзного съезда физиков.

616 Коктебель — до 1944 года название посёлка Планёрское в Крыму.

617 Южная часть горы Кок-Кая (береговой хребет Карадага), обращённая к морю, при взгляде из Коктебеля очертаниями действительно напоминает профиль Волошина.

618 Дом Максимилиана Александровича Волошина в Коктебеле (ныне — Дом-музей М. А. Волошина) построен в 1903 году. С 1910 года являлся местом отдыха многих деятелей русской культуры. В 1923 году был взят под охрану Советской властью.

619 Дружбу с М. А. Волошиным В. Д. Зёрнов не прервал и после своего отъезда из Коктебеля, о чём свидетельствуют письма художника и подаренные им миниатюрные акварели.

1 декабря 1928 года на обратной стороне собственной акварели размером с почтовую открытку, М. А. Волошин писал: «Дорогой Владимир Дмитриевич, простите, что я так долго не исполнял Вашей просьбы об автографе для С. Н. Блажко: меня задержала фотография, которую я хотел приложить. Посылаю Вам и то и другое. Эта осень была тревожнее, т. к. местные власти собрались меня выселять из Коктебеля и реквизировать моё имущество. Но это всё удалось ликвидировать вмешательством из Москвы. Спасибо ещё раз за Гельмгольца и Хвольсона. Пишу Вам на акварели, чтобы рассказать об ноябрьском Коктебеле. Максимилиан Волошин».

Таким же оригинальным способом 10 января 1929 года он делился с семьёй Зёрновых своим новогодним настроением: «С Новым годом, дорогой Владимир Дмитриевич. Шлю Вам привет от зимнего Коктебеля. Спасибо за письмо и за прекрасную книгу Хвольсона и ещё раз спасибо за первую книгу Хвольс[она] и за Вашего Гельмгольца. Они мне дали много радости. Я, к сожалению, так [неразборчиво] познакомился с Вашей женой и с Вашими дочерями, что не знаю даже их имён. Но позволяю себе послать им к Нов[ому] году несколько акварельных напоминаний о Коктебеле. Максимилиан Волошин» (Альбом с акварелями и письмами М. А. Волошина хранится в Москве в семейном архиве внучатой племянницы Е. В. Зёрновой — Елены Вениаминовны Власовой (1931—2000) у её дочери А. А. Хвалебновой).

620 Максимилиан Александрович Волошин (настоящая фамилия Кириенко-Волошин) родился 16 (28) мая 1877 года в Киеве. После смерти в 1881 году отца он с матерью, Еленой Оттобальдов-

ной, жил в Москве. В 1887–1893 годах обучался в московских гимназиях, а в 1897 году окончил гимназию в Феодосии. В 1897–1900 годах (с небольшим перерывом) учился на юридическом факультете Московского университета, откуда был исключён за участие в первой Всероссийской студенческой забастовке и выслан в Среднюю Азию.

621 Речь идёт о поэме М. А. Волошина «Святой Серафим» (1919–1929).

622 Халдеи — племена, жившие в I тысячелетии до нашей эры между Тигром и Ефратом.
Речь в данном случае идёт о поэме М. А. Волошина «Космос» (1923). Тему этого поэтического произведения в письме к Ю. Л. Оболенской от 25 декабря 1923 года сам поэт определял как эволюцию «космогоний от Каббалы до теории относительности и совр[еменной] физики» (цит. по: Волошин М. А. «Средоточье всех путей...». М., 1989. С. 561).

623 Имеется в виду стихотворение М. А. Волошина «Он был из тех, в ком правда малых истин...» (1925).

624 Витольд Карлович Цераский умер 29 мая 1925 года.

625 В 1924 году после долгого перерыва М. А. Волошин приехал в Москву. На этот раз ему довелось читать свои стихи в Кремле, на квартире Л. Б. Каменева, в присутствии А. С. Енукидзе, Ф. Ф. Раскольникова, возможно, и А. В. Луначарского. Впрочем, самому поэту особого удовольствия это не доставило (см.: Купченко В., Давыдов З. Максимилиан Волошин в Москве // Волошин М. А. «Средоточье всех путей...». М., 1989. С. 527–528).

626 Летом 1928 года Марии Адриановне Дейша-Сионицкой было 68 лет (родилась 22 октября 1859 года).

627 Максимилиан Александрович Волошин умер 11 августа 1932 года в Коктебеле, где и был похоронен, но только не на Карадаге, как ошибочно утверждает мемуарист, а в трёх километрах от дома на холме Кучук-Енишар (167 метров над уровнем моря).

628 Мария Адриановна Дейша-Сионицкая умерла 25 августа 1932 года, практически в одно и то же время с Волошиным.

629 Поэма А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1821–1823).

630 По-видимому, речь идёт об издании: Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания / Под общ. ред. А. В. Луначарского. Вст. статья и комментарии И. Я. Свистунова. [М.]: Academia, 1931.

631 Коккозы — дворец князей Юсуповых на южной окраине села Соколиное (бывшее Коккозы), построенный в 1910 г. архитектором Н. П. Красновым, создателем Ливадийского дворца для императорской семьи.
«В левой стене у главного входа в здание устроен оригинальный пристенный фонтан Голубой глаз в виде неглубокой стрельчатой ниши, облицованной майоликовыми плитками зеленоватого цвета разных оттенков, как бы имитирующих татарский коврик — плахту. Верхняя часть арки украшена пышно орнаментированной прямоугольной каймой голубых тонов. В центре „плахты" помещено керамическое изображение стилизованного голубого глаза, из слезницы которого стекает в приёмный бассейн струйка кристально чистой родниковой воды, подведённой сюда из горного источника и пользующейся славой целебной. Способ архитектурной обработки фонтана — дань автора модерну, стилевой моде того времени (начало XIX в.), а сама идея Голубого глаза связана с легендарным происхождением названия села: Коккоз в переводе с татарского — голубой глаз» (Крикун Е. В. Памятники крымскотатарской архитектуры (XIII–XX вв.). Симферополь, 1998. С. 90–91).
В предвоенные годы дворцовые строения попеременно занимали: школа, сельсовет, клуб и музей, а после войны — турбаза и школа-интернат. В годы немецко-фашистской оккупации Крыма (1941–1944 гг.) на территории бывшего Юсуповского дворца базировалась контрразведывательная немецкая часть с офицерским казино.

632 Неполное название оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1904).
Китеж — город русских народных преданий, скрывшийся под землёй во время нашествия Батыя. На его месте образовалось озеро Светлояр, и только избранные могут слышать иногда звон его церквей.

633 В обращении к Председателю ВЦИК М. И. Калинину 20 ноября 1925 года, Зёрнов писал: «В начале революции, в 1918 году, при выселении владельцев мне было разрешено Серпуховским У[ездным] З[емельным] О[тделом] пользоваться домом, а в 1921 году У.З.О. постановил возвратить в моё постоянное пользование и участок земли, признав хозяйство трудовым. Ходатайство моё о возвращении принадлежавшей мне дачи в постоянное пользование, между прочим, поддерживали Народный Комиссар Здравоохранения Николай Александрович Семашко и академик Пётр Петрович Лазарев.

В настоящее время губернская междуведомственная комиссия по применению декрета о выселении помещиков постановила выселить меня из предоставленного мне дома на основании пункта первого декрета — т. е. как бывшего дворянина-помещика. Считая это постановление результатом недоразумения, я прошу пересмотреть дело...» (Коллекция В. А. Соломонова).

После многочисленных жалоб и судебных разбирательств дом и участок в селе Дубна все же оставили за Зёрновыми. Позже, в 1947 году, вдовой учёного дом был продан школе № 337 Мосгороно для детей с расстройством слуха и речи.

634 У автора — «1930 год. Съезд физиков в Одессе и морская прогулка на «Грузии»».

635 Первый Всесоюзный физический съезд в Одессе проходил с 19 по 24 августа 1930 года.

636 С докладом «Флюктуации плотности гелия» на I Всесоюзном физическом съезде в Одессе выступил Георгий Вениаминович Спивак (1900–1989).

637 Николай Александрович Шилов умер 17 августа 1930 года.

638 Правильнее: «...бывшего промышленно-технологического факультета Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова (МИНХ)».

639 Неполное название Единого Московского химико-технологического института (Бригадирский пер., 13).

640 На первый курс промышленно-технологического факультета МИНХа Татьяна Владимировна Зёрнова поступила в сентябре 1928 года.

641 Военно-химическая академия РККА была основана в 1932 году на базе Единого Московского химико-технологического института (ныне — Военная академия химической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко).

642 Имеется в виду Дом культуры гуманитарных факультетов МГУ, в 1919—1995 годах размещавшийся в здании бывшей университетской церкви Святой Татианы.

643 Речь идёт о «Новороссийской республике», просуществовавшей с 11 по 24 декабря 1905 года. 26 декабря Новороссийск и Новороссийский округ Черноморской губернии были объявлены на военном положении.

644 Иначе о роли и месте в революционном движении А. Я. Гречкина повествуется в воспоминаниях непосредственного участника этих событий — С. А. Бодянского.

«Вместо исчезнувшей полиции, — писал он, — была организована народная милиция, созданию которой много содействовал Гречкин. В прошлом помещик, он из-за болезни жены переехал в Геленджик, где купил дачку и занялся хозяйством. Начавшаяся революция захватила его. Явившись в Новороссийск, он принял горячее участие в борьбе рабочих. Вскоре он приобрёл большой авторитет, так как своими толковыми указаниями и решительными действиями много способствовал установлению революционного порядка.

Ходил он с необычайно воинственным видом и был весь обвешан револьверами. Вероятно, поэтому шпики произвели его в должность „революционного полицмейстера". Такое обвинение и было ему впоследствии предъявлено на суде по делу о Новороссийской республике.

Когда революция в Новороссийске была подавлена, Гречкин, желая избежать ареста, уехал в Сочи. Но здесь в то время развернулось сочинское восстание, и он, забыв о своём намерении скрыться, принял и в нём самое активное участие. Здесь он и был арестован и приговорён военным судом к десяти годам каторги. На суд по делу о Новороссийской республике он был доставлен уже в кандалах» (Бодянский С. А. Новороссийская республика (Воспоминания участника событий) // Прометей. Ист.-биогр. альм. сер. «ЖЗЛ». Т. 7. М., 1969. С. 276).

645 А. Я. Гречкин — инженер московской трудовой артели бывшего Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев «Технохимик» был арестован 28 февраля 1938 г. по делу «о контрреволюционной эсеровской террористической организации». Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 27 июля 1938 г. приговорен к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере (См.: Должанская Л. Репрессии 1937–1938 гг. в московских артелях ОПК // Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев: образование, развитие, ликвидация. 1921–1935. Бывшие члены общества во время Большого террора: Материалы международной научной конференции (26–28 октября 2001 г.). М., 2004. С. 306). Дальнейшая его судьба не известна.

646 В выданном профкомом МГУ 27 июня 1936 года руководителю студенческого оркестра удостоверении, говорилось: «Предъявитель сего т[оварищ] ИВАНОВ Георгий Тимофеевич является художественным руководителем оркестра, командированного Профкомом МГУ в санаторий «Геленджик»

для культурного обслуживания отдыхающих и пользуется всеми преимуществами отдыхающих» (Коллекция В. А. Соломонова).

647 «...1918–1919 учебный год, — отмечалось в докладе Саратовского губернского отдела народного образования, — проходит под знаком реконструкции школьной системы.

После издания „Положения о единой трудовой школе“ начинается кардинальная ломка старой школы и в Саратовской губернии. [...]

Одновременно проводятся в жизнь и другие принципы единой трудовой школы. Осуществляется принцип совместного обучения; все специально мужские и женские учебные заведения ликвидируются, учащиеся перемещаются с таким расчётом, что в каждую школу попадает приблизительно равное количество мальчиков и девочек. Создаётся школьное самоуправление, вводятся обязательные трудовые процессы. Всё это проводится революционным путем, порой с откровенным принуждением.

Чёткого понимания и признавания указанных мероприятий не наблюдалось ни среди учительства, ни тем более учащихся и населения...» (Культурное строительство в Саратовском Поволжье: Документы и материалы. Ч. 1. 1917–1928 гг. Саратов, 1985. С. 51).

648 В 1923–1934 годах во Всесоюзном электротехническом институте В. И. Романов возглавлял сначала вакуумно-технический отдел, затем лабораторию низких температур и инертных газов.

649 Ошибка: правильно — промышленно-технологический факультет.

650 Единый Московский химико-технологический институт.

651 Имеется в виду Физико-химический институт имени Л. Я. Карпова, организованный в 1918 году как Центральная химическая лаборатория ВСНХ (с 1931 года — институт).

652 Ныне — Московский педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза, создан в 1930 году.

653 Советское информационное бюро (Совинформбюро), организовано специальным постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР 24 июня 1941 года.

Работать в Совинформбюро Т. В. Талиева начала с 28 июня 1941 года. В своём письме к матери, написанном накануне этого события, она сообщала: «Дорогая мусёночка! Я вроде как наполовину на работе, но ещё не пойму на каком положении. Во всяком случае завтра я буду там работать на переводе телеграмм неск[олько] часов. Придти сказали к 1 ч[асу]. Когда отпустят, не знаю.

У нас в институте часть народа отобрали в кружки воен[ного] перевода (обучаться будут, как видно, не долго, а потом куда-ниб[удь] поедут), а остальных — на постройку метро, грузить гравий. Это в основном касается комсомольцев, но отчасти и беспартийных. [...] Об дипломах ничего пока не слышно, да я решила пока и не справляться, для меня сейчас главное устроить[ся] с работой.

Вчера вызывали меня вечером. Там было ещё неск[олько] человек — из них 2-е из нашего института. Речь шла о радиоприёме. 2 наших девочки и 1 мальчик из ИФЛИ [Институт философии, литературы и истории в Москве (1931–1941). — В. С.] сразу согласились, а одна дама (она переводит с 3-х языков и уже работает переводчиком) попросилась на перевод — и я с ней. Этот зав[едующий] отделом сказал, что и это можно, и там люди нужны, но при этом заметил, что такого уж разного разграничения тут не будет, что вообще позднее и постепенно придётся заняться и радиоприёмом.

Я думаю, это и хорошо. Мне главное, чтобы сразу работа не была уж слишком напряжённой. Лучше привыкать понемногу, а вообще эта работа интересная. И эта дама ничего. К тому же я рада быть в компании постарше и не такой уж многочисленной» (Коллекция В. А. Соломонова).

654 Имеется в виду 32-я школа и химические спецкурсы Красно-Пресненского района города Москвы (ул. Садовая Самотечная, 8).

655 Симфонический оркестр под управлением М. П. Даева при 32 школе и химических спецкурсах Красно-Пресненского района г. Москвы создан был в 1923 году.

656 Зимой 1938 года Т. В. Зёрнова сочеталась браком с инженером по отопительным и вентиляционным системам Валерьяном Николаевичем Талиевым (1910—2002).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН

Б

И

К

Л

М

Н

Р

С

Ц

Щ

Э

Ю

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Архив СГМУ — Архив Саратовского государственного медицинского университета.
Архив СГУ — Архив Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
БСЭ — Большая советская энциклопедия.
БЭ — Балет: Энциклопедия.
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации.
ГАСО — Государственный архив Саратовской области.
ЖРФХО — Журнал Русского физико-химического общества.
Изв. АзГУ — Известия Азербайджанского государственного университета.
Изв. вузов «ПНД» — Известия вузов «Прикладная нелинейная динамика».
Изв. ИОЛЕАЭ — Известия Императорского Общества любителей естествознания, археологии и этнографии при Императорском Московском университете.
ИИНУ — Известия Императорского Николаевского Университета.
Прометей — Прометей: Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей».
ИСУ — Известия Саратовского университета. Новая серия.
КБ НБ СГУ — Кабинет библиотековедения Научной библиотеки имени В. А. Артисевич Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
Коллекция В. А. Соломонова — Коллекция документов по истории Саратовского университета В. А. Соломонова (Саратов).
НХА — Новый хирургический архив.
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ПБЭС — Полный православный богословский энциклопедический словарь.
ПДР — Политические деятели России. 1917. Биографический словарь.
РАН — Российская Академия наук.
РБС — Русский биографический словарь.
РГИА — Российский государственный исторический архив.
РНЭ — Российские немцы: энциклопедия.
СГУ — Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского.
СОМК — Саратовский областной музей краеведения.
СПбО ААН — Санкт-Петербургское отделение Архива Российской Академии наук.
СПб ИИ РАН — Санкт-Петербургский Институт истории Российской Академии наук.
Тр. ИИЕТ — Труды Института истории естествознания и техники.
Тр. МИИТ — Труды Московского института инженеров железнодорожного транспорта.
Тр. МФОИЛ — Труды Московского физического общества имени П. Н. Лебедева.
Тр. ОЛЕ — Труды Отделения физических наук Общества любителей естествознания.
Учён. зап. Казан. ун-та — Учёные записки Казанского университета.
Учён. зап. МГУ. Юбил. сер. — Учёные записки Московского государственного университета. Юбилейная серия.
ЭСК — Энциклопедия Саратовского края (в очерках, фактах, событиях, лицах).



Профессор чистой математики Московского университета Николай Ефимович Зёрнов. Фото конца 1850-х—начала 1860-х годов.

Заслуженный профессор Московского университета Дмитрий Николаевич Зёрнов. Фото 1883 года.

Егор Петрович Машковцев —
отец М. Е. Зёрновой.





Мария Егоровна,
урождённая Машковцева.
Москва. 1890-е годы.



Егор Егорович Машковцев
— брат М. Е. Зёрновой.
Варна. 22 декабря 1878 года.



Александра Васильевна,
урождённая Аршаулова —
мать М. Е. Зёрновой.



Николай Егорович Машковцев —
двоюродный брат В. Д. Зёрнова.
Москва. 1900-е годы.



Жилой флигель в имении Зёрновых на хуторе Еникеева Поляна Инсарского уезда Пензенской губернии. Фото конца XIX — начала XX веков.

Жилой дом в имении Е. П. Машковцева—Талице. Фото 1894 года.



Дом в городе Вятке на улице Московской, в котором родилась М. Е. Зёрнова. Фото 1894 года.

Освящение воды в пруду в дубненской усадьбе Зёрновых. Фото начала 1900-х годов.



Володя и Митя Зёрновы.
Москва. 1881 год.

Володя Зёрнов.
Москва. 1881 год.



Братья Володя, Слава и Митя Зёрновы.
Москва. 1884 год.





Наташа Зёрнова.
Москва. 1882 год.



Наташа и Митя Зёрновы.
Москва. 1882 год.



Володя Зёрнов.
Москва. 17 октября 1886 года.



Митя, Наташа и Володя Зёрновы.
Москва. 1881 год.



Володя Зёрнов.
Москва. 10 марта 1888 года.

Володя Зёрнов — ученик 5-й московской гимназии. Фото 1892 года.



Семья Зёрновых во дворе деканского дома на Девичьем поле. Москва. 1885 год.

Юра Померанцев.
Москва. 1890-е годы.



Саша Рахманов. Фото 1890-х годов с дарственной надписью на обороте: «Первому и лучшему другу Володе, чтобы он не забывал об Ал. Рахманове».

Саша Кезельман. Фото 1890-х годов с дарственной надписью: «Дорогому другу и старинному товарищу Володе от Ал. Кезельмана».

Миша Полозов. Фото 1890-х годов с дарственной надписью: «Дорогому Володе на добрую память об любящем его М. Полозове».

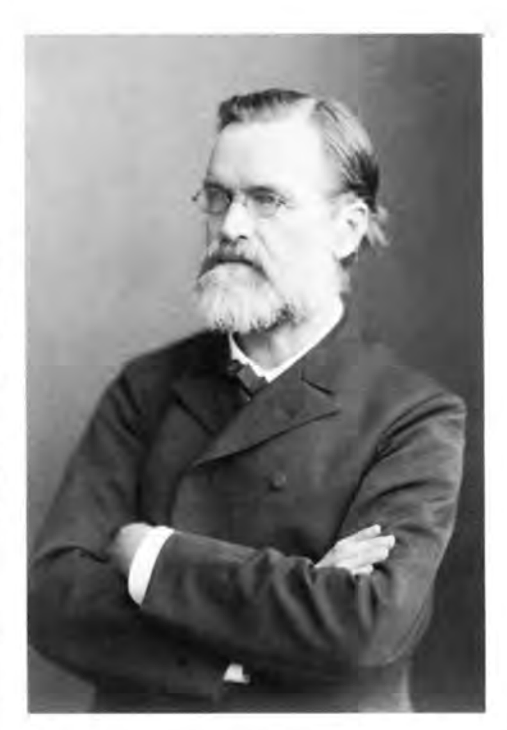


Коля Недёшев. Фото 1890-х годов с дарственной надписью на обороте: «Человеку, который живёт одним годом раньше меня. Н. Недёшев».

Лёня Прозоров.
Фото 1890-х годов.



Гимназист Володя Зёрнов
с матерью Марией Егоровной.
Москва. 1891 год.



Концертмейстер оркестра Большого театра Карл Антонович Кламрот. На обороте снимка дарственная надпись на немецком языке: «Своему любимому маленькому ученику Вольдемару Зёрнову на память от Карла Кламрота. Москва. 2 апреля 1890 г.».



Сергей Антонович Макаров с женой Натальей Дмитриевной, урождённой Зёрновой, и детьми Андреем и Верой. Фото 1910-х годов.

Струнный квартет. Москва. 1908 год. Первый слева: Владимир Дмитриевич Зёрнов.



В. Д. Зёрнов — студент физико-математического факультета Московского университета. Фото 1898 года.

Студент медицинского факультета Московского университета А. В. Рахманов. Фото 1898 года с дарственной надписью на обороте: «Дорогому старинному другу Володе от искренно любящего его А. Рахманова».



Михаил Александрович Полозов.
Фото начала 1900-х годов.

Владимир Дмитриевич Зёрнов.
Москва. Ноябрь 1900 года.

На пароходе «Цесаревич», принадлежащем обществу «Кавказ и Меркурий», во время путешествия по Волге. За столом сидят: курский присяжный поверенный Л. А. Розен с сыном; за ними, слева направо: Ю. Померанцев, Н. Недёшев, В. Зёрнов и Л. Прозоров. Фото 1898 года.



В. Д. Зёрнов и студент юридического факультета Московского университета Ю. Н. Померанцев. Фото 1897 года.

Ю. Померанцев (вверху), Л. Прозоров, В. Зёрнов и присяжный поверенный Н. В. Павлов в окружении местных жителей возле церкви «Цминда и Самеба» на Кавказе. Фото 1898 года.





Профессор Московского университета Пётр Николаевич Лебедев. Фото начала 1900-х годов.

Heidelberg
4. VII. 06.

Письмо П. Н. Лебедева В. Д. Зёрнову из Гейдельберга от 4 июля 1906 года.

Über absolute Messungen der Schallintensität;
von W. Zernov.

(Erste Mitteilung.)

Für die absolute Messung der Schallintensität wurden bisher folgende vier Methoden vorgeschlagen:

1. *Die Rayleighsche Scheibe*[1], welche die lebendige Kraft der Schallschwingungen der Luft direkt zu messen gestattet, die Theorie der Methode wurde von W. König[2] gegeben.

2. *Druckkräfte der Schallwellen*, deren Theorie von Lord Rayleigh[3] entwickelt wurde, und welche für absolute Messungen von Altberg[4] verwendet wurden, erlauben aus dem Überdruck an einer reflektierenden Wand die lebendige Kraft der auffallenden Schallwelle zu bestimmen.

3. *Die refraktometrische Methode* von Toepler und Boltzmann[5] gibt die Möglichkeit, die Amplitude der periodischen Dichtigkeitsänderungen der Luft in einem Schwingungsknoten zu messen; die Methode wurde von Raps[6] verfeinert.

4. *Das Wiensche Vibrationsmanometer*[7] mißt die Amplitude der periodischen Schwankungen des Luftdruckes, welche die Schallwellen an einer reflektierenden Wand hervorrufen; die Methode wurde, etwas modifiziert, von Webster[8] angewendet.

Die beiden ersten Methoden ermöglichen die absolute Messung der Schallintensität unabhängig von der Schwingungsform der zu messenden Schallwelle, während die beiden letzten Methoden ohne weiteres sich nur auf einfache Sinusschwingungen anwenden lassen.

1) Lord Rayleigh, Phil. Mag. 14. p. 186. 1882; Scientific. Papers 2. p. 132. 1
2) W. König, Wied. Ann. 43. p. 43. 1891.
3) Lord Rayleigh, Phil. Mag. (6) 10. p. 364. 1905.
4) W. Altberg, Ann. d. Phys. 11. p. 405. 1903.
5) A. Toepler u. L. Boltzmann, Pogg. Ann. 141. p. 321. 1870.
6) A. Raps, Wied. Ann. 50. p. 193. 1893.
7) M. Wien, Wied. Ann. 36. p. 835. 1889.
8) A. G. Webster, Phys. Rev. 16. p. 248. 1903.

Herrn Prof. Dr. Peter Lebedew,
Bad Nauheim
Carltonhotel.

Гранки первой научной работы В. Д. Зёрнова, опубликованной в 1906 году на немецком языке в журнале «Annalen der Phusik» с дарственной надписью-напутствием от П. Н. Лебедева.

Первая страница рукописи В. Д. Зёрнова «Диск Релея» на немецком языке (1908 г.).

Die Correcturen bitte ich zu senden.
Herrn Prof. Dr P. Lebedew.
Russland. Moskau
Universität. Physicalisches Institut

1

Ueber absolute Messungen der Schallintensität.
(Zweite Mitteilung.)
Die Rayleigh'sche Scheibe.
von W. Zernov.

Lord Rayleigh 1) hat eine Methode angegeben die Intensität der Schallschwingungen durch die drehenden Kräfte zu messen, mit welchen diese Schwingungen eine kreisrunde Scheibe ihrer Wellenebene parallel zu stellen suchen, relative Schallintensitätsmessungen mit der Rayleigh'schen Scheibe wurden von Grimsehl 2) und von Lebedew 3) ausgeführt.

1) Lord Rayleigh Philos. Mag. (5) 14. p. 186. 1882. Scientif. Papers 2. p. 132.
2) E. Grimsehl Wied. Ann. 34. p. 1028. 1888.
3) P. Lebedew Wied. Ann. 62. p. 163. 1897.

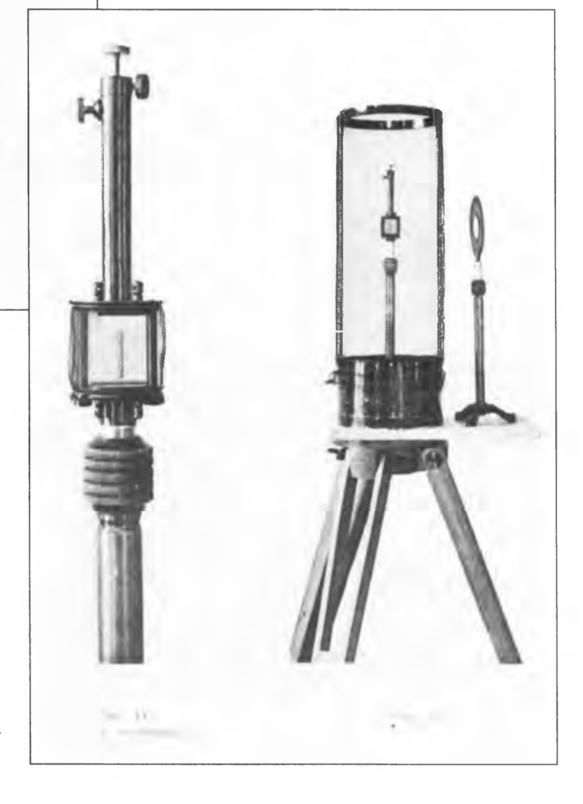
АБСОЛЮТНОЕ
ИЗМѢРЕНІЕ
СИЛЫ ЗВУКА.

Экспериментальное изслѣдованіе
Владиміра Зернова.

МОСКВА.
Типографія Г. Лисснера и Д. Собко.
1909.



Титульный лист магистерской диссертации В. Д. Зёрнова.



Портативный фонометр Лебедева—Зёрнова (общий вид).



ПОДЪ ВЫСОЧАЙШИМЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ

ВСЕПРЕСВѢТЛѢЙШАГО, ДЕРЖАВНѢЙШАГО

ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА,

ИМПЕРАТОРА И САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО

и проч., и проч., и проч.

ИМПЕРАТОРСКІЙ Московскій Университетъ симъ свидѣтельствуетъ, что окончившій курсъ съ дипломомъ первой степени Владиміръ Зерновъ, по надлежащемъ испытаніи въ Физико-Математическомъ Факультетѣ сего Университета и послѣ публичнаго защищенія написанной имъ диссертаціи, подъ заглавіемъ: „Абсолютное измѣреніе силы звука“, опредѣленіемъ Университетскаго Совѣта, 25 Апрѣля 1909 года состоявшимся, утвержденъ въ степени Магистра физики. Данъ въ Москвѣ. Декабря 20 дня 1911 года.

Ректоръ Университета М. Любавский

Деканъ Физико-Математическаго Факультета [подпись]

Секретарь Совѣта [подпись]

№ 4544

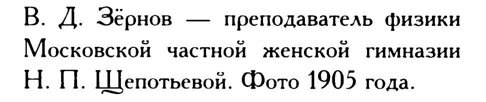
У сего диплома ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Университета печать.

Магистерский диплом В. Д. Зёрнова.

Экскурсия в Новый Иерусалим. Фото 1906 года.







В. Д. Зёрнов — преподаватель физики Московской частной женской гимназии Н. П. Щепотьевой. Фото 1905 года.

Начальница Московской частной женской гимназии Надежда Петровна Щепотьева. Фото 1900-х годов.



Василий Иванович Эсмарх — преподаватель физики Московской частной женской гимназии Н. П. Щепотьевой. Фото 1905 года с дарственной надписью на обороте: «Екатерине Васильевне, в воспоминание о добрых наших отношениях за годы моего преподавания в Вашем классе. От души желаю, чтобы судьба, благоприятствуя Вашим природным задаткам, дала бы Вам возможность приобрести столь редкое в наши дни всестороннее, гармоничное образование; и чтобы жизнь с её требованиями и нуждами никогда не нарушила бы светлой ясности Вашей природы. В. Эсмарх. 1905 г.».

Преподаватели и воспитанницы Московской частной женской гимназии Н. П. Щепотьевой. Сидят: вторая слева — преподаватель французского языка М. У. Шмелёва, следом за ней — Е. В. Власова; стоят: второй слева — В. Д. Зёрнов, следом за ним — В. И. Вишняков и В. И. Эсмарх (крайний справа). Фото 1905 года.

Константин Степанович Кузьминский — преподаватель русской литературы Московской частной женской гимназии Н. П. Щепотьевой. Фото 1905 года с дарственной надписью на обороте: «Дорогому, милому Владимиру Дмитриевичу Зёрнову от К. Кузьминского. 25/XII 1905 г.».



Екатерина Васильевна Власова — ученица Московской частной женской гимназии Н. П. Щепотьевой. Фото 1903 года.

Евгений Иванович Вишняков — преподаватель истории Московской частной женской гимназии Н. П. Щепотьевой. Фото 1904 года с дарственной надписью на обороте: «Екатерине Васильевне Власовой в знак уважения и на память о Ев. Вишнякове. 1904 г.».

Его Превосходительству

Господину председателю педагогическаго совета частной женской гимназии Г-жи Щепотьевой окончившаго курс физико-математическаго факультета математическаго отделения, с дипломом I степени Владимира Дмитриевича Зернова

Прошение.

Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство ходатайствовать перед попечителем учебнаго округа о назначении меня преподавателем физики в частную женскую гимназию Г-жи Щепотьевой.

20 Авг. 1902 г.

Окончивший курс физ. ...

Имп. Моск. Унив. ...

Документы находятся в ... совета Имп. Моск. Унив. при оставлении меня при Университете ... кафедре физики.

Прошение В. Д. Зёрнова о назначении его преподавателем физики в Московскую частную женскую гимназию Н. П. Щепотьевой от 20 августа 1902 года.



См. надпись о ... на 3-й странице

СВИДѢТЕЛЬСТВО

Предъявительница сего, ученица VIII дополнительнаго класса Московской женской гимназии *Н. П. Щепотьевой*, Власова Екатерина, какъ видно изъ документовъ, дочь Егорьевскаго купца(?), православнаго вѣроисповѣданія, родившаяся 25 декабря 1884 года, по окончаніи общаго курса наукъ въ названной женской гимназіи, поступила въ VIII дополнительный классъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1904 года для спеціальнаго изученія русскаго языка и исторіи и, находясь въ ономъ по маѣ 1905 года, при *отличномъ* поведеніи, всѣ практическія учебныя занятія, установленныя для учениць VIII дополнительнаго класса, выполнила съ отличнымъ успѣхомъ.

Въ настоящемъ году, при бывшемъ испытаніи учениць VIII дополнительнаго класса, она, Власова, оказала нижеслѣдующія познанія:

1. Въ предметахъ общеобязательныхъ:

Въ законѣ Божіемъ отличныя 5.

Въ педагогикѣ и дидактикѣ отличныя 5.

Въ начальномъ преподаваніи русскаго языка отличныя 5.

Въ начальномъ преподаваніи ариѳметики отличныя 5.

Въ ариѳметикѣ отличныя 5.

Въ исторіи — отличныя 5.

2. Въ предметахъ спеціальныхъ:

Въ русскомъ языкѣ отличныя 5.

" исторіи отличныя 5.

Свидетельство Е. В.Власовой об окончании Московской частной женской гимназии Н. П.Щепотьевой.

Александр Васильевич Власов с женой Софьей Александровной, урождённой Ивановой, и детьми Лёлей, Наташей и Вовой. Москва. 1905 год.



МИНИСТЕРСТВО
НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕН
Московскій Учебный Округъ
ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗІ
Н. П. ШЕПОТЬЕВОЙ.
28 Апрѣля 1906 г.
№ 35
Москва.

Удостовѣреніе

Преподавателю Московской женской гимназіи Н. П. Шепотьевой — Владиміру Дмитріевичу Зернову — дано сіе удостовѣреніе въ томъ, что къ вступленію его въ бракъ съ дѣвицей Екатериной Васильевной Власовой со стороны означенной гимназіи препятствій не встрѣчается.

Предсѣдатель Педагогическаго Совѣта

Удостоверение, выданное В. Д. Зёрнову 28 апреля 1906 года, подтверждающее согласие гимназического начальства на его брак с Е. В. Власовой.



Е. В. Власова в свадебном уборе. Москва. 1906 год.

В Дубне на крыльце усадебного дома Зёрновых. Сидят: Дмитрий Николаевич и Мария Егоровна Зёрновы с внуками Верой и Андрюшей Макаровыми; стоят, слева направо: Сергей Антонович и Наталья Дмитриевна Макаровы, Владимир Дмитриевич и Екатерина Васильевна Зёрновы. На обороте надпись: «Лето 1906 года. Первый год после нашей свадьбы. Ек. Зёрнова».

Дом (на переднем плане) на улице Константиновской (ныне - Советской), который снимала семья Зёрновых. Дом не сохранился. Саратов. 1912 год.

Митя Зёрнов.
Москва. 1907 год.

Владимир Дмитриевич Зёрнов с женой Екатериной Васильевной, урождённой Власовой, и детьми Марией (вверху), Дмитрием и Татьяной. Саратов. 1911 год.





Митя и Таня Зёрновы с няней Катериной. Саратов. 1909 год.



Мария Зёрнова с няней. Саратов. 1912 год.



На теннисном корте. Слева направо: Андрей Макаров, ?, Екатерина Васильевна и Владимир Дмитриевич Зёрновы. Дубна. 1911 год.

Е. В. Зёрнова с кучером А. Чувиковым. Дубна. 1911 год.



Штат прислуги Зёрновых. Сидят, слева направо: Надежда Чувикова (скотница), Феня (кухарка), Матрёна Петровна (прачка), Настасья Александровна Пудина (горничная), Катерина (няня); стоят — Василий (дворник), Лиза (вторая горничная), Василий Егорович Котов (садовник), Даша (кухарка в Саратове) и Андрей Степанович Чувиков (кучер). Дубна. 1911 год.

Первый ректор Саратовского университета профессор Василий Иванович Разумовский с дочерью Юлией. Фото. 1911 год.





Профессор медицинской химии и первый проректор по студенческим делам Саратовского университета Владимир Васильевич Вормс. Фото 1909 года.



Профессор физиологии и первый декан медицинского факультета Саратовского университета Иван Афанасьевич Чуевский. Фото 1909 года.



Профессор ботаники Саратовского университета Андрей Яковлевич Гордягин. Фото 1909 года.

Профессора и студенты Саратовского университета. Фото Н. Гольдберга. 1909 год.

Профессор анатомии Саратовского университета Николай Григорьевич Стадницкий. Фото 1909 года.



Профессор зоологии Саратовского университета Борис Ионович Бируков. Фото 1909 года.



Здание Саратовского университета (бывшей Фельдшерской школы) в праздничном убранстве. Фото Н. Гольдберга. 6 декабря 1909 года.



Порядокъ торжества

5 декабря.

[illegible] бдѣніе и панихида по общественнымъ дѣятелямъ, способствовавшимъ учрежденію въ городѣ Саратовѣ Университета

6 декабря.

Божественная литургія и благодарственный молебенъ (въ архіерейскомъ служеніи)
Крестный ходъ къ мѣсту постройки будущихъ зданій Университета и освященіе мѣста
Торжественный актъ.
Вечеромъ—спектакли для учащихся гор. Саратова (безплатные) во всѣхъ театрахъ

7 декабря.

1-ый студенческій литературно-музыкальный вечеръ и балъ [illegible] недостаточныхъ студентовъ)

Программа торжественнаго акта

a) Чтеніе закона объ учрежденіи въ г. Саратовѣ Университета
b) Посылка телеграммы ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ
c) Посылка телеграммъ въ Государственную Думу и Государственный Совѣтъ и Высокопоставленнымъ лицамъ
d) Рѣчь г. Ректора: „Къ исторіи Университетовъ"
e) Рѣчь г. Декана: „О возникновеніи и осуществленіи идеи Саратовскаго Университета"
f) Привѣтствіе отъ города.
g) Привѣтствіе отъ земства
h) Пріемъ депутацій, чтеніе привѣтственныхъ адресовъ, телеграм
i) Заключительное привѣтствіе г. Ректора
k) Исполненіе кантаты ... муз. С. К. Экснеръ



М.Н.П.
Императорскій Саратовскій Университетъ
СОВѢТЪ.
27 ноября 1909 года
№ [redacted]
Саратовъ

Е.В.
Г-жѣ Зерновой.

Милостивая Государыня,
Екатерина Васильевна.

Совѣтъ Императорскаго Саратовскаго Университета имѣетъ честь просить Васъ, Милостивая Государыня, почтить своимъ присутствіемъ торжество открытія Саратовскаго Университета и освященія мѣста для постройки его зданій, каковое торжество имѣетъ быть 6-го декабря текущаго 1909 года.

Ректоръ Университета

Секретарь Совѣта

(О порядкѣ торжества см. на оборотѣ)

Официальное приглашение на торжество открытия Саратовского университета, отправленное Е. В. Зёрновой 27 ноября 1909 года.

Городской театр 6 декабря 1909 года. Фото Н. Гольдберга.



Крестный ход от кафедрального собора к месту закладки университетских зданий на Московской площади. Фото Н. Гольдберга. 6 декабря 1909 года.

На Московской площади во время торжественного освящения места закладки зданий Саратовского университета. Фото Н. Гольдберга. 6 декабря 1909 года.



Архитектор-строитель Саратовского университета Карл Людвигович Мюфке. Казань. 1909 год.



Меню праздничного обеда в день открытия Саратовского университета 6-го декабря 1909 года.

Строительная комиссия Саратовского университета. Сидят, слева направо: архитектор университета А. М. Салько, архитектор-строитель К. Л. Мюфке, профессора В. А. Павлов, П. П. Заболотнов (председатель), А. Ф. Преображенский; стоят: архитектор-художник В. Д. Караулов, техник-строитель С. Ф. Рагозин, профессор И. А. Чуевский, ?, студент 3-го курса архитектурного отделения Императорской Академии художеств Е. Я. Слобожаников, ?, профессор В. Д. Зёрнов и техник-строитель П. А. Максимов. Фото 1914 года.



Начало земляных работ при строительстве университетских зданий на Московской площади. Фото 25 июня 1910 года.



Закладка фундамента при строительстве Физического института.
Саратов. 1911 год.

Здание Физического института Саратовского университета.
Вид с улицы Университетской (бывшей Казарменной). Фото 1950-х годов.

В. Д. Зёрнов (в центре с прибором) и механик Ф. Ф. Троицкий со служащими Управления Рязано-Уральской железной дороги во время научной экспедиции на озеро Эльтон. Фото 1912 года

На озере Эльтон.







Фатьма (Катя) Саттаровна Мухтарова.
Саратов. 1912 год.

«Университетское трио». Слева направо: юрисконсульт университета П. К. Всеволожский, профессор физики В. Д. Зёрнов и профессор химии Р. Ф. Холлман. Саратов. 1912 год.

Профессор В. Д. Зёрнов (сидит в центре) и ассистент кафедры физики Саратовского университета Н. П. Неклепаев (сидит крайний слева) с эвакуированными в Саратов сотрудниками Киевского университета. Фото 1915 года.



Годичный акт в Императорском Николаевском Саратовском университете. За столом президиума, слева направо: В. Д. Зёрнов, А. Я. Гордягин, Н. Г. Стадницкий, Б. И. Словцов, А. Ф. Преображенский, В. И. Разумовский и В. А. Павлов. Фото (фрагмент) Н. Гольдберга. 6 декабря 1910 года.

Профессор В. И. Разумовский за кафедрой во время торжественного публичного заседания Совета Императорского Николаевского университета, посвящённого 100-летнему юбилею со дня рождения Н. И. Пирогова. Фото (фрагмент) Н. Гольдберга. 13 ноября 1910 года.



В. Д. Зерновъ,

Проф. Императорскаго Николаевскаго Университета.

СТРОЕНІЕ

МАТЕРІИ.

[illegible]

[illegible]

6-го декабря 1912 года

САРАТОВЪ.

[illegible]

Титульный лист брошюры В. Д. Зёрнова с актовой речью, произнесённой на торжественном заседании Императорского Николаевского университета 6 декабря 1912 года.

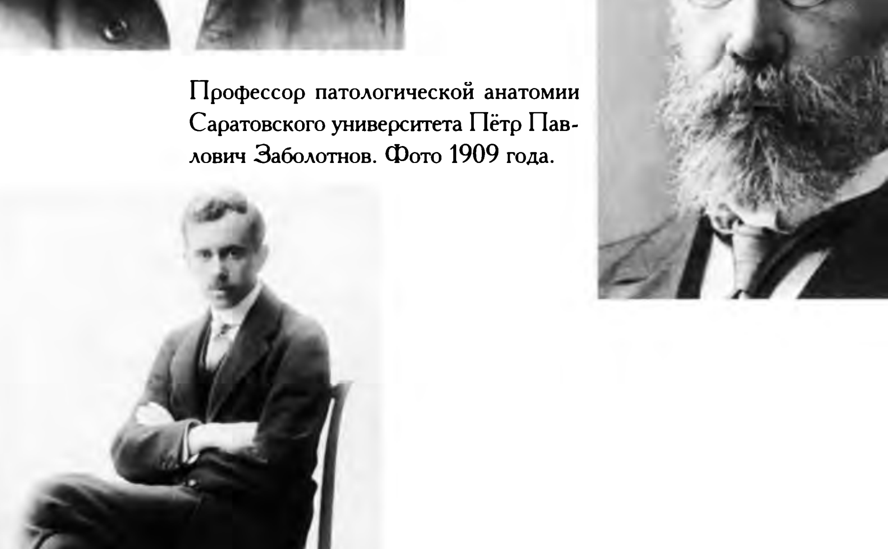
В большой физической аудитории. Демонстрация опытов слушателям Саратовских высших сельскохозяйственных курсов. На снимке: профессор В. Д. Зёрнов (крайний справа) со своими помощниками, слева направо: лаборантами И. М. Серебряковым, В. Е. Сребницким и ассистентом Н. П. Неклепаевым (на переднем плане). Фото 1914 года.

Ректор Саратовского университета В. Д. Зёрнов и профессор Н. И. Вавилов (в центре) среди участников II Всероссийского съезда селекционеров. Фото (фрагмент) 1920 года.



Профессор химии Саратовского университета Владимир Васильевич Челинцев. Фото 1910 года.

Профессор патологической анатомии Саратовского университета Пётр Павлович Заболотнов. Фото 1909 года.



Профессор теоретической физики Саратовского университета Сергей Анатольевич Богуславский. Глазго. 1910-е годы.



В. Д. Зёрнов со студентами в большой физической аудитории Саратовского университета. Фото 1920 года.

Группа сотрудников и выпускников первого набора физико-математического факультета (математическое отделение) Саратовского университета. В первом ряду, крайний справа Г. П. Боев; во втором ряду, слева направо: ?, ?, С. А. Богуславский, К. И. Котелов, ?, В. В. Голубев, И. И. Привалов, Г. Н. Свешников, ?; в третьем ряду, 4-й слева Б. И. Котов, 6-й — Н. П. Неклепаев, 8-й — К. А. Леонтьев. На заднем плане — портрет В. Д. Зёрнова, который к этому времени был арестован и находился в тюрьме. Фото 1921 года.



Кафедральный Александро-Невский собор в Саратове. Репродукция со старой открытки.

Профессор педиатрии Саратовского университета Иннокентий Никандрович Быстренин. Фото 1914 года.



Профессор гинекологии и акушерства Саратовского университета Николай Михайлович Какушкин. Фото 1915 года.



«Музыкальные среды» в квартире В. Д. Зёрнова в Благовещенском переулке. Слева направо: В. Д. Зёрнов, С. А. Власова и Д. А. Орлов. Москва. 7 февраля 1930 года.

«Музыкальные среды» в квартире В. Д. Зёрнова в Благовещенском переулке. Слева направо: В. Д. Зёрнов, Д. В. Рывкинд, Д. А. Орлов и Д. Е. Серебряков. Москва. 1930 год.







1/XII 28 Коктебель

Дорогой Владимир Дмитриевич,

[illegible]

Максимилиан Волошин

Акварель М. А. Волошина, подаренная им В. Д. Зёрнову и адресованное ему же письмо от 1 декабря 1928 года из Коктебеля (написано на обороте собственной акварели).



Максимилиан Александрович Волошин
на крыльце своего дома. Коктебель. 1928 год.



В. Д. Зёрнов и М. А. Волошин (стоят)
на крыльце дома художника. Коктебель. 1928 год.

Профессор В. Д. Зёрнов со студентами МИИТа. Фото 1937 года.



В. Д. Зёрнов (второй справа) в лаборатории кафедры физики МИИТа. Фото 1936 года.

В. Д. Зёрнов демонстрирует опыты с жидким воздухом. Москва. 1937 год.

Дмитрий Владимирович Зёрнов.
Москва. Начало 1940-х годов.



ЗАМЕЧАНИЯ КЛАССНАГО НАСТАВНИКА

I треть:

Кл. наст.

Подпись родителей Вл. Зернов

II треть:

Кл. наст.

Подпись родителей Вл. Зернов

III треть:

Кл. наст.

Подпись родителей

ВЕДОМОСТЬ

ОБ УСПЕХАХ И ПОВЕДЕНИИ

Зернова Дмитрия

ученика 1 класса

ПОЛНОПРАВНОЙ

МУЖСКОЙ ГИМНАЗИИ

УЧРЕЖД.

А. М. ДОБРОВОЛЬСКИМ

В САРАТОВЕ

за 1917-18 год.

							Логика.	Латинский язык.	Психология.	Законоведение.	Арифметика.	Алгебра.	Геометрия.	Тригонометрия.	Физика.	Космография.	История.	География.	Природоведение.	Немецкий язык.	Французский яз.	Чистописание.	Рисование.	Поведение.	Число пропущенных уроков.
											4+						5	5-	5	5		5	5	5	
																		5	5	5		5	5		
																		5	5	5					
											4						5	5	5	5		5	5	5	
																	5	5	5	5		5	5		
	Внимац.	5	5														5	5	5	5					
III	Успехи.																								
	Прилеж.																								
	Вниман.																								
Годовой балл.																									
Балл, устан. на экзамене вас.																									
Общій балл.																									
Определения Пед. Совета:																									

Ведомость об успехах и поведении Дмитрия Зёрнова — ученика 1-го класса мужской гимназии А. М. Добровольского в Саратове за 1917–1918 учебный год.



Мария Владимировна Зёрнова в форме слушательницы Военно-химической академии РККА. Москва. 1932 год.

Удостоверение личности

Зёрнова

(фамилия)

Мария Владимир...

(имя и отчество)

1. Состоит на действительной военной службе в Военно-Химической Академии РККА.

Служебное удостоверение слушательницы Военно-химической академии РККА М. В. Зёрновой.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БИЛЕТ № 311

Студента 2 Института ЕМХТИ

Фам. Зернова

И. Мария О. Владимировна

Специальн.

Год рожд. 1911

Дата приема Сентябрь 1931

Директор Ин-та

Дата

М. Зёрнова (подпись студента)

Адрес Ин-та Бригадирский 13

Домашн.

Видом на жительство служить не может

Студенческий билет М. В. Зёрновой, выданный Единым Московским химико-технологическим институтом 25 января 1931 года.



Профессор В. Д. Зёрнов во время лекции в МИИТе. Москва, 1945 год.

Черепаховая табакерка

Нет: медных [illegible] мушка
И [illegible] – тебе горчей обиды,
Ты [illegible] табакерка
Эпохи северной Семирамиды.

Отделанная аметистами,
С веночками Empire, из золота,
Когда-то может быть лучистыми —
Теперь ни крошки, вся расколота.

Два зеркальца под него вставлены,
Какие улыбались губы вам:
Светлейшего ль тоской отравлены,
Порочные ль графа Зубова?

Перстни ли, но не фамильные,
Постукивали по тебе, от скуки,
Им сувенирами умильными

Служила ты и Долгоруким?

И как они, твои владетели,
Оканчивали [illegible]
Под [illegible] маской добродетели
Иль, [illegible] в подмосковных?

Ты меньше табаком [illegible],
Чем их интригами и [illegible]
Но где ж твоя эпоха? – Стёрта она
И воскресить ее немыслимо

Да и зачем? – В музее новом,
У антиквара, под стеклянной крышкой
Ты отдохнёшь, на бархате пунцовом
[illegible] табакеркой.

Арс. Альвинг

Автограф стихотворения Арсения Альвинга «Черепаховая табакерка», подаренного В. Д. Зёрнову 31 мая 1921 года.



Коллектив симфонического оркестра Московского Дома учёных. Художественный руководитель и дирижёр В. И. Садовников (в центре с дирижёрской палочкой). Справа от него — В. Д. Зёрнов. Фото 1944 года.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРУЖОК 32 ШКОЛЫ КРАСНО-ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА И ХИМКУРСОВ

1928 -1929 УЧЕБНЫЙ ГОД.

2-й СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

29 ДЕКАБРЯ 1928 ГОДА

УЧЕТ РАБОТЫ ОРКЕСТРА ЗА 5 ЛЕТ

ПРОГРАММА

I ОТДЕЛЕНИЕ.

Л. ВАН-БЕТХОВЕН.—Симфония № 1. (C dur) op 21.

1 Adagio molto. Allegro con brio.
2. Andante contabile con moto.
3. Menuetto Allegro molto e vivace.
4. Adagio. Allegro molto vivace.

Исп симфонический оркестр под управлением **М. П. Даева.**

Антракт 15 минут.

II ОТДЕЛЕНИЕ.

1. Венявский. „Легенда“ исп. **Я. Левитам.**

2. Верримст. Соло на контрабасе исп. **М. Синякова.**

3. а) Бах. Ария
   б) Глиар. Народная песня. **Унисон скрипок.** Исп. ученики скрипичного класса **Б. В. Карпова.**

4 а) Рубинштейн. Мелодия
   б) Шопен-Глазунов. Этюд. (виолон.)
   в) Глазунов. Испанская серенада. Исп. **А. Власов.**

5. Бах. Концерт для 2-х скрипок с сопровождением струнного квартета — исп **Г. Денисов и А. Софронов и камерный ансамбль 32 школы.**

6. Григ. Концерт для ф. п. op. 16 (I часть)—исп. **А Лапчинский и оркестр.**

Начало ровно в 8 часов вечера (без опоздания)

Программа симфонического концерта участников музыкального кружка 32-й школы Красно-Пресненского района и химических курсов. Москва. 29 декабря 1928 года.

Программа камерных вечеров из произведений Людвига ван Бетховена в исполнении симфонического оркестра имени К. С. Сараджева.
Москва. 1927 год.

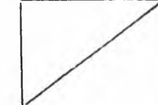
Московское Симфоническое



Общество

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА

САРАДЖЕВА



ПРИ ИСПОЛБЮРО ПРОФСЕКЦИЙ МОСКОВСКОГО ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА

ПРОГРАММА

ЦИКЛА КАМЕРНЫХ ВЕЧЕРОВ

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Людвига-Ван-БЕТХОВЕНА

(в ознаменование столетия со дня смерти композитора),

имеющих быть в помещении Актового Зала Московского Высшего Технического Училища (Покровский бульвар, д. 5),

12, 18 и 20 марта, 3 и 10 апреля 1927 года.

Начало концертов в 8 час. вечера.

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРК

имени проф. К. С. САРАДЖЕВА

При Исполбюро профсекций Моск. Высшего Техничес

(Покровский бульвар, 5).

ПРОГРАММА

цикла 4-х камерных концерто
из произведений ФРАНЦА ШУБЕРТ

(в ознаменование столетия со дня смерти компози

имеющих быть в Актовом Зале МВТУ (Покровский
2, 9, 16 и 17 декабря 1928 года

Начало концерта в 8 ч. веч

Воскрес 2 декабря

1-й Камерный вечер

I Отделение

1 Квартет Opus posth Д—dur.
Allegro—Andante con moto—Menuetto—Presto
Исп 1 скр — В. А. Рудольский, 2 скр — Л Д
А. А. Федоров, виолончель—М. М Дрябин

2 „Coronach"—траурный хор из Вальтер-Скотта „Девушка у озера
„Standchen"—серенада для контральта и 4-х голосного ансамбля.
Исп вокальный ансамбль „Ассоциации Камерной Музыки" в составе—Мустанова, А. Г., Меркулова, Л. П. (сопрано) Дворникова, Т. Н, Хренникова, Е. Л. (меццо-сопрано), Залесская, С А, Смирнова, В М. (контральто)
Соло—В. М. Смирнова Партию ф-п — А Н Дроздов

II Отделение

3 Квартет. Opus 125 № 1 Es—dur.
Allegoro moderato—Scherzo Prestissimo—Adagio—Allegro
Исп 1 скр — К М. Скибицкий, 2 скр. — И. В Фридман, альт — Д В. Гантшер, виолончель—Д. Г. Баев.

4 Песни „Ты мой покой", „Смерть и девушка", „Утренняя серенада".
Исп.: Н П Рождественская, партию ф-п — Г. П. Рождественская

5. Сонатина № 1. Opus 137 для скр. и ф п
Allegro molto—Andante—Allegro vivace
Исп. К М Скибицкий Партию ф-п—проф. С. В Самуэльсон

III Отделение

6. Песни
Исп В. И. Садовников Партию ф-п—Г. Б Орентлихер

7 Трио Opus 99 B—dur
Allegro moderato—Andante un poco mosso-Scherzo—Rondo. Allegro vivace
Исп трио „имени М. М. Ипполитова-Иванова" в составе — ф-п — А С. Яппо, скр.—А Г. Красный, виолончель—А А Кливанский

Воскрес 9 декабря

2-й Камерный вечер

I. Отделение

1 Квартет Opus 125 № 2 E—dur.
Allegro confuoco—Andante—Menuetto—Rondeau. Allegro vivace.
Исп. 1 скр.—Б. З. Хавин, 2 скр.—Я. Гершберг, альт—А П. Зорин, виолончель—Б. В Доброхотов

2 Песни „Странник", „Серенада".
Исп Т Н. Дворникова Партию ф-п—В. А Шрейбман

Программа камерных вечеров из произведений Франца Шуберта в исполнении симфонического оркестра имени К. С. Сараджева. Москва. 1928 год.

В. Д. Зёрнов. Москва, 1938 год.



В. Д. Зёрнов, профессор физики МИИТа, в мундире директор-полковника административной службы. Москва. 1945 год.

Научное издание

В. Д. Зёрнов

Записки русского интеллигента

Корректор Ю. Е. Рычаловская
Оригинал-макет А. С. Старчеус
Оформление А. С. Старчеус

Издательство «Индрик»

INDRIK Publishers has the exceptional right to sell this book outside Russia and CIS countries. This book as well as other INDRIK publications may be ordered by
e-mail: nina_dom@mtu-net.ru
or by tel./fax: +7 095 959-21-03

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции (ОКП) 95 3800 5

ЛР № 070644, выдан 19 декабря 1997 г.
Формат 70г1001/16. Гарнитура «Bodoni». Печать офсетная.
55,0 п. л. Тираж 1000 экз. Заказ № 671
Отпечатано с оригинал-макета
в ППП «Типография „Наука"».
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 6






Серія А. № 1127

Фотографическая карточка принадлежитъ



